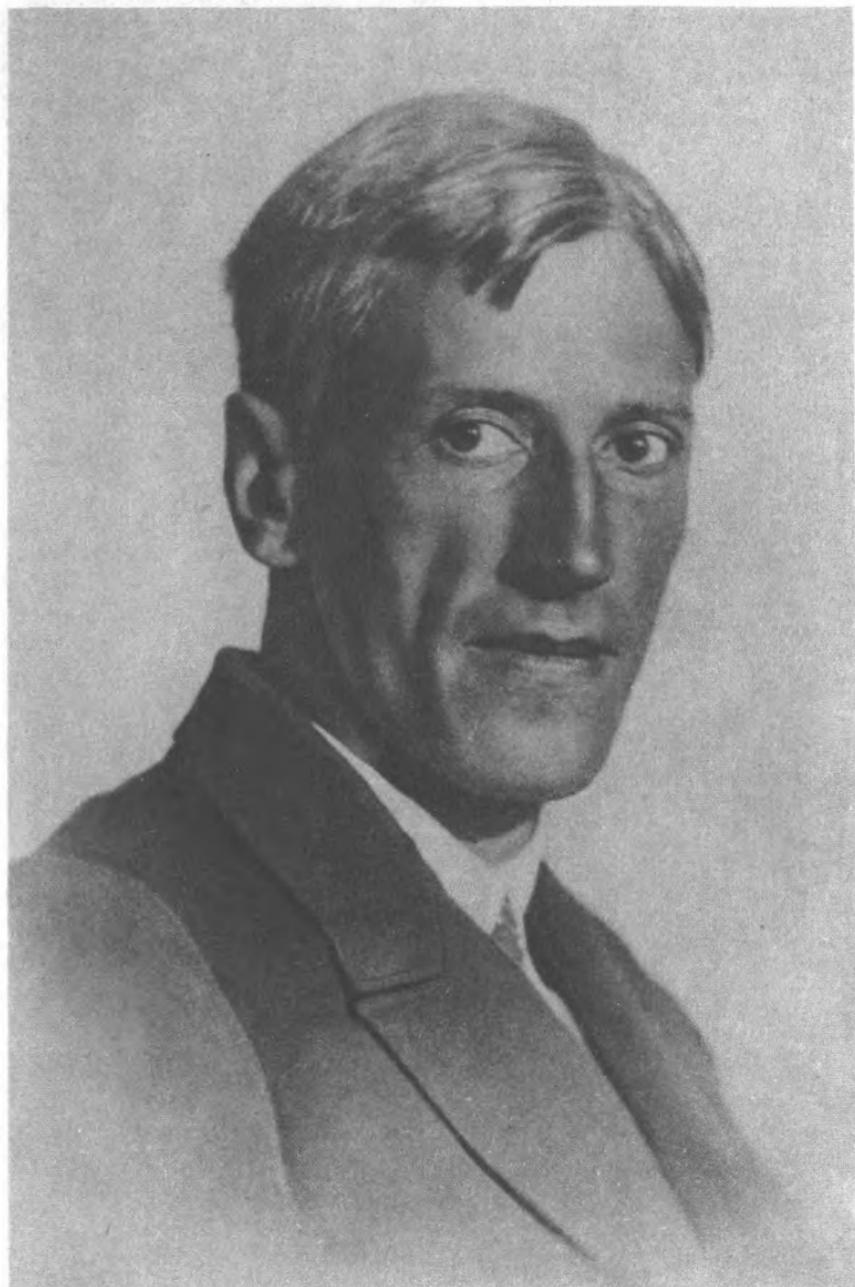


ГЕОРГИИ ВЕНУС

ЗЯВЛИКИ
В ЛАТАХ





ГЕОРГИЙ ВЕНУС

ЗЯБЛИКИ В ЛАТАХ

РОМАНЫ



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1991

ББК 84.Р7
В 29

Редактор Ф. Г. Кацас

Художник Леонид Яценко

Венус Г.

29 Зяблики в латах: Романы.— Л.: Сов. писатель,
1991.— 512 с.

ISBN 5-265-01075-0

Георгий Венус — известный прозаик 20—30-х годов. В 1938 году Венус был репрессирован, в 1939 году умер в тюрьме.

Книга «Зяблики в латах» выходит в серии «Наследие», в нее включены три романа, которые составляют наиболее значительную часть литературного наследия писателя.

В $\frac{4702010201-425}{083(02)-91}$ 24—90

ББК 84.Р7

ISBN 5-265-01075-0

© Л. Яценко, художественное оформление, 1991
© Б. Г. Венус, предисловие, 1991
© А. Ю. Арьев, послесловие, 1991



Слышишь грохот воды весенней?
Четверть века гудит в набат.
Я не первый и не последний,
В ком ломает себя судьба.

Георгий Венус

МОЙ ОТЕЦ ГЕОРГИЙ ВЕНУС

Я хочу рассказать о судьбе моего отца, судьбе человека, прошедшего через невзгоды и тяготы нашей суровой и во многом страшной эпохи, заплатившего за свои ошибки и чужие преступления собственной жизнью.

Георгий Венус родился в 1898 году в Петербурге. Он был из тех, кого до революции называли «василеостровский немец», кого Лесков так добродушно называл «островитянами» и так тепло рисовал их органическое трудолюбие, прирожденную честность, их быт, может быть чуть смешноватый: «Милое дитя Васильевского острова».

Двести лет вращались в русскую землю корни Венусов: ремесленников, мастеровых и рабочих. Мой дед, рабочий-ткач, умер, когда его младшему сыну Георгию было 4 года. Осталась вдова с тремя детьми. На детях рабочая династия отцов нарушилась. Георгий пошел не в цех, а в немецкое реальное училище Екатериненшуле, за обучение в котором платила немецкая община. Он любил стихи, хорошо рисовал, мечтал стать художником. Очень любил стихи Блока. Многие часы проводил он в Академии художеств, где учился основам рисунка и живописи. Однако все сложилось не так, как мечталось.

Началась первая мировая война, и в 1915 году, сразу после окончания Екатериненшуле, Венус добровольно поступает в Павловское пехотное училище. Через восемь месяцев юнкер, приняв присягу, становится прапорщиком.

Несмотря на свое происхождение и воспитание в немецкой школе, где в то время достаточно сильны были прогерманские настроения, отец, выросший на традициях русской культуры, не представлял себе, не видел для себя другого пути, кроме защиты отечества.

Воевал он честно. Дважды был ранен, награжден Георгиевским крестом. Но уже тогда армейская действительность заставила его посмотреть на многое иными глазами. Юношеские идеалы пошатнулись. Об этом позднее было рассказано в романе «Зяблики в латах», в значительной мере автобиографическом.

Георгий Венус социально был совершенно чужд русской офицерской касте. Однако время юнкерства и офицерские погоны все же оказали влияние на формирование характера молодого человека, и это влияние сохранилось навсегда. Уже в зрелом возрасте он сохранял любовь к военным маршам, парадам и другой военной атрибутике. Помню, отец, сидя у моей детской кровати, напевал: «Солдатушки, бравы ребятушки!...» Потом, вдруг, замолкал и через несколько

минут читал Блока или «Счастливого принца» Оскара Уайльда. Однако любовь к военным маршам сочеталась у отца с необыкновенной мягкостью. Недаром, когда он уже стал литератором, в писательской среде его часто называли Венус-кроткий — эпитет этот дал ему писатель Сергей Колбасев.

Октябрьская революция застала Георгия Венуса в окопах. Фронт практически перестал существовать. Массы солдат покидали позиции. Возвратился в родной город и прапорщик Венус. Без погон, но во фронтовой шинели, в офицерской фуражке с кокардой, с «Георгием» на груди.

Что было дальше, я точно не знаю, кажется, кто-то на Троицком мосту незаслуженно оскорбил бывшего прапорщика, возник конфликт. Венус был задержан и оказался в Петропавловской крепости. В происшествии скоро разобрались и, так как камеры были переполнены людьми, чья вина представлялась более значительной, прапорщика просто выгнали на улицу. Этого было достаточно. Честь офицера-фронтовика, по мнению отца, была незаслуженно оскорблена (напомню, отцу было в то время всего двадцать), и, возвратившись домой, он принял решение пробираться на юг России.

Добравшись до оккупированной немцами территории Украины, на демаркационной линии отец, пользуясь знанием языка, заявил германскому часовому: «Ich bin ein deutscher»¹. Часовой, не очень усердно несший свою службу, пропустил его.

Оказавшись в местах дислокации белой армии, отец вступил в ее ряды и был направлен в Дроздовский добровольческий офицерский полк. Так была совершена ошибка, сказавшаяся на всей его дальнейшей судьбе. Дроздовцы в основном состояли из крайне монархически настроенного кадрового офицерства. При Деникине, и позднее, при Врангеле, они воевали на самых ответственных участках фронта и прославились своей жестокостью. В этих боях принимал участие мой отец. На материалах бесславно закончившегося белого похода позже, уже в эмиграции, в 1926 году, был написан роман «Война люди». Это была первая изданная в Советском Союзе книга, автор которой являлся непосредственным участником белого движения.

В предисловии к первому изданию книги говорится: «Автор рисует головокружительную кампанию белого отряда на Украине, закончившуюся неудачей, отступлением и сдачей Перекопа Красным. Белая армия дана не только в действии и боях, но и в быту. Ценно то, что у Венуса показано не только организационное разложение белой армии, но и вырождение «белой идеи». Эта мысль выражена приводимой записью из дневника белого подпоручика: «Идея, способная на вырождение, — не есть идея. Над идеей белого движения я ставлю крест». Это сказано словами подпоручика в момент ак-

¹ Я немец (нем.).

тивного участия его в белогвардейском движении. Эта же мысль о том, что в поражении белогвардейщины виновато не только организационное преимущество Красной армии над белой, но и превосходство «красной идеи» над вырождающейся белой, пронизывает всю книгу, хотя нигде не высказывается непосредственно». И далее: «Венус не столько «мыслитель», сколько добросовестный наблюдатель. Он записывает подряд и важные политические события, и незначительные мелочи. Местами эти случайные мелкие наблюдения, не имеющие как будто прямого отношения к главным событиям, очень интересны и художественны сами по себе. Отсутствие сконцентрированности, благодаря тому, что нет выявленного лица автора, как стержня, на котором бы держались основные эпизоды,— основной недостаток книги. Но, может быть, именно поэтому книга приобретает особый интерес непосредственного документа, не искаженного теоретизированием или «эмоциями» автора. Советский читатель уже настолько вырос, что умеет сам делать выводы. Для него не обязательно, чтобы автор-белогвардеец бил себя кулаком в грудь, проклиная разложившуюся белую армию, или всенародно каялся» (Война и люди. М.— Л., Госиздат, 1926).

Роман «Война и люди» в 20-х и начале 30-х годов выдержал несколько изданий, переведен на немецкий и чешский языки. О книге положительно отзывался А. М. Горький.

(В 1931 году к нам пришел военный с двумя ромбами в петлицах, с орденом Красного Знамени на груди. Это был Василий Дмитриевич Авсюкевич. Узнав адрес, он решил познакомиться с автором романа «Война и люди». В период гражданской войны В. Д. Авсюкевич командовал красными курсантами, бой с которыми описан в главе «Орехово». Дружба этих людей, сражавшихся в разных станах, сохранилась до конца жизни Венуса. К третьему изданию романа «Война и люди» красный командир В. Д. Авсюкевич написал развернутое предисловие, в котором подробно описан бой под хутором Орехово со стороны красных курсантов.)

В обороне Перекопа отец не участвовал. Во время прорыва красных в Крым он, раненный в плечо, лежал в госпитале. Предстояла операция по извлечению пули из легкого, но сделать ее не успели. Она так и осталась в легком до конца жизни. В октябре 1920 года вместе с госпиталем отец был эвакуирован в Константинополь.

Сейчас трудно судить, мог ли отец избежать эмиграции. Наверное, мог. Вероятно, сказалось все то же ложно понятое чу долга, верности присяге, офицерского братства. Ведь из офицеров белой армии в России оставались единицы, уходило большинство. Сколько было таких людей, стечением обстоятельств брошенных белое знамя и не покинувших его. Сколько нелепых ошибок, страшных коллизий, сломанных судеб.

Жизнь Г. Венуса в Турции подобна жизни тысяч белых эмигран-

тов. Врангель и Кутепов решили сохранить свою армию, все еще надеясь на реванш. Войска были расквартированы в маленьком городке Галиполи. Для содержания войск нужны были деньги. Союзники-французы давали их мало и с трудом. Офицеры месяцами не получали жалованья, бедствовали и голодали. В таком же положении был и отец. Чтобы как-то прокормиться, ему приходилось на берегу Босфора охотиться на черепаха. Однажды попытался торговать с лотка сдобными булочками. Продать удалось одну,— четыре съел сам. После этого булочник-турок отказался вернуть отданный в залог за товар маленький серебряный медальон, полученный отцом от своей матери еще в России при уходе на германский фронт. Это была последняя вещь, напоминавшая о доме.

На берегу Босфора Венус часами тренировался в набрасывании проволочных колец на колышки, чтобы потом в балаганчике на знаменитом константинопольском базаре «Гранд баракхолка» выиграть в виде приза заветный кусок халвы. Одно время отца подкармливали остатками обедов в столовой общепития менонитов. Эта религиозная секта зажиточных немцев, эмигрировавших из России, получала помощь из Америки от «братьев во Христе». Лютеране и католики для сектантов-менонитов были людьми второго сорта.

Наконец Венусу повезло. Его мать, находившаяся в России, после длительной переписки разыскала в Берлине состоятельного двоюродного дядюшку, одного из управляющих известной фирмы «Сименс—Шуккерт», который открыл на имя Венуса счет в одном из банков Константинополя. Три дня швейцар не впускал в помещение банка оборванного и обросшего молодого человека, принимая его за бродягу. В конце концов деньги были получены.

Несколько недель отец кормил и поил своих друзей-эмигрантов в ресторанах и кофейнях Константинополя. Берлинский дядюшка, обеспокоенный необъяснимо большими расходами племянника, прислал ему вызов и предложил срочно выехать в Берлин. Так в начале 1922 года Георгий Венус оказался в Германии.

Константинопольская эмиграция послужила материалом для цикла рассказов, изданных в 20—30-х годах и частично переизданных в сборнике «Солнце этого лета» («Советский писатель», 1957). Гражданской войне посвящена первая часть романа «Молочные воды» (Государственное издательство писателей в Ленинграде, 1938). Вторая часть этого романа написана на материале константинопольского периода. Венус начал писать ее в 1934 году и закончил в 1937-м. Две главы из второй части «Молочных вод» напечатаны в 1934 году: «Вожди» в «Альманахе молодой прозы» и «Гранд баракхолка» в номере 12 журнала «Звезда». Это были последние прижизненные публикации Венуса в Ленинграде. Даже по отдельным главам видно, насколько, по сравнению с ранним творчеством, возросло мастерство писателя. Было ему в те годы всего тридцать пять лет.

Итак, этап константинопольской эмиграции оказался позади, предстоял ее германский период.

Берлин 20-х годов был наводнен русскими эмигрантами. Найти работу считалось большой удачей. Добрый дядюшка снова помог. Отец хорошо рисовал, и его приняли в рекламное бюро.

В те же годы в Берлине существовало множество эмигрантских литературных кружков и объединений, которые отец регулярно посещал. У него проснулась тяга к литературному творчеству. На одном из таких объединений отец познакомился с Мирой Кагорлицкой, и вскоре она стала его женой.

Моя мать, Мира Борисовна Венус, урожденная Кагорлицкая, родилась в местечке Городище недалеко от Белой Церкви. Окончив гимназию, сначала училась на медицинском, а потом на филологическом факультете Харьковского университета. Во время революции прервала учебу и вернулась на родину в Городище. На местечко наступали петлюровцы. Оба брата матери были большевиками и перед приходом петлюровцев ушли с красными. Мать, спасаясь от еврейских погромов, вместе с подругой бежала из родного местечка в Бессарабию, которая в 1920 году перешла к Румынии. Так они оказались за границей. У подруги были дальние родственники в Германии, и девушки переехали в Берлин. Там Мира Кагорлицкая познакомилась с моим отцом.

В 1923 году Венус начал писать стихи и стал работать над прозой. Он примыкал к эмигрантскому движению «сменовеховцев», изредка печатался в журнале «Накануне» и других берлинских изданиях, выходивших на русском языке. Несколько его публикаций были напечатаны в журнале «Вокруг света» в России. В конце концов отец решил, что его призвание литература, он ушел из рекламного бюро, чтобы целиком заняться творческой работой.

В 1923 году из Парижа в Берлин приехали члены «Цеха поэтов». На встрече с Георгием Ивановым Венус познакомился с Вадимом Андреевым, сыном известного русского писателя Леонида Андреева. Вскоре они стали друзьями. Тогда же, в 1923 году, по инициативе В. Андреева в Берлине организовалась литературная группа «4 + 1» — четыре поэта и один прозаик. В нее вошли Борис Сосинский, Анна Присманова, Георгий Венус, Вадим Андреев и Семен Либерман. Группа печаталась в газете «Дни», в журнале «Накануне», а также выступала на литературных вечерах.

В 1924 году в Берлине вышел небольшой сборник стихов Георгия Венуса «Полустанок». Вот несколько строк из стихотворения «Сыну»:

Не я — твой вожатый! — Заря на валу.
Не я пред тобою сниму заставы!
Да будет бежать пред тобой тропа.
Да будет петь — телеграфный провод!

...Весенний ветер в траву упал,—
Да будет в траве он звенеть снова!
Пусть посох верный не я возьму,
Чтоб вновь тягаться с весенним бегом!..
Смотрю, ломая глазами тьму,
Как вздулась сила под талым снегом.
И, бросив годы в поток воды,
Волной ровняю твои победы,—
И моет ливень мои следы,
Чтоб ты за мною не шел следом.

В этих строках, написанных в день моего рождения, звучит глубокая тоска по Родине и сознание вины перед ней.

В своей книге «Возвращение к жизни» В. Андреев, вспоминая о том времени, пишет о моем отце:

«Во всем облике Юры сквозила неуклюжесть, происходящая от большой застенчивости и странного сочетания талантливости и неуверенности в себе. В нем была большая, не сразу распознаваемая нежность, а щедрость его была удивительной: однажды я, как это иногда бывает, когда с кем-нибудь живешь душа в душу и часами читаешь друг другу стихи, свои и чужие, сам того не заметив, воспользовался образом Юры, запавшим мне в память после читки его стихов: что-то вроде «солнечный капкан лучей». Юра мне ничего не сказал, а когда я сам сообразил, что образ-то не мой, он предложил изменить свое стихотворение: «У тебя лучше получается...»

Я встречал людей, отдававших свою последнюю рубашку, но поэта, готового отдать с о й образ и изменить стихотворение для того, чтобы друг стал богаче,— никого, кроме Юры, я за всю жизнь не встретил...

Немецкого в нем ничего не было, разве только то, что он говорил по-немецки превосходно. Он был старше меня лет на 6, и война сожгла его молодость. Участвовал он и в белом движении и возненавидел его. Сознание собственной вины было в нем очень глубоко. «Я семь лет,— говорил он,— шел не в ногу с историей, и ты понимаешь, что значит для военного вдруг увидеть, что ты идешь не в ногу со своим полком». Призрак войны все время преследовал его...

В своих стихах Юра был близок к имажинистам... Присущее ему чувство собственного достоинства сочеталось с мягкостью, доброжелательностью и благородной простотой...»

В 1924 году отец начал работу над романом «Война и люди», о котором я уже говорил. Он надеялся издать его в Советской России. В 1926 году эта книга была напечатана в Ленинграде.

Германия в начале 20-х годов переживала глубокий кризис. Жизнь была трудной. Редкие публикации не позволяли сводить концы с концами. У меня сохранилась записка В. Шкловского, адресованная А. Н. Толстому, который в то время также находился в Берлине:

«Дорогой Шарик! Посылаю тебе молодого и талантливого писателя Георгия Венуса. Я уже доучиваю его писать. Пока ему надо есть. Не можешь ли ты дать ему рекомендацию. Он красный. Я уехал на море. Твой В. Шкловский».

Толстой помог, печатать стали регулярнее.

В 1925 году Венус, а за ним и Андреев подали в советское посольство заявления о возвращении на Родину. После выхода в России романа «Война и люди» отец разрешение получил. Получил его и В. Андреев. Визу подписал Н. Н. Крестинский, бывший в то время послом в Германии. Весной 1926 года наша семья вернулась в Ленинград. Андреев в последний момент передумал. Отец в течение всей жизни не мог простить ему этого, и связь между ними оборвалась. В 60—70-е годы я неоднократно встречался с В. Л. Андреевым, когда он приезжал из Женевы. Мы регулярно обменивались письмами. Он называл меня племянником и подарил книгу о своем детстве с надписью: «Дорогому Борису Венусу, сыну моего милого друга, заочному племяннику, с настойчивой просьбой написать книгу о своем отце. Вадим Андреев. 10 марта 1967 г.» Во время войны Андреев участвовал во французском Сопротивлении, после войны получил советское подданство, был членом Союза советских писателей и печатался только в СССР. Жил и работал в Женеве при Организации Объединенных Наций. Вероятно, решение Андреева о невозвращении было не лишено оснований. Он умер несколько лет назад, прожив длинную и интересную жизнь. Его брат, оставшийся в России, погиб в ссылке.

Первые годы жизни в Ленинграде после возвращения из эмиграции были для нашей семьи благополучны. Мы поселились на Петроградской стороне, на небольшой улочке со странным названием Грязная. Теперь это улица Кулакова. Мамина подруга по Харькову, актриса Евгения Карнава, проживавшая в Ленинграде, выделила нам две комнаты в своей большой квартире. Отец много работал. Вышли его три романа, несколько сборников рассказов и очерков. Один из романов, «Стальной шлем», посвящен зарождению фашизма в Германии. Находясь в эмиграции в Берлине, Венус был непосредственным свидетелем этих событий. Если я не ошибаюсь, это первая книга в России, повествующая о начале фашизма в Германии.

Отец активно включился в работу по истории фабрик и заводов, организованную по инициативе А. М. Горького. Ему поручили написать истории Октябрьской железной дороги и торфоразработок Ленинградской области. Эти очерки были опубликованы.

Появились друзья среди писателей — Борис Лавренев, Сергей Колбасев, Николай Чуковский, Елена Тагер. Дружил с художниками: братьями Ушиными — Николаем и Алексеем, с Николаем Поповым, Яр-Кравченко.

Первые беды пришли в самом начале 30-х годов. Однажды отца

вызвали в милицию, в паспортный стол. Там ему, как бывшему белому офицеру, отказались обменять паспорт, предложив выехать на 101-й километр. Однако «недоразумение» вскоре было ликвидировано. Борис Лавренев съездил в Смольный, предъявил вместо пропуска именной браунинг, обратился к одному из секретарей, заверив его в полной лояльности Венуса. Из Смольного последовал телефонный звонок. В паспортном столе извинились и документ выдали.

Прошло еще несколько лет. В 1934 году закончилось строительство писательской кооперативной надстройки на канале Грибоедова, 9, и мы переселились туда. В те годы в надстройке жили многие ленинградские писатели: Ольга Форш, Михаил Зощенко, Иван Соколов-Микитов, Михаил Козаков, Елена Тагер, Евгений Шварц, Борис Томашевский. Писатели общались между собой, вместе встречали праздники. Мы, дети, тоже образовали свой коллектив. Я дружил с Володей Никитиным, Костей Эйхенбаумом (оба погибли на фронте), Валентином Зощенко, Машей Тагер, Колей Томашевским.

Но относительно спокойной жизни скоро пришел конец. Первого декабря 1934 года был убит С. М. Киров. Это страшное известие потрясло отца. Он почти не разговаривал, сидел запершись в своем кабинете, непрерывно курил. В конце января, ночью, отец был арестован. В квартире произвели обыск. Через две недели отец вернулся домой бледный, обросший и растерянный. Решением какой-то комиссии ему с семьей предлагалось в десятидневный срок покинуть Ленинград и отбыть к месту административной ссылки на пять лет в город Иргиз, расположенный в песках восточного Приаралья.

Вся писательская общественность была поднята на ноги. Срок отъезда дважды откладывался. Наконец, благодаря хлопотам К. И. Чуковского, место ссылки было заменено на город Куйбышев, но добиться полной ее отмены не удалось. Тяжелый маховик террора набирал обороты, и остановить его уже не мог никто.

К сожалению, это было только начало!

Кое-как распродав вещи, раздав знакомым на хранение часть книг и мебели, в апреле 1935 года мы выехали в Куйбышев. На моей детской фотографии этих лет рукой отца написано: «Ade, schöne Degen¹. Борис едет в Куйбышев».

Ленинградские писатели пришли провожать нас на вокзал. Люди в те годы были еще не окончательно запуганы, и провожающих было много. С нами ехал немецкий журналист, коммунист-коминтерновец. Отец знал его раньше, они вместе сотрудничали в газете «Rot Front». Немец, бежавший из Германии от фашизма, никак не мог понять, что происходит. Отец все объяснял временными недоразумениями. В конце 30-х годов бедняга, вероятно, все понял, разделив трагическую судьбу большинства коминтерновцев, оказавшихся в Союзе.

¹ Прощай, счастливая жизнь (нем.).

В Москве мы на три дня остановились у Бориса Пильняка. У него в то время гостила Анна Андреевна Ахматова. Я почувствовал, что отец и мать относились к ней с глубокой почтительностью.

Борис Пильняк сразу сказал отцу, что помочь ничем не сможет. Его вмешательство только усугубит положение. К этому времени уже была конфискована его «Повесть непогашенной луны», — он был в опале. Ничего не дали и обращения к Михаилу Кольцову и Мариэтте Шагиняни. Только неугомонному Корнею Ивановичу Чуковскому удалось добиться, чтобы отца не исключали из Союза писателей, и он уехал в Куйбышев с соответствующим документом.

Сначала мы поселились под Куйбышевом, в деревне Красная Глинка, где теперь сооружена Куйбышевская ГЭС. Отец стал работать бакенщиком, зажигал вечером и тушил утром фонари, указывающие судоходный фарватер. Отец был страстный рыбак, и все свободное время мы вдвоем проводили на Волге. Заработка бакенщика на жизнь не хватало, и рыбу меняли на молоко, фрукты и овощи. Это, пожалуй, самое счастливое время моего детства. Много бывая с отцом, я в это лето особенно привязался к нему.

В ссылке отец продолжал писать. Он заканчивал вторую часть романа «Молочные воды». Написал повесть «Солнце этого лета», которая была издана лишь в 1957 году. Так как отец оставался членом Союза писателей, ему иногда удавалось напечатать в местной газете или журнале небольшой рассказ или очерк. В Куйбышевском издательстве даже вышла тоненькая книжка с оптимистическим названием «Дело к весне».

Зимой 1935 года мы переехали в Куйбышев и сняли на окраине города маленькую комнату. Обстановка в стране с каждым днем становилась все более тревожной, все чаще звучало выражение «враг народа». Оно не сходило со страниц газет и журналов. Начались массовые аресты. По ночам отец почти не спал, подбегал к окну при шуме каждой проезжающей машины.

Весной 1938 года был арестован редактор Куйбышевского издательства А. Терехов. Из его стола изъяли оба экземпляра рукописи второй части романа «Молочные воды», который был уже подписан в набор. Девятого апреля 1938 года отец зашел в местное управление НКВД и из проходной позвонил следователю, чтобы навести справки об изъятой рукописи. Следователь Максимов вежливо поинтересовался, располагает ли отец временем, чтобы зайти к нему за рукописью, которая по делу Терехова интереса не представляет. Был выписан пропуск, отец прошел в управление, мать осталась ждать в проходной... Прошло три часа. Отца не было. Мама позвонила Максиму. Ответ был лаконичен: «Венус арестован». — «Разве так арестовывают?» — спросила ошеломленная мать. «Ну, знаете ли, нам лучше знать, как арестовывают!» — ответил следователь и повесил трубку.

Больше мы никогда не видели нашего отца. Через два дня к нам приехали с обыском. Это было днем. Долго рылись в вещах, забрали письма, рукописи. Мы с мамой подавленно смотрели на происходящее. Вдруг она резко обернулась ко мне: «Тебе тут делать нечего. Забирай ранец и иди в школу!» Я догадался: в старом плотно набитом ранце хранились почти все отцовские книги, рукописи повести «Солнце этого лета», письма и другие бумаги. Я взял ранец, надел его на спину и беспрепятственно вышел. Так удалось все это сохранить.

Потом были бесконечные стояния в очередях у справочной НКВД. Отказы в свиданиях и передачах. Наконец, уже летом, приняли передачу, и в ответ пришла первая записка отца:

«Родная! Посылаю тебе через следователя мою вставную челюсть и очень прошу отдать ее в починку, пусть там постараются скленть. Передай эту челюсть опять следователю. Передачу получил. Большое спасибо! Целую тебя и Бореньку. Ваш Юра».

На германском фронте отец был ранен осколком в верхнюю челюсть, зубы пришлось удалить, и с двадцати пяти лет он пользовался зубным протезом. От сидевшего в одной камере с отцом человека я узнал, как был сломан протез. Это произошло на допросе при ударе по лицу пресс-папье. Побои послужили и причиной заболевания плевритом. Легкие у отца были ослаблены. Я уже писал, что в легком после ранения с времен гражданской войны оставалась пуля.

После окончания следствия отец, до так называемого суда, был переведен в Сызранскую городскую тюрьму. Мама почти все время находилась в Сызрани. Таких, как она, было множество. Ночевали на окраине города под открытым небом. По ночам их разгоняла милиция, грозя арестами. Днем у тюрьмы выстраивалась длинная очередь. Здесь мать познакомилась с сыном Постышева. Юноша вел себя вызывающе и вскоре тоже был арестован. В тюрьме отец заболел гнойным плевритом и 30 июня был переведен в тюремную больницу.

Последнюю записку от отца мы получили 6 июля. Ее тайком передала вольнонаемная санитарка. Записка написана карандашом на клочке бумаги. Почерк почти неузнаваем. Записка сохранилась, вот ее текст:

«Дорогие мои! Одновременно с цингой у меня с марта болели бока. Докатилось до серьезного плеврита. Сейчас у меня температура 39, но было еще хуже. Здесь, в больнице, не плохо. Ничего не передавайте, мне ничего не нужно. Досадно отодвинулся суд. Милые, простите за все, иногда так хочется умереть в этом горячем к вам чувстве. Говорят, надо еще жить. Будьте счастливы. Живите друг ради друга. Я для вашего счастья дать уже ничего не могу. Я ни о чем не жалею, если бы жизнь могла повториться, я поступил бы так же. Юра».

Это были последние строчки, написанные рукой моего отца. Восьмого июля 1939 года он умер.

Сомнений быть не могло. Санитарка, с большим риском для себя передавшая эту записку, потом рассказала матери, что видела на теле мертвого отца шрамы, которые сохранились с детства и о которых знать могли только мы.

Мама пережила ссылку, в 1940 году вернулась в Ленинград, была награждена медалью «За оборону Ленинграда», работала учительницей. Умерла в 1964 году.

Могила Георгия Венуса неизвестна.

Годом раньше был расстрелян старший брат моего отца — Александр Венус. Он окончил Гатчинское летное училище и с первых дней образования Красной Армии служил в ней летчиком. Возникла столь характерная для гражданской войны ситуация, когда братья оказались по разные стороны фронта. Александр Венус перед арестом был начальником Коктебельской планерной школы, дважды устанавливал мировые рекорды на планерах собственной конструкции. Но конец братьев был одинаков — оба погибли в тюрьме. Жена Александра Венуса тоже была арестована. Дочь оказалась в специальном детском доме для детей «врагов народа». С трудом ее разыскала там старшая сестра моего отца Эльфрида Давыдовна Венус-Данилова, известный ученый-химик, единственная из семьи, не тронутая волной репрессий. У нее и воспиталась моя двоюродная сестра Калерия.

После того как был снят нарком Ежов, кое-кого из подследственных освободили. Выпустили и А. Схино, который довольно долго находился в одной камере с отцом. С его женой моя мать познакомилась в тюремных очередях. После освобождения этот человек под строгим секретом сообщил матери некоторые подробности. Георгий Венус обвинялся в принадлежности к террористической группе, готовившей покушение на Сталина. В нее входили Н. Заболоцкий, Б. Лившиц, Е. Тагер, А. Гизетти и еще многие писатели. Руководителем заговора якобы был Николай Тихонов, который, однако, не был арестован. Отцу, как бывшему офицеру, согласно обвинению, было поручено организовать непосредственно террористический акт. За четыре года, проведенных в ссылке, Венус никуда далее двадцати километров от Куйбышева не уезжал. Так было предписано административно-ссылным. Паспорта ни у него, ни у матери не было. Имелся так называемый «синий билет», и он раз в месяц обязан был регистрироваться в местном управлении НКВД. С членами так называемой группы не переписывался. Абсурдность обвинения очевидна, но искать логику в действиях органов НКВД тех лет бессмысленно.

Около шести месяцев отец не подписывал предъявленных ему обвинений. Потом, больной, доведенный конвейером допросов и побоями до полного изнурения, поняв бессмысленность сопротивления, подписал все.

Георгий Венус погиб, когда ему едва исполнилось сорок два года. Ссылка практически лишила его возможности писать. Сколько

бы он еще успел сделать! За недолгую жизнь отцом написано шесть романов (три из них вошли в эту книгу), три повести, множество рассказов и очерков.

Вторая часть романа «Молочные воды», написанная по материалам константинопольской эмиграции, как я говорил, была закончена в ссылке. Два экземпляра рукописи изъяли в Куйбышевском издательстве. Третий, последний, забрали при обыске. Тогда же было изъято письмо А. М. Горького, в котором он одобрительно отзывался о романе «Война и люди». Рукописи и письма пропали. После посмертной реабилитации отца в 1956 году мы с матерью обратились с письмом в Куйбышевское областное УКГБ с ходатайством о возвращении нам рукописи. Приведу ответ на наше письмо:

«Гражданке М. Венус. На ваше письмо по вопросу возвращения рукописи романа «Молочные воды» часть II сообщаем, что по материалам дела Вашего мужа значатся не рукописи, а экземпляры, отпечатанные на машинке, которые в 1939 году уничтожены путем сожжения. Поэтому вернуть их Вам не представляется возможным. Зам. нач. УКГБ по Куйбышевской области Соковых. 31 августа 1956 г. № 11/3 81863».

Оказывается, рукописи все же горят!

По сохранившимся разрозненным черновикам мы с матерью пытались восстановить вторую часть романа «Молочные воды», но это оказалось нам не под силу.

После реабилитации в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель» в 1957 году вышел сборник Георгия Венуса, в который вошли повесть «Солнце этого лета» и рассказы.¹ В плане издательства стояли и другие книги. Но период «оттепели» закончился, и Венуса из планов вычеркнули. Я обращался к Константину Федину, хорошо знавшему отца, к главному редактору издательства Лесючевскому, но все напрасно.

Начался период умолчания. Но умолчать и остановить жизнь невозможно. Даже в самые трудные времена многие не отвернулись от отца. К. И. Чуковский, Н. С. Тихонов, И. С. Тихонов, И. С. Соколов-Микитов, М. Э. Козаков многое сделали для нашей семьи. У меня сохранились письма жены А. Н. Толстого, Людмилы Ильиничны, этой доброй и отзывчивой к чужому горю женщины. Она материально помогала нам в самое трудное время.

Я благодарен Д. С. Лихачеву, В. А. Каверину, М. С. Еленину, покойным Л. Н. Рахманову и М. Л. Слонимскому, способствовавшим изданию этой книги и возрождению забытого имени писателя.

Глубоко признателен редакции Ленинградского отделения издательства «Советский писатель» за чуткое и доброжелательное отношение в период подготовки книги к печати.

Б. Венус



ВОЙНА

И ЛЮДИ



СЕМНАДЦАТЬ
МЕСЯЦЕВ
С ДРОЗДОВЦАМИ

ЧАСТЬ I

(июнь 1919 — ноябрь 1919)

...Прошло еще несколько дней. На северную окраину Харькова со стороны Сумского шоссе налетели казаки, обошедшие расположение красных. Потом казаки вновь скрылись, и несколько дней в городе было тихо.

Но вот пали Изюм и Змиев. Над городом появились аэропланы белых. Бесконечные обозы потянулись по улицам.

11-го июня обозы запрудили все переулки. 12-го под утро, когда под Харьковом загудела артиллерия, они метнулись к северу, а к полудню того же дня в Харьков вошли «добровольцы».

ВЫСТУПЛЕНИЕ ИЗ ХАРЬКОВА

— И повезло же вам, прапорщик!

— А в чем?

— В том, что вы не попали в офицерскую роту, в наш, так сказать, дисциплинарный...

Мой отделенный, прапорщик Дябин, быстро докуривал.

— Сейчас двинемся... Увидите, как через день гнать их будем. Эхма!.. Поддавай пару!..

Два батальона 2-го офицерского имени генерала Дроздовского полка выступали из Харькова.

Я был зачислен в 4-й взвод 4-й роты, которой командовал капитан Иванов, немолодой офицер с холеной черной бородкой. Когда, прибыв в роту, я думал подойти к нему и представиться, мой взводный, поручик Барабаш, меня остановил:

— Прапорщик, забудьте, что вы офицер. У нас чужими руками жар не загребают. Пovoюйте-ка на положении рядового. Потом иначе говорить будем. А пока идите и прочистите винтовку.

Кажется, я даже вспыхнул:

— Мне, поручик, напоминать об этом не нужно.

Я подошел к козлам, поднял винтовку и вынул затвор.

Затвор блестел.

В 4-м взводе на положении рядовых было, кроме меня, еще несколько вновь поступивших офицеров. Мы еще не имели права носить форму Дроздовского полка — малиновые бархатные погоны и фуражку с малиновой же тульей и белым околышем; старые офицеры, особенно Румынского похода, нас как-то не замечали, и мы чувствовали себя не совсем на месте. В казарме мы жались возле стен. Играли в углах в карты. Но вот игральные карты легли на самое дно вещевых мешков. На выбеленных стенах остались надписи. Всякие. От лирических до трехэтажных...

— Молодэньки яки!..— вздыхала у ворот женщина в рыве платочке.— А яки с их...

Дальше мы не слышали. Батальоны грянули песню.

* * *

...Над городом палило солнце.

— Скорей бы в вагоны. Жарко!..— терял терпение прапорщик Дябин.

Прапорщик Морозов, мой сосед в строю, вытирал с лица черный от грязи пот.

— Ну и солнце, господи! — И вдруг, улыбаясь, он поднял лицо кверху.

Прапорщик Морозов, студент Харьковского университета, призванный во время войны, поступил в Дроздовский полк тоже только в Харькове. У него были голубые глаза, на которых тяжелыми складками лежали густые русые брови. Под тяжестью этих бровей глаза его казались глубокими и суровыми. Но теперь, когда, улыбаясь, он поднял их на окна, сплошь усеянные любопытными, они стали вдруг большими и восторженными.

— Коля, пиши!..— Его провожала жена.— Коля, милый!..— Она приколотла к его фуражке белую розу.— Милый!.. Мой милый воин! — Потом, отойдя на несколько шагов, остановилась, любовно оглядывая его с головы до тяжелых солдатских сапог.— Возьмите, прапорщик, и вы... Пожалуйста! — уже мне сказала она, протягивая вторую розу.

Я воткнул розу в ствол винтовки.

— Смир-р-на! — скомандовал вдруг капитан Иванов, сразу же оборвав наши разговоры.— На пле-чо! Шагом марш!

Первыми от нас отскочили мальчишки, за три дня расплодившиеся продавцы цветов. Жена прапорщика Морозова замахала платком. Побежала за взводом. «Ура», — загудела

разодетая толпа, густой стеной двинувшись вслед за нами. В толпе я увидел нашего соседа, студента Девине, бывшего начканснабдива, еще недавно носившего на груди большую красную звезду. Девине, спотыкаясь, тоже бросился за ротами. За ним, размахивая поднятой рукой, бежал мой только что подоспевший дядя. Пенсне дяди блестело на солнце. Рот его был открыт. Очевидно, дядя также кричал «ура».

Я улыбнулся.

* * *

— Сегодня я отдал приказ идти на Москву! — объявил за день перед этим с Павловской площади генерал Деникин.

— На Москву!

— На Москву!

— Спаса-ай-те Москву-у! — кричала обступившая нас толпа, бросая в воздух цветы и белые платочки.

Батальон подходил к вокзалу...

— Первая рота... Вторая...

— Первый вагон... Третий... — уже на перроне кричали ротные и взводные.

Железнодорожники встретили нас хмуро. Смазывая колеса, они исподлобья переглядывались и, кажется, ворчали.

* * *

...Вдоль полотна бежал дым, — назад, все назад... Сквозь дым я видел, как бегут мельницы. Те, что около путей, бежали от нас. Что дальше, на горизонте, — с нами.

— А куда этот путь?

— На Готню, кажется.

Прапорщик Морозов лежал на полу. Роза над его кокардой качалась в такт бегущих колес.

— Прапорщик Морозов!..

— Ну?

— Прапорщик Морозов... Как у вас... Черт возьми, как хорошо у вас на Украине!

— Да, хорошо... — И, не вставая с пола, прапорщик Морозов протянул руку и шире раздвинул дверь.

Мельницы за дверью все быстрее махали крыльями. Перед дверью, верхом на скатках шинелей, сидели вольноопределяющиеся Нартов и Свечников.

— Ну, а скажите, как они?.. Упорно сопротивляются?

Нартов, бывалый доброволец, казалось, не был расположен к разговорам.

— Когда как...

— В конце концов это все равно! — Свечников сдвинул со лба гимназическую фуражку, вынул новый кожаный портсигар и закурил. — Как бы ни сопротивлялись, а к осени мы будем в Москве. — Он затянулся, но вдруг покраснел и закашлялся.

Курить он еще не умел.

За Свечниковым, ни с кем не вступая в разговоры, лежал бородатый вольноопределяющийся Ладин, мобилизованный на улице Харькова.

Кажется, с первого дня пребывания в полку, Ладин еще не сказал ни одного слова.

— Лежит, как глыба, молчит, как рыба, — склоняясь над ним, шутил унтер-офицер Филатов, полунинтеллигент, любивший удивлять солдат рифмованной речью. Солдаты засмеялись. Звонче всех засмеялся Миша, шестнадцатилетний кадет-доброволец, первый весельчак в роте.

В заднем углу теплушки вполголоса пели.

— Ура! Дрозды!..

— Дроздовцы приехали! — так встретил нас Сводно-стрелковый полк, когда наш эшелон подошел к какой-то маленькой, затерянной в степи станции.

— Ну, раз дрозды прилетели!..

— Дрозды уж заклюют!..

— Теперь вперед, значит...

Мы уже вышли на платформу и строились вдоль вагонов.

* * *

— На Грайворон, очевидно, — сказал прапорщик Морозов, когда роты двинулись вдоль широкой пыльной дороги.

Белые халупы, прячась в садах, ласково дымили в небо. Из халуп выходили крестьяне. Они провожали нас бесцветными, вылинялыми глазами и упорно молчали. Бабы около заборов вполголоса причитали.

— Мы идем на юго-запад, а Грайворон к северу будет...

— Вы правы. — На мгновение прапорщик Морозов потерял шаг. — Пожалуй, выйдем на Богодухов. Но вот не понимаю я в таком случае, отчего мы не пошли по линии на Сумы?

— Маневры, господа, — обернувшись к нам, сказал прапорщик Дябин. — Мы, добровольцы, маневрами побеждаем... Здесь выйдем, там срежем, тут отбросим и стопчем. Ведь не

силою берем. До сих пор, по крайней мере, не силою же брали.

— Духом... — пробасил Свечников.

Горизонт чернел.

Войдя в интервалы между 2-м и 3-м взводом, запевалы ухарски заломили фуражки.

— Ну, а чего петь-то будем?..

Хлестал дождь...

Мы жи-ве-ем среди по-о-ле-ей,—

высокими голосами играли запевалы,—

И — — — ле-со-ов дрему-у-у-чих,

Но счаст-ли-вей, ве-се-лей

Всех вель-мо-ож могу-у-чих!..

Эй, дроздовцы, эй, дроздовцы,—

подхватывала рота,—

Жи-во, жи-во, живо, ве-се-ле-ей!

Ей!

Живо, жи-во,

Живо, ве-се-лей!..

Дорога вилась и кружилась.

— Правое плечо вперед... Марш!..

И, сойдя с дороги, мы взяли напрямик и через зреющую рожь пошли к какой-то далекой деревне.

ПЕРВЫЕ БОИ

Мокрая густая темнота ползла по кустам...

— Курить в кулак! Не зажигать спичек! Прикуривай друг у друга!..

Совсем близко от нас шел бой. 1-я, 2-я и 3-я рота наступали на Богодухов.

— Заварилось... Только сейчас, господа, заварилось по-настоящему!.. — Нартов сидел на корточках и запикивал травой дыру в сапоге. Над Нартовым стоял Свечников. Он дрожал мелкой дрожью. С козырька его фуражки стекала вода.

— Эх, дрозды, дрозды! — ворчал прапорщик Дябин, прислушиваясь к гулу красной артиллерии. — Зазнались дрозды!.. Без батарей... С одними винтовками вышли... Так и споткнуться не трудно... Черт!.. Море нам по колена!..

Он сплюнул.

Дождь бил по листьям, выбивая барабанную дробь. Нартов присвистывал.

— Ничего, ничего!.. Не в первый... Не спотыкаться, не бегать... Выбежим!

Через минуту нас построили.

* * *

...Под ногами хлюпала вода.

— Держи интервалы!.. Цепь спокойней!.. Цепь — черт дери! Держи интервалы!

Капитан Иванов вводил роту в прорыв между 2-й и 3-й, которые медленно отступали от Богодухова. 4-й взвод, еще не привыкший к боям, шел, ломая равнение, крутыми зигзагами.

— Не пригибаться! Не пригибаться, труссы! — кричал капитан Иванов, следуя за ротой с наганом в руке.— Цепь...

Диким вихрем над головой взвизгнули первые пули. Кто-то вскрикнул и упал.

— Вот они! Вот! — закричал Свечников.— Обходят!..

— Не ори! — Нартов грыз семечки, а потому шамкал, как беззубая старуха.

— Не ори, дурак!.. Наши это... Во-ин!..

Было темно. Темнота под пулями визжала. Дождь бил в спину.

Наконец, 2-я и 3-я роты поравнялись с нами. Мы также стали отходить.

* * *

...Отступая, мы отстреливались.

— Спокойней! Так! Так! Еще спокойней! — сдерживал 2-е отделение прапорщик Дябин.— Следите, прапорщик.— Он подошел ко мне.— Ну и бьют же! Следите...

И вдруг глаза мои чем-то захлестнуло, и чья-то винтовка, ударив меня в локоть, полетела мне под ноги.

...Черные силуэты солдат шли пригибаясь.

— Отделение, слушать мою команду! — кричал я, снимая наган с прапорщика Дябина.

Верхняя часть его черепа была снесена.

* * *

Все больше и больше снижались пули. Нартов ворчал. Шел угрюмым шагом, опустив винтовку штыком до самой земли. По нем равнялась вся цепь. Я был обрызган кровью и мозгами отделенного. Вытирая лицо рукавом, быстро при-

гибал голову, самого же себя обманывая: «Ну, конечно, не трушу... Пригибаюсь?.. Ну, конечно!.. Но кровь...»

— Эй, не бежать!..

Из-под обстрела красных мы вышли только через полчаса.

Дождь больше не падал. Из-за туч выгрызалась луна.

Замыв пятна крови и мозги, я повесил гимнастерку на ротной кухне и медленно шел к бараку какой-то экономии сахарозаводчика Кенига, в которой — на ночь — был расположен наш батальон.

Под стеной барака сидело несколько солдат 2-й роты.

— А черт их разберет, хохлов этих!.. Молчат, и слова не скажут...— говорил маленький рыжий солдат с запрокинутым вверх носом.— В городах, там подходяще встречаются, это верно, а эти вот — волками глядят... Ну — и не поймешь, рады ли, нет ли...

— А чему радоваться?..

— Ты, слушай, язык подвяжи!..— угрюмо вставил третий солдат.— Не у красных...

Разговор оборвался.

— Гляди, пленного ведут. Ишь, длиннорылый! Наш это, из кацапов будет!

Из штаба батальона вели пленного ординарца, в темноте подъехавшего к нашей цепи.

Пленный шел, опустив голову, и угрюмо смотрел на дорогу.

Через минуту за бараком раздался выстрел.

* * *

«Пойду за гимнастеркой — и — спать!» — решил я, соскакивая с забора.

Прапорщик Морозов сидел возле кухни, держал между коленями котелок и деревянной ложкой хлебал черный густой кофе.

— Мне, прапорщик, кажется...— начал было он, но вдруг почему-то вновь замолчал.— Хотите?

Я сел рядом с ним и взял котелок и ложку.

Опять стал накрапывать дождь. Прапорщик Морозов поднял голову и снял фуражку. Увидя над кокардой смятый стебелек уже осыпавшейся розы, он отцепил его и бросил на землю.

— Знаете, о чем я думаю, прапорщик? — спросил он, помолчав.— Думаю, вот, — отчего с прицела двенадцать, десять, восемь, или с шести хотя бы, стрелять, очевидно, легче, чем в упор...

— То есть как это?

— Да так...— И прапорщик Морозов замолчал.

В темноте за баракom вновь раздались три выстрела. Кашевар над котлом быстро поднял голову:

— И завсегда так! — сказал он, всыпая в котел красные бураки.— Как малость не повезет — всех расстреливают. Эх и борщ будет!..

Я взял гимнастерку и пошел в барак.

Длинный ряд нар убегал в темноту. На них лежали солдаты, друг возле друга.

С трудом отыскав место, я разостлал шинель и снял сапоги.

«Надо высушить... Завтра утром опять на Богодухов. Ноги запреют...»

Вода с толстых английских носков ручьем текла на пол. Потом стала падать каплями. Реже... Еще реже...

Я положил сапоги к голове, носки — на голенища, и закрыл глаза. Влажный холод шинели сочился сквозь гимнастерку. «Чем?.. Черт возьми, да чем это знакомым таким пахнет мол мокрая шинель?» Я стал вспоминать.

И вот в грязном бараке, в темноте, вдруг, под электрической лампочкой в пять свечей, что когда-то горела в нашей кухне, увидел я лохань и в ней Топсика, нашу комнатную собачку. Топсика мыли, а он, мокрый,— уже не лохматый, как всегда, а гладкий и блестящий,— покорно стоял в лохани и тряс рыжей шерстью. Вот так же (вспомнил!), так же вот пахла его мокрая, рыжая шерсть...

«Топсик, хочешь сахара? Топсик, нельзя!.. А ну — раз, два, три! — можно!..»

Я ворочался, толкая Филатова, моего соседа.

«Заснешь ли, черт дери, когда довспоминался до дома, до Топсика, до сахара, до... до...»

— Дьявол!

Я вновь поднялся и стал смотреть в темноту.

Темнота, грузная и тяжелая, лежала в бараке, мохнатой спиной до самого потолка. «И солидно же строил этот Кениг!..» Барак вмещал весь батальон: наша, 3-я, 2-я и, наконец, совсем впереди, 1-я рота.

Кто-то у противоположной стены зажег свечу.

«Пойти побеседовать? Сна все равно нет».

Ступая босыми ногами по жидкой, холодной грязи, я пошел на свет.

На нарах, по-турецки поджав ноги, сидели подпоручик Сычевой и прапорщик Юдин,— первой роты. Они пили коньяк,— прямо стаканами. Глаза подпоручика были прищурены. В русской бороде путался свет свечи. Юдин, офицер послабее, был уже пьян. Он быстро шевелил губами, пытаясь поймать край стакана, но стакан в его руке качался и выплывал из-под губ. Юдин целовал воздух. Сердился.

— Добрый вечер, господа.

— Садитесь, прапорщик, пейте. Коньяк, скажу я вам! Три глотка, и с каблуков долой. Ей-богу!

Мне было холодно. «Согреться, что ли?» Я выпил залпом полстакана. Тепло потекла по телу. Дошла до пальцев застывших ног. Я сел на нары, пытаюсь пальцами ног поднять с пола соломинку.

— А по какому случаю, господа, первая сегодня угощает?

— Без всякого. Вам всё по да по... «Попо» — по-немецки... Впрочем, вы и сами знаете,— ведь из немцев, кажется? А ну, налить?

Я отказался.

— Вот папиросу, если не промокли.

Подпоручик Сычевой вынул небольшой серебряный портсигар, и я заметил на нем след осекшейся пули.

— Здорово отскочила! Когда это? А?

— Если б раз, я бы не хвастался.— Подпоручик Сычевой гордо щелкнул о портсигар пальцем.— Кого молитва, а кого эта вот штука спасает... Верно, хоть и не убедительно!.. Мой талисман...

На потолок, сквозь открытые ворота барака, вползал желтый свет зари. Батальон еще спал.

«Отчего не поднимают?» — я сел и потянулся за сапогами. Но на соломе, дырявыми пятками кверху, лежали одни носки.

— Дежурный!

— В четвертой роте за время дежурства происшествий никаких не случилось...

— Спал, сонное твое рыло? Где сапоги? Где, говорю, сапоги?

Дежурный тыкался под все нары. Перебирал грязные и порыжелые, протлевшие насквозь портянки. Даже разбудил почему-то одного из солдат, Степуна, самого порядочного и честного.

— Где сапоги господина прапорщика?

Тот бессвязно замычал. Поднял голову и тупо заморгал глазами. Потом вновь упал на нары и захрапел.

— Ищи! Давай сапоги! Где сапоги?

Но в это время в барак вбежал связной батальонного:

— Подыма-ай!

— Четвертая рота, вставай! — закричал, отбегая от меня, дежурный.

— Третья, вставай! — подхватил дежурный соседней роты.

— Вторая...

— Пер-ва-я...

Было уже не до сапог.

* * *

Я стоял на правом фланге отделения, в толстых серых носках, из дыр которых торчали грязные пальцы.

— Ничего, господин прапорщик, — успокаивал меня фланговой, всегда веселый и находчивый Миша. — С первого убитого снимете. Я бы вам свои дал, да нога у меня, как у девочки, маленькая.

— Сми-р-на! Равнение — на-право. Господа офицеры!

На дороге показался капитан Туркул, наш батальонный. Усмехаясь в густые черные усы, он браво сидел на коне, за которым, медленно переставляя кривые лапы, следовал его бульдог — разжиревшая в заду сука.

— Вот что, ребята, — сказал батальонный, придерживая лошадь. — Сегодня мы вновь наступаем. Уж вы постарайтесь. Чтоб им ни дна, ни покрышки — красным!..

«Заметит или нет?» — думал я, косясь на полубосые ноги. Но капитан Туркул ничего не заметил.

— Ведите! — сказал он командирам рот. — По отделениям...

* * *

Полдень. Наша рота, рассыпанная в цепь, двигалась по полю. Мои ноги были в крови. Носки болтались рваными тряпками. Я шел прихрамывая.

Слева от нас двигалась третья рота. Справа — пятая. Очевидно, оба батальона шли в цепи. По всему полю были рассыпаны конные — связные и ординарцы. На горе перед нами, на расстоянии двух-трех верст, виднелся Богодухов. Очевидно, город когда-то был богомольным. В городе было

много церквей. Самих церквей не было еще видно. Их белая окраска тонула в волнах голубого теплого воздуха, но круглые купола, точно шары, подвешенные под небо, ловили лучи солнца — сверкали и блестели...

Стрельбы не было.

Высоко в небе кружился ястреб. Суживал и суживал круги. Я запрокинул голову, наблюдая за его полетом. Вдруг голова быстро нырнула в плечи. Над ней пролетел снап звенящих пуль.

— Цепь, стой! — скомандовал ротный.

* * *

Пули летели высоко. Поражения еще не было. Я чувствовал боль в ногах. Мне казалось, по ступням, повернутым к солнцу, сотнями бегают муравьи. Я повернулся с живота на бок, подогнул ближе к себе колени и лежал так, полуоткрытым с обеих сторон, перочинным ножиком. Потом достал носовой платок, плюнул и стал вытирать кровь между пальцами.

— Прицел десять! — в кулак, как в рупор, закричал командир роты.

— Десять! — повторил поручик Барабаш.

— Десять! — крикнул за ним я, бросая платок и вновь заряжая винтовку.

Позиция красных была обнаружена. Она тянулась за картофельным полем, вдоль узкой, заросшей травой канавки. Но и красные опустили прицел. Двоих из нашей роты ранило. Один уже уползал в тыл, быстро, как плавающая собака, перебирая руками. Дальше, в кустах картофеля, другой, обняв колени, качался, как «ванька-встанька», и высоко, по бабьи кричал.

— Прицел восемь! — командовал ротный.

* * *

С новой силой заработали пулеметы. Над канавкой, где залегли красные, заплясала бурая пыль.

— Господин прапорщик! Сейчас, сейчас драпнут! — закричал Миша. — Ну и быют пулеметчики!.. — Он выполз вперед и, приподнявшись на локтях, стал смотреть перед собой. Вдруг круто, по-кошачьи, выгнул спину, на минуту так, мостом, застыл и грузно рухнул. Его фуражка полетела на землю. Вот еще раз взлетела она в воздух. Козырек, отскочив, полетел в сторону. И снова, в третий раз, взлетела фу-

ражка. Ну и черт!.. Здорово!.. Какой-то далекий пулемет играл ею, как мячиком.

«...Нога у Миши... Нет!.. Не подойдут...» — думал я, вновь пряча ступни от солнца. Потом вновь поднял голову.

Лежащих солдат я не видел. Видел лишь сапоги, каблукми ко мне, над ними — края фуражек.

* * *

...Соседняя 5-я рота далеко перебежала вперед. Потеряла с нами живую связь. Сейчас или поможет нам, открыв по участку красных фланговый огонь, или сама будет с фланга обстреляна. Тогда — беда!.. Но капитан Туркул уже подтянул правый фланг нашей роты.

— Бегут! Бегут! — закричал Нартов.

Мы вскочили и пошли, вскидывая в плечо винтовки.

Миша лежал, уткнувшись лицом в землю, скрючив под собой руки... Мимо!..

Уже и левый фланг серпом зашел вперед. Нужно ускорить шаг... Кажется, левый фланг даже тронул город.

— Цепь, бегом!

Мы побежали.

— Ура! — кричала рота.— Ура-а-а!

Я бежал, хромя и подпрыгивая. Споткнулся о брошенную на землю винтовку, упал...

— Ур-а-а-а! — гудело надо мной. Над головой мелькнула пара чьих-то сапог. Я опять вскочил.

— Четвертая, не отставай!.. Четвертая! — кричал капитан Иванов.

...Вот и канава. В ней — куча пустых гильз. Обоймы. Брошенный раненый корчился, как червь под лопатой.

Снять?..

Я схватил его за ноги, но он дико закричал, вскинув руки в небо. Я бросил его и вновь побежал. Последним в цепи...

Бежал, хромя.

Эти проклятые ноги!..

* * *

Под самым городом мы наконец замедлили шаг. На окраине остановились.

Горячий от солнца штык обжигал лицо и руки. Но я не подымал головы. Не отнимал рук от штыка. Стоял, прислонившись к винтовке, медленно подымая то одну, то другую ногу... Ноги горели.

На белых стенах халупы виднелись следы наших пуль — серо-зеленые пятна. Из них сыпалась сухая глина. Выше, в тени, под самыми крышами, расплзались подтеки. Еще не подсохло. Окна халуп были забиты ставнями. Одно окно — убогого крайнего домика — было разбито. На подоконнике лежали черепки цветочного горшка и комочек сухой земли. Под окнами, корнями вверх, валялся сломанный кустик фуксии. Под забором возле канавы издыхала лошадь. Она лежала на спине, подняв кверху неподвижные ноги. Ноги торчали, как оглобли брошенной рядом подводы. Лишь одна нога, передняя, еще дергалась. Била копытом воздух. Дальше, в глубь улицы, под покосившимся фонарем, лежал убитый. На спине его, как горб, вздувалась гимнастерка.

«Вот, наконец обуюсь!» — подумал я.

Подошел.

Черт! Он был уже без сапог...

Вечером я пошел к штабу полка.

— Идите в комендантскую! — сказал мне адъютант.

На дворе комендантской команды лежали убитые. Плечом к плечу. Их было немного — человек пятнадцать. Миша, как и у меня в отделении, лежал на фланге. Его волосы были взъерошены. Одна прядь, черная от запекшейся крови, падала на лоб. Миша держал указательный палец кверху. Точно слушал что-то...

— Вот, прапорщик, пригоните себе обувь! — сказал мне адъютант.

...Ноги. Еще ноги. Много, много ног. В сапогах и без. Грязные, запыленные...

Я пытливо присматривался: которые сапоги на мою ногу?

Наконец подошел к одному из убитых. Лица его я не видел. Оно было прикрыто соломой. Я взял его за ногу. (Какая тяжелая нога!) Сапоги слезали туго. Нога уже остыла и в ступне не сгибалась.

— А ну, сильнее! Сильнее! — подбадривал меня адъютант.

Я рванул со всей силой. Сапог слетел с ноги. Убитый подался вперед. С лица его сползла грязная, пропитанная кровью солома. Я увидел клочок бороды, пол-лица. Еще ниже сползла солома... Поручик Сычевой, он!..

— А вы не знаете, где его портсигар остался? — неожиданно для себя обратился я к адъютанту.

— Какой портсигар?

Но мне уже не хотелось разговаривать.

— Портсигар у него был... Серебряный.

— Нет, не знаю!

На губах у поручика Сычезова был пузырек кровавой пены. Один глаз, плоский и мутный, смотрел прямо на луну. Другой заплыл щекою. Лицо его было распухшее, точно искусанное осами.

Я торопливо стянул второй сапог.

— Благодарю вас, господин адъютант!

— За что это?

Адъютант засмеялся.

Я взял сапоги под мышку и пошел к штабу.

Полковник Румель, командир 2-го офицерского полка, поздравил меня к себе.

— Вы пока остаетесь в офицерской роте. Для сегодняшнего дела в ней недостаток штыков.

И, запахнувшись буркой, он отошел в сторону.

На Богодухов со стороны Кириковки вновь наступали красные. Слева по линии железной дороги стояли роты какого-то, не «цветного» полка, сформированного из пленных красноармейцев.

Наша офицерская рота, рассыпанная цепью у них в тылу, ловила дезертиров.

Меня поставили часовым возле штаба.

Таким образом мне не пришлось идти с офицерской цепью.

Вдали трещали пулеметы. Ухала артиллерия. Было темно. Лишь изредка над крышей вокзала появлялась луна и заливала синими лучами тугие и блестящие полосы рельсов.

...Прошел бронепоезд.

Я всю ночь простоял без смены. Когда стало светать, меня наконец отпустили в роту.

В саду, за сторожкой, в которой был расположен штаб полка, толпились солдаты комендантской команды. В открытую калитку сада входили, ведя пойманных дезертиров, взводы офицерской роты.

— Десятого, господин капитан, аль пятого? — услышал я за собою.

Я быстро пошел к городу.

...Когда, немного отойдя, я вновь обернулся, на крайнем дереве сада уже раскачивались два дезертира.

Солнце как раз всходило. Дезертиры висели к нему спиной. Спины у них были красные.

Сломив красных под Кириковкой, Дроздовский полк стал продвигаться вперед, почти не встречая сопротивления.

Полк был посажен на подводы. Район сахарных заводов обогатил наши обозы подводами сахарного песка. Весь день, сидя на подводах, офицеры и солдаты держали на коленях котелки и деревянными расколовшимися ложками усердно взбивали «гоголь-моголь».

Лишь прапорщик Морозов «гоголя-моголя» не сбивал.

— Бегать и клянчить... Ну-у, господа, не очень это...

— Да кто ж клянчит, голова вы садовая?

Не сбивал «гоголя-моголя» и вольноопределяющийся Ладин. Впрочем, его никто в роте не замечал.

2-й офицерский Дроздовский полк развернулся в Дроздовскую бригаду, состоящую из 2-го и 4-го полков. Я остался во 2-м полку, но перешел в 6-ю роту, команду над которой принял поручик Ауэ, старый доброволец. С нами в 6-ю перешли все офицеры и солдаты 4-го взвода 4-й роты, кроме поручика Барабаша, который стал помощником капитана Иванова, а вскоре и сменил его. Капитана Иванова, где-то, кажется под Тростянцом, убило.

Достигший популярности, произведенный в полковники Туркул был назначен командиром нашего 2-го полка. Полковника Румеля я больше не видел. Уже зимой, когда в армии свирепствовал тиф, мне рассказывали, что полковник Румель — бывший командир Дроздовского полка — умер забытым в теплушке какого-то санитарного поезда и что крысы отъели обе его щеки.

* * *

...По дороге клубилась пыль. Вода во флягах быстро нагревалась. Мы терпели жажду от деревни до деревни. Впереди головной роты шла команда конных разведчиков. Подъезжая к деревням, команда рассыпалась в лаву, а полк, не слезая с подвод, останавливался.

— Послушайте, а где война? — шутил Нартов. — Пош'йте, как говорят гвардейцы...

Смело мы в бой пойдем
За Русь любимую,—

запевал, покачиваясь на подводе, Свечников.

И, как один, умрем
За неделимую! —

подхватывали идущие с нами эскадроны какого-то гусарского полка.

Мы прошли станцию Смородино, Басы, с двух сторон быстрым налетом взяли Сумы и, на ходу развертываясь в Дроздовскую дивизию, продвигались к Белополью.

Поля были сжаты. На кустах курчавились листья. Лето уже кончалось...

— Пехотным полкам всегда не везет! — ворчал унтер-офицер Филатов, когда, гремя по камням, подводы въезжали в узкие улицы Белополья. — Весь день трясись на подводе, потом последним въезжай в город! Нет, разве не досадно? Проклятые конники позанимали лучшие квартиры!

Мы подъехали к одноэтажному домику с задранной с одной стороны крышей.

— Не изба — конура собачья!.. — Филатов досадливо махнул рукой. — Не жизнь, — с жизнью и примириться можно, — жистянка! — И, соскочив с подводы, он вскинул на плечи два вещевых мешка.

— Извольте видеть, своих вещей мало! Ладин еще ошастливил. Один — чудаком, другой — дураком. Черт!..

На дворе возле колодца толпились солдаты. Нартов, произведенный в ефрейторы, распорядился:

— По очереди! Подходи по очереди!

Он держал перед собой деревянное ведро, обгрызанное с краев лошадиными зубами. Солдаты, не отрываясь, пили медленно, как лошади...

Над дверью хаты висела ржавая подкова. О ступени, крытые пестрым ковриком, терлась желтая собачонка. Собачонка скалила зубы.

— А ну, хозяйка, гостей встречай-ка! — крикнул Филатов, вместе со мною входя в избу.

Через пять минут 1-е отделение уже сидело за столом и пило парное молоко.

— Рожа у хозяйки — овечья, да ничего: душа зато — человекья! Еще, господин прапорщик?

Солдаты гоготали.

* * *

За окном проходил полк. За подводами, низко по земле ползло облако пыли. Лес штыков, золотой от солнца, был част и ровен.

— Господин прапорщик, взгляните только, как четвертый батальон растянулся! — сказал Нартов, вытирая молоко

с безусых, растрескавшихся под ветром губ.— Взгляните, мешки с сахаром, и еще — мешки.

— А что? На Украине ведь воюем! — Свечников тоже обернулся к окну.— А вот и апостол! — Он засмеялся.— Смотрите, непротивленца ведут.

За кухнями, на подводе с арестованными, без винтовки и в распоясанной шинели, сидел вольноопределяющийся Ладин. Он смотрел в небо, свесив ноги с подводы.

— Вещевой бы мешок ему снести. Как-никак, ведь пятый день под арестом. Умыться, или что...

Солдаты взглянули на Филатова и, в ожидании очередной шутки, уже приготовились засмеяться. Но Филатов упрямо замолчал.

Стало тихо. Лишь только один стакан звякал о горшок. Это Свечников опять уже наливал себе молоко.

* * *

Было утро... Я сидел на лавке и чинил распоровшийся подсумок. На улице, за открытым окном, гулял петух. Водил за собой трех кур с мохнатыми, как в штанах, лапами. Солдаты дразнили желтую собачонку. Она хватала их за ноги и злобно грызла сапоги.

— Олимпиада Ивановна, ну чего ж печалиться! — сказал я хозяйке, которая, охая и вздыхая, ходила по комнате.— Отнесете часы в починку, и дело с концом.

В первый же день нашей стоянки в Белополье мы с прапорщиком Морозовым узнали от Олимпиады Ивановны историю всей ее жизни. Радуюсь новым людям, Олимпиада Ивановна рассказала нам и про своего мужа, расстрелянного каким-то проходившим через город атаманом, и про часы, подаренные мужу в день его 25-летней службы училищным сторожем, и даже про Наташку, девочку свояченицы, что помогала ей, теперь одинокой, по хозяйству.

— А знаешь, старуха на границе помешательства... Вот они — осколки быта,— сказал прапорщик Морозов после беседы с хозяйкой, уходя к себе во взвод.— Видел, как она часы покойника гладит? А сколько... черепков этих.

— Склеим, прапорщик.

— Не всё, брат, клеится, вот что!..

Когда я вернулся к себе в халупу, Олимпиада Ивановна была на кухне. Над открытым комодом в ее комнате стоял Свечников.

— Вы что это тут?

Свечников вздрогнул и быстро зажал в кулаке часы Някифора Степаныча.

— Добровольцев, сволочь, позорить! — И, схватив часы за цепочку, я рванул их. Цепочка порвалась, а часы, упав на пол, брызнули на коврик разбитыми стеклышками.

И вот уже второй день аккуратно собранные стеклышки лежали на комод. Часы не шли...

* * *

...Желтая собачонка за окном жалобно повизгивала.

Кто-то дал ей сапогом под живот. Потом солдаты расступились, — очевидно, пропуская офицера.

— Олимпиада Ивановна, а есть у вас в городе часовщик? — вошел в комнату прапорщик Морозов.

— А как же, служивый! Есть, как же!.. Зелихман. На Торговой живет.

Прапорщик Морозов вынул бумажник.

Когда Олимпиада Ивановна побежала к Зелихману, мы подошли к окну.

— Выйдем, что ли?

— Эй, крупа! — кричали веселые кавалеристы, колоннами проезжая по улице. — Расступитесь! Конница идет!

— Мой ход. Мой! — горячился Свечников.

— Не зазнавайся! Валет, брат, что подпоручик, дамских боится ручек... Ход твой, да взятка моя.

Свечников проигрывал.

Прапорщик Морозов размазывал ногой жидкую грязь, нанесенную в комнату сапогами. «И откуда грязь? — думал я. — На дворе жара... земля растрескалась...»

— А дома ли тетка Лимпиада? — вдруг услышал я чей-то тонкий, в гул солдатского смеха забежавший голосок.

На пороге стояла девочка. На ней было розовое — как весенняя черешня — платье. Коротенькая косичка не свисала вниз, а стояла на макушке, как опрокинутый вверх точкой восклицательный знак.

— Наташка! — догадался прапорщик Морозов и ласково улыбнулся.

— К Олимпиаде Ивановне, милая?

— К тетке.

— А ее нет!

Минутку девочка молчала.

— А у нас на дворе тоже солдаты!..

— Ну и сказала! По существу! — засмеялся Филатов, взглянув на нее из-за развернутых веером карт. — Из пулемета

та да бомбой! — ни в село ни в город, — ни в бровь ни в глаз!
— Только наши с лошадьми. Конные наши... Ну и крику!

— Кто ж, Наташка, кричит? Солдаты?

— Соловейчик кричит, портной. Солдаты его за бороду таскают. Давай, кричат, деньги, жидовская твоя харя!

Прапорщик Морозов встал.

— Я выйду!..

...Я долго глядел на грязные следы, оставленные им в комнате.

Нартов стоял под воротами, положив подбородок на ствол винтовки. Дневалил.

Я вышел на улицу. Ночь была тревожная. Сна не было.

На дворе, не раздеваясь, при патронташах и подсумках, спали солдаты. Роту каждую минуту могли поднять и бросить на позицию. Бой подкатился к самому Белополью. Было слышно, как трещат пулеметы. Отдельные ружейные выстрелы раздавались и в городе.

«И кто это стреляет?» — подумал я.

Нартов смотрел на восток. По другую сторону улицы бродил дневальный 1-го взвода. Тоже то и дело подымал голову. Всех дневальных, всех рот и эскадронов, у белых и у красных, из ночи в ночь мучат те же мысли: скоро ли утро?

Но звезды в небе еще не бледнели. Их золотые потоки скользили вдоль темного неба. Вдоль тишины над крышами скользил ветер...

Я уже входил в ворота нашего двора, когда услышал вдруг тревожный оклик Нартова:

— Эй, Синюхаев, откуда?

Сквозь темноту улицы бежал длинный, тощий вольноопределяющийся 5-й роты.

— Красные под городом — вот что случилось!.. Да отвяжись! Связной я. Некогда.

И, вскинув под руку винтовку, Синюхаев побежал дальше.

— Синюхаев, эй, Синюхаев! — вновь закричал Нартов. — Да подожди ты! Эй! Что за пальба в городе?

Винтовка Синюхаева звякнула.

— Гусары — мать их в сердце! — отходят. Часовщика изловили. Кто? Да гусары! Схватили жида за шиворот и мордой в стекло оконное. Ну, бегу. Пальба? Ах, господи! Некогда! Да первый эскадрон по второму бьет. Каждому, черт дери, часики хочется!

— Эй! Что случилось? — подбежал дневальный 3-го взвода.

Но Синюхаев уже скрылся в темноте.

* * *

Светало... Прапорщик Морозов сидел во дворе своего взвода.

— Нет, говорят, отходить не будем, — сказал он, когда я передал ему разговор Нартова с Синюхаевым. — Туркул бросит в контратаку. Только что у меня поручик Ауэ был. Из штаба... — На минуту прапорщик Морозов замолчал. — Но я о другом... За Ладина побиваюсь, — уже тише продолжал он. — В штабе кавардак, — где там теперь возиться!.. Поделом или нет — не нам судить... А жалко!

«И откуда это запоздалое толство!» — думал я, вспоминая, как неделю тому назад вольноопределяющийся Ладин, бросив винтовку на землю, отказался идти в разведку.

«Эх! не поздоровится!..»

По дороге, взбрасывая копытами красную пыль, летел конный ординарец.

— Строиться! — крикнул он, и красная пыль за ним понеслась дальше.

Мозоль попала под складку портянки. Хорошо бы переобуться, да где там!

— Реже!

«В бой, — говорил постоянно поручик Ауэ, — рота должна идти как на учение».

— Ре-же!.. Ать, два!..

— Мы с тобой не тужим, для веселья служим, — шутил, перегнувшись к соседу, унтер-офицер Филатов. — День в карты играем, день по врагу стреляем...

— Отставить разговоры!.. Ре-же! — И поручик Ауэ обернулся ко мне: — Прапорщик, подтяните!

Под моими глазами качалась сутулая спина рядового Бляхина, несколько дней тому назад переведенного к нам из комендантской команды.

«И в ногу ходить не умеет, — думал я, — и штыком болтает...»

— Прапорщик Морозов! — вновь закричал ротный. — Научите Бляхина носить винтовку. На одиночном...

— Ре-же!

Около штаба полка мы остановились.

Прапорщик Морозов, временно оставшийся за ротного, роты распускать не хотел. Послать к колодцу по одному штыку со взвода...

— За водой! Живо!

Я также пошел к колодцу — переобуться и омыть до крови растертую ногу.

Филатов и еще два солдата, с головы до ног обвешанные флягами, возились над ведром. Наполняя фляги, они топили их под булькающей водой. Но фляги легкими поплавками вновь всплывали кверху, ударяя солдат по пальцам. Филатов смеялся.

Бляхин, посланный от 1-го взвода, бродил немного по-одаль, по огороду. Набивал огурцами карманы широких штанов.

— Гляньте-ка! — вдруг крикнул он, склонившись над грядкой, — солдат тут лежит!

Подбородком в землю, под черным саваном мух, разжав брошенные в кровь ладони, у ног Бляхина лежал Ладин. Бляхин пытался заглянуть ему в лицо, гнал мух, толстой корой облепивших небритые щеки расстрелянного. Но мухи, сытые и тяжелые, не улетали. Только подымались и, висая в воздухе, лениво и сонно гудели. Филатов снял фуражку.

— Свой ведь, господи! — перекрестился...

— Свой, говоришь? — Бляхин медленно повернул к нам плоские, как медяки, глаза. — Жаль своего человека... Видно, долго человек мучился... А коль не допускать этого желательного, так не в грудь, говорю, — в ухо целить нужно... Боком и — раз! — гладко!..

Рота на дороге уже подравнивалась.

И опять:

— Ре-же!..

На окраине города стоял серый, заплеванной грязью дом, навалившись на дорогу разнесенным крылечком. В пыли под окном лежали осколки стекла. Над выломанной дверью болталась полусодранная вывеска:

«ПОЧИНКА ЧАСОВ М. Л. ЗЕЛИХМАНА».

— Прощайся с часами, Олимпиада Ивановна! Конечно! — сказал кому-то за мной вольноопределяющийся Нартов.

— Конники их по очереди носить будут. Во-и-ны!..

— Во-и-ны!..

- Отставить разговоры! — бросил из строя Свечников. Нартов посмотрел на него и улыбнулся:
— У петуха — перья, у дурака — форс... Эх, ты-и!..

* * *

За пригорком прыгала ружейная пальба... Поручик Ауэ бродил по перрону. Скучал.

— В бой, так в бой!.. Нечего!..

Прапорщик Морозов крутил папиросу за папиросой. Скучал тоже... Я вышел с ним на вокзал, где, составив винтовки, расположилась 5-я рота.

— Забавно, ребята!.. — рассказывал Синюхаев собравшимся вокруг него солдатам. — Штаб она, понимаете, ищет... Какой тебе, старая, штаб?.. А она: главный!.. Да по делу какому? За часами я, служивые!.. Забавно! — Он засмеялся и, сняв малиновую дроздовскую фуражку, стал о колени стряхивать с нее пыль.

— Идемте, ребята! Сейчас старуха к батальонному пошла. У батальонного часы требовать хочет. Давай часы, и никаких гвоздей! К генералам, говорит, пойду! К главным.

— Что? Ну, конечно спятила!..

— И никто не знает, какие часы, да откуда...

— Олимпиада Ивановна! — узнали мы, но пойти к ней не успели.

— В ружье!

Вдоль красных от вечернего солнца рельсов шли роты. Впереди роты вырастал бугорок. Две березки на нем обрисовывались все яснее и яснее...

— Ре-же! — командовал поручик Ауэ...

Разбив красных за Белополем, дроздовцы пошли на северо-восток — к станции Кореново. Дроздовская бригада уже развернулась в Дроздовскую дивизию, причем 2-й офицерский полк был переименован в 1-й стрелковый имени генерала Дроздовского, а 4-й — во 2-й. Команду над вновь сформированным 3-м полком принял полковник Манштейн, — «безрукий черт», — в храбрости своей мало отличавшийся от Туркула. Он не отличался от него и жестокостью, о которой, впрочем, заговорили еще задолго до неудач. Так, однажды, зайдя с отрядом из нескольких человек в тыл красных под

Ворожкой, сам, своею же единственной рукой, он отвинтил рельсы, остановив таким образом несколько отступающих красных эшелонов. Среди взятого в плен красного комсостава был и полковник старой службы.

— Ах, ты, твою мать!.. Дослужился, твою мать!.. — повторял полковник Манштейн, ввинчивая ствол нагана в плотно сжатые зубы пленного. — Военспецом называешься! А ну, глотай!

* * *

Перейдя около Кореново линию железной дороги, 1-й Дроздовский полк вновь встретил упорное сопротивление красных, которые бросили в бой матросские части. В первый раз за время моей службы в полку дроздовцам пришлось окопаться.

...Всплыло утро. Над узкой, как Стоход, Снакостью клубился туман. Мы только что отбили третью за ночь атаку матросов. У меня вышел табак, и, пользуясь затишьем, я заполз в окопчик прапорщика Морозова.

— Что ты скажешь? — спросил я, слюнявя сигарку.

— Хорошо дерутся...

— Нет, я не о том!.. Я о Манштейне...

Но Морозов не успел ответить. К окопчику подползал рядовой 1-го взвода Степун.

— Господин прапорщик, прикурить разрешите?

Прапорщик Морозов протянул ему огонек.

— Разрешите, господин прапорщик, спросить?..

— Что, брат?

— Разрешите узнать, правда ли, что Козлов уже казаками занят?

— Да, взят... Генералом Мамонтовым.

Степун вздохнул.

— Что это ты? А?

— Моя деревня под Козловом будет...

— Ну?

— Да вот боюсь я, как бы не грабили они, — казаки-то наши...

Вдоль окопчиков полз Филатов. Раздавал патроны.

— Меньше, братва, стреляй. Бери в плен, Манштейну товар доставляй...

Туман за окопами редел.

Над Снакостью — перед окопами — туман рассеялся только в полдень.

Опять — густо, цепь за цепью, — наступали матросы. Без перебежек, не ложась, шли они по открытой, плоской равнине. Нами был пристрелян каждый кустик, и ближе как на шестьсот шагов матросы подойти не могли. Но редела и наша окопавшаяся цепь.

Наблюдая за стрельбой своего взвода, я приподнялся из-за окопчика.

— Свечников, головы не прятать! — закричал я, заметив, что Свечников стреляет не целясь, уйдя с головою за бруствер и журавлем колодца выставив вверх винтовку.

— Свечников! Свечнико-ов!

Но Свечников еще глубже ушел под бруствер.

«Ну, я его!» Я вскочил и пошел к его окопчику.

— Ложись, ложись! — закричал мне прапорщик Морозов.

Но было уже поздно. Меня подбросило и с новой силой ударило о землю. Кажется, я вскрикнул.

Минуту я пролежал тихо, следя, как из правой ноги густым потоком струилась боль. Портянка в сапоге намокала. «Надо встать. Добьет...» Но встать я не мог — раненая нога вновь тянула к земле.

— ...А ну, здоровой подсобите... Так!.. Здоровой ногой!..

Нартов волочил меня в кустарник... За кустарником поднял и, обняв за плечи, повел на перевязочный пункт.

Над бузиной около дороги метались воробьи. Тощая собака в канаве трепала какой-то длинный окровавленный бинт. С заборов сползало солнце.

Я прыгал на одной ноге, правым плечом навалившись на левое Нартова.

— Не страшно, господин прапорщик! — сказал фельдшер, наскоро сделав мне перевязку. — Ранение междукостное... Ну, трогай! — Он положил мне под голову мой надвое распоротый сапог и махнул рукой, подзывая следующую, еще не нагруженную подводу. Наша тронулась.

— Прощай, Нартов! Спасибо!

Некоторое время Нартов шел рядом с нами.

— Ну, иди в бой... С богом!..

Подвода пошла быстрее. Раненые застонали.

...Кажется, мы уже подъезжали к вокзалу. Глаза мои были закрыты. Палило солнце.

— Да говорят, не налезай! Пошла вон! — отгонял кого-то возница.

— Мне про генерала, служивые, узнать бы... про главного...

Я открыл глаза.

За подводой, перегнувшись к нам, шла черная от загара и пыли Олимпиада Ивановна...

ЭВАКОЗАБОТЫ

Поезд шел, раскачиваясь...

В Сумах наши три санитарные теплушки включили в состав пассажирского.

— Негодяи! К самому хвосту,— негодяи,— прицепили! Ну и трясет! — ворчал раненный в плечо поручик Бронич.— И солому сменить лентясы... Эй, санитары!

— Господи! Бог ты мой!.. Го-спо-ди!..— Молодой солдат-кавалерист, раненный в живот, шаркал по полу разжатыми ладонями.— Санитар, испить бы!.. Са-ни-тар!..

— Санитар, эй! — подхватил кто-то.

— Санитар!

— Сестра!

— Сволочи!..

В теплушке, кроме раненых, никого не было.

...Над крышей гремел ветер. Когда на каких-то маленьких станциях поезд останавливался, за черной щелью наших дверей гудели телеграфные провода. Но вот провода загудели с обеих сторон теплушки.

Мы приближались к Харькову.

В Харькове мы подъехали к пассажирскому вокзалу.

— Испить бы, о го-спо-ди, и-испить!..

— Вот подожди, разгрузать будут.

Я подполз к тяжелой двери. Окровавленный и грязный солдат-марковец помог мне раздвинуть ее, и я выглянул на перрон.

Из соседних вагонов выходили пассажиры. Сейчас же за нашей дверью рыхлая, со всех сторон закругленная дама в засос целовала какую-то плоскую девицу в шляпке с василь-

ками. Мимо них, потряхивая коробкой конфет, пробежал высокий седой мужчина в английском пальто нараспашку.

.. Два толстяка в пенсне подзывали пальцами носильщика.

— Господа! Позовите врача. Господа, да послушайте!..

К теплушке никто не подошел.

— Э, вы там — с чемоданами! Тыловое сало!..

Наконец вагоны рвануло.

* * *

— Это же — это же — это же, черт — черт знает, что такое!.. Мане-врируют!.. Ой, трясет!.. Доктор! Это же черт... 'ой, док-тор!..

Поручик Бронич схватился за ключицы, качнулся вперед, но вагоны опять рвануло, и он повалился спиной на солому. Солдат-марковец стоял на коленях. Тоже раскачиваясь, пытался держать перевязанную руку на весу.

— А для ча страдать и маяться? Для ча это, коль они по справедливости не поступают?..— ворчал он глухо.— Буржуёв, как водится, повыпускали, а на разгрузку опосля только, мать их в тринадцать гробов чертову дюжину!

— Го-спо-ди, испить бы!.. О, господи-и-и!

...Поезд разбивали. Наши теплушки подбрасывало и толкало.

— Ах, так! — вдруг не выдержал поручик Бронич.— Так?..— И, выхватив наган, он стал стрелять в потолок теплушки — раз! раз! раз!

— Доктор-р-р!..

Когда на вокзале Харьков-Товарная нас, наконец, стали разгружать, солдат-кавалерист уже не просил пить. На носилки его не положили. Взвалили на плечи.

«Мертвый!..»

* * *

По разгрузке работали санитары-студенты.

Нога моя ныла. Мне казалось — брезент носилок пропитан кровью, и я закрыл глаза.

— Да вы ли это? Какая встреча!..

С повязкой Красного Креста вокруг рукава надо мной стоял Девине. Я взглянул на него, удивленный:

— Вы?

— А как же! Работаю. Как же! — быстро заговорил он.— Искупаю, так сказать, вину перед родиной. А вас и не узнать, господи!.. Ваш дядя... Да я сейчас же...

— И вас не узнать! — перебил его я.— Толстеете?— Ну, ничего, ничего... искупайте!.. Видно, впрок вам идет... Желая казаться обиженным, Девине заморгал глазами. Потом нас понесли.

Над освещенной фонарями площадью летали ключья грязных бумаг. Какой-то мальчишка свистел, засунув в рот два пальца.

Город жил своей жизнью.

В палате распределительного пункта пахло потом и гноем.

Я лежал на одной койке с поручиком Броничем. Свободных мест не было.

К вечеру привезли новых раненых, тоже дроздовцев, но 2-го полка, изрубленных шашками червонных казаков, проравшихся к нам в тыл под Суджей.

— Гнались за обозами, и — по головам, по головам!.. — рассказывал раненый писарь с мутными, как у плотвы, глазами.— Ну, господа офицеры, и время же, позвольте доложить вам! Чтоб писарей да рубили!..

Под утро запах гноя стал сильнее. Перебил даже запах йода. И опять мне казалось,— гноем пропитаны и тюфяки, не покрытые простынями, и красные без наволоков подушки, и грубые рубашки, без пуговиц и тесемок.

— С буржуёв бы постричь следовало!..— Солдат-марковец не имел даже своей койки, а потому ругался то в одном, то в другом углу палаты.— Чтоб так да страдать!.. Да за даром!..

— В операционную!.. В операционную несите!..— кричал за дверью доктор.— Остолопы!.. Назад!.. Не четырех же зараз, остолопы!..

За окном палаты уже светало. В коридоре было еще темно. В дверях толпились растерявшиеся санитары. Электрическая лампочка за дверью перегорела.

— Сюда!.. Да людей несете,— не толкаться!..— кричал из темноты доктор.— Ос-то-ло-пы!..

* * *

— Я, прапорщик, уже позвонила,— сказала мне под утро дежурная сестра.— 35-43?.. Верно?..

Но дядя пришел только ввечеру.

Лежа на спине, я рассказывал ему о последних боях. Когда же, удивленный его молчанием, повернул к нему голо-

ву, то увидел его наполовину съехавшим со стула, с головой, уроненной на белый, крахмальный воротник.

— Сестра!..— закричал поручик Бронич.— Здесь человеку дурно!.. Сестра!..

Дядя не вынес запаха гноя...

Я дергал дядю за руку, ставшую вдруг мягкой и влажной.

— Да что это?.. Господи!.. Да встань, наконец!.. Да встаньте!..

— Ты!.. Опять — буржуи, буржуёв!..— кричал за моей спиной поручик Бронич.— Да я тебя, большевик, выучу! Встать, как полагается!..

Наконец подбежала сестра.

— ...Замашки твои большевистские! — все еще кричал за мной поручик.— Твои... твои... Встать, матери твоей черти!

Сестра около нашей койки возилась над дядей, а в дверь палаты вносили все новых и новых раненых.

Дядя пришел вновь только через два дня. В палату войти он побоялся. Я взял костыли и вышел в коридор.

— Сейчас поедем,— объявил мне дядя.— Нечего ждать у моря погоды. Я уже переговорил с главным врачом. Ну и в хороший лазарет я тебя устроил. О! замечательный лазарет. Таких у нас раз, два и обчелся. Имени генерала Шкуро. Не слышал? В Технологическом!..

— Не сердитесь и не осуждайте,— говорила через десять минут сестра, застегивая мне шинель.— Недостаток рук... Дисциплины никакой... Ну, прощайте. А костыли верните... Нет у нас лишних... Пришлете?.. Ну, хорошо... До свиданья...

Держась одной рукой за перила, другой опираясь на костыль, я медленно сходил с лестницы. Дядя шел рядом. Гордо держал в руке мой второй костыль. В подъезде стояла молодая, хорошенькая сестра. Возле нее — человек шесть санитаров-студентов...

ЛАЗАРЕТ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА ШКУРО

Прошло недели три... За окном офицерской палаты лазарета имени генерала Шкуро зеленел сад Технологического института. Когда по саду скользило солнце, с койки моей было видно, сколько желтых и буро-коричневых листьев нагнала уже на деревья осень.

Офицеров Добровольческой армии в палате почти не было. Преобладали казаки, донцы и кубанцы.

Тяжелораненные весь день стонали и мычали. Поправляющиеся играли в карты. День уходил за днем, и мне казалось — им не будет конца...

* * *

— Господа офицеры! Господа! — засуетилась однажды утром сестра нашей палаты, Кудельцова. — Господа, сейчас наша патронесса придет... Ах, поручик, смахните с одеяла крошки!.. Пятно, говорите?.. Просочилось?.. Есаул, голубчик, поверните подушку... Я после...

По палате, почему-то быстро оглядывая стены, пробежал главный врач. Санитары метались, держа в руках еще не опорожненные «утки». Под образами, в заднем углу палаты, старшая сестра торопливо выдавала чистые полотенца.

— Идет! Идет!..

Сестра Кудельцова оправила косынку и, вытянувшись, встала около дверей.

...Дама-патронесса медленно обходила койки. Над каждой останавливалась и, поднимая к лицу лорнет, дарила раненых ласковыми улыбками. За ней следовал высокий, белый юноша в штатском. По указанию патронессы он раздавал табак и папиросы. Когда патронесса подошла ко мне и, оттопырив мизинец, потянулась за лорнетом, — я поднял одеяло и натянул его через голову.

Мне ни табаку, ни папирос патронесса не оставила.

«Да здравствует самостийная Кубань!» — следующей ночью написал кто-то на белой стене палаты.

...На стене играло утреннее солнце. Сестры с градусниками в руках бродили между койками. Надписи долго никто не замечал.

— Я, господа, давно уже напирал... И в Ставке твердил, и везде... — не торопясь, густым басом, гудел больной ревматизмом полковник, первым заметивший надпись. — Наш ОС-ВАГ ни к черту, господа, не годен!.. Чтоб среди офицеров... Да в офицерской палате...

Он сидел на койке и отхлебывал только что принесенный чай.

— Да знаете ли вы, что у большевиков, в смысле, так сказать, единой идеологии...

Его перебил главный врач. Он вбежал в палату, размахивая в воздухе стетоскопом.

— Господа, взят Курск! Ура славным марковцам!..

Кто мог, вскочил с коек. Другие присели.

А сестра Кудельцова, намочив полотенце, уже стирала со стены последнее слово надписи: «Кубань...»

Прошло несколько дней. Приказом по армии генерал Деникин переименовал всех прапорщиков в подпоручики.

Старые подпоручики были недовольны:

— Ну, а мы?..

Вечером того же дня прапорщики, произведенные в подпоручики, пили коньяк «три звездочки»: «кавансом на новое производство» — и смеялись в коридорах до полуночи.

* * *

И опять прошло несколько дней. Вечерело...

— Да, — рассказывал мой сосед слева, есаул 18-го Донского Георгиевского полка, подсевшему к нему юнкеру Рынову, моему соседу справа. — Было это так — черт порви его ноздри... «Расстрелять!» — приказал командир полка. Взял я тогда этого матроса: «Ша-лишь — я тебя по всем правилам!»... Ну хорошо!.. А он — ни глазом не моргнет. Стоит перед отделением, и хоть в кальсонах одних да в рубаше, черт порви его ноздри, а гордый, что твой генерал... «По матросу, — скомандовал я тогда, — пальба отделением, от-де-ле-ние...» Выждал... Думаю, дам ему время бога припомнить. А матрос — ни глазом. Прямо фланговому на мушку глядит и улыбается, сука. Поднял я руку, хотел уже — пли! — скомандовать, а тот как рванет на себе рубашу! Смотрю, а на груди у него орел татуированный. Двуглавый, с державой, со скипетром... «От-ставить! — скомандовал я. — К но-ге!» Пошли, черт порви его... Привел я матроса в штаб... порви его ноздри!.. Так и так, говорю, господин полковник. Приказания вашего не исполнил. Не могу заставить казаков целить в двуглавого орла. «Правильно!» Полковник наш старой службы вояка. «Таких, говорит, не расстреливают. Руку!..» Руку мне пожал... Да...

Есаул замолчал.

— Позвольте, господин есаул, а что с матросом стало? У нас он остался?

— Убег, черт порви его ноздри! — Есаул сплюнул. — В ту же ночь... Вот!.. А вы говорите: гу-ма — гу-ма-ни... или как там еще... Эх, юнкер!

Среди пяти сестер офицерской палаты сестра Кудельцова была самой ласковой.

— Ну и девчонка, поручик, скажу я вам! — бросил мне как-то вечером есаул, провожая сестру Кудельцову глазами. — С такой бы, знаете, ночьку провести! А?

Юнкер Рынов злыми глазами посмотрел на есаула, повернулся и лег на другой бок к нам спиной.

...Зажглись голубые ночные лампочки. Вечерние — желтые — уже потухли. К окну склонилась луна. Ее лучи, сплетаясь с голубым светом лампочек, ползли между койками, цепляясь за края серых одеял. Под койкой юнкера Рынова они отыскали брошенную на пол гармонь-двухрядку и, упершись, остановились.

— Санитар! Утку! — просил кто-то.

Я встал, взял костыли и вышел.

Когда я вернулся, раненые в палате возбужденно разговаривали.

— Поручик! Нами взят Орел! — объявил мне есаул. — Теперь — Тула, Москва, и кончено. Создать бы только твердую, как на фронте, власть.

Я молчал.

— Что ж вы молчите, черт порви ваши ноздри! Поручик?

Я лег на койку, не спрашивая есаула, как понимает он слова «твердая власть».

Ночью я не мог уснуть. Опять болела нога, почему-то гораздо ниже ранения. Ступня тяжелела. Мне казалось, она камнем лежит на тюфяке. Стиснув губы, я упрямо смотрел на голубой потолок. Молчал.

Сестра Кудельцова, в ту ночь дежурная, бесшумно обходила палату.

— Что, юнкер, не спится? — остановилась она над койкой моего соседа.

— Не спится, сестрица. Мысли мешают. И все о вас и о вас... Вы, может быть, присядете? Я вам свои новые стихи почитаю...

«Час от часу не легче! — подумал я. — Гуманист, гуманист, поэт... — еще кто?»

Боль в пальцах понемногу сдавала.

— «Чаша страданий испита, — минуты через две вполголоса читал уже юнкер. — Хоть бы любовь испить!..»

Только в огне ведь можно так беззаветно любить.

Милая! Свет мой тихий! Дай мне руку твою!

Буду о ней я помнить в каждом новом бою!

Я повернулся на бок и, чтобы не слышать стихов юнкера, ушел с головою под одеяло. Уснул. Но под одеялом было душно. Нога опять заболела, и вскоре я вновь открыл глаза.

Никогда не буду так молиться,—

все еще нараспев читал сестре юнкер,—

Как пред жарким боем за тебя...
Может, вам когда-нибудь приснится,
Как страдал я, родину любя...
Вы с крестом, а я с мечом разящим.
Мы идем, чтоб именем любви
Встретить день и с солнцем восходящим
Новый храм воздвигнуть на крови...

Кажется, я застонал.

— Что, больно, поручик? — И сестра Кудельцова быстро поднялась с койки юнкера и склонилась надо мной.

— Теперь уже легче, сестра,— сказал я, поворачиваясь. Юнкер больше не читал.

Много месяцев спустя, уже при Врангеле, после боя с конницей Жлобы, вспомнил я еще раз стихи юнкера.

Было это в середине июня. Степь дымила желтой пылью.

Молодой хорунжий с шашкою в руке расправлялся с кучкою пленных. Когда наша подвода подъехала ближе, я узнал в нем бывшего юнкера Рынова.

— Храмовоздвижник! — крикнул ему я. Не знаю, узнал ли меня юнкер Рынов. Желтая от солнца пыль, бегущая за нашей подводой, скрыла от меня и его и пленных...

ТЫЛ

Листья уже слетели с деревьев и испуганно метались вдоль заборов Харькова. Я перешел на амбулаторное лечение, жил у дяди, два раза в неделю посещая лазарет, где моей делали массаж и горячие ванны. В квартире дяди, кроме меня, жил и его бывший компаньон Меркас, старый еврей, купец из-под Бердянска.

— Вульф Аронович, что вы это на старости лет местожительство сменили? — спросил я его как-то.

— Я вам скажу...— Меркас отложил в сторону недочитанный номер «Южного края».— В такие времена, как мы сейчас переживаем, каждый честный еврей должен быть там, где у него меньше друзей и знакомых.

— Это почему?

— Я вам скажу... Потому что у каждого честного еврея есть друзья. А эти самые друзья могут перестать быть друзьями...— потому что — жизнь есть жизнь, господин офицер.

— Вы говорите загадками, Вульф Аронович.

— Я говорю загадками? Не дай боже, мои загадки разрешит вам сама жизнь, господин офицер...

— ...Льгов, Севск, Дмитриев, Дмитровск... — идут вперед, дядя...

— Дмитровск, Дмитриев, Севск... Севск... Севск... Черт! Вот бон, должно быть!...

— Оставьте газеты. И вам не наскучит? — почти каждый вечер приходил к нам сын соседа, молодой ротмистр Длинноверхов, не знаю какими бесконечными командировками примазавшийся к Харькову. — Газетные известия всегда только контррельеф фронта. Поняли? Ей-богу, не понимаю, что тут интересного: приводить всю эту чужую брехню к единому знаменателю и решать потом алгебраические задачи. Ну — победа, ну — поражение... вот вам и оба возможных ответа. Не все ли равно?

— Ротмистр!

— Знаю, что не корнет. Потому и говорю так, поручик. Прежде всего, заметьте, — это спокойные нервы. Восторг же и тревога для них равно вредны. Поняли? Пойдемте-ка лучше в город.

В городе лужи были уже скованы льдом. Палал мелкий снег, сухой и колкий.

— Романтизм может быть создан. Его и создали. Но я, поручик, человек с железным затылком! — уже на Сумской говорил мне ротмистр. — Нужно глубоко в карманы опустить руки, научиться свистеть сквозь зубы и проходить сквозь все события. Не оборачиваясь. Поняли? Одним словом, нужно иметь железный затылок. А у вас затылок гут-та-пер-че-вый. И это от романтизма, поручик. Романтизм, как известно, ослабляет организм. Говорю рифмованно, чтоб лучше запомнили. Зайдем, что ли?

Мы зашли в какой-то подвал, освещенный лиловыми огнями. Стены подвала были разрисованы острыми треугольниками. Окна задрапированы. Глухой гул многих голосов встретил нас и поплыл над нами, качаясь.

Мы отыскивали свободное место и заказали ужин. За круглым столиком около нас пировали три офицера-шкуринца и молодой чернобровый юнкер. Когда мы вошли, они только что оборвали какую-то песню. С ними сидела декольтированная женщина, с густыми рыжими волосами, перехваченными вокруг лба широкой черной лентой. Женщина была пьяна и, выше колена освободив из-под юбки ногу, водила носком

лакированной туфли направо и налево. Офицеры-шкуринцы тяжело ворочали головой, пытаясь поймать глазами кончик ее туфли.

— Ножку!.. Ножку, моя Мэри!.. Выше, божественная! — в пьяном пафосе кричал один из офицеров, пытаясь схватить Мэри за подвязку. Но Мэри спокойно отстранила его руку, и гордо откинула рыжую голову, огненную под лиловою лампою.

— Выше? Голоса выше, господа офицеры!

— «Черная лента, черная лента», — пьяными голосами гаркнули шкуринцы.

— Выше!..

— «Ты нам даришь любовь!»

Да-вайте деньги, да-вайте деньги,
А не то мы пу-стим кровь!..

— Выше!!! — И носок лакированной туфли метнулся вверх, ударив по губе одного из офицеров.

— Ротмистр, идемте, — сказал я и привстал, опираясь на палку. Но ротмистр взял меня за локоть.

— Руки в карманы, поручик, и наблюдать! Сие наше занятие называется тренировкой.

Рыжеволосая Мэри, облокотясь на столик, смотрела на шкуринцев прищуренными глазами. Вдруг, опустив за декольте руку, достала золотой нательный крестик.

— Ротмистр, идемте!

Но ротмистр меня вновь усадил.

— ...награда и память обо мне, — говорила, играя крестиком, Мэри. — Тому, кто из вас окажется самым сильным и выносливым... — И, засмеявшись, она оправила черную ленту и встала. — По алфавиту... Вы, юнкер Балабанов, идете первым.

Юнкер медленно поднялся, звякнул шашкой о сапоги и, допив стакан, пошел вслед за Мэри к каким-то, завешанным красной портьерой, дверям.

...На улице мигали бледные фонари.

Было около полудня. Я шел из лазарета. Опять выпал снег. По притоптанным панелям ходить было скользко, но домой мне еще не хотелось. Опираясь на палку, я долго бродил по улицам, вышел, наконец, на Пушкинскую и пошел к лютеранской кирке, наблюдая, как веселой гурьбой бегали школьники, бросая друг в друга пригоршни рыхлого снега.

— А! Здравия желаю!

Я быстро обернулся.

Передо мной, в длинной кавалерийской шинели николаевского сукна, с погонами штаб-ротмистра, при шпорах и шашке, стоял Девине. Приветливо улыбаясь прищуренными, мягкими глазами, он протянул мне руку.

— Поручик!.. А!.. Поправились? — Девине был навеселе.— Поручик!.. Гора с горой... Вспрыснем за ваше выздоровление... А?

— Подождите! — Я быстро оттянул руку.— Подождите, сэр! Прежде всего скажите, когда и кем вы произведены?.. Из санитаров да сразу в штаб-ротмистры?

— Ах, господи! — Девине засмеялся.— Да разве так встречают старых друзей?! Так сказать, семья дружных офицеров... э-э-э... возрожденная в традициях Корнилова и Алексеева...

— Слушайте! Я не контрразведчик и не полицейский. Я просто офицер-фронтвик. А потому, если вы немедленно же не оставите меня в покое...

В пьяных, женственных глазах Девине скользнула стальная, уже не пьяная злоба. Он вздернул плечи, круто повернулся и быстро пошел на другую сторону Пушкинской.

Какая-то девочка, пробегая мимо меня, нагнулась.

— Вы это обронили? Да? — и, подняв с панели желтую лайковую перчатку, протянула ее.

— Нет, не я...

Девине — через улицу — подозвал извозчика и уже сел в сани.

Синагоги на Пушкинской улице и на Подольском переулке были переполнены молящимися. Пришло известие о погроме, учиненном войсками генерала Бредова, оперирующими под Киевом. В синагогах читали «кадеш».

Меркаса мы не видели целыми днями. Потом трое суток он постился.

— Вы, господин офицер, понимаете, что это значит?.. Вы понимаете? — десять тысяч евреев!.. а за что?.. разве можно себе это только представить?..

— Вульф Аронович, да вы свалитесь с ног!

— Вульф Аронович, да поешьте!..

Но Вульф Аронович уходил в свою комнату.

— Я уверен, что он там у себя закусывает,— сказал нам как-то дядя, встал из-за стола и тоже пошел в комнату Вульфа Ароновича.

Вульф Аронович не закусывал. Он рыдал, вытирая слезы длинной седой бородой.

...Четыре дня бушевала над Харьковом вьюга. На пятый снег лег на улицы. Стихло.

Я вышел из дома, боясь прихода ротмистра Длинно-верхова.

Придет... Будет учить... Еврейские погромы как материал... Тыловое затишье, и фронт — как отдушина... Да ну его!..

Подняв узкие угловатые плечи, мимо меня прошли два еврея. Их обогнала нарядная дама. Под фонарем она замедлила шаг и, обернувшись, улыбнулась мне накрашенными губами.

«Уеду на фронт! Хорошо — уеду... Ну, а дальше?...— Я остановился под соседним фонарем.— А дальше?..»

Улицы тянулись за улицами. Вдоль улиц тянулись фонари.

Когда я подходил к подъезду какого-то богатого дома на Сумской, к нему, замедляя ход, подъезжал автомобиль. Сквозь окно автомобиля я увидел черно-красную корниловскую фуражку, повернутый ко мне толстый затылок и под ним генеральские погоны. Я подтянулся и, когда генерал повернулся ко мне в профиль, отдал честь. Рука генерала медленно поднялась к фуражке, но до козырька не дошла; генерал дважды клюнул носом и как-то странно, точно потеряв равновесие, качнулся вперед. Очевидно, он был пьян. Это был генерал Май-Маевский, командующий Добровольческой армией.

«Ну а теперь?»...

Был уже поздний вечер, когда я добрал до конца Екатеринославской.

Над присевшим под Холодной Горой вокзалом качалось тихое зарево фонарей. Перед вокзалом, на площади, синел снег. Одинокий, разбитый фонарь в конце площади боролся с темнотой набегающей ночи. Хотел светить, но ветер его задувал.

— Ать, два! Левой! Ать, два! Левой!

Я обернулся. Через площадь шла рота какой-то тыловой части. Солдаты шли, размахивая руками, как при учении. Ветер раздувал полы их английских шинелей. Под тяжелыми, кованными железом сапогами скрипел снег.

— Ать, два! Левой!

А с другого конца площади, — к вокзалу, — оттуда, где ветер успел задуть уже три фонаря подряд, молча, без команд и песен, шли сборные роты недавно переформированных полков 140-й дивизии. 140-я пехотная дивизия, по численности не

более стрелкового трехбатальонного полка, после недавнего поражения вновь выступала на фронт.

На солдатах болтались истрепанные старые шинели. Ноги были обмотаны мешками из-под картофеля. Снег под сапогами не скрипел. Очевидно, подметок на сапогах не было...

— Ать, два! Ать, два!левой!левой!..

Рота, идущая с вокзала, выходила на освещенную Екатеринославскую. На углу Екатеринославской стояла женщина. Женщина плакала.

Я тихо побрел домой.

* * *

Ротмистр Длинноверхов пришел ко мне только на следующий вечер. Он был во вновь сшитых, широких галифе.

— У этих карманы еще глубже! Руки здесь по локти войдут. Как видите, поручик, я прогрессирую.

Мне ротмистр уже успел порядком надоесть, и я ничего ему не ответил.

— На Сумской есть так называемый «Дом артиста». Слышали, конечно?..— опять обратился ко мне ротмистр.— Ну вот... идите туда. Там подчас можно натолкнуться на весьма любопытные экземпляры. Богатейший, скажу я вам, материал для изучения новых индивидуумов. Продукт последних неудач фронта. И как еще интересно! Вчера, к примеру, я видел там молодого корнета... Впрочем, я расскажу вам по дороге. Идемте.

Но идти я отказался.

— Довольно, ротмистр! Мне противен ваш тыл и ваши наблюдения. Я уезжаю на фронт, а потому...

— Что потому? — улыбнулся ротмистр.

— Потому... Потому...— Я запутался, не зная, что ответить.— Потому...— довольно! — сердито кончил я.

Ротмистр сел в качалку. Небрежно вытянул ноги и глубоко в карманы засунул руки.

— Если б я, поручик, давно уже не разучился драть смехом глотку,— медленно, играя каждым словом, вновь обратился он ко мне,— я бы — поняли? — я бы не встал вот с этой качалки. Я бы умер со смеха над вашей глупостью. Поняли, юноша?..

...«Подожди-ка! — припоминал я, идя на следующее утро по Мироносицкой улице.— Теплые перчатки куплены...

Шарф — есть... Носки?.. Да! Нужно купить шерстяные носки!..»

Хриплый гудок автомобиля рванулся в тишину улицы. Со стороны Мироносицкой площади шел грузовик, нагруженный английским обмундированием. Высоко на сложенных шинелях сидели два краснолицых солдата-англичанина. Третий лежал. Кажется, курил трубку. Синий дымок клубился над его фуражкой.

Но вот грузовик поравнялся со мной. Лежащий на шинелях солдат приподнялся и встал, чтоб вытряхнуть пепел из трубки, и я увидел на его фуражке русскую офицерскую кокарду. На узких погонах блестели звездочки. Увидев меня, офицер быстро отвернулся.

Это был Девине.

Через три дня я отъезжал на фронт. Дядя жаловался на простуду, а потому выйти на мороз побоялся. Не вышел и Вульф Аронович.

Было холодно, дул резкий ветер, и я спешил войти в вагон.

— Прощайте! — сказал я ротмистру Длинноверху, единственному, вышедшему меня проводить.

— Прощайте, мой милый чудак!..

Когда поезд тронулся, я перегнулся над перилами площадки.

Публика на перроне махала платками и муфтами.

Какая-то девица в шубке с беличьим воротником долго бежала по платформе, ухватясь одной рукой за мерзлое окно вагона.

Только ротмистр, подняв под самую папаху крутые, барские плечи, размеренным, спокойным шагом шел уже к выходу.

«Обернется или нет?» — гадал я, пытаюсь не упустить его из виду.

Ротмистр не обернулся.

— Действительно, у него железный затылок! — вслух произнес я, вздохнул и вошел в вагон.

За окном бежали последние строения засыпанного снегом Харькова...

ХОЛОДА

— Выходите, господин поручик! Дальше мы не поедем! Молодой вольноопределяющийся бронепоезда «Россия» натянул рукавицы и глубоко, по уши надвинул папаху.

— Что, разве уже Льгов?

— Льгов сдан, господин поручик. Еще вчера.

Холодный ветер ударил по лицу и на минуту смял мое дыхание.

— А что за станция? — спросил я, пытаюсь встать спиной к ветру.

— А черт ее разберет!..

Я поднял голову, но надпись станции была занесена снегом.

* * *

— А, здорово!.. Идите, идите сюда!..

На станции, в дверях телеграфного помещения стоял поручик Ауэ, наш ротный.

— Я говорил... — ротный пошел мне навстречу. — Я же говорил, — кто-кто — а вы вернетесь. Потому — немец: долг и прочее... «Deutschland über alles!»¹... — И, засмеявшись, он крепко пожал мне руку. — Ну, идемте... Представляться Туркулу не стоит... Запекут еще в офицерскую!.. Эй, Ефим!..

В телеграфной было накурено. Портреты генералов Маркова и Алексева, повешенные на стене «осважниками», казались отпечатанными на голубой бумаге.

— Вот, капитан, взводный второго взвода, — представил меня ротный своему новому помощнику, сухому, черному штабс-капитану, с усами, длинными как вожжи.

— Штабс-капитан Карнаоппулло, — приподнялся тот, потом вновь сел, достал из кармана карамель и стал сосать ее, разглаживая усы двумя пальцами.

Поручик Ауэ собрал со стола игральные карты.

— Ефим, чаю! Да шевелись же, холуй соннорылый! Барбос!..

* * *

В чай Ефим подлил рому.

— Льгов сдан, — рассказывал ротный, подняв из-под козырька бело-малиновой фуражки холодные, энергичные глаза. — Ничего не поделаешь... Ни-че-го!..

¹ «Германия превыше всего!» (нем.).

Он задумался и долго грыз мундштук пожелтевшей папирсы.

— Кстати, вы в тылу ничего не слышали? Нет?.. Говорят, Буденный занял Касторную и бьет всей нашей армии в глубокий тыл — на Валуйки и Харьков. Не слышали?.. Чем же объяснить наш отход без настоящего, черт дерн, поражения?.. Эх, поручик, поручик! Что это, донцы подкачали? Или Махно силы точит?.. — И вдруг, выплюнув разжеванный мундштук, он ударил по столу кулаком. — Черт! А очередные задачи?.. Знаете, что у нас теперь за очередные задачи? Не растерять отступающих полков. Только!.. Связи — никакой. Корниловцы? Марковцы?.. Кого черта корниловцы и марковцы, когда мы не знаем даже, где наши второй и третий полки!.. Как вы нашли нас, поручик?

Я стал рассказывать о Ворожке, дальше которой пассажирские поезда уже не ходили, о блуждании с бронепоездом, об этапных комендантах, ничего другого не делающих, кроме как ругающихся с начальниками станции, с которыми в лихорадочной спешке составляли они наряды для отступающих с бараклом поездов.

— Так!.. Бар-босы!.. — Поручик Ауэ хмурил брови. Оба его шрама на лбу сошлись вместе и висели над переносицей глубоким крестом. — Та-ак!..

Штабс-капитан Карнаоппулло сосал уже третью карамель. Из засахарившихся бумажек складывал лодочки, осторожно разглаживая их ногтем большого пальца.

Ветер за окном рвал с крыш снежные сугробы.

— Ишь, метет!.. — Ротный встал и обернулся к окну. — Метет, — а солнце!.. Ах, так? Вы спросили, где наша рота?.. Рядом она, в деревне... Отогреться же нужно, как вы думаете?.. Да?..

Мягкость и злоба, насмешки и какая-то теплая грусть постоянно, безо всяких причин, сменялись в ротном. В тот день эти переходы были особенно резки.

— Рота блины печет, — что еще барбосам нужно?.. Жрут сейчас... А мне вот?.. Сиди здесь, жди распоряжений Туркула. Жди, — черт тебя выдери! — а телеграф, — мать его с полки! — не стучит и стучать не хочет!..

Ротный опустил на скамейку и, приподняв одну ногу, пропустил руки под колено.

— Эх, поручик, поручик!.. Хочется, да не может!.. Телеграфу?.. Да нет же, нам, конечно!.. Куда?.. Да что это с вами, поручик?.. Мозги подморозили?.. На Льгов! На Севск! На Брянск!.. Довольно? Нет?.. На Москву, черт бы драл ее с комиссарами! Эх, поручик, поручик!

Он вновь понизил голос.

— Бьют! Кроют!.. Не нас, не дроздов,— всю армию кроют!.. Вот теперь,— и, склонившись надо мной, он продолжал почти шепотом: — Вот теперь, когда нас никто не слышит (Карнаопулло не в счет!), я скажу вам в первый и в последний раз: бьют!.. Кроют!.. А после... (впрочем, вы, поручик, меня знаете), после никто э-то-го сказать не по-сме-ет! Слышите? Не по-сме-ет!..

Горячий чай острым клубком царапал горло. Папироса прыгала между пальцами. На синем, замерзшем окне прошли чьи-то тени. Неровный ряд штыков, сломанных, как казалось мне сквозь лед окна, качнулся и вновь сполз за стену.

— Господин поручик! — вошел Ефим.— Господин подпоручик Кисляк изволили уже появиться. Второй взвод на платформах.

— Пусть подождет. Иди!

Закуривая новую папироску, поручик Ауэ опять склонился ко мне...

* * *

...— Итак, поняли?.. Вы сейчас же примете ваш взвод. Кисляка мы отправим назад в офицерскую... Примете взвод и сейчас же пойдете... Впрочем, нет!.. Возьмете две площадки бронепоезда и поедете на две с половиной станции к северу... Так?

Я кивнул.

— До третьей, впрочем, вы и сами не доедете... Отлично! Значит, слушайте,— я разъясню вам вашу задачу... Сегодня под утро...

Минут через пятнадцать, приняв от подпоручика Кисляка свой старый взвод, я погрузил его на две площадки бронепоезда «Россия» и поехал на северо-восток.

Оставляя Льгов, 2-й батальон 1-го Дроздовского полка заметил на пересечении железнодорожных путей Льгов — Суджа и Курск — Кореново — Ворожба какой-то занесенный снегом поезд. Спеша занять более благоприятные позиции, батальон отошел верст на двадцать южнее Сейма и к поезду не подошел, выслав к нему лишь разведку, одно отделение, под командой подпоручика Морозова.

И вот прошло уже полдня, а подпоручик Морозов все еще не возвращался.

Я был послан на поиски его. А если нужно — ему на поддержку.

...На открытых площадках бронепоезда кружился ветер. Свечников, до самого носа закутанный в какие-то пестрые тряпки, не мог держать винтовки. Руки ему не подчинялись.

— Ты! Э-эй! Сосколь-зне-ет!..— крикнул Нартов и, подняв упавшую винтовку Свечникова, поставил ее между ногами.

— По-слу-шай!..

На штыках, разбиваясь, звенел ветер.

— По-слу-ша-а-ай! — снова закричал я Нартову.— А где Фи-ла-тов?..

— У-у-убит!..— хлестнуло меня по вискам.— Под Се-е...

И вновь набежавший ветер отсек и далеко в степь отбросил конец его ответа.

Бронепоезд уже выходил в открытое поле.

...Высоко над головами размахивая поднятыми винтовками и погружаясь на каждом шагу в сугробы, мы медленно шли к занесенному снегом поезду.

Нартов шел рядом со мной.

— Вот, господин поручик, на лыжах бы!..

За левым флангом нашей цепи садилось красное солнце. Бронепоезд в тылу у нас все ниже опускался за сугробы. Лишь поднятая вверх четырехдюймовка его второй платформы, точно указывая дорогу, все еще торчала за нами. Поезд впереди нас все ясней выступал из снега. Около вагонов кто-то бродил.

— Цепь, стой!..

— Кажется, наши...— сказал Нартов.

Это было, действительно, наше 2-е отделение.

— Осторожней!.. Здесь яма. За сугроб лезайте!.. Левее!.. Еще левей!..

Ведя нас к засыпанным снегом вагонам, подпоручик Морозов разъяснил мне создавшуюся обстановку.

Взорванный железнодорожный мост на пути Льгов — Суджа упал и засыпал проходящий под ним путь Курск — Кореново — Ворожба, на котором и застрял санитарный поезд, очевидно, пытавшийся спастись от красных, занявших, по сведению одного из раненых, станцию Клейнмихелево и вышедших, таким образом, в тыл корниловцам, только что отошедшим от Курска.

— Ну хорошо, подпоручик, я понимаю... Ну, а ты чего?.. Ты-то чего задержался?..

— А что делать прикажешь?..— Подпоручик Морозов

остановился.— Раненых бросить?.. Персонал и те, что могли ходить, разбежались. Сто пятьдесят уже замерзло. Шестнадцать последних ждут очереди. А ты говоришь...

— Зачем же бросать! Но ведь можно было бы послать связного. Мог бы наконец потребовать... ну, средства для перевозки, что ли...

Ноги вязли в сугробах. За голенища ссыпался снег.

По затылку хлестал ветер.

— ...осело, расползлось, и едет теперь по всем швам... Понимаешь? При таком положении за ранеными никого не посылают. Понимаешь? — говорил подпоручик Морозов, пытаясь за ушки сапога вытянуть застрявшую в сугробе ногу.— За мной, за боеспособным отделением,— другое дело... Видишь, я же не ошибся... А за ними...— он уже подошел к крайней теплушке санитарного поезда и открыл дверь: — А за ними вот — никогда!..

Друг подле друга, прикрытые соломой и шинелями, уже снятыми с замерзших, белые, с бурыми и сине-лиловыми пятнами на щеках, лежали на полу теплушки раненые корниловцы.

* * *

— Господин подпоручик, и это вы их всех сюда перетаскали? — почему-то шепотом спросил подпоручика Морозова Нартов.

В темном углу теплушки стоял какой-то молодой, коренастый солдат, с рыжими и густыми как щетка бровями.

— Нет. Он это...— кивнул на него головой подпоручик Морозов.— Единственный санитар, оставшийся при поезде. Он же и отапливал. Два дня... Костылями, носилками...

Рыжий санитар дышал в кулаки и под самым носом тер их друг о друга.

— Здорово! — подошел к нему я.— Ну, что же ты?.. Здорово!

— Здравьете! — вдруг быстро ответил тот, не по-солдатски кивнув головой.

— Здравьете, здравьете! — улыбнулся я.— Как звать тебя, молодец?

Санитар подумал и, не торопясь, поправил фуражку без кокарды.

— Ленц моя фамилия будет. Иохан Ленц.

— Немец?

— Та-а! Семля немного под Саратов есть. Из колонистов будем. Та-а, Ленц, Иохан.

Я опять улыбнулся.

— Молодец Ленц! — и хлопнул его по плечу: — Спасибо за службу. Что — санитар?

— Wo-o... В золдат зачислен.

— А какого полка?.. Куришь?..

— Мы первого Катериноштатский немецкого имени Карл Либкнехт,— курим.

— Ах ты, милая голова! — засмеялся Нартов.— Первый Катериноштатский ку-рить изволит! Ах ты, Либкнехт ты!..

— Смотри-ка, везде люди! — сказал за нами кто-то.

— Пленный ведь,— а сколько людей спас! О, Господи!..

* * *

...С дверей срывались сосульки. Стены теплушек были пробиты инеем. Бежал сквозняк...

— ...Нет, подпоручик Морозов, бросьте меня водить по этому леднику!..

— ...Подпоручик Морозов! Бросьте!..

...Во всех теплушках, уткнувшись головами под шинели, лежали замерзшие корниловцы,— безрукие и безногие.

— Подпоручик Морозов! Ехать нужно!.. Уже поздно, Николай Васильевич...

Подпоручик Морозов меня не слушал. Мне стало страшно.

— Николай Васильевич!

Мне показалось, подпоручик Морозов сходит с ума.

— Нартов!.. Эй, Нартов!..

Над крышами поезда грузно бежал ветер...

Подошел Нартов, и вскоре бронепоезд «Россия» медленно подходил ко взорванному мосту.

* * *

— На насыпь осторожней! Эй, вы там!.. Не так,—головой вперед... Вот... Так вот... Правильно!.. А ну, который это?

— Одиннадцатый, господин поручик!

Было уже темно. На рельсах синими блестками плескалась луна. Над рельсами, играя с ослабевшим ветром, бежал снег.

— Двенадцатый?.. А Свечников где?.. Где Руденко?

— Эй, Свечников!.. Руден-ко!..

...тринадцатый, четырнадцатый...

Пятнадцатый раненый тяжело хрипел...

— Осторожнее! Не растраивай! Нартов, да поддержи же!

Когда уже и шестнадцатого раненого подняли на площадку, появились наконец Руденко и Свечников. Они волочили два тяжелых мешка.

— Что это? — удивленно спросил я.

— Магги... Ну и запасов там!.. Надо б вернуться, господин поручик.

Я взглянул на часы.

— Залезай, шакалы!..

Мы поднимались на площадку, ерзая животами о промерзлую броню.

* * *

На площадке невозможно было ни присесть, ни встать на колени. Раненые заняли слишком много места. Мы стояли глухой стеной, обхватив друг друга за пояса.

Черная снежная равнина быстро и круто скользила из-под поезда. Мне казалось, она срывается вниз и горбатой, бешеной волной бьет под колеса.

— Держись! Эй! Крепче!..

Высоко поднятая за нами четырехдюймовка чертила над горизонтом какие-то широкие круги и полукруги.

И вдруг:

— Стой!.. Эй, стой!..

— Стой!..

За криком — вверх — взвился ветер и сразу же сорвался, сбитый внезапным выстрелом в небо.

Черная волна над насыпью рванулась кверху, вздулась и вдруг остановилась, гулко ударившись о броню.

Подпоручик Морозов соскочил с площадки и по шпалам побежал в темноту. За ним побежал Нартов.

— Упал? Кто? Кто упал?..

Но никто ничего ответить не мог.

Было лишь слышно, как на площадке перед нами стонали раненые и как дышал в темноте тяжелый и усталый паровоз.

Наконец Морозов и Нартов вернулись.

— Упал Руденко... Насмерть!..

...И опять побежала вдоль насыпи крутая, черная волна.

На станции нас встретил поручик Ауэ.

— В чем же дело, черт вас деря? Подпоручик Морозов!.. Подпоручик Морозов, в чем дело?..

— Прикажете разгрузить...— указал на переднюю площадку подпоручик Морозов.

Когда раненых разгрузили, четверо из них мутными уже глазами смотрели в темноту.

БОИ В КОЛЬЦЕ

В деревне Гусяты, где был расквартирован наш батальон, было уже совсем темно.

— Не стоит раздеваться, поручик,— сказал мне подпоручик Петин, командир пулеметного взвода нашей роты.— Ложитесь так. Сейчас набегут красные. Они всегда теперь ночью...

Седоусый хохол-хозяин снимал на лавке валенки. Я сел рядом с ним и стал натягивать снятые было сапоги.

— Хорошо дома-то сидеть, а? — спросил хохла подпоручик Петин.— Спать ляжешь... А нам какво?

— Сыдили б дома, паньчу. Никто б ни ниволил.

За стеной мычала корова.

Ночью мы вскочили.

За деревней металась быстрая ружейная пальба. Точно ударяясь друг о друга, над крышей разрывались гулкие снаряды.

— Строиться!

Мы бросились к дверям, хватая спросонья чужие винтовки.

А седоусый хохол сидел на лавке и, глядя на нас, почесывал поясницу.

...Ночной ветер путался в голых ветвях.

Прикрывающая отступление 5-я рота медленно обходила деревню. Наша, 6-я, вышла на ее юго-западную окраину и стояла под стеной какого-то пустого строения, с содранной крышей. 7-я и 8-я были уже далеко за деревней.

Мимо нас проходили последние силуэты отставших от рот солдат.

Вот, подпрыгивая и качаясь на снежных крутых ухабах, прогремела походная кухня, и вновь вдоль опустевшей дороги

побежал лишь низкий одинокий ветер, точно испуганный приближением боя.

Прошло еще полчаса.

— Кого мы ждем, поручик?

— Красных. Если удастся, мы ударим в тыл. А вы,— ротный обернулся к подпоручику Петину,— вы подогрейте с фланга... Эй, не курить!

На дорогу, кивая передками саней, выехал небольшой обоз. Чья-то рука, поднятая с последних саней, качаясь в воздухе, то сжимала, то разжимала пальцы.

На фоне темного неба эти черные пальцы казались большими и бесформенными. Две сестры в желтых овчинных полушубках и в папах поперек косынок бежали, спотыкаясь, за санями.

Над нами опять прогудело несколько снарядов. Шагах в пятистах они разорвались, брызнув в небо золотым и острым огнем.

— Барбосы! По обозам!..

Прошло еще полчаса...

* * *

— Пропустить обе цепи! По дозорам не бить!

Поручик Ауэ расправил плечи, вышел на дорогу и поднял роту движением руки:

— В цепь!.. Господа офицеры...

Мне казалось, ротный не командует, а беседует с кем-то, спокойно и тихо.

Мы рассыпались в цепь, одним флангом упираясь в деревню, входя другим в темную ночную степь — к югу.

Цепи 8-й роты и наступающих на нее красных шли с севера.

Минут через десять мы открыли частый огонь...

— Справа, по порядку... рассчитайсь!

— Первый.

— Второй.

— Третий.

...Утро медленно сползало с неба. Пленные красноармейцы, понуро опустив головы, стояли неровной, длинной шеренгой.

— Возьми-ка в руку.

— Да, здóрово!

Под подкладкой папахи подпоручика Морозова я нашупал пулю.

— Тридцатый.

— Тридцать первый.

— А ну поживей! — Полковник Петерс, наш батальонный, торопил пленных.

— Сорок седьмой.

— Со-рок восьмой.

— Сорок восемь, господин полковник! — крикнул с левого фланга поручик Ауэ.

Я раскуривал отсыревшую папиросу. Ругался...

— Мы мобилизованные... Приказано было, ну и стреляли,— добродушно рассказывал возле меня стоящий на фланге пленный, молодой красноармеец, с широким крестьянским лицом.— После, как патроны вышли, сдались, конечно...

— Так!..— Поручик Ауэ уже тоже подошел к пленному.— Ну, а если б не вышли, сдались бы?

— Если б не вышли, и не сдавались бы... Зачем сдаваться-то?

— Хороший солдат будет! — сказал ротный.— А ну, подождите...

Через минуту он вновь вернулся.

— Этого, подпоручик Морозов, возьмете в первый взвод. Хороший будет солдат!..

Над шеренгой пленных бежал дымок. Пленные курили.

Но вот из-за строенья с содранной крышей показались всадники. К пленным подъезжал полковник Туркул.

— Идем! — сказал мне подпоручик Морозов.— Сейчас расправа начнется...

Под ногами коня Туркула прыгал и кружился бульдог. С его выгнутой наружу губы болталась застывшая слюна. Бульдог хрипло дышал.

— Ах, сук-к-кины!..— пробежал мимо нас штабс-капитан Карнаопулло.— Ах, сук-к-кины, как стреляли!.. Сейчас мы... Сейчас вот!.. Эй, ребята, кто со мной?..

За штабс-капитаном побежал Свечников.

* * *

Мы шли к ротному обозу,— за винтовкой пленному красноармейцу.

— Как звать тебя, земляк? — спросил его подпоручик Морозов.

— Горшков,— ответил тот, как-то густо и с ударением произнося букву «о».

— Ярославский?

— Ярославский, так точно! — И, взглянув на нас, красноармеец чему-то радостно улыбнулся.

А за спиной уже раздались первые выстрелы. Бульдог радостно залаял, и вслед за ним кто-то загоготал, тоже как бульдог, коротко и радостно.

Красноармеец обернулся и вдруг, остановившись, поднял на нас задрожавшие под ресницами глаза.

— Товарищи!.. Пошто злобитесь?.. Товарищи!..

Выстрелы за нами гулко подпрыгивали.

— Холодно!..— не отвечая Горшкову, тихо сказал мне подпоручик Морозов. Зубы его стучали.

А в лицо нам светило солнце, ветер давно уже стих, и было тепло, как весной.

Деревни, степь... и опять степь, степь, деревни...

— Ничего! Скоро вечер... Отдохнем.

— Ты, черт жженный! Это вечером-то?..

— Не робей!.. Говорят, ребята уже и за санями пошлют... Поедем скоро.

— Полагалось бы!.. Не ровен час, окружают нас красные...

Перед ротами гнали пленных. Было их уже не сорок восемь, — всего двадцать девять...

Почти раздетые, без сапог, они шли, высоко подымая замерзшие ноги, то и дело озираясь на штабс-капитана Карнаопулло и Свечникова, идущих с ними рядом.

...Деревни... Степь... И опять степь, степь, деревни...

От боев мы уклонялись. Очевидно, боялись отстать от общего фронта.

Однажды под утро, когда сон сбивал шаг и, раскачиваясь на плечевых ремнях, звенели штык о штык винтовки, с юга, оттуда, где шли наши дозоры, вновь хлестнуло вдруг низким огнем звонкой шрапнели, и сразу, со всех четырех снежных сторон, обхватила нас частая и сухая ружейная пальба.

— Пулеметы! Пулеметы!..— кричал полковник Петерс, верхом на кривоногой, крестьянской лошаденке врезаюсь в роты.— Пулеметчики, вперед!..

— Рас-ступись!..

— В цепь!

— Да сторонись!..

Артиллеристы, повернув орудия, быстро окапывали батарею. За батареей метался обоз.

— Батарея,— огонь!..

— Цепь! — кричал штабс-капитан Карнаоппулло, выбе-
гая на дорогу.

— Трубка ноль пять.

— Цепь.

— Ноль пять, — огонь!..

— Це-епь!

— В цепь, вашу мать! — И, отстранив растерявшегося штабс-капитана, поручик Ауэ осадил напирających обозников. Вышедшая из скрута смешавшейся походной колонны б-я рота сбежала в поле, рассыпалась и уже спокойно двинулась вперед.

...Ухали орудия, уже сплошным, густым гулом покрывая ружейную и пулеметную пальбу. Батальон шел треугольником, рассекая огнем черную ночь...

К утру мы пробились.

* * *

— Шибко палили!.. Как ваши давеча!.. — сказал мне Горшков, идя со мною к 1-му взводу.

...Подпоручик Морозов стоял над санями, в которых, сжимая пальцами поросший бородой подбородок, лежал рядовой Степун. Раненный осколком в грудь, Степун умирал.

— Не совладел!.. — хрипел он, пытаясь приподняться. — Не уберег... Жизни не... не... не уберег...

Он смотрел на нас округлившимися, немигающими глазами.

Пальцы на подбородке у него расползались.

— Отходит! — тихо сказал Горшков и, сняв фуражку, перекрестился.

— Ннна-а-а-а... — вновь задергал Степун губами. — Навов-во-вовсе-теперь... от-т-т-т... — Сквозь приоткрытый рот Степуна было видно, как прыгает его язык. — Т-т-т-т... от детишшш-ш-ш...

И, зашипев, он захлебнулся красной пеной и, выгнувшись вверх всем телом, бросил руки по швам...

* * *

— Я давно уже... Черт!.. От детишек, — помнишь?.. — подошел ко мне через час подпоручик Морозов, когда уже на пустые сани Нартов набрасывал свежую солому. — И у меня ведь... — Он замолчал, вздохнув, и добавил, уже тише: — Ведь и жена моя тоже... носит... Уже на седьмом теперь.

— Господин поручик!.. Господин поручик!..

Меня звали к ротному.

* * *

— ...Ты что? Скулить?..— размахивая ножами шашки, кричал на Ефима поручик Ауэ.— Я тебя, барбос, в крючок согну! А в роту, а в снег по брюхо, а в бой хочешь?..

Вытянувшись, Ефим стоял перед ротным и тупо моргал глазами.

— Извольте полюбоваться,— обратился ротный ко мне, когда нетерпеливым кашлем я дал наконец знать о своем приходе.— Взгляните на это рыло!.. Взгляните только!.. И оно...— поручик Ауэ захохотал.— ...Оно — это вот рыло — веру в ар-ми-ю и в победу потеряло!..— И, обернувшись к нам спиной, он бросил шашку на уставленный деревенскими кусками стол и быстро налил стакан водки.

— На! Подвинти-ка нервы, барбос!..

Ефим взял стакан, поднял его и уже приложил к губам.

— Стой! — закричал вдруг штабс-капитан Карнаоппулло, одиноко сидящий в углу халупы.— Стой! За чье, дурак, здоровье?..

— За ваше, господа офицеры.

— То-то!..

* * *

— И знаете из-за чего весь разговор завязался? — криво улыбаясь, спросил меня ротный, когда, уже за дверью, Ефим облегченно вздохнул.— Май-Маевский сдал командование генералу Врангелю. Ну вот... А этот... холуй этот, понимаете: «Кому ни сдавай,— говорит,— все равно — кончено!..»

Поручик Ауэ замолчал. Его шрамы на лбу скрестились.

— Впрочем, бросим ненужные разговоры! — Он поднял бутылку на свет: — Барбос, всё вызудил!..— И, сразу же переменяв тон, обратился ко мне снова:

— Только что скончался от ран подпоручик Петин. Да. Не выжил... В полдня скрутило... Потому пока что вы примете пулеметный взвод. У начальника команды под рукой никого нет, а черт его знает, где Туркул сейчас офицерскую носит... Итак, кому вы предлагаете сдать ваш, второй...

— Может быть, Нартову?.. Офицеров на отделениях у нас сейчас нет...

Штабс-капитан Карнаоппулло, чистивший, развалившись на лавке, ногти, поднял голову:

— Не лучше ли Свечникову?..

— Хорошо, сдайте Нартову, — не обращая на него внимания, сказал ротный, проводя пальцами между волосами. — Черт возьми, но черт не берет!..

— Ах, поручик, бросьте ипохондрию! — Штабс-капитан Карнаоппулю вдруг захохотал и, приподнявшись, ошетилил вперед всегда покорные усы: — А как вы его шашкой-то!.. А?.. Ефима!..

Я вышел из халупы.

БАРОМЛЯ

Когда мы входили в Баромлю, тяжелые и мокрые сумерки уже ползли по улице. С крыш капало.

«Опять оттепель!.. Что за чертовская зима!..»

Облокотясь на пулемет, установленный на широкие удобные сани, я плавно покачивался. За мной шли сани со вторым пулеметом, за ними — третьи, с пулеметными лентами и запасными принадлежностями. Пулеметчики — всего пять номеров, — свесив с саней ноги, уныло тянули какую-то бесконечную солдатскую песню.

— Здесь в Баромле, говорят, весь полк соберется. — Песня оборвалась.

— Говорят, всему полку и сани наконец подыщут.

— Без саней не выскользнешь...

— Ясно!

— А куда скользнуть-то?

— Тебе, Акимов, в Костромскую бы только! Эх, старик, старик!.. На Дон двинем.

— На До-о-н?..

* * *

Уже стемнело...

В нашей халупе горел огарок свечи.

— Шляя порвалась, господин поручик.

— Зашей!..

Акимов обернулся и через плечо посмотрел на меня.

— Лошадь не в портках, господин поручик, ходит. Здесь специально шить нужно... А ну, хозяйшюка, — он встал и подошел к хозяйке, — дратвы, да просмоленной, может, нету?

Хозяйка, немолодая женщина, с четырехугольным, как ящик, лицом, кормила ребенка.

— Нету у меня.

— Нету? Это в хозяйстве-то? А может, шляя найдется? Лишняя какая...

— Ишь ловкие! Сами хозяйства крестьянские поразорили, а теперь еще спрашивать! — Она поднесла ребенка к другой груди и стала причмокивать губами.

С лавки приподнялся ефрейтор Лехин.

— Не задаром, хозяйка. Не задаром ведь, милая! Вот подожди-ка!.. — Он вышел на двор, достал из-под брезента саней пятифунтовый мешок соли и вновь вернулся.

— Есть шлея?..

— Как же!..

— Не новая, конечно?..

Хозяйка хлопнула ребенка ладонью.

— А ну, милый!

Ребенок отрыгнул.

— Это за пять-то фунтов новую? Больно уж ловкие какие! Надежная, говорю, шлея... — Она передала ребенка протянувшему руки Лехину. — Который в сарай-то со мной ходит?

— В сарай не велено. Арестованный там.

— Арестованный?.. Кто? — удивился я.

Акимов не знал.

— Но кто посадил? И зачем у нас? Разве дворов мало?

— А уж это господина капитана спросите... Карнаопулло.

С хозяйкой пошел я.

* * *

Под воротами сарая стоял часовой, рядовой моего бывшего взвода Зотов, веселый и всегда находчивый малый. На дворе было сыро. Чтоб не стоять в воде, Зотов натаскал под ноги замерзлые пласты прошлогоднего навоза.

— Молодец, Зотов! Так не утонешь.

Замка на дверях не было. Я взялся за мокрые доски.

Арестованный сидел в углу на опрокинутой вверх дном кадушке. Лица его я разобрать не мог. В сарае было совсем темно. Когда я подошел ближе, арестованный даже не поднял головы. На нем была черная куртка, кажется кожаная, — она блестела под узкой полоской света, пробивающегося в щель дверей.

«Не солдат, кажется... Мужик...» — подумал я, встал на какой-то ящик, нащупал в темноте шлею и вышел во двор.

— На! Неси моим хлопцам!.. — И, бросив шлею хозяйке на руки, я пошел к халупе подпоручика Морозова.

— А что, он лучше других трусов?.. Кто — где, а они всегда на задворках расходятся... Там, где не стреляют...

Выйдя во двор, подпоручик Морозов взглянул на черное небо.

— Снег будет!.. — сказал я. — Или дождь даже...

Подпоручик Морозов молчал, сдвигая на брови взлохмаченную папаху.

— А за что? Знаешь, за что?.. За кожаную куртку! Нет, надо пойти к ротному. Хотя и тот с изъяном, но все же, когда нужно, сволочей натягивает.

Под ногами бежала вода. Какие-то редкие капли капали и на фуражку.

— Поручик Величко на девчат заглядывал... — спеша и сбиваясь, рассказывал мне подпоручик Морозов. — Зотов песню тянул: «Пускай моги-ла...» Вдруг Карнаоппулло как сорвется с саней со своих, да закричит как: «Комиссар!» — да на всю улицу. Кинулся. Что за черт?.. Кого?.. Ждем... Ты как раз с пулеметами проходил. Неужели не заметил?.. Ничего?.. Ну так вот... Ведет, наконец. Парень как парень. Очевидно, когда-то в инженерных служил. Куртка на нем кожаная. Капитан, кто это?.. А Карнаоппулло на него, знаешь, — бочком так. Петушком, петушком!.. Сопит, хрипит. Мать, и опять мать!.. Разошелся: «Куртка? — кричит. — Свои, думал? Выбежал? Встреча-ать?..» — и в зубы ему — бац! — наганом...

— Ну а ротный?

— Ротный?.. Тот как раз в трансе находился. Лежит, глаза блуждают... Сам с непривычки ерунду всякую мелет: «Россия! Да раскрой ее до сознания национального!» Да птицы какие-то... «Орлы! Чайки!»

Я удивленно посмотрел на Морозова.

— Птицы?

— Господи ты, боже ты мой! Да неужели не знаешь? И этого? Ну да, — кокаинится ведь!.. Все последнее время... С неудач...

Мимо нас, хлюпая о сапоги мокрыми шинелями, прошло несколько команд, штыков по десять.

— Нартов, куда? — крикнул я, узнав в темноте высокую, худую фигуру.

— По дворам, господин поручик. Сани сгонять. Завтра, бог даст, панами двинемся!.. Ого-го! Айда-а!

Где-то очень далеко залаяла собака. Ей ответила другая, уже ближе к нам.

— Жаль! — сказал Морозов, останавливаясь. — Завтра придется... Спит уже!..

В халупе ротного было темно.

* * *

— Ну, покойной ночи...— Мне показалось, подпоручик Морозов уныло улыбнулся.— Покойной... с поправкой: на время, конечно.

В халупе у моих пулеметчиков все еще горел свет. От освещенного окна темнота на улице казалась еще темнее. Я отыскал протянутую руку и крепко ее пожал. Но вдруг подпоручик Морозов насторожился и, освободив руку, сделал несколько шагов к забору:

— Кто там?

Под забором, пытаясь скрыться от наших глаз, кто-то стоял.

— Кто там? Эй! — вновь крикнул подпоручик Морозов, быстро зажигая карманный электрический фонарик.

— Что за пропасть!

— Фу, черт!

Я сплонул, вновь застегивая кобуру нагана.

Под забором стояла женщина, маленькая и такая худая, что в первый момент показалась мне девочкой. Кутаясь в платок, она смотрела на нас большими испуганными глазами.

— Слушайте...

— В чем дело?

Мы подошли. Но женщина, скользнув глазами по нашим поганам, вдруг испуганно метнулась в сторону и, взмахнув платком, быстро пропала в темноте.

...Щупая густой мрак, луч фонаря наткнулся на забор. С забора скользнул вверх, в пустоту, но пустоты пронзить не мог.

— Покойной ночи!

— До завтра...

Я вошел на двор. На посту, возле сарая, стоял Ленц.

— У нас на дворе стоит часовой. Дневальных сегодня не нужно,— сказал я, стягивая с плеч шинель.

Ефрейтор Лехин задул свечу.

Проснулись мы от громкого крика.

Быстро вскочив, я подбежал к окну. Было уже светло. По

двору, ветряком размахивая руками, метался штабс-капитан Карнаоппулло. Папаха его съехала на затылок.

— Под суд! Под суд тебя, негодяй! — кричал он. — К командиру полка!.. Что мне ротный!.. К командиру полка!..

Я распахнул окно.

— Капитан!.. В чем дело, капитан?..

— Да я тебя!.. Отстаньте, поручик!.. Да я таких... Да я-а-а расстре-е-е... Стой!

Из открытых дверей сарая выбежал Нартов. Штабс-капитан Карнаоппулло бросился за ним, поймал, схватил за ворот шинели, но Нартов вырвался и скрылся на улице.

— Что у них случилось? — спросил я Лехина, без шинели, в одних сапогах поверх бурых кальсон, вернувшегося в хату. За Лехиным шла хозяйка.

— Окно зачините. Зябко!..

В люльке надрывался ребенок.

— Едри его корень! Ну и дела, господин поручик!

Лехин сел на лавку.

— Уж я по порядку. Повремените!.. Под утром еще, значит, — начал он наконец, растягивая каждое слово, — когда еще только светать зачинало...

Опять закрипели ворота. Штабс-капитан бежал уже вдоль улицы. Шашка хлестала его по сапогам. Маленький, усастый, со свирепыми, круглыми глазами, он был похож на «турка», как рисовались они на карикатурах «Огонька» и «Панорамы».

— Ну?.. Да рассказывай, Лехин!

Вот что рассказал мне ефрейтор Лехин...

Под утро, когда штабс-капитан Карнаоппулло пришел к нам во двор, чтоб проверить пост при арестованном, — а может... — в этом месте рассказа Лехин задрал голову вверх и щелкнул себя по затылку, — а может... вы понимаете, господин поручик?.. — ни арестованного, ни часового Ленца во дворе не оказалось!

Хозяйка, вышедшая накормить скотину, злыми глазами взглянула на штабс-капитана, боясь, очевидно, за свои погреба и кладовые.

Как раз в это время во двор — оправиться — вышел и ефрейтор Лехин.

«Лехин, что такое? Где часовой?»

«Ах, солдатика ищете? — подошла к штабс-капитану хозяйка. — Солдатик ваш, да с Петром, тем, что в сарае сидел, ушли куда-то...»

«Куда?»

«А я знаю? К большакам, что ли!..»

— У господина капитана, — рассказывал Лехин, — споначала и голос даже сорвался, а баба, ядри ее корень, не унимается, — ей бы только язык чесать; рада небось — клетушки в сохранности... ..«И чудно ж, говорит, разъяснялись!.. Солдатик-то ваш не русский, видно... Татарин аль немец. Не разобрала, чего лопотал-то... А ушли вместе, как же, и Евзопия с ними...» Тут господин капитан на нее, да вплотную: «Какая Евзопия?» — и бабу за руку, значит. А та: «Говорю — не хватайся! Не ухват тебе буду!.. Которая, говорит, под воротами стояла. Жена Петрова, говорит. Ахтырская. Год назад по-большевицки венчаны...»

— Вот оно, господин поручик, происшествие какое! — окончил Лехин. — Сиганули. А Нартов, с напугу, и объясниться не мог. А неповинен он. Всю ночь до утра самого сани сгонял. Весь взвод в расходе находился, — вот Ленц и стоял на посту. Ему где было, немцу, с мужиками ругаться.

Я вышел во двор.

На мокром снегу под воротами лежала карамель в пестрой, веселой бумажке. Вторая была втоптана в нанесенный Зотовым навоз, уже успевший за ночь оттаять. Дверь в сарай была открыта. Я вошел. Наткнулся в углу на аккуратно сложенные винтовку, патронташ и подсумок. На подсумке лежала какая-то бумажка. Я поднял ее и подошел к свету. «Zurück an die 6 Compagnie»¹. Готические буквы лежали на боку. Книзу расползались лиловыми кляксами. Очевидно, Ленц то и дело мочил чернильный карандаш.

Я хохотал, покачиваясь.

— Сумалишенные, — одно слово!.. — кому-то за дверью сказала хозяйка.

К забору подошли солдаты других рот. Заглянули в ворота.

Потом прибежал связной.

* * *

В степи, к северу от Баромли, наша застава сдерживала редкую цепь красных.

2-й батальон выступал на позицию. 1-й и 2-й уже отступили из Баромли.

¹ «Обратно в 6-ю роту» (нем.).

— Подтянись!..— командовали ротные. Полозья саней цеплялись о полозья. Оглобья били об оглобья.

— Под-тя-ни-и-ись!

— ...Где там!.. Нет, Харькова мы не удержим!..— глухо сказал подсевший ко мне в сани подпоручик Морозов, отвернувшись и долго сидел со мною, молчаливый и унылый, вращая на пальце узенькое обручальное кольцо.

На окраине Баромли, где, отколовшись от загибающей к северу дороги, сбегали к ручейку белые украинские мазанки, горел деревянный дом, приземистый и туполобый. Огонь уже сползал с крыши на косяк дверей. Сквозь разбитые окна валил бурый густой дым.

— Что, снарядами? — спросил я двух мужиков, безучастно стоящих над оврагом.

— Мы не сведующи.— Мужик повыше расправил широкую черную бороду.— Мобить, и подожгли. Снаряды здесь будто бы и не падали...

— А чей это дом? — И, взяв у Лехина вожжи, подпоручик Морозов на минуту придержал лошадь.

— Который? Этот-то?..— Чернобородый указал пальцем на пламя.— Рыбова это изба будет. В шестнадцатом строил. Рыбова, Петра...

— Петра?.. Постой!.. А не у него ль — да как ее!.. — не у него ль жену Евзопией звать? А?..

— Как же!.. Евзопия... У него... А как же!.. — обрадовались чему-то мужики.— Это уж, безусловно, правильно!..

— Ше-с-та-я! — кричал в голове роты штабс-капитан Карнаопулло.— Шестая! По-д-тя-нись!

* * *

— А ну! Гони их! А ну!

Поручик Ауэ бежал перед цепью, то спотыкаясь и падая, то снова взбрасывая плечи, точно играя в чехарду.— А ну! А ну их!..

Сани с моим пулеметом прыгали по сугробам.

— Тяни! Тяни за ленту! По-во-ра-чи-вай!

Но лента не подавалась. Пулемет первого отделения отказывался работать.

Под бугром, вдоль смятой лавы красных, также металась какие-то утопающие в талом снегу сани.

— По саням! Бей по саням! — кричал ротный.— По комиссару!.. Еще! Еще!

Лавы красных быстро отходила.

— Господин полковник приказали доложить, — доклады-вал ротному связной батальонного, — шестая отойдет последней.

Ротный стоял над брошенными санями красных и рубил шашкой подвязанную к козлам корзину.

— Посмотрим! — Шашка его блестела на солнце. — Посмотрим, — раз! два! — Посмотрим, что барбосы эти — раз! два! — с собой — раз! два! — возят... Раз! — Ишь, черт дери! Туго!

— Да сильнее, поручик! — подзадоривал ротного штабс-капитан Карнаоппулло. — А ну, Свечников!.. Свечников, сюда!.. Штыком попробуй!

Тугая крышка корзины наконец поддалась. Карнаоппулло быстро наклонился и опустил в нее руку.

— Ишь, барбосы!

За ротным отошел и разочарованный штабс-капитан.

Перевязанные светло-лиловой лентой, в корзине лежали детские рубашонки, панталоны и розовое стеганое одеяльце.

Я вдевал в пулеметные ленты новые патроны. Рядовой Едоков, второй номер первого пулемета, гладил Акима, нашу лучшую лошадь, только что раненую в шею. Скосив глаза, лошадь стояла, покорно опустив голову. Редкие капли крови падали на снег.

— Еще, господин поручик? — спросил ефрейтор Лехин, сворачивая шестую ленту.

— Хватит, пожалуй!

Я выпрямился.

— Ну, закурим, что ли? — и, вынув из кармана коробок спичек, стал спиной к ветру.

Шагах в двадцати пяти от меня на опрокинутых санях красных сидел подпоручик Морозов. Думая о чем-то, смотрел вдаль.

— Черт дери! — сказал я Лехину и, бросив спичку, глубоко вздохнул. — Черт дери! А Харькова мы, пожалуй, не удержим.

За тучу зарывалось солнце. Ветер крепчал. Прошел ротный фельдшер.

— Сюда! Сюда! — кричал ему с 3-го взвода поручик Величко. — Сюда-а!

...О чем думал подпоручик Морозов, я не знаю.

ЧАСТЬ II

(ноябрь 1919 — март 1920)

В степях клубились ветра. Голый ивняк за селами пытался выбиться из-под снега, хлестал ветвями по низкому серому небу, шаг за шагом ползущему за нами.

Все время оглядываясь на север, выслав дозоры на юг, восток и запад, недели две отступали мы, потеряв всякую связь с соседними частями, не зная, откуда набегит неприятель, а если собьет — куда отходить. По ночам огрызались: на север, на восток, на запад...

А в те немногие ночи, когда красные не наседали, было слышно, как гудят широкие снежные дали черных степей.

Кто-то, как и мы, пробирался к югу...

ОДНИ ПОД ХАРЬКОВОМ

Ночь была беззвездная.

Переутомленные лошаденки из последних сил волочили ноги. Многонедельная оттепель сняла почти весь снег, и сани, увязая полозьями в мокром песке дорог, протяжно и тяжело скрипели.

Никто из солдат на санях не сидел. Побросав в них винтовки, вне строя, молчаливо и угрюмо тянулся полк вдоль ночной черной дороги. Я держался возле пулеметов и, с трудом подымая отяжелевшие веки, пытался идти прямо. Но усталость качала меня со стороны в сторону; мне казалось, тяжелая степь вокруг нас то подымает, то опускает горизонты и кружится, кружится — медленно и ритмично.

— Что, господин поручик, занедужилось?.. А ну-ткась! Ну-ксь, милая! — И, хлестнув лошаденку, Едоков, как и я, качнулся вдруг в сторону.

— Соснуть бы! Эх, жисть!..

Три дня тому назад мы приняли последний бой, в котором наша рота забрала у красных пулемет, теперь третий в нашем

взводе. В этом же бою Синька и Лобин, прикомандированные к моему взводу унтер-офицеры, были убиты.

— Три пулемета, а людей нет! — вздыхал ефрейтор Лехин. — Не везет же!..

— Эх, и везет-то не вовремя! А ну-ткась, ну-ксь, милая! Казалось, ночи не будет конца.

* * *

— Осади!.. Осади-и...

— Что за город?..

— Не напирай, косой дьявол, черт!.. Не видишь, стоим ведь!

Вдали виднелись редкие огни какого-то города или местечка.

— Харьков?

— Москва!

— Нет, правда, что за город?

— Люботин это, — сказал подпоручик Морозов и, опустившись на сани, стал жадно — в кулак — курить. Я также подошел к саням, сел и, прислонясь к пулемету, вынул махорку. Но скрутить я не успел. Темнота меня медленно и плавно закружила, опустила во что-то мягкое и теплое и потекла надо мною, все глубже и глубже толкая в сон.

...Когда я проснулся, сани уже вновь скрипели по песку. На мне лежала чья-то шинель. Я сбросил ее с лица.

— Едоков!..

— Так точно!

Едоков шел в одной гимнастерке.

— Что это?.. Зачем?..

— Это я, господин поручик, чтобы не согнали вас... ротный аль батальонный... Легайте, легайте!..

Но я встал. Оглянулся. Мне показалось, полк идет в обратную сторону.

— Куда мы?

Едоков пожал плечами.

— Лехин, куда мы?

— Люботин, господин поручик, занят. Обходим.

...Лошади хрипели. Медленно всплывала желтая заря.

* * *

— Распрягай!

— Эй! Не велено! Заводи! Заводи за угол!

Вдоль крайних хат какой-то небольшой деревни длинными рядами выстраивались сани.

Нам было приказано выставить дневальных, по одному на две роты, и выспаться, пользуясь трехчасовым привалом.

Я уже взбивал в санях солому, когда подошел связной. — Господ командиров-пулеметчиков к батальонному! ...На улице в санях, около и под ними храпели солдаты.

* * *

На крыльце халупы батальонного стоял начальник пулеметной команды.

— Господин капитан,— обратился к нему я,— у меня, господин капитан...

— Но у меня нет номеров! Возьмите в роту...

Договаривать нам было незачем,— капитан знал состояние взводов.

— В роту, господин капитан...

— Но что я, рожать их могу, что ли?

— Господин капитан...— подошел к нему взводный 1-го взвода.

— Нету у меня саней! Господа, у меня же...

— Но разрешите, господин капитан...

Капитан обернулся и быстро скрылся за дверью.

— Черт дери!..

— Да-с, положение!..

Мы стояли, растерянно глядя друг на друга.

Наконец в сени вышел полковник Петерс.

— Господа...

Одна сторона его лица подергивалась, тени быстро бежали под складку рта.

— Вот что, господа. Первый батальон побросал три пулемета. Пре-ду-пре-ждаю: если подобное случится и в моем батальоне, виновный взводный будет отдан под суд. Понятно?

— Но, господин полковник...

— Оправдываться, господа, будете под судом. От офицера я требую проявления офицерской инициативы. Мне нет никакого дела как, но пулеметы чтоб были вывезены. Понятно? А теперь — можете идти...

Мы расходились.

— Черт дери!..

— Да-с, положень-и-це!

— А главное, в деревнях ведь не то что лошадей — и козы не найдешь...

«Спать, спать, спать!» — думал я, идя спотыкаясь по улице. Лошади моих саней стояли распряжены.

— Не бей! Аким не пойдет... Все одно! Распрягай! Живо! Полк уже выходил из деревни.

— Поручик, нагоните? — обернувшись, крикнул мне ротный.

— По-ды-май! Та-щи вы-ше!.. Та-щи-и!..

Подвязав пулеметы к одному концу натрое сложенных вожжей, станок к другому, Лехин, Едоков и Акимов вьючили Ваську, нашу вторую лошадь. Но тяжесть пулемета и станка с обеих сторон давила на ребра лошади: Лошадь не могла дышать и медленно, точно в цирке, приседала.

— Ничего не поделаешь, господин поручик! Может, оба на одни взвалим? — продолжал Лехин, приглаживая выпавшие из-под фуражки потные волосы. — Васька уж постарается, едри его корень!.. Не выдаст, может...

— Пожалуй...

И вот мы закричали:

— Идет! Идет!..

Васька косил. Кожа на спине его ходила гармошкой.

— Идет! Ээ-эй! Вытянул!..

Мы примкнули к обозу 1-го батальона, идущего в арьергарде.

Быстро перебирая передними ногами и далеко назад выставляя задние, Васька тянул два пулемета. Машка — третий. Мы подталкивали. Акимов вел под уздцы раненного под Баромлей Акима.

Третьи сани мы бросили.

* * *

— ...их к матери, пулеметы эти! — обгоняя нас, крикнул какой-то офицер из последних саней обоза. — Пропадете!..

— И вся твоя панихида!.. — крикнул за ним второй.

Васька сдавал. Останавливался каждую минуту.

— А ну-ткась, ми-лый!.. ми-и-лый!.. — подбадривал его Едоков жалобно, точно плача, растягивая слова.

— Погибать, видно! — ворчал Акимов.

Прошли с версту. Не больше. Полк уже скрылся.

— Снимите погоны, господин поручик. Бывает, что и не расстреливают. Ей-богу. А мы выдавать вас не станем,— сказал Едоков, обернулся и, подняв ладонь к лицу, стал смотреть на север.

Ефрейтор Лехин сидел на ободьях саней. Смотрел на землю.

— Может, замки повынимаем и пойдем все же?

— Все одно погибать!..

Я не отвечал. Думал о том, как впрячь всех трех лошадей в одни сани.

Но вдруг, толкнув меня, Лехин быстро приподнялся.

— Господин поручик!.. Хохлы!..— закричал он.— Глянь-те, господин поручик, едут, едри их корень, едут!..

По дороге, нам навстречу, шло двое саней.

— Не утекли б только, едри их корень!.. Ведь учуют, чего поджидаем, ах ты...

Но сани приближались.

— Стой!..

— Стой, говорю!..— И, быстро впрыгнув во встречные сани, Лехин вырвал вожжи из рук дремавшего мужика.

— Поворачивай! — кричал Акимов, схватив за морду лошадь вторых саней.

Разбуженный Лехиным крестьянин испуганно вскочил с рогожки и содрал с головы линялый и мятый картуз.

— Родные!..

— Поворачивай!

— Родные!.. Помилосердствуйте! Аль не хрестьяне?.. Аль без понятия вовсе! Второй месяц, как от хозяйства!.. Родные...

Его рыжими, под горшок подстриженными волосами играл ветер.

— Разберите, родные, по всей справедливости!..— бабьим голосом молил подводчик, доставая из кармана шаровар какую-то мятую бумажку.— Ваши вот выдали... Не тронут, говорили... Сам писарь говорил... Потому, говорил писарь, законно мы действуем... А где ж законно, родные...

... «Дано сие крестьянину села Дьячье Орловской губернии Власову Антипу,— с трудом разбирал я замытые водой слова,— в том, что вышеупомянутый крестьянин Власов отпущен нами по несении наряда, что подписью и приложением казенной печати удостоверяется.

За к-ра 9 роты 1-го Ударного Корниловского полка — писарь» — неразборчиво.

Ниже:

«Декабря» — опять неразборчиво — «дня 1919». В правом углу удостоверения расплзлась круглая ротная печать.

— Жаль мужика!..— вздыхая над моим плечом, сказал Едоков.— Смотри-ка,— орловский!..

— Всех жалеть будем...

— Всех, Лехин, не всех, а одного можно!.. Отпустим?..

Рыжебородого мы отпустили...

* * *

— Скажем, к примеру, большевики...— рассуждал второй подводчик, уже следуя за нашими санями.— Кому не известно!.. Обижают!.. Да все больше насчет скота и хлеба, а ваш брат и насчет шкуры не совестится.

— Насчет какой шкуры?

— А той, что под штанами... У мужика она хошь, говорят, и толстая, а все ж чувствительно...

* * *

Приморозило...

«За Уралом за рекой»,— вполголоса напевал Едоков...

Наконец показался и Харьков.

— Пожалуй, в Харькове не разживешься... Лавки, пожалуй, закрыты... Идем! — сказал я, взял снятую с Акима упряжь и вместе с Едоковым пошел в маленькую, покосившуюся хату, одиноко стоящую на краю дороги.

В хате было темно.

— Здорово, хозяин!

— Здравствуйте, товарищи, здравствуйте!..— кланяясь седой, приглаженной головой, ответил мне с лавки старик хозяин.— Здравствуйте... наконец-то!..

По малиновой тулье моей фуражки он принял меня, очевидно, за красного.

— Постой! Товарищи придут через час. А пока вот что, старик,— угости хлебом! — Я бросил на лавку упряжь.— Возьми вот... Вместо денег это!..

— Нам, товарищи, что деньги... Мы...

— Да кадеты это! — перебил старика чей-то угрюмый голос из темного угла хаты.

— Ще кадеты?..

— Всем, старик, и кадетам пожевать хочется. А ну, старик, дашь, что ли?..— Я торопился.

— Верно это!.. На то нам господом-богом и зубы даны... Хочется... а как же?.. Это ты верно говоришь! — Старик подтянул портки.

Он обернулся к нам спиной и стал шарить на полке.

— Кадеты это!..— вновь, еще угрюмее, прогудел в углу тот же голос.

— Пушай кадеты!.. Уж пушай!.. Ладно!.. Накормим! Ээх!..— Шаря на полке, старик кряхтел.— А это ты правильное слово сказал... Да!.. Эх вы-и!.. Уж и я вам скажу тогда,—ладно!..— Он вновь обернулся и посмотрел на нас с ясным, старческим спокойствием.— Пожевать, говоришь?.. Ну и жевали б себе хлеб с хлебушком... Да только вы, кадеты, позубастей других будете... Вот что!.. Смотри, скольких перемололи. И все — кому?.. Господам на угоду. Ну идите уж!.. Христос с вами!..

Из темного угла выросла рослая широкоплечая фигура молодого парня. Когда мы вышли на двор, парень молча закрыл за нами дверь. За дверью выругался матерным словом.

— Ну, а упряжь взял все же? — спросил меня Лехин, когда я, следуя с ним за санями, рассказывал ему о старике и сыне.

— Взял.

— Сука он, вот что! Едри его корень!

ПО ПУСТЫМ УЛИЦАМ

Возле каждой саней, на которых, с уже протетыми лентами и поднятыми прицелами, были установлены наши пулеметы, шло по солдату. Я шел впереди, держа в руках винтовку.

Подводчик следовал за последними санями,—немного поодаль.

— А коль застрекочет?.. Да бои начнутся?..

Людей на улицах почти не было. Немногие встречные быстро сворачивали в ближайшие переулки. Другие жалась к домам, исподлобья или удивленно на нас поглядывая.

Очевидно, добровольцы давно уже оставили Харьков.

— Эй, послушай! — подозвал я какого-то не успевшего свернуть прохожего. От одежды его несло рыбой. Очевидно, он был продавцом из рыбных рядов.— Скажи-ка, когда здесь последние добровольцы проходили?

— Ночью прошли.

— Ночью?.. А какие части?..

— Не разбираемся...

Продавец косился на крайний пулемет, но, встречаясь глазами с глубокой, черной точкой канала ствола, сейчас же опускал голову.

— А что, про красных не слышно?

— Был конный разъезд. Утром еще.

— Ну?..

— Ну а теперь не видно что-то.

— Разъезд?.. Да, господин поручик, был разъезд...— подбежал к нам какой-то остроносый реалист лет четырнадцати.— И теперь, говорят, возле вокзала «Южный» другой — тоже конный — показался. Буденного.

— Подгони!

Лехин оглянулся и, взглянув на меня, быстро ударил по лошади.

— На Северо-Донецкий!..

* * *

— ...Едри его корень,— Буденного!.. Сперва казаков расшвырял... До нас теперь целится!..

— А ну — минутку!..

Я подбежал к какой-то лавчонке с закрытыми наглухо ставнями и ударил кулаком о двери:

— Отвори!.. Эй вы там!.. Отворите!..

Дверь взвизгнула. Кто-то выглянул, но тотчас же скрылся, вновь захлопнув ее за собою.

— Да отворите! За папиросами здесь!.. Послушайте!..

За дверью вполголоса разговаривали.

«Сейчас отворят!» — подумал я, но дверь не отворилась.

Тогда я поднял винтовку и ударил прикладом.

— От-во-ри-и...

Дверь на мгновение опять приоткрылась. Худая женская рука быстро выбросила несколько коробок папирос. Когда я за ними наклонился, замок над ухом щелкнул снова.

— Эй, сколько тебе?.. Дура!.. Да сколько?..

А Лехин возле саней уже беспокоился:

— Господин поручик! Да идите, господин поручик!..

Прикрепив к замочной скважине пятирублевку, я побежал к саням.

Закурив, я вновь обернулся. На площади перед лавкой пятирублевкой моей играл ветер...

— ...Если что, тебя, брат, не тронут...

Подводчик недоверчиво чесал затылок и испуганно смотрел на меня.

— Да кто же тронет, дурак?.. Не солдат ведь!.. А ну ступай!.. Ступай-ка!.. Вот,— так вот прямо и пойдешь. На Северо-Донецкий... Порасспроси и узнай, кто там,— наши аль красные...

Ожидая подводчика, мы сидели на санях и курили.

Над городом висела тяжелая, мертвая тишина.

Одиночные приглушенные выстрелы изредка доносились только с Нагорной стороны. Около нас, на Скобелевской площади и Змиевской было тихо и пусто.

Вечерело... По рамам верхних окон карабкалось солнце. Солнце не грело. С крыш уже не капало.

— Поручик!

Я быстро обернулся.

Передо мной стояла девушка, почти подросток.

— Послушайте, можно мне идти с вами?

Я приподнялся. Взял под козырек.

— Простите, а куда вам?

Выстрелы с Нагорной донеслись отчетливей. В конце Змиевской кто-то махал картузом и кричал, сипло и надрываясь:

— Митька-а-а!..

— Мне, поручик, на Лиман. К матери я. Я уже пятые сутки в дороге.

Подошел Акимов:

— Куда нам, господин поручик, с девками! Если б солдат был, аль мужчина...

— Круг-ом!

Акимов повернулся. Отходя, ворчал.

— Иди, иди! — крикнул я ему вслед.— Не суйся!

— ...Да, поезда уже ушли. Я была на вокзале.

— В таком случае должен вас предупредить: на сани вы рассчитывать не можете.

— Я, поручик, умею ходить.

— А если задержка?.. Бой?..

— Я не боюсь.

Я улыбнулся.

— Хорошо. Следуйте за нами...

Девушка крепко, по-мужски пожала мне руку:

— Спасибо! — потом отошла в сторону.

Ей было лет восемнадцать, не более. Над ее круглым, энергичным лицом бежали черные змейки-волосы. Глаза, чуть-чуть раскосые, глядели решительно и твердо.

Вернулся подводчик.

— Пусто там, господа, а армейцев будто бы нету.

— Трогай!

* * *

Ветер хлопал раскрытыми настежь дверьми вокзала. Крутил на перроне бумаги. На запасных путях грабили какой-то брошенный эшелон.

— Что же делать?

Загнанные в тупик пустые теплушки стояли без паровозов. В телеграфном помещении дремал кот. Провода были перерезаны.

— Черт дери!.. Что же делать?

Я решил уже спускать сани под отлогую дорогу, идущую вдоль железнодорожных путей, когда ко мне подбежал Лехин.

— В депо, господин поручик, паровоз стоит. И топится. Машиниста тоже изловили. Ядри его корень, прятаться ду- мал. Я к нему Акимова приставил. Идемте!

Паровоз оказался маневровым, вдобавок еще большим.

— Все равно! Эй!..

Паровоз шипел, заливая кипятком падающие на шпалы угольки.

Минут через двадцать, прицепив к паровозу теплушку, мы погрузили пулеметы, оставили подводчику сани и всех наших лошадей и медленно двинулись к югу.

На паровозе, рядом с машинистом, стоял Лехин.

...Уже бежали низкие вокзальные строения.

— Смотрите, господин поручик! Смотрите, грабят!..— крикнул Едоков, высываясь из дверей теплушки.

Около вагонов брошенного эшелона толпился народ. По нагруженным на открытых площадках мешкам тоже карабкались какие-то люди.

— Смотрите, смотрите!..

Высокий мужчина в коротком, подбитом мехом полушубке балансировал по узкой доске, брошенной с вагона на насыпь. Мешок, взваленный на его спину, был порван. Из него сыпался сахар.

— Девине!...— крикнул я, приподымаясь.— Девине!..

Гремели колеса. Под откос набегали поля.

С Девине я больше не встречался...

— Ну а что дальше, Ксана Константиновна?..

Ксана Константиновна, наша новая спутница, рассказывала мне о пережитом ею за последние годы.

Дочь расстрелянного в Чугуеве военного инженера, она жила с больной матерью в Лимане. Оба ее брата, поручик-артиллерист Жорж и кадет Сумского корпуса Костя служили в Добровольческой армии.

— Как будто б и мне полагалось поступить... в сестры, хотя бы... — рассказывала Ксана. — Не правда ли?.. А вот, не поступила!.. Не все романы и повести по шаблону пишут, поручик, а живется — и всё. Я говорю: или всё, или: здесь не моих рук дело... Отступаю!.. Таких, как наш Жорж, я не понимаю, поручик, органически не могу понять. Смотрите: Жорж всегда на фронте; его ранят — он вновь на фронт едет... А добровольцев не любит. Мы, говорит он, победы хвостом заметаем. Так чего ж огород городить, спрашивается? Вот Костя, второй, это..

Я выглянул за дверь.

— Простите!..

Смотрел не отрываясь вперед.

— Одну минуту!

...Снежный холмик за железнодорожным мостом круто вырастал за виадуками. Очевидно, поезд шел быстро, но мне казалось, колеса под вагоном медленно переворачиваются. Одно колесо, не смазанное, зловеще гудело.

Ближе и ближе подымался мост перед нами. Еще ближе... Еще...

— Ксана Константиновна, вы понимали... опасность? — спросил я, когда железнодорожный мост остался наконец за спиной.

— Ну и что же?

— Так почему ж вы?..

— Что почему? — Она улыбнулась. — Слушайте... Я же, как дочь военного, великолепно понимаю, что не каждый офицер-пехотинец знает, где и как ищут эти пироксилиновые шашки. Но ведь и я этого не знаю... А ехать нужно... Чего ж панику сеять?.. Так?.. Вот и проехали ведь!

Уже стемнело... Едоков и Акимов дремали. В дверь теплушки хлестал ветер.

...Когда брата Жоржа ранили в третий раз, Ксана Константиновна, не сказав об этом больной матери, уехала в Сумы, где, по слухам, должен был лежать ее брат. Но Жоржа она в Сумах не нашла.

— В Бассах, под Сумами у меня жила подруга, — рассказывала Ксана. — Мама думала — у ней я, а я уехала на фронт, полагая отыскать батарею Жоржа, справиться. Но тут все завертелось, закружилось... Я на Бассы, а там — никого... Ни подруги, ни ее родителей, ни даже сторожа... такого седого-седого, — прямо дед рождественский!.. И куда этот потащился? Ну, ладно. Я, значит, снова на вокзал. Справа гремит... Слева... Паника... Я вскочила на бронепоезд, кажется на «Неделимую». А под Харьковом пришлось соскочить. Офицеры приставали... Ну, а теперь с вашими «Максимками»... Вот и все!..

«Поезд» замедлил ход.

Молодой капитан, начальник бронепоезда «Казак», волновался:

— Но ведь вы стоите перед самым моим носом! А если красные?.. Ведь нельзя же допустить, чтоб пред самым бронепоездом болтался какой-то сортир!

Я возражал развязно. Думал: так крепче!..

— Я, капитан, не имею ровно никакого желания болтаться. И, если здесь разъехаться невозможно, надо податься назад, на станцию, где, маневрируя, можно разойтись. Не так ли?.. Ведь, кажется, — логика?.. Теплушку же и мой паровоз я сбрасывать под откос не разрешаю. Силой? Пожалуйста!

— Но вы офицер?.. Подать-ся?.. Назад?.. Бронепоезду, прикрывающему отступление?.. Вы понимаете, что говорите?

— Понимаю и отвечаю. Конечно!.. Ведь непосредственно за нами красных еще нет. Итак, капитан?

В досаде капитан развел руками. Я отвернулся.

На станции толпились корниловцы 1-го полка.

— Поручик! — уговаривал меня какой-то офицер с выпавшими звездочками на погонах. — Отдайте пулеметы нашему полку. Под расписку, поручик... Конечно, под расписку... Не все ли равно? Ведь дроздовцы еще до Харькова свернули на Мерифу и пошли по линии Южной дороги. Искать их на Северо-Донецкой? Ах, так?.. Бросьте, поручик!.. Теперь?.. Теперь пробираться на Южную? Сны весны, поручик, какая ерунда!.. Вы, кажется, не в курсе... А смотрите, — и корниловец показал на бронепоезд и на наш маленький, упершийся в него паровоз, — действительно, вы связываете действия «Казака». Ваше еще счастье, что он не сбил вас, когда вы подъезжали. Мы и так на вокзал повысыпали: это еще кто прет? Ведь «Казак» вышел последним. Отдайте пулеметы, а ваш ковчег Ноев...

Но я не сдавался.

— Дроздовцы, господин поручик, полку своему не изменники! — подошел к корниловцу черный от угля и масла Лехин. — Мы, господин поручик, из-под самых...

— Сбросить их — и кончено! — глухо говорили корниловцы в кольце вокруг нас.

— Бабу везут!..

— Ишь, бардак на колесах!..

— Дро-о-здовцы!

С обеих сторон путей уже подымался едкий зимний туман. В окне вокзала зажгли свет. Потом свет вновь пропал. Очевидно, окно завесили.

Рассерженный упрямством капитана, я молча курил папиросу.

— Поручик, на пару слов! — кивнул мне вдруг какой-то штаб-капитан, со значком «Ледяного похода».

— С великим удовольствием.

— Так вот, слушайте...

И он отвел меня в сторону.

Вскоре в мою теплушку грузили мешки с сахаром. Потом подвели двух волов. Долго, гикая и крутя хвосты, подымали их по качающимся доскам. Доски разъезжались.

— Не верю, что полковые... — сказал я Қсане, сдвигая пулеметы в один угол теплушки. — Ну, да все равно! Но что вы скажете про это соседство!

Қсана ничего не ответила. Обернулся Едоков.

— Ничего, господин поручик! Они нам заместо печей будут. Ведь теплом дышат... Эх вы, ми-и-и-лье!

Опустив до копыт морду, в теплушку подымался уже и второй вол. Едоков тянул его за петлю, брошенную на крутые выгнутые рога.

— Эх ты-и! Ми-и-и...

Корниловец-первопоходник торопился. Торопился и начальник бронепоезда, с которым, как первопоходник и обещал, ни споров, ни прений больше не было.

Через полчаса мы тронулись. «Казак» шел перед нами. На следующей станции нам удалось разъехаться.

«Казак» пошел назад.

Лехина на паровозе сменил Едоков. Едокова — Акимов.

— Мороз, господин поручик. И ветер...

— Теперь я пойду, — сказала Қсана, взявшись за мою винтовку.

— Куда это?.. Нет уж, простите! — И я осторожно забрал у ней винтовку.

Было темно. В темноте я видел, как вокруг лба Ксаны бились освободившиеся из-под шапочки волосы. Ксана стояла, прислонившись к ребру открытых дверей, и смотрела на бегущие черно-синие, снежные дали.

Мы приближались к Змиеву.

В Змиеве стояло несколько поездов с беженцами. Пути были забиты. Мы дожидались раскупорки уже второй день.

Холодное тихое утро сползало с насыпи. Я только что умылся и вытирал лицо черным от грязи полотенцем.

— Поручик, дайте-ка! — И, взяв из рук моих полотенце, Ксана пошла куда-то вдоль насыпи.

— Ксана Константиновна! Куда?..

Она обернулась и только махнула мне рукой.

— Девчонку эту лапать я запрещаю! — сказал я, вновь влезая в теплушку. — Эх вы, кобельки сучьи! А ну, кто этой ночью к ней пробирался?

— Не мы это, господин поручик! — Едоков показал глазами на капитана-первоходника. — Не наша каша и ложка не нам.

Я щелкнул пальцем о кобуру нагана.

— Кто бы ни лапал — расправлюсь! Поняли?

Капитан, стеливший под волами свежую солому, посмотрел на меня и улыбнулся.

Минуты три мы молчали.

— Кто из вас этой ночью ко мне в мешки лазил? — вдруг спросил он, стряхивая грязь с ладоней. Щелкнул пальцем о кобуру. Улыбнулся.

Я уже вылезал из теплушки.

— Капитан! — болтая в воздухе ногами, ответил я ему. — Вы можете сегодня же разгрузаться... Вас не держат...

Капитан промолчал.

Серый полдень висел над далекими крышами Змиева. Я шел с Ксаной вдоль беженского эшелона. Двери теплушек были закрыты. Сквозь пробитые стены торчали косые трубы. Трубы дымили.

— Может быть, выменять мою шапочку?

— Оставьте, Ксана Константиновна! — сказал я, твердо решив этой же ночью выкрасть у капитана-первоходника немного сахара и обменять его на хлеб. — Я что-нибудь да надумаю. Подождите!

Под теплушками эшелона валялась картофельная шелуха. Тощий пес под колесами лизал банку из-под «Corned Beef'a». ¹ Банка скользила по замерзшим шпалам.

Когда, наконец, мы подошли к последней теплушке эшелона, Ксана раздвинула двери, ухватилась за пол теплушки, поднялась на мускулах и быстро вскочила в вагон. Я последовал за нею.

В теплушке было дымно и жарко. На чемоданах из красной и желтой кожи, друг возле друга, молчаливые и серьезные, как ученики в школе, сидели беженцы — мужчины и женщины. Разложив на прикрытых салфетками коленях хлеб и сало, беженцы завтракали. Посреди теплушки коптела печь. Над ней висело мое полотенце — уже выстиранное.

— Добрый день!

— Закройте двери! — сердито пробасил вместо ответа какой-то мужчина в меховой, высокой шапке и вдруг закашлялся, очевидно от дыма. Кусок сала с его колен упал на пол.

— Подождите!.. Ну что, высохло?

И, взяв мое полотенце, Ксана вновь соскочила на насыпь.

— Душно там! Господи, как душно!..

Она глубоко дышала, положив ладони на маленькие круглые груди. Вдруг обернулась.

— Знаете!.. Это, конечно, глупо... Но я так боялась, что вы там... просить будете...

Я засмеялся.

— У сволочей?.. Ждите!..

* * *

— Капитан мажет, ядри его в корень. Видно, далеко ехать собирается! — встретил нас за вагонами ефрейтор Лехин. — Мешок сахару подарил. Ну, теперь лафа, господин поручик!.. Едоков уже и в деревню побег. За хлебом...

Через час мы ели хлеб со сметаной. Вечером вновь двинулись в путь.

Было темно. Колеса торопливо стучали. Над головой медленно и лениво жевали волю.

— Мама ничего не говорит... Только плачет... — вполголоса рассказывала мне Ксана. — Товарищи Жоржа говорят: надо мстить за поруганную интеллигенцию; через войну к миру, — говорит Жорж. Ну, а Костя... Погоны, шашка, шпоры...

¹ Название мясных консервов (англ.).

Много ли мальчику нужно! Ему кивни только! Ведь Костя на целых полтора года моложе меня. Для него Деникин и Фенимор Купер — одно и то же. Вы понимаете, поручик?

В темноте я Ксаны не видел. Не видя ее, мне трудно было следить за ее словами. Мысли почему-то путались.

— Если б папу не расстреляли,— продолжала Ксана,— мне было бы гораздо легче во всем этом разобраться... А так?.. А ведь я много думаю, поручик! Папа, братья — вы понимаете?.. Я не могу не думать!.. Одни — это красные, но они проходят мимо нас, стороной. А если и останавливаются, то только для того, чтобы вырвать кого-нибудь из наших близких. Как же могу я подойти к ним и узнать, куда они идут? Другие — это вы... Но вас тысячи, и все вы разные... Потому мне кажется: вы никуда нейдете. Только топчетесь... За что же ухватиться, поручик? С одной стороны — (кто себе враг?) — ведь папу расстреляли!.. С другой... — я видела виселицы... Их было двенадцать штук... Кто себе враг! — подумала я тогда про красных. Но они меня не подпустили. На дороге к ним лежит труп моего папы... И вы не подпускаете... Тоже... Между вами и мной — виселицы... Итак, нужно отступать... Но куда отступать, поручик?

Ксана замолчала.

— Вы слышите? Вам не смешно?

— Говорите! — кутаясь в шинель, сказал я тихо. — Где там смеяться!..

Мне было холодно. В пояснице ломило. На минуту мне показалось, что слова Ксаны медленно опускаются в темноту.

— И вот, вместо задач Шапошникова и Вальцева,— наконец снова дошли до меня ее слова,— приходится решать другие... и тоже со многими неизвестными. И в конце концов, разбив голову и ничего не решив...

Тяжелый звон, качаясь, опять проплыл между мной и Ксаной.

— Ксана! — сказал я, очнувшись.

Колеса переставали гудеть и вновь стучали, торопливо и сбиваясь.

И вдруг мне захотелось увидеть лицо Ксаны. Вот сейчас же, немедленно!

— Ксана!

Я вынул папиросы. Достал спички.

— Ксана!..

Спичка вспыхнула. Озарил ее круглое, под черной шапкой и волосами чуть приплюснутое лицо. Я встретил ее глаза, задержал их в своих, но желтый мигающий свет вновь со-

— Ксения, к вечеру мы будем в Лимане. Счастливо. Не поминайте...

— Ти-ли-бом...

— Мы, Ксения, двинем на Славянск. Оттуда на Лозовую. Думаю, на Лозовой мы найдем дроздовцев.

— Ти-ли, ти-ли, ти-ли бом...

— Едоков, да подсоби же! — У меня уже не было сил без помощи взобраться в теплушку.

— Поручик, я не могу бросить вас так... в таком состоянии.

— Глупости, Ксения!

— ...тили-бом, — оказался военком!..

...Ухватив меня под мышки, Лехин и Едоков подымали меня в теплушку.

— Понимаю, голубчики, понимаю!.. Как не понять!.. Да много теперь сахару этого!.. Все везут!.. Нам бы сатину, голубчики, аль ситцу... Дорого теперь хлеб-то!..

И снова поезд отходил от станции, волоча вдоль снежных канав полосы взрытого ветром дыма.

Наша теплушка шла в хвосте корниловского эшелона. Паровоз мы бросили — нечем было топить. Машиниста отпустили.

Над крышей теплушки бежал ветер. Один из волов выдал рожгами прогнившую доску стены. Сквозь пробоину валил сухой мелкий снег.

Я лежал на полу. Кутался в шинель. Иногда бредил. На пулемете возле меня сидела Ксана.

— Поручик, я не оставляю вас...

Она играла пулеметною лентой. Вдруг встала, подошла к волу и прижалась щекой к его широкой шее.

— Не оставляю... никогда!..

За дверью бежали снежные дали... «Ксана!.. — думал я. — Ксана!.. Милая!..»

...А в Лимане мы расстались...

Когда Ксана ушла, капитан-первопоходник вдруг очень беспокоился моим здоровьем.

— Нет, поручик, здесь вы лежать не можете... Дует, снег... А у вас тиф... я знаю... Я устрою вас в теплушке с печ-

кою. Хотите? Переговорю с капитаном Мещерским,— мой хороший знакомый,— вмиг... Хотите?

Он ушел и вскоре меня отвели в одну из теплушек корниловского эшелона.

— А за пулеметы не извольте беспокоиться, господин поручик,— уходя назад в нашу теплушку, сказал мне Едоков.— Ну, значит, до следующей станции. Наведывать будем...

Корниловцы играли в карты.

Умирают туберозы
На моем столе.
Звезды падают как слезы
В дымно-синей мгле...—

мягким баритоном пел штабс-капитан Мещерский, бравый корниловец, с черепом на рукаве гимнастерки.

Наконец эшелон рвануло...

НОЧЬ В СЛАВЯНСКЕ

— Несите! На вокзале не может не быть летучего отряда. Но скорей, не останьтесь, эшелон сейчас идет...— И, подойдя к двери теплушки, штабс-капитан Мещерский быстро ее раздвинул.

— Ну!.. И этого...

Поручик Бобрик, лежащий рядом со мною марковец, протяжно и глухо застонал.

Была ночь...

Когда меня несли на вокзал, звезды в небе — много звезд — кружились в глазах красными шариками. Руки свисали вниз. Кисти болтались. Два раза — за разом раз,— точно о тяжелые мертвые струны, ударились, отскочили и вновь ударились о что-то холодное.

— Осторожно, рельсы! — сказал первый солдат.

— Вижу,— сказал второй.— Эх, и ночь же!..

И вот красные шарики куда-то укатились — вдруг, внезапно, точно стрелки, сбежавшие под гору. Над глазами закачался желтый круг. «Лампочка...» — подумал я и почувствовал — вдруг, сразу: больше не качаюсь...

Меня положили на пол.

— Никаких летучек нет! — сказал первый солдат.

«Ефрейтор Филимонов говорит», — узнал я голос вестового штабс-капитана Мещерского.

— Ну да ладно! — сказал второй.— Пусть полежит. Идем!

«Филимонов! Эй, Филимонов!!» — хотел крикнуть я, сразу поняв: меня бросают... здесь я умру!.. — но ни крикнуть, ни сказать, даже шепотом: «Филимонов, эй, Филимонов!» — я не смог...

Только поднял голову. Две солдатских спины уходили за дверь. За дверью качалась ночь. В ночи качались звезды.

— Эй, Филимонов! — крикнул я наконец и сразу же лишился сил. Голова ударилась о пол. Желтый кружок над дверью — красными, двойными, тройными кругами — вниз,верху — во все стороны расползся по темноте...

...Потом принесли поручика Бобрика. Положили рядом со мной. Говорить я не мог, не мог также и приподняться. Но видел, кажется, все и уже все ясно и отчетливо понимал.

Солдаты ушли.

По стенам ползла ночь. Мне казалось, тени скребут извесь стен, и извесь осыпается.

«Надо встать!.. — решил я. — Надо ползти к своим... в теплушку...»

Уперся о ладони. Но ладони поскользнулись, разъехались. Я стал падать — ниже... ниже... ниже...

Когда я вновь открыл глаза, в зал, крадучись и озираясь на дверь, вошел Филимонов. Над поручиком Бобриком он наклонился.

— Не умер, но все одно помирает! — сказал он кому-то и взял поручика за ногу.

На мне были сапоги дырявые, и воровать их не стоило.

* * *

...— Мама, ты знаешь?.. Мама, не я, другой это!.. Не нужно, пройдем мимо!.. — И вдруг, громко: — От-де-ле-ние!.. — так бредил поручик Бобрик.

«Встану!.. Нет, нужно встать!..» — думал я, подползая к стене. Поднял руки...

Стена возле меня грузно качалась.

Молодой рыжеусый поручик вертел в руках корниловскую фуражку. Волновался.

— Извольте воевать с большевиками, когда чуть ли не в каждом нашем солдате сидит большевик!

Я удивленно взглянул на поручика.

— В корнилов-це?

— Ну да, в корниловце! Двух часовых приставили. К машинисту. Двух. А они оба — и у всех под носом — с машинистом вместе как в воду канули!

...Рыжеусый поручик уже раз десять приоткрывал дверь теплушки.

— А ну, что слышно?..

Сквозь щель дверей дул ветер. Язычок свечи на полу пригibasя и бился, как в поле флажок линейного. Солдаты, раскинув руки, тяжело и хрипло дышали.

— А ну, что слышно?..

Но в темноте, за дверью теплушки, слышно ничего не было.

...Когда часа полтора тому назад мне удалось наконец подняться и выйти на перрон, эшелон корниловцев все еще готовился к отбытию.

«Славянск» — прочел я над станцией и, медленно спустившись на пути, пошел, качаясь, к эшелону.

Но нашей теплушки в составе эшелона уже не было. Я просунул голову в дверь ближайшего вагона.

— Скажите, здесь дроздовцы были... с пулеметами?..

Рыжеусый поручик, гревший руки над круглой печуркой, небрежно мне козырнул.

— Были, но остались в Лимане... С волами, кажется?..

— И с волами... Да... А зачем остались? Послушайте?

Рыжеусый поручик развел руками:

— А я знаю? — Потом наклонился ко мне. Взглянул в самое лицо. — Э-э-э!.. Да вы больны, поручик?

— Я залезу к вам... Можно?

— Залезайте!..

...«Все равно! — решил я. — Пусть давятся!»

В углу теплушки не дуло. Мне было тепло. Вылезать из-под шинели не хотелось.

«Все равно... Черт с ним!.. И с наганом... И с Мещерским... И с Филимоновым...»

На мне не было ни пояса, ни нагана.

* * *

— Черт дери! Извольте воевать с большевиками, когда в каждом...

Рыжеусый поручик сидел на «Максимке». В ногах у него уже догорела свеча. Солдаты все еще спали.

Но вот пламя свечи упало набок и тревожно забилося. На уровне пола, в дверях, вдруг с вихрем распахнувшись, выросла чья-то голова в густой папахе из заячьего меха.

— Здравия желаю, господин полковник!

— Слушайте!

Очевидно, полковник встал на носки, — голова его поднялась над уровнем пола.

— Вы студент?

Привстал и рыжеусый поручик.

— Так точно!

— Путеец?

— Так точно!

— Практикантом ездили?

— Раза три приходилось!

— Отлично! Отправляйтесь немедленно к командиру полка и заявитесь.

— Но, господин полковник, я давно уж...

Но заячья папаха полковника уже качнулась за дверью.

— Не можем стоять, поручик! Промедление смерти подобно! Как-нибудь, а ехать нужно! — из темноты прогудел его голос.

— Значит, вы едете?

— Едем.

— Прощайте! Я должен поджидать своих!

И, все еще шатаясь, я медленно пошел к вокзалу.

Над вокзалом тянулась узкая полоска зимней зари.

Последний путь, по счету четвертый, находился далеко от вокзала.

Утро долго не прояснялось, и корниловцы, бродившие около эшелона, казались мне серыми пятнами.

Вдоль вагонов, по песку, присыпанному мелким снегом, текло утро. Оно переползало через пустые поезда, угрюмо стоявшие на первом, втором и третьем путях; в желтых снежных полях за путями расплзлось, сгребая тени из-под круглых, как курганы, сугробов. Низко в небе, цепляясь за голые ветви лип возле станции, висели рыжие тучи.

На платформах было пусто. Около дверей валялась брошенная шинель. В зале 3-го класса, обвешанном плакатами ОСВАГа, лежали солдаты. Над дверью качалась электрическая лампочка. Лампочка горела, но уже не светила.

Среди тифозных, ближайшим к дверям, лежал поручик Бобрин.

Поручик Бобрин все еще бредил.

...Уже не серое — желтое ползло над шинелью в дверях утро. Пробежавший ветер открыл дверь. Побегал вдоль платформы. За платформой стояли поезда. Паровоз корниловского эшелона уже дымил, и уже не бродили — бегали возле красных теплушек солдаты.

И вот через шинель в дверях — утру навстречу — пополз на платформу поручик Бобрик.

...Пути и еще пути.

Очевидно, поручик Бобрик не видел поезда, около которого суетились корниловцы. Поручик Бобрик, очевидно, ничего не видел: ему на самые брови сполз козырек бело-черной фуражки.

Пути и еще пути...

— Эй, сюда! — крикнул я хрипло.

Прошел железнодорожник. Скрылся. Прошел солдат.

— ...твою мать! Холодно! — скрылся...

— Эй, сюда!

Мелкий снег побежал по доскам платформы. Замел следы солдата и железнодорожника.

Добравшись до четвертых путей, поручик Бобрик медленно опустился на бок, потом опрокинулся на спину, дернулся и замер.

...Падал снег. Снежинка, прилипшая к губам поручика Бобрика, не таяла. Не таяла и снежинка на его ресницах.

По рельсам, на которых лежал поручик Бобрик, медленно шел поезд. Паровоз вел рыжеусый поручик. Я видел, как поручик задержал плечами и перегнулся вперед.

Потом он вновь выпрямился.

...И поезд прошел.

Мороз крепчал. Я лежал в уборной. Там было теплее. К полдню на квадратное окно уборной легли лучи солнца. Потом на стекло набежал оранжевый дым.

Я вышел на платформу.

К Славянску подошел эшелон с курскими беженцами.

— Господин поручик! Господин поручик!

— Лехин?

За Лехиным, размахивая котелком, бежал Едоков.

* * *

— И шумели ж мы, господин поручик! — рассказывал Едоков. — Господин капитан нас даже пристрелить грозилась. Если б знать, так разве допустили б до этого. Что-о быков! И сахар продал — все! Известное дело, один мешок мы припрятали, а как же!

— Да ты по порядку!

Наконец Лехин рассказал мне о происшедшем.

Когда в Лимане меня отвели в теплушку к корниловцам, капитан-первопоходник отцепил от эшелона нашу теплушку. Он ждал мясников, которым продал волов, и лабазников, которым продал сахар.

— Уж такой человек... несговорчивый! — вставил Едоков.

— Спекулянт! — пробасил Акимов.

— А кто же, ядри его корень!

Лехин выгребал ногою навоз из теплушки.

К вечеру того же дня, с поездом, нагруженным снарядами, мы двинулись на Бахмут, где, по полученным сведениям, стояла хозяйственная часть нашего полка. Через два дня, вместе с нею, мы были в Харцызске, где и дождались нашего полка, который, оставив линии Южной железной дороги, пошел по Ростовскому направлению. К Ростову стягивалась и вся Добровольческая армия, во избежание, как говорилось в полку, разрыва фронта между Донским корпусом и нами.

И еще в полку говорилось о предстоящих боях.

Мы готовились.

ИЛОВАЙСКОЕ — ТАГАНРОГ

Прошло несколько дней.

Дроздовский полк двигался эшелонами. Пулеметный взвод я сдал поручику Савельеву, пулеметчику, присланному к нам из офицерской роты, и вновь принял свой 2-й взвод.

Чувствуя себя все еще слабым, я почти не выходил из теплушки.

— Нартов, а что подпоручик Морозов делает?

— У себя он, господин поручик, при взводе.

Тут же в теплушке лежал Зотов. Зотов приподнялся.

— Они, господин поручик, в расстроенных чувствах. На всех словно из подворотни глядят и бородой зарастают.

— Позови его, Нартов!

Подпоручик Морозов садился рядом со мной и, сдвинув брови, часами смотрел на огонек печурки. За время моего скитанья он, действительно, оброс густой, русой бородою.

— И черт с ней! Пусть растет!..

Где-то, кажется еще не доходя до Лозовой, на Алексеевке, он видел жену и вновь потерял ее в потоке беженцев. Она осталась за линией фронта. Зная об этом, я не задавал ему никаких вопросов.

...А в вагоне рядом пьянствовал поручик Ауэ. Говорят, он лежал на полу и, дико ругаясь, дрался с пустыми бутылками. В теплушках роты он не показывался. Иногда на остановках

к нам забегал штабс-капитан Карнаоппулло. Усы его были растрепаны. Веки опухли.

— Ка... ка... каторые здесь?..

— Идите, капитан, идите с богом! Которых здесь нету...

И опять — свистки. Казалось, эшелоны перекликаются. Растягиваясь от станции до станции, один за другим, они медленно двигались по пути к Таганрогу. По дорогам около путей тянулись обозы. Без конца. Шли беженцы, воинские части, просто дезертиры. Когда эшелоны останавливались, бесконечные, черные цепи этих людей бросались к нашим вагонам. Их встречали бранью, прикладами, иногда — огнем.

Эшелоны были переполнены.

— Ил-л-ловайское!..

Были уже сумерки. Идущий перед нами эшелон сбрасывал под откос несколько разбившихся в пути теплушек.

— Потому и задержка... Поезд там перецепляют,— сообщил Алмазов, разжалованный за дезертирство унтер-офицер-алексеевец, недавно пойманный и назначенный к нам в роту.

Он сел на пол теплушки, достал из-за голенища кусок сала.

— Набегай, кто охотник!..

За дверью кто-то бранился.

Из Румы - ни - и по - хо - дом

Шел Дроздовский слав - ный полк! —

пел кто-то в теплушке ротного.

— Пожрать бы!

— Жри!.. Все одно,— одному мало!..

...А меня вновь знобило.

* * *

— Свечников!..

Штабс-капитан Карнаоппулло раздвинул дверь теплушки.

— Свечников, сюда!..

Свечников вскочил.

— Дай!..

— Чего дать то?..

— Сала дай.

И, взяв у Алмазова второй ломоть, Свечников быстро выскочил из теплушки.

— Свечников, куда?

...Но геро - о - ев за - ка - лен - ных
Путь далекий не страшил...—

тянул кто-то у ротного.

Через минуту Свечников вновь вернулся.

— Что? Опять, брат, за салом?..

— К черту твое сало!

Он схватил винтовку.

— Ишь побежал!.. Пятки сверкают!..

— И куда это?..

— Не запирай, Нартов. Подожди! Выйти нужно.

Я подошел к двери и спустился на притоптанный снег около вагонов...

За канавами, по обеим сторонам путей, в высоких и замерзших камышах протяжно и с надрывом выл ветер.

Вдоль вагонов бежал снег, хлестал по ногам и трепал полы шинели. Над снегом валил мерзлый пар с паровозов.

— Веди! Веди в камыши! Спускайся!..

От классного вагона командира полка шла группа солдат.

— Веди! Веди его, серого! — кричал штабс-капитан Карнаоппулло, подталкивая в спину какого-то рослого солдата в бурке — очевидно, казака. Другого, в круглой рыжей кубанке, прикладом по затылку гнал Свечников.

Темнело...

Высокий черный камыш грузно качался над снегом.

— Зима, а степь дышит! — сказал кто-то рядом со мной. Потом вздохнул: — «Мчатся тучи, выются тучи...» А помнишь, Игорь?..

И вдруг из-под камышей — вверх — рванулись три коротких выстрела...

* * *

— Да за что?

— Да честь не отдали!

На Свечникове была круглая рыжая кубанка. Он поставил винтовку в угол теплушки и сел, вытянув на полу ноги.

— Честь не отдали?.. Кому это?..

— Его превосходительству.

— Кому?..

— Его превосходительству генерал-майору Туркулу.

Свечников распустил пояс. Прислонился к стене.

— Уж раз, думают, кубанцы, так добровольческому командованию и чести не нужно...— И, подобрав подбородок под ворот шинели, он солидно откашлялся. Кубанка — не по голове ему — съехала на самые уши.

— Свечников, закрой двери!

В теплушку врывался холодный воздух.

— Свечников, тебе говорю!

Но Свечников с пола не поднялся.

— Закрой-ка дверь! — кивнул он головой Нартову.

— Встать! — закричал я. — Встать, твою мать в клочья!

И, схватив Свечникова за плечо, я швырнул его к двери.

Рыжая кубанка покатила в угол. Звякнула, ударив штыком о печурку, упавшая на пол винтовка. И вдруг — «...чать!» — хриплым воем метнулось к нам из соседней теплушки. «Мол» — и опять: — «чать!..» «Молчать!» — Выстрел.

...Под вагоном клубился снег.

Мерзлый пар бил в лицо.

Я уже карабкался в теплушку ротного.

Вдрызг пьяный ротный сидел на полу. Его гимнастерка была расстегнута. Он размахивал наганом.

— За-ст-р-е-лю! Н-н-ни... ни шагу!

Над смятою буркой в углу теплушки стоял с шашкою в руке штабс-капитан Карнаоппулло. С его рассеченного лба капала кровь. Подпоручик Морозов стоял под другой стеною. В руке он держал пустую банку из-под консервов. Глаза его, обыкновенно голубые, серым, стальным огнем метались под свисающими бровями.

— Об-жаловать? — кричал ротный. — Мол-чать!.. Да я тебя, твою мать, проучу, твою мать!.. В моей?.. в моей роте?.. жалобы?.. Р-р-р-разойтись, барбосы! И чтоб... к матери бурку! В барахло вырастаешь, боевых цукать, грек синерыльй?!

И, вдруг поднявшись, ротный всем телом качнулся вперед. Бурка из-под ног штабс-капитана полетела в открытую дверь.

— Благодарю вас, поручик!

Подпоручик Морозов бросил банку, вытянулся и отдал ротному честь.

* * *

— ...И на ком?.. На ком злобу сорвал?

Я провожал подпоручика Морозова в теплушку его взвода.

— На ком?.. подумайте?!

Подпоручик Морозов молчал. Устало водил глазами.

— Да ты рассуди только...

И вдруг я замолчал, вспомнив о Свечникове...

Вдоль теплушек бежал ветер. Мерзлый холодный пар ложился на крыши. По дороге в степи шли черные обозы. В небе плыли звезды. А меня вновь качало со стороны в сторону.

— По вагона-а-ам!..

Все так же спокойно плыли звезды. Я видел их сквозь щель неплотно задвинутых дверей, за которыми, сползая во мглу, гудели под ветром все те же степи.

Мне было и душно и холодно. «Опять заболел! Второй приступ... Тиф или малярия?»

— ...А поручик его банкой тогда... По мордальону... Тут капитан...— смутно ловил я голос Нартова.

— ...И говорит мне, значит, вольнопер этот,— рассказывал в другом углу рядовой Зотов.— И говорит, значит... Садовник тогда бывает изменником, когда он продает на-стурции...

— Чего продает-то?

— Нас это, русских, Турции, значит...

— А ежели Германии?

— Дурак... Ведь про цветы это сказано!

— Про цве-ты-ы? Мудрёно чтой-то! А как, Зотов, насчет большевиков, нет ли случайно?..

— Насчет большевиков как будто и нету...

...Быстро, быстро плыли в темноте звезды.

Меня уже не знобило.

Скоро и колеса перестали гудеть...

Эх, в Таганроге,
Э-эх, в Таганроге,
В Таганроге,
Да в Таганроге
Да та-ам случи-и-лася-а беда...

Я открыл глаза.

Возле дымящейся печки сидел Зотов. Жалобно пел, закрыв глаза. Больше в теплушке никого не было.

— Зотов!

Зотов оборвал песню.

— В Таганроге мы, господин поручик. Ну как, полегчило?.. А и здорово промаялись! Два дня ломало. Не встать, думали...

— А где взвод, Зотов?

— Взвод в городе, господин поручик, весь батальон там. Добра, говорят, поставлено!

Я закрыл глаза.

Эх, та-ам уби-ли,
Эх, та-ам убили...

— Разойтись.

Без винтовок, перегруженные скатками кожи, влезали в теплушку солдаты.

— Ну и кожа, ребята!

— Вот выйдем на Ростов — загоним... Там, говоря-ат, цена!..

— Цена, говорят?.. Не тебе в карман деньги, чухна! Не тронь! Да не тронь, говорю! Оставь!

— А в морду?!

Огурцов и обруселый эстонец, ефрейтор Плоом, вырывали добычу из рук друг у друга.

Под дверью теплушки стоял Алмазов. Я видел лишь его засыпанную снегом фуражку и над ней ржавый, убегающий вверх штык.

— Шлялась туда-сюда,— рассказывал Алмазов.— Как видно, нищенка, да малахольная к тому же... Ну, мы и прихватили... Идем, Свечкин, что ли!.. В третьем она сейчас. Здоровая, всех выдержит... Там уже и в затылок становятся... Ты как насчет этого, Свечкин? А?..

— Ладно, идем! Мы что, рыжие?..

...Когда, уже под вечер, наш эшелон вновь рвануло и, мерно покачиваясь и подпрыгивая, покатались по рельсам теплушки, я приподнялся на локтях и выглянул за дверь.

Под насыпью, прямо на снегу, там, где грудями валялись разбитые водочные бутылки, широко раскинув ноги, с жалкой улыбкой на лице, сидела дурочка-нищенка.

Ветер трепал ее разорванное платье. На непокрытую голову падал снег.

А из открытых дверей теплушки ротного со звоном летели все новые и новые бутылки.

ПОД РОСТОВОМ

— Как кроты какие!.. Как ночь, так вылезаем...

Было темно.

Желтая низкая луна, не подымаясь выше частокола вокруг маленькой степной станции, косыми лучами тянулась под колеса теплушек. Наши тени скользили длинными полосами. На рельсах они ломались.

— И опять же... не к добру это!.. Если лик у месяца желтый,— значит, к неудачам...

— К морозу! — коротко ответил Зотову Огурцов.

В степи за станцией стояли танки. Возле дороги, сверкая медными трубами, выстраивалась музыкантская команда.

— Как странно... желтая ночь! — подошел ко мне подпоручик Морозов. Потом указал на танки.

— Смотри! Точно черепахи на песке...

В это время музыканты грянули бравый марш.

— Ура! — кричал генерал Туркул, верхом на коне обгоняя роты.— Ура! Не сдадим, ребята, Ростова!

— Ура! — перекатывалось уже далеко перед нами.

«Офицерская кричит!..» — подумал я, и вдруг, чтоб сбросить тоску, все туже и туже сворачивающую нервы, поднял винтовку и закричал тоже — неистово и громко, как о спасении:

— Ура-а-а!..

Но никто не подхватил. Было тихо. Только ротный подсчитывал шаг.

— Ать, два!.. Ать, два!..

А далеко за спиною, встречая 2-й полк, все так же бравадно играли музыканты...

Мы шли на Чалтырь.

Жители Чалтыря, богатые армяне, приняли нас не радушно. Очевидно, боялись нашего скорого отступления, а за ним и расправы со стороны большевиков.

— Эх, была бы кожа!..— вздыхал кто-то.— Всего б раздобыли!..

Но кожа осталась в вагонах.

— Нэ понымаю!.. Зачэм на арманской зэмлэ воевать! — ворчал хозяин.— Нэ понымаю,— казак дэротся, болшевик дэротся, скажи мнэ, душа мой, развэ армэнын дэротся?

За окном громыхала артиллерия. Переваливаясь, проходили танки.

Вошел Нартов.

— Окопчики, господин поручик, видели? Да все ни к чему это... Там, значит, и проволока понавалена. А укреплять-то когда будем?

И, поставив винтовку около двери, он подошел к склоненной над печкой хозяйке.

— Ну, как? Готово?..

— Нэ готово! — ответил за жену хозяин. — Вот ты скажи мэнэ, душа мой, — казак дэротся, болшевик дэротся...

— Отстань! Ну, как, готово?

Хозяйка варила борщ.

— Здравствуйте, господа!

И поручик Савельев остановился в дверях, стряхивая снег с шинели.

— Здравствуйте!.. Вот и сочельник!.. А бывало, помните?..

Подпоручик Морозов поднял голову...

— Бросьте, Савельюшка, и без того... тошно!

— Нэт, ну скажи мэнэ толко, душа мой, развэ армэнын дэротся?

— Брысь, кот черный! Мурлычет тоже!

Ночью мы спали не раздеваясь.

Бой завязался только на второй день праздника.

— Меня вновь знобит, — еще перед боем сказал я подпоручику Морозову. — И слабость...

— Перетерпи. В лазаретах хуже. Там сотнями мрут.

Я взял винтовку.

...Солнце светило ярко и радостно. Резкие синие тени длинными полосами тянулись вдоль оврагов. Они подползали под ежи и колючую проволоку, запутанную и ржавую, безо всякой цели брошенную на снег.

— Цепь, стой!

Мы вышли на бугор.

Цепи красных наступали на Чалтырь с трех сторон, стягиваясь к четвертой — к югу, где думали, очевидно, сомкнуться. Южные подступы защищал генерал Манштейн. В цепи была рассыпана, кажется, вся Дроздовская дивизия.

Генерал Витковский, дивизионный, верхом на вороной кобыле, едва успевал за Туркулом.

— Офицерскую роту!.. О-фи-цер-ску-ю сюда! — кричал Туркул, размахивая блестящим на солнце биноклем.

Что-то хрипло и невнятно кричал и генерал Витковский.

— И чего тужится! Сидел бы в хате, старый хрен! — гудел лежащий за мной ротный. — Туркул и без него... Прицел де-сять!.. И без него Туркул справится... Двенадцать!..

К полдню красные вновь подползли и густою цепью двинулись на Чалтырь.

— Черт бы их, — мухи!.. — сплюнул ротный, доставая папиросы. Закурил. — Хотите? — Потом привстал. — Хотите? — размахнулся и опять бросил портсигар уже подпоручику Морозову.

— Барбосы! — Пригнулся.

Пуля сорвала его правый погон.

Гудела артиллерия. Наша била по цепям. Красная — по деревне.

— Скажи мэне, душа мой, зачэм на армянской зэмлэ дэрутся? — крикнул, засмеявшись, Нартов, когда, прогудев над нашей цепью, над крайней хатой Чалтыря, опять разо- рвался снаряд.

— Карнаоппулло! Карнаоппулло! — махнул рукой штабс- капитану ротный. — Скажи мэне, душа мой, зачэм ж... й на солнце зреешь? Сме-ле-е!.. — И вдруг он вновь оборвал смех короткой командой: — Прицел восемь! Часто!..

«Скорей бы!..» — думал я, чувствуя все бо́льшую сла- бость. Уткнулся лицом в снег. «Скорей бы... Встать... Пойти... Все равно... Все равно...»

А пулеметы красных трещали все чаще и чаще.

Пули скользили под сугробы и брызгали осколками звон- кого льда.

Пронесли новых раненых...

— Господин поручик, господин поручик!..

Я поднял голову.

Два санитаря, ухватив Едокова под мышки, вели его к окопчику, где, разложив на снегу индивидуальные пакеты, сидел ротный фельдшер. Из его окопчика — в тыл — волочи- ли уже перевязанных. Снег возле окопчика был красным.

— Господин поручик!.. Господин поручик, про-ще-вай- те!..

Едоков улыбался. А под ногами у него звенели острые осколки льда...

К вечеру цепь подняли.

— Ура-а-а!..

В лицо бил ветер.

— Ура, танки пошли!..

Я тоже вскочил, пробежал несколько шагов и вдруг по- валился.

— Ранен! — крикнул надо мной кто-то.

— Ура-а!..

— — — ааааа-а! — несло уже далеко над степью. И все тише и тише:

— — — — ааааа!..

Очнулся я в санях.

Над самым моим лицом дышала морда лошади идущих за нами саней. Над ее головой, высоко в небе, метались красные

языки пламени. На фоне огня уши лошади казались острыми и черными. Почему-то мне стало страшно, и я отвернулся.

— А!.. Наконец-то!..

В саях рядом со мной, прислонясь к ободням, сидел подпоручик Морозов. Левая рука его была подвязана. Башлыком поверх шаровар была перевязана и его левая нога.

— Очнулись, господин поручик?

— Едоков, и ты?..

— А как же!..

Тело мое ныло.

— Господа, я ранен?.. Тоже?..

— Никуда ты не ранен... Лежи уж!..

Где-то, верст за пять гудела артиллерия. Ближе к нам, то и дело прерывая стрельбу, работал, заикаясь, пулемет.

— Подпоручик Морозов, где мы?

— В ротном обозе...

— Нет, что за город?

— Ростов. Сдаем...

Над крышами побежало пламя.

...Потом я вновь проснулся.

— Новочеркасск, говорят, пал...— рассказывал мне подпоручик Морозов.— Думаю, оттого так спешно и драпали... А спасибо, брат, Зотову скажешь,— он тебя вынес.

— А многих ранило?

— Да... Порядком!..

— А Нартов?..

— Да лежи уж!

— Нет, я не лягу! Слушай, что с Нартовым?

— Да говорю, лежи ты!..

Подпоручик Морозов отвернулся и на вопросы больше не отвечал.

По темным улицам бежали люди...

Маленькая сестра на саях за нами вдруг приподнялась и замерла, перегнувшись.

— Смотрите, смотрите!..

На фонарях, перед каким-то зданием, кажется, перед театром, болтались длинные и как доски плоские фигуры. За ними, на стене театра, дробясь и ломаясь о подоконники, маячили их красные от рваного огня тени.

Маленькая сестра за нами упала на солому.

— Раз, два, три...— считал Зотов.— Пять... Восемь...

Это были местные большевики, на прощанье повешенные генералом Кутеповым, принявшим командование над сведенной в корпус Добровольческой армией.

Мы уже перешли Дон.

К Батайску стягивались донцы, мы, добровольцы, и еще не ушедшие с фронта кубанские части.

Было холодно.

Я лежал на санях, прикрытый соломой, какими-то тряпками и латаными мешками. Раненный в руку и в бедро подпоручик Морозов лежал рядом со мной. От инея борода его стала белой, брови замерзли и оттопыривались сплошными, острыми льдинками.

Наконец, только утром второго дня, я узнал у него о судьбе Нартова.

При отступлении, когда наши танки почему-то остановились и сбитые шрапнелью цепи стали спешно отходить на Чалтырь, Нартову отсекло подбородок.

— Весь в крови, Нартов падал, вскакивал, опять падал... Хватал Алмазова, Свечникова хватал...

— А санитары?..

— А санитары?.. — Подпоручик Морозов безнадежно махнул рукой. — Ну вот!.. Меня волочил Горшков, тебя — Зотов, а остальные — сам знаешь!.. Ну, и остался!..

Волнами бегущего снега хлестал по сугробам ветер. Мы медленно спускались с пологого холма, — очевидно, к речке. Из-под снега торчали косые перила полузаброшенного моста. Упав на ось расколовшегося колеса, на мосту стояла брошенная походная кухня. Солдаты подхватили ее на плечи, приподняли и сбросили под перила.

— Трогай!

— А вы придвиньтесь, господин поручик. Теплей будет...

— Подожди, Едоков.

Я приподнялся.

— Плоом, поди-ка сюда! Эй!

Отставший от взвода ефрейтор Плоом остановился.

— Где Алмазов?

— Алмазова, господин поручик, в роте уже нет. Убег Алмазов.

— Тогда Свечникова позови.

— И Свечникова нет. Никак нет!.. Говорят, замерз Свечников. Отстал и свалился... Так точно, господин поручик, под утро еще... С ним Огурцов был. Тот покрепче,— добрел все же. А Свечников...— много ль в нем силы! Один форс только!..

И Плоом отошел от саней.

Когда мы спускались с моста, головные сани уже вновь въезжали на холмик.

На подъеме холма, торча оглоблями во все стороны, длинными рядами стояли брошенные сани. Промеж саней, редкими вкрапинками, чернели трупы.

Ветер крепчал...

— Не за-е-з-жай!.. Дальше!..

В окнах халуп света не было. Неясно, сквозь тьму белели на воротах мелом нарисованные кресты.

— Меня, ребята, крестом не спужаешь! В одну-то хату я забег,— непременно! — рассказывал кому-то раненный в руку ефрейтор, соскочивший с соседних саней за нами.— Молока, думал, достану. Ка-а-кое молоко!.. Вошел я и спичку зажег,— темь по тему, дух спертый. На полу старик и баба лежат. Не дышат, мертвые, видно. А над ними дитя копошится... Ну, тиф, значит! Правильно!.. Э-эх, растуды их кровь душу-мать!..

И ефрейтор стал кружиться и подпрыгивать, ударяя о бедро здоровой рукой.

Лошади, вытянув шеи, дышали хрипло и коротко, как в летний зной — собаки.

Через два дня, уже в Батайске, откуда 1-й Дроздовский полк вновь выступил на северо-восток, к Манычу, меня вместе с другими больными и ранеными погрузили на сани и повезли на Кушовку. Подпоручик Морозов с нами не поехал. Оба его ранения были не серьезны, и он остался при хозяйственной части.

— И правильно делает! — прощался со мной поручик Ауэ.— В лазаретах — тиф. Сдохнет. Ну, прощайте...

Я кивнул; ответить я не мог: меня вновь скрутило.

ХУТОР РОМАНОВСКИЙ

В вагоне IV класса — на полу, на скамейках и высоко под самым потолком, на полках для багажа — лежали больные.

Я лежал также на полке. Было душно и жарко. Взбросив руки вверх, я водил ими по холодным крашеным доскам потолка. Доски были влажные.

«Воды бы!..»

В вагоне качалась тьма. Кто-то на полу шуршал соломой. Потом долго звякал ручкою ведра, воды в котором давно уже не было.

Против меня лежал бородатый ротмистр.

— Рас-рас-расшибу! — кричал он, размахивая руками. Вот приподнялся. — Рас-ш-шибу! — и вдруг грохнулся вниз на пол.

Гудели колеса. За окном бежали огни Тихорецкой...

Санитарный поезд шел на Армавир.

Подо мной, на замерзшем окне брезжил свет одинокого фонаря. Поезд стоял.

— «Кавказская», — сказал кто-то и смолк.

В тишине стало слышно, как стонут тифозные — на полу, во всех углах, на скамейках и полках... Стон сливался, и мне уже казалось — стонет один человек, и стон этот то подымается под самый потолок, то вновь опускается, точно глухой гул волны за стеной каюты при качке парохода.

Я осторожно спускался на пол, цепляясь за доски ослабевшими пальцами.

— Братушка!.. Уж будь, братушка, снисходительным!.. И мне, братушка, коль сил хватит! — просил молодой фейерверкер с нижней скамейки, протягивая мне пустую бутылку. — Запеклось... и нутром, братушка, сгораю... Да слышь ли, о, госпо...

На полу барахтался упавший с полки ротмистр.

Хватая меня за колени, тянулся ко мне поднятой вверх бородой:

— Ты!.. ты!.. ы!..

А стон в вагоне плавал и качался.

...Рука скользнула по обледеневшим перилам. Холодный, резкий ветер забежал под ворот рубахи, вновь качнул меня к вагону, потом, хлестнув в лицо волосами, сбежал с плеч и, прыгая по шпалам, погнал снег под ногами.

Я остановился, оглянулся вокруг себя и медленно пошел к черной башне водокачки. Идти было трудно. Под ногами ломался лед. Ноги разъезжались.

«Вот дойду... Сейчас вот!..»

Низкая, темно-красная звезда плыла над водокачкой.

«Сейчас вот!..»

И вдруг за спиной что-то тяжело звякнуло, потом загудело. Я обернулся и, в отчаянии, швырнул бутылки об рельсы.

Глядя на меня буферами последнего вагона, мой санитарный поезд уходил в темноту.

...Медно-красная звезда стала золотой. В бассейне водокачки она отражалась острым зигзагом,— по воде бассейна бежала мелкая рябь.

Опустив голову на колени, я долго сидел, прислонившись к мерзлым кирпичам. Надо мной с трубы водокачки белой, завитой бороδοю свисал лед.

Под рубашкой бродил ветер. Он то вздувал ее, то вновь трепал о тело.

«Надо встать!» — решил я наконец. И поднялся, качаясь.

На полу зала лежали тифозные. Мертвые лежали среди них же. Глаза мертвых были открыты, вытянутые по швам руки повернуты ладонями вверх...

Широко загребая, тифозные медленно водили поднятыми руками, точно пытаясь куда-то выплыть. Руки скрещивались, падали и вновь подымались. Изредка подымался и кое-кто из тифозных, долго, не моргая, смотрел на электрические лампы под потолком и вновь падал, повертывая вверх ладони.

Я добрался до стены. Лег. Закрыл глаза.

— Не шарь!.. Да не шарь, прошу-у!..— прохрипел кто-то возле.

Я сунул руки под рубаху.

Под рубахой было тепло.

— Послушай!.. Да и я ведь... Эй, послушай!

— Оттяни, говорю, лапищи!.. Много найдется!..

— Да послушайте!..

— Твою мать! Сказано!..

И санитары прошли мимо.

Они подбирали лишь тех, на ком были погоны со звездочками. На мне не было ни шинели, ни гимнастерки, ни фуражки; офицера во мне узнать нельзя было, и потому меня также оставили на полу.

— Душегубы!..— Мой сосед-кубанец глядел вслед санитарам мутными, как после пьянства, глазами.— Узнают ще, душегубы — вот прййдут красные!..— Он приподнялся и поднял кулаки.— Уз-на-ют ще, почем пуд лыха!..

— Сестрица!.. Да сестрицу-у б!..— плакал за ним мальчик-вольноопределяющийся.

«Обожду... только... утра!..» — думал я, все глубже и глубже засовывая ладони под мышки.

И вот под утро вновь побились санитары.

— Санитар! — крикнул кто-то во весь голос.

— Санитары-ары!.. — совсем тихо подхватили другие.

— Са-ни...

Санитары, схватив покойников за ноги, волочили их к выходу.

О живых никто не заботился...

А под потолком уже гасли электрические лампочки. За окнами светало.

Какой-то эшелон подошел к перрону.

— Нам à la Махно, господа, действовать надо!.. Шкуро, тот давно уж прием этот понимал... А мы: до-ку-мен-ты!..

В зал вошла группа офицеров-кавалеристов. Молодой корнет размахивал руками.

— Остановить, значит, и всю жидовню. Ведь, черт де-ри, фронтовики гибнут!

— Санитар! — закричал мальчик-вольноопределяющийся, хватая корнета за сапоги. — Санитар!..

— Пустя, черт!..

И, оттолкнув вольноопределяющегося, корнет побежал за товарищами.

Шпоры его звенели.

...Когда я наконец приподнялся, надо мной пригнулся потолок. Круглой волной качнулся пол под ногами...

Потом идти стало легче.

— Куда ты?

— Не знаю, брат...

— Идем, что ль, вместе!

И костистый солдат в рваных лохмотьях пошел рядом со мной.

На скулах у него гноилась экзема. За ухом, слепив волосы, приподымался полузасохший, рыжий, цвета ржавчины, струп.

— Подсобить?

— Спасибо...

Мы спускались по ступенькам.

На площади перед вокзалом, рядом составив чемоданы, стояли беженцы.

— Из заблаговременных!.. — глухо сказал солдат в лохмотьях; потом, уже громче: — Сволочи!..

— Нет, господа, уж лучше здесь... — говорил бритый беженец, поглаживая клетчатый английский плед, который он держал через руку.

— Зараза там!.. Не-вы-но-си-мо!..

Его соседи закуривали.

— А когда поезд, Антон Мироныч? В восемь сорок?

— Опоздает, по обыкновению... Иван Петрович, да присядьте!.. Ведь ждать, голубчик, придется!

Иван Петрович, разложив на чемодане плед, осторожно присел, кутая широким шарфом гладко выбритый подбородок. На носу его блестело пенсне.

— Подожди,— сказал я солдату в лохмотьях и подошел к беженцам.

— Господа!

Беженец в пенсне, Иван Петрович, быстро приподнялся, на шаг отошел от меня и косо взглянул из-под стекол.

— Господа, есть там лазарет?

Я кивнул головою по направлению к хутору.

— В Романовском?.. А как же! Есть, станичники, конечно есть! Идите, голубчики, примут!.. Прямо идите!..

— Спасибо.

— Идем, значит? — угрюмо и коротко спросил меня солдат в лохмотьях.

— Дойти бы!..

Плечи мои дрожали. Ворот рубахи я придерживал рукой. Дуло...

— Безобразие!..

— И что это все наши Совещания думают!..— вновь заговорили за нашей спиной беженцы.

— Совсем ведь раздет, а холод какой!..

— Да, холод! — Солдат в лохмотьях вдруг круто обернулся.— Да, холод... Так, может, плед, господа, дадите?

— Идем! — Я рванул его за руку.— Да идем же!..

— Или шарф, хотя бы?.. Защитникам, так сказать. А?..

— Все прямо, голубчики, идите!.. Вас немедленно же примут... Все прямо, значит... Большой флаг Красного Креста — это и есть...

— Отстань! — солдат в лохмотьях отстранил мою руку.— Это и есть?.. Так получи...— Он стал дышать часто и открыисто. Подошел к беженцам. Остановился.— От офицера получи... трижды за вас... сволота... раненного!

И, харкнув, плюнул в лицо Ивану Петровичу.

...К вокзалу подъезжали все новые и новые сани. Все новые чемоданы выстраивались на площади.

— ...вашу мать! Перевозчики костей нестреляных!..—еще

раз обернувшись, крикнул на всю площадь офицер в лохмотьях.

— ...Поручик, я не могу больше!

— Но, поручик, ведь нельзя же... Идем!.. Еще два шага...

Мы медленно шли по пустым улицам, тщетно ища лазарета.

— Будь он проклят... весь этот хутор... с пристройками! — уже устало, точно нехотя, ругался поручик в лохмотьях, тоже, как и я, едва передвигая ногами.

Пройдя еще два квартала, я остановился.

— Идите один... Я лягу...

Поручик в лохмотьях что-то ответил — глухо и невнятно. Потом замолчал...

— Эй!..— вдруг закричал он надо мною.— Эй, подвези! В лазарет нам...

По улице на широких саях, крытых буркой, проезжал молодой кубанец с серебряным кинжалом за поясом. Обгоняя нас, он обернулся. Свистнул.

— наших вот Макаренко верните, апосля, единники, говорить будем!

И, причмокнув губами, он стегнул лошадь и скрылся за углом соседнего проулочка.

Братья Макаренко были вожак левого крыла Кубанской Рады, высланные генералом Деникиным в Константинополь.

— Вставайте!.. Да встаньте же!..

Поручик в лохмотьях тянул меня за рукав.

— Говорю, встаньте!.. Поедем сейчас!..

Около панели стояли низкие, извозчичы сани. Пришурился слезящиеся от солнца глаза, старик извозчик кивал головой.

— Привстань, сынок! Довезу уж!..

Поручик в лохмотьях взял меня за пояс. Приподнял. Какая-то девочка подбежала к нам и остановилась. Потом подскочил мальчишка.

— Цыц вы!..— крикнул извозчик.— Спиктакль вам, что ли?..

— Помирает, дяденька?.. Дяденька, помирает?..— услышал я звонкий голос девочки.

— Цыц, байстрюкы!

...Отвернувшись в другую сторону, мимо нас прошел какой-то полковник...

Женщина-врач, дежурная сестра и санитары забегали по коридорам.

— Некуда их?.. Сестра Вера, в пятой донец, этот,— как его...— не помер?..

— Сестра Вера!

— Дезинфектор!..

Нас раздевали в клетушке около дезинфекционной.

— Осторожней! Осторожней!..— просил, подняв к голове руки, поручик в лохмотьях, когда санитар взялся за его папаху.

— О-сто-ро-жней!

За папашой поручика, подымая волосы вверх, тянулась какая-то грязная, кровавая тряпка.

— Черт возьми! — сказал санитар.— И ходите?..

Потом нас понесли. Поручика в палату для раненых. Меня — к тифозным.

В этом лазарете, номера его я не помню, я перенес два последних приступа возвратного тифа, там же заразился сыпняком и переборол его.

ЕКАТЕРИНОДАР

— Заберите немедленно костыли! С плацкартой, что ли?..

— Не тронь строевых!

В углу вагона поднялся бледный вольноопределяющийся-марковец.

— Думаешь,— строевой, его и под жабры можно? Не тронь! — И, повысив голос до крика: «Не тронь!» — он подскочил и, вырвав из рук моих костыль, замахнулся на полковника.

— А ну, штаб, подходи!.. Я тебя... по-марковски!..

Полковник опешил. В вагоне загудели солдаты:

— Непорядок это, господин полковник!..

— Потесниться, аль здоровых согнать!..

— Довольно надругались!.. Хватит!..

— Я доложу!.. Я это так не оставлю!..— грозил мне полковник.— Большевизация!..

Не отвечая, я сидел неподвижно.

* * *

— Фронт его не гноил! Смотри,— песок сыпется, а галифе с кантиками!.. Туда же!..

Сидящий напротив меня поручик оправил на груди солдатский «Георгий».

— Поручик, вам в Екатеринодар?.. Тоже?..

Я молчал.

— Вы, может быть, ноги продвинете?.. Поручик!..

Я отвернулся, ближе к себе подбирая костыли.

Три дня тому назад, на второй день моей нормальной температуры, меня выписали из лазарета.

— Месячный отпуск,— сказал председатель врачебной комиссии.— Сле-ду-ю-щий!..

Я возмутился:

— Но куда я пойду? Ведь это бессмыслица, доктор!.. Я не могу еще в полк,— вы понимаете!.. В отпуск?.. Да вы меня под забор гоните!..

Доктор пожал плечами.

— Ваша койка уже занята. Езжайте куда хотите... Что ж делать?..

Опираясь на костыли, все время пытаюсь ступать на пятки, я медленно вышел в коридор. Пальцы ног, посиневшие после тифа, нестерпимо болели.

— Ну что? — спросила меня в коридоре сестра Вера.

Я молча прошел в канцелярию.

...За окном бежали кубанские степи.

— Отойди!..

Полковник в галифе, вновь было показавшийся в вагоне, прижался к дверям.

Солдаты переглянулись.

— Разошелся-то! А!..

— Да не шуми ты!..

— Теперь уж зря будто!..

Подбодренный солдатским сочувствием, полковник вдруг выпрямился и гордо вскинул под мышку портфель. Но под его сдвинутыми бровями старческие глаза бегали так же трусливо.

— Станный какой! — шепотом сказал поручик с «Георгием», кивая на вольноопределяющегося.— Фу ты, господи! Еще каша заварится... Уймите его, поручик!

Я молчал.

— Да уймите его, ребята! Ведь на людей, ребята, бросается. Непутевый какой-то...

На полу, среди седых станичников, сидела молодая казачка.

— Сам ты непутевый! — звонко закричала она.— Мало,— человека испортили, теперь еще обидеть ловчиться, ду-роломы!..

— Молчи ты! Баба!.. Я те-бя за слова за эти!

Но солдаты опять загудели.

— Бабу не тронь!..— вступились за нее и седые станичники.

- Правильно баба толкует!..
— Да вы б лучше, господин хорунжий...
— Руки не доросли, чтоб бросать-то!..— кричала казачка, уже наступая на поручика.— Других бросать будешь!.. я тебя, да с Еоргием твоим!..
А поезд уже подходил к Екатеринодару.

На шумном перроне Екатеринодарского вокзала вольноопределяющийся-марковец подошел ко мне снова. Глаза его блуждали.

— Господин поручик, разрешите доложить?

Опираясь на костыли, я остановился.

— Господин поручик, разрешите немедленно же по вашему приказанию,— быстро, точно рапортуя, рубил он,— мобилизовать всю эту штаб-офицерскую сволочь из примазавшихся, и на станции Ольгинской, не рассыпая в цепь... в цепь... Пулемет... Часто... Кровью...

— Истерик! — сказала за мной какая-то сестра.

Навалившись на костыли, я быстро отошел в сторону.

По слухам, на станции Ольгинской несколько дней тому назад была уничтожена чуть ли не вся Марковская дивизия. Я вспомнил об этом, отойдя от вольноопределяющегося. Но его уже не было видно.

— ...Неужели это правда?.. И... и... и комнат нет?..— заикаясь, спрашивал возле меня какого-то полковника остроносый военный чиновник, блестя из-под очков узкими, как щель, глазами.

— Комнат?.. Я бы и за ватерклозет, извините за выражение...

Кто-то меня толкнул. «Виноват!» — извинился кто-то другой.

— Петя!.. Петя!..— на груди у пожилого, ободранного подпоручика плакала женщина в платочке.— Петя, а Витя где?.. Петя!..

Возле подпоручика стояла девочка. Склонив набок голову, она играла темляком его шашки.

...Я опять навалился на костыли.

Около входа в зал III класса звенели чайниками калмыки Зюнгарского полка. Вдруг калмыки расступились.

Подняв голову, мимо них медленно проходил вольноопределяющийся-марковец. Он смотрел перед собой, заложив руки за спину.

Два калмыка нерешительно взяли под козырек.

Вечерело... С крыш капало...

На площади перед вокзалом стояли казачки.

— Да рассказывай!..

— Говорю,— не только казаки... Вот ведь и генерал Мамонтов помер. Все под одним богом ходим!..

— Мамонтов-то помер, а генерал Павлов не помрет... И не говори!.. Другое теперь начальство ставят... Не помере-ет!.. А Трофим твой,— вот как бог свят,— быть ему покойником!..

О выбившиеся из-под снега камни скрипели полозья саней.

— Какой станицы? — окликнула меня одна из казачек.

Быстро темнело. Я шел к баракам эвакуопункта, черневшим далеко за вокзалом.

Бараки оказались длинными, серыми палатками, вышеной в двухэтажный дом. Колья под некоторыми палатками не выдерживали туго натянутых канатов и косо легли на снег. Освобожденные канаты тяжело хлопали о мокрый брезент.

Я подошел к центральной палатке. Вошел. На двухэтажных нарах лежали солдаты. Света в палатке не было. Тяжелый, мертвый воздух сползал с нар и пластами ложился на дыхание.

«Тиф!» — решил я и опять вышел из палатки.

Было уже совсем темно. Моросил мелкий дождь. Снег под ногами размяк и жадно засасывал костыли.

Мне хотелось одного: снять сапоги...

* * *

— ...А может, скрутить найдется?

Я обернулся.

Маленький тощий солдат, закуривая, глядел на меня быстро бегающими глазами.

— Куда, брат, кости тащишь? А?.. Смотрю на тебя, думаю,— рассыпешься аль нет? Ну идем, идем! Укажу место.

И мы подошли к маленькой палатке около самого железнодорожного пути.

В палатке никого не было. Стоял стол. Возле него — табурет.

— Канцелярия, видно,— черт с ней!.. Ну иди же, иди! Хочешь, чаем порадую?.. Сбегаю вот,— там куб есть... Хочешь?.. Да скажи хоть слово одно! Немой, что ли?..

Я снял сапоги и уже ложился на стол.

— Черт дерн, темно вот,— не вижу глупой твоей хари. Да откуда ты? А?.. «Откуда ты, прелестное дитя?» — запел он вдруг приятным тенором.

— Вольноопределяющийся? — спросил я, немного удивленный.

— ...щаяся...

— Как?

— Титьки, дурак, пощупай! Поймешь... Вольноопределяюща-я-ся...

Над палаткой хлюпал ветер. Я засыпал...

— Канцелярия это, господин поручик. Лежать тут не полагается!..

«Вольноопределяющейся» в палатке уже не было. Надо мной стоял писарь. За отстегнутым углом двери серело бледное утро.

— Разрешите попросить вас, господин поручик, освободить, так сказать, это вот место...

Я поднял голову, но сейчас же вновь ее опустил. Воли, чтоб встать и выйти на холод, у меня не было.

— Уйди! — сказал я шепотом.

— Очередные задачи, господин поручик.

— Уйди!

— ...требуют...

— Уй-ди-и!..

Подняв узкие плечи, писарь покорно вышел. За спиной его болтался отстегнутый хлястик шинели. Руки торчали, как отпаявшиеся ручки самовара. Я закрыл глаза.

— ...не подходи!!! И всех по ко-ман-де!!!.. — кричал кто-то за палаткой.

— Сюда!.. Сюда!.. Дежурный!..

Потом все стихло.

Только в тишине за брезентом прыгал, кашляя, чей-то торопливый смешок...

Минут через десять в палатку вошел врач. Толстый, подвижной, он шел вприпрыжку. Размахивая руками, то и дело щелкал пальцами.

— ...Я не пойду!

— Но, поручик...

— Я не пойду!..

Доктор растерянно улыбался.

В дверь забежал ветер. Мятые бумаги на полу закружились.

— Послушайте!.. — доктор легонько хлопнул меня по колену. — Послушайте! — и вдруг наклонился, заметив мои больные ноги.

— Гм-м!.. Но куда же вас?.. скажите, куда вас в таком случае?

Я молчал.

— Гм-м!.. Дайте вашу руку... Гм-м!.. семьдесят шесть... Пульс нормальный... Но куда вас?.. К тифозным?.. Да нельзя вас к тифозным!..

— Никуда не пойду-у-у-у! — собрав силы, закричал я, вдруг чувствуя, как запрыгал мой подбородок.

В палату снова вошел писарь.

— Уже готово. Скрутили, — доложил он, пытаюсь вытянуть по швам вытянутые дугой руки. — Отвезить прикажете?.. Прикажете трогать?

— Есть! — крикнул вдруг доктор, радостно щелкнув пальцами. — Подожди!

И, размахивая руками, он выбежал из палатки.

И вот пришли санитары.

Они взвалили меня на носилки и понесли. Врач шел за нами, насвистывая. Писарь нес костыли.

Я не сопротивлялся. Только думал: «Зачем несут ногами вперед? А еще санитары!..»

За палаткой стояли запряженные клячей сани. На саних кто-то лежал. Когда меня поднесли ближе, я узнал вольноопределяющегося-марковца. Ноги и руки его были скручены ремнями.

«Куда нас несут? На гауптвахту?.. — подумал я и тут же решил: — Не все ли равно!..»

Носилки поставили на снег. Потом меня подняли и, толкнув в плечо, усадили в сани.

Витринами богатых магазинов смотрел на нас Екатеринбург. Люди, идущие по улицам, не смотрели на нас вовсе.

— Табак Ме-сак-су-ди! — кричали на углах мальчишки. — Папиросы!

Я неподвижно сидел на санях. Слушал, как под копытами лошади урчит вода и как звенят шпоры идущих по тротуару офицеров.

— Куда везете? — спросил я наконец сопровождающего нас санитаря. Санитар ничего не ответил.

— Куда нас везут? — обратился я к вольноопределяющемуся.

Вольноопределяющийся прищурил левый глаз. Правый широко открыл, быстро заморгал, потом рванулся вперед, всем телом задергался и, найдя упор затылку и связанным ногам, выгнулся колесом и без слов, протяжно и дико завывл...

Витрины богатых магазинов сменились окнами мелочных лавчонок. Потом и лавчонки повернулись к нам ящиками и бочками задних дворов. По бурому снегу за ящиками бродили тощие собаки. Собаки бродили и по большой грязной площади, на которую мы, наконец, выехали. К площади — с одной стороны — прилегало кладбище. Около ворот кладбища стоял деревянный некрашенный домик — мастерская гробов. Гробы стояли и на улице, выровнявшись в два ряда — подороже и подешевле. К кладбищу, мимо гробов, медленно двигались какие-то, прикрытые рогожей, сани. Из-под рогож торчали голые пятки.

Придавив соседние деревянные постройки, на другой стороне площади подымался высокий каменный дом. Линялый красный крест над воротами был едва заметен.

«1-й Военный Психиатрический Госпиталь» — прочел я надпись под крестом, когда наши сани наконец остановились около подъезда.

1-й ВОЕННЫЙ ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ

— Его в санаторию нужно, а не к нам, — сказал старший врач ординатору.

Тот пробасил:

— Но за неимением оных...

— Пожалуй! Поместите к тихим и к нервнобольным...

Я вышел за высокой белокурой сестрой, а вольноопределяющегося-марковца отвели в соседнюю палату — для буйных.

В светлой просторной палате № 2 было тихо. Больные, в серых и голубых халатах, лежали на койках поверх одеял и, скосив глаза, глядели на толстую рыжую кошку, неподвижно сидящую под столом.

— Кысенька, кысенька!.. Кыс-кыс! — бормотал в углу палаты больной, до ушей заросший бороδοю. — Кысенька!..

На коленях между моей и соседней койкой стоял вихрастый мальчик. Он размашисто крестился и усердно клал земной поклон за поклоном. Над широким воротом его халата торчал завиток давно не стриженных, черных волос.

— Ложитесь, поручик! — сказала мне сестра.

...Кошка под столом замурыкала. Стала бродить по палате. Мне казалось, я слышу, как ступают ее лапы...

И вдруг — это было уже к вечеру — из соседней палаты поплыл, оборвался и вновь поплыл чей-то певучий и высокий голос:

— Влади-миир кня-аазь!..

И, заливая гулом уже всю палату, вслед за ним поползли ворочаясь, другие голоса — тяжелые и неразборчивые.

Я вскочил.

За стеной в соседней палате гудели буйные.

А у нас, беззвучно шевеля губами, все так же усердно молился вихрастый мальчик. Кошка посреди палаты неподвижно лежала на полу, вытянув рыжие с белыми пятнами лапы. Над ней стоял высокий, гладко выбритый больной. Прищурился, он вертел в руках длинную, тонкую папиросу, держа большой палец около подбородка и далеко в сторону оттопырив мизинец. За столом сидел рослый санитар. Санитар дремал.

Я вновь опустил на подушку. Закрыл глаза.

...Буйные за стеной гудели до вечера.

— Костя, — входя утром в палату, сказала сестра вихрастому мальчику. — Попей чаю, Костя.

Но вихрастый мальчик уже устанавливал на столе нательную иконку апостола Иоанна.

— О чем это вы, Костя? — спросил я, протягивая руку за высокой жестяной кружкой.

Костя поднял черные, чуть раскосые глаза и долго, точно испытующе смотрел на меня.

— Влади-миир кня-аазь!.. — устало сдавал высоты одинокий голос за стеною.

— Костя, о чем вы?

— Не надо громко!.. Тише! Об этом громко не надо!..

Испуганный шепот Кости срывался на юношеский, надтреснутый басок:

— Тише!.. Вначале было... Но тише... — слышите?.. Вначале было слово... и слово было у Бога, и слово было Бог... — Глаза его расширились и уже перестали казаться раскосыми. — И все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть... и разве Бог не может отвести nord-оста?

С ледяных сосулек за рамами окон сбегали быстрые капли. Синее небо наползало на стекла.

— Влади-миир кня-аазь! — утопал в тишине голос за стеною.

Через несколько дней я узнал от сестры фон Нельке,

так звали высокую, белокурую сестру, что Костя, бывший вольноопределяющийся Деникинского конвоя, уже третью неделю ждет отправки в Крым к матери. Отправить его не могут, и на все вопросы говорят о свирепствующем якобы над Новороссийском норд-осте, который — «Да пойми ж, Костя!» — мешает пароходному сообщению по Черному морю.

— ...И слово было у Бога, и слово было Бог,— убрав иконку, уже каждый вечер склонялся с тех пор надо мной Костя.— И всё...

А за Костей, койкою дальше, тоже каждый вечер, приподняв одеяло коленями, онанировал худой и тощий военный чиновник, сжав зубы, как испуганная лошадь.

Прошло около двух недель.

Я уже встал и ходил по падае, опираясь только на палку.

— Лейб-гвардии Преображенского полка полковник Курганов,— подошел ко мне однажды всегда выбритый больной, куривший тонкие папиросы.

— Скажите, разве это не без-зо-образие! Его императорское величество,— голос его стал торжественным,— государь император Николай Александрович всемилостивейше соизволил мне... доверить... воспитание его императорского высочества наследника-цесаревича и великого князя Алексея Николаевича, а эти,— он кивнул на дверь,— эти остолопы гвардии Керенского не доверяют мне,— на минуту он замолчал и вдруг презрительно улыбнулся,— даже бритвы!.. Подставляю лицо всякому мужлану!

— Э-э, чего там, полковник! Курить хотите? — подошел заросший бородой вахмистр-паралитик.

Складки около рта полковника радостно побежали вверх, но брови сразу же вновь сдвинулись и складки заострились книзу.

— Ваше высокоблагородие, а не полко...

Я отошел.

— ...Курю только с мундштуком в девять сантиметров. Заметьте!.. Его императорское величество...

Дальше я не разобрал. Я стоял уже возле Кости.

Костя крестился. Чиновник-онанист рядом с ним ласково гладил кошку, свесив с постели желтую, костлявую руку.

— Хотите погулять, поручик? — подойдя, спросила меня сестра фон Нельке.— Вам разрешено. Хотите?..

Когда я вышел за дверь, по коридору — по направле-

нию к уборной — быстро, как сорвавшаяся с цепи собака, бежал на четвереньках маленький, голый старик.

— Ваше дит-ство! Ваше дит-ство! — кричал, смеясь, санитар. — Не поспеваю, ваше-дительство. Поттише!..

— В-восточные сладости! Рахат-лукум!

Над крышами Екатеринодара неподвижно висело солнце.

— Халва! — и, блеснув глазами, армянин прошипел уже над самым моим ухом: — Кáхетински есть! Гáспадин офицер.

По Красной улице гуляли офицеры. В переулках толпились казаки, солдаты и ободранные офицеры-фронтовики. Во флангирующей толпе на Красной шныряли торговцы-армяне. Черноусые греки, скупщики камней и золота, терлись около фронтовиков.

Я все глубже и глубже уходил в город. Наконец остановился: «Ну что, поверну?»

— Юрка, да ты ли?

— Марк! Откуда?..

На Марке была старая шинель, изодранная еще о германскую проволоку. Из-под незакрытого ворота виднелась летняя гимнастерка, сколотая у шеи ржавой английской булавкой.

— ...Дей-стви-тель-но!

Просмотрев мой бумажник, Марк нахмурился.

— Действительно, денег у тебя немного!.. А я, брат, третью категорию получаю... нового назначения жду... Да, брат, немного у тебя денег. Ну да ладно, половину я возьму!

Он вынул из бумажника пестрые бумажки и, перегнув через палец, стал пересчитывать.

— Не богато!.. Действительно!.. Не рыскал шакалом! А!.. Так-то, так...

Я знал Марка Ващенко еще по Павловскому военному училищу, всегда веселым семнадцатилетним юнкером, потом молодым офицером 613-го Славутинского полка, куда выехали мы также вместе.

— И что это, Марк... вид у тебя такой?.. Ну, зашил бы!.. Смотри: дыра... вторая... третья...

Марк спрятал деньги в карман шинели и быстро взял меня под руку.

— Чего толковать! Нечего, брат, толковать! Действительно, брат, толковать нечего!.. Идем, угощу. Ну, идем! Там и купим... все, что нужно... Два грамма... Пожалуй, на два хватит... Э-эх!..

В госпиталь я вернулся только к вечеру.

«Взять бы его,— думал я, вспоминая, как Вашенко, наюхавшись кокаину, плакал под смех проституток в кабаке за кладбищем.— Взять бы его!.. да с его кокаином...»

Потом я обратился к дежурной сестре.

— Сестра! Я скоро уеду. В полк пора. Видите, ужеправляюсь.

Сестра фон Нельке остановилась возле моей койки. Синие круги под ее утомленными глазами казались в темноте лиловыми.

— Успеете ли, поручик? Ведь уже и Тихорецкая сдана...

В палате зажглись лампочки. Буйные за стеной гудели, как в дупле пчелы...

...И ничто не помогало. Ни бром, ни папиросы. Сна не было...

Все больные давно уже спали. Спал и мой сосед — вихрастый Костя.

На столике возле него лежало Евангелие. Под ним какая-то тетрадь, в черной клеенчатой обложке.

Я взял ее и открыл.

Ночевала тучка золотая
На груди утеса великана,—

четким, почти детским почерком было переписано на первой странице. Под стихотворением бежала ровная, по линейке выведенная черта. Ниже — отрывок из Блока:

Я не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна...

Завиток. Неумело выведенный женский профиль. Мальтийский крестик, тоже косою.

— Го-осподи! — вздохнул дежурный санитар и громко, на всю палату зевнул.

Я тоже зевнул. Опустил тетрадь на одеяло. Из тетради выпала какая-то фотография. Фотография соскользнула на пол. Я поднял ее и вдруг увидел чуть-чуть раскосые, знакомые глаза Ксаны Константиновны.

«Моему милому и дорогому брату Косте,— прочел я под фотографией.— Черноглазому галчонку с крыльями сокола. Ксана».

...Опять зевнул санитар.

— Чтоб новокорсунские да подкачали! — бредил вахмистр-паралитик.

— Ва-ше им-пе-ра-тор-ско-е ве-ли-че-ство...

Я вложил фотографию в тетрадь и осторожно положил ее на столик.

Ночь была безнадежно долгая...

— Хорошо, я передам главному врачу. Как хотите!.. Но комиссия будет только дня через четыре.

Потом сестра фон Нельке подошла ко мне снова.

— Вы, кажется, просили... Хотите, я сегодня проведу вас к буйным? Вам все еще интересно?

Больные пили чай.

Я встал и пошел за сестрой.

На полу палаты для буйных кружился живой клубок голых человеческих тел. Завидя сестру, санитар быстро вскочил с табурета, подбежал к больным и, взмахнув кулаком, гаркнул на всю палату:

— Вы-ы!

Клубок тел сразу рассыпался. Первым с пола вскочил вольноопределяющийся-марковец. За ним — другие.

Разбежавшись во все стороны и вспрыгнув на койки, они быстро, как по команде, повернули к нам злые и улыбающиеся, одинаково оскаленные лица.

На полу остался лишь рослый краснвый больной с густой рыжею бородою. Нога у него была ампутирована. Все еще перевязанный обрубок медленно подымался и опускался, точно подобострастно кланяясь санитару.

— Ползи! — крикнул санитар.

Но больной поднял на него глаза, выправил волосатое тело и вдруг, ударив о грудь кулаком, стал быстро повторять, гордо повышая уже знакомый мне певучий голос:

— Влади-миир кня-аазь! Влади-миир кня-аазь! — А обрубок его ноги кланялся подобострастно...

— ...а где записаться? Вот и сидят голые. Но идите в женское. Я покажу вам наших бывших сестер.

И мы пошли вверх по лестнице.

— ...И он подошел... И он сказал... Берта! — сказал: Берта!! — сказал: Бер-та!!! — сказал...

А другая, тоже бритая, тыкая в стену указательным пальцем:

— Покажите мне, покажите мне, покажите мне!..

— Не можешь?! Уже не можешь?! — кричала с койки третья, яростно раздвигая промежность ладонями.— Не можешь?! — Тяжелые, круглые ее груди плескались и колыхались.— Уже не можешь?!..

И вдруг поток диких ругательств хлынул и закружился по палате.

Я быстро отступил к дверям.

Женские голоса за дверью все еще звенели. Поджидая сестру, я подошел к окну.

За окном, опрокинув гроба возле деревянного домика, из всех улочек и переулков выезжали на площадь все новые и новые обозы.

— Pour faire une omelette, il faut casser des oeufs,— сказала, выходя из палаты, сестра фон Нельке.— Вы понимаете по-французски?..

Хотелось назад. В палату № 2. Лечь. Уйти с головой под подушку...

— Последние дни... Да, чувствуется!..— сказал навестивший меня Ващенко.— Зайдем, что ли, ко мне. Жена нездорова... И тревога... И боюсь чего-то... И кокаина нет... Зайдем?

Я удивился.

— Ты женат, Марк?

— А как же!.. Давно уж...

Ващенко жил сейчас же за кладбищем.

В комнате у него было пусто. Стол. Венский стул с пропущенным, соломенным сиденьем. На кровати, лицом вниз, лежала жена Марка, молодая женщина с шапкой золотых, путаных волос.

Когда мы вошли, она даже не приподнялась.

— Марк, ты?

— Я, Варя...

Варя подняла голову. Лицо ее было заплакано.

— Что случилось? — шепотом спросил я Марка.

Но Варя меня услышала.

— А вам какое дело? — крикнула она.— Это еще кто?.. Марк!..

Я смутился.

— Ах, Варя, офицер это...

Варя повернулась ко мне спиной.

Марк сидел на краю стула и, положив руку на стол, барабанил пальцами.

Сквозь грязное окно струилось солнце. Оно падало на графин с водой и расплескивалось на столе золотыми брызгами. На столе лежала корка хлеба с затверделыми на ней следами зубов.

Я выкурил одну папиросу. Скрутил вторую... Наконец, встал.

— Пойду.

— Иди!..— крикнула мне вслед Варя.

На лестнице меня нагнал Марк.

— Не сердись!..— Он положил руку на мое плечо.— Видишь ли... жена расстроена... Уж ты, знаешь... прости. Видишь ли... отца у ней... выпороли...

— Выпороли? Отца? Кто?..

Марк опустил руку и взял меня за пояс.

— Эх!.. Ну, понимаешь... она из крестьян. Отец у ней — мужик... Самый настоящий... Да к тому же...— ну как тебе сказать?..— он понизил голос до шепота.— Ну, из большевистствующих, что ли... Понимаешь?.. Ну вот... Ну вот и накрыли... И перед всем селом... Земляка она встретила. Ставропольского...

На минуту Марк замолчал.

— А она... весь день сегодня: ты!.. ты!.. Кому служишь? Палачам служишь! Врагам нашим служишь!.. Черт! — вдруг закричал он.— Черт нас дери! Заехали лбом в кашу! Эх, нюхнуть бы!..

Я дал ему несколько пестрых бумажек.

На улицах было тревожно. В темноте на всех углах толпились офицеры.

— Платнировская взята... Это правда?

— Говорят, уже и Пластуновская.

— И сами!.. Сами виноваты! — истерически взвизгнул в толпе чей-то женский голос.— Оставьте!.. Я имею право! Оставьте!.. Я жена офицера. Я... я!..

Из-за кладбища налетел ветер. Ветер смял ее слова.

— Значит, эвакуировать будете, сестра Нельке? — спросил я на следующее утро.— А когда?

— Распоряжение еще не приходило... Но очень скоро!..

Чтоб чем-нибудь убить тревожный день, я еще с утра пошел к Марку.

Марк сидел на подоконнике. На кровати, как и в первый раз, спиной кверху лежала Варя.

Глаза Марка были широко открыты. Зрачки расширены. Он был вновь под кокаином.

— Бои идут под станцией Динской. Что делать думаешь, Марк?

Марк смотрел через мое плечо.

— Слушай, дай деньги...

— Вы! — закричала с кровати Варя. — Ни копейки не давайте!.. Я три дня... три дня... А этот... этот...

Марк быстро ко мне пригнулся.

— ...ей хлеба, а мне...

— Не смей!

Варя вскочила.

— Не смейте! — крикнула она еще громче, сверкнув глазами из-под упавших на лицо волос.

Сдвинув со лба фуражку, я вышел на лестницу. На лестнице вздохнул.

«Нет, с ним ни о каких планах не потолкуешь!..» — думал я, уже с хлебом в руках вновь подымаясь по лестнице.

«Отдам и сейчас же пойду...»

На лестнице я встретил Марка. Он бежал вниз, пряча что-то под шинелью.

— Марк! Марк!

Но Марк уже был за дверью.

Вари в комнате не было. Она вошла, когда я положил хлеб на стол и думал уже уходить.

Не застав мужа, она быстро нагнулась, посмотрела под кровать и вдруг бросилась на подушку.

— Мерзавец! Негодяй!.. Так и знала!.. И туфли... Господи!.. Пронюхает!.. Всё... всё пронюхал!.. — Варя плакала, как ребенок, вздрагивая всем телом. Ноги ее, в рваных и грязных чулках, беспомощно свисали с кровати.

— У-нес!.. У-унес!.. — уже тихо всхлипывала она. — Последнего лишил... на улицу выйти... продаться...

Ее золотые волосы поползли с подушки на одеяло. С одеяла под кровать. Под кроватью стояла изношенная пара сапог. Несколько золотых пряжей упали на голенища...

В палате меня встретил Костя.

— Не слово, а сила... Не мы, а Бог...

— И вот его императорское величество... — Полковник поднял голову. — Так точно!.. А в это время... К церемониальному маршу!.. — вдруг закричал он. — Поротно!.. На одного линейного дистанцию... Первая ро...

— На минутку! — позвал меня ординатор, остановившись в дверях. — Слушайте... Завтра мы вас эвакуируем. На Новороссийск, конечно. Оттуда? Не знаю, но думаю, на Принцевы острова. Вас и еще шесть офицеров — нервных. Да, необходимо торопиться. Красные подходят к городу и, говорят, расстреливают всех причастных к движению. Вот он и конец! Настал все же!..

За окном ползли густые сумерки.

«Только попрощаюсь! — думал я, опять подымаясь к комнате Марка.— Вот и конец!..»

На лестнице было темно. За подъездом гудел всегда тихий переулочек. Проходила артиллерия.

— Левой, твою мать!.. левой, говорю... в горло! — кричал кто-то сквозь грохот и гул тяжелых колес.

Я постучал.

— Можно войти?

Никто из комнаты Марка мне не ответил.

— Можно?

Опять молчание.

Тихо отворив дверь, я вошел в комнату и стал медленно пятиться назад.

На фоне залитого луной окна висел Марк. Черные губы его были раскрыты...

«Прощайте, Ксана! — писал я ночью в тетради Кости.— Прощайте еще раз... Я не знаю, дойдут ли до вас когда-либо эти строчки. Все равно!.. Я счастлив и тем, что имею возможность хотя бы утешить себя мыслью о том, что беседа с вами.

Помните, Ксана,— «Я много думаю... Я не могу не думать...» Это твои слова, Ксана. Сегодня я тоже думаю. Всю ночь. О чем, не буду писать. О слишком многом!..

Завтра я уезжаю из Екатеринодара. Послезавтра или днем-двумя позже его сдадут. Ночь сегодня бесконечно долгая... Прощай, Ксана. Мне очень тяжело быть этой ночью одному, здесь, среди людей, уже разбивших себе головы. Помните?.. Ксана, ты меня слышишь?..

Ваш Костя спит. Я не могу спать. Среди многого другого я думаю еще о том,— кто соберет теперь его разбитые детские мысли!?

Завтра мы отходим за Кубань.

Прощай, Ксана.

А отчего ваша мать в Крыму?..»

За окном светало.

Вечером следующего дня санитарный поезд 1-го Сибирского хирургического отряда медленно отходил от Екатеринодара.

Не доходя до Кубани, перед самым мостом, он остановился. Я высунул из окна голову и долго глядел в темноту.

В три-четыре ряда к мосту тянулись обозы беженцев и войсковых частей. За ними, играя далекими огнями, молчал Екатеринодар. Над Екатеринодаром проходили низкие черные тучи. Они ползли на нас, все ближе и ближе, — а мне казалось, Екатеринодар под ними все глубже и глубже опускается вниз...

НОВОРОССИЙСК

Третий день бушевал над Новороссийском норд-ост.

Длинные, сине-черные волны на Главном рейде бежали вдоль берега, взбрасывая вверх оторванные от пристани бревна и доски. Бревна становились на дыбы и, ударяясь друг о друга, гремели, как далекие орудия. За рейдом море казалось белым. Морская даль гудела.

Мы вышли из вагона и пошли к горам, по направлению к цементному заводу.

Под стеной завода, укрывшись от ветра, длинноногие солдаты-англичане играли в футбол. Под голем, согнув голые колени, метался голкипер. За ним стояли офицеры. Покуривая трубки, они спокойно наблюдали за игрой.

— Нет! Пойдем к морю, — сказал я. — Там все же — свои...

На пристани, обступив караул из добровольцев, толпились кубанские и донские казаки.

— По приказанию генерала Ку-те-по-ва! — кричал караульный начальник, офицер-корниловец, прикладом винтовки сдерживая наседающих на него казаков.

— Не хотели воевать? К матери теперь! К ма...

— Пусти, говорю, к пароходу! Генерал Сидорин, говорю... — кричал старый казак-гундоровец... Борода его трепалась под ветром. Шинель взлетела вверх. Под сапоги яркой, красной лентой бежали лампасы.

— Не пустишь? Пущать не велено? — все ближе и ближе подступал он к корниловцу. — Не пу-у-у-стишь?

Побросав на пристани седла, остальные донцы по-бабьи растерянно размахивали руками.

— Да разве не вместе сражались?!..

— Не одну, что ль, кровь проливали?!

— А на Касторной? Забыл?.. А под Луганском?..

— Подождите! — грозил кулаком гундоровец, уже отступивший под ударом винтовки. — Подождите! Вот заявятся наши части... Заявятся вот с фронта!..

— Осади-и!..

А на рейде, пока еще на якорях, качались пароходы, уже нагруженные беженцами. В стороне от них, около нефтяных пристаней, окруженный миноносцами, неподвижно, точно вросший в воду, стоял английский броненосец «Император Индии». Дальше, почти на черте синего рейда и седого вспененного моря, дымил французский «Жан-Жак Руссо». Мимо него, ныряя, как легкая шляпка, выходил в море наш маленький узконосый «Дон».

— Этот кого погрузил? — спросил я идущего со мной поручика-алексеевца.

Алексеевец пожал плечами.

За мостом над железнодорожными путями подымалось солнце. Подымаясь, оно цеплялось за крыши вагонов. Вагоны на путях стояли бесконечными рядами. Паровозы первых поездов упирались в море. Последние поезда, как рассказы-вали вновь прибывающие беженцы, стояли под станцией Тоннельной.

— И всё новые и новые прут! — еще утром сказал нам молодой ефрейтор сводно-партизанского отряда. — Так к вечеру, пожалуй, до Крымской дотянутся!..

Вдоль вагонов серую, унылой цепью медленно тянулись казаки, офицеры, солдаты и беженцы.

— Господа, а где сейчас противник? — спросил группу офицеров мой сосед по вагону, раненный в голову капитан-артиллерист с бронепоезда «Князь Пожарский».

Ему никто не ответил. Цепь тянулась и тянулась дальше. На берегу она расплзалась в обе стороны. Густой гул тысячи голосов уже доносился к нам с берега, заглушая тяжелые вздохи ворочающегося под ветром моря.

Солнце поднялось над мостом и остановилось.

— Не время ли? — спросил капитан-артиллерист.

— Пожалуй!

Мы зашли за вагон и сели обедать.

Ветер сюда не забегал. Он бежал над крышами, и над крышами швырял песок.

— А ну! — И я встряхнул котелок. — Придвигайся!

Камса была покрыта рыжими кристаллами соли. Горечь стягивала рот.

— Гадость какая! Черт!.. — плевался капитан-артиллерист. — И хлеба ни крошки...

— Смотрите, господа! — вдруг поднял голову поручик-алексеевец. — Ах, сволочь какая!..

В пяти шагах от нас, прислонясь к вагону соседнего состава, стоял английский солдат. Он держал в руках большой толстый ломоть белого хлеба, густо смазанный медом. Крутые челюсти англичанина мерно двигались.

— Харю как вздуло, ишь дьявол!..— а всё ему мало!

— Пирожное... скажу я вам!

— Не нашей жратве под статьи!..

Англичанин повернул голову, улыбнулся, подошел и, взглянув в наш котелок, не торопясь опустил в карман руку.

Мы смотрели на него исподлобья.

А англичанин тем временем достал перочинный ножик, спокойно открыл его и, отрезав надкусанный край, протянул нам ломоть, вновь улыбнувшись. На его пальцы желтыми капельками стекал мед.

Мы как-то сразу опустили глаза, потом сразу встали и вошли в вагон.

Котелок за нами опрокинулся. Несколько рыбок покатились по песку.

К вечеру на следующий день мы сидели в вагоне. На верхней полке горел огарок. Стеарин капал на скамейку. Я ловил на рубаше вновь появившихся вшей и, задумавшись о чем-то, топил их в еще не застывшем стеарине.

Но вот в вагон вбежал поручик-алексеевец.

— Господа, в город фронтовики входят. Может быть, идут и наши полки. Господа, айда в город!

Мы побежали.

Наползая друг на друга, точно льдины на весенней реке, на Серебряковскую улицу въезжали подводы.

— Сво-ра-чи-ва-ай!..

— Да куда?.. Черт! — кричал кто-то с крайней телеги.

— Сво-ра-чи...

Но телега уже опрокинулась. На нее, рванувшись вверх, налетела вторая.

— Эй, поручик!.. Поручик Зубов!..

Испуганная сестра, с двух сторон сдавленная тачанками, махала рукой.

— По-ру-чик Зу-бов!..

— Прыгайте, прыгайте!..

...Лошади хрипели. Мы стояли на панели, прижавшись к мокрым стенам.

В город входили не фронтовики. Это были обозы с офицерскими семьями, беженцами и дезертировавшими с фронта частями, обогнанные нами еще на мосту под Екатеринодаром.

Паника в городе росла. Часам к восьми вечера она докатилась и до санитарных поездов.

— Ах, так!

Капитан-артиллерист встал и подошел к дверям вагона.

— Так! Эта сволочь не зна-ет?.. Хорошо! Я сейчас же пойду. Я добыюсь. Я спрошу самого заведующего эвакуацией. Я пойду к генералу Карпову.

— Идите, капитан!

— Капитан, узнайте!

— Капитан!

— Господин капитан!..

Больные и раненые тянулись к окнам.

За окнами было темно. Только высоко в небе ныряли быстрые лучи прожектора. Где-то вдали стреляли.

Над рейдом металась парходные гудки.

— Господин капитан!.. Слышите, господин капитан?.. Уходят!.. Уже уходят!.. Господин капитан!..

— Бро-са-а-ют!

...Я вышел из вагона вместе с капитаном. Подползая под соседними составами, мы быстро вышли на дорогу в город.

— Говорят, Деникин и Сидорин, как псы, грызутся,— рассказывал мне капитан.— Деникин, говорят, донцам один только пароход предоставил. Ну-у-у знаете, поручик, раз целую армию бросают,— нас, битый хлам, и сам бог велит! Черт дерн,— довоевались, поручик!

— Бра-атцы! Продают! Продают, братцы!.. Станичники! — кричал в темноте казак, зачем-то обхвативший руками телеграфный столб возле дороги.— Сперва все силы повынимали... нами же, братцы, куражились, а теперь, бра-а-тцы... А те, которые с чемоданами... С чемоданами которые...

Кувыркаясь в проводах, над столбом звенел ветер. По дороге, мимо столба, мчались всадники.

— Стани-и-и...

— Ну, хорошо, я пойду!

И, пройдя несколько улиц, я оставил капитана и опять пошел к санитарному поезду.

В горах за городом шли бои с зелеными. В городе тоже стреляли. По улицам бежали офицеры, солдаты и казаки. Согнув спины, они тащили тяжелые кипы мануфактуры. Кипы

разворачивались, и длинные черные полосы материи яростно бились под ветром.

— Вы с фронта? — схватил я за шинель какого-то бегущего офицера. — Послушайте! Эй!..

Офицер остановился и бессмысленно на меня посмотрел.

Слова мои рвал ветер.

Я наклонился.

— Послушайте, где дроздовцы? Вы не... вы не слышали?..

Офицер качнулся вперед и дохнул мне в лицо горячим и терпким запахом спирта.

— Послушайте!

Но офицер вновь качнулся. Качнувшись, взбросил вверх руку. Отскочить я не успел. Падая, он ударил меня по лицу.

Я повернулся и пошел. Уже быстрее. Потом побежал.

В городе громили винные склады. А с гор, все еще отстреливаясь, уже спускались строевые части.

Когда я вернулся к вокзалу, вдоль вагонов нашего санитарного поезда шли черные фигуры больных и раненых. Двери всех вагонов были открыты и бились под ветром.

— Поручик, идите скорей! А где капитан? — крикнул мне из темноты кто-то. — Ведь не успеет!.. О, господи, ведь останется!..

— Да иди, не задерживай!..

Над черными фигурами медленно ползла темнота...

Отлогими концами хлестали о берег бегущие вдоль рейда волны.

Небольшой пароход «Екатеринодар» качало и подбрасывало. Подбрасывало и узкий — в три доски — мостик, брошенный с «Екатеринодара» на пристань.

— Сперва носилочных!.. Господа, порядок!.. Порядок!.. — надрываясь под ветром, кричал главный врач нашего поезда.

На берегу, охраняя пристань, стояли юнкера Донского военного училища. За ними чернела толпа.

— Не напирать!..

— Стрелять будем!

— ...твою мать! Приказано!..

И вдруг среди молодых, сильных голосов запрыгал старчески-дребезжащий:

— Прикладом?.. Прикладом, молокосос?.. Меня?.. Полковника?..

Рассыпавшись цепью, юнкера двинулись вперед. Толпа отступила.

— Все равно! Все равно теперь!.. Р-раз!..
Чья-то шашка полетела в море.

— Господа офицеры! Господа офицеры!..

— Честь, твою мать!.. Честь!..

Пощечина. Крик. Стрельба. Ветер...

...Порвав цепь юнкеров, мимо пристани промчались расседланные лошади. Высокий верблюд, черный на фоне неба, поднял по-птичьи голову и, плавно качаясь, пошел дальше. Вдруг калмык изо всех сил стал рвать поводья. Но верблюд остановился. Мимо него прошли три танка. Вот танки свернули к морю. На мгновение остановились, потом вновь двинулись вперед и, медленно, точно ощупью найдя отлогий спуск, пошли по отмели в воду. Над танками, гулко ударившись о горбатую броню, кувырнулись волны. Кувырнувшись, они вновь выпрямились и побежали дальше, такие же пологие и ровные...

Носилочных уже внесли на «Екатеринодар». Прошли и с костылями.

— Держитесь! — кричал мне кто-то с палубы.

— Прыгай! — кричали с берега.

Мостик подо мной рвануло. Я спрыгнул на мокрые доски палубы и обернулся.

Поручика-алексеевца за мной уже не было.

Норд-ост крепчал...

Ночью с 12 на 13 марта «Екатеринодар» вышел в море. Свидетелем «13 марта» в Новороссийске я не был.

...Когда 13-го под утро я выполз из трюма, над кормой «Екатеринодара» всплывала заря.

— Нет, не на Константинополь! — сказал я ефрейтору сводно-партизанского отряда. — На запад... В Крым, значит!..

Винт за кормою гудел. Быстрыми петлями кружился над мачтой ветер.

ЧАСТЬ III

(апрель 1920 — октябрь 1920)

Над Севастополем плескалось весеннее солнце. Токарь Баранов сошел по лестнице. На дворе остановился и, подойдя к окну, кивнул подпоручику Морозову.

Подпоручик Морозов сидел на подоконнике. Рука его все еще была подвязана. Лицо осунулось. «Два сапога — пара!» — говорили про нас товарищи-офицеры. «Кашей Бессмертный и Бессмертный Кашей! Тень на плетень!..»

— Ну а насчет английского ультиматума как? Не слышно о перемирии?.. — спросил токарь, положив локти на подоконник.

— Нет, опять не слышно...

— Та-ак!.. — Токарь вздохнул. — Ну, я пойду! — И, нагнув картуз на брови, отошел от окна.

Я стоял тут же в комнате. Курил махорку, пытаюсь припомнить, с кем из солдат и офицеров брошенного в Новороссийске батальона 3-го Дроздовского полка был я знаком. Некоторых припомнил. Загарова, подпоручика... Вольноопределяющегося Лемке... Капитана Перевозникова...

— Расстреляют, как вы думаете?..

...Токарь скрылся за воротами. В воротах показался ротный писарь. Писарь остановился и, беседуя с кем-то, повернулся к нам спиной.

— Скоро и роты придут, Николай Васильевич.

— Да, скоро...

Ни я, ни подпоручик Морозов на ученье еще не выходили.

— Черт возьми!..

— Брось чертыхаться!.. — И, помолчав, подпоручик Морозов вновь вернулся к давно прерванной беседе.

... — Те, очевидно, кто командование примет.

— А кто примет?.. Как ты думаешь?..

— А разберешься?..

К окну подошел писарь. Протянул надвое сложенный приказ по полку. Подпоручик Морозов одной рукой неловко его развернул и вдруг стал расправлять, положив на подоконник.

«Генерал-лейтенант барон Врангель назначается главнокомандующим вооруженными силами Юга России. Всем, честно шедшим со мной в тяжелой борьбе,— низкий поклон. Господи, дай победу армии, спаси Россию...»

Над Севастополем плескалось весеннее солнце. С этого дня ни токарь Баранов, ни солдаты о перемирии больше не спрашивали.

ПАСХА В СЕВАСТОПОЛЕ

— На кого черта куличи!.. Вино и водка...

— А у нас, господа, не только куличи, но и сырная пасха будет.

В комнате было накурено. Подпоручик Басов, взводный 3-го взвода, поручик Науменко, взводный 4-го, мой заместитель подпоручик Виникеев и заместитель подпоручика Морозова штабс-капитан Пчелин играли в карты. Поручик Злобин, командир 5-й роты, наблюдал за игрой.

— Ну, а как же капитан Карнаоппулло? Без сладкого?..

— Всем не угодишь!.. И так денег мало,— на водку.

Дождь бил в окно. Над нами, в мастерской токаря Баранова, пели солдаты.

— Да к черту, наконец, ваши карты!

И, сбросив на ходу насквозь промокшую шинель, подпоручик Ивановский сел прямо на стол.

— Господа!..

— Подожди!..— вбежал за ним поручик Матусевич, тоже 7-й роты.— Подожди ты!.. По порядку!.. Я расскажу...

— Ну, конечно!.. Девчонки там разные, ножки, панталончики...— через минуту уже рассказывал он.— Буржуи хлопают... Мы хлопаем... Bravo!.. Потом этот самый вышел,— Павел Троицкий. Морда — что лимон. Хохот. Буржуи хлопать.. Мы хлопать. «Павлуша!.. Павлуша!..» А Троицкий — поклоны. Направо — поклон, налево — поклон. «Павлуша!.. Павлуша!..» Тут Павлуша этот самый — подбородок вперед

вытянул, рожу идиотскую склеил и начал насчет России прохаживаться. Шесть уездов, говорит, вот вам и вся «Неделимая». Утром выйдешь, к полдню — море... Повернешь — опять море... И делить, говорит, нечего!.. И все в этом роде. И все в стихах... Буржуи хлопать. Мы: «Стой, стерва!.. Ты сперва повоюй, твою мать в корюшку» — и свистеть, свистеть... А Ивановский — на кресло. Да наганом — на толпу. Ну, конечно,— врассыпную!.. А он — раз! раз!..— осечки. Раз!.. Я его за руку. «Да он не заряжен!» — орет кто-то. Троицкий, что ли... «Так и по большевикам бьете, господа офицеры?..»

— Ты! Наган бы лучше чистил!

Подпоручик Виникеев встал.

— Позоришь только, гороховый шут!..

* * *

...В ночь под Пасху на улицах Севастополя густо гулял народ. Над Малаховым курганом мигали низкие звезды, мелкие, как песок. Звезды над городом не мигали. Круглые и спокойные, они только изредко опускались за тучи. Тучи бежали быстро. Быстро за ветром уплывал с колоколен и веселый пасхальный звон.

— Тыл живуч и неизменен,— говорил мне подпоручик Морозов, вышедший со мной на улицу.— Неделя паники... Пригнет голову, как под наганом Ивановского, и вновь лоснится довольной харей...

Я перебил его.

— Николай Васильевич, а пить сегодня будешь?

— Не знаю... А хочется...— не пить, а головой куда,— в пропасть!..

...Прошел, качаясь, пьяный корнет. Одна шпора его звенела. Другой на сапоге не было.

А из церкви на Чесменской выходили толпы народа. Нас захлестнуло и повлекло вниз по улице.

— «Христос во-скресе из мерт-вых»,— вполголоса пела какая-то девица, помахивая мятым нарциссом.

— «Смер-тию сме-ерть...» — подтягивал ее спутник-студент, влюбленно на нее поглядывая.

— Христос воскрес! Ну, а воистину?.. Ну что же?..— упрямым басом повторял кто-то за нами.

— Ах, вам бы целоваться только!..

Бас сердился:

— А вам без прелюдий, так сказать?.. Да в кровать прямо!..

— Нахал!

Но в женском голосе не было ни злобы, ни раздражения.

— Поручик хочет.

— «Мадам хохочет...» — запел, засмеявшись, третий голос.

А мимо нас, мимо девицы с нарциссом и ее влюбленного студента, мимо высокого поручика с сердитым басом и его щуплой, смеющейся барышни шла, флиртуя и улыбаясь, богато разодетая, праздничная толпа.

Но вдруг толпа вздрогнула. Влюбленный студент бросил девицу и, работая локтями, метнулся в переулок. Бросились назад и три каких-то щеголя в кепках. Коммерсант в котелке быстро обернулся. И еще раз — в другую сторону.

— Где?.. господи!..— Его толкнули.

— Стой!..— неслось из темноты за дворцом командующего флотом. И опять: — Сто-ой!..

Рассыпавшись в цепь, офицерская рота нашего полка уже окружала толпу.

Офицерская рота производила мобилизацию.

Гурали Мильтоныч, толстый, седой армянин, хозяин квартиры, в которой стояли ротный и штабс-капитан Карнаоппулло, разливал водку.

— Христово воскресенье — значит, воскресенье!.. Пей, ребята!..— кричал ротный.— И что такое жизнь офицера?! Вот ты... Ты вот скажи!..— И, взяв подпоручика Морозова за ворот гимнастерки, он перегнул его через стол.— Ты у нас философ... Ну и скажи: что такое есть жизнь офицера?..

— «...Видел он, что Русь свя-та-я»,— пел штабс-капитан Карнаоппулло, развалившись в косом от старости кресле.— ...свя-та-я... Садись, душа моя Нина!.. Не святая ведь!.. А?..

Нина, полногрудая, прыщавая дочь хозяина, придвинула стул. Штабс-капитан быстро ее обнял.

— Баб святых не бывает!..— И, икнув, запел заново:

Видел он, что Русь свя-та-я
Угасает с каж-дым днем...

Нина!.. Вы любите дроздовцев?.. Он — это генерал Дроздовский... Господа, за генерала Дроздовского: ура!..

Но поручику Ауэ было не до генерала Дроздовского.

— И ты?.. И ты ска-зать не хочешь, что есть наша жизнь офицера?.. Ты?.. Философ?..

Уга-са-ет с каждым днем,
Точно све... Точно свеч-ка до-го-ра-а...

Нина, вы любите свечки?..— Засмеявшись, штабс-капитан навалился на Нину плечом.

— Свечки, вы понимаете?..

...Хозяин-армянин разливал водку.

— Пьешь?

— Пью,— ответил мне глухо подпоручик Морозов.— А ты?.. Пьешь?..

— Пью.

— Мало пьешь!..

Ротный вскочил и замахал бутылкой.

— Сюда!.. Сюда иди!.. Пей!.. Не хочешь?.. Садись, немчура,— пей!.. А ты, немец, барон Врангель ты!.. Вильгельм!.. Пей, твою мать, Deutschland über alles... твою...

— Russland über alles...¹— закричал остановившийся в дверях подпоручик Ивановский.— Russlannd!..

...А хозяин-армянин все разливал и разливал водку.

Мокрая после дождя улица блестела под солнцем. На другой стороне, около ворот двухэтажного дома, стоял мальчишка. Мальчишка тянулся к ручке звонка. Но она уплывала из-под его рук. Какой-то нищий шел на костылях через улицу. Костыли были кривые, как коромысла. Коромысла гнулись.

— Зачем, дед, на коромыслах ходишь? Слушай, зачем на кара-мыслах?..

— Лаваш, лаваш! — прошел торговец.

«La vache — по-французски корова... корова,— стал припоминать я,— j'ai, tu as...»

...Под воротами нашего дома меня поднял Зотов.

Когда я проснулся, на окне комнаты расплзались красные лучи солнца. Около окна стоял подпоручик Виникеев. Подпоручика Виникеева рвало.

Я встал. Взял его под руку.

На дворе было совершенно тихо. Взвод точно вымер.

— Вы думаете, я пьян? — лепетал над моим плечом подпоручик Виникеев.— Я всего только наве-се-ле — на-весе...

К воротам подбежал токарь Баранов.

— На-ве-се... на-веселе я!.. Вот что! — Баранов выбежал на улицу и быстро захлопнул ворота. Встревоженная под

¹ Россия превыше всего (нем.).

воротами лужа играла широкими, красными от вечернего света кругами.

Поставив подпоручика Виникеева возле бочки, я пошел обратно в комнату. По лестнице, кажется, из мастерской токаря спускался штабс-капитан Карнаоппулло.

— Токарь и большевик есть синонимы,— сам с собою беседовал он.— А потому... как всякие вредители... э-э-э... подлежат... э... уничтожению... Эй! чего хохочете! — вдруг закричал он, задрал голову.

Столпившиеся на верхней площадке солдаты разбежались.

...Голова моя болела. Плечи тянуло вниз.

На следующее утро, часов в одиннадцать, роту построили.

— Нет, всем строиться! — крикнул мне ротный.— Всем!.. Да не на учение,— к штабу зачем-то...

На дворе штаба полка сидели и лежали мобилизованные. Когда наша рота вошла во двор, их подняли и вывели.

Пришла 5-я рота. Потом 8-я и 7-я. 7-я пела:

...надви-и-нуй кивер свой пехотный,
Выйду я на улицу, печата-я с носка-а...

Подпоручик Ивановский, в числе запевал, пел громче всех.

— Эх, песнь моя! — играл и звенел его голос.— Любимая!

Буль-буль-буль бутылочка казенного вина!

— Смотри-ка, стаяло все. А ногам холодно! — жаловался кому-то Зотов, подымая то одну, то другую ногу, обутые в порыжелые, рваные сапоги.— Ну и вот, значит,— эх, холодно! — как у бег, значит, Баранов, так и не возвращался больше. Уж больно это его господин капитан Карнаоппулло пригрели. И станок его расколотили, и пороть собрались...

Наконец батальон выстроили.

Появившийся в дверях штаба генерал Туркул улыбался. За ним шла какая-то женщина, в старом поношенном пальто, из-под которого виднелись складки дорогого платья. Когда женщина сходила по ступенькам, платье торжественно шуршало.

— Пожалуйста!.. Будьте так любезны!..— сказал женщине генерал Туркул и опять улыбнулся.

Женщина стала обходить роты. Перед некоторыми солдатами и офицерами она подолгу останавливалась. Остановилась она также и передо мной.

— Этот? — спросил Туркул.

Женщина вздохнула.

— Нет! — потом подняла брови и пошла дальше.

— Этот?

Генерал Туркул от нее не отставал.

— Нет, не этот...

— Этот?

— Этот, ваше превосходительство! — сказала она наконец, остановившись перед подпоручиком Ивановским.

Подпоручик Ивановский — вдруг — сразу побледнел.

— И этот еще, ваше превосходительство...

Потом батальон развели по квартирам. Подпоручик Ивановский и унтер-офицер Сахар были оставлены при штабе.

Уже вечерело...

— Такой хороший офицер!..

— С чего хороший! Уж Врангель подтянет...

Подпоручик Виникеев доел брынзу и старательно собрал со стола крошки.

— Врангель всех, господа, подтянет.

— И подтягивать нечего!.. С пьяных глаз, конечно...

— Конечно, с пьяных! — Подпоручик Басов бросил на пол догоревший окурочек. — Не бандит ведь, слава тебе господи! И на кой ему леший эта дрянь — жемчуга эти понадобились!..

— Не бандит, а туалеты взламывает!.. А на кой — известно: бросьте, поручик, дурака разыгрывать! — Вытирая губы, подпоручик Виникеев улыбнулся. — А знаете, господа, сколько дрянь эта стоит?..

— Идут!.. Идут!.. — закричали вдруг на дворе солдаты. Мы выбежали.

За воротами — к штабу полка — шло одно отделение офицерской роты.

Через час подпоручика Ивановского и унтер-офицера Сахар расстреляли.

Кто была женщина в поношенном пальто и дорогом, шелковом платье, я не знаю...

А еще через час штабс-капитан Карнаопулло прибежал к нам на двор.

— Ну как, пришел Баранов? — услышал я сквозь открытое окно.

— Никак нет, господин капитан!

Ефрейтор Плоом вытянулся и взял под козырек.

— Ну так вот что, ребята! У него там наверху какой-то красный диванчик имеется... Там, в каморке... Знаете?.. Ну вот!.. Срывай с него, ребята, бархат! Шей погоны! Да живо!

...При вечерней переключке вся 6-я рота была уже в новых бархатных погонах.

В ту же ночь нас неожиданно подняли.

А под утро, когда солнце еще только всходило, Дроздовскую дивизию погрузили на пароходы и отправили десантом на Хорлы.

Меня и подпоручика Морозова, как не вполне еще окрепших, оставили в Севастополе — при хозяйственной части.

— Помнишь библейскую историю с Красным морем? — взяв вечером метлу, спросил меня подпоручик Морозов. — Когда отряды Моисея проходили море, оно расступилось. Помнишь?.. Прошли — море хлынуло назад. Так и сейчас. Дрозды прошли, и — смотри-ка!..

Через двор шел токарь Баранов. За стеной в соседней комнате звенел женский смех; в квартиру, комнату которой мы занимали, вернулась хозяйка-еврейка с дочерьми-курси-стками.

— Да... — сказал я, подумав. — Но нас, брат, не захлестнуло.

— Пока!..

И подпоручик Морозов вдруг отвернулся.

Подметая комнату, он изо всех углов извлекал пустые бутылки...

«CREDO» ПОДПОРУЧИКА МОРОЗОВА

Прошло недели две.

Вернувшиеся с Хорлов Дроздовские полки давно уже расквартировались по деревням Евпаторийского уезда. Хозяйственные части также готовились к переезду. Собрались и мы с подпоручиком Морозовым.

— Завтра, Николай Васильевич?

— Завтра.

— Пешком пойдем?

— Пешком... Ну ее к богу, — хозяйственную!..

Был уже поздний вечер. Развязав вещевой мешок, подпоручик Морозов разбирал свои немногие вещи. За стеной пела дочь хозяйки:

Как цветок голубой
Среди снежных полей...

— Что ты там уничтожаешь? — спросил я Морозова, который рвал какие-то мелко исписанные листы бумаги.

— Так, чепуху всякую... Записки...

— Твои?

— Мои.

— А ну, покажи!..

Подпоручик Морозов замялся.

— Да покажи!.. Чего там!..

— Ну ладно!.. — Он протянул мне несколько листиков. — Но ведь это... интересно только для... только для меня обязательно...

Светлый луч засверкал
Мне из пошлости тьмы,—

опять запела курсистка.

— Циля!.. Циля!.. — перебила ее другая. — Смотри, Циля!..

«...И пусть белый не станет красным, а красный белым, — с трудом разбирал я упавший набок почерк подпоручика Морозова, — но годы гражданской войны откроют, наконец, наши глаза, и белый увидит в красном Ивана, а красный в белом — Петра... Утопия?.. Может быть!.. Но я привык верить своему сердцу...»

Я поднял глаза и посмотрел на подпоручика Морозова. Он все еще сидел против меня и, смутившись, смотрел в окно. За окном было темно. Только угол соседнего дома освещался нашим окном и выпирал из темноты желтым, тупым треугольником.

«А пока что, — вот в этом вся и бессмыслица, — читал я дальше, — пока что я должен тянуть эту ляжку. Отступающий всегда гибнет. Я погибнуть не хочу. И вот белое движение волочит меня за собой. Идея, способная на вырождение, не есть идея. Над идеей белого движения я ставлю крест. А бессмыслица ползет дальше... Я не верю в чудо, но, к нашему несчастью, генерал Врангель, очевидно, все еще верит. Не потому ли утвердил он новый знак отличия — орден Святого Николая-чудотворца?..»

...На долгих путях от Брянска, через Севск, Харьков, Ростов, Екатеринодар до Новороссийской бухты люди тысячи раз теряли свою веру. Офицеры распродали награбленное

имущество (заметьте падение цен!); распродав, занялись злостной спекуляцией (заметьте повышение!)...»

Я улыбнулся:

— Ты экономист, подпоручик! — и взял следующий лист.

«Деникин низко поклонился и ушел. Я кланяюсь его честности. Кланяюсь не только низко,— до самой земли. И, господа, как был бы я счастлив, если б смог я поклониться еще раньше».

Я пропустил несколько строчек.

«...Так зачем же приехал Врангель и что он хочет? Впрочем, о Врангеле говорить трудно,— он утвердил орден Св. Николая-чудотворца... Приехать с ультиматумом о заключении мира и взяться за продолжение войны!.. Бросать людей, потерявших идею!.. Куда?.. На гибель?.. С чем он уедет?..»

Я вновь перескочил через несколько строчек.

«...И недавний десант дроздов под Хорлами, десант, о котором мы, офицеры того же полка, не можем решить, блестящая ли это удача или полное поражение. А зима...»

Дальше я разобрать не мог. Потом буквы вновь выровнялись.

«Да, так идут наши дни!..

Что делается за фронтом — я не знаю...

Чем живут наши враги и чем они держатся — я не знаю...

Я не знаю и того — только ли они мне теперь враги?..

Я люблю человека и жизнь, и когда те, что теперь за фронтом, стали дешево расценивать и жизнь и человека, я назвал их врагами. Моя ли это вина?

В ту ночь был белый ледоход,

Разлив осенних вод.

Я думал: вот река идет.

И я пошел вперед.

А теперь?..

Токарь Баранов говорит: перемелется, мука будет! — так нужно для нового хлеба. Токарь Баранов не видит звездочек, чернильным карандашом нарисованных у меня на погонах, и говорит со мною по душе. Но я говорить с ним по душе не могу. Я эти звездочки вижу!.. Токарь, может быть, и прав, но ведь если б зерно имело мозг, разум и волю и если б оно знало даже, что молоть его будут для нового хлеба, оно все равно добровольно бы под жернова не ложилось!..

Впрочем, мысли токаря не мои мысли!.. Своих у меня сейчас нет... Я и пишу в надежде отыскать их,— так, случайно наткнуться... Мне очень страшно тыкаться мордой в пусто-

ту... А победили меня свои же, и уже в первом бою,— под Богодуховом...

Но и побежденный хочет жить и дышать...

Господи, как трудно быть подстриженным под погоны!..

Я не могу уйти — меня расстреляют. Я не могу не стрелять — меня пристрелят.

Я не могу...» Дальше было зачеркнуто. «...Но я могу зажмурить глаза... Пусть несут меня события. Я верю, что неперемотое для нового хлеба зерно тоже не пропадает. Упав во вновь перепаханную землю, оно даст ростки. Кто перепашет землю — я не знаю. Мне суждено умереть или дожждаться...»

Я вновь поднял голову.

— Циля, да неужели правда?

— Ну конечно! Я же сказала...— вновь донеслись до нас голоса за дверью.— Я нашла здесь «Физиологию» Данилевского, и теперь мы сможем...

— Идем в город! — вдруг коротко бросил мне подпоручик Морозов.

— Подожди!..

Третий лист был исписан крупнее. Читать стало легче.

«Вы или мелко плаваете,— говорят мне офицеры поумнее,— или просто трус, уходящий в свою скорлупу...»

Я улыбнулся.

— Говорят?

— А как же!..

— Это ты?.. трус?..

— А как же!.. Впрочем... Да идем в город!..

— Да подожди ты!

«...Ничего не говорят. Офицеры поглупее пьют, играют в карты, рассказывают анекдоты и хохочут, как автомобильные гудки. И потому, что вместе с ними не понимаю я ровно ничего, я могу еще иногда улыбаться, могу жить и даже надеяться выжить. Иначе пришлось бы (вот сейчас!) идти на понтонный мост и там, где поглубже, где мальчуганы удят рыбу, головой вниз броситься в Северную бухту.

...Сегодня я гулял по улице Матроса Кошки. В грязи возились ободранные ребятишки всегда веселой Корабельной Слободки. Я смотрел на них и тоже улыбался...

А завтра — может быть, завтра я вновь уеду на фронт.

Какая бессмыслица!..

Вы хотите знать мое «сredo»? Мое «сredo» в упрямом сознании, что бессмыслица когда-нибудь осядет и что человек, нравственно не подгнивший, не осядет вместе с нею...»

Говорить ни о чем не хотелось. Мы вышли молча и пошли в городской сад.

В саду гулял народ.

Мимо нас прошли два французских матроса, окруженные проститутками. Проститутки учили их заборным словам. Французы смеялись и, выкрикивая эти слова, коверкали их по-своему.

На поплавах над бухтой играл военный оркестр. За поплавами, далеко в море, стояли какие-то крейсера, кажется французские.

— Пойдем к воде! — сказал мне подпоручик Морозов.

Под ветром, бегущим с моря, спокойно качались черные кусты. В кустах сидели парочки. Пробирались к кустам и французы с проститутками.

«Бо-же ца-ря хра-ни...» — поплыли вдруг над садом звуки оркестра с моря. Подпоручик Морозов остановился.

— Идем домой!.. Да идем же!..

— Под козырек! Под козырек! — на главной площадке сада кричал кто-то..

А французы в кустах продолжали смеяться и, выкрикивая заборные слова, все больше и больше их коверкали.

На следующее утро мы вышли в полк.

К порванным листам наши разговоры больше не возвращались.

Впрочем, как-то я сказал ему:

— Слушай!.. Сбрей бороду!.. Ты все-таки не апостол!..

ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ

Был еще только май, а уже степи вокруг деревни Подойки успели выгореть под солнцем. Над степью ползла пыль. Она ползла особенно густо, когда по вечерам к татарским деревням сходились стоголовые стада длинношерстных белых овец.

Занятия в полку производились по утрам и к вечеру. Днем солдаты спали.

— Скажите, подпоручик, куда это вы постоянно уходите? — спросил я как-то подпоручика Басова. — Лишь выпадет свободный часок, вас — до свидания! — и не видать больше!..

— Подпоручик в колонии девочку нашел! Немочку? А? — подошел к нам поручик Науменко. — Вот уж действительно седина в голову, бес в ребро!

Подпоручик Басов ничего не ответил.

Во время хорловских боев поручика Ауэ легко ранило. Кажется, в кисть руки. Роту принял поручик Кумачев, посланный к нам из 3-го батальона. Вместе с ротным был также ранен и штабс-капитан Пчелин. Подпоручик Виникеев был убит. В числе двенадцати солдат нашей роты был убит и эстонец Плоом.

С новым ротным штабс-капитан Карнаопулло не ладил.

— Отправлю вас в офицерскую, — сказал ему как-то поручик Кумачев. — Слышал я про ваши геройства в обозе, как же, слышал!..

Штабс-капитан быстро, на каблуках, повернулся и пошел к своей хате. Через час он вновь вернулся, уже с четырьмя золотыми нашивками на рукаве.

— За один час — да четыре ранения! — засмеялся поручик Кумачев, опускаясь на завалинку перед хатой. — Здорово!..

В это время к поручику Кумачеву подошла какая-то тощая собака. Она подняла вверх черную круглую морду и глубоко в себя втянула воздух. Поручик Кумачев поднял стэк и с силой ударил собаку по носу. Собака взвыла и побежала по степи.

— Капитан, нашейте птяую!

Дымок над крышами бежал ровными голубыми полосами. На голубые полосы ложилось лиловое небо. Небо тяжелело. Со стропил недостроенной церкви сползало солнце.

Мы шли с учения.

— Гляньте, господин поручик! — повернулся ко мне рядовой Зотов. — Никак пополнение!..

— Пополнение? — Поручик Кумачев поднял бинокль. — А и правда!.. А ну, ребята: по хатам — ура!

— Ура!

Размахивая винтовками, солдаты бросились по халупам.

Взвод пополнения стоял и возле нашего двора. Когда я вошел во двор, из хаты, уже без винтовки, вышел подпоручик Басов. Выйдя на дорогу, он ускорил шаг и пошел по направлению к колонии Мальц. По дороге перед ним бежала длинная тень, точно вдоль реки быстрая, острогрудая лодка.

— Здорово, молодцы! — крикнул за мной поручик Кумачев.

Прибывший взвод ответил умело.

Это были старые николаевские солдаты, посланные царским правительством во Францию и теперь отправленные французами назад «на родину».

Унтер-офицер Горохов и ефрейтор Телицын собрали возле себя чуть ли не всю роту.

— К примеру, у них, скажем, Марсель есть. Город такой, мон плезир, одним словом...— рассказывал Горохов.— А я в нем все одно как в деревне своей, прямо-таки по обыкновению расхаживал... И вот, ребята, подходит ко мне ввечор одна мамзель французская. А в чем душа у ей держится — и неизвестно, если говорить по откровенности. Уж больно мне все в ней слабосильным показалось... Мамзель, говорю, пардон, но не с такими мне хаживать!..

— ...от милитаризма! — солидно докладывал другой группе ефрейтор Телицын.— И еще, земляки, вандализм у германцев сильно был развит. И все, значит, супротив Франции. Э-эх, да ничего вы и не видели!..

— ...Да ну-у-у?..— спрашивал поодаль рядового Осова, взятого в плен под Хорлами красноармейца, высокий солдат в короткой французской шинели.— И действительно поотбирали?

— Правда, говорю!..— Солдат в короткой шинели наклонился над самым лицом Осова.— ...И мы, брат, заявляли!.. Нас, заявили мы, большевицкой властью не стражайте!.. Мы сами, как вам, граждане, может быть, и известно...

Осов быстро ткнул его в бок. Оба замолчали.

Я вошел в хату.

Вечерний свет едва пробивался сквозь маленькие узкие окна. На лавке под окном сидел слепой Антон, брат нашего хозяина. Его изрытое германской шрапнелью лицо было поднято вверх. Над впадинами глаз свисали желто-лиловые мягкие бугры мяса, чуть-чуть прикрытые кожей. Носа у Антона также не было. Одни ноздри.

— Кто?

— Свой,— ответил я.

— Слепому теперь все свои стали... А чего раньше-то думали?

Я поставил винтовку в угол и молча подошел к открытым дверям.

По дороге шли солдаты 5-й роты. Среди них «ефрейтор» Подольская, молодая, толстая добровольца, с кривыми ляжками над коленями, обтянутыми синими галифе-диагональ.

— Здравствуйте! — еще издали кричала она гнусавым, как у сифилитика, голосом.— Здравствуйте, господа французы — цвет наш и сливки!

Вечером, когда мы лежали на траве за хатой и, пуская тучами дым, курили едкий крымский табак, к нам подошел поручик Злобин.

—...Ноги у ней воняют, под мышками болото,— рассказывал он, подсев к нам на траву,— вся вдоль и поперек истыкана, а вот, извольте видеть, ласк требует!.. Я ей говорю: Подольская, плыви на легком катере, да к матери к такой-то, а она, да сквозь зуб вырванный, да с этаким свистом, знаете, сладким: «Золотой мой! Единственный! Губ твоих хочу!..» Ах ты стерва! — Злобин сплюнул.— Губ хочет!.. Вот, господа, сойдишь раз с бабой, липнет потом, как жидкий навоз на подметку...

Мы молчали.

Протянув руки, от сарая в хату прошел слепой Антон. По степи, за косым забором бежали голубые тени. Доплывал далекий звон колокольчиков и бубенцов.

По дороге из колонии Мальц возвращался подпоручик Басов. Подпоручик Басов пел:

Во су-бо-о-ту... в день не-на-а-стный...

Был воскресный день. Занятия не производились. На белых каменных заборах колонии Мальц золотыми пятнами играло обеденное солнце.

— Ишь, черти,— просверлили! Метров до двухсот будет! — сказал подпоручик Морозов, подойдя к колодцу посреди улицы и склонившись над срубом.

За колодцем, ведя за руку девочку лет пяти, шла старушка.

— Mahlzeit, Mutter! ¹ — крикнул я ей.

Услыхав немецкую речь, старушка ласково закивала.

Вскоре мы сидели у ней в хате и пили молоко.

— ...Но ведь Он любит нас, и Он простит мне. Я не могу, сынок, не жаловаться,— говорила мне на каком-то мало понятном, швабском наречии колонистка.— И не на Него в небе жалуюсь я, сынок мой, а на детей его, позабывших слово святое, а потому, сынок, и наказанных. Смотри,— и всё по Писанию исполнилось... И брат против брата пошел, и мор, и голод... Грех один, и ответ один держим, сын мой. Вот и мы... ведь все наши свиньи, и телка наша... (Это когда черкесы с аулов спустились)... и телка подохла... С Кавказа ведь далеко!.. А как дошли мы до Крыма, и как приняли нас... Да ты меня, сынок, слушаешь?

— Слушаю, бабушка...

¹ Пообедаем, матушка! (нем.)

А сидящий против нас подручник Морозов подбрасывал на коленях девочку и, забавно тряся бородою, лаял, как дворовый ленивый пес.

Дергая его за бороду, девочка смеялась.

Когда к вечеру мы возвращались домой, Морозов на краю колонии вдруг остановился.

— Смотри! Вот он, старик-то наш... Вот где он пропадает!..

На чисто выметенном дворе небольшого домика подручник Басов колол дрова. Гимнастерку он скинул. Фуражки на нем также не было. Над головой то и дело взлетал топор.

На пороге домика сидел бритый старик-немец. Немец курил трубку. Какая-то женщина погоняла хворостинкой тощих гусей.

— Не будем нарушать идиллии!..

И мы пошли дальше.

В степи около Мальца за пасущимися конями колонистов гнались донцы. Четыре лошади были уже пойманы. Их держал коновод. Верхом на крутоногом белом коне на дороге стоял казацкий полковник.

— Скоро наступать будем! — сказал мне подручник Морозов. — Донцов на коней сажают!.. Идем.

— Фельдшер Дышло у вас? — как-то вечером вбежал к нам во двор поручик Злобин. — Черт возьми... Фельдшер Дышло!.. Фельдшер...

Через минуту, размахивая тяжелой медицинской сумкой, фельдшер Дышло уже бежал через поле.

Мы вскочили и побежали за ним.

...Ефрейтор Подольская стояла на четвереньках посреди офицерской халупы пятой роты. Она колотила по полу ногами и дико кричала, брызжа на руки слюною. Груды под ее гимнастеркой колыхались. Гимнастерка была также в слюне.

— Сулема, — сказал спокойно фельдшер. — Известное дело — сулема! — И, выпрямившись, он стал озираться вокруг себя. В халупе был невероятный беспорядок. Лишь плита была прибрана. На плите стояла кастрюля с молоком. Над кастрюлей вздымался пар.

— Ловко баба устроила!

Фельдшер Дышло подошел к печке.

— Ах ты, ахтерша ты, мать твою в порошок! И рассчита-ла-то вовремя!.. Смотри, ки-пи-ит! А ну, господа...— Он под-нял кастрюлю.— Спасай ее по ее же рецепту! Гады!..

В тот же день, когда солнце опускалось за степь и под-поручик Басов возвращался из колонии, мы видели, как под-руку с поручиком Злобиным ефрейтор Подольская уже вновь отправлялась на сеновал.

Приказом на следующее утро генерал Туркул удалил из полка всех женщин не-сестер, а вечером того же дня, как раз в то же самое время, когда Злобин и Подольская отправля-лись на сеновал в последний раз, верстах в четырех от нас, в колонии Гольдреген, застрелилась поручик Старцева, Вера, оставив короткую записку:

«Не могу перенести обиды, первой со времен Румынского похода.

Поручик Старцева».

...Ни газет, ни слухов.

— Завтра будет ясная погода...

— Хорошо бы борщ заказать, поручик Науменко!..

Зевок.

— Я, господа, с уксусом люблю...

— Занятий сегодня не будет,— вдруг, выходя из хаты, сказал нам поручик Кумачев.

— Пойду в Мальц!..— решил подпоручик Басов.

Но уйти он не успел, так же как не успел лечь поручик Науменко.

С раннего утра весь батальон заставили чистить сапоги.

Штабс-капитан Карнаоппулло бегал и волновался:

— Если, вашу мать, сорвете церемониалку... не в ногу иль что... всех, вашу мать, засолом нарядами!

Усы его были туго скручены и вытянуты в длину. Синий подбородок гладко выбрит.

В полку ожидался приезд генерала Врангеля.

К полдню весь полк стянулся к Подойкам и выстроился в степи за недостроенной церковью. Безрукий подполковник Матвеев, наш новый батальонный, подравнивал роту при помощи вытянутой веревки.

— И чтоб смотреть молодцами! Чтоб огонь в глазах был! Чтоб грудь колесом стояла!..

На краю деревни толпились крестьяне. Красные и желтые платки на бабах горели под солнцем ярким огнем. Иногда на солнце наползали облака. Тогда солдаты ставили винтовки как «на молитву» и рукавами гимнастеров вытирали с лица пот.

— Так и при Николае бывало!.. Ждем, ждем, а генерал, мать его...

— Молчи ты! — перебил Осов Васюткина, солдата в короткой французской шинели.

— Ждем, ждем...

— Молчи, говорю!.. Здесь, брат, за это... — и совсем тихо: —...шкуру сдерут... Вот что!..

Наконец далеко в степи показались три автомобиля.

На генерале Врангеле была черная бурка. Когда бурка распахивалась, под ней сверкали ордена. Тощий и высокий, он быстро шел вдоль строя. За ним вприпрыжку бежали представители французского командования, толстые и коротконогие. Пытаясь не отстать от Врангеля, французы спотыкались, взбрасывая коленями полы голубых коротких шинелей.

— Орлы!.. — кричал генерал Врангель. — Орлы-ы!..

Дальше я не мог разобрать, генерал Врангель был уже далеко.

— Ишь ноги! — сказал Зотов. — Сажени косят!

...Потом было произведено показное ротное учение офицерской роты, после чего полк проходил церемониальным маршем.

А через три дня, 23-го мая, вся Дроздовская дивизия, после молебствия и нового церемониального марша, выступила на северо-восток.

Был жаркий полдень. Под Юшунью степи уже казались не золотыми — коричневыми. Над травой клубился мелкий серый песок.

— Привал! — скомандовал наконец генерал Туркул.

Мы сидели в тени, под каким-то забором. Некоторые переобувались. Другие побежали за водой.

— Бог даст, расширим плацдарм!.. Выйдем на Украину... — говорил поручик Науменко, выковыривая пальцем песок из ушей. — Там, говорят, восстание...

— В ухе?

Мы засмеялись.

— ...Ну и вот! — рассказывал вполголоса за моей спиной рядовой Зотов. — Ну, и говорит мне, значит, этот самый немец: «Высокий у вас такой есть, с усами с седыми... каждый день к нам хаживал...» Ну и что? — спрашиваю. «Да ничего! Только он у меня как будто бы остаться хотел. Пусть, грит, полк куда хочет уходит, а я и у тебя, дед, поживу... Ты меня что, припрячешь? Цивильное, грит, дашь?.. На этом и порешили. Так вот что, сынок, говорит, передай ему, значит, — остановились у нас, и тоже из военных». Нет! — говорю. Не знаю я такого, чтоб у тебя остаться хотел... Да и не полагается это...

Я встал и, закуривая, отыскал подпоручика Басова. Он лежал на земле, хмурый и молчаливый.

Палило солнце...

В степи по далеким дорогам шли войска, бронемашины и танки. В небе летали аэропланы.

Вся Крымская армия выступала на Перекоп.

25-е МАЯ

Во всем Армянском Базаре остались всего только два колодца, — остальные были засорены.

— Ужо напьетесь!.. Потом, вашу мать, напьетесь!.. Не подходи! Не велено!

Часовые никого к колодцам не подпускали.

...Ночь была темная. Низкие, полуразрушенные дома Армянского Базара, нагретые за день солнцем, остыть еще не успели. На узких улицах было душно. Мы сидели на земле, приклонясь спиной к выбеленным стенам.

— Говорят, соляные промыслы статья, конечно, не доходная... — недоверчиво басил в темноте кто-то. — И говорят, живут они потому нехозяйственно...

— Телицын, дай напиток! — перебил его голос другой.

— Ишь, черт липкий!.. Про всех ежели...

— Липкий?.. А сам, как махру выпрашивал...

— Эт-то, брат, совсем другой коленкор!.. Да отчаливай!..

...И опять поползло молчание.

Показался желтый краешек луны. Темнота раскололась. Местами стало видно, как на улице качается желтая пыль.

К колодцу в конце улицы подводили коней. Потом коней оттянули назад.

— А полковника какого-то пропустили,— подошел к нам поручик Науменко.— Полведра, чтоб ему лопнуть, вызудил.

— На то и полковник!..

— Два просвета — два брюха.

— Полковники да лошади — эти в цене, значит!..

Поручик Науменко сел рядом со мной.

— Спать хочется!..— Он тер кулаками брови и зевал, наклонив голову к поднятым коленям.

Луна опять уползала за тучи.

— Стà-но-вись!

Когда мы подошли к Перекопскому валу, светать еще только начинало. Вдали, за валом, раздавалась частая ружейная и пулеметная стрельба. Временами гудела и артиллерия.

— Марковцы и корниловцы пошли в лоб,— подымаясь с нами на вал, разъяснял поручик Кумачев.— С Чонгарского полуострова двинул генерал Писарев со своими кубанцами. А тут еще и Слащев под Мелитополем высадился... Баня!

С вышины вала были видны далекие степи.

— Здесь, господа, и местность прямо для боя создана! — продолжал, разворачивая карту, поручик.— Если армия выйдет на Никополь — Большой Токмак — Бердянск, у нас снова опорная линия имеется. Видите? Второй Перекоп. Правый фланг упрется в Азовское, левый — в Днепр. А ну — сунься!..

Бой на севере все больше разгорался. В ров перед нами опускались солдаты,— очевидно, к колодцам. Со рва подымался холод. На дне ползли туманы. За рвом, далеко в степи, бежала собака. Она ныряла под траву и вновь выскакивала, далеко вперед выбрасывая передние лапы.

— Ах ты, быстрая! — засмеялся ротный и, подняв винтовку, приложился и выстрелил.

Собака подпрыгнула высоко в воздух и в воздухе же перевернулась.

Я и подпоручик Морозов лежали на выжженной траве вала. Вдруг подпоручик Морозов поднял голову.

— Что у тебя, Зотов?

— Да вот, не разберу!.. Малограмотен, а говорят,— про вас, господа офицеры.

— А ну, дай-ка!

Вдали, по южную сторону вала, гудел автомобиль. «Не Врангель ли?» — подумал я, оборачиваясь.

Автомобиль приближался. Под грузной стеной вала он казался совсем маленьким.

— Да смотри же!..

Подпоручик Морозов дернул меня за рукав.

— Смотри, Брусиловым подписано!

— Где?

Лист бумаги в руках Морозова долго бился под ветром.

— Где?..

— Да подожди ты!

Наконец удалось схватить его за края.

— «В дни, когда польская армия...» — стал читать подпоручик Морозов.

— Эй, подождите!..

— «...обращаюсь я к вам, русские офицеры, вместе со мною воевавшие и на полях Галиции и...»

— Эй, оглохли? — уже возле нас кричал штабс-капитан Карнаоппулло. — Я приказываю!.. — И, вырвав из наших рук воззвание, он вдруг круто обернулся и взял под козырек.

— Смирно!..

Автомобиль мчался уже по дороге под насыпью. В автомобиле сидел генерал Кутепов. Одна рука Кутепова лежала на черной квадратной бороде, другую он держал возле козырька корниловской фуражки.

— Вольно!

— Вольно! — И, зажав в руке смятое воззвание, штабс-капитан Карнаоппулло пошел вниз по дороге. Длинный шнур нагана спускался до самых его колен.

— Городовой! — сказал подпоручик Морозов, отворачиваясь.

Поднятая автомобилем пыль медленно подымалась на вал. Подпоручик Морозов заслонился ладонью.

— Скажи, Зотов, а где ты эту бумагу нашел, а?..

— Да не я находил... В восьмой мне солдат какой-то дал. Говорит, у себя в вещевом мешке нашел, и мно-о-го!..

Солнце уже взойшло... Во рву раздевали первых пленных.

Около полудня мы перешли ров, обошли Перекоп и двинулись на северо-восток.

Навстречу нам уже несли раненых. Стрельба вдали становилась чаще и отчетливей.

— Если б туда... на аэроплан, да посмотреть бы!..— сказал поручик Науменко, подымая голову.

— Подожди минутку,— увидишь!

Но ждать пришлось часа три.

Три часа 1-й и 2-й батальоны нашего полка лежали в степи.

Было жарко.

— Странно... И справа и слева море, а ветра нет.

— Тень бы какую!..— И, звякнув густо набитыми под- сумками, подпоручик Басов медленно повернулся на жи- вот и уткнулся лицом в траву. Фуражка сползла на его лоб, на седой затылок легла трава.

— Поручик, а сколько вам лет?

— А сколько у вас языков, поручик Науменко? Неу- жели помолчать не можете?

...Аэропланы над нами летели к северу.

— Сюда! Веди сюда!

Какой-то солдат отводил в тыл двух ободранных пленных.

— Эй! Да живо!

Пленных подвели к тачанке генерала Туркула. Наклонив головы и плечи и опустив руки, они стояли неподвижно, и казались низко подвешенными над землей.

— Коммунисты? — спросил генерал Туркул, свесив над колесом тачанки одну ногу.

Не подымая головы, пленные что-то ответили.

Туркул зевнул.

— Веди! — Потом развернул на коленях карту и зевнул снова.

— ...Сюда! Сюда! — минут через пять вновь закричал он.

И опять подвели пленного, уже босого, в рваной ватной кацавейке и без фуражки.

— Коммунист?

— Черт ма, коммунист!.. Мобилизованный.

Около тачанки собрались солдаты. Туркул вновь что- то спросил. Что — я не разобрал. Солдаты вокруг тачанки гу- дели.

— Меня это? — переспросил пленный.

— Ну, а конечно! Не меня же!..

— Могилиным меня звать.

И вдруг, встряхнув кудрями, пленный чему-то улыб-

нулся. И точно в ответ на улыбку пленного, Туркул засмеялся тоже.

— Могилия?.. В могилу Могилина! — закричал он, уже захлебываясь хохотом.— Эй, вы там!..

Пленного повели за тачанку...

Подняли нас через полчаса.

— ...Марковцы, говорят, отходят.

— Черт дери!.. Словно как кашу варят...

— Слышите?.. Слышите?..

Мы уже шли через степь. Но вот штабс-капитан Карнаопулло нагнал роту. Он задыхался.

— Не волнуйтесь, поручик! Все будет исполнено. Патроную двуколку я подтяну ближе. А связь с цепями...

Поручик Кумачев даже не обернулся.

Когда 2-й батальон входил в Первоконстантиновку, солнце уже спускалось за края крыш. Крестьян в деревне не было видно. Опять несли раненых. Перевязочный пункт находился возле ворот хаты, около которой остановилась наша рота.

— Сестра! Разрывными?.. Правда?..

— Сестра, вы были в цепи?.. Скажите,— курсанты, наверно?..

Сестра и фельдшер Дышло молча рвали бинты.

...Уже 7-я и 8-я роты пошли в бой. 5-я и наша лежали на улице. На улицу залетело несколько пуль... Взобравшись на забор, безрукий батальонный смотрел в бинокль.

— Слушайте,— сказал кому-то недалеко от меня лежащий поручик Науменко.— Не кажется ли вам...

И вдруг он уперся о ладони и быстро поднял голову.

Батальонного на заборе уже не было.

— Сестра! Сестра!..— кричал над канавой связной.

Батальонного положили на подводу. Но подвода не пошла в тыл. Раненый в грудь навывлет батальонный остался руководить боем.

— Ше-ста-я!..

Мы вскочили.

Я видел, как подпоручик Морозов нахмурил вдруг запрыгавшие брови и как, отвернувшись в сторону, перекрестился подпоручик Басов...

За деревней подымались холмы...

Рассыпавшись в цепь, наша рота шла, не стреляя. Красных не было видно, — они лежали за холмами.

Мы вышли на линию наших соседних цепей, приблизительно на версту от Первоконстантиновки.

— Цепь, стой!

...Несло пылью цветущей травы.

...Я лежал около Зотова и, выдвинув вперед винтовку, наблюдал, как бронзовый ленивый жук взбирался на стебелек качающейся травы. Раскачиваясь, стебелек гнулся...

Справа от меня лежал Горохов. За ним — Телицын.

— Телицын, холодная??

Телицын отнял от рта флягу.

— Да откуда?..

...А жук уже взобрался на самую верхушку стебля и, выставив усы, о чем-то задумался, не зная, очевидно, что делать ему дальше...

— Телицын, да глоток только!..

— Отстань!.. Вишь, двинем сейчас...

— Це-е-епь...

Мы встали и пошли, вскинув под руку винтовки.

А далекие фланги цепей уже завязали бой и наступали, низко пригнувшись к земле...

— А где капитан Карнаопулло? — спросил я поручика Кумачева, размеренным шагом идущего вдоль цепи.

Поручик улыбнулся.

— А где ему быть? Доставкой патронов ведает... Но клянусь богом... — Вдруг он остановился.

На мгновение остановился и я. За холмами что-то загудело.

— Комиссар объезжает. Видно, дела у них не совсем...

Но кончить поручик не успел. На холмы, сверкая синей броней, быстро вползла цепь броневиков.

— Ура! — крикнул поручик Кумачев и бросился вперед, размахивая в воздухе ручной гранатой.

Но пулеметный огонь снизу, сверху — шрапнель скорострельных пушек Гочкиса сразу же смяли нашу цепь, зигзагами ее выгнули и отбросили назад. Я тоже бросился назад, потом повернулся и выстрелил в ближайший броневик. Винтовка ударила меня в плечо и повалила. Когда я вновь вскочил, винтовки под ногами у меня не было — только ствол и вокруг него щепки. Я схватил ствол...

Броневик шел возле меня...

— Цепь, назад! — где-то впереди кричал поручик Кумачев. — Це-е-епь...

Я видел сквозь пыль, бегущую за цепью, как повалился на землю Зотов.

— Зотов!..— крикнул я, добежав до него. Возле него лежала фуражка, под самым ухом. В фуражку что-то медленно сползало, красное и круглое. Сползая, делалось все выше, круглей и краснее.

— Це-е-епь! — уже далеко передо мной кричал поручик Кумачев.

Возле меня — все на том же месте — кто-то волчком кружился. Упал... Из рта Горохова была кровь.

— Це-е-епь...

Я вновь бросился назад, тоже в волны бегущей пыли. Но рота бежала уже за пылью. Когда пыль нагоняла роту, цепь сразу редела и бежала еще быстрее.

Медленно качаясь, передо мной поворачивался броневик.

— Це-е-епь...

Потом броневик остался позади...

— ...Спа... спасите!.. Бра-атцы! — кричали раненые, хватая нас за ноги.

...Я помню красное солнце. Сквозь пыль оно казалось бурым...

— Бра-а-а...

А за нами гудели броневики, дробились в сухом треске пулеметы и, как камни в битом стекле, звенели скорострелки Гочкиса...

Полк бежал вдоль главной улицы Первоконстантиновки. Поперечные улочки были уже заняты красными. Красные выкатывали пулеметы. На скрещении главной улицы с поперечными лежали друг на друга упавшие тела. Тела ворочались и шевелились, как шевелятся, очевидно, холмы при землетрясении.

— Беги! Беги! — кричали за нами.

И мы бросились вперед...

Быстро темнело.

...И опять взошла луна. Такая же желтая, как в ночь перед тем над Армянским Базаром.

Черной смолой сползал полк с Перекопского вала.

Мы шли назад — к кострам.

Опустив ствол разбитой винтовки до самой земли, я шел среди солдат и офицеров чужих рот.

На валу стоял генерал Туркул. В глазах у него я видел слезы.

...Костры догорали. Когда на них набегал ветер, огонь ложился на траву и шипел, торопливо зарываясь в землю.

Поручик Науменко, я и двенадцать солдат нашей роты сидели около огня. Другие не вернулись.

Вдали опять шел бой, но уже лениво и как-то нехотя.

— «Тогда считать мы стали раны,— вздохнув, тихо сказал поручик Науменко,— товарищей считать...»

Красный свет расплзался по его лицу, стекая за ухо, за которым медленно шевелились тоже красные волосы.

— ...а господин поручик ротный упал. Его уже в деревне подшибло. Видел я...— рассказывал Галицкий, единственный уцелевший солдат моего взвода.— Васюткин и Осов к красным перебегли, тоже видел... чего не видел, не скажу, господин поручик!.. А подпоручика Морозова не видел, вот. Никак нет, не пришлось видеть!..

Подошел штабс-капитан Карнаоппулло.

— Ну, а как патроны, господа, поизрасходовали?

Я встал и пошел в темноту.

— Жаль, жаль подпоручика Морозова! — побрел за мною поручик Науменко.

Я ускорил шаг.

Но подпоручик Морозов вернулся.

Было это под утро. Он разбудил меня, взяв за плечо.

— Слушай!..

Я вскочил.

— Слушай, где фельдшер Дышло?.. Ах, черт, да помоги же!..

Он выволок из Первоконстантиновки какого-то раненого ефрейтора.

— Знаешь, до черта похож на моего брата, павшего под Черновицами...

Я взял ефрейтора за плечи. Приподнял. Ефрейтор открыл глаза, большие и, кажется, синие, как у ребенка.

— Понесем?..

— Бери за ноги!.. Так! Ну-ка, ра-аз...

...А возле потухшего костра бредил поручик Науменко, жалобно повзвизгивая, как щенок на морозе.

На следующее утро, 26 мая, Первоконстантиновка была вновь взята — 2-м Дроздовским полком. К полдню мы вошли в нее вновь — убирать убитых. Работали мы до самого вечера. Почти все убитые имели глубокие штыковые раны. За

огородами, в густом ивняке, мы нашли и подпоручика Басова. У него была разбита ступня и штыком проколото горло.

ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ В СЕВЕРНОЙ ТАВРИИ

Ротой командовал штабс-капитан Карнаоппулло. Но бои после Первоконстантиновки были не серьезные, так что ему не приходилось даже слезать с подвод, на которые вновь, как когда-то при Деникине, был посажен наш пополненный пленными полк.

— Ребята! Ребята!.. — кричал с подводы поручик Скворцов, присланный из офицерской роты на взвод Басова. — Ребята, руби топором!.. Кого черта!.. Оставлять, что ли?..

Зрела вишня. Но подводы шли быстро и, проезжая по деревьям и колониям, солдаты только подымали головы и провожали сады глазами.

— А ну, да скорей ты! Топоры!.. Руби топором!..

Над подводами 4-го взвода выростал лес молодых вишневых деревьев.

Ворочаясь среди непокорных ветвей, поручик Скворцов ругался:

— Чего с зелеными рубил?.. Что?.. Что глаза выкатил?.. Не было с красными?.. Я тебя научу к «зеленым» тянуться!.. «Зеленые» на Кавказе остались!..

Как-то его подвода шла сразу же за моей.

— Меня, господин поручик, мужик намедни о земельном законе генерала Врангеля спрашивал, — рассказывал ему рядовой Ершов, красноармеец, взятый за Ново-Алексеевкой. — Как это понять, спрашивал, что купчих двадцать пять лет выдавать не будут?

— Спрашивал?.. Ну, а ты? Ты его спрашивал? А? Все ль по-старому, — свобода и равенство и братство? А?

— Никак нет!.. Только насчет генерала Врангеля не знал я, конечно.

— Не знал, конечно? И не надо знать тебе вовсе! Со-старишься!

И, засмеявшись, поручик Скворцов приподнял над подводой уже смятое, обшипанное дерево и швырнул его в канаву.

— А ну, беги лучше! Руби это вот! Видишь?..

После густого жирного борща хотелось лежать, положив голову на путаную, мягкую траву, и спать, спать, спать... Но подводы уже стягивались к дороге.

— Цинизм, говорите?.. Ну, а что мог я ему ответить? Ну, что?..

Поручик Скворцов все еще возился над котелком, вытирая дно коркою хлеба.

— Ну, что?.. Вам бы, поручик Науменко, только зацепку найти, чтоб потом три часа сряду галиматью всякую растягивать!.. Так и сказать: два-два-ть пять лет!.. Да?.. Дорогой Ершов, для отдыха это! У красных это, Ершов, передышкой называется... Так, что ли, поручик Науменко?

— Поручик!

— Молчите, поручик! Люди воспитанные не перебивают! Так и сказать: ...для отдыха, значит, а вам, дуракам, для одиночного обучения... деньги сносить... кому следует... Да?.. В портфели и в банки складывать?.. В наши, гражданин Ершов!..— еще подчеркнуть, может быть?..

— Вы превратно поняли, поручик Скворцов!

— Кого? Вас?.. Или, может быть, генерала Врангеля?.. Пошли вы к черту, поручик Науменко, и не суйтесь с вашими замечаниями!..

Подводы выстраивались вдоль дороги. Поручик Скворцов встал. Прикрепил котелок к поясу.

— Allons!..¹

Над имением Фальцфейна рвалась шрапнель. С правого и левого фланга наших цепей медленной лавой рассыпалась далекая конница. Вдруг конница метнулась вперед и, оторвавшись от флангов, хлынула на имение.

— Бегут!.. Бегут!..— закричал штабс-капитан Карнаопулло и, выхватив шашку, уже не пригибаясь, бросился вперед.

Вечером того же дня мы лежали в саду имения. Вечерние лучи, с трудом раздвигая листья, пробивались сквозь чащу редкими рассеченными полосками. В кусты крыжовника и смородины они не попадали вовсе.

— Здесь, поручик Скворцов, всё недели на две позже зреет! — сказал, подходя к нам, поручик Злобин.— Хотя,— видите? — на верхушках зрелые уже есть. И крупные... Эх, черт!

¹ Пошли! (франц.)

Но добраться до зрелых вишен было трудно. Верхушки деревьев не выдерживали тяжести тела и гнулись, уводя ветви из-под самых рук.

— Сейчас мы это устроим!

Поручик Скворцов вскочил с травы и замахал в воздухе фуражкой.

— Сюда! С топорами!

...Я вышел из сада, думая найти пруд или речку и смыть с себя многодневную пыль.

— Пойдем-ка лучше в зверинец,— сказал, встретив меня на улице, поручик Науменко.— Там, говорят, зебры есть и медведи всякие — бурый, и черный, и белый... Эт-тот чудак Фальцфейн!.. Ах ты, господи, и понабирал же он себе друзей-приятелей!

К улице прилегали длинные коричневые строения, очевидно склады. Двери были под замком. Лишь одна дверь деревянного сарая в конце улицы была открыта настежь. Под дверью толпились солдаты.

— Заткнули б глотку, шибче бить можно,— кому-то из толпы деловито советовал бородастый унтер-офицер, сверхсрочного типа.— Оно и сбиться можно, в подсчете это, при крике, значит. А раз ему сто — так сто и натягивай, раз двести...

— Незачем затыкать! — возразил другой, тоже унтер-офицер, но помоложе.— Ухо не барабан, не лопнет...

— Другим наука!

Мы уже подходили к толпе, когда, обогнав нас, подбежал какой-то молодой безусый подпоручик. Подбежав, он остановился и стал тяжело дышать. Очевидно, бежал он издали.

— Комитеты устраивать?! Марксов развешивать?!— уже пробиваясь сквозь толпу, кричал он.— Шомполами его! Да, шомполами!.. Так!.. Так!..

За дверью раздались глухие крики.

— Ну, не хотите, не надо. Пойдем! — Поручик Науменко вновь вышел на дорогу.— В зверинец, значит?.. А хотите, я расскажу вам, как однажды при большевиках в Одессе...

Солдаты толпились и за именем возле высокой частой изгороди.

— Вот и пришли,— сказал поручик Науменко, только что окончив рассказ о расстрелах в Одессе.— Это и есть знаменитый зверинец. А ну, что тут такое?

Мы подошли к забору.

За забором, по полю, по которому, точно играя в перекатки, скользили легкие перекати-поле, с трех сторон, рассыпавшись в цепи, метались солдаты. Они загоняли в тупики забора испуганную зебру и двух низкорослых рыжих лошадей,— кажется, пони.

— Лови! Лови!

Солдаты возле зебры кричали и свистели. Некоторые, точно приплясывая, топали ногами.

— Лови! Лови-и!

— Тащи седло! Петька, седло тащи! Махом!

— Господин капитан! Забегайте, господин капитан! Слева забегайте!

Но капитан уже схватил зебру за гриву и, гикая, бежал рядом с ней. Цепи за забором перепутались и густой массой, беспорядочно, точно при атаке, бросились за капитаном.

— Расходись!

Я оглянулся. По дороге к нам подъезжал какой-то офицер в полном походном снаряжении.

— Расходись!.. Приказано всякие безобразия в имени прекратить! — крикнул он, придерживая лошадь. Но вдруг откинулся назад и захохотал тоже, раскатисто и громко.

По полю, быстро обгоняя пони и вырвавшуюся из рук капитана зебру, бежали два страуса. Под хвостами у них болталась подвязанная бумага. Бумага горела.

Я оставил поручика Науменко на заборе и тихо побрел дальше.

Ни ручейка, ни пруда под именем я не нашел.

Когда я возвращался в штаб, солдаты около сарая в конце улицы толпились, как и час тому назад.

Из открытых дверей на улицу все еще доносились крики, на этот раз женские.

— Как дерганет по задам,— рассказывал возле дверей унтер-офицер сверхсрочного типа.— Как дерганет — аж полосы!..

— Ей-богу, не понимаю! — ворчал вечером поручик Скворцов, расстилая шинель под деревом.— Вдруг ни с того ни с сего: беречь птицу!.. беречь имяние!.. беречь деревья!..

И, помолчав, он повысил голос:

— Капитан!

— Ну?

— Варенья хотите, капитан?.. Знаете, вишневого? А?.. Сла-адкого!.. На хлеб или в чай... Хотите?..

— Ну?

— Ну!.. Ну!.. Ну, так закройте глаза, отвернитесь и спите. Утром варить будем!

Когда я засыпал, деревья над нами тревожно гудели. Изредка в тишину кустов срывался треск веток и ползла глухая, сдержанная матерщина.

...Варенье утром варил сам штабс-капитан Карнаоппулло.

Легкие бои, почти случайные... Колония Пришиб... Розенталь... И опять Пришиб, и опять Розенталь...

Когда мы вошли в Розенталь уже в третий раз, в роту вернулся поручик Ауэ.

— Здорово, барбосы! — крикнул он, входя во двор белого домика, в тени которого мы сидели.— Ну как?.. Капитан, рапортуйте!..

Штабс-капитан приподнялся.

— Да не так, вашу мать за ухо!.. Капитан, учитесь! — И, вытянувшись, поручик Ауэ поднял к козырьку руку.

— Так вот! Слышишь, капитан? «В 6-й интернациональной происшествий никаких не случилось. Поручик-хохол надел на ум чехол. Всем надоел. Черт бы его заел!»

Мы улынулись.

— ...«Кацап-бородач, подпоручик по недоразумению и герой по духу, проблем гражданской войны еще не решил. Немец-перец-колбаса, как вечный должник матери-России, до сего дня еще служит ей верой и правдой. Бравый эллин, он же Карнаоппулло — шашка до пола... пьет по ночам комиссарскую кровь и, чтоб было слаще, заедает карамелью...»

— Поручик! — вскочил с крыльца штабс-капитан Карнаоппулло.

— Не дружен с маткою-правдою? Ну ладно, ладно!.. Отпусти усы, будет!.. А ну, барбосы, не спеть ли нам?..

И вдруг, закинув голову, он запел, неожиданно тихо и мягко:

Не осенний мел-кий дож-ди-чек...

Подошел связной.

А вечером наша рота пошла в заставу.

Полевой караул лежал за холмиком.

Мне было холодно, и я залез под шинель. В стороне беседовали два солдата.

— И-и, боже мой! Где там! Да я ведь о хлебной разверстке сказывал!..

Второй голос был глуше. Он тонул в тишине, и разобрать его было трудно.

— Да все одно это!.. Что хлеб, что корова...

— А у кадетов, думаешь, как?..— вклинился в разговор третий голос.— За пуд — две ихних тысячи... А на кой они нужны, эти две тысячи! Ребятам разве?.. Кораблики складывать?.. А насчет повинности слышал я давеча, будто б у отца-матери не явившихся по мобилизации всё что ни есть забирают. Специально и отряд такой ходит, карательный, что ли...

— Слышал я про это... Как же!.. Нам о карательных политрук еще разъяснял...

Рука моя отекала, и я повернулся на другой бок. Разговор оборвался.

Часовым стоял Галицкий. Подчаском — Кишечников, красноармеец, взятый в плен вместе с Ершовым.

— Здесь, господин поручик, можно сказать, и спокойной минуты нету! — обернулся ко мне Галицкий, когда я пошел проверять посты.— Вот прислушайтесь, дело какое!.. Не то ползет... не то ветер...

Я сделал шаг вперед и притаил дыхание.

...Ветер в поле играл кукурузой. Листья кукурузы шуршали.

— Не трать, Галицкий!.. Никто не ползет...

Галицкий вновь опустил на колени и, подняв винтовку, обнял ее обеими руками.

— Как служил я у красных, господин поручик, говорили, что и мир скоро будет. Как, не слышно теперь? — спросил вдруг подчасок, высовывая голову из-за кукурузы.

— Нет, Кишечников, не слышно что-то!

...Звезды в небе бледнели. Стало еще холодней.

Серебристые, ровные волны бежали по степи. Взяв на холмики, они, кувырнувшись, срывались вниз и бежали дальше, играя опять то серебром, то зеленою, быстро расползающейся по всему полю тенью.

— И чего не едут!..

Ротный то и дело подымался и смотрел перед собой.

— Ей-богу, этот поручик Науменко что твоя рязанская баба!..

Прошло минут пять. Потом еще пять...

— Идет! — сказал наконец ротный, приподнялся и взбр-сил на ремень винтовку.

— Да еще с прибылью, кажется!.. — воскликнул поручик Скворцов. — Э-ге-ге!.. Двух товарищей ведет... А ну-с, узнаем про дела совдепские!..

Но допросить перебежчиков не удалось. Полк уже вы-ступал из ивения, и ротный спешил на подводы.

Я сидел на подводе подпоручика Морозова. Поручик Науменко шел возле нас.

— А там — неладно, ей-богу!.. Уж я понимаю!.. Да вы послушайте только... — Он говорил быстро. Очевидно, торо-пился еще и к поручику Скворцову. — И ей-богу, все потому только, что между прочим это делается... Ведь на подводах их допрашивали. Сперва поручик Ауэ одного, потом его же капитан Карнаоппулло, а поручик — другого. И вот здесь-то вся их каша и всплыла... Один говорит: сорок второй советской дивизии, и давно уже здесь. Другой: с двадцать восьмой, говорит, вышли, и совсем только недавно... Один... — Поручик Науменко споткнулся о камень. — Фу, черт!.. Один... Сейчас, поручик Скворцов!.. Сейчас я! — Поручик Науменко вновь обернулся к нам: — Ну и вот... Один говорит...

Минут через пять он шел уже возле подводы поручика Скворцова.

— ...говорит. Ну а другой... Один... а другой...

— При-ва-а-ал!.. — поплыло наконец от подводы к подводе.

Оба перебежчика сидели на последней подводе ротного обоза. Один из них был широкоплечий, рослый парень с крас-ным, изрытым оспой лицом.

— Стало быть, не мог больше... Вот почему!.. Невмо-готу стало... — рассказывал он собравшимся возле него сол-датам. — Сперва это Юденич на Петроград гонял. Потом на Колчака ходили. Теперь на вас — на барона Врангеля пошли... Не ушел бы — гляди! — и на Польшу погнали б!..

— Че-реш-ни!.. Господин поручик!..

— Господин поручик, идите!.. — кричали где-то далеко солдаты 3-го взвода.

Через улицу, с топором в руке, прошел поручик Скворцов.

Второй красноармеец исподлобья посмотрел на него и от-вернулся.

И вдруг за деревней раздалась беспорядочная ружейная стрельба.

Мы уже выходили за деревню.

— Господин поручик, господин капитан Карнаоппулло приказали вам доложить, что они оставили Кишечникова при себе.

— Зачем это?

Стрельба за деревней все учащалась.

— Часовым к перебежчикам,— ответил Галицкий, на ходу занимая свое место во взводе.

...Выйдя за деревню, 6-я рота рассыпалась в цепь.

* * *

Было очень жарко. С лица струился пот.

— Давно уж не гнали так!.. Что?..

— Жаль, говорю, что конница не подоспела... Не ушли бы!..

...Маленькие, белые домики какого-то хутора, к которому, уже под вечер, вышли наши цепи, дружной семьей спускались к оврагу. Овраг огибал хутор, за хутором упирался в плоский, осевший во все стороны холм. Над холмом зеленели сады небольшого поместья.

— Квартирьеры на хутор не пойдут,— объявил ротный.— Мы только обождем подводы и сразу же двинемся дальше. Садись и закуривай!..

...Прошла подвода с ранеными. За ней вторая. Шедшая в резерве 8-я рота построилась и с песнями прошла мимо нас на северную окраину хутора — занимать позицию. Вдоль рва, уже далеко в степи, куда-то шел поручик Скворцов, получивший у ротного разрешение на полчаса отлучиться из роты.

А вокруг и около нас опять уже скользили и кружились легкие кустики перекасти-поле...

— Пыли-то!..— сказал поручик Ауэ, указывая вдаль.

Вдали медленно шел наш обоз. Обоз был разбит по батальонно и казался издали четырьмя ползущими друг за другом поездами, над которыми клубился низкий, тяжелый дым.

— Пыли-то?.. А?..— повторил ротный, потом отвернулся, вынул часы и выругался: — ...твою барбосову мать! Полчаса называется!.. Видно, чай пьет!.. Извольте вот офицерскому слову верить!..

На небо, все еще синее, набежали желтые тучи. Обоз подходил все ближе и ближе.

...Наконец, с каким-то небольшим свертком подмышкой, вернулся и поручик Скворцов.

— Да!

— Не да, а так точно!..

Штабс-капитан Карнаопулло удивленно посмотрел на ротного.

— Но, поручик...

— Извольте молчать!..

— Но позвольте...

— Молчать!..— И, быстро обернувшись, ротный стал кричать уже на обоз: — Там!.. Не болтаться!.. Выезжай!.. Выезжай, говорю, вашу в три бога мать!.. Поручик!.. Поручик Науменко... вашу мать, да следите за порядком, мать вашу... Под-по-ру-чик Мо-ро-зов!..

Обоз выровнялся и пошел вдоль дороги, на все лады скрипя несмазанными колесами. Тронулась и моя подвода.

— Но, поручик, ведь перебежчики...— вновь, уже сквозь треск колес, услышал я растерянный голос штабс-капитана.

— К матери с твоими перебежчиками!.. А Кишечников, а?.. А?.. А?..

Очевидно, желая отделаться шуткой, штабс-капитан Карнаопулло вдруг прищурил глаза и задергал подбородком:

— Бэ!.. Бэ!.. Бэ!..— засмеялся он деланно.

На мгновение ротный опешил. В это самое время моя подвода как раз поравнялась с ними.

— За... за... зар-раза!..— вдруг дико закричал ротный.— Стой!.. Стой, твою...

Я быстро отвернулся и в тот же момент услышал короткий, глухой удар. Очевидно, ротный ударил кулаком капитана.

Мой подводчик стегнул лошадей. Лошади рванули.

— Не напирай!..— кричали с подводы перед нами...

— ...а когда он, не допив молока, выбежал из хаты, того уже и след простыл...

— В гражданской войне всё опять и опять повторяется!..

— Не велика у ней, знать, фантазия! — перебил поручика Науменко подпоручик Морозов.— Ведь это же почти что прошлогодняя история с этим...— как его? — с Ленцем... Помнишь?..

Мы въезжали на холм за оврагом.

Над забором поместья свисали тяжелые ветви черешен.

С подвод 3-го взвода быстро повскакали солдаты.

— Назад!..

Узнав голос поручика Скворцова, я удивленно обернулся. Балансируя, поручик Скворцов стоял на подводке.

— Назад! — кричал он. — Ершов! Тыкин! Подойко!.. По подводкам! По по-д-во-дам!..

— Неслыханно, господа! И что за добрая муха его укусила! — сказал, не менее меня удивленный, подпоручик Морозов. — А?.. Что за черт!.. Из Савла да в Павла!..

Ершов, Тыкин и Подойко, звеня котелками, уже бежали назад к подводкам.

— Подождите! Да рассказывай дальше, — снова обратился я к поручику Науменко. — Действительно, происшествие не совсем-таки обыденное!..

— Ну и вот...

И лицо поручика Науменко разгорелось от возбуждения.

— Когда наша рота пошла в бой, — рассказывал нам поручик Науменко, — оставшийся при обозе штабс-капитан Карнаоппулло отправился в халупу пить молоко. Пользуясь простодушием Кишечникова и его незнанием службы, один из перебежчиков, тот, что глядел исподлобья, попросил у него разрешения оправиться, ушел за хату и больше не вернулся. Оставив второго перебежчика, Кишечников побежал искать его по всем хатам; попал также и в ту, в которой за крынкою молока сидел штабс-капитан Карнаоппулло. Штабс-капитан поднял на ноги всех нестроевых и даже подводчиков, но было уже поздно. Сбежавшего красноармейца не нашли. Тогда рассвирепевший штабс-капитан тут же, возле подводки, расстрелял и Кишечникова, и второго красноармейца — скуластого парня с красным лицом, — обвиняя их обоих в содействии побегу.

— Да, да!.. — повторял поручик Науменко. — Попадись под горячую руку... капитану или ротному... Зве-ери!.. А ведь сбежавший был шпионом, — вы знаете это?

...Мы уже спускались с холма... Поручик Науменко все еще сидел у нас на подводке. Понемногу возбуждение его прошло, и на лицо вновь набежала знакомая нам улыбка.

— Эй, поручик Скворцов! Откуда такое богатство?.. — закричал он вдруг, приподнявшись.

Несколькими подводками за нами голый до пояса поручик Скворцов расправлял над головою новую, белую рубашку.

— А что?.. Завидно?.. — крикнул тот, уже продев сквозь рубаху голову.

— Да нет!.. Но откуда?..

— Да оттуда!

Поручик Скворцов указал рукой на поместье, уже едва-едва чернеющее вдали.

— Подарили?..

— Еще что!.. Кто теперь дарит!.. Родичи там у меня есть, из недорезанных... Тетка...

Кружилась пыль. Подводы наезжали на подводы. Холмы за нами опускались в полутьму.

ПОХОДНАЯ ЖИЗНЬ

Красные наступали...

Три дня подряд, каждую ночь, шла в бой наша рота.

Мы защищали большую, богатую колонию, Гальбштадт или Куркулак,— не помню... Помню одно: на каштановых деревьях ее главной улицы болтались три трупа. Помню еще и лицо одного повешенного. Оно было вздуто, особенно щеки, которые выступали вперед и хоронили провалившийся вглубь нос. На длинной веревке под бородой повешенного болталась дощечка: «дезертир». Дощечка раскачивалась под ветром и, легонько ударяя о колени повешенного, вновь отскакивала далеко вперед.

— Вот!.. А вы говорите, своих не вешаем!..— сказал как-то штабс-капитан Карнаоппулло.— Как не вешаем! И по три сразу...

— Да разве свои это? Ведь это те же красноармейцы! Вот если б офицера на вешалку вздернули.

— Еще что!.. А Ивановского позабыли?.. Мало?

И штабс-капитан отошел от ротного и нахмурился. В последнее время штабс-капитан хмурился очень часто. И всегда только в присутствии ротного. И всегда — отворачиваясь.

А около штаба полка дни напролет толпились солдаты и офицеры.

Около штаба расстреливали пленных латышей.

— Ты полковника Петерса видел? — на третий день боев и расстрелов спросил меня поручик Науменко.— Не правда ли, как битый ходит?.. Видел?

— Видел.

— А знаешь почему?.. Своих — латышей этих — жалеет. Сам ведь латыш! Говорят, места не находит. А по ночам, говорят, сидит в темной халупе, сжимает голову руками и рычит, как раненый зверь.

На четвертый день красные нас выбили. На пятый мы выбили красных.

Когда мы вновь входили в колонию, на трех каштанах главной улицы болтались три наших офицера, взятые красными в плен за день перед этим.

В бою на пятый день 7-я рота потеряла убитыми и ранеными около половины штыков. 8-я — треть. 5-я и наша — всего несколько.

— Как странно бьет артиллерия красных!.. На одном участке сметает решительно все; на другом, тут же рядом, только и дает перелеты и недолеты.

— А это смотря кто стоит на орудии. Если старый барбос — офицер еще с германской...

Поручик Скворцов удивленно посмотрел на ротного.

— Неужели вы думаете, что старые офицеры так же старательно, как когда-то по немцам, бьют теперь и по нашим цепям?

— Привычка!.. — коротко ответил ротный, задумавшись.

Мы сидели на траве, составив винтовки и сбросив с плеч тяжелые, уже вновь пополненные патронташи.

— Хоть бы дня три отдыха дали! Устали до черта!.. — жаловался поручик Науменко. — Ноги едва носят. Засыпаешь прямо в цепи...

— Дубье!.. Ослы!.. Дерево!.. Рав-няйсь! — кричал молодой штабс-капитан в щегольском френче, бегая возле сбившихся в кучу пленных.

— Равняйсь!..

Пленные, мобилизованные крестьянские парни, испуганно толпились на одном месте, очевидно не понимая, что от них требуют.

Наконец, их разбили. На латышей и на русских. К немногим латышам причислили почему-то и всех рыжих и бело-головых парней. В свою очередь из числа русских уже выделяли офицеров старой службы — для пополнения нашей офицерской роты. Отведенные в сторону, офицеры слюнили химические карандаши и друг другу на гимнастерках выводили погоны и звездочки.

...Где-то, очень далеко, вновь заухало орудие. Со штыков составленных винтовок сползли лучи солнца. На небо с двух сторон ложились тучи.

— Да ей-богу ж!.. — Галицкий перекрестился. — Ей-богу ж, так и заявил!.. Хошь бей, заявил, хошь!..

Поручики Науменко, Скворцов, штабс-капитан Карнаопулло и некоторые офицеры других рот встали и пошли через поле. Встали и солдаты. Кольцо вокруг пленных быстро росло.

— И не пойду!.. Расстреляйте!.. Не пойду я!..— кричал в кольце широкоплечий офицер-пленный.— Эй, вы, наемники заграничные!.. Свалка всероссийская!.. А правды ль не хотите?.. Капитан — думаете?.. Думаете — и побегу сразу?.. К вам?.. В гнездо ваше черносо...— Над головой его серой сталью блеснула шашка. Потом еще и еще. Кольцо быстро расступилось, вновь хлынуло вперед и сомкнулось уже над изрубленным офицером.

...Мы шли назад в колонию. Падал дождь... На каштановых деревьях главной улицы болтались неснятые веревки. С них бежала вода...

В этот вечер красные не наступали.

За окном было темно. Шумел дождь. На лавке под окном лежал поручик Науменко. Кажется, спал.

— ...Ерунда какая!.. А если и застрелится, черт с ним!.. Негодяя не жалко!.. Да только не застрелится он,— вполголоса говорил мне подпоручик Морозов.— Не из таких, брат, Скворцов этот! Хитрая бестия... У него ведь заряжены только те гнезда — по счету три,— которые сверху прикрыты ржавчиной. Шулер своего дела. Ну да, конечно!.. Ну, конечно, артист!.. Если барабан у него останавливается ржавым гнездом на очередь, он вновь его крутит... Вся и лавочка!.. А дураки в восторге: и смелость! и храбрость! и удалы! и фатализм! и тип Лермонтова! и еще ерунда всякая!.. Господи, и как не надоело!..

Проснулся поручик Науменко. Приподнялся на лавке и, потирая глаза, долго во все стороны дергал локтями.

В окно с новой силой ударил дождь.

— Господа, приготовьтесь,— вошел поручик Ауэ.— Сейчас выступаем... А капитан... помните?.. этот, которого зарубили?..— сказал он, уже взявшись за дверь.— Вот к нам бы... В роту бы такого!.. А?..

Через час мы выступили.

Над степью все еще шумел дождь. Я лежал под шинелью. С шинели стекала вода. Потом вода стала просачиваться, и я зарылся глубоко в солому. Под самым моим ухом тяжело ворочались колеса. Они тянули жидкую грязь вверх за собою

и вновь бросали ее в звонко хлюпающие лужи. Прошел час... Второй... Может быть, третий и четвертый. Дождь перестал лить, и я высунул голову из-под шинели.

Край неба уже золотился. Светало... Нам навстречу бежала дорога. Вдоль дороги бежали низкие кусты, после дождя тяжелые и приглаженные.

— Скоро?

— А бог его!..— ответил Галицкий и зевнул во весь рот.

Мы двигались по направлению к Мелитополю, на помощь донцам, заманившим в мешок конную армию Жлобы.

* * *

По равнине, усеянной редким холмиком, металась красная конница. Донцы гнали ее с трех сторон — прямо на наши цепи.

Палило солнце. Трава давно уже высохла. За разбитыми лавами красных гонялись легкие столбики пыли. Это наши пулеметы искали правильный прицел.

— Снижай! Двадцать два!.. Снижай еще! Двадцать!.. Во-сем-над-цать! — доносились до нас торопливые команды.

2-й батальон стоял в резерве. Красным было не до обстрела, и наши резервные роты взобрались на ближайшие холмики, с которых была видна вся широкая картина идущего боя.

На круглой вершине второго за нами холма торчала высокая мачта. На ней была установлена антенна беспроволочного телеграфа.

— Ну, как?

— Сейчас!.. Подождите! — суетился перед мачтою молодой офицер с серебряными погонами.

— Ну, как?..

— Ге-не-рал Абрамов двинул четвертый полк! — кричал он уже через минуту.— Ге-не-рал Аб-рамов рас-сы-па-ет...

— ...Офицер не должен бояться смерти. Прежде всего, это оскорбительно!

Четыре залпа, подряд данные офицерской ротой, на минуту заставили поручика Скворцова замолчать.

— Понимаете, господа? — снова начал он, когда глухое эхо залпов докатилось до убегающих к небу дальше.— Понимаете?.. Кроме всего этого, смерть не шадит только трусливых... Господа! По-моему, творческая изобретательность смерти должна вызвать, в свою очередь, и в душе каждого офицера пробуждение его волевых начал... Как бы сказать вам?..— ну, желанье, что ли, не бороться с ней, а играть, как

с равной. Потом... Эй, Ершов!..— вдруг закричал он обернувшись.— Ершов, что тащишь?.. Яйца?.. Э-ге-ге!..

Ершов, час тому назад посланный поручиком Скворцовым в соседнюю колонию Фриденсруэ, поставил на землю крынку молока и рядом с ней положил завязанные в узелок яйца.

— Уже сварены?.. А ну, придвинь-ка!.. Вкрутую?.. Всмятку, я тебе говорил!.. Не говорил?.. Дурень!.. Пшел прочь, идиот!..

Солнце опустилось ниже, стало круглым и перестало слепить. Наши цепи оттянулись. По ложбине вели пленных.

— Вы когда-нибудь да и доиграетесь!..

Штабс-капитан Карнаоппулло волновался.

— Слушайте, ведь это же... Слушайте,— и после каждого боя!.. Зачем?.. Мало вам, что в бою не угробили? И что за идиотское испытание судьбы!.. Простите, поручик... Поручик, оставьте,— ведь это же средневековье!..

Поручик Скворцов разгладил тонкие усики.

— После боя пикантней... Понимаете, двойная проверка... А ну-ка еще раз... Смотрите,— бог любит троицу!..

И, опять повернув ладонью барабан нагана, он приложил его к виску.

— Поручик!

Но выстрела не последовало,— только сухой, короткий треск...

Уже подходили подводы.

— Песню!..— скомандовал ротный, когда подводы повернули на колонию Вальдгейм.

— Она, черт дери, красива как бес!

— Поручик Науменко увлекается!.. Господа, поздравим поручика Науменко с увлечением!.. Магарыч, поручик Науменко!.. Магарыч!..

Поручик Науменко стоял около печи и задорно улыбался. Из-за печи поднялась черная голова штабс-капитана Карнаоппулло.

— Но позвольте, господа, а вдруг она коммунистка?

— Коммунистка?.. Какая там к черту коммунистка!.. Самая обыкновенная б...!

И ротный сплюнул.

Мы стояли в колонии Фриденсруэ уже второй день. И уже второй день спорили офицеры: отпустить «ее» с миром, отправить в штаб Туркулу или забрать с собою — «ведь хороша, стерва!.. А?».

А «она», Ада Борисовна, — та, вокруг и около которой кружились наши вечные споры, не выходила за двери веселого, желтого домика колонистки Шмитке, в котором поручик Ауэ наткнулся на нее в первый раз.

— ...Я сказала вам правду... Можете считать меня и коммунисткой или даже шпионкой, и, конечно, можете меня расстрелять... — говорила она собравшимся у ней офицерам, когда, заинтересованный, забежал к ней как-то вечером и я. — Я ни о чем вас просить не буду... О жизни?.. Менее всего!.. Я так устала!.. — Пустив под потолок тонкое колечко голубого ленивого дыма, она прищурила черные глаза с черными же, точно надклеенными ресницами и, не опуская головы, повторила тем же спокойным и певучим голосом: — Так устала от вашей вечной войны!.. — К потолку поднялось новое колечко, нагнало уже расплзающееся и поплыло рядом. — Я хотела пробраться в Феодосию или Севастополь... Вот и всё!.. И уехать оттуда... вот и всё!.. В Будапешт... Будапешт — моя вторая родина, господа... От России я отвыкла...

Кто-то засмеялся.

— Отвыкли?

— Не нравится, значит?

— А на сypняк не хотите?..

— А на позиции?.. Сестроу?..

— Господа, или вы, или я! — Она вздохнула и на минуту замолчала, осторожно кладя догорающую папиросу на подоконник. — Ну вот... — улыбнулась. — Теперь вы присмирели, и я могу продолжать... хотите?.. Моя биография? Ну вот... В Будапеште я танцевала у столиков наших веселых кабаре... Да, все это было!.. — Она опять улыбнулась, уже совсем по-другому — одними глазами, вдруг сразу потерявшими блеск, и продолжала уже совсем тихо и еще более нараспев: — Кафе «Кристалль»... Огни... Я и ты... А потом... Потом... — голос ее задрожал, — в Москву... в вашу страшную Москву!.. — Вдруг она подняла брови. — Простите, господа, я, кажется, забылась?.. — И, сохраняя обиженное лицо, опять выровняла голос: — Да!.. в Москву, значит... В вашу страшную Москву!.. В Москве его расстреляли... Того, кого я любила и кто зачем-то снова увез меня в Россию... Можете, впрочем, здесь расстрелять меня!

И, вздохнув, она отвернулась к окну и положила на подоконник руки. Короткие рукава еще более оттянулись назад и почти до плеч обнажили ее руки.

Офицеры молчали, жадно поглядывая то на ее руки, то друг на друга — нетерпеливо и враждебно. Каждый хотел, чтоб вышли другие, но никто из хаты не выходил.

— Никто вас расстреливать не будет,— сказал, наконец, поручик Ауэ.— Завтра мы выступаем. Езжайте в ваш Будапешт, пляшите и собирайте новых любовников. Счастливо!..

— Слава богу, что завтра выступаем,— сказал он мне уже на улице.— Эта трагическая курва. Да еще на бабьем безрыбье! Кобелями забегали! А?.. В бой — так в бой; в публичный дом — так в дом публичный! Но не вместе же мешать, барбосы!..

* * *

Ночь была безлунная. По темным улицам колонии бродили одинокие солдаты. Около ворот какого-то дома два колониста раскуривали трубки. Они стояли почти вплотную и почти упираясь друг в друга лбами. Спички в руках у них задувало, и колонисты ругались.

— Ей-богу!.. Не веришь?.. Так и сказала,— продолжал рассказывать поручик Науменко, помахивая на ходу тонким прутиком ивы.— «Вы словно большой дворовый щенок,— сказала она.— У вас большие, мохнатые лапы. Когда вы ходите, лапы у вас разъезжаются...» Ей-богу! — Поручик Науменко засмеялся.— «И неуклюжи вы,— сказала она.— И гадите на ковер. И грызете ножки дивана. И лаете на всех, так, зря, по молодости...»

— Это верно, пожалуй!

— Подожди!.. «Но таким, как вы сейчас,— сказала она,— таким вот я и люблю вас». И она целовала меня в лоб, потом в щеку, потом в губы...— Поручик Науменко бросил хлыст в канаву.—...Потом в губы!.. Господи, как она целовала!..

Мы уже подходили к желтому домику вдовы Шмитке.

— Если б ты знал, как она целовала!..— еще раз повторил поручик Науменко и быстрыми шагами направился к воротам.

Минут через десять он нагнал меня снова.

— Слушай!.. Ты не видел его? — быстро спросил он, подбегая.

— Кого?

...За-сви-ста-а-ли каза-казаченьки

В по-ход с полу-но-о-о-чи! —

пели где-то вдали солдаты.

— ...Вышли они вместе. Я видел! — Поручик Науменко от волнения заикался. — Потом она вернулась и заперла за собой дверь... Она не пустила меня... Она сказала: «Сплю, поручик»... Но ведь это неправда! Скворцов обещал ей вернуться... Я слышал... Послушай, он прошел здесь?.. Да? Здесь вот? Прямо?..

Песок под его ногами хрустел недолго. Очевидно, поручик Науменко побежал.

На следующее утро нас рано подняли.

Рота уже стояла возле подвод.

— Где ж он остался, мать его в закон! — кричал ротный. — Немедленно найти! Обыскать все хаты! Барбосы! Баб не видели!..

Возле ротного стоял поручик Скворцов.

— А кто разберет!.. Я ж рассказывал вам, поручик. Как еще ночью отшил я его, он — через забор и в поле куда-то...

— Никак нет, и у дамочки нету, — подошел Галицкий. — И не было, говорит.

— Несут, несут! — раздалась в это время голоса за нами.

Мы обернулись.

Поручика Науменко несли за ноги и за руки. Ротный быстро пошел ему навстречу. Потом остановился.

— Барбос!

— Напился... — сказал поручик Скворцов, уже взваливая поручика Науменко на подвод. — Так-с, так-с!.. Для храбрости, значит! Проучить меня думал! Иль с горя? Ах ты, мальчишка! Щ-ще-нок!..

И опять загремели колеса.

Бой мы приняли только на третий день, под селом Орлянской, рано утром, после ночи, проведенной в степи под телегами.

— Это не бой!.. И не победа это!.. Это полпобеды!.. — сказал ротный, закуривая, когда мы, не доходя до Орлянки, расположились на лужайке возле ее огородов. — Ни одного пленного! Какая же это, к черту, победа!

В селе было тихо. В конце улицы, выбегающей к нам на лужайку, скрипел журавль колодца. Около колодца суетились сестры. Раненых проносили мимо нас.

— Легонько!.. Ле-го-о-онько! — тихо просил с носилок молодой безусый солдат, с черным лицом и желтыми, как солома, бровями.— Земляк... Милый... Ле-го-о-нь-ко!..

И вдруг за спиной у нас раздался выстрел.

— Сюда! Сюда!.. Дышло!..

— Сюда! Санитары!..

Поручик Скворцов лежал на земле, около бугра, густо заросшего таволгой. Наган из рук его выпал. Пальцы были разжаты. Фуражка скатилась. С виска, расплзаясь по щекам, медленно капала кровь.

— Отойди! — кричал ротный на сбегающих со всех сторон солдат.— Отойди! Чего не видели?

— Отойди! — у него под боком кричал штабс-капитан Карнаопулло.— Чего не видели?

Подошел фельдшер. Нагнулся.

— Конец! — И отошел к бугру, чтоб вытереть о таволгу руки.— Медицина здесь запоздала. Разрешите унесть?

— Несите!

— Неси!

— Тижолый! — Санитар Трифонов, здоровый солдат, с длинными до колен руками, взвалил поручика Скворцова на спину.— Тижолый!.. Мертвый, он всегда тижалей! А куда нести-то?

— К штабу неси!

— Раз, два, три... четыре. Четыре пули, поручик! Одна у него оказалась лишней...— сказал мне подпоручик Морозов, бросил наган на землю и приподнялся, ища кого-то глазами.

А за селом, для всех неожиданно, вновь торопливо заработал пулемет. Мы бросились к винтовкам.

Все, что происходило после, можно было считать секундами.

Мы сбежали с холмов за Орлянкой.

— Да подравняйте!.. Да под-равняй-те це-пи!

Зазвенела шрапнель.

— Да подравняйте!.. Да под-равняй-те це-пи!

Звенела шрапнель.

— Интер-валы! — опять закричал ротный.— Держите интер-ва-лы!..

В садах, за нами, шрапнель косила сучья деревьев.

— Сбеги ниже! — крикнул я, и вдруг, бросив винтовку, сжал рот ладонью и, спотыкаясь, быстро побежал вдоль цепи.

Сквозь пальцы мои била кровь. Боль по лицу бежала вверх и уже, казалось, звенела в ушах.

- Ложись! Ложись!
- Ин-тер-ва-лы!
- Куда! Да ложись! Выведут!

Я повалился на землю. Помню,— в траве, под самым моим лицом пробежала ящерка.

В полдень, когда я вышел из сельской школы, где помещался наш перевязочный пункт, под оградой церкви густо стояли носилки.

«Три недели и вновь в строй! — думал я, вспоминая слова сестры.— Вот тебе и отдых!..»

Раненные стонали. Какой-то унтер-офицер, вытянув руки вверх, ухватился за ветви акации, перегнувшейся к нему через ограду, и, очевидно в бреду, раскачивал их со всей силой. Кто-то рядом с ним лежал совсем неподвижно. Я подошел и вдруг быстро наклонился.

...Глаза поручика Ауэ были открыты. Он в упор смотрел на меня, но, кажется, не узнавал. Ни гимнастерки, ни рубахи на нем не было. Волосатая грудь часто и высоко подымалась. Живот был забинтован. На широкий бинт падали все новые листья.

— Последний из могикан офицерской касты! Выживет ли?.. А жаль!

Я обернулся. За мной стоял поручик Злобин, тоже легко раненный.

— Тяни, тяни,— вытянешь! — кричал унтер-офицер, раскачивая над нами акацию.

А вдоль ограды выстраивались носилки...

Недели через три-четыре, проведенные мною при хозяйственной части (у меня всего-навсего была пробита осколком губа, и в тыл меня не отправили), я вновь возвращался в роту.

Полк стоял в Верхнем Токмаке.

— Господин поручик! — окликнул меня на улице Галицкий.— Возвращаетесь?

...Пустыми гильзами из-под патронов на улице играли ребятишки. Бродила одинокая свинья, тонконогая и худая.

— Да ничего, господин поручик! Перемен как будто и не было никаких. Господин капитан опять роту приняли.

— Слушай, а как подпоручик Морозов? — перебил я Галицкого.

— А господин подпоручик Морозов уже в офицерской роте. Так точно, господин поручик, господин капитан его отправи-

ли... А вот по какой причине, господин поручик. Из-за пленных все это вышло. Господин капитан всех пленных расстреливали... И коммунистов, и мобилизованных, и всех, господин поручик. Тогда господин подпоручик Морозов своих, значит, пленных,— они также в тот день четырех под оврагом подобрали,— господину ротному командиру седьмой роты передал. А потом что было, неизвестно нам, а только господин подпоручик Морозов ушли...

Мы уже подходили к халупе штабс-капитана Карнаопулло.

«Ну,— думал я,— не веселая начнется служба!..»

На усах штабс-капитана болталась лапша. Молочный суп капал на китель.

— Идите в офицерскую роту!

Штабс-капитан поднял над тарелкой усы и деревянную ложку подобрал с них лапшу.

— На втором взводе стоит поручик Ветошников, и я нахожу, что частая смена командного состава неблагоприятно влияет на боеспособность роты.

Я повернулся и, вскинув винтовку на ремень, быстро вышел из хаты.

— ...Ну и черт с ними! — вечером, уже в офицерской роте, говорил мне подпоручик Морозов.— В конце концов не все ли равно, где подыхать придется?! — Он замолчал.

Молчал и я.

— Чего молчишь? — вдруг спросил он.— Неужели обижен? Да черт с ними!.. Поручики Басов и Ауэ были в роте последними. Остались мерзавцы,— ну и черт с ними!.. Кстати, теперь, когда убиты и Скворцов, и Науменко... Не его ль это рук дело?.. Эта четвертая пуля?.. Помнишь?.. Впрочем, и так уж уголовщины много! Новую еще раскапывать!.. Идем!

Мы встали и пошли вдоль низких заборов, над которыми мирно дремали запыленные кусты.

...А Аду Борисовну я видел еще раз. Это было в Александровске. Она промчалась на автомобиле, окруженная штабными офицерами-кубанцами.

За колонией Гейдельберг шел бой. Далеко по полю ползали цепи наших солдатских рот. Бой затягивался. К полдню подошла, очевидно, и артиллерия красных, — над стрелковыми цепями поднялась черная пыль. Ветер гнал эту пыль назад на колонию, а нам казалось — пыль только отрывается от земли и неподвижно висит над нею, а сквозь нее, вперед на красных, бегут низкие кусты, тоже, как казалось нам, оторвавшиеся от сбегających к полю садов колонии.

Офицерская рота, которую генерал Туркул берет и бросал в бой только в крайних случаях, стояла повзводно во дворах.

Взводный 1-го взвода, поручик Пестряков, лежал в тени под забором и курил махорку. Перед ним, на ведре, опрокинутом дном кверху, сидел поручик Ягал-Богдановский, высокий, стройный офицер, в белой, всегда чистой гимнастерке, перехваченной серебряным кубанским пояском.

— Ясное дело, десант Улагая провалился! — лениво доказывал поручик Пестряков, в поисках тени неуклюже ворочая свое почти четырехугольное тело. — Но неужели, скажите, ни генерал Бабиев, ни Казанович, ни Шифнер-Маркевич, ни сам, черт его дери, Улагай, не учли обстановки?.. Зарваться чуть ли не до Екатеринодара и дать красным сгруппироваться у себя же в Тимошевском районе! Ведь это юнкеру под стать, а не генералам!..

И, выставив локти вперед, он, точно тюлень, пополз вдоль забора. Найдя не тронутый солнцем уголок, вновь грузно опостился на бок. Зевнул.

Его сходство с тюленем подчеркивали еще и усы, рыжие и длинные, свисающие через рот к подбородку.

— Нет, поручик, Кубань нашей не будет!.. — продолжал он. — Не будет нашим и Дон!.. Казачий период войны окончен!.. Теперь у нас осталась одна надежда — на Украину, Махно и Володина...

— Простите, поручик, но я не понимаю вас!..

Поручик Ягал-Богдановский продвинул ведро к забору и вставил в тонкий, яхонтовый мундштучок новую папиросу.

— По-моему, чем дальше бы генерал Врангель держался от этой своры, простите за выражение, тем лучше было бы для нашего дела. Партизанщина! Подумаешь, какая помощь!.. Помочь нам может теперь одна только Польша. Если польская армия двинется на Киев... а она непременно двинется!.. Ведь не для того же признала нас Франция, чтоб оставаться и в дальнейшем при своем сочувственном нейтралитете!.. По всем данным, — на это намекал и Мильеран, —

Франция возьмет в свои руки единое командование, и тогда обе армии, и наша и польская...

Я отвернулся и пошел в сторону.

В другом конце двора на свежевыструганных балках сидели поручики Кечупрак, Аксаев, подпоручик Тяглов и мичман Дегтярев, за что-то дисциплинарным порядком высланный к нам из флота. Они вполголоса беседовали. В стороне от них стоял поручик Горбик, совсем еще молодой, синеглазый офицер с русыми кудрями, непокорно выбивающимися из-под фуражки. Поручик Горбик чистил винтовку. Щеки его были по-детски вздуты; он сопел, старательно водя по каналу ствола шомполом — то вверх, то опять вниз... На крыльце, растопырив ноги в дражных сапогах, сидел подпоручик Морозов. Как когда-товольноопределяющийся Ладин, подпоручик Морозов почти перестал разговаривать. Борода его разрослась в стороны и, цепляясь за плечи, ровным полукругом лежала на груди.

— ...а рыбы-то, рыбы! — доносились до меня отдельные слова поручика Аксаева. — Как опустишь в глубину невода эти... Честное мое слово!.. Эх, господа!.. Э-эх, мои милые!.. Хороша наша Белая!.. Э-эх, и река же!..

Бой за колонией продолжался. Но артиллерия красных, все время бившая по стрелковым цепям, вдруг перебросила огонь на резервы и стала бить по колонии.

По улице понеслась пыль. Громыхая, промчалась пустая телега.

— Сюда!.. Четвертая!..

Вдоль заборов бежал поручик Барабаш. За ним, звеня котелками и винтовками, — его рота.

— Ага, накрыл татарчонка! — крикнул смеясь поручик Пестряков, неохотно подымаясь из-под забора. — Свиное ухо, штаны в заплатках, стрелкача дал?..

Через минуту черные взлеты земли кружились уже вдоль пустой улицы.

Мы также отошли за дом. Стояли молча, слушая, как по улице мечется грохот огня.

— Отыщет!..

— Кого?.. Тебя?..

Грохот бежал все ближе и ближе.

— Неугомонные какие!.. Что?..

— Озверели, говорю...

— Это, господа, красным бешенством называется. Это...

И вдруг грохот рухнул к нам через крышу и, расколовшись, раскатился во дворе.

...Когда мы вновь приподняли головы, из-за угла дома еще падали последние комья земли.

— Здорово! — сказал поручик Иванов 2-й, выглядывая из-за угла.— А эти-то — что угорелые!.. Глядите, в хлев угодило!..

По двору — все вокругую — бегали две свиньи. За одной, то рассыпаясь во все стороны, то вновь сбиваясь в кучу, катились маленькие розовые поросята.

— Lisalotte!.. Lis'lott', zurück!..¹ — раздался испуганный женский голос, кажется с крыльца дома.— Lis'lott'!..

Но над нами вновь загудело. И опять мы упали на землю, и опять из-за угла посыпались комья земли.

Потом все стихло...

— Да шевелитесь!..

Подпоручик Морозов стоял уже посреди двора. Держал на руках девочку. Штаны его были в крови. Красные широкие пятна все ниже ползли по грязному сукну и медленно опускались за голенища.

— Санитара!.. Да зовите санитару... Фельдшер!..— хрипло кричал подпоручик Морозов.

А со ступенек крыльца, в первый момент нами вовсе не замеченная, подымалась выбежавшая за девочкой колонистка. Встав на колени, она подняла на подпоручика Морозова бессмысленные, круглые глаза, потом вскочила, качаясь, подбежала к нему и вдруг, точно сразу же потеряв все нужные слова, нераздельно, по-звериному закричала.

...Наконец подбежали санитары.

У девочки были оторваны обе ступни.

* * *

Звенели винтовки. Толкая друг друга, мы понуро шли к воротам. Около ворот лежала убитая свинья. Под живот ее тыкались розовые, веселые поросята.

— Рáвняйсь!

Когда мы пошли вдоль улицы, черная пыль неслась уже далеко за огородами.

— Еду, еду — следа нету; режу, режу — крови нету!..— Поручик Ягал-Богдановский засмеялся.

¹ Лизалотте!.. Лизлотт, назад! (нем.)

— Хороша загадка, а?.. Лодка, думаете?.. Никак нет,— первый Дроздовский полк... Ишь как пятки намазали!.. И отдохнуть не дают. Задержались бы где!..

Но от Гейдельберга до Васильевки отдыха не было. Не было и крупных боев. Отступив от Гейдельберга, красные защищались вяло, все глубже оттягиваясь к северу.

Васильевка встретила нас толпами баб.

— Эй, вы там!.. А мужики где?..— не слезая с подводы, крикнул командир офицерской роты, полковник Лапков.

— Угнали, родимый!.. Всех что ни есть угнали!.. Большевики, родимые, угнали, а куда — и не знаем вовсе!..

— Знаем эти песни! А камыши не пощупать ли? Пулеметом? А?.. То-то! Ну, марш по хатам! И чтоб борщом кормили! Поняли, бабы?

Прошло два дня.

...За Васильевкой опускалось солнце. Я сидел на камне возле дороги к горбатуму мостику и смотрел, как над крышами хат кружатся голуби. Крылья голубей казались золотыми. Золотыми казались и верхушки тополей, в листву которых черными пятнами прятались скворечники. Под мостом в маленькой быстрой речушке, заросшей пыльной крапивой, поручики Кечупрак и Аксаев стирали белье.

— А может быть, вы, поручик, знаете, куда это ночью сегодня дежурный взвод ходил? — спросил меня поручик Кечупрак, выжимая воду из рыжей недостиранной рубахи.

— Третий? Нет, не знаю... А что, ходил разве?

— То-то оно и есть, что ходил...

Поручик Кечупрак выжал из рубахи последнюю воду и поднялся ко мне на дорожку.

— И, знаете, — вот это и кажется мне странным, — ведь увели его, знаете, тайком. И никто из них ни слова не говорит... В заставу, говорят, ходили, а какая там, к черту, застава, когда я великолепно знаю, что в заставу ходил поручик Барабаш со своей четверкой... Ну как, Аксаев, готово?

Поручик Аксаев стоял на коленях перед речкой и, засучив рукава гимнастерки, пытался поймать какую-то заблужавшую на отмель рыбешку.

— Господа, темнеет, — сказал я. — Идемте!

Когда мы шли к нашим халупам, к северу от Васильевки неожиданно затрещали пулеметы. Мы ускорили шаг. Потом побежали.

Бой шел всю ночь. Иногда совершенно затихая, иногда вновь забегая в тишину тревожными пулеметными очередями.

Мы сидели на улице, курили, пряча огоньки за забором, и шепотом разговаривали. Разговоры кружились все около одного и того же: куда прошлой ночью ходил третий взвод и зачем он упрямо не отвечает на все наши вопросы?

— Не поймешь, истинное слово! — Подпоручик Тяглов плюнул на огонек папиросы, и, склонив голову, стал прислушиваться, как шипит окурочек между его пальцами. — У меня там земляк есть, в третьем взводе. Тоже тобольский... Да и тот молчит... Дело это, видно, серьезное...

— Господа, мне кажется, если кто из нашего взвода и знает, то это только поручик Горбик.

— А и правда!

— Поручик Горбик! Поручик Горбик!

Но и поручик Горбик тоже только разводил руками.

— Да не знаю я, господа. Ей-богу, не знаю. Меня, господа, не звали.

— Ну, поручик, раз вас не позвали, — ерунда, значит!.. — насмешливо сказал в темноте мичман Дегтярев. — Без вас уж не обошлись бы, поручик! Верно?

Поручик Горбик как раз закуривал.

— Может быть! — сказал он, подымая голову и, как всегда, ласково и по-детски улыбаясь. — А знаете, который у меня сейчас на счету? Нет?.. Триста двадцать первый...

К утру нам разрешили лечь. Не раздеваясь, мы легли тут же, около забора, подобрав к бокам винтовки и положив головы на сапоги друг к другу.

...А бой за селом все продолжался.

Утро было пасмурное. Накрапывал мелкий дождь.

Гру-дью под-дайсь!
Напра-во равняйсь! —

пела офицерская рота, —

В но-гу, ре-бя-та, и-ди-те!

Мы уже перешли мостик и приближались к кустам за Васильевкой.

— Как? Как?.. — опять закричал полковник Лапков. — Что?.. Что за пение! Не тянуть! Он-нан-низмом занимались? Не так!.. Не так вяло!.. От-тставить!

Гру-дью под-дайсь!

— Отставить!

Гру-дью...

— Отставить!.. Поручик Зверев! Поручик Зверев, не болтать штыком,— два наряда! Подпоручик Морозов, вас за язык дергать?..

Гру-дью под-дайсь...

— Ах, так?.. Так?..— хрипел уже полковник.— Так, значит?.. Бегом!

Гру-дью под-дайсь!
Напра-во рав-няйсь!
В но-гу, ребя-та, иди-и-те! —

минут через десять, еще задыхаясь от бега, пела офицерская рота, подымаясь, наконец, на холмы.

По другую сторону холма, за кустами, лаял бульдог генерала Туркула.

Какой-то полковник в дроздовской форме, никогда прежде не виденный мною в полку, бегал вдоль шеренги выстроенных пленных. В руках он держал деревянную колотушку — из пулеметных принадлежностей.

— Кто, твою мать?.. Кто, твою мать?.. Кто, твою мать?..— кричал полковник, быстро по очереди ударяя колотушкой по губам пленных.

— Кто, кто, кто?..

Добежав до левофлангового, полковник обернулся.

— Не говорят, ваше превосходительство.

— Нет? — спокойно улыбаясь, спросил генерал Туркул, подходя к пленным вплотную.— А ну, посмотрим! — И, размахнувшись, он ударил кого-то наотмашь и закричал уже на все поле: — Нет?.. Выходи тогда!.. Нет, не ты, твою мать!.. Ты выходи, рыжий!.. Рас-стре-ляю!.. Ага?.. Просить теперь, хрен комиссарский!.. А ну?.. Где коммунисты?.. Где комиссары?.. Показывай! Рас-стреля-а...

Рыжий красноармеец побежал вдоль строя. За ним, сорвавшись с места, кинулся криволапый бульдог. За бульдогом — Туркул.

...Дождь моросил все сильнее и сильнее. По подбородкам пленных текла бледно-розовая, замытая водою кровь.

— Этот!.. Эт'т!..— испуганно тыкал пальцем на кого попало рыжий красноармеец.— Эт'т!.. И вот эт'т!.. Этот!.. Этот!..

Офицерская рота стояла в оцеплении.

Опустив голову, я смотрел на сапоги. Стоящий возле меня поручик Кечупрак тоже смотрел в землю. За ним, закрыв глаза и облокотясь на винтовку, стоял поручик Аксаев. Поручик Ягал-Богдановский держал голову прямо. Лицо его горело.

— Этот!.. И этот вот!.. Этот!..

Потом из оцепления вызвали поручика Горбика. Поручик Горбик еще на ходу зарядил винтовку. Заряжая, он улыбался...

— ...Сорок семь, ваше превосходительство!

— Пять бы десятков следовало!.. А ну?.. Твою мать, да показывай!.. Катись колбасой, твою... Рас-рас-стре...

— Товарищи! Да не виновен!.. Товарищи...

— Ей-богу...

— Господа!.. Бра...

— Ей-богу вот!..

— Бра-атцы!..

И опять раздалась три выстрела. Подряд.

...Тяжело переваливаясь на кривых лапах, вдоль оцепления прошел бульдог. В зубах у него болтались ключья чьих-то штанов.

— Убирать не стоит! Мужики уберут.

И генерал Туркул отошел в кусты, чтоб оправиться.

Вечером наша хозяйка готовила яичницу.

Солома под сковородою ярко вспыхивала, бросая на стены желто-красные, быстрые тени. Сало шипело и брызгало. Откинув голову далеко назад, хозяйка стояла перед огнем почти неподвижно и, казалось, была так же недоступна огню, как я офицерам, уже четыре дня подряд пытающимися заменить ей «уведенного» красными мужа.

— Слушай, молодая, а как ты... насчет выпивона?..— спросил ее поручик Пестряков, когда солома наконец догорела и тяжелая круглая сковорода в руках хозяйки медленно поплыла к нам на стол.

— Если б раздобыла маленько, уважила бы нашу компанию. Как?

— Чего зеньки выпучил? Куда ставить-то буду? Тарелку подставь, что ль?

Хозяйка смотрела на нас из-под надвинувшейся на брови хустики.

— Молодая, а злющая!.. — улыбнулся поручик Ягал-Богдановский. — Ну ее к черту, господа! Дура!.. В другое время и смотреть бы не стали, а она... фордыбачится!

В это время в хату вошел мичман Дегтярев.

— Господа, в полку не ладно что-то!

— Опять?

— Что такое?

— Да вот опять третий взвод куда-то отправили...

— Ну-у?..

— И не просто, господа, — с пулеметами... Я проследить думал, да прогнали меня... И что за время, черт рога сломит!..

— Говорят, господа, куда-то и четвертую роту повели.

Подпоручик Тяглов разрезал яичницу и, нагнувшись, сопел над самыми желтками.

— Серьезное, видно, дело!

Пар над яичницей быстро садился.

— Да ну их к богу! Надоело!..

Офицеры подвинулись к столу.

— Не трогают — живи, завтра в бой — умирать будем!..

— Верно! Господа, а насчет николаевской как? Эй, хозяйка!

Но хозяйки в избе уже не было.

Я разостлал шинель в сенях, рядом со спящим на полу подпоручиком Морозовым.

Очевидно, офицеры в хате уже приканчивали яичницу.

— Ты! Пень сибирский! Пальцем не лазь!

— Господа, не перекинуться ль в картишки? В преферанс сыграем? — доносились голоса из-за двери.

— Да сколько же, наконец, говорите вы? Триста семьдесят один? Верно?

— Нет еще... Ку-да! Триста пятьдесят девять только. Ведь двенадцать прихлопнул поручик Ягал-Богдановский.

Потом кто-то закрыл дверь, и в сенях стало тихо.

Этой же ночью мы выступили на Орехов.

А не доходя до Орехова, на Сладкой Балке, где провели мы следующую ночь, мы узнали еще небывалую для Дроздовского полка новость: поручик Барабаш, старый офицер-доброволец Румынского похода, снял с себя погоны, повесил их на кусты и вместе со своим вестовым, бывшим красноармейцем, перебежал к красным.

— А знаете, что еще говорят? Знаете?.. — уже на пути от Сладкой Балки испуганно спросил меня поручик Кечупрак. И, обождав, пока подвода выехала на более ухабистую дорогу, он перегнулся ко мне и стал рассказывать под шум и треск быстро бегущих колес:

— Говорят, в четвертой роте — еще до этого — напали на след коммунистической ячейки. Да, да, ячейки... По ночам, когда четвертая стояла в заставе, члены этой ячейки, говорят, переходили к красным, а потом, уже с директивами, — вы понимаете? — возвращались опять... Потому наш третий взвод и лежал в цепи... Перед заставой он лежал... Не знали? Это когда они в первый раз уходили. А второй раз, — позавчера это... черт дери, и не поверишь! — а второй раз они четвертую роту обрабатывали. Ну, конечно, — чтоб меньше свидетелей было... Все третий взвод... Как? Прижимкою брали... на психику... Да так же, как и тот раз с пленными... Но хуже еще, говорят! Туркул, говорят, всю роту перестрелять хотел... вместе с офицерами. Что там творилось, говорят, господа!.. «Этот, этот, этот...» Так же вот было! Но со своими ведь!.. Черт возьми, ужас какой! И наугад, в свалку, огулом... Подумайте!...

Подводы быстро шли по пыльной дороге. Трясло. Вдали опять гудело.

Шли бои со 2-й Конной армией.

Трясло все больше и больше.

Я сидел на подводе, свесив ноги, гадая о том, состоял ли поручик Барабаш в коммунистической ячейке или же он, как старый офицер, не вынес подобной расправы над своей ротой и ушел из полка, оскорбленный.

И еще я гадал о том — расстреляют ли его красные?..

ОРЕХОВ

Мы сидели под упавшей оградой кладбища.

Было совершенно темно. Ни луны, ни звезд не было видно. Со стороны кладбища, с тыла, несло сыростью и ночным холодом. Со степей, откуда уже пятый раз в течение ночи наступали красные курсанты, тяжело валил сухой и горячий воздух. Ветра не было. Деревья на кладбище стояли не двигаясь. В степи трещал кузнечик. Потом и он смолк.

Слева от нас, за углом кладбищенской ограды, стояла команда наших пешеходных разведчиков, почти исключительно состоящая из вольноопределяющихся. В Орехов мы вошли

уже с наступлением темноты, с условиями местности не были знакомы, а потому не знали также, отчего курсанты наступают исключительно на участок нашей, офицерской роты.

— Эх, ракету бы! — сказал кто-то.

Ему никто не ответил.

Но вот со стороны степей вновь поплыли далекие, сперва немного приглушенные, голоса:

...И реши-тель-ный бой,
С Ин-тер-наци-о-на...

— Становись! — шепотом скомандовал полковник Лапков.

...а-а-алом —
Воспрянет род людской!...

— Ать, два!.. Ать! — Уже выстроенные, мы мерно раскачивались.

...Никто не даст нам избав-ле-нья...

— Ать, два!.. Лево! Лево!..

...Ни бог, ни царь и ни герой...

— Лево!

Ротный ударил о кобуру ладонью.

— «Вперед, дроздовцы уда-лые! — грянули мы по команде. — Вперед, без страха, с на-ми бо-ог, с нами бог!...»

...Добьемся мы освобожденья
Своею соб...

...Помо-жет нам, как в дни бы-лые
Чудес-ной си-ло-ю по-мо-ог!...

Наши голоса и голоса курсантов сливались и, качаясь, плыли над степью. Степь ожила. Казалось, ожила и темнота. Вырванная из тишины, она перестала быть грузной и не давила больше на брови.

— От-ставить! — скомандовал вдруг подошедший к нам Туркул.

Оборвался вдали и «Интернационал».

И опять, перебивая друга друга, затрещали вдали два кузнечика.

— Десять!

Пальцы нащупали прицел.

— По линии черных кустов! — Генерал Туркул отошел к правому флангу и, кажется, поднял в темноте руку.— ...пальба... ротой!.. Ро-та...— Затворы звякнули.—...пли!..

Залп ударил, как доской по воде, и сразу же оборвался.

— Ро-та... пли! Ро-та...

Между каждым залпом над степью взлетала испуганная тишина. После шестого она потекла спокойно. Кузнечики затрещали с новой силой. Мы ответили им тихим звоном обойм.

...Чтоб свергнуть гнет рукой умелой,
Отво...

— Ро-та...— Затворы опять звякнули.—...Пли!

— Ура-а-а! — нагоняя эхо нашего залпа, раскатисто покатилося по степи.

— Ура-а-а! — закричали мы, нагоняя эхо курсантов.

И огромная, четырехсотштыковая офицерская рота, не ломая фронта, двинулась вперед.

— ...ротой!

Кузнечики трещали уже позади нас.

— Ро-та... пли!

— Рот-та... пли!

— Ротт-та... пли!..

По всей степи бежали быстрые залпы.

...Это есть наш последний
И ре-ши...—

отходя за кусты, вновь, уже далеко запели курсанты.

Мы отходили к ограде кладбища.

Потом курсанты замолчали.

— Эх, закурить бы! — сказал кто-то, когда, дойдя до кладбища, рота опять легла в траву.

...Пробежал ветерок. Кусты за оградой зашумели.

Кладбищенские кусты, подступив за нами к самой ограде, висели в небе тяжелыми перекладами.

А в тылу далекий Орехов молчал все так же выжидающе.

И в шестой раз встали мы и пошли с пением на пение. Потом в седьмой и, уже без песен, в восьмой и в девятый раз.

Когда мы пошли в десятый, пулеметы курсантов нас нащупали, и мы залегли цепью.

Подтянулась, выйдя налево, и команда разведчиков.

Разведчики открыли огонь. Скользнул влево и огонь курсантов.

Мы лежали в траве, не только не стреляя, но и почти не двигаясь.

— Тише, господа!.. Подпускай!

Две пули звонко ударились в траву за ногами. Третья звякнула о чью-то винтовку.

— Не стонать!.. Оттяните его!.. Тише!..

Поручика Иванова 2-го отнесли в кусты за кладбищем, к которому, по звеньям, уже оттягивалась и команда разведчиков.

А пулеметы курсантов, очевидно, растерянные нашим молчанием, подняли прицел и били сквозь чащу сонного кладбища, куда-то далеко за выселки Орехова.

...Ухнула пушка. Кажется, наша. Потом еще раз. Завязался короткий артиллерийский бой.

— Эх, ракетку бы!..

— Далась тебе эти ракеты! Молчи ты!..

Наконец и нас отвели к ограде.

Прошло полчаса.

И вот сквозь темноту опять пополз сдержанный шепот.

— Идут!.. Идут!..

— Донесли разве?..

— Кто?.. Секреты?.. Кто донес?..

— Да тише, господа!..

— Рав-ня-айсь!

На минуту из-за тучи выпала луна. Далекie кусты в степи быстро пригнулись.

— Вот они!.. Вот!.. Видите?..

Но луна опять опрокинулась за тучи, и между нами и курсантами вновь тяжелою стеной опустилась темнота.

Локтем левой руки мы искали соседа. Ладонь правой лежала на винтовке. Щека тянулась к штыку. Когда холодок штыка ее обжигал, делалось как-то спокойнее.

— Ждите команду! — обходил роту полковник Лапков. — Без команды не бить!.. Никто без команды огня не откроет. Полковник отошел к левому флангу.

Кто-то зевнул:

— Спать бы!..

И вдруг над нами взвизгнула скользкая полоса пуль. И в тот же момент перед нами сверкнули острые змейки огня, и что-то черное метнулось к нам навстречу, клином ударило в развернутый строй, смяло кого-то и нескольких бросило в сторону.

Мы кинулись за ограду.

...Два куста хлестнули меня по лицу. Зацепившись за третий, я упал лицом в свежую зелень могильной насыпи. Надо мной кто-то пробежал. Кто-то ударил сапогом по затылку, и я скатился с могилы.

Над деревьями гудели снаряды. Крапива жгла лицо. Совсем близко за кладбищем снаряды разрывались.

«Заградительный огонь...» — подумал я и, ошупью отыскав винтовку, снова встал на ноги.

— Эй! Кто здесь?

Я пошел на голос, раздвигая кусты винтовкою.

— Что случилось?.. Мичман!..

— Поручик!..

Мичман Дегтярев стоял над холмиком осевшей могилы и тяжело дышал, обхватив крест рукою. Крест медленно наклонялся.

Ни пулеметной, ни ружейной пальбы слышно не было. Затихала и артиллерия.

— Черт!.. А?.. Или красные уже отбиты, или... или...

Вы понимаете что-либо, поручик?

Крест под ним повалился на землю, задев за кусты, которые всплеснули, точно волны.

Подошли еще два офицера. Потом еще три.

— Господа, нужно назад!..

— Господа, смелее!..

И мы пошли к ограде, на всякий случай рассыпавшись цепью.

* * *

— ...Нервы, черт дери!

— Одиннадцатая атака!.. Шутка ли!.. Здесь и сам дьявол...

— Но что случилось, господа?..

— Господа, построимся. Господа, нельзя так! Ведь красные под самым носом!..

— Капитан!..

— Поручик!..

— Капитан, примите команду!..

— Капитан Темя!..

— Ста-но-ви-ись!..

За оградою собиралась разбежавшаяся офицерская рота. Строились уже и разведчики, нами же смятые и побежавшие вслед за нами. Командира офицерской роты с нами еще не было.

— Далеко забежал!..— сказал кто-то.— Я его у мельницы видел. Как заяц прыгал. А ну, равняйся! Да равняйся же!..

— Вот и все! Не предупредив, Лапков выдвинул пулеметные двуколки,— рассказывал из строя подпоручик Морозов, кажется единственный офицер, не поддавшийся панике.— Конечно, не перед фронтом... на это его хватило!..— за флангами, конечно... Но все равно, предупредил бы, дурак!.. Очевидно, курсанты дали залп и почти по цели... Слыхали, как взвизгнули пули?.. А наши пулеметы, очевидно, ответили... Думаю, что так, иначе что за огонь видели мы в таком случае? Одну лошадь ранило... из тех... наших двуколочных... Она и понесла... И въехала... да дышлом! Поручику Коркину все зубы выбила... И могли же они переколоть нас... за милую душу!.. Господа, а где был Туркул?.. Да?.. Ну, наше счастье!..

В это время за нами зашуршала трава.

— Ноги повыдираю!.. Бежать?..— Голос вынырнувшего перед нами полковника Лапкова зашипел вдруг, как на огне сало.— Беж-ж-жа-ать?.. Я... я... я при... прикажу... Прикажу десятого... Бежать?.. Офицере!.. Трусые!..

Мы стояли, угрюмо опустив головы.

* * *

— Где?..

— В кустах, господин полковник! — ответил ротному поручику Ягал-Богдановский.

Потом мы услышали частые глухие удары.

— По швам!.. По швам руки!..— И удары посыпались вновь. Чаше и чаще...

Когда, наконец, все стихло, кого-то за нами быстро повели в кусты. Побежал в кусты и генерал Туркул, только что вернувшийся, кажется, из солдатских рот.

— Поручик Горбик!..— забыв про осторожность, закричал в кустах полковник Лапков.

Мы тревожно оборачивались в темноту.

Через минуту в кустах раздался выстрел.

Это расстреляли поручика Кечупрака, в панике сорвавшегося с себя погоны.

...А далеко на горизонте уже едва-едва забрезжил рассвет.

Курсанты шли под белой полоской неба, низко склонившегося над степью...

Последнее, что заметил я возле ограды кладбища,— это профиль Туркула и его движение рукой: идите!..

В кустах на кладбище весело чирикнула овсянка.

А мы двинулись вперед, на ходу разомкнулись и взяли штыки наперевес...

По траве бежал низкий туман. Мы шли сквозь туман, разрывая траву коленями. Колени мне казались совсем легкими, и очень тяжелыми казались сапоги. Полковник Лапков шел на правом фланге. Рот его был приоткрыт, рука бегала по кобуре нагана.

Мы шли в контратаку.

...Как и мы, курсанты разомкнулись всего лишь на один шаг. Как и нас, их можно бы было взять одним пулеметным взводом. Но пулеметы с обеих сторон молчали. Очевидно, командир курсантов, так же, как и генерал Туркул, решил боя не затягивать.

Петь курсанты перестали. Мы также шли молча. Только трава под коленями рвалась, как под рукой приказчика рвется тугой коленкор: раз! раз! раз!..

Я помню,— ногти вошли в ложе винтовки. Помню, как остро хотелось мне, чтоб навстречу нам брызнули пули. Но рота шла молча.

И молча шли курсанты. Не стреляя.

Прицел шесть... Нет, уже четыре... Четыреста шагов. Рота шла, виляя флангами. Под ногами рвался коленкор: раз! раз! раз!..

Я скосил глаза направо, туда, где шел полковник Лапков. Полковник Лапков роты не вел,— рота тянула его за собой. Он бессмысленно смотрел вперед. Нижняя губа его свисала, подбородок дрожал. «Зачем он не бросает?.. Нужно бросить вперед,— думал я, все крепче сжимая винтовку.— Рота не выдержит... Бросай!.. Да бросай же!..»

А коленкор под ногами рвался уже медленней — раз! раз! раз! — точно рука приказчика рвать его уставала. Ра-аз! ра-аз!..

Триста...

Штыки курсантов поднялись — наши опускались. Цепь курсантов угловато выгнулась. Теряла равнение и наша. Двести... Местами цепь уже порвалась. Но подбородок полковника все еще свисал вниз... Сто... Цепь завиляла. «Раз, два, три...» — считал я секунды,— шагов считать я больше не мог... И вот, сломавшись зубчатой пилой, цепь заерзала, с двух сторон сдавленная вдруг отяжелевшими флангами.

«Сейчас, сейчас побежим...— мелькнуло во мне.— Сейчас!.. Да бросай, бросай же!..» Но раздался выстрел,— кто-то из нас не выдержал. И вслед за выстрелом стиснутый в груди страх рванулся вперед хриплым, освобожденным криком:

— Ура-а-а!..

Побежали не мы. Побежали курсанты.

Широкой цепью мы шли назад к ограде. Хотелось курить, но никто не мог крутить сигарки.

Только один поручик Горбик то и дело выбегал из цепи,— то вперед, то назад, то в сторону.

Поручик Горбик пристреливал раненых курсантов.

Прошло несколько часов.

Квартирьеры все еще не возвращались. Жара текла по пыльным улицам Орехова. На камнях она оседала. Мы лежали под самыми заборами, там, куда камни не доползали.

Через улицу — тремя-четырьмя домами дальше — разместился штаб полка. Около ворот штаба стоял поручик Горбик.

Орехов был пуст. Жители сидели в домах. Дома были заперты.

Посреди улицы, вдоль которой разместилась офицерская рота, валялся дырявый сапог. Какой-то котенок легонько толкал его лапкой.

— Смотри-ка, зверюшка какая! — сказал, улыбаясь, поручик Аксаев.

— Ух, жара!.. — вздохнул возле него капитан Темя.— А уснуть бы сейчас, господи!.. А?.. И выспаться!..

— Но не тем холодным сном могли-лы,—

басом запел кто-то.

— Дурак!.. Не холодным?.. А каким тебе еще?.. Тебе чтоб и в могиле печенки припекло?..

Кто-то засмеялся.

А взобравшийся на сапог котенок вдруг выгнул спину, прыгнул в сторону и скрылся в траве канавы.

По улице вели пленных.

Все три пленных курсанта были босы. Руки у них были скручены за спиной. Когда курсанты с нами поравнялись,

один из них высоко в воздух подбросил ногой дырявый сапог с улицы.

— Ишь нервничает!..— сказал поручик Пестряков и тяжело и громко зевнул.

...Солнце пекло все сильнее. Из-под соседних ворот опять выбежал веселый котенок.

— А зверюшка-то, зверюшка-то наша!..

Но вдруг, подняв головы, мы удивленно посмотрели друг на друга.

...за-клей-менный
Весь мир голодных и ра-бов! —

громким голосом пел кто-то в кустах за пыльными домишками.

— Господа!

— Господа, кто это?..

Кое-кто из офицеров приподнялся.

— Такого нахальства!.. такого...— И, сплюнув, поручик Ягал-Богдановский встал и пошел через улицу в штаб.

А голос за штабом крепчал и рос:

Эт-то есть наш послед-ний,—

все выше и выше подымался он,—

И реши-тель-ный бой,
С Интер...

Здесь короткий выстрел подсек пение.

Следующие два выстрела упали уже в тишину...

* * *

Солнце сдвинуло тень под самые наши ноги. Мы лежали, еще ближе прижавшись к забору.

— ...И пел, господа офицеры, и пел!..— рассказывал какой-то вольноопределяющийся.— Вокруг крики: «Заткнись!.. Ты!.. Молчи!.. Сволочь!..» А он, господа офицеры,— и знаете, плюгавый такой! — стоит себе и, понимаете...

— Господа, слышали? — еще издали крикнул нам поручик Горбик.— Слышали, как Туркул его петь заставил?.. «Ах, сука такая!.. Пой на прощанье!..— крикнул Туркул.— Пой, чтоб знал, за что подыхаешь!..»

— А не врете?

Поручик Горбик вспыхнул. Потом улыбнулся.

— Вам бы, Дегтярев, в че-ка служить! Всё допытываетесь! Спросите у генерала Туркула. Ага, не спросите!..

Кто-то стучал в закрытые ставни окна:

— Молока!.. Хозяйка!..

На самом солнце, посреди улицы, стоял подпоручик Морозов.

Он долго смотрел почему-то на драный сапог, которым играл веселый котенок и который ткнул потом в сторону идущий к штабу красный курсант.

АЛЕКСАНДРОВСК И БОИ ВДОЛЬ ДНЕПРА

Лошади шли рысью. С подвод соскакивали солдаты, бежали в степь на баштаны и вновь, уже с арбузами, нагоняли обоз.

За подводами каждой роты шла тачанка с бочкой. Воды в бочках не хватало. Возле бочек, по всему нашему пути через степи, бежало по несколько солдат. Несколько офицеров бежало и за бочкой нашей роты.

— На Днепр идем, — напьетесь! — кричал с подводы полковник Лапков. — По ме-ста-ам!

— Накачал брюхо и командует! — ворчал мичман Дегтярев, вполоборота сидящий на краю нашей подводы. — А нам пальцы сосать, что ли?

Сидящий по другую сторону мичмана поручик Ягал-Богдановский обернулся:

— Мичман, не забывайтесь! — И, опять склонившись над поручиком Пестряковым, вопросительно поднял брови: — Так!.. Ну, и что же?..

— Вот и говорю... Махно нам подчинился. Володин подчинился. Граф Пален в Белоруссии подчинился... Это уже три... — продолжал поручик Пестряков, растянувшись на подводе и выгрызая из разбитого кулаком арбуза красные куски мякоти. — Булак-Балахович с Савинковым — это уже четыре... Атаман Семенов — пять... Это и называется своими силами!.. Народными, так сказать, силами... Ну, так что же вы скажете, дорогой Ягал-Богдановский?..

Поручик Ягал-Богдановский усердно выдувал застрявший в мундштуке окурочек.

— Что?.. — Щеки его ходили, как баллон пульверизатора. — Что?.. А то, что, если б мы, вместо этого, подчинились польскому командованию...

— Молчите, ренегат! — крикнул вдруг мичман. — Патриот называется! А губернии почему продаете, сукин сын?

— Отродье эсеровское! Истерик! Хайло заткните! — побледнев, вспылил всегда сдержанный Ягал-Богдановский.

— Так!

— Крой! Крой его!

— Матом натягивай!.. Матом! — обрадовавшись, загалдели офицеры, которых сдержанность Ягал-Богдановского всегда несколько стесняла.

— А ну!..

— Еще!

— Наша берет!.. Матюком!.. В три матери загибай!.. Матерью!..

— Я?.. Это я ренегат?..

Уже овладев собой, поручик Ягал-Богдановский презрительно поджал губы, опустив под косой линией коротко подстриженные, всегда прямые усики.

— Я предлагаю, мичман, созвать...

И вдруг, взмахнув рукой, он быстро соскочил с подводы и закричал, схватив подводчика за портки:

— Стой, мать твою!.. твою мать! стой!..

Но колесо подводы уже повернулось и поломало его упавший на дорогу мундштук.

— ...Твою мать в три бога и в черта косоного!.. твою... Куда уши,— болван! черт! — спрятал?..

Офицеры на подводе захохотали, сразу, словно по команде.

— С производством, поручик Ягал-Богдановский!

— Вчера была девица, сегодня дама!

— С крещением!

— Магарыч!

— Магарыч!

...А вдаль за облаком пыли уже гремели орудия.

Рассыпавшись лавой, шли куда-то кубанцы. Наши 1-й и 2-й батальоны соскочили с подвод и также рассыпались в цепь.

За цепями показались далекие дома Александровска.

* * *

Мичман Дегтярев стоял на подводе, широко расставив ноги, и смотрел вдаль.

— Ну что? — не подымая головы с вещевого мешка, спросил его поручик Пестряков.— Докладывайте!

— Да ничего!.. Перестрелка.

Но вот по полю покатилося далекое «ура». Роты бросились к Александровску, выйдя из цепей и образовав густой черный треугольник. За город бросились кубанцы.

Наши подводы свернули с дороги и тоже помчались к городу,— прямо через поле.

Мимо нас, нагоняя роты, пролетел автомобиль Туркула. За ним другой — генерала Витковского.

— Сюда! Санитары!..— кричали раненые.

Но никто раненых не подбирал. Все стремительно шло на Александровск.

— Поймаем!

— Возьмем!

— Нагоним!

— Потопим!..

Неслась по полю и наша батарея.

— Эй! Не отставать! Эй!

Одно орудие в трехпарной упряжке долгое время шло, грохоча зарядным ящиком, возле нашей подводы. Потом обогнало и пошло впереди нас.

— Здорово! Черт! Нагоним!

Шесть мулов, впряженных в орудие, неслись, прижав к голове острые уши. Вбежав в полосу встречных кустов, они отдернули уши еще испуганней.

— Го... Го... Гони!.. Нагоним!

Кусты под подстромками быстро пригнулись. Легли под колеса. Кто-то под колесами вскрикнул. На секунду орудие задержалось, потом, виляя зарядным ящиком, опять понеслось рядом с нами.

В кустах, придавленный колесами орудия, остался штабс-капитан Карнаоппулло. Он лежал на животе, лицом в землю, на которой длинными змеями чернели его окрашенные кровью усы.

— Нагоним!

— Возьмем!

— Потопим!..

Но красные успели форсировать Днепр.

Когда мы въехали в пустой город, наша артиллерия открыла огонь по последним уходящим баржам.

...Кажется, уже в третий раз за время нашего пребывания тушил Александровск огни.

Занятия давно окончились. Была произведена уже и вечерняя поверка. Мы стояли в кругу и разучивали новую песню,— на этот раз в честь генерала Витковского, наскоро сочиненную поручиком Винокуровым.

Поручик Винокуров, или «лейб-поэт полка», как в насмешку называли его в нашей роте, числился прикомандированным к штабу, где писал он «Историю Румынского похода и Дроздовской дивизии». От поры до времени он сочинял

также и стихи, сам же подбирал к ним мотив. Потом стихи эти переписывались и разучивались по ротам.

...Тяжелые, черные листья каштана качались под ветром. Над ветром плыли спокойные, вечерние звезды.

Чей черный Форд ле-тит вле-ред
Пред сла-вными пол-ка-ами,—

без конца тянули мы всю ту же нудную песню,—

И кто к побе-де нас ве-дет
Уме-лыми ру-ка-ми?..

— Отставить!.. Не так! — оборвал поручик Винокуров.

— «И кто к побе... К побе-е...» — повторял он нараспев. — Поняли?..

И кто к побе-де нас ведет...

С дороги поднялся ветерок. Бросил вверх шестилистники черного каштана. Они потянулись к небу, точно жадные, широко растопыренные пальцы. Но звезды ушли из-под листьев и также спокойно поплыли дальше.

Влево от каштановой аллейки, возле штаба полка, толпились вновь мобилизованные. Когда песня обрывалась, до нас доносились робкие, просящие голоса.

Вслед за ними короткие оклики часовых.

— Да пусти, голубчик! — плакала женщина. — С провизией я... Отдам ему только... И пойду себе с богом...

— Назад!

— Пустите ее... господин!.. Да ведь мать это... Послушайте...

— Пошла! Пшла!

Но второй часовой перебил первого:

— Постой! Постой-ка!.. Курица?.. Послушай, курица у нее!

— Курица? Давай сюда курицу!

— Милые!.. Ми-и-лый!.. Да сыну это... сыну...

...улице

Не пройдет и курица! —

весело запел второй часовой.

Если ж курица пройдет,
То дроздовец унесет...

— Ать, два!

...ле-тит вперед

Пред сла-вным-ми пол-ка-ми! —

запели мы снова.

Было уже совсем темно.

Я отошел в глубь улицы и сел на крылечко двухэтажного деревянного дома.

В темноте передо мной какая-то собака обнюхивала тумбу. Потом собака побежала дальше.

— Сидит?..

— Сидит!..— услышал я над собой чей-то испуганный женский голос. И жалюзи во втором этаже тихо опустились на окне.

Я поднял голову. Звезды над крышей плыли еще гуще, чем прежде. Крыша подравнивала их и, казалось, хотела уплыть вместе с ними.

...Перед славными пол-ка-ми,—

вполголоса напевал кто-то, не замечая, проходя мимо меня.

И кто нас к ги-бе-ли ве-дет
Кро-ва-вы-ми ру-ка-а-ми...

Я кашлянул. Песня сейчас же оборвалась.

Не знаю, но, кажется, пел ее мичман Дегтярев.

Опять подбежала собака и опять остановилась возле тумбы. Надо мной, слабо скрипнув, опять приподнялись жалюзи и сейчас же вновь опустились.

— Ухожу! Ухожу!..— крикнул я, улыбаясь. Встал и пошел в сад, где был расположен наш, 1-й, взвод.

Попыхивая огоньками папирос, в саду за составленными винтовками сидели офицеры.

— Скука!

— Да-а!.. А-адская скука!..

Пройдя между винтовками, я остановился около крайней группы офицеров.

— Не то выпить хочу,— лениво гудел капитан Темя,— не то постегать кого... Матом хотя бы...

— Воистину, господа, невесело! И отдых не отдых...

— Кому как!.. Вот Ягал-Богдановский баб отыскал. Каждую ночь пропадает.

— Пропадает?

— Пропадает...

Сквозь листья, шуршащие под ветром, пробежала тишина.

— А Пестряков... Знаете, что поручик Пестряков делает?.. На дереве сидит,— ей-богу,— и глядит, как девчонки какие-то раздеваются... В окно...

— Ну?.. Глядит?..

— Глядит...

И опять тишина зашуршала тревожными листьями...

— Пойдемте, господа, снимем его,— предложил капитан Темя.— Попугать никого не вредно! Лёвлю дезертиров изобразим, что ли,— и за ноги его!.. А?..

— Идея!

— А ну, подымайся!

— Не темя, а голова, ей-богу!..

Офицеры встали и, обойдя винтовки, пошли к воротам.

— Эй! Кого ведете? Коммунистов? — уже в воротах окликнул кого-то поручик Горбик.— Сколько?

— Мобилизованных,— ответили с темной улицы.— Тридцать четыре... И то с трудом!.. Все разбегаются. И так — черт! — под кровати лазили!..

Ворота скрипнули в последний раз.

...Ночь цеплялась за кусты, плыла дальше и тихим ветром с Днепра качала траву над дорожками сада. В траве около главной дорожки лежал подпоручик Морозов. Запрокинув вверх голову, он смотрел на бегущие звезды.

Я долго ходил возле него. Мне хотелось заговорить с ним, но о чем говорить — я не знал.

— А на Днестре — оживление! — вошел в сад поручик Аксаев.— Кубанцы там... Говорят, переправляться будут.— Он вздохнул и продолжал, уже живее: — А рыб-то!.. Рыб сколько!.. Так, господа, и плещутся!..

Далеко на улице раздался хохот. Очевидно, поручика Пестрякова поймали за ноги.

Под следующее утро мы выступали из Александровска.

Было еще совсем темно. Мы уже садились на подводы, когда побежавшие за Ягал-Богдановским офицеры притащили его завернутым в шинель.

— Кто?

— Где?

— Когда?..

Горло его было перерезано. Во рту торчала еще не вынутая тряпка.

— А в доме никого не было, — шепотом рассказывали офицеры. — Ни баб этих, ни соседей... А в кармане — записка... Так и торчала... Во френче... Вот...

— Свети!

— Да свети же!

Чья-то папироса над бумагой поплыла красным огоньком вдоль неровных строчек:

«Благодарим за сведения. Возвращаем по принадлежности и кланяемся. Итак, до скорого свидания на Перекопе».

Мы тихо положили поручика Ягал-Богдановского в канаву, прикрыли крапивой и побежали по подводам.

— ...И молчать! Ясно? — Поручик Пестряков тер обожженные крапивой руки. — Отпускай вас на свою голову шляться!.. Будете сидеть, как приказано. Погибнешь с поблажками, черт! Молчать, значит! А там вывернемся! Какнибудь!.. Бои ведь будут...

Весь следующий день нестерпимо палило солнце. Деревни и хутора бежали к Днепру. Но, окружив себя камышами, Днепр спокойно огибал испещренные хатами холмики и, только изредка подпуская нас к своим берегам, вновь уходил куда-то в сторону, оставляя степному жаркому ветру и деревни, и дорогу, и наш бесконечный обоз.

К вечеру, кажется второго дня, мы наконец подошли к нему вплотную. Слева от нас, за осенними золотыми садами, белели хутора. К северу, уже по другую сторону Днепра, виднелся Никополь. Над Никополем взлетали легкие дымки разрывов.

— Бабиев?

— Думаю, — Бабиев! — ответил поручик Пестряков, подымая к глазам бинокль.

Днепр перед нами качал упавшие в него тучи. Два буксира тянули ряд привязанных друг к другу барж.

Баржи относило в сторону, и они шли к нашему берегу, выгнувшись бумерангом.

— Кажется, раненые... — Поручик Пестряков медленно наклонил бинокль и, засопев, долгое время наставлял его на баржи. — Да... Раненые! Вот, подождите, расспросим.

— По па-а-двода-а-ам! — опять поплыла над ртами долая команда.

— Расспросишь!

Кувыркались чайки.

И опять Днепр упал за холмы, оставив нас все еще знойному вечернему солнцу.

Кружились стрижи...

За нами бежала пыль.

— Куда мы?..

А к вечеру кто-то принес известие, что идем мы на Каховку, в которой, несмотря на переброску нашей конницы на правый берег Днепра, все еще держались красные, пользуясь ею как базой для набегов и прогулок по нашим глубоким тылам.

— Ложись!..

— Не расползаться, приказано! Ложись рядом!..

— Винтовок не составлять!.. Клади около!..

— Дневальный!

— Поручик Зайчевский!..

За опушкой черного леса молчала ночная степь. В степи бродила красная конница, кажется, 2-й Конной армии.

Два дня, отбиваясь от конных налетов, кружил по степям наш полк. И только теперь, ночью на второй день мы наконец остановились.

— Не понимаю, — удивлялся подпоручик Тяглов, — ведь правый берег нами уже занят. И откуда они?.. Ведь не мы окружены, они ведь...

— Кольцо в кольце, понимаете?

— Какое там кольцо!.. А Каховка?

— Господа, не теряйте времени! Господа, ложитесь!

Но есть хотелось больше, чем спать. Кухонь с нами не было. Хлеба едва хватало. В этот вечер не выдали вовсе. Офицеры ворчали.

— Ложись! — упрямо приказывал поручик Пестряков. — Во сне пообедаешь!

— Да подвинься!

— А не толкайся, говорю! Слышь?..

— Господа, не грызитесь!

В темноте бродили дневальные. Где-то очень далеко шел артиллерийский бой. Кажется, к северо-западу. Это дрались с красными генералы Драценко и Бабиев.

Я лежал, слушая отрывки отдельных разговоров. Наконец повернулся лицом к орешнику.

— ...А стена камеры, вся как есть, была исчерчена, — кому-то за орешником рассказывал поручик Зайчевский. — «Здесь сидели юнкера Владимирского военного училища такие-то и такие-то...» «Да здравствует Учредительное Собра-

ние!» Я подошел к следующей надписи: «Долой Керенско-го! Вся власть Советам! Рабочие Путиловского завода Петров Иван и Петр Малинин». Кажется, в этом роде что-то. Не помню... Рядом была еще одна надпись: «генерал-майор» — не помню какой,— «Зинченко», кажется. А вниз: «Боже, царя храни!» — очень четко... Я взял карандаш и написал: «Прапорщик Зайчевский». «А лозунг?» — подошел ко мне какой-то сидящий со мной капитан. Лозунга у меня не оказалось... Ну и вот...

Меня все более клонило ко сну.

Передо мной, прорастая сквозь сон круглыми желтками, медленно вздувалась малороссийская яичница. На сале. И с помидорами...

«Вот бы ее ножом! — думал я.— Напополам, и еще раз напополам!.. Крест-накрест... Потом на вилку и в рот».

И я уже потянулся за вилкой, как вдруг шепот надо мной стал тревожнее.

Я быстро сел. Но сон, как извозчика на козлах, тихо меня раскачивал. Чтобы овладеть собой, я подтянул под себя ноги и прислонился к стволу убегающей в темноту ели.

Вокруг подпоручика Тяглова, только что пришедшего из штаба полка, толпились черные фигуры.

— Убили?

— Кого?.. Кого убили?..— услышал я тревожные вопросы.

— Туркула?..

— Но где?.. Когда?..

Недалеко от нас пасущиеся лошади мирно жевали траву. Кто-то ласково хлопал одну из них ладонью.

— Устала, бедняжка?.. Заморили?.. Ну, ничего, ничего... Выбьемся!..

— Да не Туркула вовсе!.. Господа, и не стыдно!.. Что за паника!.. Убили Бабиева...— рассказывал мичман Дегтярев.— Но вот, говорят (это, господа, хуже), вся наша конница с правого берега сбита... Вся... Никополь опять сдан... Говорят, наши части отступали в панике...

— И рубили их, говорят, рубили!..

— Подожди, и мы порубаем!.. Вот дорвется до них Туркул!..

А поручик Аксаев все так же ласково беседовал за кустами с какой-то лошадьёю:

— Отдыхай, Машка!.. Э-эх, отдыхай, милая!.. Это тебе, Машка, не навоз возить!.. Это тебе...

Я опять качнулся и, потеряв за спиною ствол ели, тихо опустился на траву...

— Вставай! Вставай! — прикладом в бок толкал меня подпоручик Морозов.

Рота построилась и, сдвоив ряды, молча пошла в лес.

Из леса в степь бежала узкая полянка. За ней, далеко через дорогу, уползали куда-то наши солдатские роты, уже рассыпанные в цепь.

Мы остановились в лесу, — поперек дороги, — развернутым строем в степь.

В лесу кричала иволга. «Дождь будет!..» — думал я.

На пне, сейчас же за нашей ротой, стоял генерал Туркул. Туркул смотрел в бинокль.

— Второй и первый, ваше превосходительство! — докладывал Туркулу оперативный адъютант. — Третий батальон еще в резерве.

— И пусть остается! Если нужно, двинем офицерскую. Пробьем цепь и смажем их к чертовой...

Но вдруг он соскочил с пня и, выбежав вперед, остановился перед строем.

— Третий!.. Третий, куда прете?

Сквозь лес, ныряя в кустах, шли роты 3-го батальона.

— Батальонного сюда!.. Полко-о...

Но 3-й батальон переменил вдруг направление и бросился на нас.

На солнце, широким потоком падающем на орешник, сверкнули ручные гранаты.

— Сдавайсь! — кричал, размахивая кольтom, бегущий перед красноармейцами комиссар в погонах и с белой повязкой вокруг фуражки. — Сдавайсь!..

И в тот же момент, под глухой треск разрывающихся гранат, левый фланг нашей роты повалился, и над ним, прямо на нас, метнулась пыль и звонкие осколки.

Мы побежали.

— Назад!..

В лесу, сейчас же за первыми кустами, Туркул нас обогнал. Обогнав, обернулся и сбил кулаком двух бегущих передо мной офицеров.

— Назад! Ура!

Когда, со штыками наперевес, мы вновь выбежали на полянку, красные уже кружились на земле под огнем пулеметов наших разведчиков, стоящих на соседней с нами поляне.

— Ура! — кричала офицерская рота. За ней, тоже с криком, бросилась команда разведчиков. Пулеметная стрельба сразу оборвалась.

Передо мной, прыгая через раненых, бежал подпоручик Морозов. Офицеры вокруг нас уже работали винтовками. Я помню, как взлетали кверху приклады и как острой молнией летели штыки к земле.

Не задержавшись на поляне, подпоручик Морозов зачем-то сбежал в степь и, пересекши дорогу, бросился туда, где цепи солдатских рот широким фронтом отбивали атаки красных цепей.

Я и еще несколько офицеров побежали вслед за ним. А на поляне за нами трещали быстрые выстрелы и уже носился хриплый и дикий хохот.

Было далеко за полдень.

Отдыхая после боя, 8-я рота лежала в степи. К лесу ее почему-то не оттягивали.

— Можете теперь идти, — сказал нам командир 8-й роты. — Скажите полковнику Лапкову, что замешали у меня раненых взводных... Счастливо!

...Сухая, как сено, трава лежала на земле примятая. В траве блестели обоймы и медные гильзы из-под патронов. Около леса стояли пулеметные двуколки. Слева из леса выходили санитары. Санитары несли носилки.

Я все более ускорял шаг, пытаюсь нагнать подпоручика Морозова, идущего впереди меня и почему-то все более и более подающегося вправо. На ходу он то и дело наклонялся. Немного нагнав его, я заметил, что наклоняется он над ранеными. У некоторых он что-то отбирал и пускал потом по ветру какие-то мелко изорванные бумажки.

— Това-а... Товарищи!.. Пи-ить! — услышал я вдруг чей-то голос. Я остановился. В нескольких шагах от меня лежал раненый красноармеец. За его головой торчала его винтовка, штыком в землю воткнутая подпоручиком Морозовым.

Подойдя к раненому, я наклонился и протянул ему флягу.

Зацепившись за траву, в ногах красноармейца тоже валялись какие-то клочки изорванной бумаги. Я поднял несколько и расправил. Это были изорванные листы его красноармейской книги.

«...берни Новгородс» — прочел я на одном клочке. На другом: «...полка, 5-й роты», на третьем: «...волец, комму...»

Только тогда я понял, отчего подпоручик Морозов рвал красноармейские книги некоторых раненых.

Когда мы подымались к лесу, на опушке несколько офицеров 4-го взвода рыли могилу. Двое сколачивали большой березовый крест.

— И многих убило?

— Без малого — два отделения, — ответил мне поручик Устинов. — Ну и мы ж их перекололи! Всех!.. Впрочем, их там не так уж много было!

— И откуда Туркулу батальон померещился? Да еще третий, огромный такой!.. Рота, и то едва ли!..

— Сволочи! — пробасил третий офицер, поручик Макаров. — Удивляюсь, господа! Словно на Руси у нас своих сволочей мало! Вот сейчас, — смотрите, — китайцев каких-то пригнали!

И, наклонившись, он вновь ударил по земле топором. Ель над ним задрожала. С ветвей посыпались шишки.

— На бедного Макара все шишки валятся! — засмеялся поручик Устинов.

Мы уже входили в лесок.

— Нет, брат, снимай и штаны и гимнастерку! Всѐ, брат, снимай!

Поручик Пестряков сидел на земле, вытянув вдоль корней кривые, как у кавалериста ноги. В руках он держал наган. Перед ним, окруженные офицерами, стояли человек 8 пленных — низкорослых и желтолицых, с редкими, острыми бородами.

Один уже лежал на земле. Трава под ним краснела.

— Я!.. Подождите!.. Я!.. — подбегая ко взводному, кричал поручик Горбик. — Вози-и-тсья?! — И, подскочив к пленным, он ударил одного из них прикладом по голове. — Раздевайся, китайская кавалерия, мать твою в шелк!

— Нэ Китай! — бабым голосом, закричал, хватаясь за голову, пленный. — Нэ Китай!.. Башкирия!

Держа руки над головой, он прыгал под ударами, быстро дергая острыми плечами.

— Моя нэ Китай!.. Моя — Башкирия!.. Нэ... нэ... нэ Китай!

— Умора!

— С ума сойти!

— Ну и публика!.. — хохотали офицеры.

— Ну, раз Башкирия, ничего не попишешь! Одевайся! — сказал поручик Пестряков, вставая.

Но поручик Горбик вскинул в плечо винтовку.

— Вот этого, поручик, этого,— врет! — уж больно на китайца смахивает!

— Да сто-о-ит ли? — Пестряков зевнул.— Пусть дышит, пу-у-у...

Но поручик Горбик выстрелил.

Через лес шел генерал Туркул.

Часа через два вдоль дороги перед лесом уже вытягивались подводы офицерской роты.

Мы спустились с опушки. Около свежего березового креста, бросавшего на дорогу длинную, тяжелую тень, я остановился и, поджидая подпоручика Морозова, оглянулся назад.

За крестом на зеленой лужайке лежали переколотые красноармейцы. У тех, кто не был еще раздет, карманы были выворочены.

— Коммунисты, думали... А у них и махорки нету! — сказал за моей спиной капитан Темя.

— Поручик Морозов!.. Поручик Морозов!..— крикнул я.— Да идем же!..

Подводы солдатских рот уже медленно двигались к юго-западу.

ГЛАВА О ВЫПАВШЕМ ИЗ СТРОЯ

В цепи за колонией Фридрихсфельд мы лежали с раннего утра.

Было не по-осеннему жарко. Казалось, солнце ползет не по небу,— по самой спине... Оно заползало под гимнастерку, под фуражку...

— В самый мозг заползает, проклятое!

— Типун тебе!.. Еще,— подожди,— накличешь морозы!..— сердито бросил мичману подпоручик Тяглов.— Молить нужно, чтоб держалась погода... А ты... В холода нам всегда не везет...

— Мне пить хочется, а не твои, дурак, нотации слушать!.. Молчи ты!..

Воды во флягах давно уже не было.

Цепь красных лежала за ложиной на кукурузном поле. Наша — на баштане. Мы лениво перестреливались. Но лишь стоило нам сделать попытку продвинуться, как пулеметная трескотня яростно бросалась нам навстречу, и мы вновь падали, ругаясь в христа и бога.

Баштан перед нами был изрыт колесами подвод и пулеметных двуколок. Откуда-то с левого фланга ползла пыль. Пыль залезала в рот,— глубже! — в горло, а сухая, сорная трава, упрямо проросшая над кочками, жгла лицо и руки... Уже ни о чем, только: пить!.. пить!.. — не думалось.

— Ура! — крикнул вдруг полковник Лапков.

Но огонь красных, точно коса бегущую под ветром рожь, подрезал вскочившую на ноги цепь, и офицерская рота, сразу передевшая, вновь залегла.

Хорошо, что я упал за бугорок. Над бугорком, качая сухую траву, звенели пули...

— Дурак! Одну роту подымает! — ругался за мной поручик Пестряков.— Скорей бы Туркул пришел!.. Тут весь полк поднять нужно,— всем фронтом...

— Ясное дело!

— Конечно, ясное!..

— Господа, не критикуйте, не зная!.. Туркул в глубокий обход пошел. Никого подымать не нужно!.. Выждать...

...А солнце ползло и ползло.

— Черт дери, патроны доставляют, а воду вот...

— Мичман, вы хуже солдафона!..

— Мичман!..

Мичман возле меня не унимался:

— Черт дери!.. Уже не пить,— плюнуть хочется!.. И то нечем!..

Я приподнялся на локтях и выглянул из-за бугорка. Мне показалось: на горизонте ползет туча... Но небо было чисто, и лишь над степью колыхалась пыль. Стрельба учащалась.

— Черт!.. — выругался я, и вдруг увидел шагах в десяти от бугорка зеленый в полоску арбуз, еще не тронутый колесами двуколок. На нем круглым пятном играло солнце.

«Вот это повезло!..» — подумал я, но вылезать из-за бугорка побоялся.

За бугорком, качая траву, звенели пули...

...Прошел час. Солнце в небе склонилось к западу. Сухим треском перекликались винтовки. Пулемет сшивал даль с пылью...

Я вновь приподнял голову и стал смотреть на арбуз.

И пока я думал, можно ли подползти, и как подползти, и можно ли надеть арбуз на штык, и как надеть,— какая-то пуля, стегнув землю, ударила о зеленый в полоску край арбуза.

И арбуз раскололся.

И по красной мякоти потек сок.

За соком, медленно переворачиваясь, покатались черные семечки...

Я не выдержал. Вылез из-за бугорка и пополз к арбузу...

...— Санитар!.. Санитар!..— кричал за мной кто-то.

Я лежал лицом в траве, пытаюсь зацепиться за что-либо пальцами правой руки. Но сухая трава рвалась под пальцами, и сдвинуться с места я не мог. Левая рука, плечо, голова и шея быстро немели.

— Санитар!.. Санитар!..

Кто-то схватил меня за сапоги. Потом выше,— под колени.

Когда меня оттягивали назад, с неба быстрой дугой падало солнце...

Вечерело.

Уже перевязанный, я лежал на подводе. Рядом со мной лежали какие-то солдаты. Солдаты стонали.

Над мной стоял подпоручик Морозов.

Расположенная около перевязочного пункта офицерская рота пела «Журавушку».

— Ну прощай! Должно быть, больше не увидимся... Счастливый!..— тихо говорил мне подпоручик Морозов.— А и здорово же тебя заквасило!.. В плечо, говоришь, потом выскочила и в шею?..

Мимо подводы проходили жители Фридрихсфельда, коренастые немцы, с глазами, спрятанными под брови. Пробежало несколько офицеров.

— Пленных ведут!.. Пленных!..— кричал, пробегая, капитан Темя.— И наловили же!.. Ну и Туркул!.. Ну и молодчага!.. Поручик!.. Поручик Горбик!..

— В ружье! — где-то скомандовал вдруг полковник Лапков.

Я инстинктивно дернулся вперед. Но, вспомнив о ранении, улыбнулся.

— Становись!..— командовал полковник.

Но команда прошла надо мной,— мимо...

Я чувствовал себя выпавшим откуда-то, куда был я крепко ввинчен, и чувство это было радостным...

Подводчик задергал вожжами. Поручик Пестряков, Аксаев, мичман Дегтярев, капитан Темя и подпоручики Тяглов и Морозов быстро бежали через улицу.

— Морозов! Морозов!.. — еще раз крикнул я.

Но подпоручик Морозов стоял в строю. Он не мог оглянуться, — полковник Лапков скомандовал уже: «Равняйся!..».

Через полчаса наши подводы медленно шли на Федоровку.

Ни с кем из офицеров 1-го Стрелкового имени генерала Дроздовского полка я больше не встречался.

* * *

Лазарет — не позиция. В лазарете много думаешь...

Ночь...

Ржавчина около гвоздей проела жечь кровли. Концы отставших листов грохотали и бились под ветром. А Глашуку, ефрейтору 2-го Конного, казалось: совсем близко, на Малаховом кургане, бьет в тишину и ночь одинокая пушка.

Я дни и ночи лежал на одном боку. На правом. Дни и многие бессонные ночи видел пред собой только Глашука. Видя его каждый день и каждый день с ним беседуя, научился наконец отгадывать, о чем думает он, когда собирает морщинки вокруг вздернутого носа, и когда, вдруг подымая брови, сразу же наполовину суживает лоб, и когда, улыбаясь, расплющивает губы вдоль усеянных веснушками щек.

Здесь, в Севастополе, четыре месяца тому назад Глашук лечил свою первую рану. И вот он ранен вторично. Привезен сюда же. Доктор — старый знакомый.

— Ну и рана! — сказал он. — Здорово!

Бегая по разбитой руке, кровь Глашука стучала молоточком (я знаю, — у меня она стучала так же!) — слабо, но часто-часто: в плечо, в локоть... А пушка на Малаховом и гудела, и била, и ухала: «Раз! раз!..»

...«Военный хирургический госпиталь № 5» занимал целое здание. В рамках окна палаты № 8 прыгали стекла. По рамам бил ветер. Бобров, вахмистр Назаровского полка, второй сосед Глашука, рвал с себя одеяло. Кричал: «Эй, казаки! Станишники!..» Приподнявшись с постели, Глашук звал сестру. Видно, опять спросить думал: «Можно ли, сестрица, чтоб руки не срезали? Доктор говорит, что нельзя... А может, можно?..»

Но сестра к нему не подходила. В другом конце палаты умирал поручик Лебеда, гвардеец.

Ветер вновь сорвался с крыш и ударил о рамы. Окно зазвенело. Глашук вздрогнул, а ветер метнулся дальше. На море. И еще дальше. За море. В ночь...

Стало тихо... Пушка умолкла, отставшая жесть легла на кровлю мертвым парусом. На дворе, около ворот в лазаретную кухню, залаяла собака.

Глашук съезжился. Я знаю, он опять решил, на этот раз уже твердо: не даст доктору резать руку! Кому своим мясом собак кормить хочется?! Вчера ему вахмистр Бобров объяснял (а вахмистры, полагать надо, народ знающий!), что лазаретные доктора отрезанные конечности,— это руки и ноги солдат, значит,— в татарские деревни продают. Татары ими собак кормят...

— Эй, казаки!.. Станишники!..

— Руку спасти нельзя,— сказал вчера Глашуку доктор,— ее нужно срезать. А то заражение пойдет дальше, дойдет до сердца. Тогда — смерть!..

Без руки Глашука и домой, в Екатеринославскую, пустят (об этом Глашук говорил со мной каждый день),— беспременно пустят... В полном здоровье ему, конечно,— «нет!» — скажут. Коммуна там, а он 2-го Конного ефрейтор. Кадет, значит... Глашук решил: дам!.. Пусть режет руку!

— Эй, казаки! Станишники-и!

...Под утро ветер обогнул город и ушел куда-то на Бельбек.

На лбу поручика-гвардейца золотой кокардою лежало пятно солнца. Поручик еще спал. В палате говорили: «Выживет!.. Такие вот, худые да тощие,— они живучие...»

Густая, золотая пыль широкими дорожками подымалась от одеял и стремилась к окнам. Глашук уже тоже проснулся,— ворочался. Он научился ворочаться одними ногами, не двигая ни плеч, ни груди, на которой держал туго забинтованную руку.

— Господин вахмистр! Господин вахмистр!..

Видно, Глашуку вновь захотелось спросить насчет собак и деревень татарских... Может, неправда?..

Но вахмистр не отозвался...

— Господин вахмистр! Господин вахмистр!..

Вахмистр, очевидно, спал.

Глашуку, как тяжелобольному, разрешили курить в постели. Потому Глашук курил даже и тогда, когда не хотелось. Он научился зажигать спички одной рукой, держа коробок ладонью и мизинцем, чиркая при этом большим и указательным. Когда спичка вспыхивала, коробок падал на одеяло.

— Автоматично!.. У меня приспособление, что пулемет, — автоматично! — повторял Глашук, забавляясь.

— ...Вас на перевязку... Вас... Тебя. Вас не надо еще... Подождете! — уже обходила койки сестра Людмила.

Потом, семеня длинными ногами в серых штанах, в палату вошел врач Азиков. Он остановился в дверях, как раз там, где, ударяясь о косяк, ломалась пробившаяся в палату полосу солнца.

Кивая нам головой, врач оправлял очки. Очки очень не шли его молодому, бритому лицу. Впрочем, врач обыкновенно носил пенсне. Но перед обходом он снимал его. «Солдаты не любят!» — думал он. Врач Азиков думал вообще очень много. Еще больше он разговаривал с офицерами. Чаще всего о своей клиентуре в Москве, которая «ходит теперь черт знает к каким врачам... По-ду-ма-ешь!..» Думал он еще и о русском народе, о роли интеллигенции и о ее заданиях. Офицерам он говорил, что понимает солдат и умеет с ними разговаривать. Очевидно потому, говоря, например, о нагноении, он начинал с яровых хлебов и кончал земельным законом генерала Врангеля.

— А, Глашук, здравствуй!

Доктор склонился над кроватью Глашука, тонкий и длинный, как удочка.

— Ничего, брат!.. Ничего!.. Думал я о тебе!.. Много думал!.. Дело твое вовсе не пропавшее!.. Снимем руку, да, брат, снимем, ничего не попишешь!

— Господин доктор!..

— Но стоит ли, брат, из-за пустяков беспокоиться!.. Вернешься домой в Екатеринославскую... Теперь, при современных, брат, земледельческих орудиях и одной рукой крестьянствовать можно.

— Господин доктор!..

Потолок надо мной вдруг плавно качнулся и побежал вверх голубыми полосами. В голубом небе загорелось солнце. По залитой солнцем дороге качалась, уходя куда-то, нагруженная соломой арба. Высоко на арбе стоял Глашук. Правил одной рукой, туго намотав на нее вожжи...

— Ну и слабость! — услышал я далекий голос доктора, когда холодной рукой взял он меня за пульс.

Проснулся я в обеденное время. Два санитары возле кровати вахмистра ставили на пол носилки. Ворочали большое, желтое тело. Короткая пижама с красным крестиком на

кармашке не прикрывала его живота. Живот был перевязан. На перевязке адело кровавое пятно, круглое как пуп.

— Седьмой за ночь! — сказал санитар-пленный. — Бери его за ноги и поворачивай!

— До сердца дошло!

— Что это дошло? — спросил я.

— Да заражение. — И Глашук стал здоровой рукой шупать больную. Он подымался по руке все выше и выше. Ему казалось: боль ползет к сердцу...

— Пусть режет! — сказал он, вдруг оборачиваясь ко мне.

Прошло недели две.

В окно лил дождь. На стекле, сквозь мутные потоки, сочился осенний серый день. Возле окна стоял Глашук. Правый рукав его лиловой пижамы беспомощно болтался.

— Зацепить бы куда... Мешает!

Сестра Людмила обещала английскую булавку. Потом забыла. У нее было много дел: поручик Лебеда, гвардеец, поправлялся...

Когда Глашук двигал левой рукой, над правым его плечом, почему-то быстрее здоровой руки, подымался короткий обрубок, круглый, как банка из-под французских консервов.

— А ну, дай-ка устрою!.. — сказал новый сосед Глашука, молодой, кучерявый фейерверкер Попелюх, и, перевязав рукав узлом, укоротил его вдвое.

И вот пустой рукав Глашука стал болтаться матерчатой куклой с крохотной головкой-узлом и в широкой, бледно-лиловой юбке со сборками.

— Ну как, Глашук?..

— Ну что, Глашук?.. Поправляешься?..

— Покорно благодарим! Поправляемся.

О комиссии еще не могло быть и речи, а Глашук уже поджидал ее.

— Отпустят по чистой, — говорил он, подсаживаясь то на одну, то на другую койку. — Отпустят, и проберусь я, значит, через фронт да в свою Екатеринославскую. Насчет того, чтоб сомневаться, теперь уже никак невозможно! Инвалида уже никак... У Деникина с Троцким соглашение имеется...

Прошло еще три дня...

Утром, когда раненные ждали первый чай, врач Азиков пробежал через палату, встревоженный. Ни над кем не остановившись, он долго беседовал со старшей сестрой. Потом

сестра Людмила беседовала о чем-то с поручиком Лебедой. Глашук подслушал знакомое слово: «эвакуация».

— Поручик Лебеда!.. Поручик Лебеда!..— кричал я, приподнявшись.

...— Мы, значит, в Красной Армии тогда служили. Как наступал Юденич на Петроград,— рассказывал рядом со мной фейерверкеру Глашук,— в городе Петрограде тоже тогда за эвакуацию говорилось. В Москву, это, во вторую столицу, значит... Ну и поедем мы то же самое и сейчас во вторую столицу генерала Врангеля. В Симферополь-город или еще куда... Главное, чтоб комиссия, значит, вовремя...

Я лег на спину, потом поднял голову и вновь сел на койку.

— Поручик Лебеда!.. Поручик Лебеда!..

Но поручик Лебеда не подошел. Подошел штабс-капитан Рошин — марковец:

— Слыхали?..

— Что случилось?..

— Слыхали?.. Армия Буденного проскочила нам в тыл... Эта проклятая Каховка!.. Сейчас, по слухам, Буденный где-то около станции Салтово стягивается и прет прямым путем на Ново-Алексеевку... Понимаете?.. А связь с Джанкоем?.. А тыл нашей Второй армии?..

Вдруг он вскочил с моей койки.

— Поручик!.. Поручик Забелин!..

Через десять минут поручик Забелин, тоже сводно-гвардеец, пошел в город.

У него были связи...

В ожидании поручика Забелина и новых известий мы сидели почти молча. Только юнкер Соловьев напевал, как и всегда, свою любимую песенку:

Раз в ночных потьмах,—
мах, мах,—
Шел с монахиней монах,
нах, нах...

— Господа, узнал! — перебил его вечером вернувшийся из города поручик Забелин.— Наши части вышли из мешка. Положение, кажется, спасено... Господа, кто в карты?..

— Мы еще повоюем, черт возьми! — как сказал Тургенев! — Штабс-капитан Рошин подвинул к моей койке столик с шашками.

Он завел такую речь,
речь, речь,—
Где бы нам с тобою лечь,
лечь, лечь,—

уже опять запел юнкер Соловьев.

Прошла еще одна неделя. Об эвакуации перестали и говорить.

Но вот 29-го октября, уже к вечеру, когда серое небо тяжело ложилось на окна, всех трех сестер нашей палаты куда-то спешно вызвали.

— Списки!.. Представьте списки температурочных!..— в коридоре около уборной кричал кому-то врач Азиков.

— В чем дело?..

— Господа, что случилось?..

Потом в палату вошел поручик Лебеда. Его сломанная в мундштуке папирота висела над нижней губой. Он нервно жевал мундштук, все глубже в рот забирая папироту.

— Господа!.. Красные перешли Сиваш, сбили Фостикова с кубанцами и вошли в тыл Перекопской группе... Кутепов с Армянского Базара отходит на Юшунь...

— Поручик!..

— А вы слышали, поручик?..

— А Врангель?..

— А где Врангель?..

— Лебеда!..

— Поручик Лебеда!..

Я поднялся и тоже пошел к койке поручика Лебеды. Стуча костылями, меня обогнал юнкер Соловьев. Одна его нога, туго забинтованная, торчала за ним, как руль за лодкой. С другого конца палаты быстро шел подпоручик Кампфмейер, — танкового дивизиона, — с обожженным лицом, а потому сплошь перевязанным бинтами. Над бинтами торчали уши, — острые и густо покрытые волосами.

— Поручик, а Донской офицерский полк?.. — глухо из-под бинтов спросил он.

— Поручик, а не слышали вы...

— Оши-ба-юсь?.. Я о-ши-ба-юсь?..

— Юшуньские укрепления!..

— Наша тяжелая артиллерия...

— Господа!

— Господа, Слащева теперь бы...

— Слащев...

— Уже, господа, поздно!

Мы быстро обернулись.

В дверях стоял врач Азиков.

— Только что пришло сведение, — сказал он. — Юшуньские укрепления прорваны. Враг уже в Крыму...

— Доктор... это... это проверено?..

И опять стало совсем тихо. Прощлепали чьи-то мягкие туфли.

— Господин доктор!.. Господин доктор!..

— Пшел к черту с твоей комиссией!..— крикнул на Глащука Азиков.— Господа! Господа, сегодня ночью мы грузимся на пароходы... Господа, за границей мы отдохнем... Господа, новые пути борьбы... Господа...

Я тихо отошел к своей койке и лег, уткнув в подушку лицо. Плечо мое ныло. Ныла и шея. Просачивающийся сквозь перевязку запах гноя кружил голову.

Пуля из шеи все еще не была вынута...

Всю ночь в темное окно хлестал дождь. За окном шумела Северная бухта. Кто-то на Понтонном мосту махал красным и зеленым фонариками.

Поручик Лебеда, штабс-капитан Роцин, юнкер Соловьев, поручик Забелин, подпоручик Кампфмейер, фейерверкер Попелюх,— кажется, все,— собирали вещи. Глащик тоже снял наволочку с подушки и закинул в нее все, что имел — хлеб, штаны, ботинки, полотенце... Над его правым плечом прыгал круглый, короткий обрубок. Кукла под ним раскачивалась направо, налево: трепала широкую в этот день розовую юбку со сборками.

— Господа, а Глащик в Симферополь едет... На комиссию!..— засмеялся юнкер Соловьев. Но никто не подхватил, и смех его сейчас же оборвался...

Санитарные автомобили пришли под утро, 30-го, когда только что начало светать.

Мы грузились при полной тишине. Город еще спал... Казалось, о катастрофе еще никто ничего не ведает...

Большой, грузный транспорт «Ялта», точно буксир, тянул на тросах старую, негодную миноноску. «Ялта» то и дело меняла ход. Когда скорость ее увеличивалась, тросы натягивались и рвали ее назад; «Ялта» вздрагивала и скрипела. Когда же ход ее вновь замедлялся, узкий миноносец нагонял нас. «Сейчас, сейчас нагонит!..» — казалось нам. Врежется острым, по прямой линии бегущим, носом, в высокую и грузную корму «Ялты»... И расчленит ее, и рассечет надвое...

Мы вышли из рейда 30-го в 12 часов ночи, когда уже переполненный войсками и беженцами город и гудел, и качался за нами в красных языках пламени. Горели военные скла-

ды. Над зданием американского Красного Креста яростно носился бурый дым.

— Догорает аль только зачинается?

— А не все ли равно?.. Эх!..

— Севастополь!.. Россия!.. Прощай, Россия!..— звенел под ветром чей-то женский голос.

— Твою мать!.. Матери твоей!.. Твою мать!.. Матери!..—ругался возле женщины рослый казак-калединец.

«Ялта» то и дело меняла ход. Гафель над кормой нырял в низком небе.

...Было холодно. Ветер бил о мачты сплошными полосами косога дождя. Я хотел спуститься в 4-й трюм, туда, где лежали раненные нашего лазарета. Но, заглянув в трюм, глубокий, темный и холодный, как колодец, я вновь пошел вдоль палубы.

Частыми островками на палубе сидели кучки прикрытых брезентом солдат. Вода под ними стояла до уровня бимсов. По воде бежала черная рябь...

За трубой миноносца краснело небо. Севастополя уже не было видно. Он ушел в темноту,— под волны. Но красное небо в воде не тонуло. Оно скользило по волнам и бежало от горизонта до низкой, серой кормы миноноски.

Я повернулся, обошел несколько живых островков и пошел на нос «Ялты». На носу, прислонясь к борту, кто-то курил. Круглый красный огонек папиросы мигал под дождем, как звездочка.

Меня тряс холод. Я сел на скрученные канаты и задумался. Но пуля в шее заставила меня вновь поднять голову. Как раз в это время мимо меня прошел Глашук. Я узнал его по пустому рукаву гимнастерки, который бился за ним, как черный дым над трубой «Ялты». Шинели у Глашука не было.

— Не попасть тебе в Екатеринославскую! — сказал Глашуку штабс-капитан Рошин, когда «Ялта» выходила из рейда.— Теперь уж не попасть!.. Не-ет!.. Потому море...

О чем думал Глашук?..

Я думал о том, что вот, не верстами скоро, а днями будем считать мы расстояние от России...

— ...Да, брат, не гадали!.. Не гадали, брат, не думали!..— услышал я с носа голос доктора Азикова. Доктор силился перекричать ветер. Голос у него был резкий и звенел надтреснуто.

Я повернул голову и, напрягая зрение, увидел его бритый подбородок, едва освещенный огоньком тревожно вспыхивающей папиросы. Над ней, в полной темноте, блестели два круга — пенсне.

— Да, брат Глашук!.. Таковы, брат Глашук...— И вдруг огонек папиросы быстро взлетел вверх.

Я вскочил, но опять сразу же упал на колени. «Ялту» рвануло на дыбы. Она взбросила нос в грузное, низкое небо...

— Когда доктор падал за борт, его не было видно,— рассказывал около трюма штабс-капитан Рощин.— Кажется, летит окурочок... Быстро, быстро... И не вниз, а назад...

Из черного трюма неслись крики. Какая-то женщина рожала. Кто-то плакал. Кажется, сестра Людмила.

— Су-у-дить?.. Уж не мы ль с вами судить его будем!..— вновь заговорил штабс-капитан.— Следствие?.. Бросьте, Лебеда!.. Наша песенка...

Набежал ветер.

«Ялту» качало и подбрасывало...

За нами и вокруг нас шли к югу серые корпуса длинноносых кораблей...

Над морем светало...

*Германия. Фихтенгрунд
Апрель — сентябрь 1925*



ЗВЯБЛИКИ

В ЛАТАХ



I

МЕТЕЛЬ

1

— Федор Федорович, вы любите кильки? Возьмите, пожалуйста, парочку. За головку надо, за головку поймайте...

Полковник Пробкин и полковник Судаков ужинали. Над Бузулуком кружилась метель.

— Ну-с, Федор Федорович, теперь чокнемся! Смотрите, как крыши замело... А каково в окопах теперь, Федор Федорович?..

...Поезд грузно шел на Сызрань. Колеса гребели, а замерзшие стекла в окне прыгали и дребезжали. На одной скуле проводника торчал клочок красных волос. Рыжие редкие усы свисали вниз. Под ними были видны бородавки.

— Позвольте, но как же это не поедем дальше Сызрани? Никакого предупреждения не было... Скорый поезд... билеты... — не мог успокоиться бородатый мукомол, а голова Константинова вновь качнулась к окну, на черное стекло которого вбежали далекие огоньки.

Казалось, поезд наклонился и, зачерпнув тишину снежной ночи, пошел, уже не гремя колесами. Острые огоньки на стекле с минуту еще играли, легко и весело перепрыгивая друг через друга, но вот и они запутались и поплыли куда-то золотыми спокойными паутинками. Прапорщик Константинов опять задремал.

— Допрежде всего заносы и до войны бывали, — продолжал между тем рыжий проводник. — И насчет кипятку вы напрасно... Разь можно горячее? Пар, извольте видеть... Пальцы не держат.

— Иди, иди! Ни чаю у вас, ни порядка! А что мне, скажи на милость, в Сызрани делать? Вот она, Россия!..

Константинов дремал, покачиваясь. Рыжий проводник вновь ушел за перегородку. Вероятно, мукомолу тоже очень

хотелось спать. Он давно уже прикрыл фонарь пыльным чехлом и разложил на дорожной подушке полотенце, вышитое красными и синими крестиками. Но лечь он все еще медлил. Засыпать в любом положении и в любую минуту могут только прапорщики, думал он, забот у которых — что слов у него. А ему, первому мукомолу губернии, нужно наконец решить, какие сорта ржаной и пшеничной муки выгоднее сейчас вырабатывать: муку простую без отсеивания отрубей или отсеивную?

«Размол отсеивной пшеничной обойдется по тридцать... Итого... — считал мукомол, пользуясь пальцами левой руки для подсчета десятков рублей, а правой — сотен. — Итого, если сейку отпустить за пятерик по три с половиной... на весь мой запас... круглым счетом...»

Дверь в конце вагона в это время вновь распахнулась, солдаты на площадке гаркнули песню, прорвался сквозняк, и последние цифры, которые еще держались в голове мукомола, вновь перепутались.

— Прапорщик! Господин прапорщик! — в сердцах ткнул он тогда Константинова в локоть. — Послушайте, вы не спите?

Константинов давно уже не видел золотой паутины. В гулкой тишине, в которой качался поезд, кто-то бесшумно рубил глину. «Юнкер Константинов, юнкер Константинов! — кричал курсовой офицер, поручик Стелько-Забой. — Выпад! Выпад!»

Юнкер Константинов сделал наконец выпад, но поскользнулся и звякнул шашкой об пол.

— Послушайте, прапорщик...

Глина еще качалась, разрезанная гладко, точно сыр, который — в день отпусков, по субботам — покупал в магазине у Колчина юнкер Константинов.

— Вам бы распорядиться, прапорщик! — говорил над глиной не поручик Стелько-Забой, а сонный чернобородый мукомол с волосатыми неуклюжими пальцами. — Не лето сейчас, чтоб при открытых дверях ездить. Я это про солдат говорю, которым в третьем классе полагается.

— Да? В третьем?.. — еще не придя в себя, переспросил прапорщик Константинов и встал, почему-то очень быстро, точно испуганно.

— Будьте добры... Вам по чину и распорядиться... Дверь-ми хлопают, понаперли, уборные позанимали... Мой сын тоже офицер, как же, помилуйте!..

Поезд уже опять стучал колесами. Прапорщик Константинов приоткрыл шинель, оправил под ней портулею, которая давила его плечо, как пройма неправильно пристегнутых

подтяжек, и в досаде нахмурился. Ему вовсе не хотелось выходить на площадку и загонять солдат в переполненные вагоны третьего класса, но после того как он уже встал, вновь садиться было и смешно и как-то неудобно.

— Конечно! Я сейчас...— сказал он и пошел по коридору.

Вагон раскачивало. Дверь в соседнем купе была открыта. Чьи-то черные усы за узкой щелью дверей медленно и бережно целовали маленькую ладонь, выгнутую лодочкой. Лодочка-ладонь ласково плыла усам навстречу.

— Сызрань!.. А если сутки?.. Сутки в Сызрани!..— вздыхая повторял за следующей дверью усталый женский голос.

Дальше, уже за дверью, шуршала, вздуваясь на стене, какая-то надпись, кажется: «Не бросать окурков на пол». Окурки в плевательнице были темно-коричневые. Грязная дверь за плевательницей открывалась и вновь затворялась, а солдаты за дверью пели про лес, Варшаву и Карпатские горы, про походы и Вильгельма, которого они где-то ловко и умело «ухватили за уса».

— Вот что, ребята!..— выйдя на площадку, сказал прапорщик Константинов и замолчал, глубже на лоб сдвинув папаху. Он только три дня назад кончил военное училище и ни командовать, ни говорить с солдатами еще не умел.

— Вот что, ребята...

Солдаты оборвали песню. Те, что стояли впереди, хотели посторониться, но было некуда.

— Холодно, ваше благородие? — вдруг спросил молодой косоглазый ефрейтор, о щеку которого бил снег, клубившийся с крыши вагона.— Служить едем, ваше благородие... за царя и отечество!.. Теперь и Сызрань недалече, соснуть, ваше благородие, не успеете, а тут уже и подъедем...

Ефрейтор моргал косым веселым глазом. На нем, точно бельмо, прыгал рябой от снега луч фонарика, качавшегося где-то над дверью вагона. Константинову казалось: веселый луч не только прыгает — он насмехается над кем-то, подбадривая ефрейтора, который понял, вероятно, зачем он, прапорщик Константинов, вышел сюда на площадку, и поэтому защищался сейчас чем мог и умел — своим ефрейторским красноречием.

— А ведь дуете холодно, ваше благородие! — продолжал он все быстрее.— В вагон бы зашли... Эх, служба наша, службишка, рваная шинелишка, был бы табак, а спички найдутся!

— Никто в Бузулук из вас не едет, ребята?.. в Самарскую? — все еще не зная, что сказать, спросил наконец пра-

порщик Константинов.— Из сто семидесятого запасного никого здесь нет? А?

Желтые огни полустанка, выбежавшие из темноты, рванулись вверх и вновь упали в клубящийся снег. В дверях вагона остановился рыжий проводник. Луч фонарика задрожал у него на плече, а рябое бельмо на глазу у ефрейтора потухло.

— Все, можно сказать, в Самарскую, а в Бузулук случайно не едем. Но не на позиции, говорю, чтоб мерзнуть вашему благородию! В вагон бы зашли, в тепло то есть... Несет и несет, снег то есть...

— Ну ладно, ребята! Пойте.

Ефрейтор понял, что гнать с площадки прапорщик уже не будет и, перегнувшись к соседу, уже не хитро, а нагло заморгал косым улыбающимся глазом.

— Не лето, чтоб петь, ваше благородие.

— Да вы ж пели?..

— С горя пели, ваше благородие, а сейчас повеселели что-то!.. Эх, служба наша, службишка...

И вдруг, подняв руку за спиной повернувшегося прапорщика Константинова, ефрейтор сжал кулак и гулко ударил по нему ладонью другой руки. Солдаты вокруг ефрейтора рассмеялись.

Поезд замедлял ход. Из темноты подымались темные строения станции Сызрань.

...По вечерам на Уфимской и Уральской улицах было темно и тихо. Молодежь гуляла по Оренбургской — от кинотеатра «Триумф» до угла Самарской и опять вдоль кинематографа. Оренбургская, главная улица Бузулука, была широка и просторна. Прапорщики на Оренбургской гуляли по двое и по трое, а девицы — не менее трех или четырех в ряд. Прапорщики козыряли, правда, больше девицам, чем друг другу. Девицы смеялись, оборачивались, знакомились — и через час после первых огней — мимо кассы кинотеатра, над которой каждый вечер качалась дощечка: «На первый сеанс билеты распроданы», — гуляли уже парами: прапорщик и девица, прапорщик и девица.

Колкий снег, кружившийся за окном квартиры полковника Судакова, сменился мягкими крупными хлопьями. В витрине универсального магазина Киселева горела одна электрическая лампочка; казалось, снег перед витриной падал спокойнее и гуще.

...Мне не-е-ко-го больше лю-би-и-ть!..—

лукаво пел на Оренбургской слабый девичий голос; мужской не переставал смеяться.

— Меня! Меня!.. Дорогая, меня любите! О, бесценная!

Потом оба голоса — мужской и девичий — потонули в общем гуле улицы. Об лед тротуаров стучали сапоги. Звенели шпоры — это шли ротные. Вот одному из прапорщиков кто-то дважды наступил на ногу. Прапорщик обернулся и увидел рябую, некрасивую девушку, для которой, вероятно, не нашлось сегодня свободного офицера.

— Извиняюсь,— сказала девица и остановилась, ожидая от прапорщика ответной улыбки. Но прапорщику не хотелось знакомиться.

— Извиняю! — ответил он зло и насмешливо, а рябая девушка, ничуть не смутившись, равнодушно повела плечом и пошла дальше, высккивая, к кому еще подойти и наступить на ногу. Вот опять одинокий прапорщик. Он стоит, выйдя из подъезда гостиницы Галочкина, и, должно быть, не в пример этому насмешнику, страдает и тоскует по любви и обществу.

А сквозь закрытые двери кинотеатра «Триумф» уже доносилась музыка. Там тоже играли: «Мне некого больше любить». Настоячивее всех пиликала и визжала скрипка:

Мне не-е-ку-да больше спе-ши-и-ить!..

— Лида, вы любите санный бег?

— Я люблю снег, снег, снег и бесконечные дали...

— Эй, извозчик! — крикнул тогда офицер.— К Спасо-Преображенскому...

Мигали фонарики. Возле тротуаров, куря длинные, сложенные в мундштуке папиросы и быстро перебрасываясь короткими, точно команда, словами, шныряли молодые прыщавые люди, озлобленные на прапорщиков, отбивших у них всех девиц города.

— Подшиб?

— Подшибем Таньку! Эй!..

— Разом! — перекликались они и, взбегая на обледенелый тротуар, сбивали с ног зазевавшихся барышень.

Так — от метели до метели — жил по вечерам Бузулук, куда в 170-й запасной полк ехал прапорщик Константинов.

2

На станции Сызрань не оказалось извозчиков. Правда, за обледенелым, поднятым на какие-то козлы бревном, которое еще из окна вагона увидел прапорщик Константинов, стояли низкие, крытые ковром сани, но их тотчас же занял военный

чиновник в широкой, как у тылового штаб-офицера, бекеше, и Константинов решил идти в город пешком.

Мукомол, штаб-ротмистр с черными усами, его спутника, ни разу не вышедшая из купе, и почти все пассажиры застрявшего в пути поезда решили переночевать в вагонах.

Из уборной вышел священник.

— Не наша воля,— сказал он,— время военное...

— Как раз потому и возмутительно, сударь! — не разобрав, что отвечает священнику, крикнул из своего купе штаб-ротмистр.— Безобразие!..

— Проводник, проводник!..

— Прикройте дверь.

— Прапорщик, а вы куда? В город? Далеко ведь! Четыре версты...

С площадок все еще сползали солдаты. Вещевые мешки, взваленные на плечи, раскачивались и подпрыгивали, и все солдаты казались в темноте горбатыми. Они торопливо — на ходу — отстегивали от поясов котелки и спешили к кубу с кипятком, пытаясь обогнать денщиков, налегке выскочивших из вагонов третьего класса и тоже бегущих за чаем для своих офицеров.

— Знаю я здешние гостиницы!.. Клопы за иконами...— говорил мукомол прапорщику Константинову.— Кровь молодая!.. Не сидится, молодой человек?..

— Счастливо оставаться! — кивнул ему Константинов и отдал честь какому-то проходившему полковнику.

Над дорогой в город, как крылья мельницы, еще кружились черные взлеты вьюги. Мутно-серое пустое поле, отплыв от линии высоких столбов с красными и зелеными фонарями, тянулось к далеким, низким огням первых улиц. Прапорщика Константинова, уставшего от сна в душном купе вагона, от людей, сутолоки, стука колес и скучных разговоров мукомола, опять потянула к себе эта зимняя молчаливая пустота мутно-серого поля.

— Счастливо!..— еще раз крикнул он мукомолу и, застегнув шинель, быстро пошел по платформе.

— Ни одной ведь ночи пропустить не хотят, бабники! — сказал мукомол, вновь опустившись на мягкое сиденье, а прапорщик Константинов уже перешел через мостик и шагал по прямой темной дороге, думая разобраться наконец в тех новых мыслях, которые, как казалось ему, уже накопились в нем за эти три дня после производства в офицеры.

Далеко за спиной перекликались железнодорожники. Маневрировал какой-то паровоз. Ветер трепал его брошенные в воздух свистки; казалось, ветер не знал, что с ними делать, — он то вонзал их под снег сугробов, то вместе с вьюгой уносил куда-то над дорогой. Дорога то подымалась, то вновь опускалась, шашка звенела и билась о сапоги, она настойчиво напоминала Константинову, что он уже офицер, а не гимназист и не юнкер, но новые мысли почему-то все еще не приходили.

Одинокий огонек на окраине Сызрани прыгал, как поплавок на воде. Метель опустилась ниже, и снег под поплавром бежал желтыми волнами. Волны снега сбегали с сугробов и кружились под ногами Константинова, как три дня назад кружились они на Большой Спасской в Петрограде.

Пушки гря-а-нут, сосны завя-ну-ут...

Прапорщик Константинов вспомнил: по Большой Спасской шли солдаты какого-то запасного гвардейского батальона. Кажется, шли лейб-гренадеры.

Сол-да-атские ко-о-сти под сне-гом лежат!..—

пели лейб-гренадеры, сияясь перекричать взвизги встречных вьюг. И вдруг прапорщик Дергачев, всегда радостный и веселый Павлушка, тоже только что произведенный в прапорщички и вместе с Константиновым вышедший из подъезда Павловского военного училища, сказал, в смешной досаде нахмутив брови:

— Экая жалость: офицер ведет!.. «Смирно» командовать не будут!..

Вспомнив прапорщика Дергачева, прапорщик Константинов улыбнулся.

— Вот тебе и новые мысли! — сказал он и, вдруг нахмурившись, посмотрел в снежную даль. Далекий поплавок на окраине города уже тоже перестал мигать и потонул в темноте. Низкий снег заметал кусты. За кустами тянулись сугробы.

...под звуки лихих трубачей,
По улице пыль поды-ма-я,
Про-хо-дил полк гу-сар-усачей!..—

вдруг запел прапорщик Константинов и этой веселой и беззаботной песней сбросил с себя тяжесть вдруг нахлынувших на него нерадостных мыслей, которых не оберешься, если распустить себя, как распускаются, например, солдатки на всех вокзалах и станциях.

— Амба! Довольно хныкать!..

...Когда прапорщик Константинов дошел до первых улиц города, было уже глубоко за полночь. Бесконечные сугробы, круглые, черные, как шапки, подымались полого и незаметно, но срывались вниз отвесной, крутой стеной, и Константинову то и дело приходилось прыгать, придерживая рукой продетую сквозь карман шашку.

«Ну и город! — повторял он, оглядывая косые бревенчатые стены и низкие крыши, снег на которых стоял высокими грузно-серыми башнями. — Ни гостиницы, ни огня, ни рыла!..»

Людей на улице действительно не было. Иногда только за сугробами быстро пробегали собаки. Все они были одинаково черные, мохнатые и хромали на одну лапу.

«Что за черт!» — думал Константинов, и, только дойдя до четвертого или пятого угла пустынной улицы, понял, наконец, что, прячась за сугробами, его провожает все одна и та же собака.

— Пошла! — крикнул он, вдруг почему-то рассердившись.

Собака забежала за ближайший сугроб и скрылась под воротами двухэтажного дома, кирпичный фундамент которого, покрытый прозрачным льдом, отражал далекую черную глубину улицы.

«Соединенный лазарет городского и уездного купечества», — прочел над воротами Константинов и остановился, слушая в тишине, как хлопают вздувшиеся на коленкоре синие нарисованные буквы.

«Лазарет, лазареты, а здоровому и сунуться некуда...» — подумал Константинов и вдруг услышал свистки в конце улицы.

— Эй, городской!

Но свистели не городские. Это перекликались ночные сторожа города. На одного из них, долго перебегая зигзагами от угла к углу, Константинов набрел, выйдя, наконец, на какую-то просторную площадь, над которой клубившийся снег освещался высоким желтым фонарем. Старик сторож сидел, прислонившись спиной к столбу фонаря прямо в снегу, на гребне сугроба. Желтый свет плыл только над площадью — очень высоко, — сторож сидел в темноте и снег на его плечах казался черным.

— Ну-ка проснись, дед!..

Голова сторожа качнулась. Во рту закачалась деревянная свистулька — ими вместо колотушек пользовались в Сызрани ночные сторожа. Хриплые, усталые повзвизгивания свистульки еще боролись с ветром, но, казалось, боролись уже из последних сил.

— Проснись!.. Мне бы, отец, гостиницу, что ли...

Старик опять закачался, поймал в бороде свистульку и поднял глаза на Константинова.

— Номера?

— Ну, номера!.. Чтоб клопов не очень много, и вообще...

— Вообще номеров у нас много, конечно... К Рябой, к примеру, зайти следует. К Варваре, значит, Николаевне...

— Гостиница?

— Не гостиница, а номера, стало быть. Варвары Николаевны с Кузнецкой номера всем в городе хорошо известны; стало быть, хорошие.

Ноги Константинова стыли. Шея возле воротника тоже немела, и только уши еще чувствовали жгучую боль.

— Да ты, старик, толком... Я с тобой не беседую, а дело тебя спрашиваю. Кузнецкая улица? Куда? Сюда?

— Не улица, говорю, площадь. На Кузнецкой и стоите.

Старик опять качнулся и толкнул Константинова плечом.

— Номера Серебряковой и Варвариной... Она-то по-настоящему Рябая, но как Варварина поделikatней... Рябая... Рябая во-от там, указываю.

Он махнул перед собой огромной, черной рукавицей и опять толкнул Константинова.

— Направо?

— Налево. Не видишь? Указываю.

РЯБОЙ И РЯБАЯ

1

Очевидно здесь на северной опушке леса еще совсем недавно шли бои. Потолок в полуразбитой землянке осыпался. За бревнами, поддерживавшими земляную стену, пищали контуженные крысы. Крысы не боялись света свечи. Хвосты у них были розовые, а глаза — черные и маленькие, как бисер. Вот опять над краем полочки, сколоченной каким-то чудачком-офицером, тоскующим по уюту, свесился розовый, голый хвост. Два острых глаза блеснули на другом краю полочки.

— Парочка. Муж и жена! — сказал прапорщик Яковлев. — А знаете, говорят, заключенные в тюрьмах умели жить с ними в дружбе. Послушайте, а вы не хотите наконец побриться, прапорщик? Да я не вам, прапорщик Рыжик!

— А я — вам, прапорщик Яковлев! Вы всегда о глупостях. Я вам о плане наступления, а вы — глупости!..

Прапорщик Рыжик, молодой офицер со старушечьим лицом, тоже пошел было к двери, но наступил на штык и споткнулся. Штык звякнул. Где-то опять взвизгнула крыса.

— Ушел!.. Вот и воюй!.. Извольте воевать с подобными офицерами! — И прапорщик Рыжик развел руками, в которых держал карту-трехверстку.

Младший офицер девятой роты 39-го пехотного Томского полка прапорщик Рябой уже более двух недель не брил бороды, а потому, выйдя за дверь землянки, провел по щеке ладонью и подумал о себе, как иногда о рядовом Смурове, до самых ушей заросшем желтою с проседью бороною: «Изволь воевать старому!»

— Вот и воюй! — опять повторил в землянке прапорщик Рыжик, ротный 9-й роты. — Ну, да черт с ним!.. Хреновая же у нас дисциплина, господа!.. Итак, слушайте. Я продолжаю...

Вечер ложился на снег синими полосами. К черной опушке дубовой рощи, которыми так богато окружены все леса Волыни, скакал батальонный адъютант, поручик Викштрём, обруселый швед, всегда очень обижавшийся, если его принимали за немца.

Прапорщик Рябой знал: полк ждет приказа о выступлении. 39-й Томский полк должен был принять позиции от разбитого Кроншлотского следующей ночью, а под утро, только по карте знакомый с условиями местности, должен был вести наступление. Волновался, вероятно, даже и всегда разудалый батальонный. Не потому ли погнался он сейчас в штаб полка поручика Викштрёма?..

— Итак, господа, послезавтра в шесть тридцать... — продолжал в землянке прапорщик Рыжик, пытаясь медленной расстановкой слов побороть волнение. — Наступление поведем на деревню Губин и на высоту с отметкой сто девять и три.. Брысь, проклятая! Господа, свечу уберегите!.. Слямзит. Прапорщик Лбович! Итак... итак, закрепить приказано на линии... с отметкой... на линии холмов с отметкой... Брысь!

«Бубнят и путают, путают!.. — слушая голос ротного за дверью, думал прапорщик Рябой. — Путают, а потом тятляп! — ура, ребята! — и в проволоку!.. Хоть бы лечь где и сдохнуть...»

Он взглянул на светящиеся часики под грязным рукавом шинели, обернулся и еще раз посмотрел в полузакрытую дверь землянки. Карта в руках у ротного была развернута. Убрав голову в плечи, ротный стоял, пригнувшись под низким потолком, и поднятый воротник его шинели, казалось, торчал

выше головы. На ельнике, брошенном в углу землянки, лежал прапорщик Яковлев. Он смотрел на свечу, косо стоявшую на полу в высокой банке из-под мясных консервов, и слушал, как пищат контуженные крысы. Прапорщик Лбович тоже не слушал ротного. Впрочем, желая казаться занятым чем-то весьма значительным и серьезным, он держал в руках полевую книжку и что-то чиркал в ней, иногда сдвигая еще пушистые, детские брови. Вот ротный опять высунул уши из-под воротника шинели и повернул голову. Уши у него были острые, как у собаки-ищейки.

«Сейчас опять позовет!» — подумал прапорщик Рябой, отошел за группы черных кустов и побрел по направлению к землянкам своего 3-го взвода, на тяжелый дым, тихо подымавшийся над синим снегом. «К чему еще карта? Все равно отступить, а отступить будем по знакомой местности!..»

Ветер улегся, и стало теплее. Ефрейтор Зерно стоял без шинели возле дверей в крайнюю землянку. Он держал в руках котелок, до верха набитый снегом, и улыбался. Опустившись на снег коленями, вольноопределяющийся Давид Курбан-оглы, выходец из Дагестана, уже седьмой месяц ожидавшийся отправки в школу прапорщиков, колот германским штыком щепки.

— Чайку, ваше благородие? Будет, как же! Что мы, хуже других? — сказал ефрейтор Зерно и опять улыбнулся. Вольноопределяющийся Курбан-оглы поднял голову.

— Что говоришь?

— Не тебе говорю!

— Что говоришь? — опять переспросил ефрейтора вольноопределяющийся и вдруг, уже за спиной вошедшего в землянку прапорщика Рябого стал ругаться, резко и сухо, как горная птица, ломая непокорный голос: щепки не поддавались его штыку.

В землянке 3-го взвода было темно и тихо. Едкий дым стоял в ней густо и неподвижно, и в первую минуту прапорщик Рябой ничего не мог разобрать. Наконец он увидел валяющуюся на земле тлеющую красную головешку и бурые солдатские сапоги, которые освещались ее углями. Солдатских лиц не было видно. Солдаты тоже не узнали прапорщика Рябого; сапоги на нем были казенные, стоптанные и ничем от солдатских сапог не отличались.

— И вот жили на свете два брата, — рассказывал рядовой Смуров. — Интендант и поп с крестом на ленте егорьевской. Родные братья. И еще жили два: исправник и воинский, тоже, говорят, родные...

Рядовой Смуров опустил ладони на голенища сапог и тронул бородой колени.

— Родные?

— Родные,— ответил он крайнему солдату, а прапорщик Рябой повернулся и, выйдя из землянки, прислонился спиной к стволу черного дерева и стал слушать, как шипит снег в котелке ефрейтора Зерно. Давид Курбан-оглы стоял над костром. Над лесом каркала ворона.

— И еще жили братья, солдат и хрестьянин, и тоже родные. И задумались солдат и хрестьянин...— продолжал в землянке рядовой Смуров, а прапорщик Рябой закрыл глаза и стал думать, отчего два с половиною года, проведенные им на фронте, так далеко отодвинули от него и жизнь в Самаре, и людей, веселых, как звонки в прихожей под праздники...

По праздникам все жители Самары спускались к Волге. Когда в небе скользили легкие, частые тучки, полосы солнца на Волге быстро убегали от лодок. «Догони-ка! Ну, догони-ка!» Весла весело били по воде, лодки металась; от кормы лодок к берегу тихо скользили волны, а над волнами кружились чайки. Может быть, это были не чайки — это были голуби. Белыми легкими толчками они кружились и над городом. Сколько их, голубей в небе! Сколько в нем веселых белых стаяк! Раз, две, три, пять, восемь... Вот в зеленом скверике возле сбора кто-то выпустил из рук детский красный шар. Шар полетел. Шар летел все выше и выше. Два голубя не хотели от него отстать — они кружились, кувыркались, а с окраин Самары уже гудел и плыл низкий колокольный звон.

— Опять гудит! Слышишь?

Два голубя над детским шаром блеснули крыльями и, скользнув в лучах, вдруг упали куда-то в темноту. Темный, зимний лес опять грузно поплыл по небу острыми ветвями.

— Под Гаенкой гудит.

— Быть может, и под Губином...— ответил ефрейтору Зерно вольноопределяющийся Курбан-оглы и, бросив в костер горсть новых щепок, склонил над ним буро-коричневое горбоносое лицо.

Из леса скакал поручик Викштрём. Далеко под Гаенкой или под Губином шел артиллерийский бой.

Прапорщик Константинов спал и слушал во сне свое ровное дыхание. Потом он услышал, как бьют часы. Константинов знал, что спит он не крепко, но сознание, что нужно наконец встать, все-таки не могло его разбудить.

...День был не базарный, а потому людей на улице было мало. Утопая в снегу валенками, краснощекая румяная девушка несла ситный. Она остановилась возле ворот «Соединенного лазарета городского и уездного купечества» и стала смотреть, как в ворота вносят раненых. Обыкновенно раненых привозили в город ночью и ночью же размещали по лазаретам, но сегодня санитарный поезд пришел в Сызрань опять с большим опозданием.

— Обмороженных во флигель номер два! — кричал главный врач лазарета. — Раненых!.. В дезинфекционную всех по очереди!.. Поворачиваться у меня! Живо!

Молодой раненый солдат с отмороженными ушами присел на носилках и, увидя врача, красный крест над воротами и просторный дом, из трубы которого спокойно подымался дым, заморгал глазами и, вспомнив метель над окопами, вдруг радостно улыбнулся.

— Живо! — вновь крикнул в это время врач, и с головы качнувшегося раненого упала и покатила по снегу летняя рваная фуражка.

Сквозь тихое и солнечное утро уже плыли дымки города. Окна маленькой комнаты гостиницы Серебряковой и Варвариной не были завешены. Широкий луч, разбитый рамой на четыре золотых столба, тянулся через комнату, чтоб лечь, распластавшись, на порог. На пороге стояли ярко начищенные сапоги. Они не касались дверей голенищами и казались прямыми и гордыми, точно набитые на колодки.

— Давайте-ка ваши ушки! — улыбнувшись сапогам, сказал прапорщик Константинов и, с трудом натянув их на ноги, подошел к окну.

На площади перед окном шесть баб, залитых солнцем, сгребали снег. Над домом на другой стороне улицы тянулась вывеска: «Торговый Дом А. Пермяковой».

Буквы вывески были желтые, но под солнцем казались золотыми. За окном магазина горели золотые горшки и кастрюли.

— Господа встают!..— крикнул в коридоре женский голос.— Опять валенки!.. Сколько раз я тебя учила...

Прапорщик Константинов все еще стоял у окна. К подъезду «торгового дома А. Пермяковой» подъехали розвальни. Молодая баба в мужском тулупе, подвязанном чем-то ярко-зеленым, не спеша слезла с саней и подняла к голове лошади мешок с овсом. По панели за сугробами шло еще несколько женщин, крупных и широкоплечих, как ратники.

«Бабье царство!..» — подумал прапорщик Константинов, отошел от окна и стал искать кнопку звонка. Электрического звонка в комнате не оказалось, но на красном комодe, прикрытом маленькими квадратными скатерками, разложенными, как кубики паркета, лежал колокольчик, такой, какие обыкновенно подвязывают лошадям под дугу. Колокольчик позвонил очень негромко, но неудержимо весело. Прапорщик Константинов опять улыбнулся и, опустившись на стул, стал в ожидании прислуги играть ремнями еще не пристегнутой пашки.

Вошла рослая краснощекая девушка, та самая, которая впустила его вчера в номера. На ней были уж не валенки, а мужские высокие сапоги, и руки ее, тоже как у мужчины, были широкие и узловатые.

— Завтрак! — коротко приказал прапорщик Константинов, швырнул в сторону концы ремня и вдруг, случайно взглянув на свои ладони, подумал, что его руки, пожалуй, и меньше и слабее здоровенных рук этой девушки. Ему даже захотелось встать и вплотную подойти к ней, чтоб посмотреть, не выше ли его она ростом, но он только вытянул ногу и вновь поймал ремни, еще качавшиеся возле ножки стула.

— Завтрак! — повторил он и все-таки встал, оправляя за поясом гимнастерку.

Рослая, краснощекая девушка между тем тоже, вероятно, удовлетворила свое любопытство. Она сонно опустила глаза, вздохнула, вспомнив раненых в городе, и, почесав грудь, медленно вышла в коридор. А в коридоре застучали чьи-то шаги — на этот раз уже быстрые и предприимчивые.

— Простите! — услышал прапорщик Константинов, обернулся и увидел розовое пятно, которое, вынырнув из полутьмы коридора, шло ему навстречу, играя на ходу кружевами и ленточками.

— Ну, слава богу! — перекрестился мукомол.— Поехали!

...Мимо окон вагона побежали столбы. С семафора, который мелькнул на солнце, мягко повалился снег.

Бывали дни веселые,
Гулял я, молодец!..—

запели солдаты на площадках поезда, а прапорщик Константинов в комнате № 5 номеров Серебряковой и Варваринной стоял, облокотясь на спинку стула, и слушал женщину в шелковом розовом капоте.

— Подать чай, булки, масло и ограничиться? Нет! — говорила она, оправляя волосы, мелко завитые возле висков. Руки у ней были тоже розовые, а ногти блестели. — Я наоборот... Я — совет и помощь... и все.

— Благодарю вас!

Розовая женщина опять захихикала. Острые, маленькие груди под ее капотом запрыгали и вдруг зазвенели, как звенят черепки или разбитое стекло.

— Вы довольны? Вы должны быть всем, всем довольны, тогда я буду счастлива — не как хозяйка, конечно, а как человек!.. А надолго вы? Нет? — продолжала она, уже играя нитью красных стеклянных бус, которые со звоном выпали из-под складок ее капота. — Ах, это жаль!.. Чрезвычайно!.. Уже едете?

— Может быть, вы сядете? — спросил прапорщик Константинов и хотел было переставить стул спиной к неубранной постели. Но розовая женщина уже успела сесть. Она села так быстро и легко, что Константинову даже показалось, что она вовсе не опустилась на стул, а отступив назад, как балерина, сделала приседание и застыла в этой позе, точно ожидая аплодисментов.

— Уедете уже ночью?.. К вечеру?.. В полдень?.. Тоже нет?.. А когда же?.. Ах, конечно, я слыхала, — заносы... С первым поездом, который пойдет?..

Она улыбнулась, вспомнив что-то очень важное, но ничего важного не сказала, а, подняв ладони, вдруг замахала ими, точно отстраняя от себя Константинова.

— Но, ради бога, не подумайте, я спрашиваю не как хозяйка! Я говорю как человек, которому скучно в этой трущобе. Знаете Самару, электротеатр «Фурор», Андрюшина, Садовая улица, собственный дом? Тот, где в прошлом году выступала в дивертисменте *la belle Hélène*?

Здесь розовая женщина захихикала так смущенно и торопливо, точно *la belle Hélène* была известна чем-то весьма непристойным.

— А рядом домик... не помните? — Губы ее еще хихикали, но глаза стали вдруг грустными. — Двухэтажный. Помните?.. Невольно к этим грустным берегам... Ах, вы не знаете? Вы из Петрограда? Из столицы?.. Я жила там, не в Пет-

роgrade, к сожалению, а в этом домике. Мой муж был когда-то в Самаре учителем. Очень неудачным, к слову. Видите, он совсем не чиновник!.. Но сейчас семья офицеров — наша семья... Что?

Прапорщик Константинов кивнул и нахмурился. Он понял, что кивнул не вовремя. А женщина в розовом продолжала гозорить, иногда приподымая к губам красные бусы и хихикая:

— Я знаю очень многих и со многими очень дружна. Даже генерал свиты его величества барон Жагмен де Жакобриан, недавно награжденный святым равноапостольным Владимиром второй степени с мечами, сказал мне, проезжая: «Сударыня, сказал он, если б все были расположены к нам, как вы... Бедный!.. он страдал жабой и... и... Он не договорил, конечно!

И, сбвив бусы вокруг руки, женщина в розовом капоте вдруг выгнула ее лебединой шеей и положила подбородок на ладонь.

— Как вы еще молоды!..

«В первых строках моего письма сообщаю вам, любезный брат мой Петр, что барыня моя, Варвара Николаевна, к вам меня не отпускает,— писала на кухне в один из самарских лазаретов румяная краснощекая девушка. Когда Варвара Николаевна Рябая смеялась в комнате с молодыми офицерами, на кухне можно было делать что угодно.— Письмо ваше я получила, в котором описывается, какая была ваша жизнь на фронте. Я живу в услужении сытно, а вы, любезный брат мой Петр, ели на фронте чечевичу, разную кору и вообще растения».

— Что, очень расстроены? — уже не хихикала, а смеялась между тем в комнате Константинова Варвара Николаевна.— Но ваш поезд уже ушел! Военный чиновник, который приехал тем же поездом, давно уехал. Он справлялся по телефону. Что?.. Надо быть по-вни-ма-те-льней, милый прапорщик с вечными вопросами в глазах!

Варвара Николаевна хотела погрозить пальцем, но рука ее уже лежала в руке Константинова, а пальцем левой руки никто не грозил.

— Теперь вы можете ехать только ночью. Ах, я не думала,— какая у вас уверенная рука, прапорщик! Когда вы держите в ней мою ладонь, я чувствую себя беззащитной девочкой!.. Можете ехать только ночью в три сорок. Хотели ехать утром, а вдруг делá, говорите? Много, много дел, конеч-

но? У меня тоже дела. Хотите, будем справлять их вместе? Мы можем вместе пойти в город... Положите сюда ваш палец. Послушайте, как это смешно... Как смешно бьется мой пульс! Что?..

Варвара Николаевна опять захихикала, хихикала, улыбалась, поджимала губы.

— Еще не завтракали? Хотите, будем завтракать вместе?

Она знала: при солнце всегда видны морщины, и стояла, повернувшись к окну затылком. А прапорщик Константинов знал, что пушок над его губами виден только при солнце, и стоял потому лицом к окну.

«Что ж, вместе, так вместе! — думал он. — А какие у ней прозрачные уши».

3

Первая скрипка заплясала где-то под самым потолком. Выскочив на эстраду перед музыкантами, напудренная танцовщица подняла одну ногу и мельницей закружилась на другой.

— Bravo!

Начальник штаба 10-й дивизии услышал аплодисменты, тоже хотел аплодировать, но свет золотых люстр вдруг быстро поплыл назад, и сквозь темноту, которая поднялась и осталась над столиками, замерцала одинокая свечка.

— Правый боевой участок. Полковник Виреев, — склонившись над свечой, устало читал адъютант штаба. Командующий дивизией сидел против адъютанта и держал на коленях приказ и карту. На коленях у начальника штаба дивизии лежали папиросы.

— Тридцать девятого Томского полка — четыре батальона. Правильно!..

Адъютант сверял поступавшие за ночь донесения.

— Десятой артиллерийской бригады — восемь орудий, пятого мортирного дивизиона — четыре. Есть! Второго Астраханского казачьего полка...

На узком окне лесной сторожки, завешенном рваным полотнищем палатки, догорала свеча, а в десяти верстах от сторожки, над окопами 39-го Томского полка, несколько крупных звезд уже высоко поднялись над бруствером. Было около полуночи.

— В шесть тридцать правому боевому участку наступать на Губин и далее на высоту сто девять и три, держа тесную связь с левым флангом тридцать восьмого Тобольского полка, — не подымая стриженной головы, читал командующий

дивизией, а прапорщик 39-го полка Лбович, в первый раз видевший настоящие окопы, выглянул из-за бруствера и стал смотреть на снежную всхолмленную равнину.

Звезды над черной полосой германской проволоки — крупные и мелкие попеременно — мирно струились, уплывая куда-то к левому флангу позиций. Оттуда, с левого фланга, где стоял 38-й Тобольский полк, дул легкий ветер, теплый, точно весной. Прапорщик Лбович глубоко вздохнул, как вздыхают люди, вышедшие на берег моря, и вновь почувствовал тоскливое желание повернуться и, пригнувшись, как вор, незаметно пойти сперва по узкому ходу сообщения к окопам батальонного резерва, потом, уже быстрее, по дороге мимо молчаливой черной батареи и, выйдя, наконец, на шоссе, по которому еще недавно вел он маршевую роту, на минуту остановиться и опять побежать — бежать без оглядки, склонив голову и уже не оборачиваясь.

Но два солдата по ходу сообщения несли в окоп последний ящик с патронами. За ними шел ротный, прапорщик Рыжик. Ротный вполголоса ругался. Прапорщик Рябой около бойницы смотрел на снежные холмики; казалось, он был поставлен сюда, чтобы никогда уже не оборачиваться, и прапорщик Лбович понял, что наступления, о котором он думал недавно с тревожной радостью, теперь уже не миновать... конечно! Конечно! В груди у него что-то поползло и грузно легло на живот. Он подтянул пояс, потом вновь его распустил, подошел к какому-то солдату, но, не найдя, что сказать, опять отвернулся.

— Лбович, хотите?

Отошедший, наконец, от бойницы прапорщик Рябой опустил руку в карман шинели и, достав несколько черных сухарей, откуда-то принесенных ему вольноопределяющимся Курбаном-оглы, посмотрел на прапорщика Лбовича серьезно и тихо.

— Лбович, хотите?.. У меня много...

Прапорщик Лбович протянул было руку, но тотчас же вновь ее опустил.

— Не могу! От них живот пучит, — сказал он. — Впрочем, я сыт. Большое вам спасибо.

И прапорщик Лбович улыбнулся, не зная, что эта растерянная улыбка еще больше выдает его волнение.

— Не думайте ни о чем, Лбович! Все равно! — не видя улыбки Лбовича, но почему-то почувствовав ее, сказал прапорщик Рябой, отвернулся и быстро пошел по окопу. Черные сухари в его зажатом кулаке захрустели и рассыпались.

А над окопами все гуще и гуще всплывали звезды. Два солдата, присев возле траверса на корточки, раскуривали сигарки. Круглый огонек, мигая, бегал по бумаге красными жилками. Рядовой Полотеров, костромской крестьянин с городской странной фамилией, подвязывал к поясу индивидуальный пакет.

— Главное это бинты,— говорил он, перекусывая зубами бечевку.— На санитаров плохая надежда, а в случае чего перевязать ранение — это первое дело.

К траверсу — прикурить — подошло еще несколько солдат. Вольноопределяющийся Курбан-оглы, подошедший последним, сосал сахар.

— Костей не перевяжешь! — докурив сигарку, повернулся к Полотерову рядовой Смуров.— Германская пуля кость надвое ломит. Австрийская, известно, чуть расколется, скажем, как щепу, а германская, она, земляк, ломит.

— Это уж в точности!

— В аккурат!

— Спорить не хочу, а не верится. Потому, она троектория.

— Поверишь, коль придется! Меня, правда, бог берет...

— Отметил тебя, значит? За бороду?..

Солдаты говорили шепотом, и прапорщику Рябому, который не слышал их голосов, казалось, что они стоят молча и только качают в раздумье головами. Острая голова вольноопределяющегося Курбан-оглы в лихо согнутой папаше была запрокинута к небу. Горбатое лицо смотрело на звезды. Но вот он увидел прапорщика Рябого и пошел ему навстречу.

— Волнуются!

— Нервничают,— ответил вольноопределяющемуся прапорщику Рябой, увидя, как над участком 37-го Екатеринбургского полка, ближе других расположенного к противнику, взлетают ракеты. Потом он вспомнил, как волновался прапорщик Лбович, разжал кулак, в котором все еще лежали крошки раздавленных сухарей, подошел к щиту, оставленному на бруствере кроншлотцами, и вдруг услышал, как над окопами, грузно сверля темноту, пролетели первые снаряды.

Три голых дерева за окопом зашумели. Три солдата выползли на четвереньках из блиндажа. Огоньки сигарок опустились ко дну окопа и быстро запыгали.

— Подготовька... Ну-ка, ребята, пояски!..— еще шутливо крикнул ефрейтор Зерно.— Теперь подтянись, кишки не рассыпай, э-эх!

— Дай разок! Смуров! Не курить може больше!..

— Гляди, гляди!..

— Патроны!..

— Гляди!..

— Патроны раздай! Пополни! Накуришься!..

Далекие холмики перед окопами вспыхивали и вновь разбивались о мрак. Из мрака навстречу огню подымалась и опять куда-то проваливалась черная полоса германской проволоки.

— Наткнулся германец на нашу силу! Знай наш боевой тридцать девятый Томский непромокаемый!..

По окопу бежал ротный.

— Ребята, помни: не стадом бежать!

Вот в германских окопах застучал пулемет. Рядовой Сму-ров крестился.

— Застучал, головы считать будет...

— Присватался!..

— Ваше благородие, ваше благородие!..

Закусили вши. По ноге прапорщика Рябого поползла портянка. Рябой нагнулся, подтянул сапог, быстро взял цигарку изо рта какого-то солдата, затащил ее, спрятав голову за щит, и вновь стал смотреть перед собой, ожидая, когда артиллерия оборвет стрельбу, а черный силуэт ротного, взбежав на бруствер, пригнется под звездами и с криком сорвется под проволоку. Тогда и ему, Рябому, нужно будет дико крикнуть, тоже броситься в ходы под проволоку и бежать по этим снежным, бесконечным холмикам.

— Ваше благородие, ваше благородие!..

Ветер, летящий с левого фланга, вдруг перестал быть мягким и теплым. Он бил по лицу и рваными скачками срывался на дно окопа.

«Ну, спокойнее! — повторял прапорщик Рябой, трогая ладонью небритую дергающуюся щеку. — Черта бы гнать, а людей гонят!»

Проволоку перед окопами уже секли и хлестали германские пулеметы. Проволока звенела.

— Прапорщик Лбович! Отчего вы не на взводе? — звонко кричал где-то ротный. — Прапорщик Лбович!

Взвилась ракета.

«Сейчас!» — опять подумал прапорщик Рябой, обеими руками сдвинул на лоб папаху и не торопясь взялся за винтовку. Но пальцы его торопились. Они быстро обхватили ствол.

Барак канцелярии 170-го запасного полка, еще чистый и не в пример ротным баракам просторный и светлый, был только у стен заставлен столами. Пахло тесом. Печи хорошо отапливались, и даже на окнах не было видно льда.

Прапорщик Константинов сидел у стола против дощатой перегородки, за которой, шелестя приказами, работал командир полка, полковник Судаков. Недавно дежурный писарь пропустил к полковнику какую-то высокую, очень строго одетую даму, по словам писарей, уважаемого члена местного «Дамского комитета помощи воинам и их семьям», и прапорщик Константинов, куря папиросу за папиросой, ждал своей очереди. Он только что прибыл в Бузулук и пришел сюда, чтоб представиться командиру.

От вокзала до города Константинов и прапорщик 244-го запасного полка Дергачев, тоже только два дня назад прибывший в Бузулук, ехали в одних санях. По обеим сторонам улицы тянулись заборы. Заборы чередовались: подымались крашенные, некрашенные, бревенчатые и сколоченные из досок. Канавы, засыпанные снегом, были глубокие, как рвы.

— Вот там, за этим углом, базарная площадь. Направо — переулок, пройдешь, а там уже и район моего полка, — не переставая, рассказывал прапорщик Дергачев. — Твой полк будет за Домашкой. Подожди, не так еще скоро... А в городе ты возьмешь другого извозчика, потому что на этом поеду я. Я поеду в гостиницу Галочкина и закажу чай. Подожди, не спорь! Посмотри-ка лучше на этого Александра Македонского, — прапорщик Дергачев покачнулся и указал на кого-то локтем. — Это прапорщик Бесседелько. Смотри! Твоего полка. Видишь?..

На косом мостике, переброшенном через канаву, стояли бледноглазый молодой прапорщик и рядом с ним какая-то барышня. Барышня испуганно держалась за рукав прапорщика, а прапорщик, выставив вперед одну ногу, воинственно сжимал эфес шашки. Перед ними, ошетинившись, стояла огромная собака. Собака рычала.

— А это вот прапорщик Викторов. Видишь? — опять указал Дергачев, когда сани завернули за угол. — Говорят, поэт, хотя стихов его никто не читал. Подожди, не спорь! Конечно, на этом извозчике поеду я! Не перекладывать же мне твоих чемоданов! Прапорщик Викторов! Прапорщик Викторов! Здравия желаю!

Высокий бритый прапорщик, с легкой горбинкой на носу, поднял к папахе ладонь и, взглянув на сани, прищурился. Потом он медленно повернулся и вошел в парикмахерскую, открыв дверь ножами шашки, точно боясь испачкать новые, очень яркие лайковые перчатки.

...Где-то в другом конце канцелярии пробили стенные часы. На досках перегородки, за которой работал полковник Судаков, висел портрет Кузьмы Крючкова. Рама вокруг портрета была отпечатана цветами георгиевской ленты, желтая полоса которой давно уже успела выцвести. В конце стола, под перегородкой, за горой синих папок с докладами, сидел писарь. Синие папки скрывали всю нижнюю часть его лица, и прапорщик Константинов видел только его очень косой лоб, тоже синий от отсвета с папок, и два глаза под бледными бровями: один — полузакрытый желтым зрелым ячменем, другой — беспрерывно слезившийся. Писари за другими столами сидели спиной к Константинову. На затылках у четырех ближайших из них Константинов насчитал семь нарывов.

«...роста ниже среднего, сложения среднего, волосы русые, коротко стриженные,— от нечего делать прочел прапорщик Константинов несколько строчек какого-то брошенного на стол приказа.— На голове в затылочной области зияющая рана с неровными краями, проникающая в черепную полость. Кости черепа повреждены. Расколоты части костей затылочной, обеих теменных и лобной. Других повреждений, кроме описанных, не оказалось. Предлагаю командирам частей и начальникам команд вверенного мне гарнизона...»

— Да-да,— опять повторил вдруг в углу канцелярии чей-то сонный голос.

— Нет! Да нет же, помилуйте!..— так же нудно и не повоенному возражал ему второй.

— А когда поезд наконец тронулся,— все еще рассказывала полковнику сидевшая за перегородкой женщина,— госпожа Иванова кивала пленным,— подумайте! — и воодушевленно махала им платком.

Константинов вновь положил листки приказа. Мужской сонный голос,— вероятно, говорил полковник,— что-то неясно и неопределенно ответил, а женский на мгновение потерял свой уверенный тон.

— Нет, это невероятно, что вы говорите! Не в ваших обязанностях? Взывать через комитет к общественному мнению?.. Но, Федор Федорович, дорогой полковник, согласитесь,

что приветствия госпожи Ивановой по отношению к поданным воюющих с нами держав...

Константинов взглянул на часы, высчитал, что сидит и ждет уже около двадцати минут, и, не зная, на кого сердиться, хмуро посмотрел на писаря.

— Скоро ли наконец освободится полковник? Что, здесь тоже бабье царство или запасный пехотный полк? С ума сойти, дожидаячи!

А Варвара Николаевна, при воспоминании о которой прапорщик Константинов не мог без злобы и раздражения слушать сейчас этот женский голос за перегородкой, пила в это время в Сызрани свой утренний кофе.

Над узким маленьким двориком за окном столовой долгое время висел неподвижно мутный утренний свет. Наконец, осторожно тронув снег на соседней крыше, первый луч солнца лег на круглую скованную льдом водосточную трубу. На трубе он сломался и бросил в окно несколько грязно-желтых пятен. Эти пятна упали на овальный столик, стоящий перед окном, — прямо на клубок коричневой шерсти и на пару почти готовых напульсников, которые вязала для солдат Антонина Флориановна Серебрякова.

Антонина Флориановна и Варвара Николаевна сидели за другим столом — в глубине столовой.

— Ваш труд, мои деньги... — говорила Антонина Флориановна, — конечно! не дай нам бог рассориться, но наши номера...

— Наши номера лучшие в городе, — перебила Варвара Николаевна.

— Конечно, лучшие, кто говорит! Но наши номера, Варвара Николаевна, должны иметь солидную репутацию!

Антонина Флориановна говорила спокойно и сдержанно, откинув назад полуседую голову, вокруг которой туго лежали еще не расплетенные после ночи косички. Огромная грудь Антонины Флориановны медленно и с достоинством дышала.

— Ах, вы совершенно не коммерческий человек, Антонина Флориановна! Я, наоборот, нахожу, что любезное обхождение двух интересных и молодых хозяек...

Тут Варвара Николаевна хотела улыбнуться и тем самым сгладить неприятный разговор, уже несколько раз грозивший перейти в ссору, но огромная грудь Антонины Флориановны вдруг высоко и сердито поднялась.

— Мне, в мои годы, Варвара Николаевна, такие речи даже слушать совестно, а за каждой закрытой дверью голы-

ми руками о шею мужчин тереться, как это вы делаете, и вовсе не подобает, да!..

— В ваши годы!..— рассмеялась Варвара Николаевна.— Меня не касаются, простите, ваши годы!

И вдруг, бросив на стол салфетку, Варвара Николаевна быстро поднялась и, поняв, что ссоры уже не загладишь, пошла, не оборачиваясь, в свою комнату.

— Стыдно!..— негромко, но с достоинством сказала ей вслед Антонина Флориановна.— Стыдно! Не головой, а юбками хотите работать.

Площадь перед окном Варвары Николаевны давно уже пробудилась.

Варвара Николаевна знала: от этого письма, которое решила она написать, зависит, может быть, вся ее будущая жизнь и счастье, а потому, чтоб успокоиться и собраться с мыслями, она стала смотреть в окно.

На площади, обнюхивая тумбу, бог весть для чего врытую под самым окном, кружился черный пес мясника Парафидина. Сверкая на солнце стеклами очков, в «Со-единенный лазарет городского и уездного купечества» шла женщина-врач Штернберг. Вот какой-то старик с красным узелком под мышкой и вслед за ним две деревенские бабы в широких валенках сошли с угла Большой улицы и тоже пошли через площадь. Старик шел впереди, поминутно останавливался и указывал то на один, то на другой дом. Баба помоложе кивала, а постарше вытирала рукавом слезы.

«Какое жидовское христианство!» — подумала Варвара Николаевна, когда врач Штернберг остановилась и, выслушав старика, кивнула ему, вероятно, приглашая следовать за собой.

Женщина помоложе заулыбалась, другая заплакала еще пуще, а старик, взяв узелок за красные ушки, бережно и торжественно понес его уже на вытянутой руке. Наконец, все трое, а с ними и женщина-врач Штернберг скрылись за углом. Потом прошел зауряд-военный чиновник Арбузов, узкоплечий рыжий мужчина, с бородкою как у дьячка и с плоским, очень широким носом.

«Смотри-ка, этот утконос,— опять подумала Варвара Николаевна,— пустил дым из ноздрей и уже воображает — оскорбил, не поклонившись! Ну, ну, иди!.. Иди, кури твои «Золотые». Прапорщик Константинов «Яку» курит. Мужик!..»

Прапорщик Константинов, как и большинство молодых офицеров, окончивших Павловское военное училище, носил на пальце черное колечко с мальтийским белым крестиком и надписью: «Mon Dieu, mon Roi, ma Dame», и твердо помнил обязательства офицерских традиций. А потому, когда Варвара Николаевна, желавшая наконец вызвать в нем решительность, протянула ему вчера руку и сказала тем шепотом, который всегда волновал мужчин: «Мой муж тоже очень любил целовать мою ладонь в эту вот ямочку», — он вдруг нахмурился и поднял глаза. «Ваш муж? — спросил он и опять нахмурился. — Ваш муж на фронте? Он офицер?» И вдруг, опустив ее ладонь, он поднялся и стал смущенно ходить по комнате.

Прово-жа-ла,
Да-а жал-ко ста-ло... —

пел тогда кто-то на улице. Варвара Николаевна готова была заплакать.

«...Этот молодой, интересный офицер, чрезвычайно образованный и, вероятно, такой мягкий, уехал служить в Бузулук. Представьте себе, какое это совпадение, милая Ольга Памфиловна! Ведь все это дубье из школ прапорщиков и зауряд-военные чиновники с обгрызенными чернильными ногтями, эти нацепившие погоны мужики и приказчики, которыми переполнена Сызрань, с ним, с Константиновым, сравниться никогда в жизни не могут», — так, конечно, начала бы свое письмо Варвара Николаевна, но она знала, что всего, что думаешь, писать нельзя, а потому начала письмо так:

«Глубокоуважаемая Ольга Памфиловна! Я помню Вас и храню все Ваши милые письма. Я благодарна судьбе, которая привела Вас ко мне в гостиницу. Ведь могли же Вы остановиться и в номерах Беляева, и у Кологривцевых или, наконец, у Панкратовой. Это, Ольга Памфиловна, предопределение свыше! Что бы я сейчас делала, если б не Ваши слова, которых я никогда не позабуду. Да! работать, не покладая рук, да, эмансипация, только она спасет женщину, всем существом стремиться к самостоятельности, да, Вы были правы, уважаемая Ольга Памфиловна!»

На столе, опустив рога к маленькой чернильнице, стоял бронзовый олень. Фиолетовые густые чернила блестели золотом. На рогах у оленя лежали ручки.

«Милая Ольга Памфиловна! — продолжала писать Варвара Николаевна. — Люди так жестоки, а потому я с особенно

радостным чувством думаю о Вас и о Вашей мягкой, но энергичной натуре. Представьте себе,— госпожа Серебрякова, которая Вам так не понравилась и которую я имела глупость защищать, теперь, использовав все мои силы и больше в них не нуждаясь, не хочет со мной работать, и я опять должна искать счастья. С тех пор, как муж мой на фронте, я вынуждена менять уже третий город. Разве это не ужасно?..

Сейчас я хочу переехать к Вам в Бузулук. Я надеюсь исключительно на свои силы и чуточку на Вашу помощь. Немного денег у меня есть, и я смогу никому не быть в тягость. Помните, милая, Вы слушали меня весь вечер, удивлялись, как хорошо я веду наше дело, и звали меня в Бузулук работать вместе с Вашим родственником, господином Галочкиным? Милая Ольга Памфиловна, я решилась, и мне кажется, я на пороге к новой жизни...»

Бронзовый олень, склонив рогатую голову, поверх чернильницы смотрел на бумагу, по которой быстро скользило перо Варвары Николаевны. Варвара Николаевна иногда подымала голову, слушала, как в соседней комнате звенит ложечкой Антонина Флориановна, и опять писала, взяв в рот стеклянные красные бусы.

Вот на рога оленя тоже легло солнце. На площади перед окном три каких-то мальчика дразнили черную хромую собаку мясника Парафидина. Сперва собака рычала и лаяла, потом, совершенно обессилев, стала выть протяжно и жалобно.

А Варвара Николаевна писала уже второе письмо. Перо над этим письмом бегало еще быстрее, стучало, опускаясь в наперсток-чернильницу, и брызгало во все стороны. Несколькими каплями чернил брызнули и на рога оленя и, сверкая на солнце, повисли на них золотыми дробинками. Наконец Варвара Николаевна дописала и второе письмо.

«Действующая армия,— написала она на розовом конверте,— 39-й пехотный Томский полк. 9-я рота. Его благородию прапорщику Александру Мартыновичу Рябому».

Запечатав письмо, Варвара Николаевна положила ручку на рога оленя, хотела улыбнуться, но, склонив голову, вдруг заплакала. Она все-таки чувствовала себя очень несчастной.

...А Ольга Памфиловна, окончив разговор с полковником Судаковым, выходила в это время из полковой канцелярии 170-го запасного полка. Писаря привстали со скамеек и почтительно кланялись, но гордая Ольга Памфиловна ни на кого не оборачивалась. Она смотрела прямо перед собой,

а в спину ее, лихо прищуриw даглый, смеющийся глаз, смотрел, не отрываясь, первый герой — Кузьма Крючков.

2

— Счастлиwо!..— на прощанье сказал Константинову полковник Судаков, перекладывая пальцами колбасу на бутерброде. В другой руке полковник держал блестящий от масла столовый нож; масло текло по толстым пальцам полковника.— Помните, прапорщик, вы новый член нашей семьи; помните, что вы тысяча первый, и не отставайте в доблести от тех тысяч, которым уже обязана славой наша родина.

Слова эти показались Константинову неприятными и лживыми, и, спускаясь по ступенькам барака канцелярии, Константинов чувствовал себя человеком, порывы которого кто-то перебрал сейчас замасленными волосатыми руками.

«Завел граммофон!»

Ступеньки барака были круты, и шашка Константинова стучала о промерзлые доски.

«Меня учит, а сам, конечно, в тылу останется!»

В дверях ротных барачков стояли дневальные. Завидя прапорщика, они испуганно хлопали заиндевевыми ресницами, вытягивались и неумело брали под козырек. Какой-то маленький косоглазый солдат, выбежавший из-за угла нестроевой роты и неожиданно столкнувшийся с Константиновым, под козырек взять не успел. Откинув голову назад, он остановился и, пытаясь опустить руки по швам, беспомощно и жалко перекосил плечи, погоны на которых выгнулись и поднялись вверх, как ручки корзины.

— Послушай, как пройти в офицерское собрание? — спросил его Константинов, но солдат не понял вопроса. Он быстро переставил ноги, опять задергал веками и, растопырив, наконец, пальцы под козырьком, в отчаянии уставился на Константинова. Локоть солдата прыгал.

— Десятой роты, ваше благородие! — хрипло крикнул унтер-офицер, выбежавший на крыльцо ближайшего барака и, вероятно, решивший, что косоглазый солдат остановлен офицером за неотдавание чести.— Татарин, ваше благородие, сил никаких нет!.. Локоть, учу, идол!.. Локоть!..

— Локоть, учу, идол!..

«Ну, заварилась каша»,— растерянно подумал прапорщик Константинов, но, решив, что унтер-офицер по уставу, пожалуй, и прав, оставил солдата-татарина и пошел наугад к просторному белому бараку, над входом в который висели гирлянды из ельника.

— Локоть!.. локоть куда! — все еще хрипел за спиной Константинова унтер-офицер, уже подбежавший к солдату-татарину.— Выше локоть! Косой черт, дьявол уфимский, идол!..

А дверь барака, нарядно разукрашенного ельником, то и дело весело отворялась, и молодые прапорщики, на ходу натягивая перчатки, сбегали, смеясь, на притоптанный снег.

— Мишка! Мишка!

— Мои маршевики... А ты не думал?..

— Ты куда вчера мою девочку увел, Мишка? — перебивали друг друга молодые голоса прапорщиков.

— Девяносто первая маршевая рота уже ушла?..

— А у вас много татар?..

— В роте?

Пошел ку-пать-ся Уверлей, лей, лей! —

пел кто-то, удаляясь,—

О-ста-вив дома До-ро-тею, тею, тею.

— Ага, наконец-то Серега! — услышал Константинов и увидел прапорщика Дергачева, быстро и ловко спрыгнувшего с перил крыльца офицерского собрания.

С собою пару, пару, пару пузырей, рей, рей
Берет он, пла-вать не у-ме-я.

Прапорщику Константинову тоже стало вдруг весело, и, окруженный офицерами, он уже не заметил солдата-татарина, который шел куда-то вдоль стены соседнего барака, придерживая щеку растопыренной ладонью. Иногда солдат оставался, сплевывал на снег и шел дальше. На снегу за ним оставались красные пятна.

— Думаешь, я в гостинице валандался? — рассказывал прапорщик Дергачев, когда минут через десять прапорщик Константинов пошел с ним по направлению к городу.— Я в это время комнату снял. Здорово? А? Я, брат, повернусь — три дела сделано! Здорово? А?

Последний барак 170-го полка стоял возле моста, ведущего в город с левого берега реки Домашки. Барак был окружен походными кухнями. Над котлами кухонь подымался пар. Неясные, расплывчатые тени пара скользили по снегу, набегали на ведра, в которых лежал картофель, и вдруг обрывались, наткнувшись на острую прямую линию густой синей тени, падающей от крыши барака.

— Ах, какая комната, какие люди!.. Дед, например, наш будущий хозяин, или бабка...— продолжал прапорщик Дергачев.— Подожди, а вот Анюту, племянницу, увидишь!.. Стройная, как елочка, а глаза — звезды!.. Я вхожу, а она у окна... Занавески опущены... читает...

Вокруг кухонь бродили солдаты в грязных передниках поверх шинелей. Поодаль блестели вычищенные черпаки, воткнутые в снег деревянными ручками. Черпаки торчали длинными рядами и были издали похожи на частокол, увешанный горшками и кастрюлями. За черпаками стояла толпа угрюмых людей. Мужчины курили длинные трубки с закоптелыми фарфоровыми чашечками и из-под спутанных нависших бровей молча смотрели на котлы солдатских кухонь. Женщины и ребятишки держали в руках котелки.

— Немцы,— кивнул в сторону толпы прапорщик Дергачев.— Это наши колонисты, высланные сюда из прифронтовой полосы. Тут народу всякого гибель, прямо завались!.. Вот эти еще, например... видишь?.. На фронт их везут. Окопы рыть... Видишь?..

По другую сторону Чечулькиного моста, на который уже взошли прапорщики Дергачев и Константинов, неподвижно стоял рослый сарт. Мех его широкого воротника, с краев запушенный снегом, спускался треугольником к цветному поясу. Бронзовая грудь сарта была открыта. На нее тоже налетел снег.

— Что, Абдурахман, скучаешь? — хлопая сарта по плечу, говорил чумазый молодой сапожник, поставив на снег высокие, белые колодки.— Из Ташкента, говоришь, прибыл? А далече?..

К мосту с Самарской улицы спускалось еще несколько сартов.

— Да скажи хоть слово одно!..— просил сапожник.— Вот, гляди, еще твои Абдурахманы да Ахмаджаны идут. Не из татар будете?.. Да скажи хоть слово!

Увидя земляков, сарт возле моста по-детски заулыбался, радостно крикнул, и все сарты — разом и перебивая друг друга — заговорили быстро, точно стеля что-то по снегу, разводя перед собой опущенными руками.

— А рядом в комнате дед...— вспомнив про Анюту, вновь заговорил прапорщик Дергачев.— Слышу: «Ксюша, а, Ксюша!.. Анютку-то нашу по отчеству величают». Тут Анюта закрывает Бебутову — истрепанная такая книжка,— конфузится, а Ксения Захаровна, хозяйка то есть, смеется за стеной и самовар над столом трясет, чтоб уголья в трубе осели.

— Да будет, Павлуха! — улыбнулся прапорщик Константинов. — Тебе не от дергача — от воробья род бы вести. Будет! Вчера вот женщину одну я встретил. Тоже языком, что клювом по прутьям клетки... Болтливая...

— Ты мне про женщин сейчас не говори! Я про Аю-ту... К слову, а не слышал ты про убийство? А?.. Солдата убили... Что?..

За куполами Тихвинско-Богородицкого девичьего монастыря ползли тучи. Края туч блестели под солнцем.

Сарты свернули за угол. Оставшийся на мосту сапожник поднял со снега колодки и, еще раз взглянув вслед сартам, вдруг рассердился.

— Тоже люди! Тьфу!.. — плюнул он и растер снег ногою.

3

— Нет безусловного упорства!

— Поручик, оставьте военное дилетантство. Мы не учли глубокой зоны фронта отражения атаки, — спорили офицеры штаба 10-й дивизии.

— Полковник, у вас своей набивки? Месаксуди? ¹

— Ваше превосходительство...

— А я говорю, размещение резервов...

— Адъютант, оставьте!

— ...имеет решающее значение. Бесспорно!

— Резерв, резерв!.. Немцы нас резервом вытурили?

— А нет?..

— Резервом?..

Успокоившись, офицеры штаба дивизии сели наконец за преферанс, а разбитые полки продолжали глухо отступать на новые позиции. 39-му Томскому полку посчастливилось. Его отводили в дивизионный резерв.

...Этой ночью звезд в небе не было. Снег на дороге, по которой проходил третий батальон 39-го Томского полка, был изрыт артиллерией и обозами. Дорога кружилась, путаясь среди низкорослых, кривых сосенок, и батальон шел не в ногу, растянувшись и перемешавшись ротами. 12-я рота, идущая тыловым походным охранением, нагоняла 11-ю. Два пулеметных охраняющих отделения 12-й роты обогнали всю колонну и шли, перемешавшись с 9-й, головной.

— Мороз опять задирать начал! — говорил кому-то в конце 9-й роты ефрейтор Зерно, брэнча за спиной котелком,

¹ Сорт табака.

с которым никогда не расставался.— Казенные шкуры проймают, своя греть не станет. Чайку бы для подбодрения духа!..

— Ушли от жары да пальбы, и слава богу! — ответил кто-то, не оборачиваясь.— Чайку бы тебе живой рукой да еще сахару положить с полстаканчика?

— Вприкуску тоже можем!

— Знаю!

Прапорщик Рябой шел, опустив голову. За ним, так же молча, шел ротный. Прапорщик Рябой все время чувствовал его за собой, но оборачиваться не хотел. Он угрюмо смотрел на чьи-то сапоги, неуклюже хлопающие по снегу сбитыми каблуками, и думал о сапогах прапорщика Лбовича, которые дергались вчера вечером на носилках, точно прапорщик Лбович хотел встать, искал ногами опору, но найти ее никак не мог.

«Ранение в живот»,— думал прапорщик Рябой, не в силах побороть странного ощущения, точно он не идет, а медленно и безостановочно падает, лишь в силу необходимости представляя за собой ноги. «Ранение... в живот».

«Ранение в живот — самое гнусное ранение»,— пытался он довести свою мысль до конца, но, усталый, никак не мог этого сделать и только повторял снова: «Ранение... ранение в живот»...

— Смотри, остановились будто? — вдруг опять сказал перед ним кто-то и, кажется, остановился, перестав нырять в темноту круглой, черной спиной. Каблуки на снегу поднялись и вновь опустились.

— И вправду остановились.

— В поле?

— А то в избу тебе нужно? На печь? К бабе?

Прапорщик Рябой тоже остановился. Мимо него, проплыв плечом куда-то в сторону, прошел ротный.

— В чем дело? — крикнул он, скрываясь за спинами, над которыми, торча в стороны, еще раскачивались черные штыки.

— В чем дело? — крикнул прапорщик Яковлев.— Прапорщик Рыжик, привал?..

Ротный, давно не куривший, а потому, как и все офицеры, хмурый и сердитый, давно уже хотел нагнать батальонного и узнать, куда отводят роты и долго ли еще качаться по этим рытвинам и сугробам. Он ничего не ответил прапорщику Яковлеву и, качаясь от усталости, побрел к батальонному, молча толкая на пути солдат.

Батальонный командир капитан Нождаков и поручик Викштрём, как всегда, ссорились. Они стояли на каком-то

бугорке, возле пня, торчащего из-под снега, и, почти касаясь папахами, бросали в лицо друг другу оскорбления и колкости.

— А в башке... Что в башке?.. Труха?.. Ну и молчите, умного все равно не скажете!.. Сыплет, сыплет!.. Заткните, ради бога, ваш желтый клюв!..

Но поручик Викштрём не хотел молчать.

— Куропаткины!.. Опять Куропаткины!.. Опять отступать?.. В Озераны?..

— Карл Двенадцатый какой отыскался, подумашь!.. Стратег неожиданно-негаданный!..

— Но в Озераны?.. Зачем в Озераны? — не унимался поручик Викштрём, никак не желавший понять, отчего дивизия, потерявшая не так уж много, выведена из боя и отводится на позиции 16-го года.

— Зачем резерв в Озераны? А фронт?

— Зачем? А я знаю, зачем? Садитесь в штаб, шведские спички! Шипит, шипит, дымит, воняет! Форс коромыслом, а сам — зайчиком, зайчиком всегда в обоз! А?

В это время батальонный увидел прапорщика Рыжика и, довольный, что может сорвать раздражение на новом человеке, вдруг, как баба, подбоченился и далеко назад откинул корпус.

— Вы, шляпа с чемоданом, прапорщик Рыжик! — закричал он, не обращая внимания на солдат, всегда довольных, когда достаётся офицеру. — Путешествовать, должно быть, вышли? Да? В мечтах идете: офицеры ваши на ходу голых красавиц во сне видят, а солдаты курят, как у себя за околицей! Что?

Прапорщик Рыжик взял под козырек. Он знал, что в роте его сейчас никто не курил, но знал также, что отвечать батальонному сейчас не следует.

— Курят! Курят! — не унимался тот. — Курят под носом у неприятеля!

— Господин капитан! — ответил наконец прапорщик Рыжик. — Разрешите... Это прапорщик Рябой, то есть не он, но он вконец распустил свой взвод... Разрешите, я уже несколько раз вам докладывал, просил то есть...

— Вы!.. Что вы просили? Вы, ябеда, откомандировать его просили! В картишки он с вами не дуется — вот что! — так я его в тыл, в резерв чинов убрать должен? На диван?.. Чтоб с бабами в обнимку лежал? Чтоб роты вашей не портил?.. Анархизма бы, господи помилуй, не сеял!..

— Капитан! — возмущенным шепотом вмешался поручик Викштрём. — Капитан, неудобно!.. Солдаты...

Вероятно, и сам капитан спохватился. Несколько мгновений он молчал, отрывисто дыша хриплой, простуженной грудью, наконец дернул подбородком и опять крикнул, уже обернувшись к ротам:

— Вы там, эй!.. Чего дураками стоять? Сказано, при-вал! Прапорщик Рыжик! Прапорщик!..

Прапорщик Рыжик, решивший ничего у батальонного не спрашивать и уже незаметно отошедший было в сторону, вновь остановился.

— За порядок в роте отвечать будете вы, прапорщик! В колонии Озераны придете ко мне! Не умеете тянуть, вас учить буду!

— Слушаюся, господин капитан! В Озеранах...

А в то же самое время в колонии Озераны,— где в пустых каменных домах немцев-колонистов, высланных в глубь России, уже расположились на ночь хозяйственная часть полка, обозы первого и второго разряда и полковой околоток, развернутый в полевой госпиталь,— умирал раненный в живот прапорщик Лбович.

Прикрытый овчиной, он лежал в помещении школы на низких парусиновых носилках и смотрел на потолок, на котором качались два пятна двух оплывших сальных свечей, с трудом доставленных сегодня из дивизионной лавочки.

Но ни потолка, ни желтых пятен прапорщик Лбович не видел. Лохматый ласковый Барбос, которого Лбович помнил с тех пор, как самого себя, тыкался в его колени теплой мордой, потом клал ее на низкий край постели, на стеганое красное одеяло и дышал добродушно и по-стариковски. Лбович шарил по одеялу рукой, хотел нащупать морду собаки, но почему-то никак не мог ее отыскать. В другом конце комнаты, за мертвой полосой тишины, кто-то бродил, мягко и неслышно. Очевидно, бродила мать. Она всегда — лишь в доме кто-либо заболел — надевала эти мягкие войлочные туфли.

— Барбос! Барбос,— повторял прапорщик Лбович.— Барбоска!..

И вдруг Барбос сорвался с места и побежал. За Барбосом, с визгом разрываясь, побежала темнота. Она бежала, путаясь в красных и желтых острых полосах. Но красные отставали... Вот бежала уже одна только желтая. Она нагоняла Барбоса. Сейчас, сейчас нагонит! Желтое острие визжало. «Барбос, Барбоска!..» И вдруг Барбос рванулся вверх, покатился, как подстреленный заяц, упал, и желтая полоса, сверкнув, рассыпалась..

Падали мелкие, сухие капли.

Лбович прислушивался. Над клумбами всходил табак. Белые цветы неслышно распускались. Казалось, прапорщик Лбович мог бы лежать так и прислушиваться без конца, но сухие капли перестали сыпаться. Войлочные, мягкие туфли матери еще раз попытались перейти мертвую полосу тишины, все шире и шире расплзающуюся куда-то, но перейти ее они не могли. Еще два шага... три — и шаги оборвались.

— Кончился! — подойдя к носилкам, сказала тихая сестра в черной косынке, села на табурет и устало вытянула ноги в огромных мягких валенках.

Вошел врач.

— Пить!.. — просил с соседних носилок вольноопределяющийся Курбан-оглы.

ЖИЗНЬ В БУЗУЛУКЕ

Прапорщик Викторов, офицер с легкой горбинкой на носу, жил в гостинице Галочкина.

Когда веселая горничная с белым платочком на голове вынесла на подносе остатки холодного ужина, прапорщик Викторов подошел к окну, вынул изо рта папиросу и, взглянув на первые вечерние огни Бузулука, вдруг сказал, ни к кому собственно не обращаясь:

— Друг, алчбы моей не осилить!..

Слово «алчба» ему понравилось, но «друг» — показалось пошлым. Прапорщик Викторов не хотел иметь друзей и гордился своим одиночеством.

— Мое гордое одиночество!.. — опять повторил он, опустил в кресло и, повернув вполупорот голову, посмотрел на себя в темное зеркало. — О, вершины моего одиночества!.. Куда мне еще подняться и откуда смотреть на мир?..

Бузулук за окном начинал в это время свою вечернюю жизнь. Над входом в кинотеатр «Триумф» зажглись лампочки. Еще не открывший своей конторы нотариус Нежданов, недавно приехавший из Самары, шел в «Народный дом» читать третью лекцию из цикла «Религиозная драма Достоевского». Военнопленный австрийской армии, чех Ян Крунчак, как всегда, незаметно пробирался к вдове станового пристава. Под окном ее дома он остановился и стал смотреть, как в ворота бузулукской уездной тюрьмы вводили какого-то солдата.

«Странно, отчего не на гауптвахту? — подумал чех.— Какая все-таки варварская армия!»

И, обернувшись, он дважды стукнул в окно.

Никому другому в городе не пришло в голову думать над тем, отводят ли солдат в тюрьмы или на гауптвахту, а потому никто, кому встретился на улице окруженный конвоирами солдат, не обратил на него особого внимания. Офицеры 170-го и 244-го полков гуляли в центре города — на Оренбургской, прапорщик Константинов пил чай в столовой Петра Арсентьевича и арестованного солдата тоже не видел.

В столовой, или попросту в самой просторной комнате одноэтажного кирпичного домика Петра Арсентьевича, за четырехугольным дубовым столом, ежедневно несущим на себе не менее пяти самоваров и тяжесть многих пар плотных и спокойных локтей, ели обильно и обильно разговаривали. Впрочем, в этот вечер Ксения Захаровна вынесла из кухни большее число ложек, блюдце и чашек, чем это понадобилось. Гости почему-то не собирались. Разговор за столом никак не мог оживиться; он то и дело обрывался, было даже слышно, как шипят и тикают стенные часы, и Петру Арсентьевичу, час назад убравшему со двора глубокий снег, все время хотелось встать и пойти на кухню, чтоб подремать, прислонившись спиной к теплой выбеленной печке. Он, конечно, и сделал бы это, если б за столом не сидел их новый квартирант, прапорщик Константинов, которого Ксения Захаровна в первый раз пригласила сегодня к вечернему чаю.

Кроме самих хозяев — Петра Арсентьевича и Ксении Захаровны, молчаливой Анюты, не подымавшей глаз со дна чашки, где медленно кружились черные чайники, и прапорщика Константинова, тоже малоразговорчивого, за столом сидела еще какая-то тетка Маланья, толстая, немолодая женщина с очень энергичными, почти мужскими губами, точно готовыми каждую минуту прорасти усами.

— Где калач брали, Ксения Захаровна? Хороший калач! И дорого платили? — басом говорила она, отхлебывая с блюдечка чай.— Десять? Это дорого, Ксения Захаровна, я за фунт девять плачу. Копейка рубль бережет.

Прапорщик Константинов поставил стакан и тоже хотел сказать что-то, вероятно, что бузулукский калач называется в Петрограде просто ситным, но тетка Маланья подняла на него глаза и молча зашевелила толстыми сердитыми губами.

— Петр Арсентьевич,— продолжала она, когда прапорщик Константинов, ничего не сказав, вновь потянулся к ста-

кану.— Петр Арсентьевич, а Тюлеген Казанганов, сапожник-то ваш, и подметок подбить как следует не умеет. И какие могут быть киргизы сапожники! Сапожник должен быть русским.

Тетка Маланья опять отхлебнула чай и крикнула, как купец после водки.

— Анюта, ты, слава богу, дома еще, не в Самаре в фельдшерско-акушерской школе! Нечего по вечерам на Оренбургской с товарками верти-хвосты толкаться! Видела я, все видела!

Над столом горела висячая лампа. Ровный свет ложился на пробор Анюты и тихо стекал по ее тугим косам, падающим через спинку венского стула. За спиной Анюты начинался полумрак. Рассеиваясь по комнате, бледный свет лампы едва доплывал до стен комнаты, и только на квадратных стеклах, под которыми висели похвальные листы Анюты и ее аттестат об окончании гимназии, играли и поблескивали слабые желтые пятна.

«И когда это Павлуха придет?.. Анюта давно уже дома, а он по Оренбургской рыщет, ищет ее, бегаёт»,— подумал прапорщик Константинов и вдруг увидел, как Петр Арсентьевич, взглянув через стол, медленно и торжественно разгладил бороду, а молчаливая Анюта, вдруг улыбнувшись, закрыла рот огромной чашкой, сплошь усыпанной васильками. Замолчала даже тетка Маланья, убрав со стола тучные, круглые локти.

— Ольга Памфиловна! — услышал Константинов одиноко прозвучавший взволнованный голос Ксении Захаровны, тоже обернулся и увидел новую гостью, ту самую высокую, строго одетую даму, которая от лица местного «Дамского комитета» жаловалась недавно полковнику Судакову на госпожу Иванову, воодушевленно кивавшую пленным австрийцам.

— Ольга Памфиловна!..— уже суетилась Ксения Захаровна, торопливо склонившись над самоваром и быстро раздувая худые, морщинистые щеки.— Вот не ждали радости такой!.. Как здоровье вашего мужа, Ольга Памфиловна?

На лоб Ксении Захаровны взлетел пепел и несколько черных угольков повисли на седых волосах.

— Мороз на улице, а вы не побоялись! Вот уж спасибо, Ольга Памфиловна! Вспомнили!.. Чайку? Анюта, придвинь чашку!

Но Ольга Памфиловна не хотела чаю. Чем-то возмущенная, она не ответила даже на вопрос о здоровье мужа, оправила на плечах столичное черное кружево и села за стол, прямая и решительная, как первая женщина-адвокат, не-

давно помещенная на страницах какого-то попавшего в Бузулук московского журнала.

— Убили! — вдруг без всяких вступлений сказала она и в упор посмотрела на прапорщика Константинова, точно он, а не кто иной, был ответствен за убийство, о котором хотела она сейчас рассказать. — Убили!..

Дед опять кашлянул, тетка Маланья тяжело и медленно повернула к ней голову, но никто за столом не удивился и не спросил: кого? И только Ксения Захаровна, вероятно в угоду Ольге Памфиловне, быстро перекрестилась, забыв, что в течение одного только сегодняшнего дня она крестилась уже раз десять, с раннего утра слушая рассказы соседа о подробностях этого убийства на дороге к Спасо-Преображенскому монастырю.

— Теперь, наконец, выяснено: убили солдата!

Опять никто не удивился. С сегодняшнего утра всем в городе было уже известно, что убитый оказался солдатом 244-го полка. И опять только Ксения Захаровна, не желавшая обидеть Ольгу Памфиловну, повторила за ней как эхо:

— Солдата!.. Время какое!.. Царица небесная!..

— Убили, как разбойники! На широкой дороге. Ночью. Убили солдата Федора Хрещова, семейного!

В окно бился колкий снег. Кто-то на улице горланил песню. Вышел первый ночной сторож, не со свистулькой, как в Сызрани, а с колотушкой. Сторож стал бить в колотушку, и пьяная песня оборвалась.

— Сейчас ждем из округа военного следователя, — продолжала Ольга Памфиловна, — судебный следователь сдаст ему дела. Господи, накануне праздника «Дня героя» — и вдруг убийство! Я была у полковника, то есть у обоих полковников, и по мере моих сил была им полезна. Ведь это же ужасно — даже здесь, в Бузулуке, находиться под ударами немцев!.. Анюта!..

Ольга Памфиловна еще больше выпрямилась. Казалось, она встала со стула и даже поднялась на цыпочки.

— Пожалуйста, выйди, девочка!

Анюта встала. Коса ее побежала вдоль спинки стула и, соскочив с нее, тяжело упала на платье.

— Ну?.. — жадным густым шепотом спросила тетка Маланья, вероятно догадавшись, зачем Ольга Памфиловна выслала Анюту. Она придвинула стул и посмотрела на Ольгу Памфиловну, открыв толстые губы, ставшие вдруг влажными. — Ну, и что вы сказали? — Стул под теткой Маланьей скрипел. — Что вы сказали полковнику?

— Мы не дети и знаем, что эта, например, всем нам известная колонистка, эта Марта Гартен будит, простите, животные чувства в наших солдатах! Уберегите наших солдат от разврата! — вот что сказала я полковнику.

— Видела — они за ней, как кобели... Видела! — кивала головой тетка Маланья. Стул под ней скрипел все сильнее.

— Далее сказала я: австрийцы, господин полковник!.. Они ходят по Бузулуку, по вечерам толкуя с колонистами, любят, простите, их женщин, ревнуют...

— Благодарю вас, Петр Арсентьевич! — вдруг перебил Ольгу Памфиловну прапорщик Константинов и встал, поклонившись. — Нет, Ксения Захаровна, благодарю вас, я не хочу больше. Я погулять...

— Ревнуют... — продолжала Ольга Памфиловна, ни на кого не обращая внимания. — А главный германский штаб... даже здесь... умеет найти... даже в Бузулуке...

Завернув в пустой переулочек с одноэтажными косыми домишками по одной стороне и с глухим дощатым забором, сплошь исписанным мелом, — по другой, прапорщик Константинов спустился, наконец, к крутому берегу тихой, запыленной снегом Домашки.

Далеко по его правую руку чернел Чечулькин мост, прямо по другую сторону — офицерский барак 170-го полка. Солдатские бараки утопали в темноте, и только окна офицерского еще светились и тревожно мигали сквозь пролетающий снег. Снег падал косой, он летел справа налево, а потому квадратики окон, мигая, плыли слева направо. Иногда, глухо разбиваясь о тишину, со стороны офицерского барака доносились выстрелы. За бараками, далеко над рекой Самарой, им вторило эхо. Это жившие в общежитии офицеры, не вышедшие в город, били из наганов по пустым бутылкам.

«Тоже занятие!..» — подумал прапорщик Константинов и, отойдя от Домашки, увидел перед собой какого-то офицера, кажется, прапорщика Викторова 15-й роты. Не сгибаясь, он шел возле низких стен избушек, пропадал в темноте, вновь подымался над сугробами, подходил то к одному, то к другому окну и широким, медленным жестом — по-кавалерийски — подымал руку к папахе.

Вот прапорщик Викторов прошел мимо публичного дома, под воротами которого стояли два солдата с красными повязками вокруг рукавов. Солдаты стояли, облокотясь на винтовки; увидя прапорщика Викторова, они посторонились

и стали «смирно», но прапорщик Викторов в публичный дом не вошел.

— Понажми! Нажми-ка на дверь! — услышал прапорщик Константинов, выйдя на следующую улицу. — Одна, поди, спит! Какая баба в мужике не нуждается!..

Пригнувшиеся плечи солдат легли на узкую черную дверь косога дома.

— Кричать не будет. Зачем ей кричать? — глухо повторял солдат, плечо которого гнуло старую жесть обшивки дверей. — Мы по-любовному...

— Втроем неопасно, гарантироваться втроем можно... Постой! Не шибко стучи — спужаешь! А ну! Зови теперь, да слышь, поласковой!

— Марта! Эй, Марта! — стал хрипло звать один из солдат. — Марта, послушь! Открой, прошу, двери! По-хорошему просим!

Тут солдаты увидели прапорщика Константинова и, тяжело застучав сапогами, скрылись в темноте, а Константинов, вновь загнув за угол, опять увидел прапорщика Викторова, который, только что постучав в какое-то окно, неподвижно стоял, скрестив на груди руки. На окнах дома не было ставен. Над стеклом крайнего окна висели длинные бородатые сосульки. За сосульками было темно. Но вот за окном закачался бледный неровный свет. Газета за окном, натянутая вместо занавески, осторожно приподнялась, и сквозь ледяные узоры на стекле в глаза прапорщика Викторова сердито уставилось сонное, желтое лицо полуплешивой седой старухи. Серые, жестокие глаза прапорщика Викторова все еще были широко открыты, а черные зрачки, огромные, как у кокаиниста, глядели неподвижно.

— Простите, — не видя Константинова, обратился он к старухе отчетливо и громко. — Не к вам ли сюда залетела... синяя... п-п-птица?

Свет свечи за окном испуганно отступил, а прапорщик Викторов рассмеялся. Потом, увидя Константинова, он замолчал, сжал губы и посмотрел на него, как смотрит на собаку человек, не знающий, толкнуть ее ногой или, не обращая внимания, пройти мимо.

— Марта, Марта! Послушь!.. — опять звали за углом солдаты.

...А прапорщик Дергачев уже вернулся домой и стоял в темных сенях. В углу блестели круглые глаза кота Тимошки. За порогом стояла Аня. Она водила ладонью по вы-

шитому краю полотенца, которое висело у нее через плечо, и смущенно улыбалась.

— Выслать всех колонистов! — все еще говорила за дверью Ольга Памфиловна. — Выслать, и в Бузулуке вновь будет спокойно. Вот что посоветовала я полковнику!.. А на счет праздника мы порешили... День героя...

Из столовой вышел Петр Арсентьевич.

— Ходит, ходит, рукавицей машет!.. — сказал он, позевывая. — А почему? Дела у ней липовые — вот почему!

И, тоже войдя в кухню, он позвал за собой кота Тимошку.

ЛОХМАТЫЙ ЧЕРТ

1

Прошло еще несколько дней. В штаб 10-й пехотной дивизии прибыли английские ручные гранаты Лемона.

Если б 39-й Томский полк стоял на позиции, командировки в штаб добивались бы решительно все офицеры полка, но полк все еще стоял в колонии Озераны, никто не хотел терять несколько дней отдыха, а потому за гранатами послали прапорщика Рябого.

Круглое зимнее солнце давно уже опустилось за лес; лес стоял хмурый и черный, и только на стволах деревьев на опушке медленно шевелились красные полосы света: возле опушки горели костры.

Обозник Иванов и рядовой Полотеров грузили сани тяжелыми, гладко выструганными ящиками. Несколько писарей и ординарцев штаба, вылезших из землянок, стояли поодаль и, безучастно наблюдая за работой, пытались прочесть на ящиках непонятные английские надписи. Разбитая обозная лошадь, запряженная в добротные сани, вероятно брошенные колонистами в Озеранах, стояла неподвижно. Передние ноги лошади были в коленях согнуты. Грузные, широко расставленные оглобли саней тянули ее к земле, и казалось, она собирается устало опуститься на колени. С ближайшего костра несло дымом. Не подымая головы, лошадь изредка фыркала и дергала поротыми ушами.

— Незавидная кобылка! — взглянув на острые колени лошади, сказал молодому канониру бородатый казак с серьгой в правом ухе. Казак и канонир сидели у костра, дым полз по их лицам, оба они мигали, но от костра не отворачивались. — Была и у меня гневной масти, грива — взрвет, огонь!..

Канонир поднял ржавый согнутый шомпол, брошенный кем-то на снег, ткнул им в костер, повернул несколько угольков и медленно придвинул их к банке с мясными консервами. Консервы зашипели.

— Была и у нас в батарее. Чтоб приглядная, не скажу, а любил за характер. Убил ее герман...

Канонир помолчал, свернул сигарку и продолжал, опустив шомпол в снег, талый возле костра.

— Был ей конец под Новоставом на Липе, а вот все приметы в полной подробности помню... тоскую... Иверень на левом ухе, под седелкой подпарина...

— Ужин готов, придвигайся,— перебил его казак.— А гляди вот, офицер идет, тоже вразмет грива... Не погладили в штабе!

Офицер, вышедший из леса, был прапорщик Рябой. Он сошел с тропинки, протоптанной от хлебопекарни к штабу дивизии, подошел к костру и прислонился к красному стволу дерева. Волосы выпали из-под его папахи, тень волос ползла по лбу и по скулам, и лицо прапорщика Рябого казалось черным, как у цыгана.

— Можно ехать? — спросил он, обернувшись к Полотерову.

Но Полотеров и обозник Иванов, окончив погрузку саней, пили чай из каких-то больших горячих банок, и прапорщик Рябой не хотел их торопить. Он вынул из кармана письмо, только что полученное в полевой почтовой конторе, вскрыл конверт и повернул на свет костра розовый листик почтовой бумаги. Бумага тотчас же стала красной, а уголки ее зашевелились под ветром. Казалось, письмо вспыхнуло.

— Серьезный! — шепотом сказал канонир.

— Жук! — ответил казак, и оба опустились на корточки и, выдвинув из костра банку с консервами, склонили к ней головы.

«За что? За что? За что терпеть, страдать, жить по указке чужих людей? За что все это? Скажи? — читал между тем прапорщик Рябой.— Неужели только за то, что когда-то я тебя полюбила и верила тебе, Александр?.. Я знаю, что тебе тоже тяжело, но о любимом человеке думают и в тяжелые минуты. Вот Ирина Ивановна, говорят, опять от мужа с фронта четыреста рублей получила, Акулина Степановна, не офицерская, а всего-навсего подпрапорщика жена, и та двести без малого, — а мне последние нервы тратить и вечно выкручивать мозги! Думаешь, бездетная, так и забот по мне нести не обязан? Ну, хорошо, ну, хорошо, и слава богу, что не

народила тебе ублюдков и ничем с тобой не связана! Думаешь, очень ты мне нужен?»

Прапорщику Рябому казалось, он не читает письмо, а слышит визгливый голос вдруг разошедшейся жены. Вот сейчас она подойдет к нему вплотную и крикнет, брызжа в лицо слюной: «Думаешь, мне легко?»

«Думаешь, мне легко? — действительно прочел он. — Так не пеняй же, я продам твой письменный стол, книжный шкаф с книгами и кресло-качалку. Если ты не бережешь меня, я не хочу беречь твои вещи. Ты опять скажешь, что я ни с кем не могу ужиться, — ну и пусть, мне все равно! Знай, что по причине раздора с твоей двоюродной дурой я бросаю наконец это идиотское дело с гостиницей и уезжаю из Сызрани. Тебе безразлично куда — это безусловно. Ты даже не пишешь мне и, должно быть, не читаешь моих писем. Я не так жестока, как ты думаешь, а потому не буду тебя упрекать, но одно скажу: я за тебя боялась, я дрожала за тебя, я ночи, может быть, не спала в тревоге о тебе, а ты молчишь, не пишешь, молчишь и, насмехаясь над всеми моими лучшими чувствами, бросил меня на произвол судьбы. За что, Александр?..»

...Мимо костра прошел солдат-пекарь. Пробежала юркая черная собачонка с желтым поднятым хвостом. Она подбежала к канониру, поймала брошенный кусок мясных консервов, но обожглась и вновь уронила мясо.

— Смотри, с тыла заходит! — улыбнувшись, сказал какой-то писарь.

Черная собачонка подошла к мясу с другой стороны, вновь подняла его и так же быстро убежала за хлебопеком.

— Значит, лес сплавляли? Хорошее дело! — опять продолжал казак. Серьга в его ухе тихо раскачивалась и горела медно-красным огнем.

— Дело-то хорошее, да прибыли мало!

Канонир вытер рот рукавом грязной шинели.

— За годы войны, к примеру, смела вода с берегов всю древесину. Унесла батькин доход, а у соседа запань разорвала, снасти размела. Голодали...

— Известно, не уберегли.

— Я в батраки, а тут война объявилась. Вернусь, заново начнем; пожениться, конечно, следует. В избе без бабы не жизнь. И не работа...

— Оно, конечно. К хозяйству...

Опустив недочитанное письмо, прапорщик Рябой слушал казака и канонира, но понять, о чем они разговаривают, он почему-то не мог.

Канонир плевал в огонь. Красная серьга в ухе казака раскачивалась и горела. Три хлебопека, следуя друг за другом, несли на спине мешки с хлебом.

— Раздатчик! Раздатчик!..

Потом возле землянок засуетились писаря.

— А сахар?

— В котелок? Сколько вас, ребята? Восемь?

— В папаху сыпь, чай в котелках варим.

Прапорщик Рябой обернулся, стал смотреть на писарей, хлебопекон и раздатчиков, и вдруг ему показалось, что они говорят, ходят и живут по ту сторону той необъятной пустоты, которая потопила на своем дне и гудящий под ветром лес, и костер, и синий снег, и красные низкие пни.

— Александр Мартыныч!..

Прапорщик Рябой вздрогнул, и странное ощущение его опять рассеялось.

— Где встретиться-то пришлось, Александр Мартыныч!

Опять пробежала юркая собачонка.

— Александр Мартыныч. Вы в тридцать девятом? — кричал какой-то врач и быстро шел к костру, спрятав подбородок в бобровый воротник бекешы. — В Томском? И я туда же, представьте! Ну, старина, ах ты обезьяна лохматая, ну, здравствуй!..

Врач подошел к костру, и только тогда прапорщик Рябой его наконец узнал. Это был доктор Гумич, с которым он встречался когда-то, будучи еще студентом.

...Забытое на снегу письмо Варвары Николаевны одиноко кружилось под ветром. Оно хотело подняться и улететь от костра, но канонир проткнул его шомполом и поднял над огнем. Когда письмо вспыхнуло, канонир чему-то обрадовался и вдруг засмеялся.

— Пойду-ка в штаб. Может, готов мой пакет, — сказал казак и тоже встал, стряхнув снег с шинели.

Широкие черные сани 39-го Томского полка ползли к лесу. Вдоль снега — от ствола к стволу — крался мороз. Догорели последние костры, и писаря опять разбрелись по землянкам.

Одна бутылка из толстого темно-зеленого стекла была еще не раскупорена. Пробка второй лежала возле стакана, в котором ханжа была мутно-белая, как молоко, разбавленное водой. На закоптелой сковороде среди желтых кусков недоеденной яичницы лежали две вилки.

После долгих месяцев поручик Викштрём был, наконец, вполне доволен квартирой, которую отвели квартиреры ему и батальонному командиру. Здесь, в этом доме, нашлись не только постели, сковорода, вилки, стаканы, но и ведро, в котором можно было, наконец, вымыть ноги. В сенях на полках денщики отыскивали даже уют и молотый желудевый кофе. Вероятно, уезжая из Озеран, немцы-колонисты не смогли захватить с собой всего своего домашнего скарба, а проходившие колонню воинские части еще не все успели разграбить.

Было утро. Капитан Нождаков и поручик Викштрём только что позавтракали. На поручике была светлая гимнастерка, сапоги его были вычищены, а галифе хорошо выутюжены. Красный кантик стоял, точно натянутый на каркас.

Поручик сидел на табурете и, положив ногу на ногу, держал в руках «Новое время», с большим запозданием доставленное сегодня в батальон.

«Из австро-германского плена,— вслух читал он,— прибыла очередная партия русских инвалидов. Встретить и передать...»

— Опять почему зря рухлядь возят! — перебил капитан, поднял со стола пробку и сердито ткнул в нее окурком папиросы. — Знать, угля много, девать некуда!..

Окурок зашипел, потух и упал на стол рядом с пробкой.

«Встретить и передать августейший привет,— продолжал поручик Викштрём,— на распределительный пункт Финляндского вокзала прибыл состоящий при особе государя императора генерал-адъютант барон Мейендорф...»

— Немец, конечно! Гутен-морген, наше вам с кисточкой!

Забыв на мгновение, что он швед, а не немец, поручик Викштрём хотел было обидеться, но сдержался и, подняв глаза, опять повернулся к газете.

«После раздачи высочайше пожалованного пособия а также нательных крестиков, присланных в благословение от государыни императрицы Александры Феодоровны, и святого Евангелия, присланного...»

Тут капитан размахнулся и вдруг ударил о стол ладонью.

— Нет, довольно! — крикнул он, и пробка перед ним подпрыгнула. — Евангелие!.. Евангелие посылают, когда им уставы нужны — гарнизонный, полевой, стрелковый!

Поручик Викштрём опять удивленно выглянул из-за газеты.

— Но, позвольте, зачем инвалидам уставы, капитан?..

Вероятно, ханжа, выпитая капитаном, только сейчас начала действовать. Глаза капитана быстро мутнели. Губы отвисли, длинные усы растрепались, а голова тяжело качалась. Поручик понял, что капитан начнет сейчас кричать и будет ругаться, как мастеровой в подвале, но сдержаться он уже не мог: он был оскорблен за императрицу Александру Феодоровну.

— Государыня императрица знает, что посылать своим войнам, капитан!

— Государыня императрица знает, что немцам своим посылать! Деньги она посылает!

— Капитан!..

— Государыня императрица ничего не знает — Распутина она знает!

Поручик Викштрём даже выронил газету.

— Капитан!..

— Она, государыня императрица, мо-нар-ха на побегушках держит, вот!

— Капитан!..

— Государь император Распутину блюдá подает. На чай от него получает! Вот!

— Капитан!..

— Государь император...

— Я к вам, господин капитан. Разрешите?..

Капитан Нождаков повернул голову, уставился на остановившегося в дверях прапорщика Рыжика и стал тяжело думать: крикнуть на него или не стоит?

— Вы меня звали, господин капитан? Разрешите?.. — опять повторил прапорщик Рыжик, уже готовый убрать улыбку.

Но капитан не кричал — он все еще молча смотрел на прапорщика Рыжика, и улыбка застыла на сморщенном лице прапорщика. Капитан не помнил своего разговора с адъютантом, но чувствовал, что прапорщик Рыжик в чем-то ему помешал, и пытался припомнить, в чем именно. Потом он увидел длинную и хрупкую, как яйцо, голову адъютанта и решил, что помешал ему именно этот несносный адъютантик с белой головой, точно в скорлупе, а не прапорщик Рыжик, который и сам не дурак выпить.

— Садись! — приказал он, качнулся к столу и упал ладонью на пробку.— Садись! Снимай шинель! Расправь же, черт возьми, плечи!

«Опять начинается!..» — с тоскою подумал поручик Викштрём, не любивший, когда в его присутствии слишком много пили, особенно этой вонючей белой жидкости, от которой, говорят, можно даже ослепнуть. Он осторожно протянул руку через стол и прикрыл газетой мутно-белый стакан. Но батальонный смахнул газету на пол, а когда поручик Викштрём опять потянулся к бутылкам, поймал его за рукав.

— Не мешай! — крикнул он и толкнул адъютанта.— Хочу и буду!.. Швед на птичьих ножках! Цыпленок! Трясогузка! Зяблик!

...На снегу возле дверей школы лежали мерзлые кровавые бинты, похожие на красные стружки. Глубокие борозды огибали колодец, стоящий перед учительским домом, потом, уже прямые и ровные, они тянулись вверх по улице и, блестя под солнцем, терялись за далекими снежными холмами, с севера обступившими колонию. Возле колодца бродили две вороны. Одна из них тянула за собой бинт, другая открывала клюв и каркала.

Ночью под Смыковым шел бой. Обоз с ранеными прошел через Озераны утром, как раз в то время, когда капитан Нождаков и поручик Викштрём ели яичницу. Раненых встретили солдаты. Они обступили обоз, остановившийся возле школы, и стали искать земляков.

— Костромских, а?..

— Тверской губернии, может?.. Земляк, а земляк!..

Двоих раненых, маленького татарина и рослого рыжего солдата в огромных сапогах, тоже рыжих от крови, понесли на последние сани обоза. Сани скрипели. Кто-то стонал, тоже хрипло и коротко, как сухая доска под тяжестью.

— Уезда какого, какой волости?..

— Ольшанской?..

— Витебских?

— Нема здесь витебских, самые хохлы в санях.

— Для скорости, видно, сунулся,— рассказывал солдат с забинтованными ногами.— Спилил мне пальцы, кобелы! Зараз спилил. А надо ли — нам неизвестно.

Потом под внезапный стон раненых полозья саней опять заскрипели. Долго и бестолково подпрыгивая, две сестры в солдатских валенках вскарабкались на последние сани,

а молодой врач, любуясь своей ловкостью, вскочил на высокого коня.

— Повезли машинки в починку! — крикнул вслед обозу ефрейтор Зерно и пошел к ротной кухне, куда в этот день был назначен дежурным.

Солдаты тоже разошлись по домам и стали сдирать с петель внутренние двери.

Вскоре над трубами всех домов за клубился дым. Солдаты готовили чай.

Кроме личной обиды, которую при прапорщике Рыжике нанес своему адъютанту батальонный командир, поручику Викштрёму было обидно и то, что капитан, вчера уже согласившийся было со всеми его доводами, сейчас опять махнул на все рукой. Как будто он, поручик Викштрём, офицер беспорочной службы, думал адъютант, может говорить о чем-либо, что не стоит ровно никакого внимания! Как будто он, поручик Викштрём, уже несколько раз не говорил капитану, что такой офицер, как прапорщик Рябой, бог весть зачем сторонящийся всех офицеров, не может служить верой и правдой, как служит, например, он, поручик Викштрём, которого для секретных бесед даже вызывают иногда в штаб корпуса.

«Чудак, если не больше!.. — повторял поручик Викштрём, бродя по улице колонии. — Инвалидам устава, а подозрительными офицерами своего батальона заняться — так нет! — бог у него троицу любит, дом какой-то без четырех углов не строится!.. Говорит: по маленькой, а четыре стакана выпил! Все русские такие!»

Так думал, дойдя до южной окраины колонии, поручик Викштрём, а в северном конце улицы, возле низкой кирпичной ограды широкого двора, где стояли ротные кухни, опять уже собирались солдаты. На дворе горел костер. Кашевары, кухонная прислуга, ефрейтор Зерно и дежурные по кухням других рот собрались палить тощую свинью, вчера вечером подстреленную за пустыми амбарами колонии. Но длинная туша свиньи все еще лежала в красной ямке оттаявшего снега. Ефрейтор Зерно, бросив возле костра черную обгорелую метлу, что-то настойчиво кричал солдатам, но солдаты за оградой продолжали смеяться.

— Гляди! Гляди!

— Споткнется!

— Не галдите, ребята!.. — кричал ефрейтор Зерно. — Ваше благородие, господин доктор, ваше благородие!

Бурый дым над костром почему-то не подымался. Вот он опять лег подле огня, прямо на лужу талого снега. Ефрейтор Зерно отбежал куда-то в сторону, опять крикнул, и солдаты возле ограды вновь увидели прапорщика Рябого, потом Полотерова и прибывшего с ними незнакомого доктора, растерянно размахивающего руками.

— Отойдите, ваше благородие! Ваше благородие! — испуганно глядя в глубь улицы, кричал ефрейтор Зерно, но прапорщик Рябой его не слушал.

— Лягу!.. — повторял он упрямо. — Лягу!.. — и, качаясь, пытался лечь на костер.

Доктор Гумич хватал его за руки, Зерно держал за шинель, шинель сползала с плеч, рукава ее были натянуты, а над огнем — по всей земле — уже кувырчался дым, и искры в дыму бились под стук бегущих теплушек.

— Лягу!.. Не лягу! Стой! — все громче кричал прапорщик Рябой, отчетливо видя теплушки, которых почему-то никто вокруг него не видел.

— Гляди!.. Гляди, ребята! — кричали солдаты за оградой. Рябому казалось: они кричат из теплушек.

— Куда лечь-то хочет? В огонь?

— В огонь лечь хочет!

— Чудит!

— Чудит? Пьяный!

— Ложись! Пусть ляжет!

— Не ляжет!

— Лягай!

А теплушки все шли и шли. Прапорщик Рябой не видел рельсов, но знал, что теплушки бегут через поле на Луцк, Ровно и Рожище. «Ребята!» — хотел он крикнуть, но кричать не успевал: теплушки быстро мелькали.

— Гляди! Гляди!

— В огонь!

— Ложись!

— Лягай!

— Ваше благородие! Ваше благородие!

— Пусть ляжет! — кричали солдаты, а в открытых дверях всех теплушек хохотал ефрейтор. Он хохотал, дергал, гнул, ломал гармонь и смеялся в лицо Рябому.

— Ребята, назад! Куда?..

«Приказано!» — кричал ефрейтор, и веселая гармонь, ухая, весело перекликалась с колесами. «Приказано!»

— Черт бы драл приказы! Назад! — крикнул, наконец, прапорщик Рябой, рванулся и стал хвататься руками за горящие колеса.

- Упал!
- Лег!
- Свалился!

К ограде, по которой быстро, как тень колес, бежали чьи-то красные тени, хлынули новые солдаты. Там — над красной тенью — мелькали папахи, фуражки и козырьки. Под козырьками хохотали бороды, усы и рябые плоские лица.

— Разойтись! — вдруг крикнул кто-то, и бороды, усы и рябые плоские лица сорвались с забора. Белое бритое лицо адъютанта, на мгновение поднявшееся над забором, тоже сорвалось вниз, а ефрейтор Зерно быстро дернул бровью.

— Ваше благородие! Ваше благородие...

Прапорщик Рябой понял: бровь ефрейтора куда-то указывает, но лицо его было испуганно, а потому прапорщик Рябой начал снова кричать и ругаться.

...«Чтоб пить с такой звериной жадностью!.. Разве я знал?.. — подумал доктор Гумич, незаметно для подбегавших офицеров перейдя через улицу.— Заварил теперь кашу!.. Какой-то черт в нем сидит, в лохматом!» Потом, от испуга уже совершенно протрезвев,— он еще раз обернулся.

— Приказываю разойтись! — кричал над потухающим костром бритый офицер с белым лицом эстонца над золотыми погонями.— Разойтись! Прапорщик! Прапорщик Рябой, я приказываю!

А прапорщик Рябой, черный и лохматый, уже медленно подымался со снега, опять падал и кричал что-то про смерть, приказы, армию и родину.

«Ну, ну!.. Лохматый черт какой-то!» — повторил доктор Гумич и быстро пошел к саням, все еще стоявшим за колонией.

Наконец прапорщика Рябого подняли со снега и, по приказанию поручика Викштрёма, понесли в низкий темный дом с забитыми окнами.

— Так!.. — крикнул поручик Викштрём.

Потом дверь закрылась. Стало еще темнее. Прапорщик Рябой, утомленный, лежал на полу. С пола дуло.

И вдруг вся прошлая ночь, неслышно разворачиваясь, опять медленно поплыла мимо прапорщика Рябого. Вдоль снежной дороги побежали быстрые дубы и березки. Белые стволы бежали быстрее черных. Они выбегали из глубины

леса, но черные двигались им навстречу и вновь оттесняли их вглубь. С веток в глубине леса порошил снег, ветки тоже плыли куда-то черными волнами, они тихо склонялись и касались сугробов, из-за которых неслышно подымались одинокие солдаты. Солдаты смотрели на прапорщика Рябого, не поворачивая головы, провожали его сквозным, ничего не видящим взглядом и опять, не сгибая туловища, так же медленно опускались на снег.

— Ах ты, лохматая обезьяна, а помнишь университет? Помнишь? — где-то очень высоко на ящиках говорил и смеялся доктор, а одинокие солдаты, упавшие на снег, вновь подымались и цепью шли вдоль леса. Они шли, не стреляя, и только прапорщик Лбович, который бежал перед цепью, все время испуганно вскидывал винтовку.

— Ах ты, лохматая обезьяна! Спишь? А помнишь?..

Выстрелов не было слышно, а теплушки, забежав за стволы деревьев, мелькали все быстрее и быстрее. Рослый веселый ефрейтор в дверях одной из теплушек играл на гармонии. Гармонь ухала глухо, как далекая снежная буря.

— Спишь?..

— Я не сплю! — испуганно моргнув, ответил доктору прапорщик Рябой, и теплушки пропали за стволами.

— Слушай! Это же черт знает!.. Проснись,— привезем в полк ледяшку!..

А цепи перед прапорщиком Рябым опять поднялись. Прапорщик Лбович перед цепью рос быстрее других. Он уже не стрелял, а волочил за собой винтовку, держа огромную ладонь другой руки на животе. Пальцы ладони вздрагивали и медленно разжимались. Прапорщик Рябой знал: сейчас они разожмутся, по пальцам поползет густая черная кровь, а прапорщик Лбович присядет на корточки и завоет, протяжно и долго, как, должно быть, завывала гармонь, подъезжая к Луцку.

— Проснись?.. А знаешь, что у меня в чемодане!.. Слушай!..

Но прапорщик Рябой не слушал доктора. За цепью, почему-то крадучись, шла сестра. Вот она подошла ближе, хихикнула, и прапорщик Рябой узнал Варю. Пусть она сидит у окна, думал он, там в Самаре на Садовой и слушает, как на чердаке скребутся ручные голуби. Под окном прошел поп. «Хорошо-с! — сказал он и улыбнулся.— Обвенчаем!» Но прапорщик Лбович наконец закричал; белые и черные стволы разбежались в стороны, а испуганные голуби полетели над Самарой. Падал пух. «Выпьем! Хочешь? Пьешь?» Доктор Гумич — высоко на ящиках с ручными гранатами — смеялся.

«Выпьем!.. Хочешь? Пьешь?» Доктор взмахнул бутылкой, протянул ее и поднял бровь. Бровь постоял, насторожившись, и вновь упал. Лицо попа улыбалось. Спирт обжег рот. «Пьешь? Здорово!» — смеялся доктор Гумич. «Пьешь? Здорово!» — смеялся поп. У попа была борода, как у рядового Смурова.

— Ваше благородие, никакой пользы, одна буза!.. Зачем пили-то? — вдруг уже очень внятно сказал рядовой Смуров.— Огурца вот кислого нет. Принести что, може?.. Ваше благородие!..

— Молчите! — кричал кто-то за стеной, кажется поручик Викштрём.— Молчите, капитан!.. Ваш пример!.. Ваш!..

Опять закрылась дверь. Стало тихо. Сквозь тишину поплыла темнота. Темнота плыла в одну сторону, а в другую — навстречу темноте плыл пустой бровь воротник доктора Гумича.

II

СИНЯЯ ПТИЦА

1

— Белое платье можно носить и зимой. Ах, оставьте, Раечка!..

— Жаль, что шпор не нацепишь! Наткнешься на полковника — взгреет.

— А знаете, полковник в калошах ходит!

Молодой прапорщик рассмеялся.

...Опять прошло несколько человек. Пушистые боты двух барышень торопливо простучали по снежной панели.

— Дуняша, ведь только две ленты, и совсем не вульгарно. Обе — светло-палевые. Одна ниже талии, другая — выше...

— Затолкают! Не беспокойтесь, не следует зря беспокоиться! — повторял другой барышне подпоручик Карликов, высокий офицер в синих брюках навывпуск, как у писаря. — Предусмотрено. Впрочем, идемте, Зиночка, в гимназию. Туда нижних чинов пускать не велено. Базар в пользу их семейств. Лотерея-аллегри.

— Но я хочу в театр. Там дивертисмент, конфетти, танцы...

— Анюта, вы скоро?

Дожидаюсь Анюты, прапорщики Дергачев и Константин стояли возле крыльца. По Уфимской прошла молодежь ближайших кварталов, но Анюта все еще не выходила. Ксения Захаровна делала ей в сенях последние наставления:

— А еще в Самаре косы срезают. У нас слышать не было, но будь, Анюта, осторожна. Где очень толкают, не ходи. Деньги держи в кулаке. Злые люди...

— Но я ведь с офицерами!.. Кто меня обидит?..

— Анюта, вы скоро? — опять крикнул прапорщик Дергачев, оборачиваясь.

Наконец Анюта вышла.

Для празднования «Дня героя», по образцу георгиевских гуляний в столицах устроенного в Бузулуке «Дамским комитетом помощи воинам и их семьям», были отведены женская гимназия, реальное училище и здание «Народного дома».

— Сотни рублей собрано! С бору по сосенке...

— С миру по нитке...

— Ольга Памфиловна, говорят, одних бутербродов на тридцать рублей пожертвовала.

— Что вы!..

— Муж ее, бедняга, и тот в кресле работал. Клеил, мастерил, вырезывал...

— Вот уж всех заставит!.. — забыв про убийство на дороге к Спасо-Преображенскому монастырю, про военного следователя, остановившегося у начальника гарнизона, полковника Пробкина, и про все другие городские дела, уже за неделю до праздника волновались бузулучане.

— А вы не знаете, полковник Судаков будет?

— А он танцует?

— Тоже интерес танцевать с Судаковым и с Пробкиным! — весь сегодняшний день болтали барышни в универсальном магазине Киселева, где тонкоусый подвижной приказчик, ловко орудуя аршином, отрезал голубые, розовые, светло-палевые и темно-сиреневые шелковые ленты.

— Конфетти, танцы!

— Восхитительно! Дивертисмент! Я больше всего люблю дивертисмент! Я не дожусь!.. Скорее бы вечер!

И вот наступил вечер.

Прапорщики Константинов и Дергачев и Аня уже подходили к зданию «Народного дома». Два солдата на крыше расчищали от снега двухсаженный Георгиевский крест, сколоченный из досок, выкрашенных наспех охрой за неимением золотой краски. Третий солдат, сидевший свесив ноги на самом краю крыши, тянул из-под снега широкую Георгиевскую ленту, сшитую «Дамским комитетом» под личным руководством Ольги Памфиловны. Один конец ленты был прибит к Георгиевскому кресту, другой должен был развеяться над подъездом, но ветра в этот день не было, лента мертво лежала на крыше; вдобавок с пяти вечера выпал снег и ленту засыпало.

Ольга Памфиловна стояла под пожарной лестницей, по которой солдаты взобрались на крышу.

— Осторожно, голубчик, тяни осторожно! — просила она, задрав голову. — Голубчик, для себя ведь работаешь! Голубчик!

Ольга Памфиловна казалась растерянной. В лазарете «Союз городов № 132», где до сегодняшнего дня встречалась она с солдатами, разговаривать было так легко и просто. Раненые всегда с благодарностью принимали от нее леденцы и махорку, почтительно выслушивали все, что она говорила, а один из них — Ольга Памфиловна этого никогда не забудет — даже сказал ей как-то, проводив до двери палаты: «Много просветления принял я через вас, барыня!»

Но этот солдат на крыше, вероятно, не знал, сколько любви собрала она в лазарете, сколько леденцов и пачек махорки раздала она раненым, а потому грубил и не хотел слушать ее распоряжений. Ольге Памфиловне хотелось заплакать от обиды, и, чтоб избежать новых оскорблений, она, начавшая с приказаний, перешла вскоре на просьбы.

— Голубчик, осторожно!.. Порвешь!..

Солдат на крыше болтал в воздухе ногами. Солдат смеялся. С подошв его падал снег.

— Сами залезайте, коли порву. Подсобить не прикажете? Залезете?

Вокруг Ольги Памфиловны стояла толпа праздных солдат. В толпе тоже смеялись.

— Осторожней, не упади! — продолжала Ольга Памфиловна, чтоб только не слушать вокруг себя этот крик и праздный смех. — Голубчик, ведь ты не пожарный!..

— Не упадем! Видали виды и не попадали!

И вдруг толпа, стоявшая вокруг Ольги Памфиловны, толкнула ее и куда-то двинулась. Кто-то кричал. Но как раз в это время Георгиевская лента на крыше выскользнула из-под сугроба, и Ольга Памфиловна не успела взглянуть, куда пошли солдаты. Упав в темноту, лента заколыхалась черными и желтыми полосами.

— Прекрасно, прекрасно, голубчик! — воскликнула Ольга Памфиловна, кивнула солдату и, опустив голову, увидела в дверях подъезда главного распорядителя, который, подняв перед собой обе руки, махал ими, точно провожая кого-то на вокзале.

— Прошу назад! Назад! — кричал он солдатам. — Стойте! Да стойте!..

Но солдаты шли прямо на дверь, толкались и кричали.

— Открой!

— Пусти!

— Начинается!.. — гудели голоса.

— Взводный, понапри, твоя сила!

— Назад! — кричал распорядитель. — Для нижних чинов отдельный ход! Вторая дверь со двора! Через бывшие артистическ-ие уборны-е!

Солдаты уже окружили распорядителя. Бородатый унтер-офицер, стоявший впереди других, опять хотел что-то крикнуть, но раздумал и запустил ладонь под папаху.

— Не такова наша честь, чтоб через уборные! — еще неуверенно сказал он и стал чесать голову. — Как солдат, так не в дверь значит, а через нужники!

— Не честь героям, чтоб через нужники! — подхватили солдаты, и толпа загудела.

— За отечество кровь проливаем!

— За веру...

Ольга Памфиловна опять вспомнила лазарет, леденцы и махорку, но опять почувствовала себя бессильной и растерянной.

— Голубчики! — все-таки крикнула она. — Вы не так поняли!.. Наш распорядитель сказал: через артистическ-ие уборные!

— Нам безразлично, чьи, говоришь, уборные!

— За веру...

— Которые из нас тоже с крестами! Тоже герои!..

— Крууу-гом! — крикнул вдруг какой-то молодой прапорщик с безусой заячьей губой, как раз в то время лихо соскочивший с извозчичьих саней. Он подбежал к солдатам и перчаткой наотмашь ударил по лицу бородатого унтер-офицера. — Чего объяснять! Назад! Какой роты? Что? Ворчать? Какой роты? Доложишь!.. Крууу-гом!

Свидетелями всего этого Анюта и прапорщики Дергачев и Константинов не были. Они давно уже вошли в подъезд «Народного дома» и медленно шли по лестнице, по которой подымались к фойе солдатские и офицерские шинели, бекеши, тяжелые шубы купцов и мукомолов, девичьи беличьи шубки и овчинные тулупы лавочников.

— Раздевайтесь, господа! За хранение вещей пять копеек в пользу сирот! — кричал внизу кто-то, но никто не раздевался, и визгливый голос второго распорядителя вскоре замолк под лестницей.

Вдоль стен фойе были расставлены одинокие пальмы. В углу, там, где на треугольной выбеленной полочке стояла гипсовая голова Вольтера, несколько лучших отборных пальм склоняли свои темно-зеленые пыльные ветви над столом, за

которым обыкновенно продавали шоколад и прохладительные напитки. Но сегодня буфет был устроен в центре театра, в зрительном зале, а на столе стоял нотариус Нежданов, в черном лоснящемся сюртуке и полосатых штанах, пузырями вздувшихся на коленях. Круглая полуседая голова нотариуса, намаженная и причесанная ежиком, прыгала и качалась на длинной шее, а белый галстук под небритым кадыком был грязно-желтого цвета.

— Это еще не тот триумф, которым по окончании сей победоносной войны благодарная родина наша сочтет долгом встретить своих орлов! — в пафосе кричал оратор, то хватаясь за галстук, то вновь разжимая ладонь.

Белая гипсовая голова Вольтера над ежиком оратора безмолвно и зло улыбалась.

— В разгаре великого зрелища,— продолжал оратор,— когда напряженное молчание прерывается взрывом неудержимых рукоплесканий, чтоб снова смолкнуть и вновь со страстным биением сердца дать возможность следить за великой, святой развивающейся трагедией...

— Читали! И про биеие и про трагедию! — вдруг перебил его кто-то.— В «Новом времени» писано! Будет кричать-то!

Но оратор был увлечен и никого не слушал.

— И пусть под тяжким впечатлением удельных смут, наказанных татарским игом, пусть сложилась былина о том, что перевелись на Руси герои...

— Читали! В столицах писано!

— Пусть! Но в нашей действительности, более чем сказочной, они, богатыри, эти...

— Жи-вы-е кар-ти-ны!.. — приложив ладони к тонким усикам, опять крикнул приказчик, весь день продававший ленты в магазине Киселева.

— Кузьму Крючкова!..

— Белого генерала давай!.. — закричала вслед за ним толпа в фойе и на всех лестницах.

— Скобелева!

— В театр пусти!

— Деньги плачены!

— Спик-та-кель!

Прапорщику Константинову было стыдно слушать оратора. Опять, как после слов полковника Судакова в первый день своего приезда в Бузулук, он испытал это странное чувство неловкости. Но, шамкая о родине, полковник жевал бутерброды, толстые пальцы полковника и столовый нож в руке блестели тогда от масла. «Чем же теперь объяснить это чувство? — думал прапорщик Константинов.— Пошлыми, как

в трактире, пальмами?.. Грязным галстуком оратора?.. Этими криками «Спиктакель» и «Деньги плачены?»»

— Дивертиссмент! — продолжала кричать толпа.

— Танцы!

— Белого генерала!

— Пра-пор-щик Кон-ста-нти-но-ов! — сквозь нетерпеливые настойчивые крики неожиданно услышал Константин, повернул голову и вдруг увидел Варвару Николаевну. Она стояла на стуле возле дверей зрительного зала, держала в руках голубые и розовые билетки и хихикала, не сводя с Константинова смущенных, прищуренных глаз. Рядом с ней стоял подпоручик Карликов.

— Прапорщик Константин! — кричал подпоручик Карликов. — Пробирайтесь сюда! Вами здесь интересуются!..

— Дивертиссмент!..

— Танцы!..

2

Прапорщик Константин не знал, ушел он из театра от оратора или от Варвары Николаевны.

На площади перед театром длинными рядами стояли извозчицьи сани, съехавшиеся сюда со всех концов города. Увидя седока, все извозчики разом дернули вожжами. Длинные прямые ряды саней выгнулись, потом распались, и вокруг Константинова заплясало черное живое кольцо.

В воздухе кружились белые хлопья. Бороды извозчиков кивали из темноты белыми широкими пятнами. С тощих хребтов лошадей бесшумно падали мягкие пласты снега.

— Пожа... пожалуйста!..

— Куда изволите?.. — щелкая кнутами, наперебой предлагали извозчики. Раздвигая морды лошадей, Константин вышел на площадь и, завернув налево, бесцельно пошел по темным улицам, сгребая на ходу снег с подоконников и полными ладонями вновь бросая его в темноту.

Пробежал мальчишка.

Вот, обогнав Константинова, прошел военнопленный австриец, кажется, чех Ян Крунчак. Вдали мутно белели стены уездной тюрьмы. Всплывали звезды.

Константин остановился и поднял лицо. Ряд низких звезд над косой крышей плыл сквозь волны теплого пара. Константин взглянул в окно, увидел грязные столы, на столах — миски, чайники и чашки. Пахло щами. За дверью, открытой настежь, кто-то лихо отплясывал под басы баяна. Плясавший сбросил пиджак. На черном жилете, хлопая о жи-

вот, сверкала толстая золотая цепочка с красным огромным брелоком. Красные рукава рубахи летали в воздухе, и казалось, рукава эти защищаются от кого-то или гонят на улицу пар.

Опять пробежал мальчишка. Под стеной тюрьмы бродил часовой. Подняв зябкие плечи, Ян Крунчак стоял под воротами, за которыми ржаво гремели засовы. Вот вышла толстая женщина в форменной полицейской шинели внакидку. Женщина улыбнулась, дотянулась до подбородка че-ха, опять улыбнулась и наконец дотянулась до его губ.

«Нет, благодарю покорно!» — сразу же подумал тогда прапорщик Константинов, вспомнив Варвару Николаевну, Сызрань, номера Серебряковой и Варвариной, постель в бантиках, на которую Варвара Николаевна поминутно садилась, красные бусы и лодочку-ладонь. Варвара Николаевна хихикала, кивала: «Сюда, прапорщик!.. — говорила она. — Что же вы?.. Вы любите полумрак? Вам со мной не скучно?..»

— Нет, благодарю покорно, затевать роман с этой соломенной вдовушкой!.. — повторил Константинов и остановился, увидя, что дошел уже до Чечулькиного моста.

«Что ж, поужинаю!» — решил он тогда и не торопясь спустился с моста к баракам.

Часовой под темной стеной тюрьмы посмотрел ему вслед и, вновь достав из-под рукава короткую сигарку, затаился, спрятав огонь в кулак.

«Вероятно, сегодня опять без ужина! — подумал в одной из камер тюрьмы солдат 224-го полка Разживин, арестованный по подозрению в убийстве провокатора Федора Хрещова. — Что ж, спать, значит?..» — И, опустившись на грязную подстилку, он стал слушать, как гудит за решеткой ветер. Глубоко на улице запел пьяный голос.

Темнота над Домашкой клубилась вместе с низким снегом, поднятым ветром с берега. Снег летел к реке Самаре.

Од-на дев-ка Василиса
За Иг-на-шкой как пусти-ся!.. —

пел по ту сторону моста какой-то пьяный мастеровой. Прапорщику Константинову казалось: пьяный голос поет про него и про Варвару Николаевну.

«Ну ее к богу! А ведь туда же!.. На праздник!..»

Константинов не хотел слушать пьяной песни про себя и Варвару Николаевну, но низкий ветер, клубивший темноту и снег, нес ее за ним, не отставая.

«Удельные смуты, татарское иго, генерал Скобелев, возрожденный Ольгой Памфиловной Кузьма Крючков, кузькина твоя мать, а рядом она — соломенная вдовушка честного фронтового офицера: «Вам не скучно?» — и ладонь под морду: це-луй-те!..»

Пу-сти-ся, кума,
Пууу-сти-ся!
Пу-сти-ся, кума
Пууу-сти-ся!..

Прапорщик Константинов опять ускорил шаги.

Шесть длинных непокрытых столов офицерского собрания в этот вечер никем не были заняты. Только за круглым столиком возле последнего окна, где иногда обедал командир полка полковник Судаков, сидел дежурный по полку прапорщик Бесседелько.

«Непрерывная цепь счастья и благополучия без конца, — писал он, низко опуская голову при каждом нажиме пера. Иногда он поворачивался и смотрел, не несут ли наконец ужин. — Мне была адресована эта цепь, и я в свою очередь направляю ее Вам. Эта цепь была начата...» Здесь на мгновение задумавшись, прапорщик Бесседелько улыбнулся, потом написал: «в Мадриде» — и вновь в такт перу склонил голову. — «...одним испанским офицером, и она должна совершить дорогу вокруг света».

Тумба-тумба-тумба,
Мадрид и Лиссабон! —

запел он, самодовольно поднял голову и увидел вошедшего в собрание прапорщика Константинова.

— А! Дружище! Но отчего вы не на празднике? Были? Ну, как там? Весело? — И, кивнув вестовому, прапорщик Бесседелько поднял указательный палец, что означало: подать еще один ужин.

Прапорщик Бесседелько никогда никого не слушал, всех перебивал, сам же мог говорить без конца, затевая со всеми бесконечные, ничем не кончающиеся споры. Сегодня говорить ему еще не приходилось. Отбиваясь шашкою от собак, которые, точно зная, что он их боится, яростно на него бросались, он весь день одиноко бродил сегодня от барака к бараку, от гауптвахты к пороховому погребу и опять назад к баракам. Сперва он ждал вечера, когда офицеры начнут сходиться на ужин. Потом вспомнил, что в городе сегодня праздник, что

к ужину никто не придет, а потому с особой радостью встретил сейчас прапорщика Константинова.

— Вы знаете, прапорщик, о чем я сегодня думал? — заговорил он, видимо очень сожалея, что не мог попасть на праздник, а потому во что бы то ни стало желая это скрыть. — Я думал, что все эти праздники — для горничных, а не для офицеров. Прапорщик Викторов, например, на подобный праздник не пойдет, а ведь он офицер что надо!.. И я бы не пошел, тоже! А знаете, почему? Мне все равно — горняшка или княжна, с которыми я того... часто... Но знаете, отчего бы я не пошел на этот праздник?

Прапорщик Бесседелько замолчал и, взглянув на Константинова, стал торопливо придумывать, чем бы удивить его сейчас поострей и неожиданней. Глаза его беспокойно и растерянно мигали — в голову ничего не приходило, а прапорщик Константинов мог заговорить каждую минуту.

— Видели, как вчера на фронт маршевые роты уходили? — вдруг быстро спросил он, еще не зная, как связать маршевые роты с сегодняшним праздником.

Шли войска на войну...—

это стихи. Хорошие стихи? Что?.. Не перебивайте, а то я забуду.

Шли войска на войну,
Колыхались цветные знамена...—

А думаете, милы они моему сердцу — русские знамена? Да?

Тут только прапорщик Бесседелько понял, что сказал, пожалуй, не то, что следует говорить офицеру. Он испуганно замолчал, но сейчас же решил молодецки пойти наперекор своему же собственному страху.

— Были бы милы, да выцветут! — продолжал он, чувствуя себя человеком, быстро бегущим куда-то над обрывом. — Сегодня адъютанта, например, встретил. Шинель на одном плече, аксельбанты — серебро серебром, а душонка, будьте благонадежны, уже выцвела! Я, значит, к адъютанту. Подслушал, о чем полковник с Ольгой Памфиловной беседовали... ну, значит, к адъютанту. «Поручик! — говорю. — А правда? Где святая русская правда?» — «Правду немцы склевали, — говорит адъютант, — по зернышку!» — «А вы их по горлышку?» — спрашиваю. Прапорщик Константинов, какво? А?

— Да о чем вы?

Прапорщику Бесседелько показалось: он взбежал на качающийся выступ скалы, а кто-то под ним восторженно аплодирует.

— О том, что колонистов на днях вышлют! — вот о чем я... — сказал он и, подцепив вилкой лимон с лежащего на тарелке шницеля, вдруг бросил его о графин. Потом он перегнулся через стол и снизу вверх стал смотреть на Константинова.

— Кто солдата у монастыря убил? Кто? Известно? Нет!.. А колонистов вышлют! Пусть, мол, город думает, что колонисты убили, пусть город не знает, что выцветают русские знамена, что русского солдата, может быть, русский же солдат убил!.. Вот и заставь гармониста веселые мотивы наяривать!

— Вас не поймешь, прапорщик Бесседелько! При чем тут гармонист, какой? Тот, что в трактире... С баяном?..

— Вот видите, он уже в трактире! Воздуха русскому человеку нет! Правды нет!

Прапорщик Бесседелько не подумал, что стоял сегодня на Чечулькином мосту не вместе с Константиновым и что тот, конечно, не слышал и не видел солдата, игравшего на гармошке.

— О чем он играл, этот одинокий солдат? — продолжал прапорщик Бесседелько, уже впадая в лирику. — О чем эта солдатская песня, горькая, как водка? Ведь русскому человеку всякую былинку жаль! Так как же, думал я, колонистов, людей, гонять без толку? Как же?..

— Ну, это ерунда! Ерунду вы говорите, — перебил его Константинов. — Если какая-нибудь Ольга Памфиловна... Но чтобы полковник!..

— Посадят в вагоны и вышлют, — не слушая Константинова, продолжал прапорщик Бесседелько, — вышлют! — уже убежденно повторил он, чувствуя раздражение, что Константинов с ним не соглашается. — Всех, кого нужно, вышлют! Что?.. Вышлют, говорю! — вдруг крикнул он и в злобе вскочил, хлестнув ножами шашки о сапог Константинова. — Думаете, наших солдат на фронт возить можно, а немцев уже и не тронь? И пусть высылают!

— Но, прапорщик, вы же сейчас...

— Что я сейчас?

— ...обратное говорили!

— Ничего я не говорил! Где святая правда? — говорил. Русский солдат погулять вышел, в монастырь, богу помолиться, а его — хлоп! — и в снег кувырком! Может быть, немцы возле Чечулькиного моста пропаганду ведут, Вильгельма сухорукого хвалят, — так на них и на Вильгельма и суда нет? Русские знамена линяют, а нам, русским, глазами хлопать? «Где святая правда?» — спросил меня адъютант. Прапорщик

Константинов, я указал адъютанту, где правда! Святая правда в нашем рус-с-ком сердце!

— Ну-у, знаете!..

Прапорщик Константинов встал и взял со стола папаху.

— С вами говорить — все равно что навоз молотить. Толку никакого, одни брызги, и те воняют!.. Счастливо оставаться.

«Не прерывайте эту цепь,— минут через пять вновь уже писал прапорщик Бесседелько,— в течение четырех дней Вы должны иметь счастье...»

3

Резное крыльцо маленького домика Петра Арсентьевича было тоже занесено снегом. С крыльца сошел солдат с цифрой 244 на погонах. Отдав честь какому-то офицеру, очень напряженно и старательно, как делают это только кадровые полка или нестроевые, он быстро пошел по Уральской. Шевровые офицерские сапоги солдата на снегу не заскрипели, они мягко ступали по конфетти, разбросанному возле крыльца Анютой и прапорщиком Дергачевым, вернувшимися домой до окончания праздника. За рукавом шинели солдата белели казенные пакеты. Это был писарь.

А праздник в городе продолжался. За «Народным домом» беспрерывно хлопали и трещали ракеты. Вероятно, ракеты отсырели, они хлопали очень слабо, как детские пистоны, далеко не все вспыхивали, и за Чечулькиным мостом, возле бараков 170-го полка праздник уже не чувствовался.

— Но случись беда,— рассказывал кашевар под стеной последнего барака.— Полковой без перца любит, батальонный — обязательно чтоб с перцем. И оба, случись беда, за пробой повадились. «Как быть?» — думаю...

— Дяденька, налей в котелок.

— Подумал я, поразмышлял,— не слушая девочки, продолжал кашевар.— Наперчил одну ложку; прокипятил то есть с перцем, другую начисто вымыл...

— Лейте, дяденька. По-жа-луй-ста.

Кашевар взял котелок из рук девочки и опять обернулся к солдату, стоявшему возле походной кухни.

— Так с той поры и пошло, земляк. Как батальонный — наперцованную ложку достаю,— остается доволен. Полковнику, конечно, для чистоты вкуса — без всяких приправ.

Один котел, а угодил обоим, значит. Вот и удержался при кухне, не то бы с маршевиками на фронт и позиции.

Наконец, не торопясь, кашевар залез на дышло кухни, наклонился над котлом и, зачерпнув оставшийся с ужина борщ, опрокинул черпак над котелком девочки.

— Беги теперь, слышь! Не приказано вам казенный харч раздавать.

В бараках кончили играть вечернюю зорю. Пели «Отче наш», — потом «Спаси, Господи, люди твоя». Под быстрыми шагами девочки скрипел снег. Вот снег перестал скрипеть, и шаги стали гулкими: девочка взбежала на Чечулькин мост. Но на другом конце моста — в темноте — стоял какой-то мальчик, и девочка тоже остановилась. Она узнала мальчика; это он вырвал позавчера из рук у ней котелок и расплескал борщ по снегу. Вчера он тоже гонялся за нею, и она рассыпала кашу.

Девочка повернулась и, стараясь не стучать деревянными подошвами, вновь сбежала с моста.

«Бо-же, царя хра-ни...» — запели в бараках солдаты, а девочка, придерживая котелок обеими руками, стала спускаться на лед реки, думая, вероятно, в стороне от моста перейти Домашку. Но под ногами девочки затрещал лед, и мальчик на мосту ее увидел. Он ловко вскочил на обледенелые перила, взмахнул в воздухе руками и тоже прыгнул на лед.

— Уйди! — крикнула девочка, но, низко пригнувшись, мальчик бежал прямо на нее.

— Оставь меня! Не тронь! Мальчик!..

Мальчик пригнулся еще ниже, свистнул, схватил на бегу льдину и вдруг замахнулся. Кувыркаясь, льдина пролетела над плечом девочки.

— Прольешь!.. Мальчик!..

Опять полетели льдины. Девочка пригнулась, прикрыла голову локтями и вдруг увидела, как кто-то поднялся на мост и остановился возле перил.

— Дяденька! Дяденька!.. — присев над котелком, стала звать девочка. — Дяденька, помогите!..

Поднявшийся на мост офицер что-то крикнул, и мальчик, уже подбежавший к девочке, тоже увидел офицера. В последний раз залихватски и победоносно свистнув, он бросил льдины под мост и скрылся за его черными быками. Тогда девочка поднялась с котелка и стала всхлипывать.

— Лезь на мост, никто тебя не тронет, — перегнувшись через перила, сказал девочке офицер. — Боишься?

Над городом — по правую сторону Домашки — всходила луна. Несколько льдин, торчком вмерзших в реку, блестели синими и серебряными искрами.

— Ну, ну же! Не бойся, вылезай.

Держа котелок в одной руке, девочка долго не могла взобраться на крутой скользкий берег. За девочкой, тоже держа на весу котелок, медленно карабкалась тень.

«Поскользнется, расплещет...» — подумал прапорщик Константинов — офицер, остановившийся на мосту, — спустился к столбам набережной и взял котелок из рук девочки.

— Что, не пролила, милая? — спросил и вдруг почувствовал странную, еще робкую радость, точно не он, а его в первый раз за долгое время одарил сейчас кто-то ласковым словом.

— Куда тебе? Далеко?.. Хочешь, провожу?.. Боишься?..

...Прошли два солдата. За ними какой-то вольноопределяющийся с университетским значком поверх шинели, кажется Голиков, 244-го полка. С залитой луной Самарской спускались четыре прапорщика. Вероятно, они шли из «Народного дома». Прапорщик, идущий впереди, тянул за собою пестрые ленты серпантина. Его веселые спутники пытались нагнать ленты, толкали друг друга, спотыкались, но прапорщик с серпантинном был не так еще пьян, и пестрые бумажные ленты быстро и ловко выскальзывали из-под неуверенных, разъезжающихся ног.

— Эттт-о здо-р-р-рово! — крикнул один из прапорщиков, увидя Константинова. — Ужин навстречу несут!.. Закусон... Садись, ребята!.. Сал... сал... салфетку, холуй!

Прапорщик качнулся, заглянул в котелок, потом удивленно поднял глаза на погоны прапорщика Константинова, остановился и растерянно поднял к папахе руку.

— Ви-но-ват-т-т!.. Думали, осетрину несут... Мишка осетрину хочет... Ви-но-ват, прапорщик!..

И все четверо, опять смеясь, спотыкаясь и покачиваясь, пошли дальше. Ленты серпантина опять зашуршали по снегу.

...Наползала черная туча. Свет во всех окнах был потушен. Дома стояли, упершись друг в друга, и тень перед ними казалась сплошной и черной, точно забор. Здесь, по этим улицам и одиноким переулкам, Константинов когда-то уже бродил. Под этим вот окном прапорщик Викторов искал

«Синюю птицу», вспоминал он. Вот публичный дом. А здесь за углом...

— Нет, мама за ужином никогда не пойдет. Если б не... не...

«Что она, заикается?»

— ...если б не Grosspapa ¹, который научил меня ходить с котелком zu den Soldaten ²,— продолжала девочка, тихо кивая подбородком.

«Немка... Вероятно, колонистка»,— опять подумал Константинов и улыбнулся, вдруг вспомнив прапорщика Бесседелько, Ольгу Памфиловну и командира полка, полковника Судакова. «Нечего сказать, нашли убийц!..»

А девочка старалась говорить спокойно и сдержанно, вероятно, подражая кому-то из взрослых. Даже руку на груди она держала, как женщина, которая придерживает концы платка, наброшенного на плечи.

— Мой папá был тоже солдат. Вы тоже солдат и, наверно, слышали, что есть такой полк, пятьдесят Белостокский.

Константинов кивнул. Ему казалось, он говорит не с девочкой, а со взрослой женщиной. Женщина эта была разумна, и говорить с ней было легко.

— Но папá убили, и мама говорит, что ей теперь особенно больно... Der Schmerz ³... Вы понимаете?

Константинов опять кивнул.

— Мама говорит, что Grosspapa скоро умрет, weitere Strapazen ему sind nicht zu ertragen ⁴, а ехать все равно нужно, потому что мы немцы. Маму никто не слушает, а мой папá говорить не может, потому что он убит на войне.

В небо взлетела ракета. Она рассыпалась над крышами, бросив в черные тучи две темно-зеленые полосы.

«А эти-то... веселятся!» — подумал прапорщик Константинов и поднял голову, в злобе ожидая второй ракеты. Но вторая ракета в небо не взлетела. Крыши домов торчали черными углами, и злоба Константинова медленно осела, вновь сменившись тем чувством неясной и глухой тоски, которая погнала его из «Народного дома» на улицу.

Низкая дверь, возле которой остановилась девочка, была обита листовым ржавым железом давно отслужившей вывески.

¹ Дедушка (нем.).

² к солдатам (нем.).

³ Боль (нем.).

⁴ дальнейших тягот ему не перенести (нем.).

«Продажа овса, сена и месятки»,— скользнув по жести взглядом, прочел прапорщик Константинов перевернутые буквы, подал девочке котелок и, кивнув, пошел в темноту.

Девочка дергала за мерзлую ручку.

— До свиданья! — кричала она. — Besten Dank! До свиданья! — и кивала головой, опять серьезно, как взрослая.

Из дверей вышла колонистка Марта Гартен. Прикрыв плечи серым платком, она держала ладонь на высокой плотной груди и, медленно поворачивая голову, смотрела вслед Константинову, удивленная тем, что он не подошел и не схватил ее под локоть. Потом, высокая и спокойная, она склонилась над дочерью, и светлые волосы колонистки, упавшие на штопаный серый платок, бросили ей на плечи густую, тяжелую тень. Колонистка улыбнулась. Этот высокий солдат в чистой шинели шел немного покачиваясь. Но пьян он, конечно, не был. Об этом ей сразу рассказала бы ее дочь Гедвиг.

4

— Сергей Васильич, дама вас дожидается. И не здешняя... — встретила Константинова Ксения Захаровна и, выйдя из кухни, стала вытирать о передник руки, запачканные песком и гушей.

В сенях было полутемно. Из кухни несло горячим сухим запахом хорошо запеченной гречневой каши. На пороге, прислонясь друг к другу, стояли серые, стоптанные валенки Петра Арсентьевича. За ними дремал кот Тимошка.

— Пришли вечером,— уж прямо не знаю!.. Сидят, а уже и ночь скоро. Прямо не знаю!

В дверях столовой остановилась Анюта. Волосы ее были перепутаны длинными лентами серпантина. Три ленты, более широкие, чем другие, белая, синяя и красная, были переброшены через ее плечо. Вслед за Анютой вышел прапорщик Дергачев, еще в шинели, но почему-то в полном походном снаряжении. Он застегивал кобуру нагана и, склонившись над плечом Анюты, сдувал конфетти с ее затылка.

— Иди, Серега, иди, билетерша пришла,— сказал он и засмеялся.— Анюта в щель глядела: сидит, пудрится, встанет, опять пудрится...

Несколько бумажек конфетти залетели под косу Анюты, и Дергачев опять склонился над ее плечом.

— Что?.. Да не знаю я, что ей от тебя нужно. Меня в полк вызывают, писарь был, бегу... А вид у ней такой, что давай целоваться — и никаких!

Растерянное лицо Ксении Захаровны испуганно взглянуло на Анюту. Анюта смутилась: она только что улыбалась Дергачеву, который все еще делал ей какие-то знаки, досадливо указывая на белый казенный конверт, торчавший из кармана его шинели. У Анюты и Дергачева была своя жизнь, скрытая и от Константинова, и от Ксении Захаровны, и Константинов понял, что только Ксения Захаровна, пожалуй, с такой же растерянностью, как и он, переживает сейчас неприятный приход этой вечерней гостьи.

— Ладно, не задержу! — сказал он решительно и, не спросив, зачем так поздно вызывают в полк прапорщика Дергачева, вошел в комнату.

Варвара Николаевна стояла в углу и грела ладони о теплую печку. Она пришла к Константинову бодрая и решительная, но, не застав его дома, немного растерялась. Потом, услышав за дверью недовольный шепот хозяев, а главное, этот веселый девичий смех, вдруг почувствовала себя окруженной врагами, одинокой и жалкой. Побороть это чувство жалости к себе было очень трудно, а потому, когда прапорщик Константинов вошел наконец в комнату, она захихикала так нервно и торопливо, что Константинову даже показалось: она плачет.

— Рады? — наконец, овладев собой, спросила она тем голосом, который бывает у людей, готовых на все оскорбления. — Рады? — уже смелее повторила она, когда Константинов, очевидно, тоже смутившийся, неловко протянул ей руку. — Я видела в театре, как вы пытались ко мне подойти... Но эта толчея — не правда ли? Вы искали меня потом по городу. не правда ли?.. Вот и нашли!..

«Послушайте, что вам угодно?» — хотел спросить Константинов, но, ничего не сказав, опустил глаза, чтоб не видеть этой ладони с розовой ямочкой и голой теплой руки, которую ему еще в Сызрани хотелось схватить выше локтя и со злобой перегнуть, бесстыдно оголив провал подмышек, вероятно поросший рыжими курчавыми волосами.

— Что ж вы молчите, прапорщик? Вы были разговорчивей когда-то, право!

«Подожди, сейчас я тебе отвечу!» — в злобе подумал Константинов.

— Что?.. Опять ничего?.. Открыли рот и опять молчите, как рыба?.. Какой вы, право!..

Варвара Николаевна уже совсем освоилась и потому говорила все быстрее и непринужденнее.

— Вы даже не спрашиваете, навсегда я приехала сюда или на время?.. Помните, как в Сызрани вы забыли пред-

ставиться?.. — засмеялась она.— Но я и сейчас не сержусь на вас, прапорщик!..

— Кто указал вам мой адрес, Варвара Николаевна?

Варвара Николаевна опять засмеялась. Она поняла не так, как хотел прапорщик Константинов.

— О!.. Вам вовсе не следует этого знать! Вы будете ревновать!.. — воскликнула она и, погрозив розовым пальцем, вдруг опять захихикала.— Впрочем, пожалуйста, ревнуйте!.. Это очень интересно, когда такой юноша, как вы... такой юноша... а уже и ревнует! Подпоручик Карликов, вот кто выдал мне ваш скит и уединение. Но скажите, наконец, вы меня жда-а-ли?..

Варвара Николаевна уже несколько не сожалела, что пришла к Константинову.

«Прелестный, нетронутый юноша!.. — думала она.— Главное... нет, осторожность. Дразнить намеками...»

«Она душится под мышками!..» — брезгливо думал Константинов, продолжая смотреть на ее руки. А Варвара Николаевна села на кровать прапорщика Дергачева и тронула на висках мелкие завитки рыжеватых волос.

— У вас неуютно, а у меня в гостинице прелестная комната. Я у Галочкина остановилась,— продолжала она,— не комната, а рай! Вы когда-нибудь были в раю?.. В настоящем?.. В мучительно-сладостном?..

Константинов молчал. С тем же жадным и злым чувством, с каким он смотрел на голые руки Варвары Николаевны, он уже опустил глаза на ее ноги.

«Он живет не один,— думала между тем Варвара Николаевна.— Может быть, он боится хозяев. Сейчас он смотрит на мои ноги...»

Она подобрала ногу и вновь высунула ее из-под платья. На пряжке белой бальной туфли блестел розовый бисер.

«Должно быть, подвязки у ней тоже розовые»,— подумал Константинов и вновь смутился, рассердившись и на себя и на Варвару Николаевну.

— Но здесь холодно и неуютно! — заметив смущение Константинова, сказала тогда Варвара Николаевна и встала с кровати.— Уже очень поздно. Я живу в гостинице Галочкина. Проводите меня домой. Вот моя шуба.

Когда Константинов подавал шубу, ему тоже казалось, что победил не он, а Варвара Николаевна.

К городу со стороны низких окраин подступала метель. Вдоль берега Домашки, свернув к публичному дому, шел

ночной патруль. Два вооруженных офицера искали под Чечулькиным мостом дезертиров. По далекой Заводской улице — по направлению к 244-му запасному полку — быстро шел прапорщик Дергачев, внезапно вызванный на какое-то вновь введенное ночное дежурство, а прапорщик Константинов и Варвара Николаевна шли по Уральской.

Константинов молчал. Варвара Николаевна неслышно хихикала. Изредко поглядывая на Константинова, она думала о том, жить ли с ним открыто или только встречаться, как встречалась она, например, в Сызрани с зауряд-военным чиновником Арбузовым.

Пестрые бумажки конфетти, разбросанные вдоль панели, казались черными. В конце Уральской улицы, возле казначейства, горел далекий фонарь. Другой фонарь затухал на углу Самарской. Кто-то, еще очень далеко, шел по направлению к Оренбургской; кажется, офицер.

«Сойтись и жить открыто?.. Но ведь его все равно отправят скоро на фронт...— думала Варвара Николаевна, осторожно продевая ладонь под рукав Константинова.— Впрочем, если попросить Ольгу Памфиловну... Господи, какой судак! Опять молчит... Куда он смотрит? Кто это?..»

Но прапорщик Константинов смотрел не на офицера, который все ближе подходил к ним, а на новую черную вывеску над воротами против казначейства, точно эти глупые слова: «Продажа овса, сена и мясокостки» — могли сейчас кого-либо интересовать!..

— Вы знакомы с Ольгой Памфиловной? — вновь вернувшись к своим мыслям, спросила Варвара Николаевна, но прапорщик Константинов вдруг отдернул от нее свою руку.

— Прапорщик Виктор! — крикнул он, обернувшись к приближающемуся офицеру.— Прапорщик Виктор! — повторил он уже спокойно и сдержанно, когда высокий бритый офицер подошел к ним вплотную.— Простите, если я вмешиваюсь не в свои дела, прапорщик Виктор, но, кажется, вы искали недавно «Синюю птицу»? Ко мне вот залетела одна не по адресу. Вы не знакомы?

— Идиот! — вскрикнула Варвара Николаевна, но прапорщик Константинов, вдруг отдав честь, уже повернулся и быстро пошел в глубь темной Уральской.

«Идиот!» — еще раз хотела она крикнуть, но, вспомнив про незнакомого офицера, стоявшего рядом с ней, пересилила себя и презрительно усмехнулась.

— Приставал,— сказала она, опять усмехнулась, хотела что-то добавить, но вдруг заплакала.

А прапорщик Константинов, завернув за угол, ударил ладонью по водосточной трубе и, когда гул удара, добежав до крыши, сорвался вниз и вместе со звонкими сосульками вновь упал в тишину, остановился и вдруг решил завтра же узнать у колонистки Марты Гартен, правда ли, что муж ее убит на войне и что ее все-таки высылают из Бузулука.

— Успокойтесь! — повторял между тем Варваре Николаевне прапорщик Викторов. — Когда взойдет солнце и озарит ваши следы, вы увидите, что шли тропой к счастью. Разрешите вас проводить. Я живу у Галочкина...

КАНУН

Был уже вечер, когда командир 39-го Томского полка, полковник Назарьев, вышедший на улицу села Григоровичи, чтоб послушать, где идет сейчас артиллерийский бой, увидел капитана Нождакова и поручика Викштрёма. Батальонный и его адъютант сидели в низких санях и, повернувшись друг к другу спиной, сердито молчали.

— Стой! — крикнул поручик Викштрём, первым заметивший полковника. Потом, толкнув денщика, правившего лошадей, он соскочил на снег, но подпрыгнул и отбежал в сторону: широкие ободни немецких саней ударили его по ноге.

— Всегда куда не нужно лезете! — хмуро сказал капитан, тоже слезая с саней. Поручик понял, что хотел сказать этим батальонный.

— Долг!.. — ответил он. — Удивляюсь вашему упрямому непониманию и вашей безответственности перед солдатами.

И поручик одернул шинель, на которой от долгого сиденья в санях образовались складки. Потом оба пошли к командиру.

Артиллерия гудела где-то очень далеко, кажется, под Новоселками или опять под Smyковым. В избе по другую сторону улицы упражнялся горнист. Солдаты 1-го и 2-го батальонов, расквартированных в Григоровичах, шли к колодцам.

— Прекрасно, очень хорошо, что прибыли, — сказал полковник Назарьев и, кивнув капитану, пошел с ним к дому священника, где был расположен штаб 39-го полка. За ними на почтительном расстоянии шел поручик Викштрём.

— Ерунда! — вдруг услышал он голос батальонного. — Ерунда, и плее-ввать бы на подобные происшествия! Вот, если угодно, мое мнение, полковник!

Поручик Викштрём нахмурился и решил ускорить шаги, чтобы нагнать полковника и капитана. Полковник говорил шепотом, вероятно, боясь быть услышанным солдатами.

«Неужели тоже сдаётся?» — тревожно думал поручик Викштрём, для которого вопрос о неблагонадежности прапорщика Рябого был важным и значительным. Поручика Викштрёма давно уже ценили в штабе корпуса, но ему хотелось вновь проявить себя существенными заслугами.

— О фронте всегда в последнюю минуту думают! — вдруг сказал он, уже догнав полковника, но все еще не зная, как вступить с ним в разговор.

— Простите, поручик? — обернувшись, немного удивленно спросил полковник.

— Я о газетах, господин полковник... Газет не доставляют, а потому офицеры и солдаты, не зная о наших блестящих победах...

— Были б снаряды, поручик! Вот в девятьсот четырнадцатом году... — и, кашлянув, полковник стал рассказывать о боях на Висле. Вероятно, о прапорщике Рябом он не хотел говорить на улице.

На руках полковника Назарьева было семь пальцев. Двух пальцев на левой руке, мизинца и безымянного, и большого на правой он лишился еще в ноябре 1914 года в бою на Висле. «Макензен отстрелил, господа офицеры, когда мне пришлось с ним встретиться», — любил рассказывать он, точно в боях на Висле сражались не две армии — русская 2-я и 9-я германская, — а два полководца, сошедшиеся в поединке: он, полковник Назарьев, тогда еще капитан, и генерал Макензен.

Обо всем другом, что не касалось боя на Висле, полковник Назарьев говорил тихо и неуверенно. Закончив фразу, он подымал трехпалую левую ладонь, говорил: «Вот!» — и долго обдумывал очередную мысль.

— Вот, господа офицеры, я и позвал вас, — говорил он сейчас, поочередно подымая глаза то на капитана, то на поручика Викштрёма, то на доктора Гумича, тоже вызванного в штаб полка.

Доктор Гумич сидел рядом с капитаном Нождаковым. Капитан тяжело и сердито сопел, и доктору почему-то казалось, что сердится он именно на него. Иногда, когда капитан сопел слишком громко, доктор отодвигался к окну.

— Тяжелое происшествие. Очень тяжелое. Вот! — продолжал между тем полковник, подымая и вновь опуская

трехпалую ладонь.— Я и позвал вас, ибо это не бой, где я обязан действовать быстро и даже на риск, вот! К слову, я не рассказывал вам, господа офицеры, как при первом ударе левого фланга генерала Макензена, мой батальон, находившийся в то время...

Капитан сопел. Доктор Гумич снова отодвинулся и стал смотреть в окно.

— Рассказывали, господин полковник! На Висле?..— склонил голову поручик Викштрём и опустил ладони к красным кантикам галифе.— Ваши действия были чрезвычайно любопытными...

— Да? То же самое, говорят, было отмечено и Ставкой. Да, но здесь другое дело, господа офицеры! Здесь я должен собрать точные и подробные сведения. Прежде чем передать дело прапорщика Рябого на рассмотрение... э-э-э... надлежащих инстанций, я должен проверить... собрать о нем самые точные сведения, вот!

— Че-пу-ха! — сказал капитан Нождаков и, вытянув ноги под столом, стукнул каблуками об пол.— Что можно требовать от офицера, который хорошо выпил?

Трехпалая ладонь полковника поднялась, но капитан не хотел слушать.

— Ну, что требовать?.. Ну? — кричал.— Ну? Но ведь прапорщик выпил!

— Пьянство не оправдание!

— Послушайте, а если я, скажем, выпью?..

— Пьянство не оправдание! — повторил поручик Викштрём.— Я уже вчера говорил, и господин полковник был со мной вполне согласен. Я сказал господину полковнику, что настоящий офицер даже в пьяном виде нигде не может вести подобной агитации...

— Послушайте, какой?

— Вы не знаете?..

— Какой? — не унимался капитан Нождаков.— Пьяной?

— Противо-о-те-чественной! — отчетливо и резко сказал, наконец, поручик Викштрём, с трудом не сбившись на длинном и непривычном для него слове.

Доктор Гумич, на которого никто не обращал сейчас внимания, все еще смотрел в окно. Сперва за окном ничего не было видно, кроме разве отраженных плеч и затылка полковника. Потом глаза доктора привыкли к темноте, и он стал смотреть сквозь отражение полковника, как сквозь материализовавшийся дух на спиритических сеансах, о которых он много читал, но в которые, пожалуй, не верил. Вон на улице остановились пустые черные сани. Дальше тонула церковь.

К саням подошел каптенармус в очень высокой черной папахе. Каптенармус остановился за прозрачной спиной полковника, а полковник поднял три пальца. Потом за спиной полковника стал падать снег. Доктор Гумич смотрел на снег и все еще думал о спиритизме.

— Ваше мнение, доктор? Полковник спрашивает ваше мнение,— услышал он вдруг голос поручика Викштрёма и, обернувшись, увидел капитана. Капитан уже не сопел. «Вероятно, уже сдася,— подумал доктор.— Теперь защищать Александра Мартыныча должен я. Моя очередь».

— Проверка... Да-а, слушаю... Проверка...— повторял в соседней комнате телефонист штаба полка. Телефон за стеной гудел и пищал, как одинокая крыса в землянке.

— Очень печально! Весьма!..— слушающая доктора, повторял полковник Назарьев.

А доктор слушал, как пищит телефон.

— По моим предположениям,— продолжал доктор, растерянно обращаясь ко всем по очереди,— по-моему, поскольку я мог наблюдать в дороге, прапорщик Рябой психически не совсем здоров. Да, психически не совсем здоров. Это бесспорно! Поскольку острая психоневрастения плюс состояние сильного опьянения, которого мы, конечно, не можем отрицать...

— Видите! Ну вот и доктор...

— Подождите, подождите! — перебил капитана поручик Викштрём.— Но затаенные мысли, которые в трезвом виде...

А полевой телефон за стеной уже не пищал, а гудел, тревожно и настойчиво.

— Штаб полка тридцать девятого Томского. Есть. Дальше. Есть,— коротко повторял телефонист, принимая какую-то телефонограмму. Ему тоже очень хотелось знать, о чем говорят за стеной офицеры, но телефонограмма была длинная, путаная, и телефонист не мог расслышать всего разговора.

— Рапорт...— услышал он наконец голос полковника.— В штаб дивизии... Да, поручаю вам, поручик, вот!.. Психиатрический госпиталь... Откомандировать... э-э-э... на предмет...

— А упомянуть, господин полковник: замеченного в противоотечественной пропаганде в духе революционных идей?

— Придется!..— печально сказал полковник. Вероятно, он качал головой и глядел по очереди то на свои три, то на четыре пальца.— Упоминать придется. Долг, капитан Нождков, ничего не поделаешь!.. Долг...

Телефон опять загудел — уже ровней и спокойнее. Телефонист бросил трубку и карандаш, перечитал телефонограмму, понял, что завтра ночью 39-й полк будет введен в бой,

и стал вычислять, падут ли завтра на ночь часы его дежурства.

...Мимо дверей прошел капитан Нождаков. В сенях он плюнул, а на улице вдруг захохотал и стал ругаться. Поручик Викштрём прошел, улыбаясь, а незнакомый доктор подымал на ходу бровь воронки.

ФЕВРАЛЬ В БУЗУЛУКЕ

1

По утрам, как и все домовладельцы города Бузулука, Петр Арсентьевич читал «Самарские губернские ведомости».

В это утро, ожидая из полка прапорщика Дергачева, почтальону навстречу выбежала Аня.

— Петру Арсентьевичу ничего сегодня нет, — сказал почтальон и тоже обернулся, чтоб узнать, на кого так внимательно смотрит барышня в глубь улицы. Но улица была пуста, и почтальон опять склонился над сумкой.

— Писем много, а газетки не доставлены. И вам, барышня, письмецо местное.

— Мне? — спросила Аня, немного удивленная, потом спрятала письмо за шубку, опять посмотрела в глубь улицы и быстро побежала домой.

— Отчего не спросила? Отчего не спросить было? — ворчливо встретил ее дед. — Не доставлены?.. Может, на путях что случилось? Ходишь, ходишь...

— Чего же спрашивать было, дедушка! Не газетчик печатает, не он и почту везет, — ответила Аня, прошла в столовую и, дохнув на ледяные узоры стекла, опять выглянула на улицу.

Из подъезда, долго выбирая, куда ступить валенком, вышел недовольный дед. Вероятно, он шел к соседу-железнодорожнику, чтоб спросить, не сошел ли с рельсов самарский почтовый поезд. К бакалейной лавке бежала прислуга вдовы Ивановой. Две собаки стояли друг перед дружкой и ласково махали хвостами. А прапорщика Дергачева все еще не было видно.

«Не случилось ли чего?..» — подумала Аня и, склонив голову, вскрыла письмо.

«Непрерывная цепь счастья и благополучия без конца!!!»

Почерк не был ей знаком. Подписи под письмом тоже не было. Вторая строчка была густо усеяна восклицательными знаками.

«Мне была адресована эта цепь, и я в свою очередь направляю ее Вам!!!» (Опять восклицательные знаки.)

«Эта цепь начата в Мадриде одним испанским офицером, и она должна совершить дорогу вокруг света. В течение четырех дней Вы должны иметь счастье».

Тут Анюта вдруг покраснела и опять взглянула за окно.

Уже вся улица была залита веселым, ярким солнцем. Какой-то пленный турок, прислонясь к бочке, взваленной на грязные сани, длинным кнутом стегал высокий острый круп лошади, хвост которой, тонкий, как у осла, испуганно дергался. Бочка на санях раскачивалась. Нос турка был большой, красный. Казалось, он тоже качается, а голые колени турка, вылезшие из-под рваных штанов, торчали над передком саней, точно белые козлы. Анюта улыбнулась, потом подумала, что такой же вот турок может когда-нибудь проткнуть штыком грудь прапорщика Дергачева, и вдруг почувствовала к турку ненависть. Но турок уже скрылся за углом Уфимской, и Анюта опять склонилась над письмом.

«В течение четырех дней Вы должны иметь счастье. С тех пор, как тянется эта цепь, счастье Вам не изменит!»

«Сегодня первое марта...— подумала Анюта и, взглянув на календарь, вдруг рассмеялась.— Поверила, поверила!»

Конечно, Анюта не верила письму, но в свое счастье верить хотелось. А солнце за окном уже заползало во все углы и щели, оно ворвалось в комнату к Анюте, и ледяной узор на стеклах сломался и пополз вниз.

«Изготовьте четыре копии и пошлите их четырем разным лицам, которым Вы тоже желаете счастья. Четыре дня. Аминь!»

За окном вновь проехали сани. Кто-то ругался на непонятном, чужом языке. В кухню вернулся дед. За дверью мяукал рыжий кот Тимошка.

«Но кому все-таки написать?» — думала Анюта и решила написать одному только прапорщику Дергачеву — Павлуше.

А прапорщик Дергачев в это время только что сдал ротному командиру свой утренний рапорт. Офицерские ночные дежурства по ротам никогда прежде не производились, в «Уставе внутренней службы» о них тоже ничего не говорилось, и прапорщик Дергачев решил поискать знакомых офицеров, уже сдавших дежурства, и спросить, не знают ли они, чем могли быть вызваны эти странные дежурства.

Роты 244-го запасного полка были размещены не в бараках, а в помещении частных складов, отведенных бузулукски-

ми купцами для военных нужд. В ротах было душно, и, выйдя на улицу, прапорщик Дергачев облегченно вздохнул.

— Сегодня всем на занятия! Бессапожников на словесность, в сапогах — на строевые! — кричал батальонный командир, в этот день тоже почему-то злой и раздражительный. — Никаких околотков!.. Никаких увольнительных записок!.. Господа офицеры!..

Младшие офицеры, недовольные присутствием ротных и батальонного, торопливо шли к ротам, которые уже выстраивались на улицах. Вдоль рот бегали фельдфебели и унтер-офицеры. Подравнивая роты, они толкали солдат в глубину строя или, схватив за пояса, ругаясь, вытаскивали вперед.

— Бессапожный?.. Черт твоей матери бессапожный!.. — кричал кому-то фельдфебель 5-й роты. — Есть подошвы? Имеются?

— Никак нет!

— Голенища?.. Сверну хлебало, черт! Голенища?.. Союзки?.. Имеются? В строй!

— Господин фельдфебель!..

— Ррррав-найсь! — уже отбежав, командовал фельдфебель.

От двухэтажного давно не крашенного дома, об углы которого когда-то отбивали сургуч с винных бутылок, медленно шел командир полка полковник Пробкин. В дверях штаба адъютант кричал на писарей.

— Батт-тальяон, смирно! — скомандовал батальонный и, придерживая шашку, пошел навстречу полковнику. Полковник остановился. Локоть правой руки батальонного качался в такт подпрыгивающей походке. Полковник все еще стоял, выжидая. Бритые скулы его шевелились.

«Ну и денек!.. Все сразу и все не в духе!.. — думал прапорщик Дергачев. — В чем дело? Спросить бы...»

Но задерживаться в полку прапорщик Дергачев не хотел. После ночного наряда он был в этот день освобожден от занятий, а потому, так ничего и не спросив, торопливо пошел домой, еще не зная, куда пойти сегодня с Анютой.

Впрочем, никто из офицеров полка ничего толком не знал. Батальонный слышал, что где-то какой-то полк пел вчера «Марсельезу», что наборщики самарских газет объявили забастовку, а что слышал полковник Пробкин — было неизвестно.

«Пойду-ка с Анютой на дамбу! — выйдя на Заводскую улицу, решил наконец прапорщик Дергачев. — Анюта уже встала... Но что это?.. Тает?.. Весна?..»

С крыш кое-где уже капало.

— Каплет! — слушая за окном легкий звон в водосточных трубах, говорила в номере гостиницы Галочкина Варвара Николаевна. — Мишенька, каплет... Весна... Как я рада!

Мы — двое изгнанных в пустыне бесприютной,
Мы — в бездне вечности чета слепых теней!..—

декламировал прапорщик Викторov, спокойно застегивая кожаные подтяжки.

— Мишенька, но мы не будем бесприютны!

Варвара Николаевна присела на постели и положила ладонь на подушку, еще теплую от щеки прапорщика Викторова, а прапорщик Викторov подошел к окну и опять повернулся.

— Я не знаю, может быть, то же самое ты говорила и прапорщику Константинову...

— Не говорила, Мишенька!

Спроси у нашей матери, у Евы:
Солгал ли змий?..

— Мишенька, ты не веришь?

— Мне все равно! — прапорщик Викторov гордо улыбнулся. — Но предупреждаю тебя, Варвара! Может быть, я уйду от тебя сегодня же или завтра, может быть, останусь неделю или даже год. Все зависит...

— От чего ж это зависит, Мишенька?

Ответ вопросам — тишина!..—

глухо и торжественно сказал прапорщик Викторov и стал думать о том, удастся ли Варваре Николаевне стать совладельницей гостиницы Галочкина и можно ли поверить, что Варвара Николаевна действительно лучшая подруга Ольги Памфиловны.

Я не сочувствую войне,
Как проявлению глубокой силы! —

вдруг добавил он, верный своей привычке кончать мысли чужими стихами, и открыл несессер с принадлежностями для маникюра. Нужно было, наконец, собраться в полк.

Варвара Николаевна опустила с кровати ноги. Она решила ничего пока не спрашивать. Сперва нужно было изучить человека.

Прапорщик Константинов смотрел на белое снежное поле. Здесь, за городом, оттепель была еще незаметна. Поле тянулось до реки Самары. Над Самарой, как раз над прорубью, стояло яркое солнце. Пар над прорубью клубился золотом. На пригорок по другую сторону реки медленно подымались запряженные гужом маленькие сытые лошади. Возле саней, на которых блестили синие пласты льда, шли монахи. Далеко за рекой, под цепью высоких холмов, поросших темным хвойным лесом, виднелся Спасо-Преображенский монастырь.

— Вот, ребята, предположим, что противник отбит и мы выставляем сторожевое охранение,— забыв, что обучает не юнкеров, а солдат, говорил ротный, бывший курсовой офицер какой-то школы прапорщиков, за вечное пьянство откомандированный в 170-й запасный полк.— Что есть сторожевое охранение, господа, то есть ребята?

Прапорщику Константинову никогда прежде не приходилось видеть ротного на занятиях.

«Неладное что-то!.. И полковник выбежал...— еще утром, как и прапорщик Дергачев, подумал он, выйдя к выстраивающейся роте.— Гляди-ка...»

Но рота в это время стала перестраиваться в колонну по отделениям, отделения заматались, не зная, куда заходить вдруг обнажившимися флангами, и прапорщику Константинову, взвод которого состоял из плохо обученных досрочных призывников в 18-го года, пришлось оборвать свои мысли.

— Противник отбит и отошел за монастырь,— продолжал между тем ротный.— Итак, куда мы выставим заставу?

Прапорщик Константинов закрылся от солнца ладонью и стал опять смотреть по направлению к монастырю.

Над монастырем, сдвинув к горизонту легкие облака, сверкало сплошное синее небо. Купола монастыря горели. Вдоль белой стены, тоже казавшейся издали ярко-синей, тихо брели все те же сытые лошадики, везущие маленькие, как кубики, квадратики льда. Прапорщик Константинов никак не мог представить себе противника, отошедшего за этот мирный монастырь, а потому стал думать не о том, куда бы следовало выставить сторожевое охранение, а о том, чего не успел додумать утром: зачем сегодня на занятия выгнали весь полк — и «бессапожных», и «бесшинельных», и, кажется, даже нестроевые роты?

Вдоль берега Самары, с лихой песней о молодых кузнецах и таракане, шла 8-я рота. Ротный 8-й роты увидел ротного

6-й, скомандовал: «Правое плечо вперед, марш!» — и, подведя свою роту к 6-й, вынул из кармана портсигар.

— Оправиться! Можно курить! — вслед за ним скомандовал ротный 6-й роты и тоже достал портсигар.

Над смятыми засаленными папахами и порванными фуражками солдат тяжело за клубился низкий густой дым махорки. Офицеры, отошедшие от рот, закурили папиросы; дым над офицерами не расползлся, а, быстро взлетев кверху, играл веселыми завитками, меняя цвета в лучах солнца.

— Не знаю, господа! — сказал ротный 6-й роты. — Говорят, глубокий прорыв, полная растерянность нашей Ставки, а германцы хлынули на Смоленск, так сказать, старой наполеоновской дороженькой. Впрочем, другие говорят — на Псков.

— Ерунда, у нас в тылу что-либо...

Кольцо офицеров стало смыкаться.

— Крушение, говорят... Царский поезд с рельсов сошел.

— Еще что!

— Но государь спасся.

— Еще что! Я слышал, продовольственные поезда где-то громили. А в Питере муки нет. Это — да!

— Загубят нас, братцы! — торопясь докурить мокрую коричневую сигарку, говорил шепотом группе солдат бородастый ратник. — Не иначе как солдата изничтожить задумали.

— Неначе як вбивство...

— А снарядов не хватает — хлестать начнут, — продолжал ратник, — и приказ выйдет...

— Неначе як вбивство, хлопцы...

— С налету решить невозможно, но ежели обсудить, так конец солдату пришел. Изничтожат!

— Телеграф не работает, господин поручик.

— Но откуда сведения?

— Кумушки, кумушки!.. Не офицеры, а кумушки!.. — опять перебил офицеров ротный командир 8-й роты, рослый поручик с полуседыми усами. Он махал в воздухе широкой ладонью в серой шерстяной перчатке и хохотал густо и раскатисто, как сенатор.

— Кумушки, а почем горшки на базаре?

— Неначе як знову вбивство, хлопцы! — овладел наконец вниманием солдат молодой хохол-ефрейтор. — До Бузулука хотив, служба в мене без пороку, а бачь, як и тоди не видпустылы... — Ефрейтор говорил улыбаясь, и, может быть, потому его быстрый украинский говорок казался Константину веселым и пересыпанным прибаутками. — Побачыты, хлопцы, з габвахты знову у острог подтягнуть, зведут кого

треба з очей подали, засудять, а тоди о вожжу пидслабять...
А служба не хрест, як устав знатьме...

— Ста-но-виинсь!..— скомандовали в это время ротные, и ефрейтор первым вскочил со снега.

Солдаты в последний раз торопливо и коротко затянулись; на мгновение дым над ними стал еще гуще и вдруг беспокойно заметался, разбитый закачавшимися штыками. Короткие плевки-окурки полетели в снег.

Прошла 2-я рота. Поручик Лунь, молчаливый офицер с белым Георгиевским крестиком, шел за ротой, как всегда спокойный и скучный.

...Когда через полчаса, выйдя к окраине города, 6-я рота подымалась к Чечулькиному мосту, прапорщик Константинов увидел девочку-колонистку. Она бежала по правому берегу Домашки и, кажется, плакала.

Чу-вель,
Вель, вель, вель!..—

с присвистом и гикая пели солдаты.

Чувель-навель,
Вель, вель, вель!..

«Должно быть, не получила обеда»,— подумал Константинов и вспомнил, что вчера вечером решил пойти к ее матери.

Еще чудо, перво-чудо,
Чудо-родина моя! —

уже не пели, а кричали солдаты.

«Пойти?..— думал между тем Константинов.— Не странно ли будет? Что вам угодно?.. Говорят, она гордая. Что вам угодно, господин прапорщик?.. Может быть, завтра пойти? Или послезавтра?..»

Кажется, все роты уже успели вернуться с занятий. Возле стен барачков стояли офицеры. Они курили и вполголоса разговаривали, вероятно, уже несколько утомленные всевозможными предположениями и все нарастающими тревожными сплетнями из города. Но вот лица всех офицеров оживились и повернулись к главному проезду между бараками, по которому быстро неслись чьи-то сани. Прапорщик Константинов тоже обернулся, посмотрел через плечи солдат, увидел в санях Ольгу Памфиловну и Варвару Николаевну и вдруг, точно кому-то в отместку или назло, решил непременно и сегодня же зайти к колонистке Марте Гартен.

— Разойтись! — скомандовал, наконец, ротный.

А сани уже остановились возле барака канцелярии. Ольга Памфиловна кивнула Варваре Николаевне и, держа голову прямо, пошла в барак, вероятно к полковнику Судакову. Варвара Николаевна осталась в санях. Из канцелярии, улыбаясь, вышел прапорщик Викторов. Варвара Николаевна захихикала.

«Рыжая кошка!» — подумал прапорщик Константинов и пошел обедать в офицерское собрание.

3

В этот же день после обеда прапорщик Дергачев и Аня гуляли на дамбе.

Над дамбой кружились галки. Они кричали по-весеннему бестолково, а воробьи, слетевшиеся на дорогу, радостно дрались в лужах. Глубоко под снегом на склонах дамбы тихо шумели еще скрытые ручьи.

— Не сбегайте, Аня, с дамбы! — несколько раз просил прапорщик Дергачев, но Аня хотела играть в пятнашки, и к вечеру прапорщик Дергачев нес в руках ее мокрые ботинки.

— Надо домой, Аня. Вы простудитесь, — сказал он, когда круглое солнце за Самарой опустилось ниже далеких монастырских стен. — Ну, дайте руку! Вы знаете, я несу ваши боты, как святые реликвии.

Ни деда, ни Ксении Захаровны не было дома. Стол кухни был прибран. На окне лежал чеснок. С подоконника капало. За окном, осторожно трогая белые крыши, опускалась темнота.

— Брысь! — крикнула Аня.

Кот Тимошка, лакавший на печи молоко, спокойно отошел за горшок, замурлыкал, а Аня, оставляя за собой мокрые следы, весело побежала в комнату.

Прапорщик Дергачев постоял на кухне. Думая о чем-то, он перебрал на окне белые луковицы чеснока, потом, погладив рыжего Тимошку, поставил на печь мокрые боты и тоже пошел к себе.

«Пусть переобуется», — подумал он и стал расстегивать шинель.

На столе, который постоянно скрипел и качался, лишь только за него садились, лежала запасная португя прапорщика Константинова. Прапорщик Дергачев сбросил ее на пол и опустился на стул. На столе качнулась ваза с мотыльками из крашеного мела вместо ручек. В вазе закачались большие бумажные розы. Эти цветы сделала Аня. Она думала пожертвовать их Ольге Памфиловне, но на празднике

«Дня героя» не был устроен базар искусственных цветов, они остались дома, и прапорщик Дергачев взял их в свою комнату. Одна роза была светло-голубая, остальные — желто-лиловые, но сейчас, в полутемной комнате, все они казались белыми. Прапорщик Дергачев протянул руку, положил на ладонь самую крупную розу — она ласково зашуршала, — и вдруг увидел на столе маленький квадратный конверт.

«Должно быть, от матери...»

Не торопясь он зажег лампу. Рыжий свет нехотя пополз на стекло окна. В пепельнице догорела спичка.

«Нет, не от матери!..»

За окном мягко зазвенели капли.

Я вам пишу, чего же боле? —

проплыла сквозь мысли прапорщика Дергачева одна строка из письма Татьяны и опять где-то рассеялась.

«Неужели она?.. мне?.. первая?..»

Правда, почерк Анюты был косой, а на этом конверте буквы стояли прямо. Но Дергачев узнал бледно-зеленые, разбавленные уксусом, чернила, которыми постоянно писала Анюта. А главное — письмо было без марки. И вдруг прапорщик Дергачев по-детски удивленно поднял брови.

«Непрерывная цепь счастья и благополучия без конца».

Прапорщик Дергачев знал: подобные письма-цепи пишутся во всех закоулках России и ползут по всем городам скучающей провинции, — но что иное может делать девушка, решил он наконец, если человек, которого она любит, молчит и не говорит о своей любви?

За стенкой закрипела корзина. В этой корзине — под белой заново сплетенной крышкой — лежали ботинки и глубоко под ботинками — дневники Анюты. Вчера Анюта опять что-то писала. Может быть, Анюта писала дневники именно для него? Ведь никто для себя дневников не пишет.

Я вам пишу... Чего же боле...

— На За-вод-ско-о-ой!.. — крикнул вдруг кто-то на улице. — К Чиня-е-вы-ым, Фомка, бе-ги-и!..

«Отстегнуть или не отстегивать? — думал прапорщик Дергачев, опустив руку к шашке. — Пойду! Надо быть смелым!»

Дойдя до двери, он наклонился, подтянул голенища, пригладил волосы, едва успевшие отрасти после училища, и опять взялся за ручку. Шашки он решил не отстегивать.

— Фом-ка-а!.. Чес'слово ску-выр-ну-у-у-ли-ся!..

Потом на улице кто-то запел:

...Анюта сидела на кровати и надевала чулки. Когда в комнату вошел прапорщик Дергачев, она быстро спрятала ноги под юбку и бросила чулок под подушку.

— Анюта... — тихо сказал прапорщик Дергачев. Он остановился и осторожно положил руку на спинку венского стула. В руке он держал письмо. Анюта увидела письмо и покраснела.

— Анюта, когда я в первый раз увидел ваши глаза...

Ноги Анюты, спрятанные под юбку, растерянно заерзали. Анюта не знала, взобраться ли выше на кровать или, соскочив, подбежать к окошку.

— А сегодня это письмо...

Анюта опустила голову.

— Зачем вы краснеете, Анюта? Посмотрите на меня.

Но Анюта не повернула головы. «Если б спрятаться, убежать!..» — думала она. В столовой за дверью крался рыжий кот Тимошка. Вот он переполз порог. Остановился. Сейчас он бросится. Неужели в комнате мыши?..

— Анюта!..

Анюта опять вспомнила: она не обута. Если Павлик подойдет к ней и вдруг поцелует, она даже не сможет вскочить и отбежать к двери.

— Отвернитесь!.. Отвернитесь к окну! Я только обуюсь.

Тимошка мурлыкал.

— Отвернитесь, слышите! — растерянно повторила Анюта и, поняв, что вдруг растерявшийся Павлик уже не подойдет к ней и не поцелует, схватила с подушки накидку и, готовая заплакать, замахнулась на Тимошку.

«Все пропало!.. Все кончено!..» — подумал прапорщик Дергачев, покорно отвернувшись к окну.

...Осторожно друг друга придерживая, за окном шли дед и Ксения Захаровна. Кто-то, провожая, нес фонарь, и сгорбленные тени Петра Арсентьевича и Ксении Захаровны ложились рядышком на лужи. На улице никого больше не было.

Дед и Ксения Захаровна были в гостях — тут же на тихой Уральской, весь вечер слушали рассказы о сошедшем с рельсов царском поезде, но о том, что солдаты обоих полков и все горожане Бузулука, живущие на пути от барakov к Заводской улице, бежали сейчас к типографии братьев Чиняевых, они, как и прапорщик Дергачев и Анюта, ничего тоже не слышали.

Дочь колонистки Марты Гартен, маленькая Гедвиг, сидела на хомуте, брошенном в углу полутемной, холодной комнаты и, опустив лицо, пыталась намотать вокруг пальца оставшиеся на хомуте тугие путаные волосы давно уже проданной пегой кобылки Лотты, которая года два назад, еще сытая и круглая, шла в конце обоза, когда колонисты во главе с пастором Шейде оставляли колонию Эйхендорф. Гедвиг помнила, как, кутаясь в тяжелые серые платки, плакали в санях женщины и как бранились мужчины, понуро шедшие возле саней. Какие-то солдаты, днем и ночью попадавшие навстречу обозу, быстро соскакивали с черных грузовиков, с коней или с пушек, подбегали к саням, хватали женщин за руки и дергали их за серые засыпанные снегом платки. Тогда мужчины опять бранились, а пастор Карл Шейде на первых санях обоза подымал руки и говорил о Христе и боге. Солдаты смеялись.

Потом Гедвиг вспомнила, как мать и бабушка поссорились из-за платка. Мать хотела, чтоб платком прикрылся дедушка, но дедушка все время срывал его с плеч и клал на голову мамы.

Сейчас мама стояла над бабушкой. Постель бабушки была разостлана на полу. Ладони, сложенные на груди, то подымались, то опять опускались, а под серым штопаным платком, под тем самым, из-за которого поссорились когда-то мама и дедушка, что-то протяжно и хрипло свистело. Неужели это дышал дедушка?..

Гедвиг давно уже вернулась домой. За маленьким квадратом окна, полузакрытым длинными сосульками, потемневшее небо уже опускалось за низкую соседнюю крышу. Сосульки на раме окна, недавно еще красные, тоже быстро чернели.

Сегодня Гедвиг пошла к Чечулькиному мосту не за обедом и не за ужином, а хотела пробраться к последнему барачку, над дверью которого висел белый флаг с большим красным крестом.

Перед тем как пойти в полк за доктором, который, конечно, мог бы вылечить дедушку, Гедвиг открыла сундучок и развязала узел, лежавший в нем на старых башмаках с деревянными подошвами. Но в узелке не оказалось бумажек, а два пятак, три копейки и пять медных монет по две было для доктора, должно быть, недостаточно.

«Мама, как ты думаешь?» — хотела спросить Гедвиг, но вдруг увидела хомут в углу комнаты, подумала и решила, что доктор, который остается здесь в городе, может, конечно,

продать этот хомут на базаре, тем более что им он больше не нужен. Решив это, Гедвиг вышла на улицу и быстро побежала к околотку, но какие-то солдаты с винтовками в руках, почему-то стоявшие за Чечулькиным мостом, к баракам ее не подпустили. Потом прошли еще какие-то солдаты — они пели песни, им было очень весело, — и Гедвиг заплакала.

— Гедвиг, стучат! — вдруг услышала она шепот матери и, быстро распутив с пальца тугие конские волосы, вскочила с хомута.

Гедвиг помнила наказ матери: если стучат солдаты, выпускать не следует; если полицейский, его тоже лучше не выпускать, но маму позвать нужно обязательно. Может быть, это пастор Шейде, тоже послезавтра уезжающий вместе с ними?..

Но за дверью стоял не пастор Шейде, не чужой солдат и не полицейский.

— Ах, это вы? — сказала Гедвиг. — Тише, дедушке очень плохо!.. — и впустила в комнату прапорщика Константинова.

...От дверей в комнату вели две ступени. Обе ступени заскрипели — одна сухо и коротко, другая протяжно, как дверь на заржавелой петле.

— Тише, дедушка спит, — опять так же тихо повторила Гедвиг, и прапорщик Константинов понял, что тишина в этой комнате не случайна и что ему тоже ничего сейчас говорить и объяснять не следует.

— Это дедушка дышит... Тише!

Гедвиг держала Константинова за руку. Ей казалось: этот молодой высокий солдат, которого только вчера увидела она в первый раз, давно уже знает и о болезни дедушки, и о том, что им опять нужно куда-то ехать, что мать с больным дедушкой ехать не может, а ехать все-таки нужно.

— Он проснулся, но сейчас он заснет... Тише!

Прапорщик Константинов опять остановился, положил руку на голову девочки и стал ее гладить. Ему казалось, чем ласковей он гладит эти теплые мягкие волосы, тем ровней и спокойней становится дыхание старика.

За квадратным окном, быстро кружась, полетели искры. В избе по другому сторону улицы затопили печь, и ветер понес дым над низкими черными крышами.

— Он не спал уже двое суток, — вдруг обернувшись, тихо и просто сказала Марта Гартен, и прапорщик Константинов понял, что ей, как и ее маленькой дочери, не нужны сейчас ни слова его возмущения, ни обещания походатайствовать за

нее перед полковником Судаковым. Марте Гартен в ее одиночестве нужны были люди и, может быть, их маленькая помощь.

— У вас был доктор? Хотите, я позову?..

И вдруг за темным окном, где все еще летели быстрые красные искры, прорвались и, сбив тишину, упали куда-то еще далекие, глухие крики. Вот, на минуту захлестнутые ветром, они поползли низким сдержанным гулом, потом, уже более сильные, раздалась снова. Красные искры над крышей опять испуганно рванулись вверх, заметались; черный дым кувырнулся, пролетел красный снег, и на мгновение прапорщик Константинов даже подумал, что искры летят не из трубы соседнего дома, а с пожарища. Но солдаты, которые бежали по улице, кричали радостно и, крича, бросали в воздух черные папахи и фуражки.

— Они разбудят дедушку! Подите, скажите: они разбудят дедушку!

— Ура! — кричала толпа за черным окном, заглушая шепот испуганной Гедвиг. За черными сосульками мелькали фуражки. Искры падали и тухли.

— Ура!.. Ура-а!..

— Скажите... Слушайте, скажите им...

Уходя, прапорщик Константинов хотел тихо прикрыть дверь, но дверь за ним рванулась и хлопнула. Вероятно, ее бросил ветер.

Больной старик вздрогнул. С крыши, быстро качнувшись друг к другу и вдруг весело зазвенев, упали сосульки. Над Домашкой трещал лед.

«Марта!..» — хотел позвать старик, но только поднял с подушки голову и стал искать что-то, молча водя по платку ладонью. Его острые колени подымались все выше и все выше тянули за собой серый штопанный платок.

— Марта...

Старик поднял ладонь, хотел тронуть руку склонившейся над ним Марты Гартен, но ладонь, вдруг повернувшись, упала на пол. Дернув подбородком, старик захрипел, потом складки платка над его поднятыми коленями тревожно заколыхались и вдруг вместе с коленями медленно поползли вниз.

— Свобода!.. Ура-а!.. — кричали солдаты, мелькая на улице мимо прапорщика Константинова. — Ребята! Товарищи!..

Солдаты бежали куда-то за угол. На углу, высоко под сводами каких-то черных ворот, вздрагивал фонарь. Под фонарем, перегнувшись вперед, кричал вольноопределяющийся Голиков.

— Товарищи, к тюрьме! — услышал, наконец, Константин.— Товарищи! Полковник Пробкин!.. Гад!.. Товарищи, это он!.. Слуга царского режима!..

Фонарь над вольноопределяющимся бился о стекло рожими языками. Толпа напирала на ворота. Казалось, ворота не выдержат, развалятся, рухнет свод, закоптелый дребезжащий фонарь разобьется, а толпа — уже в полной темноте — снесет и остатки ворот, и забор, и этот дом за забором, и второй дом, и третий...

— Товарищи солдаты! — кричал вольноопределяющийся.

— Сбросили!..

— Ура!

— Свергли!..

Проплыв под бьющейся шинелью вольноопределяющегося, уже залезшего на ворота, в толпе дважды улыбнулось лицо прапорщика Бесседелько — сперва растерянно, потом весело и задорно.

— Свергли! Царя свергли! Слыхали?..— увидя Константинова, крикнул он, и может быть потому, что из общего гула голосов и криков он обратился, наконец, лично к Константину, Константин вдруг понял, что случилось и отчего кричат солдаты.

— Товарищи!.. — опять услышал он и тоже рванулся к воротам.— Слуга царского режима, полковник Пробкин, гноил в тюрьме нашего товарища!

Вольноопределяющийся кричал, яростно распахивая шинель, и казалось, он распахивает ее намеренно, чтоб показать солдатам университетский значок на гимнастерке.

— Революционера Разживина он гноил, товарищи! Разживина, товарищи! Революционера, убившего провокатора и доносчика! Товарищи, к тюрьме!.. Свобода, товарищи, Разживину! Свобода! Ура!

— Ура!..

Опять пробежал прапорщик Бесседелько. Военнопленный Ян Крунчак махал рукой.

— Ура! — кричал военнопленный.

— Мир! — крикнул кто-то.

— Ура! — крикнул, наконец, прапорщик Константин и, увидя окно над черной дверью из листового железа, быстро повернулся к дому колонистки, но вольноопределяющийся в это время уже соскочил на панель. Фонарь над высокими

воротами захлестнуло ветром; опять полетели красные искры; солдатские плечи, толкаясь, рванулись вперед, солдаты вновь закричали, загудели и, закружив Константинова вокруг его же собственной шашки, быстро повлекли его за собой. Маленькие квадратные окна — черные не освещенные и освещенные желтые — тоже закружились. Казалось, они перебегают с левой стороны улицы на правую, с правой опять на левую и, кружась, потухают, вспыхивают и опять падают в темноту.

— Товарищи!.. — где-то впереди кричал вольноопределяющийся Голиков. — К тюрьме!..

— Ребята!.. — кричали солдаты. — Свобода!..

— К типографии!.. К Чиняевым!..

— К тюрьме, ребята!..

— Хлопцы!..

— К черту решетки!..

— За всех распишем!..

— Царя свернули!..

— Пробкин!..

— В ухо гаду!..

— Разживин!..

— Манифест!..

— Товарищи!.. То-ва-ри-щи-и!..

Улица опустела. Красные искры потухли. Гедвиг из окна уже не смотрела на улицу. Гедвиг плакала. Она знала: эти два пятака, которые, развязав узелок, достала сейчас ее мать, лягут на мутные глаза дедушки.

В 39-м ТОМСКОМ

Болото было сковано льдом.

На минуту поручик Викштрём придержал коня, обернулся и, услышав все нарастающую силу далекого пулеметного и ружейного огня, покачал головой.

— Э-эй, но-о-хо, ласточка!.. — в темноте перед ним кричал кто-то. — Ми-и-лая!.. Э-эх, черт, ма-ать моя, дьявол!..

«Что будет? Что будет?» — повторял поручик Викштрём и, вновь пришпорив коня, нагнал сани, на которых, ворочаясь под черными шинелями, стонали раненые.

— Правей!

Черный кнут в руках у солдата, сидящего на санях, повис неподвижно. Лицо солдата, очень плоское и широкое, обернулось.

— Донимают, ваше благородие? — тревожно спросил солдат, но поручик Викштрём ничего не ответил. Далеко за болотом, подняв столбы гула и заглушив пулеметную и ружейную пальбу, вступила в бой германская артиллерия. Вспыхнув, в небе рассыпались красные ракеты, снег на болотных кочках тоже на мгновение вспыхнул, и острые уши лошади под глазами поручика испуганно отдернулись назад.

— Но-о-хо!.. Ми-илая! Э-эх, ласточка!.. — опять уже за спиной услышал поручик Викштрём. Потом одиноко крикнул раненый. Но сани с ранеными были уже далеко позади, и крик этот показался поручику слабым и робким.

«Что будет?.. Что теперь будет?» — повторял не переставая поручик, давно уже позабыв про страх, недавно пережитый им в лесу, и встревоженный не боем, неудачно развивающимся для 39-го Томского полка, а неожиданным известием об отречении государя императора.

Пролетели три вороны. В поле скрипел высокий журавль колодца. Вот вороны сели на белые груды кирпичей. Опять колодец. За колодцем стена. Далее — печь, высокая труба над печью и на трубе снег.

«Неужели лошадь боится трубы? Или журавля колодца? Отчего эта штука над колодцем называется журавлем? — думал поручик Викштрём. — Господи, что будет?.. Что теперь будет?..»

...Менее всего поручик Викштрём мог понять батальонного.

«Плевать!» — крикнул батальонный, когда около часа назад поручик Викштрём нашел его на опушке леса, наполовину снесенного германскими снарядами.

— Капитан, минутку!.. Но послушайте...

Капитан не слушал. Он стоял на низкой замерзшей кочке и, подняв ко рту обе ладони, гнал куда-то связного 9-й роты.

— Какое мне дело, черт вас за ногу, поручик! — крикнул он, и по его сухому хриплому голосу адъютант вдруг понял, что попал на участок боя. — Девятую, мою девятую губят, а вы мне тут с царями всякими, черт вам в трубы!

Вот тут, кажется, и зазвенели первые пули. Поручик пригнулся, а батальонный вновь поднял ладони и опять закричал.

— Девятую отвести! Взорвать проволоку удлиненными зарядами! Вручную не рисковать! Гранаты Новицкого!.. Десятой отвлечь от девятой огонь! Сейчас буду!.. Понятно?..

— Понял! — крикнул связной, обернувшись, и вдруг, хлестнув плечом черные ветви куста, боком упал на снег.

— Хлоп!.. Третий!.. — крикнул батальонный. — Черт!.. — и соскочил с мерзлой кочки.

Опять провизжали пули. Связной под кустом повернулся, выгнув спину и, сорвав с головы папаху, поднял и вновь уронил локоть.

— Поручик Викштрём! Вы! Передать в девятую...

Адъютант уже не помнил, о чем хотел рассказать батальонному. Перед ним, далеко за редкими стволами, лед и кора с которых высоко взлетали вверх, быстро подымались и уползали черные круглые головы. Цепь двигалась вперед, переползала кусты, подымалась и опять ложилась.

«Резерв... — подумал поручик Викштрём, — двенадцатая...» — и только теперь понял, куда посылает его батальонный командир. Он, адъютант батальона, должен был пойти туда, куда не дошел связной и куда ползет сейчас, прячась за кочки, вот эта обреченная на гибель рота!..

— Отведете девятую назад! — куда-то мимо летели хриплые слова батальонного. — Десятой обойти лошину!..

Опять полетели льдинки. Черный куст над убитым связным пригнулся и вновь быстро выправил ветви.

— Обойти!.. — кричал батальонный. — Лощина пристреляна!.. Да идите!..

Адъютанту казалось — он действительно пошел к 9-й роте, но к 9-й нужно было идти прямо, а адъютант взял влево. Адъютант не хотел этого, но слева — прямо на него — полз ефрейтор Зерно.

— Конец, конец будет!.. Всем конец будет, ваше благородие!.. Прут!.. Сила!.. — повторял он и вновь волочил за собой ногу, тяжелую от намокшего кровью сапога. За ним, по мокрому длинному следу, почему-то качаясь, шел прапорщик Рыжик. Прапорщик Рыжик держал одну щеку ладонью, стонал; на другой щеке чернел кровавый след растопыренных пальцев.

— Сюда! Сюда! — кричал кто-то.

Поручик Викштрём все еще шел вперед. Ему казалось, бой уже утих, но эта тишина, сквозь которую, качаясь, идут раненые и сквозь которую, тоже качаясь, может быть, пойдет скоро и он, страшнее боя, огня батарей и пулеметов.

— Сюда, Рыжик! Кому роту сдали? — опять услышал он. — Рябому? — и вдруг острые ветви деревьев с грохотом и треском полетели над ним в разные стороны.

— Связь!.. — где-то сквозь треск и грохот кричал батальонный. — Наладить связь!.. Черт!.. Куда?.. Поручик! Поручик Викштрём!

А поручик Викштрём вдруг повернулся и, пригнувшись и защищая ладонями лоб, побежал через лес, над которым гудели, рвались и звонкой шрапнелью металась снаряды.

...Для того чтоб отдышаться, нужно выпрямиться и положить руки на бедра... Поручик Викштрём выпрямился и положил руки на бедра.

«Что ж, если капитан не видит дальше своего носа, то действовать должен я», — подумал он, уже совершенно успокоившись. Предлог, чтоб не возвращаться в бой, был найден, и поручик оправил на голове папаху.

«Конечно, все они задерганы сейчас боем. Никто ничего не понимает. Если я упусти минуту и не уничтожу этого рапорта, нас могут судить... Господи... И... и... Господи, что будет? Что теперь будет?..»

Поручик Викштрём отыскал в кармане перчатки, натянул их и пошел вдоль леса, думая выйти на дорогу, пройти в обоз, взять коня и поскакать в штаб дивизии, чтоб порвать этот прекрасно составленный рапорт о прапорщике Рябом, «замеченном в противоотечественной пропаганде в духе революционных идей».

«Что будет?.. Господи, что будет?.. — опять повторил он, и позабытая было весть об отречении царя и о революции в Петрограде вдруг новым холодным страхом поползла по его мыслям. — Что теперь будет?.. Царя не будет... Но что будет?..»

За лесом, ковыляя, спотыкаясь, опираясь на винтовки и поддерживая друг друга, шли раненые. Промчалась чья-то лошадь. Черные верхушки леса вспыхнули от далекого огня. Глухо и однообразно трещали пулеметы.

Обогнув кривые карликовые сосны и елочки, поручик Викштрём шел по направлению к какой-то колонии, где стояли обозы, в первый раз за время своего пребывания на фронте не останавливая раненых и не проверяя, нет ли среди них дезертиров.

III ОТЪЕЗД

I

Окно было открыто настежь.

Зимой по ту сторону Уральской были видны низкие белые крыши. Сейчас все крыши сливались с темнотой, и казалось, темнота за заборами уходит в небо черными уступами. На Уральской не было деревьев — сады начинались по ту сторону крыш,— но запах тополей, теплый и тяжелый, висел и над ее немощеной мостовой.

По саду я в сумерках бледных бродил...—

вполголоса декламировал какой-то прапорщик. Обняв гимназистку за талию, он шел по тихой Уральской, и новые шпоры прапорщика, купленные после революции, мягко и неторопливо звенели.

И яблони розовым цветом
Меня осыпали...

На мгновенье прапорщик замолчал. Опять зазвенели шпоры.

...Тебя я любил
И стал чудачком и поэтом!..

Прапорщик Константинов поднял голову и хотел посмотреть за окно, но под руки попала еще не уложенная смена белья, и прапорщик Константинов вновь склонился над чемоданом.

С той тревожной ночи накануне весны, когда выбежавшие на улицу солдаты громкими криками о свободе разбудили сонный город, когда толпа, прибежавшая с Заводской улицы, сорвала с железных петель тяжелые ворота бузулукской уездной тюрьмы и стала качать заключенного Разживина, ныне председателя полкового комитета 244-го полка, прошло уже около трех месяцев. По дороге к Спасо-Преображенскому монастырю, где Разживин убил прокуратора, бродили

раненые вновь открывшегося монастырского лазарета. По городу — с вечной гармошкой в руках — бродили солдаты. Каждую неделю на фронт уходили новые маршевые роты, но солдат в городе не становилось меньше, а число раненых в лазаретах все росло.

— Подождите, вот поведем наступление!..— говорил на офицерских собраниях полковник Судаков.

— Ура!..— кричали офицеры.

— Подождите!..— под крики офицеров продолжал полковник.— Подождите!.. Помяните мое слово старого офицера!.. Такого поражения, как мы потерпим, не видел еще мир!.. Разве это солдаты?.. солдаты?.. солдаты?..

...За окном — теплыми волнами — вновь проплыл запах цветущих тополей. За тишиной ближайших темных улиц, точно за толстой стеной, едва уловимо полз куда-то далекий гул гуляющих по Оренбургской. В сенях за дверью кто-то покашливал. Вероятно, за дверью стоял Петр Арсентьевич, опустив плечи, вздыхая и качая в тоске седой головой.

— Молодость вашу жаль, Сергей Васильевич,— еще утром сказал он, когда, прибежав из полка, прапорщик Константинов вдруг объявил, что назначен командиром маршевой роты и уже завтра уезжает на фронт.— Мое, старика, какое дело, не спрашивают, но моя бы власть...

— Кому ж, как не нам, Петр Арсентьевич?..— неуверенно и скорее самому себе, чем деду, ответил прапорщик Константинов.— Это... знаете, долг... А я охотно... Я ведь сказал...

— Твои сказанья, ядрена корюшка!..— оборвал дед, махнул рукой, нахмурился и уже молча вышел из комнаты.

...Общее собрание бузулукского «Дамского комитета помощи воинам и их семьям» затянулось в этот вечер до девяти. «Дамский комитет», до революции весьма уважаемое учреждение, быстро терял сейчас в городе свою прежнюю видную роль, и вот члены комитета, споря и волнуясь, весь сегодняшний вечер искали пути к восстановлению своего прежнего авторитета.

Путь был один — казалось всем членам комитета — работать в контакте с Советом рабочих и солдатских депутатов. Но все предположения, как найти связь с Советом и как эту связь закрепить, не выдержали критики Ольги Памфиловны, знавшей уже по опыту полковника Судакова, что упрямый

Совет работает замкнуто и ни с отдельными лицами, ни с широкой общественностью не считается.

Когда общее собрание «Дамского комитета», как и всегда, закончилось постановлением не забывать героев на фронте и снабжать их и впредь подарками — махоркой, ртутной мазью против вшей, почтовой бумагой, конвертами и леденцами,— Ольга Памфиловна, раздраженная и недовольная жизнью и работой, вернулась наконец домой.

В углу столовой мерцала лампада. Муж Ольги Памфиловны, бывший надзиратель 1-го округа Самаро-Уральского акцизного управления, уже восемь лет разбитый параличом, сидел в своем передвижном кресле и печально смотрел на желтую канарейку, уснувшую на верхней жердочке клетки. Услыхав шаги жены, он повернул голову и, положив ладони на высокие колеса кресла, мягко покатился по ковру столовой.

— О-ле-ле...— позвал он, остановив кресло,— Оле-лечка!..— и, не дождавшись ответа, вновь склонил голову набок, точно слушая, как шуршит платье чем-то недовольной жены.

— Маша, приготовьте чай! — пройдя в спальню, приказала Ольга Памфиловна.

— Маша, принесите свет! — опять крикнула она, увидя какое-то письмо, воткнутое за темную раму зеркала.

— Маша, вы не слышите?..

И, в ожидании лампы, она села на диван, выпрямилась, вздохнула и стала гладить ладонью упругий шелк маленькой круглой подушки.

У всех, кто уезжает на фронт, есть кто-либо, кому хочется написать письмо. Прапорщику Константинову тоже хотелось писать, но писать было некому. Мать его умерла, когда он поступил в военное училище, отца он не помнил, а друзей, кроме Павлика Дергачева, у него не было.

— Серега! — звал его сейчас прапорщик Дергачев, перегнувшись в комнату через подоконник.— А ну-ка идем, брат! Ах, черт, зачем, дорогой, тоску на себя наводишь? Прыгай в окно! Ну фронт так фронт, тоже нашел о чем думать!

— Я ни о чем не думаю, Павел.

— Ну ладно, ладно! Знаешь, куда мы тебя затащить думаем?

— И выдумал же! — смеялась Анята.

— На свадьбу к Яну Крунчаку! — продолжал прапорщик Дергачев.— Ведь обвенчался же, негодяй, с этой самой вдовушкой! Баян там, понимаешь, и все по-русскому... Жену,

мол, уважать хочу да по всем вашим обычаям!.. А?.. Здорово?.. Пойдешь?..

— Баян у них? — переспросил прапорщик Константинов и тоже подошел к окну.

— Баян.

— И шумно?..

— И как еще шумно! Идешь? Ну? Прыгай!

Прапорщик Константинов спрыгнул с окна на панель.

...Над керосиновой лампой, которую внесла горничная Маша в спальню Ольги Памфиловны, торчал высокий, как башня, многоугольный абажур из плотной бумаги, плоские края которого были прикреплены друг к другу лиловыми ленточками. Абажур был разукрашен сквозными, вырезанными на бумаге узорами — звездочками, запятыми, горошинками. Звездочки, запятые, горошинки были подклеены цветной папиросной бумагой, и свет, падавший сквозь узор, ложился на стол, диван и кресла пестрыми пятнами — красными, зелеными, лиловыми и синими. На письмо Варвары Николаевны, которое читала Ольга Памфиловна, падал зеленый свет, и читать было легко и приятно.

«Любезная Ольга Памфиловна,— писала Варвара Николаевна.— Подумайте, мы с Мишей едем на фронт! Милая, я всегда знала, что семья офицеров — моя семья, но о таких удачах, как последние, я не смела даже и мечтать. Последние два месяца, которые мы провели в Петрограде, были фееричны, как сказка».

Ольга Памфиловна вздохнула.

«Когда полковник Судаков дал Мише отпуск (милая Ольга Памфиловна, я никогда не забуду Вашей доброты и Ваших любезных хлопот перед полковником) ...»

Ольга Памфиловна кивнула головой и с молчаливым покровительством посмотрела на фотографическую карточку Варвары Николаевны, которая с надписью «Сувенир» стояла на туалете под зеркалом.

«...И мы приехали сюда в Петроград,— читала она дальше.— Мне было грустно смотреть на Мишу. Солдаты не отдавали ему чести, толкались (ах, это Вы знаете по Бузулуку!), они не уступали нам места в трамваях, и Миша был неузнаваем, груб, похудел, и даже просил меня написать господину Галочкину и потребовать назад мои деньги. Он говорил, что хочет ехать на Кавказ на все фрукты. Но какие весной фрукты? — убедила я Мишеньку, и как можно ехать на Кавказ, когда на Кавказе война с турками? Так мы про-

жили недели две, и нам осталась еще неделя отпуска. И знаете, однажды (это был вечер, когда я больше всего думала о Вас) Мишенька, вернувшись из цирка «Модерн», где был какой-то митинг, ничего мне не сказав, вдруг написал стихотворение:

Вышли люди из темной пещеры.
Как скала недоступна свобода.
Но свою одинокую веру
Я ступенью кладу для народа.

Всего стихотворения я не помню, Ольга Памфиловна, но могу Вас уверить, дорогая, что оно было прекрасно. Я не знала, что Мишенька поэт, и сейчас же уговорила его снести эти стихи в журнал «Свобода в борьбе». Стих по техническим соображениям напечатан не был, но Мишенька познакомился с редактором этого журнала, с господином Завойко, подумайте, с бывшим поверенным фирмы Нобель и директором-распорядителем общества „Эмба и Каспий“».

В это время абажур над лампой вдруг почему-то наклонился, зеленый свет с письма упал на пол, а на письмо, скользя по рукам Ольги Памфиловны, легло красное тревожное пятно.

«Ах, Ольга Памфиловна, женщина, если она нашла свое личное счастье, всегда умнее мужчины. Если б не я, это знакомство так и осталось бы знакомством, каких, конечно, немало у Мишеньки, но я немедленно же познакомилась с племянницей супруги господина Завойко, и это было как нельзя более кстати, потому что господин Завойко оказался другом — как вы думаете, кого, Ольга Памфиловна?.. Он оказался другом самого генерала Корнилова, бывшего командующего 25-м корпусом, а в те дни главнокомандующего войсками Петроградского военного округа».

Вероятно, Ольгу Памфиловну раздражал красный свет, падающий на письмо. Она выпрямилась, плотно сжала губы, провела по бровям двумя пальцами, потом положила ладонь на шелковый верх подушки и сразу же вновь отдернула руку. Шелк тоже нервировал Ольгу Памфиловну.

«Не знаю, известны ли Вам последние столичные новости — об этом все теперь говорят, — уже с трудом продолжала она читать. — Генерал Корнилов назначается командующим армией на Юго-Западном фронте, господин Завойко едет вместе с генералом, а Мишенька, который по моему совету записался в революционную партию эсеров и своим талантом, благородством и воспитанием завоевавший полное доверие в военных кругах и у господина Завойко, назначается по-

мощником комиссара при любом корпусе или дивизии и едет сейчас со мной в распоряжение штаба Особой армии».

Ольга Памфиловна не могла дочитать письмо. В столовой, завизжав съехавшими с ковра колесами, опять покатилося кресло ее мужа, и Ольга Памфиловна бросила письмо на диван.

«Сушее наказание! — с горечью подумала она. — Ну что можно сделать с моим никуда не годным инвалидом!» — И, подойдя к туалету, Ольга Памфиловна вдруг смахнула в ящик фотографию Варвары Николаевны.

— Здравствуйте!.. Ча-ай, ча-ай... — заикаясь и жалко растягивая слова, говорил кому-то за дверью разбитый параличом Спиридон Кузьмич. — Она сей... сей... сейчас при... при... при...

Прапорщику Константинову казалось — ему хочется видеть людей, слушать смех, крик и говор. Но, дойдя до окна дома бывшей вдовы станового пристава и услышав за ним громкие и веселые голоса, он вдруг остановился и отказался идти на свадьбу.

— Ну, как хочешь! — почему-то рассердившись, сказал прапорщик Дергачев и, взяв Анюту под руку, вошел в ворота.

— Вальс, вальс!.. — просила за открытым окном маленькая плотная девушка, огромные груди которой, еще не успокоившиеся после краковяка, туго подымали белую, легкую кофточку, густо пропотевшую под мышками. — Вальс! «Дунайские волны», пожалуйста!

Слепой баянист, сидевший за окном, подоконник которого был уставлен комнатными цветами, кивнул, но за баян не взялся — приказчик из магазина Киселева поднес ему в это время рюмку самогона. Баянист выпил, задев за цветы макушкой запрокинутой головы, крикнул и, не получив закуски, стал дергать желтыми веками гнойных провалившихся глаз.

— Горько! Горько!.. — кричал где-то прапорщик Бесседелько. — Вальс! «На сопках Маньчжурии!»

— Отодвиньте стулья, отодвиньте диван!

— Стулья!..

— Вы наступили мне на ногу!

— Горько! Горько!

Прапорщик Константинов отошел от окна.

...Вдоль деревянных досок тротуара росла молодая низкая трава. Серые стены тюрьмы по другую сторону улицы

казались черными. Только угол тюрьмы был залит лунным светом и выпирал вперед облупившимися кирпичами.

Но вот с круглой луны сползла туча. Полоса света на тюремной стене раздвинулась шире, и прапорщик Константинов увидел окна, острые края выбитых стекол и черные решетки, на которых спали воробьи.

И-и плааа...чет отец,
И-и плачет... жена молодая...—

запел кто-то уже далеко за спиной Константинова. Басы баяна, на мгновенье заглушившие одинокий голос, вдруг оборвались, и баянист заиграл с надрывным весельем и ухарством.

И-и ветер на сопках рыда-ет!..

Константинову казалось — вон за тем углом, где начинается спуск к Домашке, он не услышит наконец этих надоедливых звуков вальса, этого крика, смеха и шума, к которым он тянулся, но которые, как оказалось, вовсе не были ему нужны.

По крутому спуску покатила камень, задетый ногой Константинова. Камень упал в Домашку — и серебряный круг, тихо качаясь возле берега, поплыл к Чечулкиному мосту. На мосту стояли солдаты и какие-то бабы. Там тоже играла гармонь, торопливо, нескладно и сбивчиво.

...На горè-е стон-и-ит аптека...—

быстро выкрикивал кто-то, стараясь не отстать от гармошки.

Эх, да любовь су-у-шит че-е-ло-ве-ка!..

Солдат-гармонист раскачивался, топал ногой о бревна моста и тоже подтягивал, срывая голос на высоких нотах.

Эх, да по-о-вен-ча-аться да не-е вен-чать-ся,
Эх, да лишь в ап-те-ку-у по-о-сту-у-чатся!..

— А я к вам бежала, дяденька...— вдруг услышал за собой Константинов, оглянулся и увидел Гедвиг, которая быстро сбегала к нему по крутому спуску.

— Нет, оставьте Разживина с его полковым комитетом. Разживин не так уж опасен! — говорил полковник Судаков, сидя за чайным столом в столовой у Ольги Памфиловны.

— Убийца не опасен?.. Федор Федорович, что вы!..

Полковник придвинул сахарницу, и его волосатые толстые пальцы стали перебирать белые пыльные куски.

— Для того чтоб не стать изменником родины и продолжать работать на ее благо, сейчас, Ольга Памфиловна,

нужно прикрыть один глаз и не думать об убийствах, которые произошли при царском режиме.

Кусок сахара, опустившись на дно стакана, медленно повернулся набок и распался, играя веселыми пузырьками.

— Сейчас, Ольга Памфиловна, хочешь не хочешь, а при новом режиме, закрыв один глаз...

— Но, Федор Федорович, ведь из-за этого Разживина, из-за убийцы (простите, убийца всегда остается убийцей!), полковник Пробкин, который по долгу службы...

— Нет, полковник Пробкин, полковник Пробкин!.. — кивая над стаканом красным подбородком, сердито сказал полковник Судаков. — Полковник Пробкин дезертир, а вот полковник Судаков — на посту!.. На посту, Ольга Памфиловна, на тяжком посту!..

Над столом качались старые еловые шишки, прикрепленные к висячей лампе. Лампа с пестрым высоким абажуром стояла на пианино в углу столовой, и пестрые пятна света играли на обоях, как осенние листья декораций. Окно по правую сторону пианино было завешено темными порттьерами, которые падали на подоконник и свешивались с него тяжелыми складками. Круглые помпончики на нижнем конце порттьеры были оборваны. Это за восемь долгих лет оборвал их, скучая, муж Ольги Памфиловны, разбитый параличом Спиридон Кузьмич.

— Поиграть на пианино, побеседовать... Я в вашей семье, как у себя дома, Ольга Памфиловна! Если б не вы, пригrevшие мое одиночество... — уже расслабленный горячим чаем, говорил полковник Судаков, довольный, что Ольга Памфиловна перестала наконец расспрашивать о полковом комитете, о солдатах, о Разживине и обо всех делах, от которых все дни, не переставая, стучит у него в висках усталая кровь. — Если б не вы, Ольга Памфиловна...

Он перегнулся через стол и поцеловал ее руку.

— В моей жизни...

— Оле-ле... Олечка! — просил Спиридон Кузьмич, указывая пальцем на сахарницу, все еще стоявшую возле локтя полковника.

— В моей жизни, Ольга Памфиловна, вы — мой отдых. Здесь у вас я все забываю, забываю все страхи, ужасы...

— Какие же страхи, Федор Федорович, если вы не боитесь Разживина?

Полковник Судаков поднял лицо над стаканом, глаза его стали круглыми, остановились, а усы над губами дрогнули.

— Солдатской массы я боюсь, Ольга Памфиловна! Солдатской массы, стада, моря, которое захлестнет и офицеров и комитеты! Море...

— Главное, победить бы Германию, Федор Федорович!

— Олечка, Олечка. Са...са...сахар!..

— Хорошо, вы, конечно, можете ехать в моем эшелоне. Что ж, вы мне не мешаете! — сказал прапорщик Константинов и пошел с Гедвиг к дому колонистки Марты Гартен.

— Цвет моя малина! Э-эх, туго-любо! — крикнул кто-то на Чечулкином мосту. Баба взвизгнула, а гармонист, взмахнув гармонью, схватил ее за груди.

— Лапать?.. Что?.. Анюту?..— еще дальше, на Самарской улице,— кричал в это время прапорщик Дергачев. Без фуражки, бледный и взбешенный, он выбежал за прапорщиком Бесседелько и, нагнав его возле ворот, пытался схватить за ворот гимнастерки.— Лапать?.. Что?.. Хам!.. А в морду?..

— А ты растил? Растил морду?.. Тронь!..— кричал прапорщик Бесседелько и, размахивая руками, отступал к окну, за которым быстро кружились гости и баянист, потный от усердия, кончал последний такт вальса.

...Под утро Ольга Памфиловна увидела во сне своего beau-frère'a, доктора Питкевича. Он стоял в Петрограде под памятником Медного Всадника, смотрел на цирк «Модерн», а Ольга Памфиловна, стоявшая рядом с ним, держала руку на эфесе его шашки.

Шло много людей. Они хотели победить Германию. Варвара Николаевна плакала.

«Так... ей... и надо!..»

2

Красный грязный состав эшелона стоял почему-то на втором пути. На синих блестящих рельсах между эшелоном и платформой станции ломались бегущие тени солдат. Музыканты под окнами зала первого класса только что перестали играть и, опустив к ногам тяжелые трубы, сворачивали цигарки. Вокруг музыкантов толпились мальчишки.

— Первое отделение... Второе... Четвертого взвода два отделения... Вагон номер пятый и шестой!..— кричал прапор-

щик Константинов, торопливо заглядывая в двери теплушек.— Что ж я могу поделывать, если нары все-таки не сделаны? Горнист! Где горнист?..

В двери теплушек все еще карабкались солдаты. Ефрейтор Повстанко в конце эшелона гнал куда-то двух татар 1-го взвода, Мукуша Алимова и Сендюкова.

— Катись оба назад! — кричал он.— Первый взвод за офицерским! Куда прете, головы-олово!..

Офицерский вагон, серый, давно не крашенный, IV класса, возле которого валялся чемодан прапорщика Константинова, одиноко подымался между теплушками 2-го и 3-го взвода. На площадке вагона стояли два унтер-офицера, угрюмый вольноопределяющийся с рассеченной губой и веселая, довольная Гедвиг.

Несколько дней назад Временным правительством был опубликован декрет, отменяющий царское узаконение от 15-го года, согласно которому немцы-колонисты были лишены земель и высланы из пределов прифронтовых и пограничных областей, и Марта Гартен и Гедвиг возвращались сейчас в родную колонию под Рожище.

— Дяденька-солдат, скоро?.. скоро?..— спрашивала всех пробежавших мимо вагона раскрасневшаяся Гедвиг.

Марта Гартен уже несколько раз звала ее в вагон, но Гедвиг ждала музыку и в темный, мрачный вагон не шла.

— Дяденька-солдат, скоро музыка?

— Горнист!.. Где горнист?..— добежав до вагона, опять крикнул прапорщик Константинов.— Гедвиг, пошла бы в вагон!.. Послушайте, если вы взводный и не знаете вашего списка...

Прапорщик Дергачев видел, что Константинов волнуется, и тоже заметно волновался. Держа Анюту под руку, он улыбался, кивал Константинову и, чтоб скрыть свое волнение, напевал, насмешливо повторяя все одни и те же строки:

Он свою ро-ди-ну навеки поки-и-нул,
Больше не вер-не-от-ся в родительский дом...

Анюта разворачивала и вновь комкала носовой платок.

— Анюта, а если меня отправят?.. Милая, как это все-таки тяжело расставаться...

На платформе — плечом к плечу — густо стояли солдаты 170-го и 244-го полков, явившиеся поглазеть на проводы. Каждый раз, когда прапорщик Константинов пробежал мимо

платформы, вольноопределяющийся Голиков, стоявший в первом ряду толпы, брал под козырек и по-штатски кланялся.

— Господин прапорщик! — наконец позвал он и перегнулся, подойдя к самому краю платформы.

Прапорщик Константинов остановился.

— Да?..

На платформу медленно подымался ряд красных знамен. Вероятно, пришли представители Совета рабочих и солдатских депутатов. За знаменами бежали мастеровые. Музыканты под окнами зала первого класса выбивали слюни из труб, а полковник Судаков за окном быстро ел раков.

Полковник Судаков всегда обнимал отъезжавших на фронт офицеров, но к прапорщику Константинову он не подходил. Вероятно, он сердился, что Константинов, не сказав ни слова, взял в вагон какую-то женщину.

Вот промелькнуло строгое лицо Ольги Памфиловны. Прощел поручик Лунь, дежурный по станции.

— Да, вольноопределяющийся?.. Я вас слушаю.

— Господин прапорщик! — повторил вольноопределяющийся Голиков и протянул Константинову руку.— От лица всех граждан солдат... помните... в тяжелые, страдные дни... долг спасти революцию... завет...

— Спасе-от!..— засмеялся кто-то.

— Берлин заберет всего-навсе, и замиряется!

— Напхато полны вагоны, а у немцев не менее...

— Бабу везет...— говорили солдаты.

Прапорщик Константинов хотел повернуться, но вольноопределяющийся Голиков все еще жал ему руку.

— Не гавкай!.. Почем зря гавкает!..— опять заговорил кто-то.— На родину ее везет, потому не век бабе маяться!

— Коль правда, то уважаю, конечно.

— Бабу и я уважаю!

— Товарищи! Граждане солдаты! — крикнул в это время полковник Судаков, вышедший на платформу. Он остановился возле музыкантов и поправил воротник кителя, который жал его шею. С воротника на руку полковника упал маленький кусочек красной скорлупки рака.— Последнее слово, и с богом, товарищи, на святое, праведное дело!..

Солдаты на платформе и возле теплушек замолчали. Вольноопределяющийся Голиков выпустил руку Константинова. Красные знамена, склонившись под низким навесом станции, встали полукругом за музыкантами. «За свободу!» — прочел прапорщик Константинов золотую надпись на крайнем полотнище, выпавшем из-под навеса. Потом золотые буквы потемнели — вероятно, на солнце напозла

туча. Ярко-зеленая полоса на полянке за станцией тоже отступила назад и опустилась за холмик.

— Граждане солдаты!.. Отныне в ранце каждого сознательного солдата лежат погоны офицера!..— кричал полковник Судаков, довольный, что погрузка уже окончена, что никто при погрузке не буянил и не агитировал против войны, а потому желая своей речью вознаградить солдат.— Солдаты, если при царском режиме были распри, их больше не будет! Кровь — одна кровь, которая льется,— кровь солдат и офицеров...

Прапорщик Константинов понял, что должен встать возле своего вагона, и, повернувшись, медленно пошел вдоль теплушек.

В теплушках шаркали грузные сапоги и звякали котелки и чайники.

— Смерть придет, тоже «мед» скажет!..

— Держись, ребята, про мир, мол, расскажу — и за винтовку!

— Ловко гнет, седой кобель!

— Но солдаты!.. Мир... Но свобода требует жертв!.. Ваше новое правительство, наше то есть правительство, наши министры-демократы...— все еще кричал полковник, пытаясь сверкать давно уже потухшими глазами. Речь ему не давалась, солдаты чувствовали это, и прапорщику Константинову, уже остановившемуся возле своего вагона, было стыдно за полковника.

— Родина!..— кричал полковник.

— Немцы!..— кричала где-то Ольга Памфиловна, выступившая от лица «Дамского благотворительного комитета».

— ...изнемогая, но во что бы то ни стало желая победы...

— ...окружившие нас штыками, нас, русских, травящие удушливыми газами,— перебив полковника, вновь крикнула Ольга Памфиловна.— Эти немцы были, есть и будут врагами!.. Защитники! Наши защитники-солдаты!..

А над крышей станции ползла бурая туча. Музыканты под потемневшим окном подымали медные трубы.

— Сейчас заиграют, заиграют!..— радостно повторяла за спиной Константинова Гедвиг. Вдоль эшелона, торопливо шагая, шел нотариус Нежданов. Вот в последнюю теплушку вскочил взводный 4-го взвода.

— Горнист! — крикнул тогда прапорщик Константинов.

— Музыканты! — крикнул полковник Судаков.

— Ура! — кричал вольноопределяющийся Голиков.

— Ура-а!..

Анюта взмахнула платком. Прапорщик Дергачев, соскочив с платформы, побежал к офицерскому вагону.

— Горнист! — опять крикнул Константинов и, обняв Дергачева, вскочил на ступеньку вагона.

Горнист заиграл протяжно и долго. Прапорщик Дергачев тоже вскочил на ступеньку. Губы Дергачева были мягкие и теплые, как у девушки. Ресницы, тоже как у девушки длинные, блестели и вздрагивали.

— Прощай...

— Слушай!.. Павел, послушай...

Но горнист уже доиграл последнее колено, и высокой тревожной нотой вдруг сорвал голос Константинова.

— Ура! — сквозь шум, крики и отрывки перемешавшихся мыслей опять услышал Константинов.

— Ура-а!

Красные знамена под навесом склонились и поднялись. Музыканты опять качнулись вперед и плеснули в толпу звуками «Марсельезы».

— Серега! Серега!

Лицо Дергачева запрыгало. Спотыкаясь, он побежал за вагоном.

— Серега, прости, если что!.. Серега...

— Ура-а!

— Ура-а-а!

Вагон качало. Казалось, вагон идет кланяясь. Над крышей станции упала туча и, вдруг порвав отяжелевшие края, вновь тяжело метнулась к небу. Плеснул дождь. Тулья фуражки прапорщика Дергачева захлопала и забилась под ветром.

— Ура! — еще раз крикнул Константинов, повернулся, но, увидя Гедвиг и двух солдат на площадке, вдруг пригнулся и быстро рванул дверь уборной.

— Ура-а! — уже глухо доносились крики со станции.

— ...aaa!.. Спа-са-ай-те революцию-у!.. — кричал нотариус Нежданов. О крышу бил дождь. Кажется, он хлестал и по обшивке вагона.

— Ура-а-а-а! — все дальше и дальше отступал куда-то Бузулук, а прапорщик Константинов, защелкнув дверь уборной, вдруг схватился за цепь над сиденьем и уронил голову на запрыгавший локоть.

— Ура-aaa-aaa!..

Откуда-то снизу — в лицо Константинова — ударил ветер. Глубоко под узкой трубой быстро мелькали шпалы.

«Стервятник!..— думал поручик Лунь, одиноко возвращаясь в караульное помещение при станции.— Ну и стерва же у нас полковник, лизоблюд и мыловар!.. Гнилая рыба!..»

И ЭТО ФРОНТ?

1

Над плоской крышей главного здания вокзала Сарны был поднят бело-сине-красный флаг. Маленький красный флажок висел над входом в ремонтные мастерские. На поросших травой запасных путях, тяжело навалившись друг на друга, стояли разбитые вагоны. Под вагонами спали солдаты. Сестры бродили возле садиков питательного пункта «Земского союза», в котором, прислонясь к забору, стояли офицеры-артиллеристы. Далеко за водокачкой паровоз какого-то вновь прибывшего эшелона устало пускал пары. Гудел аэроплан.

Комиссар 5-го армейского корпуса, поручик Геральтовский, дважды за последние месяцы видел комиссара 8-й армии, штабс-капитана Филоненко, и подражал ему теперь решительно во всем. Выйдя из своего вагона, почему-то отведенного к товарной платформе, он не сразу пошел к станции, а, положив руку на грудь, остановился и минуты две постоял в той позе, в которой видел в Могилеве комиссара Филоненко. Наконец, быстро опустив ладонь, он вскинул голову и пошел решительно и твердо, точно считая шагами шпалы.

— Мишенька, тебе следует так же вот научиться обдумывать все поступки,— сказала Варвара Николаевна, выглянув из окна комиссаровского вагона.— Это всегда очень действует на окружающих.

Прапорщик Викторov вытянул ноги и, любуясь ярко начищенными сапогами, не торопясь закурил папиросу.

— Что?

— Ты только и спрашиваешь «что» да «что», а что нужно, никогда не делаешь. Раз ты помощник комиссара, значит, ты должен был выйти вместе с ним. Ведь ты отлично знаешь, что не каждый комиссар имеет помощников и что ты очень легко можешь лишиться этой должности.

На Варваре Николаевне была форма сестры милосердия. С тех пор как она надела форму сестры и стала ездить в комиссаровском вагоне, она перестала хихикать и стала часто сдвигать брови, чего прежде никогда не делала. Вот и сейчас, взглянув на прапорщика Викторова, она опять сердито

и недовольно сдвинула брови и, дернув плечом, отвернулась к окну.

За окном шли грязные, оборванные солдаты.

«Извольте работать при таких обстоятельствах!..» — подумала Варвара Николаевна, вспомнив слова поручика Геральтовского.

— Извольте облагоразить эту смрадную рвань, трусов и пьяных подонков! — повторила она уже вслух.

— Что? — опять спросил прапорщик Викторов, но Варвара Николаевна не ответила.

А солдаты за окном уже поднялись на главную платформу вокзала. Огромный гвардеец Кексгольмского полка, идущий перед толпой, грозил кому-то кулаком и ругался.

— Правильно! — гудели за ним солдаты. — Не старый режим, чтоб мытарить по станциям!

— А не повезет в скорости...

— Сладим!..

— Я это правильно говорю! Винтовок нет, а крюк найдется!

Навстречу солдатам шли четыре бабы. Два зауряд-военных чиновника, шедшие вслед за бабами, увидели солдат и посторонились. Из эшелона, стоявшего за водокачкой, вылезали солдаты-маршевики.

— Товарищ начальник! — кричали фронтовики, уже обступив начальника станции. — Состав без промедления требуется. На смену едем.

— Кадру сменять едем.

— Но нет вагонов! Нет же вагонов! — Начальник станции взмахнул руками. — Товарищи, нужно быть сознательными! Обождать!.. Вы не на фронт, обождите!

— Документы и все, как следует... Согласно распоряжению...

— Все имеется... Товарищ!..

— Нет больше нашего терпения!..

— Товарищ начальник!..

И вдруг среди солдат, обступивших начальника станции, Варвара Николаевна увидела широкого офицера в грязной, как у солдат, шинели, сутулая спина которого, клочки черных волос над ушами и низко опущенные тяжелые руки заставили ее быстро прильнуть к окну.

— Три года, товарищ начальник!.. Нет нашего терпения!.. — продолжали гудеть солдаты. Высокий сутулый офицер в грязной шинели стоял за ними неподвижно. Черные волосы над его ухом шевелил ветер.

— Давай вагоны! Понял?

— Три года, товарищ начальник, в окопах...

— В окоп бы тебя, сатана!

— За холку, брюхатый!..

«Неужели это он?.. Неужели он? — думала Варвара Николаевна, чувствуя, как давно позабытые дни — радостные и полные обид попеременно — вдруг опять поднялись в ее воспоминаниях. — Нет, не он. Не может быть, не может этого быть. Как же?.. А Мишенька?.. Это не он, нет!»

Но начальник станции в это время вдруг повернулся; крича и толкаясь, солдаты двинулись за ним, офицер в грязной шинели тоже обернулся, и Варвара Николаевна схватила за плечо прапорщика Виктора.

— Мишенька! — крикнула она. — Мишенька, это он!..

— Ну?.. — поняв наконец Варвару Николаевну, спросил прапорщик Виктор и опять вытянул ноги в начищенных блестящих сапогах. — Ну и что ж ты волнуешься и плачешь? Похоже на то, что ты вновь хочешь к нему, Варвара?

Над головой прапорщика Викторова висел большой портрет Керенского. На Керенском был френч, такой же новый и красивый, как на прапорщике Викторове.

— Что ж?.. Хочешь вернуться и опять жить с ним в закуте, как жила до сих пор, Варя?..

Красивый, как Керенский, прапорщик Викторов все еще смотрел на Варвару Николаевну, и далекие дни ее прежней жизни, радостные и полные обид, попеременно, уже отступали куда-то назад. На улицах Петрограда, который вдруг вспомнился Варваре Николаевне, зажглись и заиграли фонари. Из цирка «Модерн», звеня шашками и шпорами, хлынули офицеры. Офицеры кого-то качали, кто-то кричал, восторженно и громко, какой-то генерал жал Мише руку, она, Варвара Николаевна, шла под руку с поручиком Геральтовским, он звал ее куда-то, — да, она поедет! — говорила она, а муж ее, грязный, сутулый и лохматый, опять уже одиноко спускался к заросшему берегу Волги, где, звякая ржавой цепью, качалась на волнах его провонявшая рыбой лодка.

— Мишенька, поди узнай!.. — повторяла Варвара Николаевна, быстро поворачиваясь то к портрету Керенского, то к прапорщику Викторову. — Мишенька, поди узнай!.. Мишенька, куда он?.. Ведь он муж... Он может вернуть меня, то есть не вернуть, но огласка... Мишенька, твоя карьера... вагон...

Прапорщик Викторов молчал.

— Мишенька, он страшно злой, ты не знаешь!.. Он дикий!.. Однажды он меня ударил!.. Он и тебя... убьет!..

«Действительно, препаршивая встреча,— думал между тем прапорщик Викторов.— Попытаться?.. Она все-таки мне очень нужна... Попытаться?..»

— Мишенька, что ж ты молчишь? Мишенька?..

И вскоре слуха Кочубея
Коснулась роковая весть!..—

вдруг сказал прапорщик Викторов и вышел из вагона.

Солдаты-фронтовики, которым начальник станции обещал составить к вечеру особый поезд, а с ними прапорщик Рябой и рядовой Смуров, тоже откомандированные в тыл на смену кадровым запасных полков, стояли на рельсах возле водокачки. Паровоз задержавшегося в Сарнах эшелона грузили дровами. В тендер с шумом бежала вода.

— Товарищи, согласно постановлению Временного правительства, касающегося прав собрания, всякие собрания на рельсовых путях возбраняются,— подойдя к солдатам, спокойно и уверенно сказал прапорщик Викторов.— Извольте мне подчиниться как помощнику комиссара Временного правительства и немедленно сойти с путей. А вас, прапорщик, прошу следовать за мной. Ваши документы?..

Прапорщик Рябой посмотрел на Викторова, хотел что-то ответить, потом решил, что отвечать ничего не стоит, что прапорщик-комиссар, идущий рядом с ним, и без объяснений поймет все по документам, и опустил руку в карман шинели.

— Стыдно, прикрываясь законом, дезертировать от долга, прапорщик! Если опытные старые офицеры уйдут сейчас с фронта, на кого ляжет ответственность? — просмотрев документы, сказал, кашлянув, Викторов, а прапорщик Рябой, вновь уже чувствовавший в себе то глухое, тяжелое безразличие, с которым он тщетно боролся все последние месяцы, опустил голову, увидел рваные сапоги, потом другие, ярко начищенные, и вдруг тихо и коротко рассмеялся.

— Что вы смеетесь, прапорщик? — немного испуганно спросил его Викторов, а прапорщик Рябой, опять ничего не ответив, стал думать о том, не все ли равно — бродить по тылу в таких вот ярко начищенных сапогах или в таких, как у него, бурых и порванных, месить грязь в окопах.

«Сумасшедший! — думал прапорщик Викторов.— Честное слово, сумасшедший!»

Уже вечерело.

— Ну как, Мишенька? — спросила Варвара Николаевна.

Прапорщик Викторов взял ее руку и, перегнув, поцеловал ладонь.

— А ты говоришь, я не умею себя поставить! — сказал он, одернув френч и выпрямив широкие плечи.— Поручик Геральтовский весьма мною доволен. Мы завернули его назад на фронт, и, представь себе,— поехал... Ну и бревно же он у тебя, Варенька!.. Его по башке, а он и не чешется... А ты говоришь — дикий!

Минуту прапорщик Викторов помолчал и вдруг опять обернулся к Варваре Николаевне.

— А знаешь, командиром маршевой роты, которому я, как зонтик, что ли, вручил твоего дурака, оказался прапорщик Константинов из Бузулука.

И, вновь отойдя к окну, прапорщик Викторов увидел неподвижные вагоны, еще неясные звезды над ними и низкую тучу над горизонтом. Черный эшелон прапорщика Константинова медленно выползал к семафору. Семафор вспыхнул зеленым огнем.

Блуждаю один, как челнок...—

шепотом начал вдруг прапорщик Викторов и продолжал уже нараспев и все повышая голос:

Безумцем в туман направляемый...
Один, без любви, сожигаемый
Мучительным пламенем грез...

Варвара Николаевна дослушала стихотворение, потом поднялась, зажгла свет и, подойдя к стене маленького купе, вновь воткнула в уголок портрета Керенского выпавшую кнопку.

Казалось, она даже не расслышала, что сказал ей Миша о прапорщике Константинове. О муже она тоже не думала. Сейчас она ждала поручика Геральтовского. Неужели поручик Геральтовский не поможет наконец Мишеньке продвинуться?..

2

— Прапорщик Рябой? — спросил Константинов.— В таком случае я, кажется, встречал вашу жену...

— Оставьте, дяденька, он спит,— сказал Гедвиг.

...По темному небу проплыли высокие черные башни костела. Потом мигающие низкие огни сдвинулись направо и упали за кусты. Эшелон прошел город Ровно.

...От Луцка до местечка Рожище, дальше которого железнодорожный путь был взорван, нужно было ехать узкоколейкой. Посадку роты в новый состав прапорщик Константинов произвел ночью и, закончив поверку по вагонам, вновь вычеркнул из списка двадцать семь маршевиков. За все время пути от Бузулука до Луцка дезертировало семьдесят девять.

Больше всего бежало на Украине. Возле Брянска бежал ефрейтор Повстанко. Прапорщик Константинов стоял тогда на площадке своего вагона и смотрел на поля. Сперва, три раза повернувшись в воздухе, из дверей последней теплушки вылетел вещевой мешок. Упав на краю канавы, он развязался, и новенький котелок, блестя на солнце, покатился в мутную тину. Выскочив вслед за мешком, ефрейтор Повстанко пробежал, качаясь, несколько шагов рядом с поездом, потом остановился и, поправив съехавшую на затылок фуражку, широко и радостно улыбнулся.

— Куда, куда? — перегнувшись с площадки, крикнул прапорщик Константинов.

— Домой, домой! — в тон ему крикнул ефрейтор Повстанко, опять улыбнулся и, весело покивав ладонью, пошел назад — за вещевым мешком.

Паровоз протяжно свистел, по полям бежали заборы, бабы за заборами тоже улыбались Константинову, и Константинов махнул рукой.

Эшелон на Рожище, составленный не из красных, а из зеленых небольших теплушек, вышел из Луцка под утро — часа в два. Серый офицерский вагон, в котором неделю подряд, не переставая, дребезжали грязные стекла, остался в Луцке. Прапорщик Константинов сидел в одной из теплушек 1-го взвода.

Эшелон шел медленно. Каждые десять минут он почему-то останавливался. Солдаты выскакивали из теплушек, бежали к стволам деревьев и не спеша поворачивали головы. Стволы деревьев, особенно белых березок, все ясней и ясней выплывали из темноты. За деревьями — двумя бледными полосами, розовой и желтой, — подымалась заря.

— Са-ди-ись!..

И опять играл горнист.

В углу теплушки спала Гедвиг. Мукуш Алимов прикрыл ее шинелью. Шинель была плотная, тяжелая, девочке стало жарко, она сбросила ее с себя, придвинулась ближе к стенке и, вытянув руки, положила их на шинель. Рядом с ней сидела

Марта Гартен. Тонкие белые руки девочки и повернутый к Константинову затылок колонистки тоже понемногу выступали из полутьмы.

— Знаете, прапорщик Рябой, отъезжая, я решил никогда не думать о смерти,— вполголоса говорил Константинов.— Ну вот, о смерти я не думаю, а потому мне даже непонятно, отчего вдруг заскребет иногда, заскребет... Раньше легче было, не думалось...

На минуту Константинов замолчал.

— А теперь не знаешь, чем силы и бодрость в себе поддерживать... Только и осталось, что черным кофе на станциях да папиросами. Лозунгов много, но все они впустую бьют. Ведь все они на солдат рассчитаны, а солдаты бегут, бегут...

Константинов опять помолчал.

— И кажется мне, что один я сейчас на фронт еду. И кажется, что еду я по инерции. Там, в Бузулуке, «ура» кричали, толкнули, ну и я «ура», покатился, еду, а скребет, скребет... Отчего это? Смерть?

Прапорщик Рябой сидел, прислонившись к стене теплушки, и молча чесал заросшую бородой щеку. Он смотрел на темные фигуры солдат, спавших на полу, иногда подымал глаза на Константинова и старался понять, отчего Константинов, может быть, не лицом, а одной только молодостью похожий на прапорщика Лбовича, не желая говорить о смерти, все время опять возвращается к ней.

— Mutti! Lass doch! ¹ — повторяла во сне Гедвиг, вновь пытаясь сбросить с себя шинель.

— Тут, брат, кишка слаба!.. Сунься-ка, сунься!.. бредил солдат под другой стеной теплушки.— Лычками теперь не страшать больше!.. Будет!..

А Марта Гартен, вновь прикрыв плечи дочери, повернула голову, посмотрела на замолчавшего Константинова и, слушая стук колес, вдруг вспомнила колонию Эйхендорф и узкую тропинку, ведущую мимо красной кирпичи. Там, за огородами, всегда паслись коровы.

Hast du mich mit Schmerz geboren,
Zum Soldaten aus-er-ko-ren,
Wenn's nur ein-mal Frieden wär!.. ²—

вероятно, пел бы, работая на огороде, брат ее Вилли, тоже ушедший теперь в армию.

¹ Мама! Брось! (нем.)

² Ты меня в муках родила,
ты ли выбрала мне путь солдата,
ах, если бы уже наступил мир! (нем.)

«Was, Martha?.. Bist auch erfahren?..»¹

Константинов, идущий рядом, не понял бы насмешки Вилли. Вот он шел, как всегда ходил по улицам Бузулука, немного покачиваясь на ходу, она почувствовала плечом его качающееся плечо, и оттого, что он не замечал этого, ей стало еще более радостно. В гору поднялись все соседи-колонисты — Мартин, Томас, Леопольд и Густав, а он, Константинов, сел за стол, который стоит под липою возле ее дома, взял кружку с парным молоком, скинул пиджак, испачканный на работе, а на другом конце стола — с такою же кружкой в руках — уже сидела Гедвиг.

Wenn's nur ein-mal Frie-den wä-ä-är!..

Гремели колеса.

... За широкой щелью вздрагивающих дверей теплушки качался туман. За туманом белела далекая Стырь. Опять поднялись кусты. Потом к берегам Стыри потянулись черные полосы взорванной проволоки, за которую катились куда-то ржавые «ежи» и рогатки.

— Подъезжаем,— сказал прапорщик Рябой, а Марта Гартен опять вспомнила острую красную кирку.

3

Эшелон стоял посреди поляны, изрытой воронками. На дне воронок лежал битый кирпич. Шесть легких орудий на открытых платформах медленно катились мимо разбитых стен станции Рожище, еще черных от дыма. Железная крыша станции была снесена и лежала поодаль, высоко кверху подняв зазубренный угол, краска на котором застыла пузырями, когда-то вздувшимися от жары при пожарище. Вокруг станции бродили артиллеристы с длинными тяжелыми шпорами на грязных нечерненных сапогах.

— Сейчас построимся!..— крикнул прапорщику Рябому Константинов, вдруг почувствовавший беспокойную потребность бегать, командовать и распоряжаться.

— Господин офицер,— подскочил к нему косоглазый юркий мальчишка в старом порванном картузе.— Молодую девочку, очень хорошую девочку, нужно господину офицеру?

— Строоо-иться-а! — кричал кто-то.— Выходи из вагонов!

¹ Что, Марта? У тебя уже тоже есть опыт? (нем.)

Юркий мальчишка, отбежав от Константинова, хотел вновь к нему подойти, но, взглянув на его шинель, понял, что офицер прибыл не с фронта, а из тыла, и так же быстро отбежал к артиллеристам, которые стали трепать его за картуз.

— Равняйся!.. Смирно!.. — подойдя к остаткам выстроившейся маршевой роты, крикнул прапорщик Константинов и, обернувшись, еще раз посмотрел вслед Марте Гартен и Гедвиг, которые, уже поднявшись к развалинам бывшей суконной фабрики местечка, одиноко подходили к высокому кресту, торчавшему над дорогой. Марта Гартен несла в руках узелок, Гедвиг — запасную пару башмаков с деревянными подошвами.

К станции, гулко гремя, подъехала пустая пулеметная двуколка. Две еврейки, молодая и старая, торговались возле двуколки с усатым артиллеристом.

— Ладно, давай! За глаза твои уступаю, красавица! — говорил артиллерист, вытаскивая из кармана грязный мешочек с сахаром.

Промчался взвод кавалерии.

— Когда придешь-то?

— Когда у кур молодежь состарится! — смеясь, крикнула артиллеристу молодая еврейка и побежала за старухой.

...Подымая тяжелую пыль, маршевая рота прапорщика Константинова уже шла к этапной комендатуре.

4

За дверью маленькой землянки медленно светало. Белая пышная маркиза с конфетной коробки, прибитая над опрокинутым ящиком, щурила один глаз. В другой глаз маркизы была воткнута английская булавка.

— Воистину суздальская простота мысли! — смеялся капитан Доброхотов, в батальон которого попали, уставшие после долгих переходов и встреч в штабе дивизии и полка, прапорщики Рябой и Константинов.

— А вы ничего? Так и поехали? Вот оно, наше многовластие, господа офицеры! Комитеты — свое: гав-гав, в тыл на смену! Комиссары: гав-гав по-своему, марш, мол, воевать! Чихать нам на комитеты!.. Генералы — матом, а нам: «так точно» по старинке — и никаких!.. Воистину три деревни, два села, куда ни ткнешься — хлоп по рылу и плюй кровью!.. Дела, дела, господа офицеры!

Заслонив круглой широкой спиной пышную маркизу над ящиком, капитан опять придвинул к себе банку с консервами и ткнул в нее вилкой.

— Люблю рыбу, господа офицеры, всякую, хоть в банке, как эта, будь ей неладно!..— сказал он вдруг и улыбнулся.—Посылочку из дома прислали — консервы: судаки да налимы всякие... Угостил бы, да вот не осталось... Я сам, господа, рыбак, и хоть и любитель, что называется, но не дилетант в этом деле ни в коем случае!.. Однажды я в Белозере налима поймал во-о какого, господа офицеры!..

Капитан развел руками, все увеличивая и увеличивая размер пойманного им налима, потом приоткрыл дверь землянки, посмотрел, не идет ли связной, и Константинов увидел, что усы у капитана совершенно седые.

— Ну а как, господин капитан, солдаты?..

Луна над дверью землянки стояла над самым горизонтом. Она была круглая, бледная и уже не светила.

— А как ваши в тылах, прапорщик? — собрав пальцем жир из пустой банки, тоже вопросом ответил Константинову капитан.— По-моему, коль хочешь победить, все сделаешь, а ваши из запасных полков только и знают, что посылать да посылать... Ничего, мол, народом немца возьмем, а тут не народ, а солдат нужен. Неделю назад, например, тоже прибыли...

Капитан вытер усы и опять засмеялся. Казалось, все, о чем час назад со злобой и раздражением говорил командир 613-го Славутинского полка, старика капитана только веселило и забавляло.

— Ать, два! ать, два! Идут по грязи,— продолжал он.— Остановились, как ваши вот. Стоят. «Ну что, ребята-товарищи?» — «Мы ничего. Мы войну кончать». — «А воевать вас учили? Вот стрелять, например?» — «Учили...» И верно, что учили! Три дня не прошло, как новых самострелов в лазарет повезли. Проклятый, говорят, немец, все по ногам бьет!.. По ногам-то по ногам, а почему аккурат в мякоть?..

— Ну, с богом, господа!..— выйдя из землянки, сказал капитан и вдруг перестал смеяться.— Идите с богом и простите меня, господа офицеры, если я не знаю, на фарс ли я вас посылаю или на трагедию...

«И это фронт?» — думал прапорщик Константинов.

...Возле последней, провалившейся, землянки валялась разбитая походная кухня. Неподвижная лужа, в которой затонуло сломанное колесо кухни, тянулась до низких стен

землянки и уходила в черную глубину ее приоткрытых дверей. В кустах за землянкой начинался ход сообщения в окоп.

«Таков, значит, фронт!.. И только?..» — повторил прапорщик Константинов.

Над ходом сообщения тоже рос кустарник. С обеих сторон свисали обнаженные черные корни. С корней капала вода. Под ногами солдат качались и проваливались доски.

— Теперь — наверх и пригнитесь, здесь открыто, — сказал связной, кажется из вольноопределяющихся.

— Прыгайте!..

Мокрые обнаженные корни опять хлестнули по фуражке Константинова, и высокая жесткая трава закачалась по обеим сторонам канавы. Роса на траве уже блестела на солнце.

— Болото...

— Стоход близко... — говорили солдаты, вместе с прапорщиком Константиновым назначенные во 2-ю роту 613-го полка.

— Говорят, цингой здесь болеют.

— Зимой болели... А нас одна только пуля спасет...

Прошел какой-то солдат, мокрый до пояса. В окопе, под стеной, обшитой переплетенным тростником, спали и чесались во сне унтер-офицер и ефрейтор.

— И пишет мне, приехал в гости, а гостить плохо приходится... — рассказывал кому-то за офицерским убежищем молодой солдат в прожженной гимнастерке. — Явился он будто в комитет своей волости муки просить, а в комитете ему будто говорят, иди, мол, откуда пришел, нет у нас ни муки, ни булок...

Из убежища, пригнувшись, вышли два офицера, ротный 2-й роты подпоручик Иосельян и прапорщик Штрод, высокий очень молодой остзеец с упрямыми серыми глазами.

— Господин поручик, прапорщик Константинов представляется по случаю прибытия во вверенную вам роту...

Подпоручик Иосельян и прапорщик Штрод взяли под козырек, а солдат в прожженной гимнастерке, мельком взглянув на Константинова, продолжал рассказывать.

— А раз муки нет, так нам и комитетов не надо, будто сказал он, идемте со мной в окопы, вши по вас, говорит, соскучились...

— Чурка! Чурка! — позвал кто-то из второго убежища, — Чурка, давай ведро, выкачать нужно!..

Чурка, солдат в прожженной гимнастерке, взял стоявшее на земле ведро и, пройдя мимо Константинова, спустился в черную яму, в глубине которой копошились солдаты.

Прошла неделя. Прапорщик Константинов в окопах 613-го Славутинского полка уже ловил вшей и каждое утро сушил на солнце портянки. Марта Гартен, добравшись до колонии Эйхендорф, куда вслед за ней вернулись еще три семьи колонистов, нашла старый топор и стала чинить полуразобраный забор вокруг своего дома, а в далеком Бузулуке, где тихая жизнь шла точно под шепоток полковника Судакова и Ольги Памфиловны, вдруг опять прорвались и забурлили тревожные слухи.

...В бараке офицерского собрания 170-го запасного полка было серо от табачного дыма, но офицеры не открывали окон: за окнами, заполнив все улицы и проезды между бараками, стояли солдаты.

— Точно в осажденной крепости, господа! — сказал кому-то молодой прапорщик с круглым и добродушным лицом семинариста. — Я, господа, до школы два года с солдатами прожил... Одним словом, свой человек. А вышел — куда там!.. Не слушают...

— Теркой их перетереть, а не ходы-выходы выискивать, тоже!.. — ворчал седой командир нестроевой роты 244-го полка. — В порошок их! Под жернова бы на мельницу!..

— Но надо что-либо надумать, господа офицеры, — размахивая папиросой, повторял прапорщик Бесседелько. Он сидел на столе и болтал длинными ногами.

— Что-нибудь такое, знаете... Ну, как вам сказать... ну такое, вы понимаете...

Стоявший перед ним подпоручик Карликов качал головой, на которой торчали красные оттопыренные уши, и растерянно соглашался.

— Да, да, вы правы... Конечно... Я понимаю, понимаю...

Собравшиеся в бараке офицеры 170-го и 244-го полков ждали на собрание нового гарнизонного начальника, полковника Судакова, но, подъехав к Чечулькиному мосту и увидя за ним возбужденную толпу солдат обоих полков гарнизона, полковник толкнул извозчика в спину и приказал поворачивать. Тарантас заскрипел, наклонился и вновь покатился вверх по Самарской.

— Вероятно, полковник занят и не прибудет, господа офицеры, — взглянув на часы, сказал, наконец, поручик Лунь,

как старший в чине взявший на себя роль председателя собрания. Он облокотился на спинку стула, о которую тихо звякнул его белый Георгиевский крестик, и спокойным взглядом глубоких всегда немного скучающих глаз посмотрел на офицеров.

— Господа офицеры, мы собрались, чтоб слепой воле солдат противопоставить нашу волю,— продолжал он, небрежно смахивая на пол пепел папиросы.— Прошу без выкриков, господа офицеры. Выкрики ни к чему. Если на то пошло, то глотками солдаты нас всегда победят. Это истина. Спорить не стоит... И потом, я вижу, что некоторые из нас, особенно из молодых, не говоря уже о старых, беспричинно волнуются. Напоминаю: мы собрались сюда на основании права свободы собраний, и солдаты ничего сделать не могут. Тем более с нами.

За стеной барака опять грузно закачался гул солдатских голосов. Поручик Лунь посмотрел вокруг себя и, желая разрядить волнение офицеров, улыбнулся. Улыбка сразу же изменила выражение его лица. Она заострила подбородок, и лицо поручика стало жестоким.

Но прапорщик Дергачев, вдруг покраснев, по-своему понял эту улыбку. Неужели, подумал он, поручик Лунь, а главное, прапорщик Бесседелько, который тоже чему-то улыбался, видели, как он, не желая столкнуться с толпой незнакомых ему солдат, окружными путями мимо порохового погреба и гауптвахты пришел сюда в барак на собрание? «Подожди, я тебе покажу, какой я трус и как я волнуюсь!..— думал прапорщик Дергачев.— Знаю я, чего ты на меня злишься и чего ехидничаешь, хулиган!.. К Анюте подбираешься, сволочь?..»

— Господа,— продолжал между тем поручик Лунь.— Все было более или менее спокойно, маршевые роты уходили на фронт, мы кое-как вели занятия, и потому многим из нас, может быть, непонятны причины нашей первой серьезной стычки с солдатами, которая не будет последней, если мы пойдем на уступки. Уступают в магазине Киселева, господа офицеры. Но не мы.

Здесь поручик Лунь замолчал, медленно сдвинул к черной линии волос все складки своего выпуклого, упрямого лба, и, взглянув на него, прапорщик Дергачев и все офицеры в бараке в первый раз поверили, что этот спокойный, всегда молчаливый офицер недаром получил свой «Георгий».

— В пункте пятом приказа номер один, уже ставшего притчей во языцах,— продолжал он вновь изменившимся сухим голосом, каким говорят писаря в канцеляриях,—

приказа, который, как известно, был разработан не офицерами, а Фомкой-дураком да Никитой-неумником из состава Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, сказано следующее...

И, вынув из бокового кармана несколько приказов, поручик Лунь развернул их и стал перелистывать. В крайнее окно барака взглянуло потное лицо с переломленным носом. Грязная, рваная папаха, надвинутая до бровей солдата, прильнула к стеклу.

— Буржу-и! — крикнул кто-то под другим окном. За третьим поднялся штык.

— Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, гласит пятый пункт приказа, должны находиться в распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям.

Поручик Лунь опустил приказ.

— Господа офицеры! Придравшись к слову «и прочее», наш Бузулукский совет солдатских и рабочих депутатов, а с ним и оба комитета полков требуют нашего разоружения, то есть требуют сдачи совету наших револьверов и шашек.

— А это видели?..

Прапорщик с добродушным лицом семинариста вскочил со стула и, подняв кулак, злобно взглянул на протетый сквозь него большой палец.

— Ни в коем случае!

— Лучше смерть! — крикнул прапорщик Бесседелько, а подпоручик Карликов испуганно оглянулся и посмотрел в окно.

— Буржу-и!.. Капиталу служить!.. — кричали за окном солдаты.

Офицеры в бараке гудели и размахивали руками.

— Гггас-пада офицер-ры!.. — крикнул поручик Лунь.

Офицеры перестали кричать и волноваться, а поручик бросил на пол окурок.

— Далее в пункте седьмом декларации Временного правительства...

Поручик вновь закурил, забрав в рот полмундштука папиросы. Зубы его блестили и почему-то казались прапорщику Дергачеву совершенно сухими.

— ...вывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении....

Кто-то за спиной поручика жадно пил лимонад. Солдаты за стеной что-то кричали.

— Наши полковые комитеты считают, конечно, что бузулукский гарнизон, освободив из тюрьмы эсера Разживина...

— Здорово!..

— В порошок!.. Теркой!..

— ...и потому отказываются в дальнейшем посылать на фронт маршевые роты.

— Позор!..

— Шкурники!..

— Позор перед союзниками!..

— Трусy!..

— С этим, господа офицеры, мы сможем бороться только в том случае...

— Бороться!..

— Не сдавать!..

— ...если выйдем сегодня победителями...— Поручик Лунь опять поднял на лбу упрямые, густые складки.— Если демонстративно, наперекор крикам и требованиям раз наоборот покажем...

— Буржу-и!..

— Капиталу гнете!.. Помещикам...

— Да здравствует Учредительное собрание!..— все громче гудели за стеной солдаты. Они глядели уже во все окна барака, цеплялись пальцами за рамы, срывались вниз и вновь тянулись к стеклу.

— Камень на шею!..

— С моста!..

— Учредительное собрание!

— Порешит оно с вами!..

— Только с фронта, опять на фронт!.. Сволочь собачья!..— кричал солдат с переломленным носом и стучал кулаком о раму окна, отчего стекло звенело и прыгало.

— Господа, сейчас — или они ворвутся!..— громко и отчетливо сказал вдруг поручик Лунь и круто повернулся.

— Господа офицеры, итак — за мной!..

Бутылки с лимонадом за дверцей открытого буфета раскачивались и испуганно звенели. Красные яблоки в высокой стеклянной вазе вздрагивали.

— Никаких криков! В перебранку ни с кем не вступать! Не задирать! — Поручик Лунь одернул гимнастерку, а все офицеры стали одергивать на поясах кобуры наганов.

— На кобуру рук не класть! Не разговаривать... молчать... Руки в карманы, господа офицеры!.. Как на прогулку...

Стулья быстро задвигались. Далеко за городом гудели колокола Спасо-Преображенского монастыря. Сапоги офице-

ров зашаркали по полу. Вот за дверью заскрипели сухие ступеньки. Это поручик Лунь — первым — вышел из барака.

— Чего вы толкаетесь!.. — толкнув Дергачева, обернулся прапорщик Бесседелько. — Первым в герои записаться?..

— Мало я проучил вас недавно, прапорщик Бесседелько!.. — успел еще ответить Дергачев и тоже вышел из барака.

Над низкими крышами бараков сверкало солнце. Летели галки. Одна галка каркала.

Толпа солдат, в самую гущу которой неторопливо и закуривая на ходу вошли офицеры, тяжело и удивленно расступилась.

«Бей!» — ожидал криков прапорщик Дергачев, но никто в толпе ничего не крикнул. Даже задние ряды солдат, там, возле стен бараков, напряженно молчали. Далекие колокола Спасо-Преображенского монастыря гудели громче обыкновенного и, как казалось офицерам, торжественней, чем когда-либо. Под ногами скрипел песок. Прапорщик Бесседелько шел рядом с Дергачевым и с досадой думал о том, что прапорщик Дергачев, трусливо прибежавший сюда далекими задворками, незаслуженно слушает теперь эту тишину, над которой торжественно и победно гудят колокола. Он взглянул на Дергачева, вновь услышал гул колоколов и вдруг замедлил шаги.

Чиркали спички. Над золотыми погонами офицеров скользил дым папирос. Прапорщику Бесседелько казалось: если он останется здесь и лихо крикнет: «Ребята! И не стыдно вам? Ребята, кого?.. Своих?.. Офицеров?..» — солдаты вслед за ним тоже крикнут «ура» и даже понесут его на руках.

Прошли последние офицеры. Прапорщик Бесседелько стоял неподвижно, слушал гул колоколов и, выпрямившись, восторженно смотрел на солнце. Над золотыми крышами опять полетели галки.

— Ребята!.. — крикнул, наконец, прапорщик Бесседелько, когда офицерские спины медленно скрылись за баракom нестроевой роты.

— Ребята, не стыдно?..

И вдруг галки в небе сверкнули черными острыми крыльями, золото низких крыш брызнуло во все стороны, и удар по затылку бросил прапорщика Бесседелько куда-то вперед.

— Товарищи!.. — испуганно крикнул он, взмахнув над головой руками, подпрыгнул и вновь упал на руки солдат, которые, крича, рвали с него портупею.

— Товарищи!.. Во имя революции!.. Во имя порядка!..— все еще кричал где-то Разживин.— Товарищи!.. Не око за око!.. Товарищи!.. Не зуб...

— Знаем!..— кричал Разживину потный солдат с переломленным носом.— Знаем!.. Тоже шкуру буржуйам продал, сволочь!

— Кончать с ними надо! Довольно!

— Бей!..

— Лови!..

— Но товарищи!.. Това-рищи!..

А прапорщик Бесседелько — в порванной портупее, без шашки, нагана и пояса — бежал, задыхаясь, к Чечулькиному мосту.

2

— Солдаты-граждане! Подобно нам, смахнувшим с себя самодержавие, трудящиеся всех стран братски протянут нам руку,— выступил на следующий день Разживин на гарнизонном собрании.— Близится час демократического мира! Но пока германскими рабочими командуют генералы, банкиры и помещики, наши товарищи из Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов поклялись в воззвании к народам всего мира, что мы, товарищи, будем стойко защищать нашу собственную свободу, что русская революция не отступит перед штыками завоевателей и не позволит раздавить себя внешней военной силой. Да здравствует Учредительное собрание! Солдаты-граждане, так неужели же мы недостойны наших петроградских товарищей?

...И опять, грузясь под красными знаменами, из Бузулука ушла очередная маршевая рота.

— Шалишь! Теперь нас не тронут! — сказал за обедом в офицерском собрании поручик Лунь.— Солдатская воля дважды сломлена. Теперь ей не встать!

— Ну слава богу, слава богу!..— вздохнул полковник Судаков, пришедший вечером к Ольге Памфиловне.— Все обошлось вполне благополучно. Они успокоились.

Потом был подан чай.

— Да, Федор Федорович, и все-таки я уезжаю,— решительно объявила за чаем Ольга Памфиловна. Полковник удивленно заморгал: это было для него новостью.

— Вы знаете, даже Варвара Николаевна и та пошла сейчас в гору. Бузулук сейчас не пример, оставьте! Я еду

в Петроград, где интеллигентные силы ценятся сейчас на вес золота. Он старый врач, работает в «Комитете помощи политэмигрантам» и помнит меня еще девочкой. С моим образованием и с заслугами по общественной работе... Как? Вы не слыхали про моего beau-frère'a, доктора Питкевича?

— Вы меня убиваете, Ольга Памфиловна! — грустно перебил ее полковник.— Последняя радость... Лишиться последнего угла, так сказать, часов моего отдыха...

— Ну что поделаеть, дорогой полковник! Нельзя же прятать свои силы — это тоже дезертирство! Я об этом очень долго думала, Федор Федорович, а сегодня уже отправила телеграмму: «Еду. Жди. Хочу работать».

Спиридон Кузьмич допивал из блюдечка бледный чай. На рукавах его старого пиджака висели белые нитки корпии, которую каждый день до обеда щипал он по приказанию Ольги Памфиловны. Иногда Спиридон Кузьмич ставил блюдечко на стол и печально смотрел на пустой угол за пианино, где стояла недавно красная этажерочка с «Самарскими ведомостями», к которым он так привык за восемь лет одинокой жизни в комнате. Пианино, как и все крупные вещи, еще не было увезено на склад. Ноты Чайковского, тоже еще не убранные, лежали на винтовом круглом стуле.

— Вы знаете, Ольга Памфиловна,— продолжал полковник.— Вот вы уедете... Вот опять потянутся бесконечные вечера... Потом будет осень...

— Не надо, Федор Федорович, думать летом об осени.

— Такая же унылая и одинокая, как осень моей жизни...

Полковник вздохнул.

— По утрам я буду с солдатами, по вечерам — один с моими думами... И знаете, вот так же, как звуки «Осенней песни» Чайковского, будут тосковать в одиночестве мои чувства... А вы?.. Где будете вы в эти вечера?..

Полковник медленно поднялся со стула и тряхнул коленкой, над которой, вздувшись пузырем, задержались складки его синих форменных брюк.

— Если позволите, Ольга Памфиловна, я еще раз сыграю вам сегодня «Осеннюю песнь» Чайковского. Я хочу, чтобы там, в вашем блеске, которого вы, конечно, заслужите, вы хотя бы изредка обо мне вспоминали. Ведь будет же кто-нибудь и там играть вам Чайковского?..

Полковник подошел к винтовому стулу и, сняв с него ноты, грузно сел за пианино. Красная, толстая шея над воротником его кителя ошетишила колкие, короткие волосы. Тень круглой головы легла на белые клавиши.

Эх, что ж ты мне,
Да ничего ж ты мне!..—

вдруг крикнул кто-то на улице, а полковник, точно испугавшись, что частушка за окном может спугнуть тихое настроение комнаты, быстро опустил пальцы на клавиатуру.

Канарейка над пианино проснулась и вспрыгнула на верхнюю жердочку.

Наварила вареников,
Да не даешь их мне!..—

еще раз крикнул за окном солдат, но «Осенняя песнь» победила частушку, и вскоре за окном, точно эхо музыки, загудел один только ветер.

Ольга Памфиловна прошла в темную спальню и села на диван.

В открытую дверь из столовой падал желтый свет. Звуки «Песни» склонили голову Ольги Памфиловны на маленькую шелковую подушку. В звуках «Песни» тихо шумел ветер, а над желтым вечерним прудом, возле которого мечтала девушкой Ольга Памфиловна, неслышно пролетела сова. Спиридон Кузьмич — в студенческой тужурке — нес в руках белые водяные лилии. Потом одна лилия упала обратно в пруд, Спиридон Кузьмич покатился куда-то в своем кресле, а в лодку сели прапорщик Виктор и Варвара Николаевна. Прапорщик Виктор и Варвара Николаевна поехали по пруду, они никому не кивали, и казалось, маленькому желтому пруду не будет конца. Он все удлинялся, ширился и ширился... А ветер над деревьями, мимо которых шла Ольга Памфиловна, все еще нес куда-то «Осеннюю песнь»...

Потом вдруг звякнула чайная ложка. «Песнь» оборвалась, закашлял Спиридон Кузьмич, а полковник Судаков, заслонив спиной свет из столовой, остановился в дверях.

— Вы знаете, — вздохнув, сказала, наконец, Ольга Памфиловна. — Я согласна с Чайковским, который говорит, что нет для него высшего наслаждения, как погружаться в прошедшее. Воспоминания, говорит он, как лунный свет, имеют свойство озарять прошедшее как раз настолько, Федор Федорович, что худого не замечаешь, а хорошее кажется еще лучше.

Боясь заскрипеть подошвами, полковник тихо подошел к Ольге Памфиловне.

— Ах, молодость, наша первая молодость, Федор Федорович!..

— Но последние вспышки лампы, Ольга Памфиловна, они тоже прекрасны.

Полковник отыскал руку Ольги Памфиловны, поцеловал ее, потом опустился на колено и, склонив круглую седую голову, почувствовал, что Ольга Памфиловна от него не отодвигается.

— Ольга Памфиловна! — уже шепотом сказал полковник. — И астры осени... они тоже... они пышней, чем первенец-ландыш... Они цветут, когда в осеннем шторме бушует море... Ольга Памфиловна!..

— Не надо, не надо!..

— Ольга Памфиловна, — повторял полковник, все ближе к дивану переставляя по полу коленки. — Я говорил о море... Пусть море бушует, ведь есть же на нем островки...

— Нет, не надо, не надо, не надо!.. — уже сдаваясь, повторяла Ольга Памфиловна.

А за дверью, которую не забыл закрыть полковник, вдруг упало и звонко разбилось блюдечко.

— Ча-ай, ча-ай!..

3

В этот день было много солнца, а вечером красные тучи сжали город, пять церквей которого подняли к последним высоким лучам свои золотые кресты.

На Самарскую улицу, гулко дребезжа по мостовой, медленно выехала телега. На телеге стояло пианино. От частых толчков пианино гудело басами. На Самарскую — из бань — вышла вновь сформированная маршевая рота. Солдаты несли мокрые веники и пели унылую солдатскую песню, пережившую революцию:

Жи-во, ребя-та, в по-ход собирайся,
Бери су-ха-рей и бель-я для се-бя-а...

—левой!.. Ать, два!.. — командовал фельдфебель, не подлежавший отправке на фронт.

— Слыхали?..

— К сожалению, да! — беседовали два офицера, сопровождавшие роту. Они шли по панели и, встречая девиц, оборачивались и глядели им на ноги, оценивая икры, подъем ступни и походку.

— Едва-едва с эсерами поладили, а тут нате, большевики какие-то в Петрограде заявили!..

— Этот Петроград на всю Россию всякую шваль и рвань поставляет! Послушайте, а чье это пианино?

На-ши на-чаль-нич-ки были в бо-ю-у
И нас на-у-чи-ли идти на вой-ну...

Маршевая рота уже подходила к Чечулкиному мосту. Два мальчика под мостом ловили багром плывущие поленья.

Тумба-тумба-тумба,
Мадрид и Лиссабон!..—

спускаясь с моста, пел прапорщик Бесседелько.

— Вот я вас сейчас за уши!..— улыбнувшись, крикнул он мальчикам и пошел в барак оружейной мастерской, где с эфеса его новой шашки, купленной сегодня в универсальном магазине Киселева, солдаты-слесари уже сточили, вероятно, царский вензель и корону.

Всплыли звезды.

А прапорщик Дергачев, дежурный по станции Бузулук, сидел в караульном помещении, в старом, разбитом вагоне, стоявшем на запасном пути за мастерскими.

В вагоне горела свеча. Весь вечер, склонив над свечой голову, прапорщик Дергачев читал «Майскую ночь» Гоголя, маленькую дешевую брошюрку, сплошь исчерченную карандашом Анюты, когда та была еще гимназисткой.

Где-то за стеной вагона пилили дрова. В соседних купе справа и слева храпели свободные от постов солдаты. Вероятно, Анюта у себя дома тоже давно уже спала.

«Посмотри: вон-вон далеко мелькнули звездочки!» — прочел прапорщик Дергачев и поднял к окну вдруг заблестевшие глаза.

Звезд в небе было очень много, все они мелькали, и прапорщик Дергачев вспомнил вчерашний вечер, окно на Уральской улице, под которое вышла Анюта, прижавшаяся к его плечу, как Ганна к казаку Левко.

«Посмотри, вон-вон...»

Тяжело прогремел далекий паровоз. Из мастерской вышли молчаливые пыльщики. В полуоткрытое окно вагона упал ветер и на мгновение поднял кверху мятые страницы Анютиной брошюрки. Потом мимо окна прошел Разживин. Разживин шел по направлению к станции, возле которой рабочие-железнодорожники спешно сцепляли эшелон для отправки на фронт маршевой роты. Завтра утром рота должна была спешно грузиться, и Разживин пришел сюда на станцию, чтоб проверить, сколочены ли на этот раз нары в теплушках.

В эту же ночь, почему-то вспомнив и сразу же вновь позабыв прямые проспекты далекого Петрограда, мать, Спас-

скую улицу, военное училище, Бузулук, Петра Арсентьевича и прапорщика Дергачева, Константинов надел последнюю смену чистого белья и, точно приготовившись к чему-то очень важному, вышел из окопов батальонного резерва.

— Комитет нашего полка согласился наступать, прапорщик,— пройдя в окоп 4-й роты, стоявшей в первой линии, сказал он прапорщику Рябому.— На днях сменяемся, выстушаем и ждем приказа...

В тихой воде на дне окопа тонули звезды.

— Прапорщик Рябой, вы слышите?..

Опустив руку за ворот гимнастерки, прапорщик Рябой бил на ощупь вшей. Он продолжал молчать, и, взглянув на него, прапорщик Константинов понял, что пришел к человеку, который еще ходит, сидит, бьет вшей, может быть, думает о чем-то, но говорить больше ни о чем не может... И Константинов отступил назад и, чтоб не думать о прапорщике Рябом, молчанье которого двигалось на него тяжелым непонятным страхом, вновь заставил себя вспомнить о прапорщике Дергачеве, чья быстрая веселая улыбка всегда сдвигала куда-то его тяжелые думы.

Но прапорщик Дергачев в эту ночь ни о Константинове, ни о фронте, ни о вшах не вспомнил. Читая о любви Левко и Ганны, он думал о себе и об Анюте и, читая, улыбался: ему было радостно видеть себя сильным и смелым, самого черта оседлавшим чернобровым казаком. И «Майская ночь» и «Ночь перед Рождеством», вчера прочитанная вместе с Анютой, путались в голове усталого прапорщика.

...Под низким навесом станции Бузулук горели три электрические лампочки. Рельсы первого пути были освещены, второй путь уходил в темноту. По второму пути неслышно катились черные теплушки. Вот теплушки гулко столкнулись буферами, дрогнули и остановились.

— Опять повезут народ выбивать! — сказал один из сцепщиков, подняв тяжелую петлю стяжки.— И комитеты их и комитетчики — все заодно!.. Гвоздят и гвоздят: до победы, а народ погибает.

— Сполный свое дело и все тут! — угрюмо ответил второй сцепщик.— За всех болеть, души не хватит... Отойди — не видишь?..

Сцепщики отошли в сторону. К станции, осветив шпалы первого пути, медленно подошел пассажирский поезд.

— Вагон восьмой!.. Наш номер восемь!..— кричала Ольга Памфиловна, выбегая из зала II класса.— Федор Федорович!.. Федор Федорович!..

Паровоз прошел вдоль самой платформы, тяжело отдуваясь. Густой пар над головами провожавших Ольгу Памфиловну наплыл на электрические лампочки, и лампочки под деревянным навесом замигали, точно окутанные туманом.

— Коля!..

— Лида, Лида!.. Тебя затолкают!..

— Вагон номер восемь!.. Наш номер восьмой!..— волнуясь, кричала Ольга Памфиловна.

Вдоль досок платформы, легко переплывая черные глубокие щели, еще ползли желтые квадратики света, брошенные вниз освещенными окнами вагонов.

— Федор Федорович!.. Восьмой!.. Где Спиридон Кузьмич?.. Спиридон!.. Спиридон!.. Спирия!..

За Ольгой Памфиловной, немного отстав, бежал полковник Судаков. Вестовой полковника нес три чемодана. Хромой служащий в форменной фуражке железнодорожника, быстро лавируя в толпе, катил кресло, в котором сидел растерявшийся от суеты Спиридон Кузьмич. Нотариус Нежданов и все провожавшие Ольгу Памфиловну все еще быстро выходили из дверей залы.

— Милые, рóдные!..— кричал кто-то.

— Лида, прощайте!..

— До свиданья!..

— До свиданья, Ольга Памфиловна! Благодарные горожане Бузулука никогда не забудут вашей плодотворной деятельности на ниве общественной филантропии!..— продолжал нотариус Нежданов свою прерванную в зале прощальную речь.— Эти сувениры, альбомы, адреса и память о нас лишь малую каплей...

— Прощайте, Ольга Памфиловна!.. Прощайте!..— тихо повторял полковник Судаков, ни на шаг не отходивший от Ольги Памфиловны.— Вспоминайте, пишите...

Вот в передний вагон поезда — проверять документы пассажиров — вскочил прапорщик Дергачев. В вагон № 8 подымали кресло Спиридона Кузьмича. Спиридон Кузьмич испуганно махал в воздухе руками, точно желая за что-то ухватиться, колеса его кресла быстро вращались, и одно колесо ударило по затылку полковника Судакова.

— Осторожно!..— крикнула Ольга Памфиловна и, положив ладони на обе щеки полковника, склонила его голову и строго поцеловала в лоб.— Мужайтесь, Федор Федорович!.. Что вы?.. Мужайтесь!..

— Ваши документы?.. Разрешите...— мелькнуло с площадки улыбающееся лицо Дергачева.— Разрешите проверить... Простите...

— Мужайтесь, ведь не о покое сейчас думать нужно, Федор Федорович, а о победе над Германией...

— Простите, барышня, я по долгу службы...

Потом прапорщик Дергачев на площадке вдруг спросил:

— Ну?..

— И простите, Федор Федорович,— тут Ольга Памфиловна перешла на шепот,— мою слабость, если она разбила ваше сердце...

— Сволочь собачья! Толкать?..— крикнул вдруг кто-то, и огромный солдат с переломленным носом и в грязной папахе, толкнув полковника, сорвался с площадки вагона. За ним, крича матерные слова, выбежали из вагона и скрылись в толпе еще два солдата.

— Дезертиры, да мы вас!..— крикнул с площадки унтер-офицер с красной повязкой вокруг рукава и взмахнул в воздухе винтовкой. Прапорщик Дергачев за спиной унтер-офицера opravил на плече портупею.

— Коленька, Коля!..

— Лида, пиши!..

— Ольга Памфиловна!..

А паровоз уже свистнул, забуксовал и дернул вагоны. Вдоль платформы, быстро кружась, полетели мятые бумажки. Над бумажками замелькали бегущие ноги.

— Прощайте, Ольга Памфиловна!..— кричала толпа за спиной полковника Судакова.

— Пишите!..

— До свидания!..

— Я буду ждать!..

— Мама!..

— Лида!..

Полковник молчал и тихо махал под окном снятой перчаткой. Окно проплыло, качаясь. Ольга Памфиловна за окном медленно снимала шляпу. В другом окне плакала веснушчатая девушка Лида и смеялся солдат Коля. Желтые квадратные пятна света все быстрее прыгали по плечам полковника, золотые погоны которого вспыхивали и вновь гасли. Еще вагон, третий, четвертый... С последнего, блеснув в темноте шашкой, лихо соскочил прапорщик Дергачев. Унтер-офицер, выскочивший вслед за ним, взбросил на ремень винтовку.

— Мне что!.. Сигналы, и плевать!.. Будем мы с ними возиться, со всякими дезертирами!..— сказал унтер-офицеру прапорщик Дергачев и, сразу же позабыв про столкновение

с солдатами, обернулся и стал смотреть вслед удаляющемуся поезду.

Под низким фонарем последнего вагона еще мелькали быстрые полосы шпал. За фонарем, поднимаясь и вновь падая, летели мятые бумажки. Унтер-офицер, не дождав-шись прапорщика, пошел в зал III класса, а Дергачев все еще смотрел на фонарь, на шпалы и бумажки. Когда же фонарь стал мигающей далекой точкой, а шпалы под ним перестали выбегать из темноты, он отдернул темляк, запутавшийся вокруг эфеса шашки, и глубоко вздохнул, точно и он простился только что с кем-то очень близким.

«Все едут, едут... Чайники... колбаса, точно дома... улыбаются... Нет, не могу!.. Нет, напишу!..» — неожиданно решил он, повернулся к темным мастерским, за которыми стоял его одинокий вагон, и вдруг увидел, что идет рядом с Разживиным.

У Разживина были усы, как у всех солдат, — рыжеватые, жесткие и упрямые, но глаза его смотрели устало и уже не казались Дергачеву недоступными и злыми, как всякий раз, когда Разживин выступал на собраниях.

«Революционер... — подумал прапорщик Дергачев. — Самый главный...» — и опять застенчиво и ласково улыбнулся.

— Гляди, обжаловал!.. — увидя Дергачева рядом с Разживиным, глухо сказал в дверях зала III класса солдат с переломленным носом.

— Сам бы на фронт сунулся, сука!..

— Донес, холуй!.. До победы им воюй заодно с капиталом и с комитетчиками!.. Получили власть кто откуда, сволочь собачья, и кричат теперь, как при старом режиме.

Далеко обойдя трех солдат-дезертиров, в зал II класса, вероятно, освежиться прохладительными напитками, вошли нотариус Нежданов и все провожавшие Ольгу Памфиловну. Тяжело подняв мягкие, круглые плечи, полковник Судаков одиноко сел в извозчий тарантас; Разживин подошел к маневрировавшему эшелону и взглянул в одну из открытых дверей теплушек, а прапорщик Дергачев спрыгнул в темноту за краем платформы. Спрыгнув, он засвистел веселую песенку, которая почему-то всегда казалась ему грустной, и пошел к своему вагону.

— Весело, сволочь собачья?.. — опять сказал солдат с переломленным носом и, позвав за собой двух других солдат, молча пошел за прапорщиком Дергачевым. Спины солдат были черные, и только пуговица на хлястике шинели последнего солдата еще раз блеснула в темноте...

«Посмотри, Анюта, вон-вон далеко упала звездочка...» — писал минут через десять у себя в вагоне прапорщик Дергачев. Ветер, падающий сквозь высокую щель приоткрытого окна, тихо шевелил под свечой смятые страницы «Майской ночи». Желтое пламя свечи тоже колыхалось.

«Эта звездочка упала над крышей твоего дома, Анюта, и опять с новой силой напомнила мне о тебе. Если б я не должен был сидеть сейчас в этом душном, грязном вагоне, мы опять пошли бы с тобой на дамбу, и, обняв тебя, мою самую близкую, я высказал бы наконец все, о чем могу сейчас только писать и думать. Всего на бумаге не уместишь, но — все равно!.. Я не могу больше молчать. Анюта, я люблю тебя и думаю, что ты меня тоже любишь...»

— Гляди, пишет!.. Рапорт пишет, сволочь собачья, матери его черт!.. — Солдат с переломленным носом взглянул в окно вагона и опять опустил крупные перекошенные плечи. — Подзудил Разживина, и в комитет теперь, чтоб полней и по всем правилам...

— Сил нет!.. Изранили, а воюй!.. За кого кровь проливаем?..

К окну поднялся второй солдат. Третий чесал скулы.

«Слушай, милая, — продолжал писать прапорщик Дергачев, — когда война наконец окончится и я с фронта вернусь к тебе в Бузулук, мы поженимся и сядем с тобой в поезд и поедем навстречу нашей новой жизни, как ехали сегодня те счастливые свободные люди, у которых я по долгу службы проверял сейчас документы. Милая Анюта, любимая, я не жалею на свою судьбу, я только мечтаю о жизни, когда кончится война и мы вернемся домой, заслужив свое счастье...»

— Строчит!.. Не настроится!..

И вдруг, опять поднявшись к окну, солдат с переломленным носом со злобой застучал кулаком в раму.

— Эй, послушай, господин прапорщик, давай начистоту!

...За стеной, неторопливо грохоча, катились теплушки. Где-то возле станции играла гармонь и пели солдаты. Прапорщику Дергачеву казалось, это под окном «пана головы» гуляют и поют под бандуру парубки из «Майской ночи». Когда в окно кто-то действительно стукнул, прапорщик Дергачев встал и положил карандаш возле свечи.

— Ну? — выйдя из вагона, спросил он и вдруг, увидя солдат-дезертиров, вновь почувствовал себя не чернобровым казаком Левко, а дежурным по станции офицером.

— Ну?..— крикнул он.— Что вам еще нужно?.. Я занят.

— Заняты?..

Один из солдат засмеялся.

— Рапорт пишете?.. Заняты, значит, сволочь, давай сюда рапорт!..

Соскочив со ступенек вагона, прапорщик Дергачев вдруг вспомнил спокойствие поручика Луны и твердым шагом пошел навстречу солдатам.

— Что-о?..

В темноту дохнул паровоз и, стуча буферами, опять покатился маневрирующий поезд.

— Не старый режим, вот что!.. А рапорт — это оставь!..

— Молчать! Караул вызову! Какой еще рапорт?

Солдат с переломленным носом, отступивший было от прапорщика Дергачева, вновь остановился. Лицо его медленно опустилось, потом вновь поднялось и, склонившись набок, молча двинулось навстречу Дергачеву. Тогда Дергачеву стало страшно, он повернулся, хотел опять вскочить в вагон, но два других солдата загородили ему дорогу.

— Верни что писал-то!.. Вот!..

Поезд за спиной гремел так же неторопливо, но все громче и громче. Солдат с переломленным носом наклонился, и Дергачеву показалось — он поднял с земли камень.

— Расступись!..— испуганно крикнул Дергачев, выхватил наган и вдруг, качнувшись, почувствовал удар по горлу.

— Стрелять?..

— Бьют!..— опять крикнул Дергачев, но новый удар в грудь отбросил его в черный гудящий провал, над которым быстро мелькнули звезды.

— Сюда!.. Сюда-а!..— кричал прапорщик Дергачев, хватаясь за буфера.

Но буфера толкали его, звенела цепь, звенели рельсы, по рельсам, дергаясь, волочились ноги Дергачева, и вот руки его разжались, сорвались с буферов, и высокие звезды, на мгновение опять блеснувшие высоко между двумя теплушками, вдруг с железным тяжелым лягзом упали за повернувшимся колесом.

«...И каждый раз, когда мы гуляем с ним по дамбе, я жду его признанья, но он все молчит и молчит...— писала в это же время в своем дневнике Аня.— Неужели он ничего не видит и ничего не может прочесть по моим глазам?.. И неужели цветы, которые я приношу ему в комнату, не говорят ему о любви?.. Павлик, когда ты будешь моим мужем и будешь

читать эти дневники, ты поймешь, как жестоко и долго ты меня мучил!..»

Анюта взяла промокательную бумагу, положила ее на мелко исписанную страницу дневника и опять взглянула в окно.

За окном, прыгая по немощеной мостовой Уральской улицы, катился тарантас. Полковник Судаков в тарантасе хотел закурить папиросу, но руки его дрожали, и огоньки вспыхивающих спичек — то голубые, то желтые — быстро тухли возле его усов.

Из кабинета, да за обедом,
Мы повоюем, да до победы!..—

пел кто-то на углу Уфимской и Уральской.

ЧУРКА

1

— Мы, товарищи солдаты, может, и были до революции бессознательными и поломали там дома какие да мебелишку малость перепортили, верно, пожалуй, но курлыкать об этом в тылу — так это обида нам, товарищи!..— говорил в окопе 39-го Томского полка рядовой 9-й роты Полотеров.

— Чем бы дитя ни тешилось, господин капитан...— кивнув на Полотерова, сказал прапорщик Яковлев капитану Ножакову, идущему по окопу в сопровождении своего нового связного.

Далеко за ржавым проволочным заграждением качался высокий камыш, под которым, прячась от солнца, неподвижно стояла зеленая, болотная вода Стохода. Над германскими окопами подымались дымки.

— Нам всем, товарищи солдаты, кто ближе всего стоял к этим характерным фактам, хорошо известно, что ничего особо ценного мы не уничтожили, — продолжал Полотеров. — А если я и разбил когда зеркало, скажем, так нужно же и нам в окопе стеклышко иметь, товарищи...

— Кофе варят! — сердито сказал капитан Ножаков, вдруг заметивший дым над германским бруствером.

— На самый вид, мерзавец, влез!..— шепотом повторил он и, перегнувшись к бойнице, протянул за спиной руку. — Дай-ка винтовку!..— приказал он связному. — Дай винтовку!.. Ну?.. Ах он мерзавец, ах подлюга, куда ведь выполз, сволоочь худая!..

Капитан разжал и снова сжал пальцы, но винтовки опять не нащупал.

— Не трогайте немца, господин капитан.

Капитан обернулся и опять увидел Полотерова. За Полотеровым стояло еще несколько солдат, тоже подошедших к бойнице.

— Осерчает, господин батальонный...

— Вчерась только «чемоданами» крыл,— говорили солдаты, на грязных спокойных лицах которых расплзались пятна солнца.

— Осерчал, все болото изрыл минами... Господин прапорщик стреляли... А не тронь его, и он не тронет.

— Но ведь на бруствер, сволочь, толстым задом вылез! — в сердцах сказал капитан.— Насмехается!.. Над кем насмехается, ребята? Над нами! Над русскими! Над нашим духом воинским!..

— Кофе варит, господин капитан, а насмешек не слышать было.

— Но днем? Днем кофе варит? И где? На бруствере!.. Где ваша честь солдатская?..

Солдаты улыбались. Один из них жевал сухари, набив когда-то простреленную щеку; его оттопыренная щека тоже улыбалась, и капитан Нождаков, уже давно не имевший случая разговаривать с солдатами, а потому не понимавший произошедшей в них перемены, все более горячился.

— Ведь он скоро, подлюга, здесь, под нашей проволокой, нужник себе устроит!.. С нуждой в секреты к нам ходить станет, ребята!..

— А по-нашему, лучше по такому делу, чем с гранатами.

— Господин капитан, господин капитан!..— опять позвал батальонного прапорщик Яковлев, но капитан отстранил его руку и вдруг, точно только сейчас поняв, что сказал ему рядовой Полотеров, почувствовал тот шум в голове, побороть который он мог только криком.

— Что?..— крикнул он и покраснел так густо и быстро, что прапорщику Яковлеву показалось — пот на лице капитана тоже станет сейчас красным.

— Что?.. А?.. А воевать?.. А воевать кто будет?.. Кому воевать?.. А?..

— А кому, господин батальонный, господа помещики землю отдавать будут, если мы своих братьев крестьян загубим? — спросил рядовой Полотеров.

— А воевать вы будете, господин капитан,— сказал солдат с простреленной щекой и, отойдя от спины солдат, опять улыбнулся.— Мы не станем.

— Что? — крикнул капитан, и вдруг ему показалось, что в тишине, которая вновь сдавила его виски, голос его надорвался, упал и над ним побежало хриплое, торопливое дыхание.

«Ударить!.. Ударить!..— думал капитан.— Ударить!..» — но, никого не ударив, вдруг опустил плечи, повернулся и медленно пошел по окопу.

— Капитан, разве можно?..

Но капитан Нождаков не слушал прапорщика Яковлева.

«Вот!..— думал он, все еще согнувшись, идя по окопу.— Вот за все это... за все... его... благодарить будем... Керенского... Его... Керенского...»

— Господин капитан, ну разве можно?..

— Вот до чего мы... мы... дожили!..— обернувшись к прапорщику Яковлеву, глухо сказал наконец капитан.— Вот до чего я дожил, старый офицер, солдат, седой...

— Успокойтесь, господин капитан! Разве можно?.. До чего вы дожили?..

— До позора я дожил!..— крикнул капитан и, схватившись за обшивку окопа, быстро вскарабкался вверх и вскочил на бруствер.

— Стреляйте!.. Сюда, в грудь!.. Эй, немцы!..

За бруствером в колючей путаной проволоке качались кусты. Высокий камыш над Стоходом плыл под солнцем зелеными круглыми волнами. Далеко над германскими окопами все еще вились серые дымки и подымались маленькие круглые головы в бескозырках. Но никто из германских окопов в капитана не стрелял.

— Schiessen!..¹— еще раз, с трудом вспомнив нужное слово, крикнул капитан Нождаков, гордо выставив грудь, и вдруг увидел, как три солдата его батальона, взобравшись на залитый солнцем бруствер соседнего ротного участка, растягивали на траве только что выстиранные пестрые рубашки. Немцы в бескозырках смотрели на этих солдат, как смотрели они на капитана, и тоже не стреляли.

— Кончено!..— тихо сказал тогда капитан, опять уныло согнувшись. Потом, неловко опустившись назад в окоп и махнув рукой прапорщику Яковлеву, он молча побрел во вторую линию, к себе в блиндаж.

Пришло время новое,
Замиренье — вишь!..—

¹ Стреляйте! (нем.)

запел в окопе кто-то, и капитан узнал голос рядового Полотерова.

Немец в гости просится,
Пожалуйста, садись!..

Над узким ходом сообщения, забравшись на высокий упругий стебель, качалась полевая мышь. Капитан протянул руку, точно желая ее приласкать и погладить, но мышь сорвалась вниз и быстро убежала в траву.

Капитан шел, забыв опустить руку.

..Вечером в блиндаж капитана пришли полковой адъютант и несколько офицеров штаба 39-го Томского полка.

— Поздравляю вас, капитан,— сказал полковой адъютант, и все офицеры за его спиной взяли под козырек.

— При нашей десятой дивизии, господа офицеры,— продолжал адъютант,— формируется ударный батальон, и вы, капитан Нождаков, как самый заслуженный офицер всей дивизии, назначаетесь его командиром. Поручик Викштрём назначается адъютантом. Поздравляю и вас, поручик.

— Его высокопревосходительству генералу Корнилову ура! — крикнул поручик Викштрём и, торопливо поставив на дно опрокинутого ведра стакан недопитого холодного чая, поднял одну руку.— Ура!.. Но когда и куда мы поедем на формирование?.. В Киверцы?.. А вы не рады, капитан?.. Вы молчите?..

Капитан Нождаков, все еще угрюмо смотревший на бледный огонек зажженного вместо свечи телефонного провода, подвешенного на мокрый потолок убежища, медленно встал с пола, опустил руку в карман кителя, достал носовой платок, вновь спрятал его в карман и подошел к своей шинели, брошенной в углу на доски.

— Рад!..— сказал он, найдя в шинели красный платок с грязными горошинками.

— Рад!..

И вдруг, прицепив платок на грудь большим красным бантом, он захохотал, искривив рот, точно собираясь крикнуть.

Над блиндажом, тяжело прогудев, пролетел одинокий германский снаряд. С потолка блиндажа сорвалось несколько капель. Капли упали в стакан, и холодный чай брызнул.

— Рад!.. Рад!..— сквозь хохот кричал капитан и, точно контуженный, дергал щекою.— Рад!.. Рад!.. Рад служить Керемскому!..

А отдельный вагон комиссара 5-го армейского корпуса шел со станции Сарны на Киверцы.

Обними, я хочу умереть от любви
В снежном мраморе белых колен!..—

осторожно приподняв дорожную подушку, на которой лежала голова Варвары Николаевны, просил прапорщик Викторов.

Варвара Николаевна протянула руку, улыбнулась и потушила свет...

Гудели колеса.

Поручик Геральтовский в соседнем купе курил очень длинную желтую папиросу и смотрел на бледные заостренные ногти.

2

К полуночи следующего дня 613-й пехотный Славутинский полк вышел наконец из болота.

— Подтянись!.. Подтяни-ись!..

Выйдя на дорогу, солдаты стали стряхивать с сапог воду. Зазвякали котелки и винтовки. Далеко в темноте, еще в болоте, обозники кричали и гикали на лошадей.

— Но зачем фланговым маршем?.. Зачем фланговым маршем?..— услышал прапорщик Константинов, повернул голову и увидел незнакомого офицера, который, придерживая коня, остановился возле дороги.

— Подтяни-ись!..

— Ать, два! Ать, два! — подсчитывал прапорщик Штрод, но солдаты его не слушали, шли не в ногу, и прапорщик Штрод сердился.

— Учить вас не научить!.. Гвардия рязанская!.. Лапти!..

Рядом с незнакомым поручиком Константинов увидел усатого хмурого капитана. Капитан тоже сидел на коне, но сидел согнувшись и, кажется, не слушал поручика. На лице капитана, густой тенью подчеркнув усы, неподвижно лежал белый свет луны. Белые пятна на бритом лице поручика играли и прыгали.

— Какой части?..— опять крикнул поручик и, привстав на стременах, хлестнул стеком о шпоры. Шпоры зазвенели.

— Шестьсот тринадцатый Славутинский...— ответил кто-то из солдат, а бритый поручик перегнулся к капитану.

— Шестьсот тринадцатый, господин капитан...— сказал он и добавил хлесткое слово, которое всегда вызывало смех или по крайней мере улыбку. Но капитан не улыбнулся и не рассмеялся.

— Заткнитесь, поручик Викштрём! — коротко бросил он, и, услышав за спиной его голос, глухой и безжизненный, Константинов почему-то стал вдруг искать среди солдат прапорщика Рябого.

— Подтяни-ись!..

— Ать, два!.. Запевай!..

Но пение не ладилось.

Прапорщик Рябой шел, немного отстав от своей 4-й роты. 4-я рота тоже уже несколько раз запевала «Чубарики», но дальше «чубчиков» песня перевалить не могла.

Шинель на прапорщике Рябом была мокрая. Она тяжело била о голенища сапог и, вероятно, мешала идти. Прапорщик Рябой не подобрал и не заткнул за пояс полы своей мокрой шинели и, спотыкаясь, не ругался, как идущие вокруг него солдаты.

Рядом с прапорщиком Рябым — на тощей лошадке, взятой из обоза,— грузно качался батальонный командир, капитан Доброхотов.

— Наступать идем! Хо-хо!.. Воевать идут наши Ильи Муромцы!.. Согласились!..— говорил он прапорщику Рябому и раскатисто смеялся, как смеются иногда игроки за карточным столом.

— Готовь, немец, брюкву да собачину! Идут наши воевать — в плен сдаваться!.. И пускай, пу-ускай себе бегут к нему, к немцу: дисциплинированной к нам вернуться! Ах вы, гой еси добры молодцы, без аннек-си-и и кон-три-бу-ции!..

На дороге, изрытой и скошенной к канаве колесами обозов, не валялись ни разбитые двуколки, ни походные кухни, ни павшие лошади со вздувшимися животами и поднятыми вверх копытами. Здесь, на этом участке, защищенные от германцев Стоходом и болотами, русские части еще не отступали.

— Эх, друг, и устал же я!..— вдруг опять сказал кому-то капитан Доброхотов, подъехав к следующей группе офицеров.— Уйти бы куда к чертовой матери, рыбу поудить, что ли, или невод забросить!.. Так и плещутся, так и плещутся, господа офицеры, а ты тяни только да бблтуй!..

И вот 613-й полк пришел в какую-то полупустую колонию.

— Квартирьеры! Квартирьеры! — кричал подпоручик Иосельян, бегая вдоль забора, под которым — друг подле друга — густо уселись солдаты.

— Где квартирьеры второй роты? Сюда! Да сюда же!..

— Бестолковщина! Орда, а не войско! Бестолковщина! — повторял, закуривая, прапорщик Штрод. Он смотрел на капи-

тана Доброхотова и, казалось, вовсе не беспокоился о том, что его слышат солдаты под забором.— Ежовые рукавицы Корнилова уже не помогут, капитан! Шпицрутены нужны! Сволочи!..

Прогрели мокрые до котла походные кухни. Прапорщик Константинов пошел вдоль забора. Направо была улица. В конце улицы, на холме, чернела острая кирка.

— Языком крутил, ловкач!.. Ну и поверили, а зря!.. Много их таких разъезжают!..— сказал какой-то солдат, а другой, подобрав подбородок к черным коленям, взглянул на прапорщика Константинова и ответил, не то вздохнув, не то зевая:

— За смертью пошли, будет нам на заварку..

Прапорщик Константинов шел вдоль забора и, слушая отрывки солдатских разговоров, думал о том, отчего он, так же, как и все эти солдаты, вовсе не желавший наступления, несколько дней назад все-таки кричал в окопе на митинге: «Наступать! Наступать! До победы!»

Походные кухни гремели уже где-то в конце колонии.

«Неужели все мы изолгались?..— думал прапорщик Константинов.— *Mop Dieu, mon Roi, ma Dame*»,— вдруг, улыбнувшись, добавил он и почувствовал, что перестал быть офицером, каким выпустило его в Бузулук Павловское военное училище.

...Здесь, за поворотом главной улицы, было темнее. Солдат под забором уже не было видно. Над забором торчали штыки прислоненных винтовок. Тени штыков лежали на дороге.

Стало войско наступать,
Пушки, пленных забирать...—

вдруг запел кто-то далеко у края забора, и длинная резко очерченная тень прапорщика Константинова, одиноко считавшая на дороге черные тени неподвижных штыков, остановилась, на мгновение застыла и тоже двинулась на веселый голос.

Ай-люли, товарищи,
Кресты новые тесать...—

— Здорово!..— смеялись солдаты, навалившиеся в темноте на косою забор в конце улицы.

— Наяривай, Чурка!..

— Чурка поет!.. Ребята!..

Чурка, веселый солдат 3-го взвода, которого увидел наконец прапорщик Константинов, пел высоким, немного сиплым голосом. Он стоял в огороде по другую сторону забора,

улыбался и быстро водил руками, точно растягивая перед собой гармонию.

— Ну-ка, ну-ка еще!..

— Веселей, Чурка!..

— Эх-ма!.. Черт нам не сват будет!..

— Кроши — веселей будет!..

— Тоска не кишка, товарищи, за сапогом не волочит-ся!..— крикнул Чурка и вновь запел, взмахнув пустыми ладонями.

Сам министр-демократ
Несказанно делу рад,
Ай-люли, товарищи,
Несказанно делу рад!..

Тут Чурка опять улыбнулся и, увидя прапорщика Константинова, подмигнул ему весело и незлобиво, точно хорошему знакомому.

Заберите только Львов
Да Берлин — и мир готов,
Ай-люли, товарищи,
Обязательно готов!..

— Здорово!..

— Нас, кобель, чешет!..

— Без промаха кроет!..

— За первый сорт!..

— Намылят шею за первый сорт, умней будем!..— успел еще крикнуть Чурка. Раздались команды.

— Становись!..

— Ать, два, ать!..

2-я рота шла к крайним домам колонии.

После долгих переходов, когда подпоручик Иосельян сонно хлопал круглыми, ничего не понимающими глазами, прапорщик Штрод всегда чувствовал себя ротным командиром.

— Ать, два, ать!..— подсчитывал он.— Нога, нога!.. Но-гу!..

— Ноги несут — ходили бы по дому...— сказал кто-то, а подпоручик Иосельян опять споткнулся.

— Чурка, ты большевик? — наклонившись над плечом Чурки, спросил эстонец Каугие.

— Все, друг, будем!.. А ты большевик, Каугие?..

И вдруг прапорщик Штрод, все еще подсчитывавший ногу, замолчал и удивленно уставился вперед.

Над главной улицей, по которой тянулись двуколки, лазаретные линейки, какие-то повозки и ротные кухни, шумела

густая, залитая лунным светом листва лип. 2-я рота шла, тяжело волоча ноги, а навстречу ей и обозам, тоже залитая луной, двигалась какая-то колонна по отделениям, низкорослые солдаты которой шли, как-то странно выпучив грудь и, точно дети, играющие в солдаты, далеко назад закинув головы.

— Раз, два! Раз, два!.. Левой!.. — детским голосом подсчитывал кто-то, и короткие толстые ноги солдат, обернутые в японские обмотки, круто вскидывали коленками.

— Бабы, — подумав, сказал вполголоса эстонец Каугие, и все солдаты 2-й роты, обозники и санитары на линейках вдруг расхохотались.

— Ляжки-то!.. Ляжками трясут!..

— Подстановочки!..

— Эй, товарищи, почему молоко?

— Наступать?

— Почему жир под штанами?

— Смиррр-на! — крикнул прапорщик Штрод и, повернувшись лицом к роте, зашагал спиной вперед.

— Ать, ать, ать!.. — вновь стал он командовать вдруг изменившимся, глухим, тяжелым и свирепым голосом.

Прапорщик Константинов понял: прапорщик Штрод, сын гвардейца-полковника, почувствовал себя оскорбленным.

В эту ночь Марта Гартен и Гедвиг, в доме которых разместились солдаты-минометчики 613-го Славутинского полка, спали в подвале. Прапорщик Константинов не спал вовсе. Бродя по колонии Эйхендорф, он дошел, наконец, до острой кирки на холмике, остановился и вдруг запел, как когда-то в Сызрани в борьбе с первым предчувствием страха:

На солнце оружье-ем свер-ка-я...

Но юнкерская песенка, казавшаяся в тылу бодрой и веселой, на этот раз беспомощно и одиноко оборвалась, и прапорщик Константинов уже не сказал, как когда-то в Сызрани: «Амба! Довольно хныкать!»

...По истоптанным огородам за колонией рыскали солдаты. Где-то визжали ударницы, одни весело, другие возмущенно.

3

Было около полудня. На солдатском кладбище за станцией Киверцы, где низкие белые кресты над могилами русских и немцев ломаными линиями спускались к изъезженной

дороге, стояла группа солдат: унтер-офицер из какого-то «Поезда технических мастерских» и несколько рядовых 614-го Клеванского, 37-го Екатеринбургского и 38-го Тобольского полков.

— Английские минометы им выданы будут, называются системы Стокса и Ньютона...— рассказывал унтер-офицер.—Потом, слышал я, обучат их гранатному делу и будут они вашего брата из окопов выбивать...

— Здрав! желам! господин! капитан! — крикнул в это время возле станции батальон ударников, к которым в сопровождении комиссара Геральтовского подошли капитан Нождаков и поручик Викштрём.

Услышав дружный, бодрый ответ, капитан остановился и, взглянув на комиссара, недоверчиво посмотрел на ударников. Потом уныло опущенные плечи капитана медленно поднялись.

— Хорошо отвечаете!

— Рады! стараться! господин! капитан!

«Так, так!.. Ого!» — подумал капитан, улыбнулся и, гордо подняв голову, в упор посмотрел на ударников, которые неподвижно стояли перед ним ровными, литыми шеренгами. На гимнастерках у многих из них блестели Георгиевские кресты. Молодые прапорщики на взводах и даже на отделениях, убрав локти назад, стояли вытянувшись, точно на носках, и тоже весело смотрели на капитана, как кадровые поручики старого времени.

— Ребята! — крикнул наконец капитан Нождаков и, услышав свой бодрый, знакомый голос, вдруг позабыл все свои недавние обиды: немцев, на виду у всех варивших кофе, большевика Полотерова, связного, не давшего ему, командиру, винтовки, пестрые рубахи солдат-прачек на бруствере и даже Керенского.

— Ребята! Орлы! — кричал капитан.

Ударники молчали, как солдаты до революции.

— Прежде чем произвести опрос претензий, я хочу приветствовать вас, мои боевые ребята, вас и матушку Россию! Ура!

— Ура! — крикнули ударники.

— Ура! — крикнул поручик Викштрём.

— Ребята!

Капитан Нождаков еще выше поднял голову и, схватившись за ус, дернул его к уху.

— Грудь моя дважды прострелена, а голова в сединах... И я говорю вам: старая царская армия умела драться, так неужели же мы не сыны ее и не наследники, ребята?..

Поручик Геральтовский забеспокоился. Он быстро снял перчатку и вновь ее натянул, но капитан Нождаков его не заметил. Капитану казалось: долгие месяцы от последнего мартовского боя до сегодняшнего дня вдруг рассеялись, точно страшные сны, ползущие сквозь сумерки тыла, а над ними, залитые солнцем, — во весь свой рост — поднялись brave, усатые солдаты.

— Ребята!.. Победа или смерть!.. Ребята!..

К станции Киверцы подошел поезд, увешанный дезертирами с фронта. Фронтовики сползали с крыш вагонов, вылезали из окон, соскакивали с буферов, бежали куда-то, за ними бежали унтер-офицеры с красными повязками вокруг рукавов; из дома за кладбищем вышел священник, три сестры милосердия спорили с военным чиновником, но капитан Нождаков никого не видел.

— Ребята! — уже хрипло кричал он ударникам. — Старая армия ела фасоль с жучками, чечевицу с червями, болела, гибли одиночные бойцы, но ряды ее стояли твердо, как гранит! Так неужели же красный флаг, шкурниками поднятый в Петрограде, сильнее цинги и штыков германских? Так неужели же он расстроит наши ряды, недавно рвавшие проволоку голыми руками, ребята?

— Вы бы о революции, господин капитан... несколько слов... — шепотом сказал поручик Геральтовский. Он склонился над плечом капитана и даже тронул его за погон. — О революционном порыве, например... О гражданском долге солдата-гражданина...

— Не учите! — рванул плечом капитан. — Оставьте погон!..

Поручик Геральтовский нахмурился и, так как не знал, как поступил бы в подобном случае комиссар Филоненко, отошел в сторону и остановился, выставив вперед одну ногу.

— Ребята-аа!.. Не смерть страшна, позор родины страшен!.. — все еще кричал капитан Нождаков. — Дезертиры, самострелы, шкурники — вот враги! Все разрешаю вам, но отступать не разрешу! Ура родине нашей! Ура!

— Ура генералу Корнилову! — крикнул поручик Викстрём.

— Да здравствует революция! Ура! — подхватил комиссар Геральтовский. — Слушааай на кра-ул! Ура!

— Ура-а-а! — рванулись над батальоном ударников тяжелые крики.

— Итак, ты во всем разобрался? Подшил приказ главного комитета союза офицеров? — услышав в комиссаровском вагоне далекие крики ударников, спросила прапорщика Вик-

торова Варвара Николаевна.— Позови тогда дежурного, и пойдем на станцию. Я хочу лимонаду. И еще: прикажи, пожалуйста, чтоб в нашем вагоне всегда имелся лимонад. Ты совсем обо мне не думаешь. Ну, пойдем.

Она встала, еще раз кивнула прапорщику Викторову, и тень ее рыжих волос поднялась на портрет генерала Корнилова, висевший на стене вагона, с которой еще недавно грустно смотрел заложивший руку за борт френча военный и морской министр Керенский.

НА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЕ ТЫЛА

I

От Москвы до Петрограда в полутемном вагоне II класса, в котором друг против друга молча сидели Ольга Памфиловна и Спиридон Кузьмич, ехали одни только солдаты.

Бородатый ратник, напоминавший ей тех раненых, которым она раздавала в лазаретах леденцы и махорку, и потому очень ей нравившийся, повторял все одно и то же:

— Нам, земляк, хлеб не вкусный нужен, а качественный.

Второй солдат — он очень не нравился Ольге Памфиловне — говорил о комитетах и советах, а третий, болтая ногами над головой Спиридона Кузьмича, смотрел с верхней полки на шею Ольги Памфиловны и вдруг сказал, растопырив висевшие в воздухе ноги:

— Смотрел он на дамочкину шею, товарищи, и так долго он на нее смотрел, что пришлось, товарищи, приложиться.

Ольга Памфиловна сдвинула брови, возмущенно отвернулась к окну и увидела, что поезд уже подходит к Петрограду.

На перроне вокзала Ольга Памфиловна увидела много офицеров, а Спиридон Кузьмич — круглые светящиеся часы, большая стрелка которых продвигалась вперед порывистыми прыжками. Но больше всего Спиридона Кузьмича удивили высокие своды вокзала, под которыми плыл и качался мутный, неясный свет.

— Ах, неужели ты не знаешь, что в Петрограде белые ночи! — сказала ему Ольга Памфиловна, быстро шедшая рядом с его креслом.

Кресло катил носильщик.

— Пропустите, господа, инвалида! Инвалида... Инвалида... — просил носильщик, и Ольга Памфиловна, никогда

в Бузулуке не выходявшая вместе с мужем, гордо смотрела на толпу: вероятно, все на вокзале думали, что Спиридон Кузьмич инвалид и герой войны.

— Носильщик, сюда! Носильщик, направо! — крикнула вдруг Ольга Памфиловна, увидя в толпе доктора Питкевича.

Бритый чиновник в военной форме взял под козырек, удивленно посмотрел на Ольгу Памфиловну, а Ольга Памфиловна опять обернулась к носильщику:

— Носильщик, сюда! Носильщик, налево!

На этот раз Ольга Памфиловна не ошиблась.

— Олечка, это я. Да. Здравствуйте, Спиридон Кузьмич. Узнала, Олечка? — спросил ее доктор Питкевич, пожилой бородатый мужчина в новой военной форме.

Он поцеловал руку Ольги Памфиловны и долго держал ее поднятой, точно разглядывая, какая на ней перчатка. Слушая Ольгу Памфиловну, он улыбался.

— Я, конечно, очень рад тебя видеть и оказать тебе и мужу гостеприимство, но, Олечка, такое тревожное время... Знаешь...

— Я знаю! Но, Анатолий, я хочу работать! Анатолий, я так рада тебя видеть! Правда, что ты был на фронте и тебя ранили? Нет? Тебя контузили? Но ты был болен?

«Автомобилей-то, автомобилей!..» — думал между тем Спиридон Кузьмич, кресло которого уже прыгало по ступенькам, ведущим с вокзала на Знаменскую площадь.

— Оле-ле... Олечка!..

Но Ольга Памфиловна ничему не удивлялась. Она не удивилась даже тогда, когда автомобиль доктора Питкевича, чуть наклонившись, обогнул чей-то грузный памятник на коне-великане, возле которого кричали газетчики, и выехал на широкий бледный Невский, где голубой свет белой ночи плыл мимо ярко освещенных витрин закрытых магазинов.

«А в Бузулуке, в окне универсального магазина Киселева горела одна только лампочка», — вспомнил Спиридон Кузьмич, и почему-то ему стало вдруг грустно.

Кресло Спиридона Кузьмича было плотно вдвинуто в автомобиль, оно не качалось, а только подпрыгивало. Когда же автомобиль выехал на торцы и кресло перестало подпрыгивать, Спиридон Кузьмич стал прислушиваться к разговору доктора с Ольгой Памфиловной. Но она говорила не о Бузулуке.

— Итак, я хочу работать. Да, да, завтра же! Завтра!.. — повторяла Ольга Памфиловна.

— Хорошо, Олечка, хорошо...— говорил ей доктор Питкевич и улыбался, мерно качая бородой.

...Солдаты возле кинематографов торговали папиросами. Шли генералы.

2

Утром падал дождь и все улицы Бузулука были уставлены комнатными цветами.

К полудню тучи опустились на горизонт, отошли за круглые купола Спасо-Преображенского монастыря, и на омытых зеленых листьях цветов, все еще стоявших на улицах, заиграли капельки солнца.

С Чечулкиного моста стекала вода. Рваные сапоги солдат тяжело ступали по лужам. Солдаты несли красные знамена, на которых горело под солнцем одно только золотом нарисованное слово «Мир». Солдаты шли молча. Над далекой Самарой, на которой качались плоские суда с известью, раздавались свистки.

— Долой Разживина! — крикнул вдруг один из солдат и, подняв красный флаг, замахал им в воздухе.— Товарищи, довольно перед Керенским враспластку лежали! Товарищи, последнюю шкуру они с наших братьев стянули, так мы своей шкуры не дадим, товарищи!..

— Правильно! — закричали солдаты, и далекие свистки над Самарой затерялись в их криках.

— Да здравствует Учредительное собрание!

— Никаких наступлений на фронте! До-мо-ой!

— Долой Разживина!

— Нейтралитету!

— Мир без аннексии!

— Долой!

На Самарской улице, на которую вышли солдаты, быстро забегали женщины, выскочившие из всех домов. Хватая горшки с цветами, они торопливо ставили их в открытые окна и, оборачиваясь, опять бежали и хватали горшки. Цветы хлестали по испуганным лицам женщин, и круглые, тяжелые капли, вздрагивая, падали с листьев пестрым дождем.

— Фуксию!.. Фуксию заведи! Мирту!..— крикнула жена Яна Крунчака.— Ян! Ян! Ваня, они опрокинут!

— Побьют!

— Герань!..

— Долой Разживина!

— Мир!

— Советы!..

Тем временем, еще не слыша криков на Самарской улице, Анюта и родители прапорщика Дергачева, недавно приехавшие в Бузулук, шли с монастырского кладбища.

На кладбище росла малина. Над зелеными ягодами еще незрелой смородины дрались воробьи. Два воробья сидели на кресте прапорщика Дергачева, и, увидя воробьев, Анюта вспомнила, как в первый весенний день прапорщик Дергачев нес на дамбе ее мокрые боты. Потом она увидела, что бумажные розы, воткнутые стебельками из проволоки в свежую зелень могилы, те самые розы, которые недавно еще стояли на столе прапорщика Дергачева, промокли под дождем, повались, и, идя теперь с кладбища, Анюта не могла остановить слез.

Анюта шла, отстав от стариков. Ей очень хотелось бы пойти рядом с матерью Павлика, с маленькой, доброй старушкой, которая, дергая плечами, весь этот час на кладбище проплакала над могилой, но отец Павлика, надвинув на очки старую чиновничью фуражку, сердито мигал за стеклами колкими, сухими глазами, и Анюта боялась к нему подойти.

— Я знал, что все это кончится для него очень плохо!..— вдруг сказал старик, и Анюта поняла, что не напрасно его боялась: голос у него был резкий, злой и даже показался Анюте скрипом высушенной доски, которую хотят перегнуть.

— Я говорил,— в конто-о-ру, ну и сидел бы, не вмешивался, раз еще не призвали!

— Но, Саша...

Мать Павлика опять заплакала.

— Так нет, погоны ему нужны были! Звездочки...— не унимался старик.— Шпоры там всякие... Отец без шпор прожил — сын петухом кукурекать захотел! Накукурекался!..

— Но, Саша!.. Над могилой...

— Над могилой... И на том свете еще скажу... Отца, скажу, слушаться!.. Не своей, скажу, волей жить, не своим умом, коль ума не отпущено!..

— Но, Саша...

«Противный, противный!..» — думала Анюта, опустив голову и глядя на лужу возле деревянных мостков тротуара, по которой бежала быстрая белая тучка.

А за углом кто-то кричал и пел незнакомые Анюте песни. Там шли солдаты. На красных флагах горело золото. В лужах, которые расплескивали солдатские сапоги, вились и ломались красные полосы отраженных флагов. Низкие домики, тянувшиеся до угла Самарской улицы, глядели на тумбы грязными пестрыми окнами. С крыш домиков капала вода.

Зеленый мох под карнизами разбух, как губка. Вот зеленая губка под крышей дома, в котором жил, кажется, полковник Судаков, отстала от карниза, повисла и шлепнулась на панель.

За домом полковника стоял прапорщик Бесседелько. Обиженно сдвинув редкие тонкие брови, он смотрел на солдат, шедших по Самарской, и, не зная, выйти ли на Самарскую или повернуться и идти назад, крутил по очереди все золотые пуговицы шинели. Потом он увидел Анюту, улыбнулся, быстро надел перчатку и взял под козырек. Анюта отвернулась.

А старик Дергачев за спиной Анюты все еще торопливо оборачивался к жене и, мигая за стеклами очков сухими, колкими глазами, иногда коротко всхлипывал и все говорил и говорил что-то как сварливая старуха, дергая бритыми губами.

Вечером, проводив на вокзал стариков Дергачевых, Анюта сидела в столовой.

Из темных дверей вышел рыжий кот Тимошка. Он посмотрел на Анюту медно-зелеными блеснувшими глазами и, не дождавшись привычной ласки, повернулся и поднял хвост.

Анюта хотела записать в дневник все мысли за последнюю страшную неделю, но, открыв тетрадь, вдруг поняла, что писать больше не для кого, и опять положила перо, которое покатилося по скатерти, оставляя за собой быстрые пятнышки бледно-зеленых чернил.

На кухне Ксения Захаровна ставила самовар. Петр Арсентьевич сидел на лавке и, зажав между коленями веник, перевязывал его новой бечевкой.

— Скучает?..

— Скучает...— ответил Ксении Захаровне Петр Арсентьевич и, ничего не добавив, потянул за бечевку. Бечевка порвалась.

— Стучат...— опять сказала Ксения Захаровна и подняла голову над зашумевшим самоваром.

Петр Арсентьевич положил веник на лавку, вышел в сени, нащупал в темноте крючок выходной двери и под высокими яркими звездами, упавшими под черный косяк открывшейся двери, увидел молодого прапорщика, того, который чаще всего ходил по Оренбургской. Прапорщик улыбнулся и звякнул шпорами.

— Прапорщик Бесседелько,— сказал он и опять улыбнулся,— сто семидесятого полка... Передайте, пожалуйста, барышне, которая здесь живет, что в кинотеатре «Триумф»...

Петр Арсентьевич вышел на крыльцо и, положив ладони на плечи прапорщика Бесседелько, молча повернул его и, сойдя с ним на панель, опустил, наконец, руки.

— Идите!..— сказал он спокойно.

Но прапорщик Бесседелко обиженно повернулся и сжал пальцами золотую пуговицу двубортной шинели.

— И-ди-те!..— еще спокойнее повторил тогда Петр Арсентьевич и, отвернувшись от прапорщика, вновь взошел на крыльцо и неторопливо затворил за собой дверь.

Анюта все еще сидела в столовой. За стулом стоял кот Тимошка. Подняв голову, он терся усами о косу Анюты и мурлыкал.

— Скучаешь?..— тихо спросил Петр Арсентьевич и низко склонился над Анюткой.— Мне, Анюта, тоже человека жаль, но рано тебе замуж было, Нюточка, рано!..

Анюта подняла глаза и, вспомнив злого старика-чиновника, прижалась к ласковой бороде деда. Но над глазами Петра Арсентьевича, которых не увидела Анюта, вдруг сердито задвигались и нависли седые брови.

— Не варил котелок на царских плечах,— сказал дед и сердито закашлял.— Начал царь войну, народ перебил... А теперь сто котелков дымят и все сто не варят, ядри их корюшку!.. Ходят, ходят...

Анюта заплакала.

— Ходят, ходят, рукавицей машут, во всех городах народ для убоя держат!.. А ты не плачь, Нюточка! Год пройдет, и два пройдут, и три пройти могут... Я о женихе тебе, Нюточка...

Анюта продолжала плакать, но сердитый голос Петра Арсентьевича опять уже стал тихим и ласковым; в широкой седой бороде деда было тепло и спокойно, и слезы перестали мучить Анюту. Вот и злой старик-чиновник, весь вечер мигавший сухими, колкими глазами, отошел наконец в сторону, а прапорщик Дергачев, веселый и беззаботный, опять, как всегда, приветливо улыбнулся.

— Подожди, Анюта, мир вот будет,— говорил Петр Арсентьевич и тихо дышал в пробор Анюты.

Рыжий кот Тимошка играл за стулом ее длинной косой.

— Учиться поедешь... в Самару... Других людей узнаешь... Много хороших людей на свете, Нюточка,— ядри их корень!..— вдруг оборвал Петр Арсентьевич, повернулся, ушел на кухню и опять сердито закашлял.

Ксения Захаровна на кухне плакала: она резала к ужину лук.

Земля взлетала красными столбами, падала, а когда солдаты вскакивали из-за холмиков и, перебегая к воронкам, вновь бросались на землю, пытаясь укрыться от лучей прожекторов, прорвавшихся сквозь далекие перелески, столбы — черные, красные и белые — с грохотом метались вдоль холмиков, на которых выростала и вновь быстро ложилась одинокая трава.

Вот опять, качая черные тени, белый луч, медлительный под грохотом огня, поднявшись на холм, глубокой волной пополз по его отлогам. Навстречу спокойному белому свету, испуганно открыв глаза, ползли раненые.

— Куда, куда? Цепью!.. — крикнул прапорщик Штрод и, огромный, почему-то бросив в сторону руки, побежал вперед.

— За мной! Цепью!..

Но прапорщик Константинов опять не увидел цепей.

Скользнув по деревьям, белый луч неподвижно задержался в воздухе и, точно дождавшись, пока, взбросив корни, на землю повалилась одинокая обгорелая сосна, неторопливо и медленно пополз влево. Тогда, уже в темноте, прапорщик Константинов тоже вскочил и побежал вперед.

— За мной! Цепью!

Соседний 144-й Каширский полк, побросав пулеметы и раненых, стрелял почему-то уже глубоко в тылу, и к далеким перелескам, окутанным германской проволокой, бежали одни только офицерские цепи 613-го Славутинского полка.

— Цепь, за мной! Ура! Ура-а! — кричали одинокие голоса, а глубокий белый луч, оставив редкие офицерские цепи и в поисках резерва пересчитав по пути все холмики, за которыми лежали солдаты, дополз, наконец, до окопа и бросил в него путаную тень колючей проволоки.

Три солдата саперной команды, стоявшие в окопе, прижались к траверсу.

— Гляди, побежали, — сказал один из них, выглянув из-за бруствера. — Бегут!

— Встретят!.. — ответил другой, махнув головой в сторону тыла, туда, где 144-й Каширский полк, столкнувшись с женским ударным батальоном, ружейным огнем пробивал себе дорогу.

— Нащупал. Гляди, гонит!.. — опять сказал первый сапер и надвинул на уши фуражку. — Бежать надо.

— Выбежишь, чёрта...

По окопу, пригнувшись, пробежал санитар. Затылок его был мокрый и красный.

— Выходи! Вылезай, шура! — прижав к груди раненую руку, кричал бегущий за ним офицер.

— Выходи! — вновь крикнул он, увидя саперов, но далекий грохот вдруг перебросился через проволоку, проволока натянулась, взвизгнула, хлестнула в небо, и первый столб земли, качнувшийся и опрокинувшийся траверс, сбил с ног офицера и, нагнав, смял побежавших саперов.

— Продали!..

— Бьют!

— Бабы!

— Бабы бьют!

— Братцы!.. Товарищи!..

— Продали!.. — кричали бегущие солдаты и, падая в окоп, били сапогами рыхлую землю, под которой дергалась, еще хватаясь пальцами за комья, чья-то голая окровавленная рука.

— Товарищи!

— Бьет!.. Бьет!..

— Бьют!..

А белый луч, уже загнав солдат в черные щели ходов сообщения, на мгновение опять озарил проволоку и, переставив ее тяжелые кольца, поплыл к правому флангу, откуда бестолковыми цепями выбежали ударницы.

В грузных тучах кувырнулась ракета; потом ракета рассыпалась, артиллерия на всем участке вдруг смолкла, и в тишине, которую не смогли побороть женские далекие крики, зачастили, перекликаясь, германские пулеметы.

...Капитан Доброхотов забыл поднять винтовку, с которой, тяжело дыша и поминутно спотыкаясь, выбежал из окопа.

Когда солдаты, залитые со спины белым светом нагнавшего их прожектора, с хриплыми криками вбежали в кусты, капитан опять вскочил с болота, тоже добежал до кустов, остановился, увидел быстро повернувшуюся вокруг него тень и вдруг упал на колени. Тогда опять — еще на одно мгновение — он услышал тревожную частую стрельбу, уже далекие, утихающие крики, чей-то стон в траве за воронкой, потом в воронку вдруг покотился камень, тяжелый всплеск черной воды взмыл на траве низкое небо, и вот в воде, неслышно ударившись о какие-то доски, закачалось белое брюхо всплывшего вверх налима. Белое брюхо тяжело и медленно

вздвухлось, наконец вздулось, стало большим, круглым, и — большое и круглое — сползло с досок.

Прошла туча. Брызнул дождь, потом с болота поднялся туман, а со стороны далеких перелесков вновь потянуло ромашкой, мятой и мягким теплым воздухом.

Капитан Доброхотов лежал лицом в траве. Левая нога еще дергалась.

Ни большинство офицеров, вместе с солдатами прорвавшихся сквозь цепь женского ударного батальона, сперва рассыпанного в тылу 613-го Славутинского полка, потом вслед за редкими офицерскими цепями выбежавшего на белые лучи прожекторов и тоже попавшего под огонь германских пулеметов; ни командир 613-го полка, почему-то очутившийся в штабе женского батальона; ни прапорщик Константинов, добежавший до германской проволоки и, вдруг опять не увидя ни цепей, ни офицеров, точно запоздало почувствовавший страх и бросившийся в траву за холмиком; ни солдаты, ни санитары, ни доктор, ни одинокая сестра в окопе, потерявшая где-то свою кожаную сумку с йодом и бинтами, — никто в эту ночь не знал, что́ делать.

Когда германские пулеметы перестали, наконец, переключаться, а мокрая трава на холмике перестала биться, рваться и испуганно хлестать небо, прапорщик Константинов дополз до каких-то кустов и только тогда опять поднял голову.

В небе поднималась луна. Свет луны крался по траве желтыми тропками. Две тропы, поросшие низкой ромашкой, упирались в германскую проволоку, на которой, навалившись широкой грудью на ввинченный в землю железный прут, неподвижно висел прапорщик Штрод. За ним, распластав руки, лежали еще два офицера, не добежавшие до проволоки.

«Сейчас выйдут немцы... — заставив себя не смотреть на убитых, подумал прапорщик Константинов. — Надо ползти... Сейчас они выйдут...»

Но немцы из своих окопов не выходили. Они продолжали работать, стучали топорами и лопатами, звенели бидонами, смеялись и, казалось, вовсе не интересовались тем, куда отхлынули редкие русские цепи. Война с русскими была для них окончена.

«Надо ползти... Сейчас выйдут...»

И вот все шумы за спиной Константинова постепенно стихли — вероятно, он уже далеко отполз от германской проволоки. Но встать на ноги он все еще не решался. Цепляясь пальцами за кустики ромашки, мокрый до плеч, потеряв

винтовку и рассыпав из подсумка все патроны, он изредка подымал голову и смотрел: скоро ли доползет до проволоки русских окопов.

Густой туман полз ему навстречу. Над туманом, ведя за собой мутно-белые пятна туч, ползла луна. Промокшая кобура нагана, съехавшая на живот, тяжело волочилась по земле. Подымались и опускались холмики. Чернели взрытые воронки. Три воронки, возле самого края которых прополз Константинов, показались ему глубокими и круглыми, как огромные разбитые котлы походной кухни. В глубоких воронках, на дно которых падала живая, качающаяся тень одиноких стеблей, лежали убитые. Над краем четвертой воронки торчали ноги, одна — в рваном сапоге, другая — разутая. На разутой, зацепившись за большой палец, висела мокрая от дождя, разматавшаяся портянка. Когда Константинов медленно переполз длинную тень этих мертвых ног, а портянка над ним тихо и неслышно закачалась, подбородок его вдруг запрыгал и, прыгая, задергал скулы, которые трогала, качаясь, мокрая холодная трава.

«Направо,— думал Чурка,— здесь было болото».

Чурка шел, чуть прихрамывая, ловил на ходу вшей, оглядывался.

«Ну, суки Керенского!..— думал он.— Ну, подождите, будет вам охота затворами шелкать!..»

Возле болота лежал подпоручик Иосельян. Он лежал на спине и, закрыв ладонью один глаз, смотрел другим из-под круглого, уже застывшего века. За ним, упав грудью на винтовку, лежал усатый унтер-офицер 3-й роты. Пальцы его были разжаты, ноги широко раскрычены, и густая черная лужа, набежавшая под его живот, медленно сползала в болото.

— Господин капитан! Господин капитан! — вдруг услышал Чурка, обернувшись, увидел кусты и в кустах прапорщика Константинова.

— Капитан! Господин капитан! — повторял прапорщик Константинов, пытаясь поднять чье-то тяжелое тело.

— Не жив он больше, господин прапорщик! — раздвинув кусты, сказал Чурка, но капитан Доброхотов, которого поднял наконец прапорщик Константинов, все еще слушал, как по мокрым тяжелым доскам, по которым только что сползло куда-то белое брюхо-пузырь, ползла, сыпалась и потрескивала, словно уголья, мелкая блестящая чешуя. Чешуя сыпалась в воду. Вода под досками подымалась. На воде качалась рукавица. Рыбак ушел.

— Тоже в спину... бабы распроклятые!..— сказал Чурка.— Берите под колени, господин прапорщик. Ниже, еще ниже! Взялись?

Прапорщик Константинов обнял мягкие колени капитана.

— Повыше, господин прапорщик...

Мягкие колени поднялись выше.

— Брат-тцы! — крикнул вдруг унтер-офицер, лежавший рядом с подпоручиком Иосельяном. Он выгнул спину и, подбрав под себя локти, на мгновение поднял голову.

— Брат-тцы!..— опять крикнул он, спина его закачалась, вновь сломалась в пояснице, унтер-офицер дернулся и тяжело повалился в черную лужу. И в тот момент, когда он захрипел и в последний, третий раз крикнул: «Братцы!» — рукавица, на которую, радуясь чему-то, все еще смотрел капитан Доброхотов, вдруг закружилась, запрыгала и быстро, точно поплавок, ушла в воду.

... Прапорщик Константинов не мог уже побороть ни дрожи подбородка, ни онемевших и вдруг остановившихся мыслей, сквозь которые, тихо шелестя травой, двинулась куда-то, наклонилась и замерла тишина.

Падая с травы, на земле разбивались капли. Прыгнул кузнечик. В луже крови возле унтер-офицера блестел затвор винтовки. На мертвый глаз подпоручика Иосельяна тоже упал свет луны, и мутный глаз из-под тяжелого века взглянул на прапорщика Константинова. Подбородок Константинова запрыгал еще быстрее.

— Ну, как хотите, господин прапорщик, а я иду. Кончал я мою службу! — опять сказал Чурка, и плечи его двинулись к кустам.— Говорю, подберут... Идемте! — повторил он, думая, что Константинов не хочет оставлять мертвое тело капитана.

— Ну, как хотите, господин прапорщик! — в третий раз повторил Чурка и, вновь раздвинув кусты, повернулся и пошел вдоль болота.

На околыш фуражки подпоручика Иосельяна выползла вошь. Она была очень маленькая, но прапорщик Константинов видел и вошь, и черное пятнышко на ее белой спинке. В кустах пробежал ветер. Седой ус капитана Доброхотова приподнялся, качнулся и осторожно лег на щеку.

— Чурка! И я с тобой!.. Чурка! — вдруг опомнившись, крикнул прапорщик Константинов и, вскочив с травы, побежал к Чурке, который, по-турецки поджав ноги, сидел почему-то на черной кочке болота.

— Подожди, Чурка!..— подбежав к нему, крикнул Константинов, но Чурка вдруг улыбнулся, и Константинов узнал в нем прапорщика Рябого.

Прапорщик Рябой сидел, опустив улыбающееся лицо и медленно переставлял на коленях спокойно сложенные пальцы. Казалось, прапорщик Рябой играет в шашки.

— Чурка! — отвернувшись от прапорщика Рябого, испуганно позвал Константинов; прапорщик Рябой за ним ласково заворчал, потом тихо засмеялся, и Константинов опять побежал по болоту. Но Чурки он не догнал.

Обойдя болото, Чурка перелез через развороченный снарядами окоп и, подняв чью-то брошенную винтовку, шел через лес, уже не оглядываясь на кусты за проволокой.

— Ну, подождите!..— повторял он.— Подождите, суки Керенского! Кончал я службу!..

Через лес — по направлению к болоту — шло несколько санитаров 614-го Клеванского полка.

2

Далекий бой за колонией Эйхендорф не испугал проснувшейся Марты Гартен. Прикрыв одеялом лежавшую рядом с ней Гедвиг, она встала с кровати, взяла штопанный серый платок и завесила им окно, за которым, озаряя темное небо и острую башню кирки на холмике, скользили широкие спокойные лучи.

С низкого подоконника упал башмак с деревянной подметкой. Потом за платком глухо загудела артиллерия, затрещал пулемет, но Гедвиг опять не проснулась. Она спокойно дышала, уткнувшись лицом в жесткую подушку без наволочки, и видела во сне грязные берега тихой Домашки, «Народный дом» и ракеты над крышами Бузулука. Над крышами летел снег. Снег был красный, зеленый и синий, и каждая снежинка, кружась в воздухе, хлопала, как далекие ракеты за «Народным домом»...

Утром за туманом взошло солнце. Выстрелов уже не было слышно. Серый платок над окном вздувался, и, когда Гедвиг, вскочив на табуретку, сбросила его с ржавых гвоздиков, она увидела, что стекло в окне разбито, и опять, как взрослая, грустно покачала головой. А Марта Гартен в кладовке уже переставляла на полке разбитые горшки и кастрюли. Она искала кастрюлю, дно которой было еще не продырявлено и не протекало.

«Мой милый, маленький дружок, строгая, любимая детка! — этим же утром читала в петроградском комитете помощи политэмигрантам Ольга Памфиловна. — Унылой тенью, затаив в груди отчаяние за судьбу родины и тоску по Вас, брожу я сейчас по комнате. Вокруг бушует мутное солдатское море, но маленький островок, на котором я чувствовал себя столь счастливым, все еще светлым воспоминанием живет в моей памяти. А Вы помните обо мне, о Вашем одиноком бузулукском друге?»

За окном, на подоконнике которого лежали котелки и серые фетровые шляпы, пожертвованные, но еще не розданные политэмигрантам, виднелись далекие колонны Казанского собора. Набережная Екатерининского канала была пуста. Сегодня никто не пришел в комитет за котелками и шляпами, и даже старичок из бывших террористов, обучившийся в эмиграции кондитерскому делу, не пришел просить Ольгу Памфиловну найти богатые дома, куда можно было бы поставлять орехи в сахар и тянучки.

«Вы помните наши улицы? — опять склонилась Ольга Памфиловна над письмом полковника Судакова. — Грязные улицы, которые стали сейчас еще грязней? Каждый вечер, возвращаясь из полка по этим улицам, я думаю о своей жизни, которая с ранних лет юности была отдана мною служению родине. Если б Вы знали, как мне больно, Ольга Памфиловна!.. Неужели родина во мне больше не нуждается? — каждый вечер пугает меня страшная мысль. Куда мы идем, куда они ведут Россию, камо грядеши, Ольга Памфиловна?.. Сейчас они уже не верят даже своему Разживину, подумайте!.. Море, ах это море, кто уложит его обратно в берега!.. Вы ведь знаете, как трудно было мне работать с Разживиным, — я не мог забыть, что руки его в крови, — но, любя родину больше всего в мире, я старался не думать о крови Авеля на руках этого человека, которого я называл бы Каином, если б не знал, что он все-таки как-то по-своему, но любит Россию. Но сейчас, когда на место Разживина хотят избрать каких-то вдруг заявившихся большевиков, я спрашиваю Вас, Ольга Памфиловна, что мне делать? Как мы победим Германию?..»

Ольга Памфиловна задумалась и, скользя глазами по котелкам и серым фетровым шляпам, стала смотреть в окно.

В мутной воде Екатерининского канала плыли щепки. Они плыли посреди канала, а возле набережной, разбегаясь по воде всеми цветами, играла пролитая нефть. Пробежал газетчик. За мостом — на Невском проспекте — гремели грузовики, нагруженные юнкерами.

И вдруг по котелкам и фетровым шляпам скользнула чья-то легкая тень. Кто-то прошел мимо окна, потом остановился, и дверь быстро растворилась.

— Ольга Памфиловна, голубчик! На Невском опять так много народу! — воскликнула, входя в приемную комитета, Надежда Павловна, жена дежурного генерала при Генеральном штабе, молодая женщина с узкой полоской седых волос под шляпой.

— «J'y suis et j'y reste!» — сказал Керенский, — продолжала она, — но они опять пришли с этой бандой Раскольников, и сейчас начнется стрельба!

Ольга Памфиловна только позавчера — в первый день своей работы в комитете — познакомилась с Надеждой Павловной; мужа ее она видела только мельком вчера, но все знакомые доктора Питкевича говорили о молодом генерале с большим уважением, и Ольга Памфиловна оказывала должное внимание и его жене.

— Надежда Павловна, в эти дни нельзя волноваться и терять голову! — долго думая, как бы поучтивей перебить Надежду Павловну, сказала она наконец.

— Голубчик!..

Надежда Павловна открыла сумочку, но вынуть из нее зеркальце позабыла.

— Милая, ведь я это знаю, потому и пришла сказать вам, что комитет нужно закрыть и сейчас же, пока не поздно, ехать домой. Ваш beau-frère дома? Ах! мой муж... мой муж!..

Отодвинув стул, Надежда Павловна опять повернулась к окну и, испуганно подняв голову, несколько минут, уже молча, прислушивалась ко все нарастающему гулу на Невском.

— Юнкера, конечно, победят! — вдруг сказала она. — Я видела их колонны, броневики и грузовые автомобили, но, голубчик, попасть в бой, когда мы с вами не солдаты!.. Но мы должны спешить... Голубчик, можно к вам?.. Ах, мой муж, мой муж!.. Он на службе...

Надежда Павловна опять замолчала и вдруг быстро схватила Ольгу Памфиловну за руку.

— Слышите?..

С потолка посыпалась пыль. На подоконнике заплясали котелки и закачались серые фетровые шляпы. Тяжелые грузовики, над которыми взвивались красные знамена, быстро огибали Казанский собор.

На улицу колонии Эйхендорф мирно вышел петух. Шпоры на его лапах были кривые, но он гордился этими шпорами и, шаркая cure, показавшейся из канавы, подмигивал Марте Гартен голыми красными веками.

Марта Гартен умывалась. На камне возле ее дома стояла жестяная кружка. Марта Гартен набирала полный рот воды, потом, склонив голову и растопырив голые локти, струйкой выпускала воду на ладони и быстро терла ими лицо. Лицо, шея и руки колонистки были темные от загара, и только грудь, иногда выпадавшая из-под рубашки, была такая же белая, какими были в Бузулуке ее лицо и руки.

За туманом, все еще не рассеявшимся вокруг колонии, гремели колеса каких-то тяжелых повозок. Где-то кричали солдаты. Когда голоса приблизились, а сквозь туман в конце улицы прорезались наконец серые силуэты солдат, лошадей и повозок, Марта Гартен подняла с земли кружку и, поправив на плече рубашку, быстро вошла в дом.

Но солдаты не пошли по улице колонии. Они спустились с дороги и, повалив забор, огородами потянулись к холмику, на котором стояла кирка.

В этот день туман вокруг колонии Эйхендорф рассеялся только к полудню. Когда его последние клочья опустились в ложбинку за холмиком, Марта Гартен, вышедшая к колодцу, опять увидела солдат, все еще идущих куда-то истоптанными огородами. Солдат было очень много, вероятно столько же, сколько было их в ночь, когда в Бузулуке умер старик Гартен,— все они кричали, сбегались в кучи, опять кричали и спускались с холма за киркой. Какой-то рослый офицер на лошади махал в воздухе кулаком. Он тоже кричал, но солдаты его не слушали.

— Довольно!

— Будет!

— Наслушались!..

И вдруг, подняв винтовки, солдаты, задержавшиеся на холме, побежали к кирке, защелкали затворами, и Марта Гартен услышала выстрелы. Офицер на лошади пригнулся. Задержав крупом и заплывав, лошадь быстро сорвалась с холма, помчалась по дороге, но возле забора бывшего дома пастора Шейде офицер на лошади взмахнул рукой, с которой слетела перчатка, и упал в канаву. Сверкнув стремянами, лошадь метнулась к другой канаве, опять выбежала на до-

рогу, помчалась еще быстрее и скрылась, наконец, за углом последнего дома, из-за которого вдруг вышел и остановился прапорщик Константинов.

— Будет!..— кричали за холмом солдаты.

— Товарищи!..

— Доколе, товарищи?..

— Доколе смерть принимать? От своих принимай, да от немцев, да австрияк бьет, да бабы нороят...

— Долой его, Керенского!

— Долой войну! Будет!

На улицу выбежала Гедвиг. Потом, испугавшись лошади, вновь промчавшейся по улице, Гедвиг опять скрылась за калиткой, а Марта Гартен, узнав Константинова, вдруг поставила ведра на землю.

Мокрая гимнастерка на Константинове была порвана, один погон на плече болтался, лицо его было в крови и в грязи, а щеки дергались, как иногда у Гедвиг, когда ей хотелось заплакать.

— Будет!.. Долой!..

— Чурка! — все еще кричали солдаты.

— Товарищ Чурка!

— Кончали мы службу!.. Правильно говоришь, Чурка! Долой!

— До-мо-ой!

— Мать!..

— Кровь!

— Продали!..

... Вечерело. Прапорщик Рябой, которого не нашли в кустах санитары 614-го Клеванского полка, все еще бродил по болотам. Иногда он останавливался, срывал камыш, жесткие стебли какой-то болотной травы и улыбался, в первый раз за долгие месяцы не чувствуя ни усталости, ни нудного стука и тяжести в висках.

Тихо играл бегущий по кустам теплый июльский ветер.

Опять поднялся туман и стал в полутьме мутно-белым. Неслышно пролетел козодой. В этот вечер горбатые черные трупы уже не сидели на земле перед прапорщиком Рябым, и прапорщик Рябой не играл с ними в шашки.

На дно всех воронок уже успела набежать черная вода. Звезды в воронках медленно кружились, а над проволокой, к которой подошел прапорщик Рябой, они стояли неподвижно.

— Maschinengewehre tadellos gearbeitet!.. Hab ich's nicht

vorgausgesagt? ¹ — вдруг услышал прапорщик Рябой и остановился, положив руки на холодную проволоку.

— Wer da? ² — вновь раздался за проволокой удивленный голос.

— Wieder ein Russe!.. ³

Кто-то засмеялся.

— Na, zurück zum Teufel!.. Sollen wir dich auch noch miternähren?.. ⁴

И опять пролетел козодой. Он пролетел так близко, что прапорщику Рябому даже показалось — черные крылья задели за щеку.

— Zurück!.. ⁵ — крикнул выросший над проволокой человек, поднял маузер, в темноте блеснула короткая полоса красного огня, и, услышав выстрел, прапорщик Рябой, точно вспомнив что-то, повернулся и тихо отошел в сторону.

Но, пройдя несколько шагов, он опять остановился и, найдя наконец в проволоке прорыв, пошел на голоса, заинтересованный, кто говорит на этом странном, непонятном для него наречии.

— Halt!.. Wo willst du hin?.. ⁶

Над проволокой летели не козодон, а летучие мыши.

— Der Mann ist aufgewiegelt!.. ⁷

— Nicht schiessen!.. ⁸

— Geisteskrank ist der Mann! ⁹ — сказал третий солдат, бледному безусому лицу которого, вероятно, одной только молодостью похожему на прапорщика Лбовича, улыбнулся прапорщик Рябой, осторожно вступив на соломенные маты, разостланные в германском окопе.

4

...Пробило девять, потом десять и половина одиннадцатого. Но в Петрограде были еще белые ночи, и Ольга Памфилова не зажгла электричества.

В одиннадцать часов, когда на далеком фронте два германских солдата в бескозырках отводили прапорщика Рябого в штаб своего полка, а прапорщик Константинов, уснувший

¹ Автоматы безупречно сработанные!.. Разве я этого не предсказывал? (нем.)

² Кто там? (нем.)

³ Опять русский!.. (нем.)

⁴ К черту, назад!.. Нам что, еще и тебя кормить?.. (нем.)

⁵ Назад!.. (нем.)

⁶ Стой!.. Ты куда?.. (нем.)

⁷ Его натравили!.. (нем.)

⁸ Не стреляйте!.. (нем.)

⁹ Он не в себе! (нем.)

в доме колонистки Марты Гартен, перестал наконец метаться и улынулся, прикрытый штопаным серым платком,— Ольга Памфиловна приказала подать чай. Но к чаю никто не приотронулся.

Окна двух комнат, в которых жила с мужем Ольга Памфиловна, выходили на двор, а потому она была спокойна и не боялась стрельбы на улицах. Стреляли, кажется, на углу Садовой и на Литейном проспекте.

Каждый раз, когда треск далеких выстрелов рассыпался на окнах тревожным звоном вздрагивающих стекол, Надежда Павловна вскакивала с дивана и со стоном хваталась за седую прядь над висками.

— Мой муж!.. Мой муж!..

Ольга Памфиловна опустила тяжелую штору. Пальцы ее несколько раз вздрогнули, но губы остались спокойно сжатыми. Казалось, Ольга Памфиловна давно уже ожидала этой стрельбы и была сейчас только удивлена, что стрельба так долго не прекращается. Спиридон Кузьмич, кресло которого было поставлено возле круглой печки, не мог понять, кто и зачем стреляет. Он уже несколько раз поворачивал к Ольге Памфиловне голову, но Ольга Памфиловна ничего ему не объясняла. Вот она опять подошла к телефону, нажала на кнопку «А», затем на кнопку «Б», возмущенно подняла плечи и тоже села на диван.

— Надежда Павловна,— сказала она, расправив на коленях складки платья.— Ни вам, ни вашему мужу не грозит никакой опасности. Здание Генерального штаба, где безусловно находится ваш муж, охраняется юнкерами. Опасность грозит родине, но немцы не восторжествуют, потому что большевики будут раздавлены.

Она сидела, прямая и неподвижная, и только пальцы ее быстро собирали и вновь расправляли на коленях складки черного платья.

— Теперь все уже знают, что большевики — это немецкие шпионы, и никто за ними не пойдет. Вы сами это понимаете.

— Мой муж!.. Мой муж!..— опять вскочила с дивана Надежда Павловна.— Слышите?.. Слышите?..

В соседней комнате, в спальне *beau-frère*'а Ольги Памфиловны, у доктора Питкевича, тяжело тикали старинные настенные часы.

— Ура!..— катились за окном еще приглушенные крики.— Ура-а!..

— Слышите? Это они... Это большевики. Они победили. Мой муж...

— Ура-а-а!..

— Мой муж!.. Мой муж!..

Ольга Памфиловна тоже встала с дивана.

— Сиди! — строго приказала она заметавшемуся в кресле Спиридону Кузьмичу и, шелестя черным платьем, вышла в коридор.

Доктора Питкевича не было дома. На письменном столе его огромного кабинета стояли бронзовые медведи и медвежата. Голубой свет с Невского падал на стол, и маленькие бронзовые медведи и медвежата, точно испуганные недавними выстрелами и разбежавшиеся по столу, бессмысленно смотрели на голубые бумаги, синие чернильницы, на календарь и на воткнутые в стакан острые перья.

— Ура-а-а!.. — опять услышала Ольга Памфиловна. Потом за окном раздалось бодрое пение. Ольга Памфиловна узнала знакомые песни и, вдруг перекрестившись, быстро подбежала к окну.

Рамы окна заскрипели и взвизгнули.

Так за на-род,
За ро-дину и ве-ру
Мы грянем гром-кое
Ура, ура, ура!.. —

пели юнкера, идущие по Невскому.

Ольга Памфиловна перегнулась через подоконник.

— Ура! Молодцы, павлоны! — кричал над ней этажом выше какой-то офицер.

А на со-вет солдатских де-пу-та-тов...

Юнкера шли, заняв колонной всю правую сторону Невского.

Мы грянем гром-кое
Ап-чхи, тьфу!..

За юнкерами Павловского училища шли владимировцы.

— Ура владимировцам! Герои!.. — кричала в окне этажом ниже какая-то барышня с острыми плечами и с высокой прической. Барышня махала платком.

— Керенский! Керенский!

— Корнилов! — кричал офицер.

— Долой шпионов! Ура! — крикнула Ольга Памфиловна и вдруг, почувствовав головокружение и звон в ушах, опустилась в кожаное кресло доктора Питкевича.

Открытая рама тихо раскачивалась. На стеклах качались иплыли отраженные белые и голубые полосы неба. Где-то бил барабан.

Ап-чи, тьфу!..
Ура, ура, ура!..—

все еще, точно переключаясь, пели попеременно юнкера, а Ольга Памфиловна уже опять овладела собой, выпрямилась и пошла в свои комнаты. Она знала, если сейчас — первая — она объявит Надежде Павловне о победе Временного правительства и, может быть, добьется по телефону справки о ее муже, Надежда Павловна, конечно, исполнит все ее просьбы, и полковника Судакова, которого в эту тревожную ночь так хотелось видеть рядом с собой, можно будет перевести по службе сюда в Петроград.

...Потом пили чай. Света не зажигали.

— Как светло у меня на душе, Надежда Павловна! — говорила Ольга Памфиловна.

А над станцией Киверцы ночь была темная, и только белые кресты на солдатском кладбище за домом священника, где спали утомленные дневными занятиями капитан Нождиков и поручик Викштрём, выступали из далекой темноты. Незабудки на склонах железнодорожной насыпи казались почему-то не голубыми, а белыми. Ударники в домах за насыпью тоже спали. Играть в «двадцать одно» они будут завтра.

— Только что получена телеграмма, — сквозь сон услышала Варвара Николаевна голос поручика Геральтовского.

— В Петрограде опять спокойно. Полная победа, прапорщик Викторов...

Поджав ноги, Варвара Николаевна лежала на мягком удобном диване под портретом Корнилова и, прикрывшись шинелью прапорщика Викторова, слушала, как хлопают двери.

Вот все двери вагона неслышно открылись, и Варвара Николаевна увидела длинный блестящий коридор, вдоль стен которого горели свечи. На стене под свечами висели офицерские фуражки. Капал стеарин.

Но одна фуражка вдруг упала на пол, на полу осторожно приподнялась, и из-под фуражки выбежала мышь. Мышь побежала по коридору.

Варвара Николаевна вскрикнула, быстро села на диван, натянула шинель до подбородка, но мыши возле себя уже не увидела. Вероятно, она осталась за закрытой дверью купе. Тогда Варвара Николаевна успокоилась, сняла ладонью по-

следний сон с улыбнувшихся глаз и взглянула в окно. В темноте за окном медленно шел какой-то поезд.

Поезд гремел, точно волоча за собой тяжелые ржавые цепи. Цепи глухо били по шпалам, и Варваре Николаевне опять стало страшно.

— Пропускай поезд, матери твоей черт!.. Будет ждать!..

Поручик Геральтовский в соседнем купе быстро потушил свет, а холодная пуговка на петлице шинели вдруг испуганно поползла по щеке, потом по шее и по голому дрожащему плечу Варвары Николаевны.

— Будет!..

— Кончали мы службу!..— опять услышала Варвара Николаевна все приближающиеся крики.

— Ты нам без шуточек здесь!.. Наслушались, холуи, Керенского!..

— Стращать?..

— Знаем таких!..

— Видели!..

На черных крышах, ползущих мимо окна комиссаровского вагона, лежали солдаты. Вот солдаты на всех крышах вдруг вскочили, и Варвара Николаевна увидела черные упавшие с неба штыки.

— Правильно говоришь, Чурка!

— Не ста-но-ви-ись поперечь!

— За кровь кровью платят!

Два солдата с крыши последнего вагона с криком сорвались в темноту, опять вскрикнули, но поезд не остановился.

— Свой машинист найдется! — гудело с крыш.

— Не подходи-и!.. Сорвем твою шкуру!

— Правильно, Чурка!

— Мир!

— Правильно! — еще раз услышала Варвара Николаевна, потом цепи на шпалах загремели быстрее, отрывистой, и вот лязг железа, стук колес, гул и крики отплыли, наконец, к semaфору.

— Чурка!

— Чурка!

И поезд прошел мимо черной станции Киверцы.



**СТАЛЬНОЙ
ШЛЕМ**

Столбцы четко выведенных цифр были прямые и ровные, как колонки.

Осторожно проведя под ними черту, Алексей Зуев сдвинул линейку, но чернела потекли за ее зазубренным краем и густо расплозились по бумаге.

— Рабо-о-тник!.. — высоко над конторкой сказал сосед Алексея слева и улыбнулся, опустив кончик карандаша в гнилые зубы.

— С такой работой, знаете, только в России продвинуться можно! У нас, в Германии...

Но окончить сосед Алексея не успел. Швырнув бумаги в ящик конторки, он быстро соскочил со стула и, подняв глаза на стенные часы, стал оправлять галстух.

— Abend! ¹ — кивнул он, когда неторопливые часы пробили наконец последний, шестой удар. Потом он побежал к гардеробной, разворачивая на ходу носовой платок. В коридоре — тоже на ходу — он стал радостно и без конца сморкаться.

«Труба иерихонская!» — думал Алексей, все так же уныло и растерянно сидя за высокой конторкой: список заказов, не могущих быть к сроку исполненными, был для подачи главному инженеру непригоден.

— Вы бы на машинке переписали. Так никогда не примут... — сказала соседка Алексея справа, молодая машинистка с кривыми от ревматизма пальцами. — У нас графическая четкость требуется и чистота.

Волосы падали ей на лицо и, очевидно, щекотали глаза. Машинистка нервничала: она никак не могла собрать по порядку свои бумаги (а тут еще эти волосы!) и боялась

¹ Вечер! (нем.)

остаться в трамвае без места. «Все бегут, все торопятся!..» — думала она.

— Быть может, вы мне поможете? Мне спешно... — обернулся к ней Алексей, но машинистка уже щелкнула ключом столика. Взлохмаченная тень ее волос скользнула куда-то по бумагам Алексея. Потом, сорвавшись с конторки, тень переметнулась на стену, залитую вечерним солнцем, побежала вдоль нее и вдруг сломалась, забежав за косяк дверей.

— Abend! — крикнул Алексей вослед машинистке. И добавил уже по-русски: — Пропеллер бы тебе в загрявок!

— Abend!

— Abend!

— Abend! — бежали к дверям торопливые голоса: рабочий день в берлинском акционерном обществе «Электромотор» кончился.

«Черта с два для меня он кончился! — с досадой подумал Алексей.— Изволь до сумерек стучать здесь одним пальцем!..»

Он сел за пишущую машинку и, положив перед собой залитый чернилами список, потянулся за копировальной бумагой.

Пробежали последние задержавшиеся служащие. Прошел и заведующий выдачей канцелярских принадлежностей. Он сильно хромал. Кожаный шнур его высокого ортопедического ботинка был развязан и при каждом шаге ударял о паркет. Виляя ботинком, короткая нога заведующего подпрыгивала.

По коридору, заглядывая во все двери, медленно шел вице-директор. Выбегая из дверей, служащие на него натыкались и, склонив головы, молча отступали к стене.

Всего этого Алексей не видел. Он сидел спиной к коридору. Пишущую машинку он знал неважно, а потому долго над ней возился. Наконец валик машинки сделал последний оборот и остановился. Лист бумаги на валике поднялся, как ноты перед музыкантом.

«А... п... в... — стал искать буквы на клавиатуре Алексей.— е... і... черт возьми, где же опять это і?.. А ведь в конце концов очень даже хорошо, что убежала сегодня эта дура! — думал он, кивая головой в такт опускающимся пальцам.— Копировальная бумага стоит теперь чуть ли не дороже самих рамок... Припрячь, Эрих, твои миллионы!.. й... в... е... А ну, черпаха дряхлая!..»

Машинка тяжело и медленно стучала. Тяжело и медленно стучали стенные часы.

...Уже все служащие, даже самые исполнительные, те, которые никогда не оставляли работы незаконченной, успели

уйти. «Электромотор» опустел. Служители терли мокрыми щетками пороги уборных. В уборных глухо шумела вода. Где-то звенели ведра.

Наконец и Алексей встал из-за столика. Бросив на-чисто распланированный список заказов в корзинку с входящими бумагами, он аккуратно сложил три листа копировальной бумаги и сунул их в карман пиджака. Потом, миновав коридор, пошел к гардеробной. Толстой круглой спины и обручем выгнутых плеч вице-директора, который мыл возле уборной руки, он не заметил.

Надевая пальто, Алексей насвистывал «Яблочко». Слыша за спиной этот непочтительный разудалый свист, вице-директор сердился. Вице-директор был вообще очень расстроен и недоволен сегодняшним днем. Вечерние выпуски сегодняшних газет принесли сведения, что берлинский совет фабзавкомов, миновав объединения профсоюзов, обратился к рабочим с призывом к забастовке. Совет требовал свержения Куно и образования рабочего правительства.

«Русские штучки!..» — думал вице-директор, подставляя намыленные ладони под струю бегущей из крана воды. — «Вот и этот, к примеру!.. И зачем мы держим у себя русских?.. И чего он свистит?.. И что он сейчас переписывал?..»

— Зуев! Герр Зуев!..

Но Алексей уже сбегал с лестницы.

Вечерело. Плыл туман. Из подъезда «Электромотора» выходили велосипедисты. Некоторые фонари на улице были уже зажжены. Туман над ними кружился мутным паром. Фонарики велосипедов ныряли в темноту.

Выбежав на улицу, Алексей переложил копировальную бумагу в карман пальто.

«Здесь, в широком кармане, листы не помнутся!» — думал он, уже вскакивая на площадку трамвая.

— Алекс, ты?

В коридоре было темно, и Алексей боялся наткнуться на Инге, которая шла перед ним, то и дело цепляясь за корзины, горою нагроможденные вдоль стены узкого коридора.

— Алекс, ты? С кем это ты? — глухо повторил тот же голос.

Вслед за тем в конце темного коридора — от потолка к полу — прорвалась робкая полоса света. Она быстро рас-

ползлась в ширину, потом упала на плетеные крышки корзины и полоснула, наконец, маленькие плечи Инге.

— А!.. Это вы!.. Ну идите, идите!

В дверях комнаты, далеко за корзинами, стоял Эрих. Лампа за его спиной была уже зажжена, и два пятна желтого света неподвижно висели на его скулах. Эрих был высокого роста и широкоплеч, а сейчас, освещенный только со спины, неподвижный и черный, казался даже огромным.

— Встретились,— сказал Алексей, пропуская Инге в комнату.

Желтый свет ударил Эриху в глаза. Глаза у него были глубокие, и казалось, свет лампы до дна их доползти не мог.

— Инге, Инге!..

Глаза Эриха улыбнулись, и желтый свет, играя, тотчас же опустился до глубокого дна и там, на дне загорелся ласково и участливо.

— Вы обедали сегодня, Инге? Зачем вы не приведете Вернера? Плохо ли, хорошо,— но мы все-таки еще обедаем!..

Алексей сбросил пальто и подошел к окну. На подоконнике, среди книг Эриха, кусков фанеры, изодранных рисунков для выпиливания и вконец использованной копировальной бумаги, стояла тарелка. Тарелка была прикрыта газетой. Из-под газеты торчал узкий, уже высохший хвост копченой селедки. На хвосте сидела муха.

— Чай? — спросил Алексей, приподымая желтую от жира газету.

На тарелке — рядом с селедкой — лежал вареный картофель с растрескавшейся кожурой.

— Кофе. Кофе сытнее,— ответил Эрих.— Ну, садитесь, Инге. Рассказывайте.

Волосы Инге были подстрижены. Сняв мужскую широкополую шляпу, она не оправдала волос, а потому — гладкие от макушки до ушей, затылка и лба — волосок к волоску — они остались лежать вокруг головы, не по-женски приглаженные и блестящие, как от лампадного масла. Алексей подумал, что так вот, как Инге, стриглись когда-то «под горшок» крестьяне в центральных губерниях России. Но Инге и Эрих никогда в России не были, и Алексей опять только молча улыбнулся.

— Хотела в Гамбург, туда, где стоит работать,— на верфи. Но не отпускают,— рассказывала Инге, точно в первый раз оглядывая стены комнаты, на которых висели портреты усатых родных и друзей квартирохозяина Алексея и Эриха, синие барельефы со всех сторон окруженного лодками Гельгоlanda, олени рога и все то, что ни к Алексею, ни к Эриху никакого отношения не имело.

— Они сидят как в канцелярии, подсчитывают силы, говорят: «здесь, в Берлине, работы много». Точно я не знаю, где есть и где нет работы!..

Инге хотела встать, но не встала. Хотела рассказать о своих обидах, о том, что ее не ценят, не хотят ценить, но только склонила голову и стала крутить бахрому грязной скатерти.

— Ну, а как ваши дела, Эрих? — спросила она, наконец.

За час до прихода Алексея и Инге уставший над лобзиком Эрих мучился в сильном приступе кашля. Ему и сейчас казалось — боль в груди еще не улеглась.

— Мои дела? — переспросил он, усмехнувшись. — Если б эти проклятые палочки, Инге, пожирали не мои легкие, а застрявшую в них пулю, мои дела были бы значительно лучше!.. Это очень печально, но это так!

— Это очень печально, но вы безнадежный человек, Эрих, — это так! — вдруг перебила Инге и, в последний раз рванув за бахрому, в упор и с раздражением посмотрела на Эриха.

Тихая и робкая, Инге говорила обыкновенно мало и очень редко. Может быть, этому научил ее приют, куда попала она в детстве после бегства из дома. Но тот же приют научил ее временами забывать свою вечную робость и говорить иногда горячо и повелительно. В приюте (и не только в приюте! — узнала потом Инге) повелевал тот, кто имел право говорить не шепотом. Девочки говорили шепотом. Но на второй год приютской жизни Инге устала говорить шепотом, и уже на третий, по вечерам, когда охрипшая за день надзирательница уходила в дежурную комнату, чтоб почитать в тишине Библию, Инге, путаясь в ночной рубашке, вскакивала на постель и, собрав вокруг себя тонконогих, в одеяла закутавшихся девочек, торопливо и сбиваясь призывала не подчиняться приютским правилам, которые даже ее, когда-то живую и веселую, сделали робкой и тихой. Испуганные девочки жалась друг к дружке и шептались. «Инге, — спрашивали они, — Ингеборг, что же делать?» Но Инге еще не знала, что делать. Только бы не говорить этим вечным шепотом! Только!..

Все это было еще до войны, очень давно. Приют, тонконогие девочки и вечно больные зубами надзирательницы были уже позабыты, но привычку молчать, копить слова, чтоб все чаще и чаще бросать их повелительно и не сбиваясь, Инге вынесла из приюта и в жизнь.

Вот и сейчас, в этой комнате, уже привыкшая выступать перед толпой, Инге стала говорить приподнято и громко, точно на улице. Подыскивая хлесткие и нужные к моменту

слова, она смотрела вокруг себя, чуть откинув назад голову. Глаза ее скользили по окну, по бумагам и рамочкам, лежащим на подоконнике, поднялись на стену, отступили к старому просиженному дивану и остановились, наконец, на портрете трех гвардейцев-барабанщиков, висящем над спинкой этого дивана.

— Вы держите у себя в комнате эти вот портреты,— это страшный симптом, Эрих! — говорила она.— Это — не случайно! И ваши слова о пуле, слова со всеми условиями примирившегося человека,— они тоже не случайны!.. Но как можете вы, испытавший все на своей шкуре, как можете вы не понимать, что эта вот пуля, эти миллионы пуль...

Эрих улыбнулся.

— Будет! — сказал он, чувствуя, что слова Инге рвут его спокойствие, которое он наконец в себе выработал, чтоб, как реку — шлюзами, остановить все прогрессирующую болезнь.

— Нет, не будет!

— Будет,— уже настойчиво, точно обороняя себя, повторил Эрих, сдвинув над глазами густые и запутавшиеся брови.— Вы опять о старом, Инге? Да?

С бровей его — вниз на глаза — потянулась тяжелая тень.

— Эрнст Толлер, конечно? Да? Мне его почитать? Да?.. Франса Мазереля посмотреть? Плакаты? Мне?.. Долой предательство, ненависть, кровь и войну... да?.. Долой войну,— и мне, непременно первому, вновь под пули?.. Мне — и непременно первому — штык под ребро и вторую пулю в легкие... да?..

— Подождите!.. Подождите!.. Мы, рабы прошлой войны, хотим быть скромными тружениками грядущего мира? Так, что ли?.. Предать Восемнадцатый год?.. Девятое ноября вычеркнуть?..

Но стол перед Эрихом вдруг качнулся и картофель, скатившись с тарелки, упал на пол и, подпрыгнув, покатился.

— Тот, кто прохаркал голос и не в силах под верфями Гамбурга бросать под ветер и рев гудков свои чувства,— предатель?

Край стола, опустившийся было под его ладонями, вновь поднялся кверху. Но скулы Эриха еще прыгали. Под скулами прыгали морщины ввалившихся молодых щек. Три чужих гвардейца-барабанщика за его плечами беззвучно смеялись. Пена, сбегавшая с их кружек, висела у них на руках. Острые, как штыки, бежали в раме портрета готические буквы: «So leben wir in Posen»¹.

¹ Так мы живем в Познани! (нем.)

Алексей стоял в стороне. Он боялся взглянуть в большие, лихорадкой зажженные глаза Эриха и смотрел на его тень, которая, поднявшись на стену, стояла возле портрета барабанщиков, огромная и неподвижная. Тень Инге по другую сторону портрета казалась совсем маленькой, и Алексею стало жаль Инге, вдруг побежденную Эрихом.

— Довольно о войне! — сказал Алексей, не понимая, что ни Эрих, ни Инге давно уже не говорят о войне.

Война разбросала кирпичи, которые, строя свою жизнь, складывал когда-то Эрих. Алексей это знал, но он не знал, что Эрих думал сейчас не о войне, а о кирпичах. Всегда и везде кирпичи!.. Когда-то, когда на последние пфенниги теперь уже покойного отца-бондаря Эрих кончал в Магдебурге реальное училище, он готовился стать инженером. Но инженером стал не он, а сын владельца винных погребов, который заказывал у его отца бочки, а Эрих, — уже инвалид, но все такой же упорный и горячий, — точно по кирпичику восстанавливал сейчас разбитые войной силы. Но Инге раскачивает эти кирпичи. Неужели Инге не понимает, что первое — это ремонт, а только потом споры: штаб ли в комнаты этого дома, или — окна под бойницы, а на крышу — легкую, как паутина, антенну?..

— Довольно о войне! — повторил Алексей и вновь замолчал, не зная, что говорить дальше.

Но Эрих уже и сам понял, что волноваться, пожалуй, не стоило. Барабанщик, который бьет сбор, не знает, что раненый такой-то роты лежит в палатке полкового околотка и не может подняться. «Что ж, каждому свое...» — грустно подумал Эрих, посмотрел на Инге и вдруг ласково улыбнулся.

— Посмотрите лучше, — сразу нашелся тогда Алексей, — какой подарок я принес тебе из «Электромотора».

Но до вешалки к своему пальто он не дошел. Поравнявшись с Инге, которая как раз подымала упавший на пол картофель, он остановился. Волосы нагнувшейся Инге сползли по обе стороны затылка. Они обнажили ее худую, почти детскую шею, на которой живой, узенькой лесенкой выгнулся ряд острых, друг за другом бегущих позвонков.

— Вы что-нибудь ели сегодня, Инге? — спросил Алексей, сразу же забыв про копировальную бумагу, лежащую в кармане его пальто.

За дверью — по коридору — шел Артур Глейзе, брат трех гвардейцев-барабанщиков и квартирный хозяин Алексея и Эриха. Он жестко стучал протезом одной ноги, мягко и не в такт притаптывая войлочной туфлей — здоровой.

— Ни я, ни Вернер...

Мягкий шаг здоровой ноги Артура Глейзе слышен уже не был. Только где-то в конце коридора еще стучал его протез, однообразно и механически, как заводная игрушка.

— Давайте делить картофель, как раздают карты... — предложил Эрих, вновь опускаясь за стол.— Раз, два, три...

— Оставь Вернеру,— сказал Алексей.

— Четыре, пять...

Свет лампы над столом сползал с желтого абажура.

Эрих торопился с заказами. Обождав, пока дверь за Алексеем и Инге тихо затворилась, он сдвинул тарелку с картофельной шелухой на край стола, взял лобзик и, опустив голову в плечи, стал допиливать причудливую рамку с двумя целующимися голубями.

В коридоре было все так же темно. Здесь Артур Глейзе никогда не зажигал света. За дверью на кухне лязгал его протез. Наконец протез лязгать перестал, дверь из кухни отворилась и Артур Глейзе молча остановился на пороге.

— Добрый вечер! — кивнул Алексей, проходя мимо него.

Артур Глейзе молчал.

— Мы погулять...

Хмурое молчание этого четырехугольного, точно наспех тупым топором обтесанного человека почему-то всегда немного беспокоило Алексея.

— Прогуляйтесь, что ж, прогуляйтесь,— ворчливо повторил наконец Артур Глейзе и, взвизгнув жестяными связками ампутированной ноги, стал, опираясь о корзины, пробираться за Алексеем и Инге. Крыши корзин под его ладонями тяжело скрипели.

— Что ж, прогуляйтесь! — опять повторил он, и Алексей почувствовал, что говорит Артуру Глейзе не то, что думает.

— Идем! — сказал Алексей, открывая перед Инге дверь на лестницу.

Но Артур Глейзе тоже высунулся на площадку лестницы. Над мундштуком его длинной трубки свисали усы. Трубка во рту покачивалась, дымила, и один глаз Артура Глейзе, тот, на который бежала струя едкого, рыжего дыма, быстро и зло подмигивал. Подмигивал и красный огонек его трубки.

— Вы!.. послушайте! — крикнул вдруг Артур Глейзе, тыкая красным пальцем в уголки трубки.— Послушайте, если бы ваша Роза Люксембург повстречалась где-либо с генералом Деникиным, пошли бы они рядом, мирно воркуя о любви?

— Послушайте, вы, республиканец! — в тон ему крикнула Инге, повернув голову.— Не вам учить меня партийной

этике, когда Стиннес с вашим Эбертом не только воркуют о любви, но и клянутся друг другу в вечной верности!

...Над черным асфальтом улицы кружилась мятая бумажка. Было так тихо, что Алексею казалось,— он слышит ее шорох.

На бульваре никого не было. Еще густая листва над вторым бульваром за углом улицы тяжело наплывала на фонари. Подступив к мостику через Ландвер-канал, тяжелая, густая листва срывалась неподвижной стеной к воде, и в воде, уже опрокинутая, уходила куда-то вглубь.

— Я еще совсем недавно сказала бы вам: идите со мной... — говорила Инге, переходя с Алексеем через бульвар.— Но сейчас я не могу... Путь, по которому они идут,— путь долгий. Я ищу путь более короткий,— это опасный путь, я знаю. Я должна быть осторожна, а потому дальше этого вот моста, за которым начинается настоящий город и настоящая жизнь, я не могу пойти с вами. Вы когда-нибудь поймете меня, Алекс! Сейчас меня называют ренегаткой, но меня назовут вождем...

— Инге,— перебил ее Алексей.— Неужели этот инвалид Глейзе, этот выживший из ума социал-демократ...

— Дело не в этом социал-демократе, не в социал-демократах вообще, а в коммунистах. Но подождите... Обождем... Дайте вашу папиросу!.. Проститутку они не остановят... Улыбайтесь же и приставайте!.. Ну?.. Сколько их! Смотрите!

На мост через Ландвер-канал, гулко цокая об асфальт, въезжал конный патруль полицейских. На мосту — под одиноким круглым фонарем — патруль остановился. Белый жеребец под офицером не хотел стоять спокойно. Жеребец приплясывал, и на черном, блестящем кивере офицера плясали острые лучи фонаря. Но вот, еще более заострившись, лучи скользнули по киверам всех патрульных. Белый жеребец отдернул уши и сорвался с моста в глухую, узкую улицу. Кивера патрульных над подножием моста блеснули в последний раз.

— Сто-о-ой! — крикнул кто-то за углом под виадуками городской железной дороги. Потом под мостами потекла тишина. Цоканье копыт еще раз прогремело, но уже где-то вдалеке, эхо его разбилось о чугунные балки над эстакадами и тоже глухо потонуло.

— Пронесло! — сказала Инге, бросая папиросу в черный газон бульвара.— С этими так легко, как с вашим Глейзе, не справишься! Ну, идемте еще немного.

Алексей и Инге обогнули колонну с объявлениями, взошли на мост и на мосту тоже остановились.

— Давайте оставим навсегда этот разговор. Слышите? — продолжала Инге. — Вы не ребенок, которого нужно вести за руку, а я встречаться с вами не могу. Дело не в вас лично, Алекс. Вы когда-нибудь поймете.

Алексей смотрел через перила моста. Глубоко под мостом качалось рябое отражение фонаря. Алексею казалось, — фонарь зажжен на самом дне канала.

— Вы меня слышите?..

— Я слышу...

— Но вы не должны обижаться.

— Но я не могу больше стоять на полке, замаринованный в спирту, как рыба в зоологическом музее. Мне больно, что вы мне не верите!

— Алекс, я вам верю, и поймите, что я не хочу вас обидеть!.. Но довольно об этом! Мне нужно идти, а вы идти со мной не можете, то есть я не могу идти с вами... На углу вновь собрались печатники. Я иду... Вас здесь многие знают, и вы можете испортить дело. Меня и так называют ренегаткой.

«Чем я могу испортить дело?» — хотел спросить Алексей, но ничего не спросил.

Глубоко под водой, рядом с отражением фонаря, он увидел и свое опрокинутое лицо.

— Вот так же, как сейчас, я стоял и на понтонном мосту в Севастополе, — сказал он, вновь подымая глаза на Инге. — Но Северная бухта бурлила, лица своего в воде я не видел, и броситься вниз было страшно. Я был тогда белым, Инге... Инге, смотрите, каким белым был я даже в то время!.. Инге, а вы и сейчас мне не верите!.. Вы понимаете меня?

— Если б вы понимали меня, как понимаю вас я, Алекс! — сказала Инге, уже сходя с моста на улицу. — Но когда-нибудь вы поймете. Прощайте!

...И вот тяжелая листва над бульваром возле городских бань вновь поплыла Алексею навстречу. Над серым подъездом в бани, подняв к глазам неуклюжие сонные лапы, два каменных медведя сторожили какой-то герб.

Алексей взглянул на медведей, потом обернулся и еще раз посмотрел на улицу через мост.

За мостом, далеко под круглой красной стеной газового завода, Инге стояла, уже окруженная толпой бастующих печатников. Очевидно, она говорила: голова ее была высоко поднята. Руки вытянуты вперед.

— Голова высоко поднята? Руки вытянуты вперед? — улыбнулся Эрих, когда Алексей, воротясь домой, рассказал ему об Инге. — Должно быть, она говорила им о Толлере и о Мазереле! Она и мне говорит о них, мне...

Эрих сбился. Он почувствовал: сейчас начнет кашлять. Он разогнулся, расстегнул запонку мягкого воротника и положил лобзик на рамочку с целующимися голубями. Клюв одного голубя был уже выпилен; он был вытянут вперед, жалобно, точно голубь умирает.

— Алекс, я никогда не говорю о революции, но если б я... Но к черту! — вдруг оборвал он, встал и стряхнул с ладони опилки. — Дай-ка лучше мою Италию! Время...

Алексей подошел к окну и, сдвинув бумаги, открыл раму. В открытой коробке между рамами лежала столовая ложка, мутная и скользкая. За коробкой стояла пузатая бутылка с коротким горлышком.

У Эриха не было средств на поездку в Италию, а потому очкастый врач «Союза увечных воинов» прописал ему каждый день, регулярно, принимать по три ложки рыбьего жира.

— «И не волноваться, не волноваться!..» — прибавил врач, отмечая что-то в толстой книге.

С тех пор Эрих пытался не волноваться и регулярно принимал рыбий жир.

Алексей ходил за ним как санитар. Оторванный от всего, он привязался к Эриху, с которым года два тому назад ехал как-то осенней ночью в поезде и которому дал тогда кашне, на что Эрих ответил ему впоследствии молчаливой, такой непривычной для Алексея дружбой...

И вот уже полтора года они живут вместе. «Я ему нужен...» — думал постоянно Алексей, не понимая, что не он Эриху, а Эрих нужен ему. Не будь возле него Эриха, Алексей, быть может, проклиная всех и всякого, каждый вечер стучал бы бутылкой о некрашенный стол в этом проклятом, покосившемся над картофельным полем бараке, — там, на окраине Берлина, в Ней-Темпельгофе, — и, вспоминая сосны в Лесном и низкие пестрые дачки на Лахте, глотал бы по вечерам пьяные слезы.

Не все ведь могут владеть собой, как может это, например, делать поручик Саховский!..

— Никогда, никогда, никогда!

Это утверждала соседка Алексея, машинистка с кривыми от ревматизма пальцами.

— Что никогда? — спросил сосед Алексея слева, ногтем разглаживая загнувшиеся концы в четыре ряда разлинованных бумаг.

— Эти безобразия, что творятся на улице. Все эти забастовки и митинги никогда и ни к чему не приведут! Никогда!

Алексей поднял под конторкою ногу, затушил о каблук сигаретку и взялся наконец за линейку.

— Уголь вздорожал на двести процентов! Что будет зимой? Проезд на службу — три миллиона!.. А сколько вы получаете?.. Вот печатники бастуют, — да? — а кому легче?.. Рейхсбанк прекратил выдачу денежных знаков, — кому легче? Нет, вы скажите, — вы получили вовремя ваше жалованье?.. Сколько вы получили?.. А сколько стоит проезд на трамвае?..

Алексей положил линейку, обмакнул перо и поднял его на свет: ни волосков, ни сгустков чернил на перо не было.

«Надо работать», — подумал он, но работе мешали горячие споры справа и слева.

Глядя на перо, чернила на котором медленно стекали к острому кончику и застывали на нем густой синей капелькой, Алексей слушал возбужденный шепот. Но в споры он не вступал, уже зная по опыту, что в этих спорах о «немецких делах», об отставке Куно и о новом коалиционном правительстве его — русского — слушать все равно никто не будет.

Синяя капелька на кончике пера темнела. Алексей думал, отчего это сослуживцы не хотят признать равным и его, которого кабинет Куно так же, как и всех других, довел до нищеты и заставил благодарить за работу, оплата которой давала возможность покупать одну копченую сельдь к обеду. Может быть, иногда можно было купить и две... ну, а если ему с Эрихом каждый день нужны три селедки или даже четыре?..

Синяя капелька уже перестала быть круглой. Она вытянулась и свисла с пера, как готовый упасть на бумагу восклицательный знак.

А Алексей уже думал, отчего сослуживцы никогда не слушают, что говорит о событиях он, Алексей, он, Алекс, или герр Зуев, как они его называют?.. Ведь широколицый портрет нового премьера Штреземана, помещенный во всех сегодняшних газетах, пугал его не меньше, чем всех его товарищей-немцев, пытающихся сейчас, как ребус, разгадать по неясным чертам этого портрета свое близкое будущее...

Синяя, острая капелька стала уже совершенно черной. Алексей опять потянулся к чернильнице.

«Нет, надо работать!»

— Вас в правление требуют, — услышал он в это время.

Еще не подымая над конторкою головы, Алексей обернулся.

За ним стоял одноглазый курьер в изношенном военном мундире. Широко расставив ноги в огромных, тоже военных, стоптанных сапогах, он смотрел не на Алексея, а на машинистку с кривыми от ревматизма пальцами.

— Правление просило вас, герр Зуев, немедленно же оставить ваши дела и спуститься вниз к вице-директору.

— Никогда, никогда! — все еще волновалась за соседним столиком машинистка. — Никогда Германия не встанет на ноги, пока безусые мальчишки из всяких там фабзавкомов будут подрывать работу. Да диктуйте, несносный человек!

Алексей поднялся. Удивленный, он еще раз посмотрел на курьера, но одноглазое хмурое лицо не объяснило ему ничего.

— Да диктуйте же! — повторяла машинистка. — У меня масса дела!

Сосед слева обошел стул Алексея, на мгновение заслонил одноглазое лицо курьера, потом остановился над спиной машинистки и, вытянув шею, заглянул в разрез ее кофточки. Он задергал до лоска протертыми локтями, поймал кипу бумаг, выскользнувших из его рук, и уже открыл рот, но пальцы машинистки вновь соскочили с клавиатуры.

— Профсоюзы молчат! Кричат безусые мальчишки! Без участия профсоюзов рабочие не победят! Никогда!

— А в России?..

Алексей уже выходил из «отдела». Он повернул голову, увидел широкое, серое плечо курьера и за ним удивленные и злые глаза машинистки. Машинистка, вероятно, не ожидала, что курьер посмеет вступить с ней в беседу.

— Скажете, не победили?..

Дальше Алексей не слышал. Он уже вышел в длинный, гулкий коридор, в готические окна которого молча смотрела улица. На улице — возле ворот в мастерские — стояли полицейские.

Здесь, в кабинете вице-директора, готических окон не следовало бы делать. Они очень не гармонировали с толстым вице-директором, со всех сторон закругленным тяжелыми вздутыми линиями.

— Герр Зуев? — спросил вице-директор, хотя он прекрасно знал, кого перед собой видит.

— Да.

— Алексис?

— Да, Алексей.

Широкий подбородок вице-директора медленно поднялся над стоячим воротником. Вице-директор вынул изо рта сигару и грозно дернул мускулами красного лица, пытаясь, по-видимому, сдвинуть к переносице брови. Но бровей у него не было, и он только прищурил глаза.

— Разрешите спросить вас, герр Зуев,— начал вице-директор, все больше и больше закругляя вновь упавший на воротник подбородок,— что вы изволили переписывать вчера после окончания служебных часов на пишущей машинке за столом номер два отдела сроков выполнения?

Круглый подбородок вице-директора выжидающе застыл. Из-под тугого воротника с трудом поднялись складки кожи; они расплзлись под подбородком и сделали его еще тяжелее и круглее.

— Я изготовлял список заказов, по причине перегруженности мастерских не могущих быть к сроку выполненными, герр вице-директор,— сказал Алексей, чувствуя себя возле письменного стола вице-директора как часовой возле денежного ящика: он стоял неподвижно и выпрямившись.

— Так! — разжал губы вице-директор. Складки с его подбородка вновь упали за воротник.— Так!

Вице-директор опустил ладони на ручки кожаного кресла и уронил пепел сигары на брюки.

— Так! — повторил он в третий раз и быстро отдернул ногу.— Но для этого у нас имеется штат машинисток, герр Зуев. Это во-первых!

Пепел с брюк вице-директора упал на ковер, и он смахнул его куда-то в сторону. Острый кончик лакированного ботинка мелькнул при этом, как красный язычок.

— Во-вторых,— продолжал вице-директор,— подобный список представляется только главному инженеру надлежащего отдела, а потому переписывать его на машинке вовсе не обязательно. Вы это великолепно знали, герр Зуев!

— Но, герр вице-директор...

— Потрудитесь не п-п-пер-р-ребивать!

Алексею не приходилось замечать, чтоб вице-директор заикался. Он с удивлением взглянул на красные, вероятно, очень теплые складки кожи, скрывающие грузное горло, которое, казалось бы, могло без труда ломать решительно все препятствия речи, потом опустил голову и стал искать, куда делся пепел сигары, отброшенный носком вице-директора.

Пепел, все еще не рассыпавшийся, лежал в правом углу кабинета. «Хорошая сигара!..» — подумал Алексей.

— Предположим, что вы, действительно, переписывали с-с-спи-с-сок не могущих быть к сроку в-в-выполненными

заказов! — продолжал между тем вице-директор. — В таком случае, скажите... мне, пожалуйста, зачем вы, оглядываясь по... сторонам, спрятали в карман копировальную бумагу, — тот самый лист, герр Зуев, который вы пробили машинкой, переписывая, как вы говорите, слу-слу-служебную работу?.. Зачем вы прятали следы эт-той работы, гер-р-р Зуев?..

Алексей поднял глаза. Подобного оборота он ждал менее всего. Он улыбнулся.

«Рамочки выпиливаем...» — с развязной улыбкой хотел было сказать Алексей, но вдруг представил себе, как нелепо и жалко прозвучали бы эти слова здесь, в богато обставленном кабинете, и сразу же почувствовал себя обезоруженным и бессильным.

«Рамочки... безденежье... — побежали уже жалкие и ненужные мысли. — Эрих...».

— Ну?

Алексей поднял глаза и хотел было пересилить смущенье, но за спиной вице-директора висел портрет основателя акционерного общества «Электромотор», и Алексей задержал глаза на портрете.

Портрет был в раме из красного дерева и блестел от тщательной полировки. Алексей вспомнил, как неумело полирует свои фанерные рамочки Эрих... На рамочках Эриха остаются следы пальцев... Рамочки Эриха...

— Ну? — вновь перебил мысли Алексея голос вице-директора.

Тогда Алексей выпрямился и, перестав растерянно мигать, взглянул в лицо вице-директора.

— Это я говорить вам не намерен!

Вице-директор даже привстал над креслом. Потом он вновь опустился.

«Сейчас закричит!..».

Но вице-директор не закричал. Он только задержал веками, выкатил глаза и собрал под воротником решительно все складки круглого подбородка, под которым вдруг вздулись узлы закупоренных, лиловых вен.

— Наше правление, — заговорил он, качая ладонью на сукне стола, — также не намерено держать у себя суб... суб... субъектов, принадлежащих к русской большевистской агентуре, — да! вот именно! — и разрешающих себе здесь же у нас... у нас в конторе... изготавливать всякие ком... ком... ком... м... мунистические листовки и воззвания, — да! вот именно!.. Вы разоблачены, герр Зуев!.. Потрудитесь немедленно же получить в канцелярии ваши документы и будьте нам благодарны, что мы, храня

честь... честь нашего дома; не отдаем вас под... под... следствие!

И вдруг лиловые узлы на подбородке вице-директора быстро и часто запрыгали.

— Марш!... — крикнул он, грузно рванув кверху тяжелые красные веки.

Алексей знал: работы ждать неоткуда.

Над широкой пустынной улицей, по которой он шел, гремел поезд. Черная копоть ложилась на окна серых, давно не крашенных домов. На грязной ступеньке возле закрытой лавочки сигар сидел нищий с таким же протезом, как у Артура Глейзе. Но протез нищего не был прикрыт. Его штаны были отдернуты вверх. Металлические связки протеза, чуть заржавелые вокруг винтиков, были от колена и до голени выставлены напоказ.

Опять прогремел поезд. Вслед за поездом, точно нагоняя его, коротко рванулся ветер. Ветер подхватил полы узкого пальто Алексея, но тотчас же метнулся выше, рассек серый пар, грузно сползший с чугунных шпал пути, и, плеснув им в стены, взвился уже над семафором.

Алексей знал: работы ждать неоткуда. Вот уже скоро семь месяцев, как ищет ее Эрих. Где же найти ее Алексею? Русскому?..

Сейчас Эрих выпиливал рамочки. Сперва рамочки никто не покупал; тогда Эрих стал украшать их голубями.

Но сколько можно получить за рамочки, даже за те, на которых голуби целуются так же нежно, как новобрачные на обертке мыла «Счастье»?..

В Петербурге, где жил до войны Алексей, Алексей — еще мальчиком — тоже выпиливал. Он и тогда выпиливал скверно, а теперь лобзик и вовсе его не слушался. Лобзик вилял, круглые контуры рамок получались зубчатыми, а клювы голубей теряли те тонкие линии, которые вычерчивал старательный Эрих.

— Дисциплина, Алек! — постоянно смеялся над его попытками Эрих. — Нет, полечи-ка сперва нервы! — Эрих брал его за локоть. — Подожди, подожди! — уже волновался он. — Оставь, не изводи фанеры!..

...Вдоль серых стен улицы зажигались фонари. Когда последний фонарь в конце улицы тоже весело нырнул в отступ-

пившие сумерки, Алексей прикрыл глаза и стал смотреть на огни сквозь прищуренные веки.

В Петербурге фонари никогда не горели так ярко и весело... Там, еще до войны, он часто бродил по улицам, вдоль которых фонари горели вот так, как сейчас, когда они брызжут сквозь прикрытые веки бледными лучами.

Чаще всего Алексей бродил по Офицерской, за которой Глинка в зеленом сюртуке стоял, как задумавшийся о чем-то учитель. Алексею было тогда четырнадцать лет. Вечер трепал полы его гимназической шинели, как треплет сейчас это узкое, черт знает на какую фигуру сшитое пальто, благодаря которому Алексея не пускают теперь дальше седых, по самую шею в золото одетых, швейцаров. Тогда, когда с письмом, откуда-то добытым Саховским, Алексей шел наниматься в «Электромотор», была весна, и Алексею, слава богу, пальто не было нужно...

Алексей знал: работы ждать неоткуда. Но он уже не думал о работе. Он думал, что жизнь, точно воинский начальник, поломала все его планы и что было бы лучше, если б он, четырнадцати лет, ни о чем не мечтал.

Когда ему было четырнадцать, он уже чувствовал себя семнадцатилетним и думал о том, на какой факультет поступать. «На филологический или на юридический?.. Может быть, восточные языки?.. Грибоедов, например...».

Мать Алексея, маленькая женщина, всегда в одном и том же серо-лиловом шерстяном платье, думала о другом. Она думала, как бы скорей устроить Алексея в контору. Алексей не спорил с матерью, хотя и знал отлично: в контору он не пойдет.

Но вот всегда торжественный и нарядный Петербург уподобился проходным казармам, тем самым, что на Фонтанке, к которым подвели в шестнадцатом году и Алексея.

Падал дождь; глубоко на дне луж гремели под колесами камни. Они гремели по обеим сторонам улицы, а перед глазами Алексея качались мокрые, черные спины. Кто-то пытался петь, но пение срывалось. Хрипло ругался фельдфебель.

Мать Алексея бежала за новобранцами. Она уже не мечтала о конторе; она мечтала о канцелярии 1-го автоброневоего дивизиона, где Алексей мог бы, может быть, спокойно переждать войну.

Но Алексей не попал в канцелярию. Он попал на турецкий фронт.

«Наши части дерутся как львы»,— читал иногда на клочках газеты Алексей. А ему казалось: как львы дерутся турки. Потом и турки, как показалось Алексею, перестали драться.

Это было в 17-м... Кружилась и визжала метель; визга пуль слышно не было, и только когда Алексея ранили, он, упав на сугроб, услышал, как поют в метелице пули... «Война? — подумал Алексей.— Еще деремся?» — и потерял сознание.

Метель мела за окном лазарета в Ростове. В Ростове Алексея долго лечили, бог знает за какие заслуги произвели в прапорщики и продержали там так долго, пока в Ростов не пришли корниловцы.

Поезда из Ростова стали ходить только на юг. На север вдоль железнодорожной насыпи пошли конные разъезды. Тяжелый бронепоезд «Князь Пожарский» медленно понес на север свои сине-зеленые башни. Путь на Петербург был для Алексея закрыт...

С тех пор и началось,— вспоминал Алексей. Зимой в 18-м, под натиском советских войск, Корнилов вновь ушел из Ростова и далеко в глухие степи снежной Кубани увел и Алексея...

Мать Алексея давно умерла. Корнилов убит. Деникин уехал в Лондон. Генералы, которые шли с Корниловым, Деникиным и Врангелем, пьют сейчас в ресторанах Берлина, Парижа и Белграда, а ему, Алексею, работы ждать неоткуда!

Алексей остановился. Ветер уже стихал. Высокие чугунные шпалы грузным полукругом вводили железнодорожный путь куда-то направо за угол. В темном тупике перед стоящим в глубине домом толпились ребятишки. Они держали в руках котелки и миски и, подымаясь на цыпочки, смотрели через плечи друг другу.

Die Arbeiter aller Länder helfen
den deutschen Brüdern, ¹—

тихо колыхалось над ними широкое полотно плаката: —

I. A. H.
Speisestelle № 3.
Belgien. ²

Над походной кухней, опираясь одной рукой на открытую крышку котла, стоял рабочий. В другой руке он держал черпак.

¹ Рабочие всех стран помогают немецким братьям.

² Internationale Arbeiterhilfe (Межрабпом). Питательный пункт № 3. Бельгия.

— По очереди! — распоряжался рабочий. — Подходите справа. Будьте как взрослые!

Маленький мальчик в изношенном матросском пальтишке более других пытался быть как взрослый. Он махал рукой, пытаясь поставить в хвост очереди стриженую вертлявую девочку, в руках которой гремело два котелка. Чулки с ног девочки сползли и падали на ботинки. Вероятно, девочке было холодно. Она то и дело наклонялась и быстро подтягивала чулки. Наконец она поймала грязные ушки для подвязок и, продев сквозь них пальцы, вновь, уже согнувшись, побежала к кухне. Котелки зазвенели о ее ноги.

— Рената! — крикнул тогда мальчик в матроске и схватил девочку за локоть. — Ты не должна толкаться!

Алексей подошел ближе. В маленьком мальчике, схватившем Ренату за руку, он узнал Вернера, сына Инге.

— Здравствуй, Вернер! — крикнул Алексей, но Вернер его не слышал: подошла как раз его очередь.

Вот Вернер уже вновь отошел в сторону, посмотрел в котелок, опустил в него пальцы и вытащил тощую макаронину. Алексей не хотел мешать мальчику. Еще минуту постояв перед ребятами, он повернулся и пошел к высокому горбу моста через Ландвер-канал, над которым уже горел фонарь, одинокий, как семафор перед городской станцией.

Алексей знал: работы ждать неоткуда! — а потому шел домой не торопясь.

Много ли рамок выпилил дома Эрих?..

Прошло два дня. На окраине Берлина, в Ней-Темпельгофе, шел дождь.

На столе барака русского общежития стояли жестяные кружки. Огромный чайник со вдавленным боком давно уже остыл. Очевидно, чайник тек: от чайника — через весь стол, усыпанный мелкими обгрызенными корками белого хлеба, — лениво ползла струя воды. Небритый мужчина в рваном пиджаке без пуговиц тыкал в воду обрубленным возле сустава пальцем и вспухшими, большими глазами смотрел, не мигая, на сапожную щетку, тут же, среди кружек и корок, брошенную на стол.

— Бывало... — повторял он и вновь тыкал в воду пальцем. — Бывало, подойду да как крикну: «Встать, как полагаются!..»

— Мало ли что бывало! Бывало, и жизнь кивала! Ч-ч-черт!..

На кроватях под дощатой стеной барака сидели тоже небритые люди. Все они были в высоких сапогах, без воротничков, в грязных рубахах, сквозь протлевшие дырки которых курчавились черные или рыжие волосы.

В темноте за грязными окнами шумел дождь. Сквозь шум дождя слышались далекие, редкие выстрелы.

— Картофель воруют... — сказал кто-то в углу барака.

— Стреляют!.. — вздохнул самый молодой из всех сидящих.

Он повернул к окнам голову; остроносая тень его лица застыла на стене,— как раз под значком «Ледяного похода», который в венке из засохших незабудок висел над его кроватью.

— Опять и опять!.. В двадцать третьем году, на седьмой год после нашей революции, в чужой стране, и вновь — та же каша!.. Нет исхода из выюг...

— Сморгнись лучше! — поднял голову человек с обрубленным пальцем.— Сморгнись! Может, высморкнешь свои сантименты! Подпоручиком, сморчок, называется! А еще первоходник!

— Скажите пожалуйста!.. Откуда у вас этот гонор, господин капитан без погон и должности?

Капитан с обрубленным пальцем тяжело повел распухшими веками и вдруг, в первый раз за все время, моргнул. Кажется, он улыбнулся.

— Цыц, подпоручик милостью Керенского! Цыц! Тубо! Назад, козерог-юнkerишко. То-ж-же!..

— Бросьте, господа! Бросьте!..

Чьи-то длинные ноги, козлами поднятые к висящим над крайней койкой образам, медленно опустились на пол. Вслед за тем к образам поднялось маленькое, круглое лицо с черными блестящими усиками, кончики которых были вытянуты вперед и казались острыми, как хорошо отточенный карандаш.

— Господа, все мы зубастые! Мы это знаем! — сказал человек с черными усиками, поднявшись наконец с койки. На нем был пиджак без дыр, и сапоги его были начищены.— Господа! — повторил он и, подойдя к столу, сбросил на пол сапожную щетку. Щетка брызнула мелкой пылью воды.— Господа, не следует ссориться! Стыдно!

— Поручик Саховский, вы опять с проповедью? Завели граммофон? Не модно, поручик,— здесь в Европе — радио!

Кто-то засмеялся.

— Мичман, заткнись!

— Поручик Саховский, не надо слов под гитару! Сыты!

— Господа, не под гитару, а под боевой барабан! Слышите, как стреляют?..

Саховский обвел вокруг себя рукой, ногти которой были полированы и блестели даже при свете керосиновой лампы барака.

— Господа! Слышите? Бывало...

— Бывало, и жизнь кивала, а теперь кулаком лупит!..

Ч-ч-черт!

Но Саховский только отмахнулся.

— Слышите? Слышите, господа, поступь истории? — приглушенно говорил он, протянув к окну руку. — На шестой год с начала всех красных начал, на четвертый с того проклятого дня в Севастополе, когда все на свете казалось нам уже концом, мы вновь можем жить и можем надеяться... Шесть лет — это немного! Господа, история знает более долгие сроки!

— Сложная арифметика! — усмехнулся в углу тот, жизнь которому когда-то «кивала».

— Врет твой компас, Саховский! — добавил мичман.

Но на этот раз Саховский даже не обернулся. Он видел свою вытянутую руку, блестящие ногти которой указывали куда-то вдаль за окно, и чувствовал, что может говорить сегодня лучше, чем когда-либо.

— Мы можем надеяться, что военная мощь Германии призовет нас, господа! — хотел продолжать он, но лампа под потолком в это время вдруг качнулась. Кольцо желтого света вокруг горелки стало меньше, — оно точно присело на корточках, — и рыжие круги на потолке закачались, вплетаясь друг в друга. Сквозняк, ворвавшийся в дверь, обежал стены барака, выкатил из-под коек какие-то мятые бумаги и закружил их под столом между пустыми бутылками.

— Алешка! — обернулся к дверям Саховский.

— Поручик Зуев!

Свет лампы вновь выпрямился, и бумаги вокруг бутылок перестали кружиться.

— Какими судьбами, Алешка?

Вошедший в барак Алексей был мокрый от дождя. Вода текла с его кожаной кепки на лоб, а на бровях висела круглыми капельками.

— Пируете, друзья-приятели? — спросил он, усмехнувшись.

Капитан за столом посмотрел на него и вновь ткнул в воду обрубленным пальцем.

— Бывало... — начал кто-то, а мичман в углу стал бить ладонями о колени, весело отбивая каблуками чечетку. Кажется, он был пьян.

— Рейхсбанк пасует... Да тише вы! Смирно! — крикнул Саховский и вновь потянулся к Алексею острыми кончиками усов. — Рейхсбанк пасует, и Дулевич объявил, что «Национальный студенческий союз» не сможет выдать на октябрь пособий. Решено... — Саховский выпрямился. — Решено пред лицом великого поста, который заставит нас скоро подтянуть кушаки, справиться масленицу.

— Для меня великий пост уже наступил! — сказал Алексей, но пьяный мичман вновь ударил о колени ладонями.

— Три-та, три-та, три-та-та, — запел он. — Будет улица пуста!.. Три-та, три-та...

— Смир-р-но! — опять крикнул Саховский. — А что?.. Что? Из «Электромотора» вытурили?

— По шапке! — ответил Алексей и замолчал, досадуя, что пришел сюда, к этим горланящим людям, которые, конечно, ничем ему помочь не смогут.

— «Все про-о-пи-ли, про-ло-па-ли...» — басом загудел вдруг капитан, вновь тыкая в воду обрубком пальца. — «И во-о-от в Ко-о-он-стан-ти-но-по-о-ле...» — подражая дьякону, продолжал он, забыв, что Берлин не Константинополь и что песенку, пожалуй, нужно переделать.

— Ничего, Алешка, погоди! — сквозь бас капитана опять услышал Саховского Алексей. — Вденешь, брат, ногу в стремя? А?

— «И во-о-от в Ко-о-он-стан-т-и-но-о-по-ле...»

— Возьмешь ружье? А?

— «...в Кон-стан-ти-но-по-ле ввинтились в Перу...» — Обрубок пальца капитана поднялся: — «...мы!» — оборвал, наконец, капитан. Под пальцами его брызнула вода.

— Я не понимаю тебя, Саховский! Чего смеешься?

Усмехнувшись, Саховский еще раз взглянул на Алексея, потом дернул тонкими черными усиками и посмотрел на небритого капитана. Но капитан уже вновь подымал обрубок пальца и начинал сначала:

Все про-о-п-и-ли...

Саховский только махнул рукой.

— Вот что, Алешка, поступай к нам в союз.

Его черные усики, насторожившись, легли надо ртом прямыми, ровными линиями. Алексею показалось, — не Саховский, а черные усики ждут ответа.

— Я не студент.

— А мы студенты?

Все про-пи-ли, про-ло-па-ли...

Усики Саховского опять изогнулись насмешливой волнистой линией.

— Ну?

— Я ушел от политики.

— При чем тут политика? Ерунда!

— Не ерунда!

И во-о-о-от...

— Пацифизм маргариновый? Тебя твой немчик распропагандировал?

— При чем тут мой немчик?

...в Кон-стан-ти-но-по-ле...

Ввинтились в Перу мы!..

Небритый капитан замолчал, задержав в воде обрубленный палец. Остроносое лицо поручика-первопоходника смотрело на Алексея, по-лисьи насторожившись.

— Молчишь? — опять насмешливо улыбнулся Саховский. — Ты дурак, вот что, Алешка!

— Саховский, ругаться и я умею!

— Чего ж ты тогда пришел?

Алексей посмотрел вокруг себя. Капитан с обрубленным пальцем уже засыпал, повалившись на мокрый стол небритой щекою. Мичман в углу опять подымал над коленями ладони.

«Действительно, чего я сюда пришел?» — подумал Алексей и, взяв с койки кожаную кепку, повернулся.

— Я ухожу.

— И убирайся!

Свет лампы, скользнув по стриженной голове капитана и по остроносому профилю первопоходника, вновь — уже за спиной Алексея — метнулся к потолку.

— Три-та, три-та, три-та-та!.. — гаркнул мичман, волосы на голове у которого поднялись от сквозняка.

— Зуев! — крикнул Саховский, тоже подбегая к двери. — Зуев, не дури! Есть планы, есть! Потолкуем, порох ты, черт, стерва! Вернись!

Но Алексей не вернулся.

...Выйдя на двор, он глубоко и облегченно вздохнул и посмотрел на небо.

Дождя уже не было. Сквозь порванные тучи на небо всплывали четыре звезды.

«Черт возьми, как все-таки я одиноко!» — думал Алексей, идя к воротам.

В луже под воротами отражались только три звезды.

«Где же осталась четвертая?» — опять подумал Алексей. — «Черт возьми, как одиноко я все-таки!..»

За воротами, громыхая цепями, мчался грузовик.

«Полиция или красногвардейцы пролетарских сотен?..»

Но когда Алексей вышел за ворота, грузовик уже успел скрыться в темноту. Фонари на этой улице не горели.

Уже все небо было усыпано звездами. Над низким горизонтом, который ложился на черный скверик в конце улицы, звезды светились мелкими, как песок, искорками. Подымаясь над городом, они становились круглей и ярче. Быть может, потому и небо над городом казалось закругленным. И только остроконечные готические церкви над крышами ломали этот выпуклый, усыпанный звездами свод.

— Я буду около тебя, но мешать я тебе не буду! — говорила высокому беловолосому юноше совсем еще молодая девушка, робко трогая его за рукав пальто. — Рудольф!.. Я ни о чем и никогда не буду тебя спрашивать. Я ничего не буду требовать, но, когда тебя ранят, я буду сидеть возле твоего изголовья и буду ходить за тобой, как ходит за больным сестра...

— Романтика! — отмахнулся беловолосый юноша, привыкший считать себя человеком трезвого дела. — Но оставь меня, Берта. Наконец, это несносно! Я пришел.

Юноша остановился возле подъезда красного причудливого дома. В зеркальных окнах отражалась серая холодная улица. Какое-то дерево ломало на подоконнике острую тень веток.

— Я занят сегодня всю ночь.

— Рудольф!..

— Берта, я занят. Оставь меня!

Берта вновь потянулась к его рукаву, но Рудольф отдернул руку. Он оглянулся, скользнул взглядом мимо щеки Берты, хотел что-то сказать, но вдруг рот его, искривившись, смял улыбку. Рудольф протянул руку к подъезду и быстро нажал кнопку звонка. Дверь распахнулась и вновь хлестнула назад. В зеркальном стекле скользнули черные тени каких-то людей, потом на черные тени набежали рваные полосы красного света.

Völker, hört die Signale,—

вслед за тем услышала за собой Берта,—

Auf, zum letzten Gefecht!

Die Internati-o-na-a-le...¹

— Рудольф, не уходи! Рудольф!..

Но дверь подъезда не поддавалась.

— Рудольф!..

Рудольф за стеклом взбежал на первую площадку лестницы, кажется, обернулся, но свет на лестнице, упав с ветвей пальм быстрым и ярким дождем, в это время потух. Черное холодное, стекло коснулось лба Берты.

«Рудольф! Ты?» — подумала она радостно, но глаза, которые смотрели на нее из-за стекла подъезда, оказались ее же отраженными глазами. Тогда Берта опустила руки и отступила назад. Глаза на стекле тотчас же потухли, и опять те же черные тени, сразу же выросшие, взбежали на стекло.

— Товарищи! — кричал кто-то за спиной Берты.

— Товарищи! — подхватили другие голоса.

— Товарищи, да здравствуют революционные комитеты фабзавкомов! Да здравствуют пролетарские сотни!

Völker, hört die Signale...

Берте показалось,— толпа, идущая вдоль улицы, захлестнет сейчас панель, разобьет окна красного подъезда и ее, Берту, втопчет в битое стекло. Но толпа панель не захлестнула.

— Товарищи! — кричал сквозь пение «Интернационала» высокий рабочий, размахивая в воздухе зажженным факелом.

— Товарищи! Да здравствуют Советы!

Красный свет факела играл на плечах и кепках идущих под факелами рабочих и, падая с плеч и кепок, расплескивался на лужах, еще не высохших на черном асфальте. Лужи на асфальте горели. Загорелись даже окна домов. То окно — во втором этаже,— где жил Рудольф, горело ярче других.

— Рудольф! Рудольф! — звала Берта, дергая мертвую дверь подъезда.— Рудольф!..

А демонстранты уже прошли мимо подъезда. Красный свет факела полоснул угловой дом улицы, красные полосы скользнули по синей вывеске пивной, отчего золотые буквы «Patzenhofeg» на мгновенье вспыхнули и опять погасли.

И опять дома вдоль улицы стали серыми, а остроглавые церкви над крышами почернели.

¹ Начальные слова припева «Интернационала».

«Останусь тут!» — подумала Берта, еще раз взглянув в зеркальное стекло подъезда, за которым черная аллея пальм, поднимающихся в квартире Рудольфа, сонно склонялась над мрамором тоже почерневших перил.

«Просижу тут всю ночь, а утром, когда он выйдет... когда он увидит, как сильна моя любовь... Милый, милый!..»

Она села на ступеньки подъезда и, думая о Рудольфе, закрыла глаза. Вскоре она почувствовала, что пальто под ней промокло и что сидеть ей холодно. Но Берта вспомнила о романе в приложении газеты «Моргенпост», в котором автор доказывал, что настоящая любовь требует страданий, а потому со ступенек подъезда не встала.

...Бывает так: когда на душе слишком тяжело, то кажется, что другим еще тяжелее.

Это думал Алексей, возвращаясь домой по той же улице.

«Милый!..» — повторяла между тем Берта, все еще думая о Рудольфе, только что так решительно и гордо вздернувшем перед ней свой бритый, тупой подбородок. «Милый!..»

Свет фонаря, прячась в листе дерева, трогал ее плечи путаной тенью растопыренных листьев.

Подходя к красному подъезду, Алексей смотрел, как плещутся эти листья на белом стекле фонаря, то подымаясь, как ладони, то вновь опуская черные, утомленные стебли. Берту на ступеньках он еще не видел. Не видела его и Берта.

«Милый!» — опять повторила она, и вдруг, уже утомленная без конца повторять: «милый» и «милый», услышала тихий и, как показалось ей, очень ласковый голос:

— Что с вами, фрейлейн?

«Милый!» — в последний раз повторила Берта и, подняв голову, увидела над собой человека, пол-лица которого скрывала кожаная кепка.

«Сейчас он позовет в гостиницу...» — подумала Берта, ежась от холода.

— Что с вами, фрейлейн?

Кожаная кепка над ней наклонилась, и Берта увидела часть выбритой смуглой щеки и подбородок, пусть давно не бритый, но зато не упрямый и не тупой, как, например, у этого жестокого Рудольфа!

«И пусть позовет! — решила Берта. — И пойду!.. Назло Рудольфу!.. Пусть Рудольф поймет!.. Пусть!..»

— Послушайте, встаньте! — мягко ломая немецкую речь, продолжал между тем незнакомец. — Я провожу вас до дому. Что с вами?

Берта еще не встала, но она уже думала, что ночи в конце сентября достаточно долги и что если она, Берта, простудится, Рудольф, занятый своими вечными делами, быть может, этого даже и не заметит.

— Вы иностранец? — не зная, что сказать, спросила она.

— Да, я русский.

«Тем лучше! Рудольф терпеть не может иностранцев! Назло! Должно быть — русский большевик. Рудольф терпеть не может русских большевиков. Назло!..»

Это была ее последняя вспышка.

И вот серые дома по обеим сторонам улицы вновь медленно двинулись к черному скверу, прикрытому низким звездным горизонтом.

«Черт дерн, — уже досадуя, думал Алексей, — с какой стати я все-таки связался с этой проституткой?»

Но девушка подле Алексея уже перестала улыбаться. Она шла рассеянно и покорно, и серые глаза под ее черным беретом не были похожи на глаза проститутки.

Здесь, на этой улице, куда вышли, наконец, Алексей и Берта, всегда скользили автомобили. Голубые, лиловые и оранжевые окна занавешенных кафе и пивных всегда весело мигали за пыльной листвой подстриженных садилов. Голубые, лиловые и оранжевые пятна света, пробиваясь сквозь листву, всегда играли здесь на столиках, отчего и кружки с пивом в руках у посетителей всегда казались голубыми, лиловыми и оранжевыми.

Но сегодня окна пивных и кафе не светились. Столики в садах стояли, одиноко прислонившись друг к другу. Черная вода стекала со столиков и капала на черный песок. Улица за садами была пустыня, и только глубоко под землей гулко гудела подземная железная дорога.

— Герр Алекс, — позвольте мне так называть вас?.. — говорила Алексею Берта. — По-моему, по фамилии называют только лавочников!.. Герр Алекс, вы не поверите, но у меня нет дома!

На минуту она замолчала.

— Если вы оставите меня здесь, на улице, я зайду за ограду первой пивной и проведу там ночь... Я люблю черные стволы этих деревьев, — они так же одиноки, как я... У меня нет дома!

— То есть как это у вас нет дома?

— То есть, у меня, конечно, есть дом, и мама, и брат, и даже снегирь в клетке, который каждое утро ждет от меня зернышек... Алекс, но неужели вы не понимаете, что дом, который считается родным, может быть и чужим, и далеким?..

— Но, фрейлейн, ведь уже ночь...

— Алекс, можно мне пойти с вами?.. Куда вы, туда и я за вами... Мне страшно!

Берта всегда верила своим же собственным словам, а потому ей показалось, что ей действительно очень страшно.

— Я не буду вам мешать!.. Всю ночь я тихо проведу у окна... Сегодня в небе много звезд, и мне не будет скучно...

Алексей вспомнил о тех четырех звездах, на которые он смотрел из ворот барака, взглянул на Берту и только тогда заметил, как испуганы ее серые глаза.

— Алекс, поезда, которые идут по рельсам, так ужасно гремят!.. Вы верите в любовь? Во внезапную любовь к человеку, поднявшему вас с рельсов, на которых поезда так ужасно гремят?..

Улица была пуста, и Берте, всегда боявшейся тишины, уже действительно казалось, что Алексей поднял ее с рельсов совсем так же, как подняли из-под поезда героиню романа газеты «Моргенпост».

— Алекс, можно пойти с вами?..

И вдруг Берта заплакала. Она заплакала тихо, едва слышно, и, вздрагивая, толкала плечом плечо Алексея.

— Мы потолкуем об этом завтра,— сказал Алексей, кладя ладонь на ее плечо.— Вы больны, и я вас на улице, конечно, не оставлю.

— Я не больна! Здоровых людей считают больными, а больных — здоровыми... Человека тянет к человеку, но людей вокруг нет!

— Мы потолкуем обо всем завтра. Вы все-таки больны. Идите со мной. Не надо плакать.

Они пошли. Склонив голову, Берта слушала, как тяжело и уверенно ступают широконосые порванные ботинки Алексея. Алексей молчал, и Берта, конечно, не знала, что и сам Алексей удивленно прислушивается к своим уверенным, таким непривычным для него шагам.

Говорить было не о чем. Спрашивать Берту ни о чем не хотелось. Четыре звезды, которые видел Алексей над воротами барака, рассыпались в небе желтым, мелким песком, и черные крыши домов под этим небом казались тяжелыми, как камни. Под острым углом улицы стояла девочка-нищенка. Алексей не знал, жалеть ли ее, жалеть Берту или самого себя.

— Что вы говорите? — спросила Берта, взяв Алексея за рукав.

Но Алексей не помнил, говорил ли он что-либо или нет.

— Алекс, что с вами? — повторила Берта. — Идемте!.. Что с вами?

Плоский луч быстро свернувшего за угол автомобиля косо полоснул панель под ногами Алексея. Алексей качнулся.

«Это от голода!..» — подумал он, покорно дав Берте руку. Не он ее, а она подняла его с рельсов, — сразу же показалось Берте. Впрочем, эта новая роль ей тоже весьма понравилась.

Они загнули направо, еще раз направо, и пошли, наконец, по улице, которая всегда была пустынной. Вдоль этой улицы никогда не скользили автомобили. Окна пивных не завешивались голубыми, лиловыми и оранжевыми портьерами; они смотрели на улицу грязными стеклами нагло оттопыренных рам.

Здесь, под окнами этих пивных, постоянно стояли проститутки, с линялых пестрых шляп которых болтался жесткий бисер — мокрый и липкий, если падал дождь, и пыльный, если серые каменные стены домов дышали ночной, раскалывающей виски духотой.

Но сегодня проституток на этой улице видно не было. Сегодня под забитыми окнами булочных и продовольственных лавок толпились плоские, как доски, и сгорбленные, точно сломанные в поясице женщины, худые плечи которых торчали из-под накидок острыми, жадными углами.

Одна из женщин, уже полуседая, стояла поодаль от толпы. Она была беременна; на ней был подвязан передник, и живот под передником тяжело дышал.

— Господи, господи! — повторяла она.

— Семь миллионов триста за кило! — крикнула подошедшая к ней женщина помоложе. Глаза ее злобно сверкнули и, потухнув, стали еще злее.

— Семь миллионов триста! Мало? А вот опять не пекут! Стой всю ночь, жди, не вздумают ли сжалиться?.. Что завтра есть будем?..

— Господи, господи! — повторяла беременная, подымая и вновь опуская тяжелый живот.

А Берта и Алексей уже прошли мимо толпы женщин. Алексей хотел встать за хлебом в очередь, но вспомнил о Берте и о том, что денег у него нет. Берта, не переставая, гладила рукав его пальто. Так, когда, больной тифом, лежал он на пустынной станции в залитых солнцем, снежных донских степях, гладила рукав его шинели маленькая сестра с боль-

шим красным крестом на груди, который горел под солнцем и жег его веки.

«Что делать, что? Что?» — повторял тогда сквозь бред Алексей.

Сквозь бред, цокая копытами о мозг Алексея, неслись над его головой черные всадники. Волчьи пасти на папах были открыты. Красные зубы щелкали.

«Что делать? Что? Что?..» — повторял тогда, приподнявшись на локте, Алексей, думая сквозь бред и сквозь прилив всадников, что плестись за ними он больше не может.

«Что делать? Что?»

«Я увезу вас... Не бойтесь!..».

Красный широкий крест перед глазами Алексея качался и расплывался в желтых, падающих лучах. Ладони сестры, прижатые к кресту, дрожали.

«Я увезу вас... Не бойтесь... Мы погрузимся...»

— Нет, за глотку их всех, за глотку спекулянтов!

Алексей остановился, не понимая, откуда и как прорвался сюда этот отчетливый голос. Донские степи, черные всадники и маленькая сестра отступили куда-то в глубь улицы. Красный крест в глубине улицы распался в темноте, и фонари берлинских окраин вновь двинулись Алексею навстречу. Они тоже качались.

— За глотку их всех и вот... вот этак! — сжимая пальцы, повторял кривоногий мастеровой в помятой шляпе на одном ухе. За мастеровым толпился народ. Алексей видел только черные, широкие спины.

— Товарищи!.. Гитлер, Эргард, Росбах и Людендорф душат пролетариат!.. — вдруг услышал Алексей из-за спин рабочих звонкий женский голос.

Алексей остановился; Берта схватила его за рукав, но он отдернул руку.

— Что делают министры, социал-демократы Зеверинг, Зольман и Радбрух? — кричала толпе Инге, взобравшаяся на ступени к дверям заколоченной булочной. — Носке!.. Они следуют примеру Носке!.. Они!.. С фашистами!.. Они душат нас, не разжимая кровавых пальцев!..

— Долой предателей! — крикнул кто-то в толпе, и черные, широкие спины рабочих качнулись к дверям булочной.

— А что делает компартия Германии, товарищи?.. — кричала Инге. — Она ведет пропаганду, осторожно разлагая лагерь фашистов — только! — а не ведет нас к немедленному восстанию!.. Товарищи!..

Черные спины рабочих на минуту застыли неподвижно, и Алексею удалось продвинуться сквозь толпу ближе к Инге.

Берта вновь схватила его за рукав и пошла вслед за ним. Лицо ее было растерянно: Алексей никак не хотел ее слушать!

— Товарищи! — кричала между тем Инге, звонко бросая в толпу слова.— ЦК боится риска! Если у пролетариата Германии не хватит сил для сокрушения планов буржуазии, европейская реакция перейдет в активное наступление и против Советской России! ЦК боится этого! Коминтерн не хочет рисковать!..

— Ложь! — крикнул кто-то над ухом Алексея.

— Товарищи!..— опять крикнула Инге.— За разрыв с Москвой! Товарищи, за разрыв с Коминтерном!..

— Долой оратора!..

— Провокация!..

— Товарищи!..— вдруг сорвав Инге со ступенек, хрипло крикнул взбежавший к дверям булочной рыжий рабочий.—Товарищи, не поддавайтесь на удочку! Они — эти ренегаты — они опасней белогвардейцев!..

— Белогвардейка!

— Ложь! — уже из толпы, откуда-то снизу, кричала Инге.

— Они... эти...— кричал рабочий с усами как рыжая щетка, — эти — козырь в руках у белогвардейцев, товарищи!..

— Белогвардейка!

— Она опаснее...

— Ложь! — еще раз услышал Алексей.

— Да здравствует Коминтерн!

— Да здравствует...

В темноте — над головой Алексея — рванулись черные руки.

— Да здравствует Коминтерн! — подхватили новые голоса, и руки над головой Алексея поднялись еще выше.

Völker, hört die Signale!

Руки поплыли под черной вывеской булочной.

Auf, zum letzten Gefecht!

На мгновение Алексею показалось, — вывеска качнулась и, минуя черные руки рабочих, тоже поплыла куда-то в сторону.

Die Inter-na-ti-o-na-le...—

пели рабочие, уходя в глубь улицы.

...Алексей остался стоять возле косых, исшарканных ступеней.

«Что ж это такое?..— думал он.— Она не коммунистка?.. Где она?..»

Но возле него стояла Берта, Инге ушла с толпой рабочих или скрылась за угол, туда, куда рабочие не пошли.

«Что ж это такое?» — повторил про себя Алексей, потом решил, что понять сегодня он все равно ничего не сможет, и сказал тихо и равнодушно-устало:

— Пойдем, Берта!

Берта улыбнулась. Она поняла: теперь Алексей уже позволит взять себя под руку.

...До дома было еще очень далеко.

Когда по вечерам Инге уходила, она никогда не тушила в комнате свет. Ее шестилетний Вернер ложился самостоятельно. Он снимал ботинки, чулки и курточку; до пуговиц на лифчике он дотянуться не мог, а потому предоставлял их расстегивать матери, когда та поздно ночью возвращалась наконец домой. Быть может, он даже и мог бы дотянуться до пуговиц лифчика, но он любил просыпаться еще раз — совсем поздно, — когда мать приподымала его, сонного, над постелью, целовала в глаза и говорила при этом очень тихим и виноватым голосом:

— Умница ты!.. Товарищ маленький!..

Но сегодня Вернер почему-то не мог заснуть. Глаза упавшего на ружье солдата, в какой-то чужой, не немецкой форме, смотрели на него, широко открытые. За солдатом были нарисованы черные кольца, на которых болталась проволока, почему-то такая же колючая, как видел Вернер на заборах вокруг огородов под Берлином, где на зеленых берегах Шпрее всегда паслись опустившие рогатые головы коровы, дающие молоко только богатым детям, как сказала ему мать...

Вернер знал, что картину эту нарисовал «товарищ Мазерель», — это часто говорила мама своим товарищам, еще недавно приходившим к ней по вечерам в комнату. Вернер знал даже, что было напечатано под картиной. Мама бесконечное число раз читала и переводила эту надпись.

«На съезде Итальянского социалистического общества, — было напечатано под картиной, — госпожа Сорг воскликнула: „Да здравствует война!“ Эхо ответило ей: „Мама!“».

По-немецки это не выходило так интересно, как на том языке, с которого переводила эту надпись мама. Там, на

чужом языке, два слова «guegge» и «tège» были так забавно друг на друга похожи.

Вернер, конечно, не понимал, что обозначала эта надпись. Но однажды, когда он повторил эти слова какой-то даме, чулки которой были такого же цвета, как голые ноги мамы, дама, обходившая их двор и заглядывавшая во все двери, почему-то не дала ему ни манной крупы, ни портрета какого-то босого, бородатого человека с блестящим обручем над головой, как дала их Георгу и Ренате, жившим с седым безработным портным-дедушкой в квартире под чердаком.

«Как может блестящий обруч держаться над головой, если он не подвязан? — думал, лежа в кровати, Вернер.— Вот ведь лампочка под потолком подвязана!..»

Лампочка под потолком горела сегодня так же ярко, как и неделю тому назад.

«Штрейкбрехеры принялись за работу!» — сказала сегодня товарищу Ульриху мама. Кто такие эти штрейкбрехеры?

На лампу смотрели глаза упавшего на ружье солдата. Почему они не смотрят на ружье?

Вернер повернулся на правый бок.

Вот так же широко были открыты сегодня и глаза мамы, когда товарищ Ульрих, часто куривший у них в комнате так много, что комната делалась синей, сказал сегодня маме насчет папы.

Это было утром. А началось — так:

«Мы работаем огнем! — сказал товарищ Ульрих, бросив сигаретку под ноги мамы.— А ты... ты огнем играешь! Одумайся, Инге!»

Вернеру было очень весело. Только вчера, когда, склеив бумажные домики, он поставил их на поднос и хотел играть в пожар на фабрике Саротти, мама отняла у него спички, а сегодня товарищ Ульрих ругал за спички маму.

«Когда придет время, когда нам, рядовым борцам революции...»

«Ульрих! — крикнула мама так громко, как кричала весной в лесу, когда звала Вернера.— Ульрих, но я не хочу ждать! Лучше умереть на баррикадах, как умер Арнольд, чем плестись в хвосте, как... как...»

Дальше Вернер не понял.

«Не трогай товарища Арнольда! — перебил ее товарищ Ульрих, вдруг озарив спичкой плоские желтые веки. Эти быстрые пятна на веках и желтый дым, который рвался, цепляясь за ресницы, Вернер великолепно запомнил.— Арнольд сделал нас революционерами, но сейчас, когда ты,

перестав быть революционеркой, стала трескучим фейерверком его слов, ты не смеешь спекулировать его именем!»

Вот при этих словах товарища Ульриха и раскрылись глаза мамы, как у солдата, упавшего под черными кольями.

«Я... перестала быть?» — переспросила она и вдруг, хлопнув дверью, быстро выбежала из комнаты. Ульрих остался. Он положил руку на кубики, которые лежали на столе, но играть с кубиками не стал. За кубиками, грустно опустившись на ось сломанного колеса, стояла старая плюшевая собачка Люкс.

«Горячая, милая какая, но глупая, глупая...» — повторял Ульрих, и Вернер не знал, говорит ли он о Люксе или о маме...

Сейчас собачка Люкс на столе не стояла. Не лежали на столе и кубики, но Вернер не стал думать, где затерял он их после ухода товарища Ульриха, а стал думать о товарище Арнольде.

Товарищ Арнольд — это папа. Маленькая помутневшая фотография его могилы без креста — совсем не такая, как могила бабушки Георга и Ренаты, — висела над кроватью мамы.

Какие глупости говорил товарищ Ульрих! — припомнив все слова Ульриха, думал Вернер. Как может мама трогать теперь папу, когда он давно уже умер! Мертвые рассыпаются, как рассыпается порошок или пепел, — это сказал ему дедушка Георга и Ренаты, — и трогать мертвых, конечно, никак невозможно! Их кладут в гроб, гроб опускают в яму на ельник, и в яму бросают лопатами землю.

Вспомнив о лопатах, Вернер опять повернулся к стене.

У Георга и Ренаты есть маленькая лопатка, думал он, но они не дают ему играть ею. Когда он будет большой, у него будет много лопат — одна другой больше, — и он не даст ими играть ни Георгу, ни Ренате. Он поставит их рядом возле четырех стен двора и будет ими любоваться...

Но разве лопаты умеют ходить? Почему крайняя вдруг закачалась и пошла по двору, качаясь и переваливаясь?

«Лопата, лопата! — крикнул Вернер и тоже побежал по двору. — Мама, лопата ходит!»

— Дай-ка пуговики! — сказала над ним в это время Инге. — Повернись, маленький!.. Спи...

Она стояла над кроватью Вернера и, нагнувшись, растягивала его лифчик.

Вернер улыбнулся, поднял руки, хотел обвить шею матери, но руки его вновь опустились на одеяло.

— Спи, Вернер! — повторила Инге, отошла от постели

и остановилась возле плаката Франса Мазереля, первый раз за пять лет революционной работы не чувствуя радости.

В первый раз за пять лет рабочие не подхватили сегодня ее слов, они вытолкнули ее из своих рядов, запев при этом Интернационал, который пять лет пела она вместе с ними.

...А все лопаты, которые качались на дворе перед присевшим на корточки Вернером, тоже вдруг присели и стали кланяться ему деревянными длинными ручками, выгибая их, как выгибают шею лебеди на картинках.

— Ну, как?

Алексей вошел в комнату и остановился. С минуту он молчал, точно не понимая, о чем спрашивает его Эрих.

— Ты насчет работы? Пусто! — ответил он наконец. — Пусто, Эрих, и безнадежно. Вероятно, вся эта белая компания живет подачками, которые обязывают к весьма гнусным делам.

— Так! — сказал Эрих и, взяв со стола кусок фанеры, разломал его надвое. — Пилить рамочки, что ли, будем?.. Оба?..

Потом — одну за другой — он бросил на пол зубчатые неровные дощечки и вдруг удивленно посмотрел через плечо Алексея.

— Это Берта, Эрих! — сказал тогда Алексей. — Ты ее не знаешь? — Он улыбнулся. — Я тоже не знаю!

Снимая галоши, Берта задержалась в коридоре, а потому только сейчас вошла в комнату. Остановившись возле двери, она посмотрела на Эриха, потом — на гвардейцев-барабанщиков, которые висели над его головой. Она решила, что попала, вероятно, в семью музыкантов, и стала гадать, на каком инструменте играет Алекс, и на каком — этот высокий, черный юноша, небритые волосы на лице у которого начинались чуть ли не от самых скул.

— Рамочки пилить будем? Оба? — вновь повторил Эрих, беря со стола второй кусок фанеры.

— Ужинать будем... Втроем... — сказала Берта, расстегивая пальто.

Ей надоело стоять возле двери, и она решила взять на себя роль хозяйки.

«Вот и пришли!.. — думала она. — Здесь, действительно, можно чувствовать себя лучше, чем дома... Я не ошибаюсь в людях!..».

То, что ни Алекс, ни этот высокий хмурый юноша с черными глазами не подошли к ней, чтобы помочь раздеться, ее

нисколько не удивило. Она была уверена, что «глубокие, серьезные люди не признают этикета».

«Бедные!.. Им не хватает заботливой женской руки!» — опять подумала она, когда Алексей, опустив на ладонь голову, сел за стол, на котором, густо покрытые опилками, валялись еще не поломанные Эрихом куски фанеры, синяя, много раз использованная копировальная бумага и окурки, тоже, вероятно, уже много раз обсосанные.

«Бедные!..— повторила она.— Я создам им уют!..» — И, повернув рваную подкладку своего пальто к стене, она стала смотреть вокруг себя, ища зеркала.

Но зеркала в комнате не оказалось. Тогда она обернулась к шкафу, быстро, как перед зеркалом, оправила волосы перед его бурой, ничего не отражающей дверцей и пошла к столу, обдергивая на ходу кофточку, скрывшую в смявшихся складках едва уловимую форму ее маленьких, всегда настоженных грудей.

Eine kleine Freundin
Braucht ein jeder Mann, ¹—

запела она, ребром ладони поставив на столе куски фанеры и смахивая со скатерти опилки.

Eine kleine Freundin
Braucht man dann und wann...

Голову она склонила набок и улыбалась, ловя ресницами лучики лампы.

Eine blonde, braune,
Je nach Lust und Laune...

Стоп, Алекс! Стал автомобиль!.. Колеса не крутятся, а ведь веселая песенка!.. Вы не помните?.. Из головы вон, Алекс! Позабыла!..

— Нет, я не помню,— улыбнулся Алексей, подымая над ладонями голову.— Моя телега скрипит только по ухабам, и скрипит не весело!

— Научитесь скрипеть весело, Алекс!.. А по ухабам ездить тоже забавно:

Husch, husch, husch!..
Der Hase aus dem Busch!.. ²—

весело!

¹ Маленькая подруга от поры до времени нужна каждому мужчине. Блондинка или брюнетка,— смотря по настроению. (*Шантанная песенка*).— (нем.).

² Хуш, хуш, хуш,— заяц из куста! (*Детская шутка*).— (нем.).

И, смахнув со стола последние опилки, Берта опять улыбнулась — сперва Алексею, потом, еще нерешительно, — Эриху, пошла на кухню к Артуру Глейзе и принесла тарелки.

— Вы совсем напрасно принесли тарелки, — сказал ей Эрих. — Сегодня ужинать не придется.

— Слушайте, сегодня вашим жильцам не придется ужинать! — опять побежала на кухню Берта.

У Артура Глейзе вышел весь табак, а потому он был мрачен и еще менее разговорчив, чем всегда.

— Ну? И? — приподняв и вновь, точно забрало, опустив усы над губами, тяжело буркнул он и ткнул вилкой в картофель, который варился у него на газовой плитке.

— Ну, я и волнуюсь!.. Я волнуюсь, потому что людям нечего есть. Все люди братья. Дайте ваш картофель. Мы разделим.

— Как?

Артур Глейзе хотел повернуться, но оставить картофель, над которым радостно колыхался белый пар, он все-таки не мог. Он только вздернул вверх крутые, огромные плечи и звонко лязгнул подскочившим вверх протезом.

Удивленная Берта на шаг отступила, вновь, уже осторожно, подошла к нему, наклонилась, справа и слева осмотрела его ноги, опять выпрямилась и подняла голову.

— А-а-а!.. — протянула она, открыв рот как при пении. — Так у вас сапоги железные?..

Потом, засмеявшись, она опустила руку за лиф кофточки, достала из глубины ставшую плоской сигаретку и, отстранив от плиты Артура Глейзе, закурила об огонек под кастрюлей.

Артуру Глейзе еще никогда не приходилось слышать, чтоб кто-либо смеялся после слов о его геройски утерянной ноге, да еще так, как смеется сейчас эта девчонка, пуская из носа струйки насмешливого дыма.

— Моя нога... Как?.. Как?.. Моя нога... — заговорил он, лая из-под опущенных усов. — Как?.. — И, вновь двинувшись к плитке, он стал тыкать вилкой, в злобе не попадая в картофель. — Моя нога отмечена в приказе! Как?.. как вы сказали?

— Как? Как? — Берта запрокинула голову и, подражая Артуру Глейзе, стала дергать подбородком, приставив к губам ладони, которыми она захлопала, как хлопал усами Артур Глейзе.

— Как? Как? — смеялась она. — Скажите лучше, как мне у вас устроиться? Я останусь здесь ночевать.

— Вы?

На этот раз Артур Глейзе не смог не обернуться. Обернувшись, он застыл с поднятой в руке вилкой. Протез его опять

лязгнул, и левая нога, дрогнув, поднялась вверх. Артур Глейзе остался стоять на одной ноге.

— Вы?..

— Да, я. Точка. Останусь здесь ночевать. Точка. Все люди братья. Поняли? Точка.

— Это мы сейчас увидим, как вы останетесь здесь ночевать... Сами вы — точка!

Артур Глейзе расправил усы. Острие вилки, которую он все еще держал в руках, скользнуло при этом по его густым, нависшим бровям. Потом, выпучив грудь, он повернулся спиной к Берте и, как на шарнирах, пошел из кухни.

Но в коридоре возле двери в комнату Алексея и Эриха он вдруг остановился.

«Рудольф фон Лессау?» — шепотом повторил он, склоняя квадратное ухо к замочной скважине. За дверью скрипнул стул. Разговаривая, Алексей часто раскачивался на стуле.

— А черт его поймет, кто он, этот фон Лессау! — говорил за дверью Алексей. — Может быть, и ерунда!.. Бросил он ее, — если верить... Сидела как мышь... а потом заплакала... Рудольф фон Лессау...

«Рудольф фон Лессау? — удивленно повторял под дверью Артур Глейзе. Его квадратное ухо поймало узкую щель света, и рыжие волосы на ухе стали красными. — Она знакома с Рудольфом фон Лессау?.. О Рудольфе фон Лессау она рассказывает всякому встречному и поперечному?..»

— Но почему ты все-таки привел ее сюда?.. Вы, русские!.. — смеялся Эрих. Потом он закашлял. — Но-че-вать?.. — уже сквозь кашель переспросил он. — Но-че-вать?.. Ты хочешь, чтоб, в довершение всех бед, наш ворчун Глейзе еще и выкатил бы нас в два счета на улицу? Иди-ка, потолкуй с ним... рыцарь!..

Услышав как скользнул под Алексеем стул, Артур Глейзе выпрямился и, размахивая над корзинами вилкой, мягко — на одной ноге — поскакал по коридору. Доскавав до двери на кухню, он остановился, удивленный своей ловкостью. А когда Алексей, вышедший в коридор, остановился перед Артуром Глейзе, Артур уже даже перестал тяжело дышать.

«Нет, рано еще меня в тираж! — думал он, опустив руку в карман и сквозь карман расправляя заскочившие друг на друга жестяные сухожилия ампутированной ноги. — Еще поработаем!..»

На кухне запела Берта. Вот вода из крана гулко ударила о дно чайника.

— Идите, Берта, в комнату, — сказал Алексей, — я должен поговорить с господином Глейзе...

— Ну, как? — минут через десять спросил Эрих вновь вошедшего в комнату Алексея.

— Удивительно! — ответил тот. — Представь себе, старый медведь немедленно же согласился. Старый медведь — для порядка — просил только сообщить ему вашу фамилию, Берта. Фибер? Хорошо, я сейчас передам. Пусть, — так хочет старый медведь, — все будет гладко. Старый медведь даже разрешил постелить вам кровать своей покойной жены, Берта!

— А картофель он вам предложил?

— Какой картофель?

— Господи, да я же сказала ему, что все люди братья!.. Картофель, который варится у него на кухне.

— Вы, Берта, чудачка!

— Благодарю вас, вы очень любезны!..

Берта поклонилась, отступила к окну, на котором стояла уже пустая бутылка из-под рыбьего жира, и, взявшись за юбку двумя пальцами, еще раз по-школьному отвесила реверанс. Она бы подошла к Алексу и даже расцеловала бы его в губы, если бы не эти черные глаза, под взглядом которых, кажется, даже и Алекс чувствовал себя мальчиком.

Но вот черные глаза, казавшиеся мрачными только потому, что свет лампы никак не мог проникнуть в их глубину, попали под косые лучи, падающие из-под абажура. Глаза улыбнулись.

— Geliebter! Kind! ¹—

запела тогда Берта, быстро бросив ласковый взгляд на Алексея,—

Wie ist es schön,
Dass wir beisammen sind!..

...А через коридор, в маленькой комнатке возле кухни, Артур Глейзе сидел под портретом президента Эберта и, точно зажатый двумя покрытыми пылью шкафами, стоящими по обеим сторонам кресла, торопливо натягивал серые выходные штаны.

Потом, вспомнив о чем-то, он нагнулся, достал из-под шкафа сапожную щетку, скользнул ладонью по ее черной от ваксы щетине и, засучив штаны над коленом левой ноги, снял протез и, перекинув его через руку, стал усердно чистить на нем сапог.

¹ Возлюбленный! Дитя! Как хорошо, что мы вместе!.. (Стих. современ. поэта Макса Брода). — (нем).

Все окна во втором этаже красного дома в стиле барокко, возле которого Рудольф фон Лессау оставил БERTУ, были в эту ночь глухо завешены тяжелыми, не пропускающими свет портьерами. Лишь одно окно — угловой комнаты, — сквозь которое были видны подъезд, скверик в конце улицы и два скрещивающихся за ним переулка, было задернуто только наполовину.

В этом окне — за портьерой — стоял коротко подстриженный человек с очень маленьким подбородком и с большими глазами, помутневшими, как после бессонницы. Лицо его было бледно; ввалившиеся щеки покрыты прыщами. На нем была форма железнодорожного чиновника. Пальцы его были запачканы красными чернилами. Под обгрызенные ногти въелись полоски черных. Спешный груз в книгах железнодорожной конторы, в которой он служил, отмечался красным, груз малой скорости — черным.

«Надо бы вымыть руки... Собрание... Офицеры и студенты... — думал молодой чиновник. — С офицерами и студентами!»

Но отойти от окна, чтоб вымыть руки, чиновник не мог. Он стоял на часах. Да, на часах! Он! Ему доверили!..

Заморгав усталыми веками, он вновь гордо выпрямился и внимательно уставился в окно. Вот подъезд! Нет, не отводить глаз от подъезда!..

В подъезд давно никто не входил. Вероятно, уже все явились на собрание. Теперь — самое ответственное, теперь — не прозевать! Если коммунисты что-либо узнали, они подойдут к подъезду... Полиция может тоже узнать, но главное — коммунисты...

Молодой чиновник опять заморгал. Ему очень хотелось спать. Спать и есть...

Иногда, не отводя мигающих глаз от подъезда, он опускал руку в карман потертых брюк и, вытаскивая из него куски зачерствелого хлеба, ел, подбирая с ладони крошки. Но спать было нельзя... Спать бы, спать, спать!..

Дверь в соседнюю комнату была прикрыта. В соседней комнате плыл гул многих голосов.

— Grüss Gott, ¹ Фибер! — вошел наконец из соседней комнаты так же коротко подстриженный человек в синей рабочей блузе и в широко и просторно сшитых штанах. Он пришел в этот дом сразу же после работы на заводе и сменить рабочую блузу еще не успел. Руки у него были большие, красные и сплошь покрыты курчавыми волосами.

¹ Приветствие немцев-католиков, преимущественно баварцев.

— Еще десять минут, и я сменю тебя, Фибер.

Человек в рабочей блузе прислонился к стене и закурил дешевую, желтым дымом закружившую сигаретку. Очевидно, ему хотелось поговорить, но Фибер возле окна не поворачивался.

— Дела, дела!..— повторил человек в рабочей блузе.— Что, надоело? Нет?.. Куришь?

— На часах курить не разрешено. Я — старый солдат. Я не могу с вами разговаривать. Отойдите.

Но человек в рабочей блузе вовсе не собирался отойти. Он думал о чем-то, не подымая глаз с огромных рук, которые лежали у него на груди скрещенными.

— Черт, дьявол и все покойники! — вдруг сказал он в злобе и стал чесать одну руку, отчего курчавые волосы на ней захрустели под ногтями другой.— Ты!.. Вот и ты хоть и молодым носом, а чувствуешь правду!.. Ловите меня, фабзавкомщики! Чтоб я, старый рабочий, подчинился ярму коммунистических сотен!..

Его тупые, красные ногти, запутавшись в волосах руки, побелели от напряжения.

— Ударить, чтоб по всем швам рассыпались!.. Святая Мария, в этом году ко дню поминанья мертвых я за каждого убитого в Красной Баварии католика сатане в ад сдам десять коммунистов,— черт, дьявол и все покойники!..

На мгновенье он замолчал. Потом спросил, уже деловито и спокойнее:

— Но когда наконец выступят наши штурмовые колонны? Говорят,— заодно со «Стальным шлемом»? Что ж, мы, национал-социалисты, считаем...

— Оставьте разговоры. Я старый солдат...

И молодой человек с бледным прыщавым лицом вновь обернулся к окну и застыл, сдвинув вместе стоптанные каблуки и по-военному опустив по швам руки.

...А в соседней, очень большой комнате, мебель из которой была на эту ночь, вероятно, куда-то вынесена, гул многих голосов уже прерывался криками возбужденного Рудольфа фон Лессау.

— Господа, продвиньте стол в центр зала!.. Господа!..

Зеленым сукном покрытый стол на круглых, тяжелых ножках, скрипнув, двинулся по паркету. Посреди комнаты, как раз под массивной бронзовой люстрой, стол наконец остановился.

— Графин!.. Воду!..

На Рудольфе фон Лессау была черная, модно сшитая визитка. В петлице блеснул серебряный значок «Стального шлема». Рудольф фон Лессау то и дело подымал к глазам руку и смотрел на маленькие золотые часики.

— Разводящий, сменить Фибера! — приказал, наконец, он, вновь подымая к глазам часы.— Сейчас я объявляю собрание открытым.

Круглые и длинные, одинаково коротко подстриженные головы возле стен повернулись и подняли на него глаза. Блеснули значки «Стального шлема». Было в зале и несколько студентов-корпорантов. Пестрые ленты на груди у них потекли под светом люстры яркими полосками.

— Господа! — громко и торжественно сказал Рудольф фон Лессау, встал за стол и опустил ладони на зеленое сукно. Золотые часы над его ладонью стали густо-зелеными, а значок «Стального шлема» на груди блеснул бледно-зелеными искрами. Минуты три Рудольф фон Лессау молчал.

— Господа офицеры и наши боевые товарищи! — повторил он, когда сменившийся с поста Карл Фибер, неловко войдя в комнату, остановился возле стены под портретом генерала Макензена.— Объявляю совместное собрание нашей берлинской организации «Стального шлема», представителей «Имперского флага» и берлинских «Штурмовых колонн» национал-социалистов открытым. Секретарь!..

Секретарь, безусый студент-корпорант, член организации «Консул», вынул из кармана «вечное перо» и склонился над бумагами.

— Секретарь, сегодня протокол не вести!

Секретарь тотчас же вновь спрятал перо.

— Господа офицеры и наши боевые товарищи! Наш долг истинных германских патриотов приказывает нам смотреть правде прямо в глаза...

Быстрым взглядом чуть прищуренных от света глаз Рудольф фон Лессау еще раз окинул всех присутствующих.

Серые, упрямые глаза смотрели на него, не отрываясь.

«Море германских глаз!.. Серое, грозное море!..» — подумал Рудольф фон Лессау и заговорил о том, о чем не может не говорить каждый выступающий на собрании националистов в Германии: он заговорил о долге.

И сразу же упрямые, серые глаза восторженно загорелись. Ярче других загорелись глаза молодого лейтенанта Кноринга, штатское платье на котором сидело как военный мундир.

— Господа,— оставив, наконец, вопросы долга, перешел к основной теме Рудольф фон Лессау.— Господа офицеры

и наши боевые товарищи! Возвращаясь в Ганновер, наш горячо уважаемый и высокочтимый генерал фон Гинденбург имел в Мюнхене историческое свидание с генералом Людендорфом и фон Каром. Генерал фон Гинденбург призывал сохранять единство великой Германии. Господа офицеры и наши боевые товарищи!..

Голос Рудольфа фон Лессау поднялся. Рудольф фон Лессау поднял и расправил плечи.

— Господа офицеры и наши боевые товарищи, неужели вы думаете, что генерал Людендорф, старый солдат императорской армии, может послушаться генерала фон Гинденбурга? Меньше паники, господа офицеры! Национал-социалистическая германская рабочая партия во главе с Гитлером и Людендорфом пойдет вместе с нами. Поэтому мы и собрались сегодня вместе. Единство национальной Германии налицо.

— А Кар? А Бавария? А сепаратное выступление фон Кара? — крикнул вдруг кто-то из-за плеча лейтенанта Кюринга. — *Timeo Danaos et dona ferentes!*..¹

И высокий, худой, точно из одних костей собранный студент, поднявшийся над плечом лейтенанта, посмотрел на Рудольфа фон Лессау как смотрят люди, уже уничтожившие противника.

Рудольф фон Лессау взглянул на часы. Он всегда смотрел на часы, когда волновался или возмущался чем-либо. Сейчас его возмутил окрик этого не знающего дисциплины сочлена.

— *Viribus unitis!*² — ответил наконец студенту Рудольф фон Лессау и вновь положил ладони на стол. Он успокоился. Довольный, что припомнил латынь и не ударил лицом в грязь перед студентом, он даже решил пояснить ему «ситуацию», в которой тот, вероятно, путался.

— Факт выступления фон Кара, — обернулся к нему он, — для нас благоприятен контрвыступлением правительства Штреземана, которое уже объявило осадное положение, передав всю власть военному министру Геслеру. Господа, меньше паники. *Viribus unitis!*.. Кто из нас не знает, что Геслер и генерал фон Сект связаны неразрывно и что генерал фон Сект был начальником штаба генерала Макензена?..

Рудольф фон Лессау торжественно улыбнулся. Серые глаза, глядящие на него из всех углов зала, не улыбались. Они холодно и возбужденно горели.

¹ Боюсь данайцев, даже приносящих дары! (лат.)

² Соединенными силами. (лат.)

— Господа офицеры,— улыбаясь, вновь бросил этим глазам Рудольф фон Лессау. Он всегда торжествующе улыбался, когда видел горящие вокруг себя глаза: ему казалось,— это он зажег эти глаза!

— Неужели вы думаете, господа офицеры, что авторитет нашего мудрого молчальника, генерала фон Гинденбурга, не объединит под флагом единой великой Германии и Людендорфа, и фон Секта, и даже фон Кара, который в нужный момент отдаст нам все свои пушки, как не отдадут их саксонские пролетарские сотни, если наши голодные, несчастные массы не вырвут их силою!..

Рудольф фон Лессау повернул голову и в упор посмотрел на Фибера, точно в его мутных, всегда голодных глазах горели голод и злоба всей обнищавшей Германии. Но Фибер молчал. В зале стало слышно, как забулькала в графине вода. Рудольф фон Лессау поднял стакан.

— Господа,— продолжал он, вновь ставя стакан на стол,— меньше паники! При каких иных обстоятельствах (господа, мы смотрим правде в глаза!), при каких иных обстоятельствах наши все еще не протрезвевшие от марксизма массы разрешили бы правительству Штреземана передать всю исполнительную власть Геслеру, а значит — фон Секту, а значит — Макензену, а значит — Гинденбургу?.. Борьба с фашизмом! — бросил массам военный министр Геслер, объединив нас даже с социал-демократами на борьбу с коммунизмом. И чем скорее они, коммунисты, выступают, тем лучше. Мы...

Рудольф фон Лессау опять взглянул на часы, точно срок выступления коммунистов уже исчислялся стрелками.

— ...Мы сорганизованы, они — нет! Мы должны их — еще слабых — заставить немедленно выступить. Мы разобьем их, а массам, всем, кто еще одурачен марксизмом, будет сказано: «Смотрите! — будет сказано,— республика борется с фашизмом, а они, коммунисты, бьют республику с тыла!..»

Рудольф фон Лессау вытер с лица пот.

— Удар будет нанесен быстро. Мы — ученики Блюхера...

Рудольф фон Лессау опять вытер пот.

— Но после удара, который мы нанесем штыками рейхсвера, мы должны будем изменить тактику. Господа офицеры и наши боевые товарищи! Уже заранее, уже сейчас мы должны овладеть опорными пунктами, чтоб диктовать потом нашу волю. Тех, которые вовсе не пойдут с нами или которые, приняв вместе с нами пушки фон Кара, не пойдут потом против Красной Саксонии и Тюрингии, тех, которые, как

в осинном гнезде, вновь загудят здесь в Берлине о Москве, Советах и прочее, мы...

Рудольф фон Лессау выпрямился и плотно прижал к торсу локти.

— ...Вы сами увидите, господа офицеры, что мы сделаем с ними!.. Господин лейтенант Адельберт Кюринг!..

Молодой лейтенант в штатском поднялся со стула, ровным чеканным шагом прошел через зал и, подойдя к столу, развернул вынутую из кармана карту.

— Господа офицеры, пожалуйста сюда. Непокорное осиное гнездо Берлина мы возьмем измором!

Люди, сидящие и стоящие вдоль стен, двинулись к Рудольфу фон Лессау. Вокруг стола они остановились.

— Мы захватим все железнодорожные узлы вокруг Берлина. Кюстрин — в первую очередь. Господин лейтенант Кюринг!..

Лейтенант склонился над картой и, как циркуль расставив два пальца, острыми ногтями указал на две черные точки, обведенные красным карандашом.

— Берлин, господа... Кюстрин...

— Мы лишим Берлин угля и продовольствия, — перебил лейтенанта Рудольф фон Лессау. — Город Кюстрин будет взят в первую очередь. Господа офицеры, крепость Кюстрин, гарнизон которого, как вам известно...

— Господин фон Лессау! — вошел в это время в зал человек в синей рабочей блузе. Он еще не научился стоять по-военному, и голова его была глубоко убрана в плечи. — Господин фон Лессау, к подъезду подошел хромой человек, — продолжал он, исподлобья оглядывая всех в зале. — Он поднял два пальца и смотрит, как условлено, на правый фонарь. Сойти и впустить?

— Минуту, господа офицеры!

Свет люстры, висевшей высоко над картой, соскользнул с плеч Рудольфа фон Лессау и упал на его спину.

Рудольф фон Лессау шел к двери.

Эрих долго кашлял. Наконец, он отнял ото рта скомканный носовой платок. Дышать сразу же стало легче. Но, поборов кашель, Эрих почувствовал, как промокла потом его рубашка. Вероятно, носовой платок был густо покрыт красными, перепутанными нитями крови. Но Эрих не зажег света.

«Быть может, крови еще нет!» — думал он, шукая в темноте платок. Платок был мокрый и теплый...

За окном медленно прошел автомобиль. Широкий, тупой луч фонаря, брошенный сквозь окно на потолок, проплыл по карнизу. Доплыв до угла комнаты, он сломался надвое и сорвался вниз.

Эрих вздохнул. Кашель перестал его душить, и он почувствовал облегчение. Но уже простыни под ним успели промокнуть, и лежать на них было неприятно. Эрих лег на спину, сдвинул простыни ногами и стал смотреть в темноту. Шкаф, который стоял за кроватью, в темноте виден не был, но Эриху казалось, — шкаф медленно опустился на кровать и прикрыл ее, как крышка заколоченного гроба.

— Алекс! — сказал шепотом Эрих. — Ты спишь?

Алексей дремал.

— Ну? — спросил он, повернувшись, и неясные сны, тихо подступавшие к нему, на мгновение задержались возле темных стен комнаты. Там, возле темных стен, в плеске неясных снов о прямые линии комнаты, кивнула в темноту и в ту же темноту отошла куда-то Инге.

— Сплю... — сказал Алексей.

Но за окном опять прогремел запоздалый грузовик, и грохот его колес сломал сны Алексея.

— Когда рвутся даже самые паршивые сапоги, — уже яснее услышал он голос Эриха, — их несут к сапожнику, потому что сапоги нужны, а кожи сейчас мало...

Мысли Эриха, постоянно, во всем и без разбору подчиненные его воле, сегодня, в эту ночь, почему-то поминутно раскалывались. Их было очень много, и всех их подчинить себе Эрих не мог.

— Брось, Эрих! — перебил его Алексей. Удивленный, он понял, что Эрих говорит не о сапогах, но не понимал еще, куда ведет он эти непривычные слова. — Брось, Эрих! Нашел тоже время!

— ...А когда человек расползается, — зло и отрывисто продолжал шепотом Эрих, — ему дают расползтись: пей, на утешенье, рыбий жир, и с богом, старая кляча!..

Он вспомнил о своем первом ранении, — еще в Шампани, под черным беззвездным небом, низко нависшим над полями, колючими от прорванных заграждений.

«Этот неплох! В строй встанет...» — сказал над ним безгубый от старого ранения фельдшер и, покачивая фонарем, отошел к соседним носилкам.

Соседние носилки, на которых лежала кровавая грязная шинель, скользили ножками по примятой траве. Ловкий, как обезьяна, санитар стягивал с ефрейтора, лежа-

щего под шинелью, ботинки, зашнурованные телефонным проводом.

«Залатаем!..» — говорил кому-то ловкий, как обезьяна, санитар, а Эрих, утихшая боль которого вновь позволила наконец думать, никак не мог понять, как можно залатать живот этого ефрейтора, три часа подряд дымивший, как открытый котел походной кухни.

«Залатаем! Две латки!..»

Эрих не знал, что ефрейтор на носилках подле него был уже мертв.

Стекла фонаря в руке у фельдшера дребезжали; во тьме, в густой колючей проволоке дребезжал ветер.

Эрих не мог догадаться, что ловкий, как обезьяна, санитар говорит не о животе ефрейтора, а о его ботинках. И только теперь, вспомнив почему-то, как дребезжали стекла фонаря и ветер в проволоке, он догадался. И еще понял он, что его, дважды простреленного, латать, конечно, никто теперь не будет. Война давно отгремела, и в строй ставят уже других!..

— Сапоги или человек?.. Сапоги или человек?.. — повторял Эрих, приподнявшись. Подушка под ним тоже стала мокрой. — Сапоги или человек, Алекс, что дороже?

— Брось, Эрих! — уже в тоске перебил его Алексей. — Когда-то мы, русские, любили говорить о таких, никому не нужных вещах, а вы, немцы, над нами смеялись!..

— Что же я не слышу, как ты смеешься, Алекс?

И Эрих замолчал, точно слушая, не смеется ли Алекс!..

В комнате опять стало тихо. Ползли часы, торопливо отсчитывая секунды. Секунды сыпались, тихие, как дождь!..

Эрих все еще молчал, вероятно о чем-то думая. Алексей думал о том, что лучше вовсе не жить, чем жить так, как они с Эрихом.

— А я хотел!.. — услышал он, наконец, тихий шепот Эриха.

— Я хотел!.. — повторил Эрих уже громко.

— Я хотел, — вдруг крикнул он и, вскочив, зажег электричество.

— Я хотел, — черт возьми! — железные дороги я строить хотел!.. Жизнь строить, — мосты, верфи!.. А вот — над рамочками!.. над голубями!.. Рыбий жир пью, чтоб над голубями не свалиться, — черт!.. А жизнь, — мосты, верфи?.. Мимо идет жизнь! Спекулянты и мерзавцы ее под уздечку схватили, — мимо они ведут ее, мимо!..

«Мимо! — уловив только последнее слово, повторила за дверью Берта. — Проходят!.. Все они проходят!.. И не видят меня!.. И мимо!..»

Босая, в одной рубашке, она стояла в соседней комнате, припав к косяку двери обнажившимся, вздрагивающим плечом. Руки ее были еще опущены, но она уже собиралась вытянуть их вперед. Она помнила: так поступают все, кому действительно больно. И Пола Негри, и Женни Портен...

«Идут... И не видят моей любви... И проходят... Мимо!..».

Узкая, как нож, полоска света падала из-за дверей на ее рубашку. На груди полоска то подымалась, то вновь робко и боязливо скользила вниз.

— Алекс! — тихо позвала наконец Берта и протянула руки. — Алекс!.. Иди же ко мне, Алекс!

Она замолчала, вдруг увидела свои одинокие руки и положила на грудь одну ладонь. Ей казалось, — в груди у ней что-то глухо стонет.

— Алекс, ты ведь не пройдешь мимо?.. Алекс!

Но узкая полоска уже сорвалась с ее рубашки; блеснув лезвием, она нырнула в темноту. Свет за дверью потух.

— Алекс!

За дверью начали бить часы. Часы били очень долго и с расстановкой, точно давая возможность каждому отдельному удару потонуть в тишине, не слившись с другими.

Слушая долгие, хриплые удары, Берта почему-то вновь стала думать о Рудольфе фон Лессау, может быть потому, что, встречаясь с ней, Рудольф фон Лессау постоянно смотрел на часы.

Но вот пробил последний, двенадцатый удар.

«С ним покончено!» — решила Берта и стала думать об Алексее, взявшем ее к себе, чтобы бросить сюда, в эту пустую, противную комнату.

«И опять началось!..».

Она опустила голову, пошла к кровати покойной жены Артура Глейзе и, опустив лицо на подушку, вдруг заплакала. За окном всходила луна.

Острые зигзаги синего света луны и широкие белые потоки, падающие с люстры, столкнулись на подоконнике крайнего окна. Синий свет луны отступил.

К окну подошел студент-корпорант с бело-голубой лентой. Он приподнял край портьеры, из-под которой опять уже тщетно пытался пробиться синий узкий свет, взглянул на луну, вспомнил о лыжном спорте в горах Таунуса, куда, вероятно, этой зимой попасть не придется, вздохнул и вновь повернулся лицом к залу.

В ожидании Рудольфа фон Лессау все в зале разделились по группам. Двое остались возле стола. Они стояли, склонившись над картой.

— От Кюстрина до Берлина около ста километров. Три легких перехода, — сказал один из них, помоложе, рыжий пушок на висках у которого был светлее его красных щек.

Но брюнет с золотым зубом не соглашался.

— Четыре перехода.

— Три.

И брюнет и блондин стали спорить, один — тыкая о карту пальцем, другой — стучая по ней кончиком карандаша.

— Хенинг и Грефе — о! — это истинно германские головы, о! — басил возле широкого зеркала немолодой высокий мужчина в кожаных гетрах с ремнями крест-накрест, как при кутурнах.

— О! Если Германская народная партия свободы...

— Если «Имперский флаг»...

— Да, но я был введен в заблуждение! — тихо и, казалось, безучастно говорил лейтенанту Кнорингу Карл Фибер.

Он уже вновь стоял под портретом генерала Макензена и робко, точно прося о чем-то, смотрел на лейтенанта, который, по-кавалерийски расставив ноги, сидел верхом на венском стуле. Руки лейтенанта лежали на спинке стула, и стул плавно покачивался.

— Я был введен в заблуждение! — повторил Карл Фибер, не зная, как стоять перед лейтенантом. Стоять, опустив руки по швам, он не мог. Он все еще не узнал, где в этой богатой квартире можно незаметно вымыть руки, а потому не мог показать ни ногтей, ни ладоней.

Веки его были опущены. От отраженного света люстры, падающего с зеркала, красные прыщи на лице казались капельками гнойной крови.

— Но от моего пацифизма, рожденного ужасами поражения, уже ничего не осталось. Вы верите?

Лейтенант кивнул.

— Я голосовал за социал-демократов, — продолжал Карл Фибер. — Я был введен в заблуждение... Я был сторонником парламентской системы и политику выполнения Версальского договора считал за единственно правильную. Я ждал спокойствия и расцвета в перемирии классов. В содружестве капитала и труда... И вот факты!.. Факты налицо. Голод... Нет угля... Холод...

Лейтенант Кноринг опять кивнул. Стул под ним поднялся на дыбы и застыл, точно указывая на Фибера ножками.

— Социал-демократы дали нам голод. Вот факт!

— Факты,— повторил лейтенант Кноринг.— Вы правы! Веки Карла Фибера поднялись, и мутные глаза на мгновение ожили.

— Социал-демократы расплодили коммунистов, а власть коммунистов — это голод вдвойне. Это — смерть!

— Это — смерть!

— Это смерть, господин лейтенант!

Карл Фибер взглянул на ножки стула. Ножки одобрительно кивали. Тогда Фибер взглянул лейтенанту в глаза. Глаза лейтенанта ждали от Фибера твердых и решительных слов. Карл Фибер понял это и выпрямился.

— Но, господин лейтенант! — сказал он гордо.— Господин лейтенант, можете нам верить! Бок о бок с вами мы будем бороться! Мы будем бороться с марксистами, с этими предателями и развратителями родины, будь они социал-демократы или коммунисты! Можете нам верить! Мы будем бороться за кусок хлеба обнищавшей, несчастной Германии!..

Лейтенант встал. Ножки венского стула коротко стукнули о пол.

— Вы истинный патриот, герр Фибер! — сказал он и сдвинул брови, как были они сдвинуты на портрете генерала Макензена.— Вы истинный патриот! Верю и за прошлое не осуждаю!

— Карл Фибер! Карл! — вошел в комнату волосатый человек в синей рабочей блузе.— Фибер, тебя требуют! Живо!

В соседней угловой комнате, где час назад стоял на часах Карл Фибер, было почти темно. Так, по крайней мере, показалось Фиберу после ярко освещенного зала. На стене — вправо от окна — горела все та же матовая, мутная лампочка. Две скрещенные рапиры над ней убегали остриями в полутьму.

Рудольф фон Лессау сидел на подоконнике. Брюки его отдернулись вверх, и Артур Глейзе, который, опираясь на палку, стоял перед ним, смотрел на его шелковые лиловые носки, широким кольцом играющие под отогнутыми кантами остро выуженных брюк.

— Вы меня звали, герр фон Лессау?

Карл Фибер подошел к окну, на расстоянии двух шагов остановился и тоже стал смотреть на носки Рудольфа фон Лессау: в глаза ему он никогда не смотрел.

— Да, на два слова.

Фибер выпрямился и, ожидая вопроса, тяжело глотнул набежавшую в рот слюну. Он был простужен и боялся закашлять. И, кроме того, руки!.. Эти чернила на руках!..

— Фибер, немного о семейных делах... Вы вашей сестре когда-либо обо мне рассказываете?

— Никогда, герр фон Лессау!

И, осторожно скосив глаза на Артура Глейзе, Карл Фибер стал гадать, какое отношение к Берте может иметь этот усатый, небритый человек в странных и непарных сапогах, вероятно, тяжелых, как у ломового извозчика.

— Политику я не ввожу в круг семейных разговоров. Это правило, герр фон Лессау.

— Я знал,— вы хороший солдат.

Рудольф фон Лессау свесил с подоконника ноги.

— Но сегодня вы сделаете исключение. Сегодня вы скажете... то есть завтра, конечно... Завтра вы ей скажете, что я уехал. Неизвестно куда. И не вернусь. Я не могу с ней встречаться. И зачем?.. Не могу и не хочу. Поняли?

— Zu Befehl! ¹

— Идите!

Карл Фибер круто повернулся, по-военному вышел из комнаты, но, выйдя за дверь, сейчас же согнулся и стал наконец кашлять, дергая за спиной блестящими, острыми локтями.

— И вот... А я еще до этого... думая о вас...— вновь заговорил тогда Артур Глейзе.— Я наводил справки... и я, конечно...

Рудольф фон Лессау был слишком занят своими делами, чтоб внимательно слушать Артура Глейзе. Он посмотрел, как закрылась дверь за Карлом Фибером, потом вновь положил ногу на ногу и стал думать о том, могла ли эта сумасшедшая девчонка, привязавшаяся к нему черт знает зачем и почему, знать что-либо о его делах и планах? Конечно, он никогда и ни о каких делах с ней не говорил, но, может быть, эта навязчивая девчонка поняла что-либо, когда он, встретив однажды Карла Фибера на улице, окликнул его и приказал... что приказал он в тот день Карлу Фиберу?..

Пока он говорил Фиберу о каких-то делах (о каких делах говорил он тогда Фиберу?), она не сводила с него глаз. Потом она приходила к нему под окна. Они встретились. Даже встречались. Почему им было не встречаться?.. Нет, но он говорил с ней только о любви,— о любви, в которую вообще

¹ Слушаюсь! (нем.).

не верил. Ведь нужно же человеку посмеяться? Ну хотя бы в свободные от дел минуты...

— Они беспартийные,— глухим шепотом докладывал между тем Артур Глейзе.— Но к ним... к ним ходит коммунистка.

Рудольф фон Лессау поднял глаза и перестал думать о Берте.

— И?

— Но она не опасна... она, кажется, даже вышла из партии... Я все знаю!

И Артур Глейзе замолчал, посмотрел на Рудольфа фон Лессау и улыбнулся, как улыбаются люди, которые знают очень много. Потом, не переставая улыбаться, он вновь таинственно приглушил шепот:

— Но он, один из них,— Эрих Унгар,— он хуже партийного!..

— Хорошо, следите! — улыбнулся Рудольф фон Лессау

Конечно, он не мог оставить без ответа эту хитрую улыбку старой лисы! Пусть старая лиса знает, что и он, Рудольф фон Лессау, руководитель районной организации, в курсе решительно всех дел! «Хуже партийного... лучше беспартийного... какую, впрочем, ерунду плетет этот хромой старик!..»

— Следите, Глейзе. Это главное. Опасности я не вижу, но опасность бродит за нами как тень. Вы тоже можете идти.

Артур Глейзе оперся на палку, тихо скрипнул протезом, который точно знал, где можно и где не полагается зло и надоедливо лязгать, но почему-то не повернулся.

Тогда Рудольф фон Лессау удивленно поднял одну бровь:

— Идите!

— Я не могу следить! — сказал уныло Артур Глейзе.— Хотя Эрих Унгар и опаснее партийного, но я следить за ним не смогу... А он — старый солдат, он изранен... Нам, фронтовикам, как вам известно...

Вспомнив фельдфебельские времена, Артур Глейзе выпучил грудь.

— Нам, старым солдатам, все и везде верят!.. Он тоже — старый солдат, и именно потому он может ты-ся-чи бросить на баррикады!

Рудольф фон Лессау вспомнил о Карле Фибере, тоже старом солдате, и с досадой подумал о том, отчего в районной организации «Стального шлема» так мало рядовых солдат-фронтвиков, которым всегда, все и везде верят.

— Но следить за ним я все-таки не могу! — потеряв фельдфебельский вид, вновь продолжал Артур Глейзе; тяжелые плечи его опустились.— Они не платят за комнату. А я...

Артур Глейзе вздохнул.

— Я — нищий... Я вынужден... Я живу с комнаты... Я завтра же вынужден...

— Вы им не откажете!.. Сколько?

Рудольф фон Лессау досадливо морщил лоб: действительно, отчего у них так мало солдат-фронтовиков? Артур Глейзе тоже фронтовик. Пожалуй, он легко бы оставил свой «Союз защиты республики» и перешел бы к ним, но в честность его Рудольф фон Лессау не верил.

— Сколько?.. Два? Три? Четыре?

— Восемь.

Тогда Рудольф фон Лессау достал бумажник и стал отсчитывать миллиарды. Потом он встал.

— Я занят!

— Лейтенант Кноринг! — сказал он, вновь войдя в зал.— Запишите: Эрих Унгар. Старый солдат-фронтовик. Из опасных.

В углу, не решаясь вторично подойти к лейтенанту, стоял Карл Фибер. Увидав Рудольфа фон Лессау, он быстро опустил руки, из-под ногтей которых только что выгрызал зубами сгустки запекшихся чернил.

На площади и на узких улицах возле магистрата толпился народ.

— Не следовало бы, господи боже, не следовало бы! — повторял под фонарем молодой человек, вероятно приказчик, мягкая полинялая шляпа которого была обрызгана уличной жидкой грязью. Лицо он вытер. Полосы грязи, размазанной на щеках, успели подсохнуть, и только глаза приказчика, блестящие из-под полей шляпы, смотрели ясно как у ребенка.

— Молчать надо и терпеть! — повторял он, склонив испуганное лицо над горбатым плечом какой-то женщины.— Рейхсвера у них сто тысяч, черных — двести пятьдесят, вооруженных организаций — не меньше! А полиции, полиции!..

— Мы просить. Мы не требовать.

Народ гудел.

— Работы не просят! — обернувшись, бросил горбатой женщине низкорослый плотный рабочий. В веснушчатое лицо его падали желтые, как солома, волосы.

— Но дети есть просят! Вчера мой Феликс...

— Мой Фридрих...— перебила горбунью женщина помоложе.

— Хейнц...— подхватила другая.

— Марта...

Веснушчатый рабочий отвернулся. Вот уже четыре дня слышит он одно и то же. Четыре дня бегал он с завода на завод.

— Товарищи! — убеждал он на заводах.— Широкий фронтом!.. При поддержке всеобщей стачки!.. Нельзя, товарищи, в одиночку!.. ЦК уже мобилизует... Подождите!..

Мужчины молчали, но работницы ждать не хотели.

— Хлеба! — кричали они под визг приводных ремней.

— Хлеба!.. Если вы, мужчины...

— Мы, женщины...

— Тогда мы, матери... Мы пойдем...

— Будем просить...

Вот потому, помня эти крики и нетерпенье, веснушчатый рабочий и убеждал по ночам своих товарищей:

— Товарищи! — в накуренных комнатах говорил он.— Кухнями Международной рабочей помощи дисциплины не поддержать!.. Реквизиционные комиссии бессильны!.. Товарищи, если фабзавкомы и профсоюзы на конференции в Хемнице отклонят наше требование всеобщей стачки, если социал-демократы окажутся сильнее нас, мы, опираясь на революционные комитеты фабзавкомов...

— Ульрих!..— кричали ему сквозь табачный дым товарищи.— Товарищ Шмидке, теперь, накануне решительных боев, мы не можем ломать единого пролетарского фронта!..

— Но нас покинут лучшие товарищи!..

Под утро усталый Ульрих уже не слышал и не видел товарищей. Под утро табачный дым плыл так густо, что даже голоса казались ему приглушенными дымом...

Вспоминая эти дни и ночные последние споры, Ульрих Шмидке вновь достал из кармана сигаретку. Приказчик впереди него, стоящий рядом с горбуньей, тоже закуривал.

— Смотрите, смотрите! — вдруг крикнул он и взмахнул сигареткой.

— Смотрите, идут!

— Идут!

— Идут!

Горбунья схватила приказчика за рукав, заерзала поднявшимся вверх горбом, но ничего за головами толпы не увидела. В первую минуту Ульрих Шмидке тоже не увидел ничего.

— Просите! — крикнула горбунья, вновь опуская горб.—
Просите же!

И вдруг, подняв ко рту ладони, она стала кричать густым,
как у мужчины, голосом:

— Рабо-о-ты!..

Но там, куда смотрел Ульрих Шмидке, шли не без-
работные. От рыжей кирпичной стены магистрата, зали-
того утренним солнцем, навстречу толпе шел взвод поли-
ции.

— Рабо-оту! — не видя полиции, вновь крикнула гор-
бунья.

— Хле-ба!

— Ра-бо-ту! — подхватили другие голоса.

Где-то, над задними рядами толпы, взвился красный тя-
желый флаг. Поднявшись над головами, флаг на минуту
остановился, точно оглядывая перед собой площадь, потом,
наклонив древко вперед, острым красным треугольником дви-
нулся к магистрату.

— Заварили!..— сказал кто-то, досадливо сплюнув.

— И заварим...— опять не сдержался Ульрих Шмидке.

Но приказчик перед ним взмахнул в это время руками,
дернулся вперед и вдруг упал, почему-то схватившись за
шляпу.

— Работу!..— уже не мужским, а визгливым, задыхаю-
щимся голосом крикнула горбунья, но второй залп, вновь
брошенный в воздух, сорвал и сбил ее крик. Горбунья присела
над трупом приказчика и, запрокинув к горбу голову, стала
испуганно смотреть, как задрожал и заколыхался попавший
в руки веснушчатого рабочего красный, уже на все полотнище
развернувшийся флаг.

А у ног ее, под ухом приказчика, плоская дешевая сига-
ретка все еще дымилась.

Эрих еще спал, но и Алексей не слышал далеких залпов,
которые из другого конца города в комнату их, конечно, не
долетели.

Играя на сонных стеклах, в комнату глядело чуть за-
дернутое облаками небо. Лучи солнца, легко трогая рамы,
осторожно и точно на ощупь опускались в тишину комнаты.
На подоконнике лежала прозрачная тень бутылки. Рыбий
жир был давно уже выпит. На новую фанеру тоже не было
денег. Под бутылкой лежала неиспользованная синяя копи-
ровальная бумага. Жирные круги на бумаге были чер-
ными.

...Вот один из лучей, прямой и ровный, дотянулся и лег, наконец, на шкаф за кроватью Эриха. Берта подошла к окну, думая заслонить занавескою свет. Но занавесок на окне не было.

— Знаете, Алекс,— сказала она,— я буду любить вас обоих одинаково сильно. Можно?

— Берта, дайте мне дочитать! Можно?

Алексей сидел возле окна и читал письмо Инге, только что принесенное какой-то девочкой. Луч солнца, плывущий к шкафу, касался его головы, и тень волос, брошенная на письмо, казалась острой и далеко вытянутой вперед.

— Вы бы причесались, милый Алекс!.. Вы пробор носите или зачесываетесь назад, как музыканты? Дайте, я причешу вас. Можно?

— Берта, можно дочитать?

Берта вздохнула, положила гребень на подоконник и, опять повернувшись к Алексею, стала терпеливо ждать, пока он наконец подымет на нее голову. Но Алексей головы не подымал.

«Помните,— читал он,— я рассказывала вам когда-то, как сапожник, который жил рядом с нами в Нюрнберге, каждый день стегал ремнем свою девочку? Мне было тогда девять или десять лет. Однажды я к ней подошла. Она стояла возле стены, заросшей диким виноградом, и плакала. Я подошла к ней и сказала:

— Меня никто никогда не бьет, потому что я хорошо учусь. Но скоро меня будут бить тоже; я не могу видеть, как ты плачешь, и я тоже буду скверно учиться. Хочешь?

Поймите, Алекс, к чему я пишу вам обо всем этом!

Я не знаю, как вы попали к белым, но я знаю, отчего вы хотите к нам. Каждый раз, когда вы говорите о том, что готовы идти со мной,— с нами,— я верю в искренность ваших слов, но в ваши «революционные чувства» я не верю. Вы человек честных рефлексов, Алекс, но вы не революционер! Обстоятельства вокруг вас сложились так, что вы думаете: вот — внезапно — вы стали революционером! А я знаю,— если вы меня и не полюбили, то во всяком случае задержали в вашей душе слишком теплое ко мне чувство, а потому, когда вы говорите мне о банках со спиртом, о рыбах на полках зоологического музея, о том, что вы хотите сойти с полка в жизнь и бороться, мне всегда кажется: вы говорите приблизительно то же самое, что сказала я дочери сапожника в Нюрнберге. Вы говорите: я не могу видеть, как бьют и травят тебя на всех перекрестках, и я тоже хочу быть революционером.

Не характерно ли, Алекс, что вы говорите об этих полках, мертвых рыбах и прочее только мне, человеку революции, а не говорите, например, хотя бы Эриху...»

«Эриху?..— подумал Алексей,— не говорю Эриху...»

Но Эрих еще спал. Не говорить же Берте о своей обиде!..

«Теперь обо мне, Алекс,— продолжал он читать.— Имея мягкое сердце, нельзя быть революционером. Вы должны меня простить. Сейчас я открою вам правду и буду требовать у вас того, о чем раньше только просила. Я не смею быть мягкой!..

Это последние слова, которые вы от меня услышите! Алекс, вы многого не знаете. Сегодня я буду откровенной. Сожгите это письмо.

Будучи девочкой, я ушла от семьи, потому что власти над собой, даже власти отца, я не могла признать уже в детстве. Теперь я, может быть, уйду из партии. Да, я уйду. Я — человек, Алекс, я — не машина. Я не верю присяжным революционерам, творящим революцию по разработанной схеме. Я хочу быть искрой, которую носит стихийный ветер...

Теперь о том, что касается вас лично...

Но меня, Алекс, не поняли. Партия назвала меня ренегаткой, а рабочие, те, которые шли со мной бок о бок, бросили мне в лицо: белогвардейка!

Я бы не писала вам обо всем этом, если бы вы вчера не пытались ко мне подойти. Но я должна работать и должна ломать все преграды.

Алекс, вчера в толпе, перед которой я выступала, я увидела вас. Вы хотели подойти ко мне, и я, не успев отвести направленные на меня удары, должна была скрыться. Я вас боялась. Меня назвали белогвардейкой, а в вас могли бы узнать бывшего белого. Мое знакомство с вами могло бы тенью лечь на мою работу. Простите, Алекс, но с мягким сердцем нельзя работать на революцию. Теперь вы поняли меня, Алекс?

Меня бьют не только фашисты, меня бьют теперь и мои бывшие товарищи коммунисты, и я должна считаться со многим, с чем раньше никогда не считалась. Я должна от вас уйти. Но уйти, молча оттолкнув вас от себя, я не хочу. Я чувствую в вас хорошего человека, а потому я и объясняю, почему мне приходится вас оттолкнуть.

Мы не знакомы. Я верю в вашу искреннюю дружбу...»

— Что с вами, Алекс? — спросила Берта, еще не зная, можно ли положить ладонь на его взлохмаченную голову или еще рано.

Но Алексѣй не ответил. Он опустил голову, отведя ее от Берты, рука которой опять тихо упала.

— Алекс, милый! — повторила Берта уже обиженно.

Но Алексѣй продолжал смотреть на письмо. Вот оно перегнулось в его руке, и верхние, мелко исписанные строчки, опрокидываясь, потекли одна за другой к окошку...

— Алекс!..

Как раз в это время проснулся Эрих. Он видел во сне ночь. Очень темную ночь, в которой, ныряя, уплывали куда-то дребезжащие в руке у фельдшера стекла фонаря.

«Залатаем! Две латки!..» — сказал кому-то ловкий, как обезьяна, санитар, и Эрих улыбнулся, уже чувствуя сквозь веки веселую игру утреннего солнца.

Но Алексѣй возле окна в ответ ему не улыбнулся. Эрих взглянул на него, потом увидел на подоконнике пустую бутылку из-под рыбьего жира, подумал, как бы купить новую, и, приподнявшись на подушке, стал искать носовой платок.

— Эрих!.. — положив письмо на подоконник, обернулся тогда в глубь комнаты Алексѣй.

Он прошел мимо Берты, которая стояла у стола и налиwała кипяток в стаканы.

— Нет, ты послушай, Эрих, что пишет Инге!..

Носовой платок Эриха выпал из-под одеяла. Платок был густо покрыт кровью, и когда Эрих, наконец, его увидел, он вдруг перестал думать, где бы достать деньги на покупку рыбьего жира. От внезапного испуга за жизнь мысли его круто скользнули вниз. Эрих сдвинул брови, но ему не удалось ни остановить мысли, ни задержать куда-то бегущую пустоту. Ему даже показалось: он падает.

«Залатаем!..» — засмеялся где-то за ним очкастый врач «Союза увечных воинов».

«Залатаем!» — смеялся ловкий, как обезьяна, санитар, и вдруг рядом с могилкой, в которую с шатких носилок падало грузное тело ефрейтора, завернутое в кровавую, грязную шинель, Эрих увидел и свою могилу.

«Могла кровь, — хотел спросить Алексѣй, подходя к кровати Эриха, — могла кровь, которая хлещет из тебя, простреленного во славу Вильгельма, Пуанкаре и Николая, сделать меня наконец красным?..»

Но, увидя на полу носовой платок Эриха, Алексѣй ничего не спросил, а стал думать, что деньги на рыбий жир — где угодно, — а достать необходимо!

Одна только Берта о рыбьем жире не думала.

— Алекс!..

Нет, Алекс не хотел ей отвечать!.. Тогда Берта подошла к вешалке и стала надевать пальто, готовая сбросить его в ту минуту, когда Алекс к ней обернется.

— Алекс, мой снегирь...

Она все еще надевала пальто, застегивая и расстегивая по несколько раз каждую пуговицу. Вот, еще раз обернувшись, она посмотрела — теперь уже на Эриха.

— Эрих... я...

Но и Эрих ее не видел. Не слушая ни Берты, ни Алексея, который вновь заговорил о чем-то взволнованно и громко, Эрих неподвижно сидел на кровати. Ни о черной ночи в Шампани, ни о фельдшере с дребезжающим фонарем в руке, ни о ловком, как обезьяна, санитаре, ни о ефрейторе, распоротый живот которого дымил, как открытый котел походной кухни, ни о рыбьем жире и очкастом враче «Союза увечных воинов» он больше не думал. «Ну, так ладно же!..— думал Эрих, пытаюсь вернуть спокойствие.— Но упасть — так повалить! Падая, опрокинуть!.. Тех опрокинуть, тех...»

— Алекс! Эрих... я...

А Эрих уже вспоминал, как гудели и свистели прибывающие с фронта эшелоны и как, покинув эшелоны, его более счастливые товарищи пошли не к очкастому врачу союза, а на заводы и фабрики... Где они сейчас?.. Где тот, с желтой щетиной под бескозыркой, левофланговый их роты, Ульрих Шмидке?.. «Опрокинуть!..» — уже тогда говорил ему шепотом Ульрих Шмидке. «Сосут и тянут по жилочкам!..— в злобе повторял он.— Но подождите, принц Макс Гуго фон Гогенлое, принц Удо цу Штольберг-Вернигероде-Узлар, Рихард Карл Бернгард граф фон Шверин и прочие господа с трехэтажными титулами!..» Он наклонялся к Эриху и смотрел на него из-под бескозырки желтыми, слезящимися от газов глазами: «Эрих, иди с нами!.. И тебя и других... задавят!.. Эрих, сегодня — газы, завтра — безденежье!..».

— Алекс, мой снегирь...

— Эрих!..— Послушай, Эрих, могла кровь, которая хлещет из тебя, простреленного во славу Пуанкаре, Вильгельма и Николая...

— Алекс, я иду!.. Мой снегирь...

Эрих поднял голову. Он уже вспомнил, где живет Ульрих Шмидке. Он здесь, в Берлине. Ульрих Шмидке — рабочий завода Сименс — Шукерта в Сименштадте...

— Мой снегирь...

— Идите вы с вашими снегирями!..— крикнул Алексей, оборачиваясь к Берте.— Эрих, могла кровь...

...Прошло полчаса.

— Оставь Инге в покое, — уже совершенно спокойно говорил Эрих. — У тебя нет никаких политических убеждений. У тебя просто-напросто плохая нервная система! — Он замолчал и вдруг улыбнулся. — Это, конечно, не политика, — но зачем ты, к примеру, обидел эту девочку-хохотушку? Иди, верни ее!

Но вернуть Берту не удалось.

— Можно?

В дверях, вежливо играя концами черных усов, стоял, нагнувшись вперед, Саховский.

Когда на звонок Берты низкая, клеенкой обитая дверь на четвертом этаже наконец открылась, снегирь в комнате за кухней радостно засвистел. Потом, хлопая крыльями, он вылетел из открытой клетки и, нырнув под висячую лампу, полетел к двери. Края бумажного абажура под лампой закачались и мягко зашуршали.

— Вот и я! — весело сказала Берта.

На улице было много солнца, и обиженной Берте трудно было не смеяться.

— Как жили? Что во сне видели?..

Снегирь, залетевший на кухню, запрыгал по алюминиевым, вверх дном опрокинутым кастрюлям, которые длинными ровными рядами стояли на полке. Казалось, снегирь встретил Берту с восторгом гораздо большим, чем встретила ее мать, старая фрау Фибер.

— Я не спала всю ночь!.. — вздохнула она и вслед за Бертою прошла в комнату. Круглая перламутровая пуговка на английском воротнике ее черной кофточки отпоролась и раскачивалась на белой длинной нитке. Ударяясь о брошку, пуговка звенела.

— Берта, где ты опять пропадала?..

Фрау Фибер села за маленький овальный столик, где — серые и бурые — лежали вперемежку чьи-то порванные шерстяные носки, и подняла на Берту тихие, усталые глаза. Пуговка под ее воротником повисла неподвижно.

— Неужели тебе не жаль старой матери, которая из-за тебя опять не спала всю ночь?.. Я не знаю, что с тобой делать!.. Я...

Подобрав сухие, сетью морщинок покрытые губы, фрау Фибер поборола прорвавшийся было всхлип. Веки ее дернулись, а перламутровая пуговка над брошью задрожала.

— Я... я... совершенно бессильна!

И вдруг веки ее задергались часто и быстро, а пуговка торопливо зазвенела о брошку.

— Mutti! ¹

Берта, на плече которой снегирь доверчиво хлопал крыльями, подошла к плачущей матери. Снегирь слетел с плеча и стал прыгать по дырявым носкам.

— Mutti! — повторила Берта, тоже садясь за столик.— Я была у фрау Зеренсен... фрау Зеренсен так одинока!.. У ней нет детей, как у тебя, Mutti!.. Я всю ночь просидела у ее постели... Она так слаба, что не может подняться, а пить лекарство ей нужно каждые два часа...

Фрау Фибер не знала фрау Зеренсен, она даже никогда не слыхала этого имени, но спросить дочь, где они познакомились, фрау Фибер не успела. Подняв к потолку глаза, Берта уже говорила о пасторе Зоненвинкеле, о котором фрау Фибер могла слушать в любое время и всегда с тем же тихим радостным восторгом.

— Mutti! — рассказывала Берта.— «О, любимые во Христе прихожане! — сказал нам в воскресенье пастор Зоненвинкель.— В царстве небесном, где некогда тигр и агнец, еще не ведая злобы, паслись на зелени одной лужайки, отныне только обиженные жизнью, больные и отдавшие свое милосердие больным и обиженным найдут вечное упоение и блаженство!...».

Берта смотрела на потолок, точно там — над потолком — видела и зеленую лужайку, и тигра, и кроткого агнца, и всех, о ком по воскресеньям говорит пастор Зоненвинкель.

Мать Берты опять всхлипнула, еще обиженно, но вдруг глубоко вздохнула и перестала плакать. Она болела ногами, с четвертого этажа спускаться не могла, а потому уже давно не была в церкви.

— Как хорошо говорит наш пастор! — вздохнула она еще сквозь слезы, но уже ласково и любовно поднимая глаза на Берту.

— Как же, Mutti, могла я не остаться у больной фрау Зеренсен, когда пастор сказал нам в прошлое воскресенье...

На минуту Берта замолчала. Слов, которые мог бы сказать в церкви пастор, она знала очень много, но она подыскивала самые глухие и жуткие, те, от которых старушки на всех скамейках церкви торопливо сморкаются в носовые платки.

— «Мир наш тонет в черных грехах! — сказал нам пастор Зоненвинкель,— торжественно продолжала Берта.— В этом последнем, великом и страшном потопе...»

¹ Самое ласковое обращение к матери. (нем.).

— «Последнем, великом и страшном потопе...» — шепотом повторяла фрау Фибер.

— «...хватайтесь, о, дорогие братья и сестры, за малые дела вашего милосердного сердца, дабы спастись и не утонуть в черной пучине греха!..» Mutti! — Берта протянула через стол руку и, отыскав среди носков худую руку матери, тихо ее поцеловала.— Mutti!..— не в силах сказать ничего другого, повторила она, еще чувствуя возле губ худую и шершавую руку.

Ей хотелось заплакать от жалости к этой руке, вены которой были тугие и твердые, как веревки.

— Mutti!..

А когда тоже дрогнувшая рука матери легла ей на голову и ласково утонула в волосах, Берте стало жаль и себя, и Алекса, и Эриха, и фрау Зеренсен, в которую, казалось, уже и сама поверила, и всех, к кому мог звать под темными сводами с черной церковной кафедры пастор Зоненвинкель.

— Mutti! — повторяла она.— Неужели ты сердиться на меня, на твою скверную девочку, сердце которой томится от несокрушимой любви?..

И Берта упала лицом на смятые, десять раз перестиранные и перештопанные носки и заплакала так же тяжело, как над кроватью покойной жены Артура Глейзе.

— Берта!.. Бертелэ, не надо!..

А снегирь, спорхнув с овального столика, уже сидел в дверцах открытой клетки и свистел, жалобно открывая клюв.

— Mutti,— сказала Берта, вставая.— Не надо плакать.

И, приподняв край юбки, она вытерла глаза и подошла к клетке.

— Что, Петерхен?

Снегирь опять открыл клюв.

...Потом Берта пошла на кухню. Старая фрау Фибер осталась над носками. Сегодня утром, уходя на службу, Карл надел непарные носки — один серый и один рыжий,— а потому фрау Фибер решила во что бы то ни стало выштопать к вечеру все пары.

Пройдя к белому кухонному столу, Берта услышала, как вздохнула в комнате мать. Снегирь Петерхен уже получил свою порцию зерен, и Берта решила накормить теперь мать. Она стала рыться в шкафу, думая найти маргарин и картофель. Но на белой дощечке-свинке, которая лежала на полке шкафа, маргарина вовсе не оказалось. Картофеля в кулке

было мало, и, минуту подумав, Берта решила снести его Алексею.

«Алекс пьет кипяток, — думала она. — А я обиделась!.. Голодный человек не может быть ласковым!.. Алекс голодает... Алекс...»

Если б снегирь в соседней комнате засвистел веселую песенку, Берта, быть может, тоже запела бы весело и задорно. Но, насытившись, снегирь молчал, в кухне было тихо, и Берта стала думать об одиночестве Алексея.

«Алекс!» — шепотом повторяла она, слушая, как мягко и ласково ложится в тишину это имя.

«А-лекс!...»

Мать за дверью опять вздохнула, но Берта уже не слышала ее вдоха.

«Алекс, милый!..» — повторяла она, уже перебирая картофель из кулька в корзину.

Это была лучшая корзиночка в их доме. Берта постоянно ходила с ней в очереди за хлебом. Корзина была покрыта белой салфеткой, на которой, думая о Рудольфе, Берта вышила как-то «Железный крест» и три цветка точно невзначай брошенных ромашек.

Но до Алексея Берта не дошла. Она даже не вышла на улицу.

На дворе возле ящика с песком молча играла какими-то палочками маленькая Гертруда, дочь вдовы Шмидке из квартиры вправо под воротами. Широкое, с чужого плеча перешитое платье на девочке было на спине порвано, рубашки под ним не было, солнце ползло по острым, присыпанным песком лопаткам голой спины, а грязные пальцы девочки были тоньше палочек, которыми она играла.

— Tante Bertchen! — крикнула Гертруда и, путаясь в широком платье, побежала Берте навстречу.

Тогда Берта позабыла об Алексее.

— Идем! — сказала она маленькой Гертруде и понесла картофель вдове Шмидке.

У Саховского были не сигаретки, а русские папиросы берлинской фабрики Майкопар.

Алексей затынулся и стал смотреть, как побежал к окну голубой, кувыркающийся дым.

За окном — на другой стороне улицы — возле пивной с темными окнами, в которых яркими, убегающими вглубь

полосами тонул чуть ли не весь залитый солнцем бульвар, кто-то в помятом котелке, очевидно пьяный, безнадежно махал рукой.

Молодой конный полицейский, спустившись с крутого моста через Ландвер-канал, вежливо козырнул вышедшему из бань брандмейстеру, улыбнулся и, задержав возле розового оттопыренного уха затянутую в белую перчатку ладонь, медленно проехал мимо пьяного и свернул за угол, где возле булочной Вебера уже гудел и кричал сбжавшийся со всех окрестных улиц народ.

«Посоветоваться бы, а Эрих ушел...— думал Алексей, не отходя от окна.— Но куда все-таки ушел Эрих?..».

Голубой дым вокруг лица Алексея вдруг качнулся прозрачной волною. Алексею показалось,— в дыму закачались его плечи; голова, закружившаяся от солнца и дыма, тоже поплыла куда-то в сторону.

«Не следовало курить на голодный желудок!» — подумал Алексей, отворачиваясь от окна.

Первое, что он вновь увидел в глубине комнаты — это черные усики Саховского, которые на этот раз были закручены ту же обыкновенного и, каждый раз, когда он улыбался, легко подергивались острыми кончиками.

Алексей взглянул на портрет усатых гвардейцев-барabanщиков.

— Я весьма мало заинтересован,— говорил между тем Саховский.

Нахохлив усы, барабанщики на стене смеялись, а усики Саховского дергались, как хвост хитрой ящерицы. Алексей знал: Саховский хочет улыбнуться, но улыбнуться себе не разрешает.

— Просто товарищеское одолжение. Верить?

«Не верю!» — хотел сказать Алексей, но тоже сдержался и только махнул рукой так же безнадежно, как махал пьяный возле пивной за окнами.

— Франция русских паспортов не визирует,— продолжал Саховский.— Бельгия, Чехия и Дания тоже не желают с нами знакомиться. Приперли нашего брата!..

Алексей слушал Саховского, но понять ничего не мог. Артур Глейзе чистил на кухне кастрюли. В хозяйских делах он был неопытен, кастрюли звенели на всю квартиру, и Алексей думал не о том, о чем говорил Саховский, а о картофеле, остаток которого еще вчера сварил Эрих.

— Да, но, значит, о Дулевиче...— сквозь звон кастрюль неясно скользили мимо Алексея слова Саховского.— На две недели... Да, Дулевич уезжает,— в Польшу, кажется... пере-

ждать... Думаю, объяснять, что сейфы ненадежны, когда на носу революция, я тебе не должен?.. Что?.. Ну, и вот... Да ты слышишь?..

— Слышу,— ответил Алексей, стараясь припомнить: кто этот Дулевич, о котором говорит Саховский.

Но кастрюли на кухне продолжали звенеть и Алексей не мог думать о Дулевиче.

«Если бы можно было не вспоминать о проклятом картофеле!..»

— Собственно говоря, кольцо это Дулевич дал на сохранение мне,— кивнув усиками, опять сказал Саховский.— Но в бараке у нас народ ненадежный,— сам знаешь!.. Вот, посмотри, какое колечко!.. Подожди-ка!..

И, разрешив себе наконец улыбнуться, Саховский поставил на стол красную сафьяновую коробочку и, наклонившись, стал возиться над ее затвором.

— За хранение ты, конечно, получишь...

На пальцы Саховского падало солнце. Розовые ногти были отточены, и белые точки на них блестели, как капельки.

— Видишь?

— Вижу.

Затвор шелкнул, и Алексей увидел кольцо с большим голубым бриллиантом, которое надел себе на палец улыбающийся Саховский. Палец поднялся вверх, и усики Саховского над пальцем завиляли.

— Два карата. Видишь?

Солнце упало уже на лицо Саховского. Зубы его блеснули, а усики над ними стали еще черней и острее.

Алексей отвернулся и увидел, как пуст стол вокруг остывшего чайника, заботливо поставленного Бертою на фанеру. А за коридором звенели кастрюли.

«Иди ты к черту!..» — хотел сказать Алексей, но какие-то желтые, блестящие круги вдруг поплыли, раздваиваясь на его глазах. Алексею даже показалось,— поплыли не круги, а золотые кольца, и не с одного, а со всех десяти пальцев Саховского.

«Это, конечно, не от папирос!.. От голода...» — подумал Алексей и, качнувшись, подошел к столу.

— Слушай, дай аванс!..— сказал он, опуская на стол ладони.— На хранение?.. Ладно, возьму!.. Жрать хочется!..

— А ты расписочку дай. Что?.. По рукам, значит!.. Дашь?..

...Составляя расписку, Алексей думал о булочной, к которой поехал на высоком коне стройный полицейский с розовыми ушами.

Коридор был очень длинный. Идя вдоль серых стен, вдова Шмидке вновь пережила все страхи, забытые было при разговорах с Бертой, а потому дальше скамейки, на которой сидел университетский сторож, она не могла пойти.

— Если и здесь нет, то искать уже негде! — сказала она, пытаясь унять дрожь в пальцах, укрытых под рваной накидкой. — Берточка, идите...

— Идем, Алекс!

Но скамейка возле стены закрипела.

— Пропуск?

— Есть пропуск, — обернулась к сторожу Берта.

Поднявшись со скамейки, седой университетский сторож долго надевал на нос очки. Два толстых, еще черных волоса на носу сперва пригнулись, потом — уже над очками — поднялись вверх.

— Идите за мной! — сказал наконец сторож, возвращая пропуск Алексею.

Алексей взял Берту под руку. Склонив голову, Берта спускалась по ступенькам с тем же трепетом, с каким еще подростком входила в гудящую органом церковь. Она даже сложила на сумочке руки, как складывают их на молитвеннике.

— У него совершенно желтые волосы, и лицо в веснушках... — дойдя со сторожем до белых дверей, шепотом сказала она.

— Ищите его по желтым волосам... Я не могу... Мне опять страшно...

Белая дверь открылась мягко и бесшумно. Алексей хотел пропустить Берту вперед, потом вспомнил, что подобная вежливость здесь, пожалуй, неуместна, и первый вошел за сторожем.

— Мужчина? — спросил сторож.

- Мужчина.
- Значит, направо.
- Идите за нами, Берта.

Лампы под высоким потолком прятались за белыми зон-тами. Тихо гудел вентилятор. Берта вынула носовой платок и прижала его к губам.

- Направо. Здесь женщины.

Вентилятор загудел ближе. Глаза Берты над носовым платком перестали мигать.

- Дышите носом...

— У нас не пахнет! Вентилятор...— сказал сторож, обо-рачиваясь.

- Сапоги его скрипели...

...Столы вдоль стен были низки, как нары в казармах, и женщины, которые лежали на них, мутными и заплывши-ми глазами смотрели на Алексея снизу вверх. Они были прикрыты бумажными простынями, и только одна женщи-на, крайняя, наполовину из-под простыни выпала. Кисть ее руки лежала на полу. Одна грудь, почему-то синяя, сви-сала, как пустой мешок.

— У нас не пахнет! — гордо повторил сторож.— Вен-тиляция...

- Вижу...

— Да вы привычный. И барышня ваша ничего... Не-давно одна молодая особа...

- Ведите направо!

Но сторож уже остановился и указал рукой за белый выступ.

- Дальше я не пойду,— сказала Берта.

Покойники лежали, чуть подняв под простынями коле-ни. Вероятно, сторож любил свое дело: это он разделил по-койников на мужчин и женщин и завел бумажные простыни. Пятки покойников не выпирали вперед. Покойники были положены по ранжиру, и под пятками у них — мелом — были четко выведены номера.

«Чего я смотрю на пятки?» — подумал Алексей и, скольз-нув глазами по простыням, стал смотреть в лица покойников.

— Я не могу!..— вновь, уже громче, сказала за Алексеем Берта.— Если увидите с желтыми волосами...

- Знаю!

«Знаю!» — повторило под потолком глухое эхо.

Но ни первый, ни второй, ни третий покойник желтых волос не имели.

Черными волосами покрытый висок четвертого был залеплен кружком бумаги.

«Пулей хватило...— решил Алексей.— На излете...»

У пятого усы были рыжие, все еще не опустившиеся и мохнатые. Брови над запухшими глазами были желтые.

— Быть может, этот?

Алексей остановился.

— Полицейский,— сказал сторож.

Шестой, седьмой... Наконец, старик. За стариком — очень толстый блондин с руками пухлыми, как у женщины. Руки были сложены на бумажной простыне, и локоть одной руки, совершенно белый и без волос, упирался в грудь мальчика, лежащего последним.

Почему-то мальчик не был прикрыт, и ребра его острой груди были обведены и исчерканы чернильным карандашом.

— Коммунар! — улыбнулся сторож.

Бровь над одним глазом мальчика была сбрита, и мутный, неподвижный глаз казался большим и удивленным. Другой глаз уже заплыл.

— Нет, Ульриха здесь нет! — обернулся к Берте Алексей и вновь пошел вдоль голых пяток, нарочито громко стуча об пол сапогами.

— Пойдем, Берта! Порадуем фрау Шмидке.

Когда они подымались по лестнице, к соседней двери — в анатомический театр — спускались три студента. Один из них курил и, громко разговаривая, размахивал в воздухе сигареткой.

— Номер девятый! — крикнул он сторожу.— Мальчугана!

— Националисты взяли Кюстрин! — кричал под воротами газетчик, едва успевая принимать деньги.

Алексей, Берта и вдова Шмидке только что вышли на улицу.

— Республика в опасности! — кричал за углом другой газетчик.

— Наступление фашизма!..

— Взятие Кюстрина...

— Вечерние!..

— Вечерние!..

Фрау Шмидке беззвучно шевелила губами. Она уже несколько дней искала сына. Сторож под заводскими воротами указал ей позавчера на пустую табельную доску.

— Шмидке? Ульрих? — переспросил он. — Не у нас теперь ищите, мамаша! Бастуют.

— Вечерние!..

— Вечерние... — кричали газетчики.

А фрау Паулина Визе, жена приятеля Ульриха, с которым он часто выпивал в прежние времена по кружке пива, даже не открыла вчера дверей. Она посмотрела на фрау Шмидке из-за цепочки и замахала руками.

— Идите, идите, фрау Шмидке! — сказала она шепотом. — В квартире рядом — полиция!..

— Вечерние!..

— Вечерние!..

Паулина Визе захлопнула вчера дверь. Что же еще оставалось делать фрау Шмидке как не пойти в главное управление полиции, где неподвижно сидели серьезные и хмурые чиновники, на плечах у которых густо лежала перхоть...

— А он коммунист? — спросил один из чиновников и посмотрел в глаза фрау Шмидке так ласково, как смотрят мужчины в глаза молодым девушкам, когда ждут от них ответа на признание...

— Вечерние!..

— Вечерние!..

«Ах, как кричат эти газетчики!..» — думала фрау Шмидке.

На узкой улице, на которую вышли Алексей, Берта и фрау Шмидке, газетчики не кричали, но народ гудел, как гудит на рынках в дни, когда молочники не привозят молока, а мясники торгуют овощами.

Под стволом пожелтевшей липы стояла нянька. На белых кружевах детской коляски играло солнце. Нянька хотела пройти за угол, но на углу стояла толпа.

— Самым решительным образом!.. Самым решительным образом!.. — громко повторял на углу пожилой человек в котелке. Голубая полосатая манжета хлопала о его костлявую руку, которой в такт словам помахивал он в воздухе.

— Жди, чтоб наша да республика да выступила бы против фашистов да еще самым решительным образом!.. — засмеялся в толпе кто-то.

— Самым решительным образом!.. — повторил человек в котелке и вновь захлопал голубой манжетой.

...Сейчас, после мертвецкой, Алексей почему-то особенно сильно чувствовал голод. Две жареные рыбки, которые принесла ему Берта, он отдал Эриху.

Она прибежала к нему сегодня еще рано утром.

— Я, знаете... вчера...— хотел было извиниться Алексей, но Берта его не слушала.

— Мы уже были в двух покойницких,— говорила она, не раздеваясь,— еще вчера... Но идемте, идемте!

— Куда?

— Идем, идемте! — повторяла Берта.— Идемте его искать... Ну?... Алекс, ну?..

— Кого?.. Берта?..

— Я одна боюсь... Да идемте!.. Старуха боится... Я объясню... По дороге...

...За углом, куда нянька протолкнула наконец коляску, толпа, ныряя между автомобилями, бежала через улицу.

— Смотрите, смотрите! — вдруг засмеялась Берта.— Они точно плавают!.. Смотрите!

Алексей остановился. Два постовых полицейских, прижатые к стене на другой стороне улицы, бессильно махали в воздухе кулаками. Резиновые дубинки из рук у них были выбиты.

— Сюда!..— кричали полицейские.— Сюда!..

Перед ними, подпрыгивая, стоял грязный, тупорылый грузовик. Трое рабочих на грузовике толкали в угол его площадки какие-то ящики. Из открытых дверей продовольственного магазина еще двое выносили кульки с мукой.

— Вот это — самым решительным образом! — крикнул рядом с Алексеем косоглазый мастеровой и засмеялся, ударив по бедрам ладонями.— Пролетарские сотни действуют.

— Реквизируют?..

— Реквизируют!..

— Это не пролетарские сотни!.. Это — грабеж! — закричал за мастеровым кто-то и взмахнул в воздухе голубыми манжетами.

— Грабят!..

— Полицию!..

— Ах, пустите!.. Ах!.. Ай!..— крикнула нянька и, толкая коляску, побежала по тротуару. Ребенок в коляске махал руками. Ребенок уже не плакал, а кричал, и Алексею казалось, — ребенок кричит басом.

— Полицию! — басом кричал из дверей часового магазина человек в золотых очках. Но вдруг очки слетели с его носа и, закачавшись, повисли под ухом.

— Товарищи! — крикнул мастеровой, толкнувший часовщика.— Товарищи!.. Идут! Идут! Полиция!

— Ульрих!

Часовщик задышался. Часовщик хотел крикнуть: «Сюда, ко мне! Сюда!», но кричать он уже не мог.

— Ульрих! Ульрих! — кричала фрау Шмидке.— Ульрих!

Она бросилась к панели и сбежала на асфальт мостовой, движение на которой вдруг остановилось. Берта схватила ее за руку.

— Алекс!..

Алекс не видел ни Берты, ни фрау Шмидке. Цепь полицейских, выбежавшая из-за угла, замедлила шаг и уже шла на грузовик, на который вскочил молодой рабочий с желтыми, как солома, волосами.

— Halt! ¹ — крикнул ему идущий в цепи огромный, затянутый в зеленое сукно вахмистр.— Halt!.. Стрелять буду!..

— Ульрих!..

— Алекс, Алекс!..

Но цепь полицейских уже остановилась. Винтовки блеснули горизонтальными линиями, а зеленый вахмистр взмахнул в воздухе дубинкой, точно саблей перед залпом.

«Сейчас — пли!» — еще успел подумать Алексей, вспомнив, как падали люди под залпы корниловцев, и вдруг, сорвав с головы кожаную кепку, зажал в ней кулак и наотмашь ударил в окно часового магазина.

Стекло гулко цокнуло, потом зазвенело, и когда Алексей обернулся, он увидел, что зеленый вахмистр действительно бежит на него.

— Беги! — рванул Алексея за локоть мастеровой.

— Halt! — крикнул вахмистр, но Берта, оставив фрау Шмидке, схватила его за рукав и вдруг упала ему под ноги. Над сумочкой ее скользнул черный сапог.

— Беги! — опять крикнул мастеровой и с силой толкнул Алексея в спину.

Тогда Алексей побежал. Он побежал направо, не в ту сторону, куда, разрывая воздух гудками, уже мчался тяжелый грузовик, за рулем которого сидел Ульрих Шмидке.

Когда Алексей, еще задыхаясь от быстрого бега, шел по мосту через Ландвер-канал, глубокая вода становилась свинцово-серой, но низкою серую тучу, плывшую над городом, Алексей увидел только через окно лестницы.

¹ Стой! (нем.)

Алексей спешил домой. Он хотел спросить, что грозит Берте, если этот огромный зеленый вахмистр потащил ее в полицию. Но Эриха не было дома.

«Сидел, сидел, выпивал...— думал досадуя Алексей,— и вдруг как сорвется! И где его носит?..»

Серая туча за окном лежала над самыми крышами. О карнизы еще цеплялось солнце, а в комнате было уже темно. На полу валялась пустая бутылка с коротким горлышком. Алексей ткнул бутылку ногой, снял пальто, потом вновь подошел к окну, поднял с пола бутылку и опять пошел к вешалке.

«Нет, пойду!..»

В это время в окно ударили тяжелые полосы дождя. На крыше дома по другую сторону улицы стоял трубочист. Он поднял к небу голову и, подобрав локти, быстро побежал вдоль карниза. Дождь по карнизу побежал за ним вприпрыжку.

«Пойду!..» — повторил Алексей.

Старое, еще в Константинополе с узких плеч какого-то грека купленное пальто никак не хотело налезать на плечи Алексея. Притаптывая каблуками, Алексей кружился и нетерпеливо дергал руками. Наконец, выпрямившись, он стал застегивать пуговицы. Порыжелые рукава поднялись до локтей, и, когда Алексей вновь одернул их книзу, из-под порванной подкладки посыпались мелкие стеклышки.

— Новости, герр Зуев!.. Новости...— вошел в комнату Артур Глейзе.

В руках он держал развернутый лист газеты «Форвертс».
— Читали?

Алексей знал, о каких новостях хочет рассказать Артур Глейзе: конечно, Кюстрин, падение которого заставило сегодня полицейских срывать злобу на рабочих, а рабочих — гудеть на всех углах и перекрестках окраин. Ведь даже и Эриху не сидится сегодня дома!..

— Читали? — повторил Артур Глейзе, ударяя о ладонь сложенной газетой.

Алексей отвернулся к окну и стал застегивать ржавый и непокорный крючок у ворота.

Дождь за окном, гулко отскакивая от стекла, плашмя падал на тупой выступ стены и срывался вниз рваными брызгами.

— А где ваш товарищ, герр Зуев?.. При такой погоде?..

Сквозь серые полосы дождя всё еще густая листва бульвара плыла куда-то круглыми зелеными волнами. Под ними — вдоль взрытого песка бульвара — неслись желтые листья, оторвавшиеся от хлещущих веток. Желтых листьев

было еще немного, летать им было просторно, и казалось, они летят по бульвару быстрее ветра, который гнал за ними косой, тяжелый дождь.

— Что бы сказал на эти новости ваш товарищ, герр Зуев? А?.. Новости, говорю...

«Оставьте вы меня с Эрихом в покое!» — хотел избавиться от Артура Глейзе Алексей. Но, вспомнив, что за комнату все еще не уплачено, он сдержался.

— Скажите лучше, герр Глейзе,— неожиданно спросил он,— бьют в вашей полиции девушек?

— И девушек, герр Зуев, и мальчиков,— всех бьют! — засмеялся Артур Глейзе, решив, что в полицию попала, вероятно, Инге.— На то и полиция, чтоб учить!..

И, перебив жесткий смех вновь залязгавшим протезом, Артур Глейзе вышел вслед за Алексеем в коридор. В коридоре он вспомнил, что кипятик, заказанный, но не взятый Алексеем, должно быть уже простыл. Делать Артуру Глейзе было нечего, и он решил вымыть ногу.

В последний раз шевельнув по очереди всеми пятью корявыми пальцами единственной ноги, Артур Глейзе вынул ее из умывальной чашки, положил на табурет и достал из кармана бумажник. Он хотел пересчитать, много ли осталось у него из тех денег, которые дал ему Рудольф фон Лессау.

Голые пальцы отдыхающей ноги двигаться перестали. Застарелая желтая мозоль на мизинце тихо дремала, прикрыв к стенке теплой печки.

Артуру Глейзе не хотелось лишать мизинец покоя и отдыха, а потому, когда кто-то у входной двери вдруг позвонил, он поднялся с табурета недовольный и сердитый.

— Ушел... Оба ушли... — коротко сказал он, открыв дверь на лестницу.

Но Саховский, казалось, уходить не собирался.

— Чрезвычайно жаль!.. Чрезвычайно!.. — повторял он.— Такая погода!.. Разрешите, может быть, переждать?.. Дождь...

— Нет! — ответил Артур Глейзе и вдруг увидел, как Саховский к нему перегнулся и опустил руку в карман брюк, прикрытых мокрым макинтошем.

— Курите?.. — спросил он, улыбнувшись мокрыми усиками, и в руке у него ловко открылся маленький ящичек с черными бразильскими сигарами.

— Пожалуйста!.. Прошу, если курите...

Сигары лежали друг возле дружки, одинаково ровные и одинаково черные.

— И не будьте таким скромным!.. Еще одну — на послеобеденную... Пожалуйста...

— Вы очень любезны! — сказал Артур Глейзе, взял вторую сигару и, отступив от двери, пропустил Саховского в коридор.

Двух сигар сразу в руках у себя он давно уже не видел.

А Саховский, пройдя в комнату Алексея и Эриха, спокойно снял пальто, посмотрел вокруг себя, подошел было к вешалке, но вновь обернулся и повесил пальто на ручку двери, прикрыв им замочную скважину.

«Тэк-с!» — сказал он после этого, подошел к окну и, подняв двумя пальцами бутылку, прочел «рыбий жир» и брезгливо усмехнулся.

За окном все еще шумел дождь. Где-то, не переставая, звонил трамвай. Вероятно, трамвай как раз загибал за угол. Над потолком кто-то гулко играл на рояле одну из трех новых шантаных песенок, которыми наводнили Германию прибывшие из-за океана американцы.

Саховский выждал, пока, забежав за угол, трамвай не перестал наконец тревожно звонить, и только тогда подошел и наклонился над комодом.

Верхний ящик не был заперт. В нем Саховский нашел два грязных воротничка и запонку. Запонка покатила по дну ящика, и Саховский насторожился. Потом, вновь оглянувшись на дверь, он выдвинул второй ящик. Во втором лежали порванные подтяжки, ремень для точки бритвы, частый гребень, весь забитый перхотью, и кусок семейного мыла «Счастье».

«Тэк-с!.. Теперь дальше...»

Но третий ящик — нижний — не поддавался.

«Это хуже!..» — подумал Саховский, опускаясь на колени.

Веселая шантанная песенка над потолком повела какую-то грустную мелодию. Потом грустная мелодия оборвалась, и над потолком, точно толкая друг друга, запрыгали отдельные, бравурные ноты.

«Ба-наны, ба-на-ны!» — запел вполголоса Саховский, доставая из кармана связку ключей.

Но маленькие ключики тонули в глубоком расшатанном замке, они легко и свободно поворачивались, и открыть ящик Саховскому не удалось.

«Подожди-ка!» — оборвав пение, подумал тогда он. Взявшись снова за второй ящик, выдвинул его, поставил на пол и опустил руку в открывшееся отверстие комода. Перегородок между ящиками, действительно, не оказалось, и рука Саховского опустилась во что-то мягкое; что лежало в третьем ящике, — вероятно, в белье, — и стала там осторожно шарить.

«Рыться не следует!.. — рассуждал Саховский, все глубже опуская в белье руку. — Подобные вещицы прячут обыкновенно в углах... А ну-ка?.. Подожди, — а ну-ка?.. Есть!»

И, встав с колен, Саховский улыбнулся и раскрыл красную сафьяновую коробочку.

— ...О, это отличная марка! — минут через десять сказал Артур Глейзе вновь вышедшему в коридор Саховскому.

Как и всегда, в коридоре было темно, и Артуру Глейзе было жаль, что Саховский не видит, как он, фельдфебель Артур Глейзе, умело и по-офицерски ловко перекатывает во рту сигару.

— Бывало, на фронте, когда я служил в роте лейтенанта Адельберта Кноринга... — рассказывал он, пытаясь как-нибудь заманить Саховского в более светлую кухню.

Но Саховский и сам пробирался к кухне. Дойдя до дверей, он остановился, положил ладонь на плечо Артура Глейзе и разжал другую — осторожно и медленно:

— На два слова... можно?

Черные усики внимательно застыли. Рыжие усы Артура Глейзе удивленно оттопырились. Он даже чуть не выронил изпод них сигару.

— Пройдемте... Там теплее... — опытным глазом подсчитав в руке у Саховского деньги, сказал он и, заскрипев протезом, первый вошел в дверь.

...Веселая шантанная песенка над потолком была слышна даже на кухне.

Опустив глаза на умывальную чашку, в воде которой тихо качались острые полоски подстриженных ногтей, Артур Глейзе кивал головой и повторял как можно спокойнее и солидней:

— Уж будьте покойны!.. Буду молчать!.. Могилой буду!.. Мо-ги-лой!..

— Алекс, ты?!..

Очевидно, Берта не ждала Алексея. Волосы ее были растрепаны, кофточка застегнута не была.

— Ты?!..— радостно повторила она и, оглянувшись в полутемную прихожую, вдруг пригнула к себе Алексея и мягко толкнула его в щеку губами.

— Берта, тебя не арестовали?..

— Алекс, тебе удалось скрыться?.. Удалось?.. Да?

Пройдя в прихожую, Алексей увидел на полках кухни ряд алюминиевых кастрюль. Кастрюли блестели. На полках висели бумажные кружева. Чайник, кофейник, чайник, кофейник — бежал на кружевах узор.

— Алекс, я так за тебя рада! Но пойдем отсюда...— оправляя волосы, быстро говорила Берта.— Мама спит, но Карл каждую минуту может вернуться... Карл стал неузнаваем... Сегодня не праздник, но он не на службе... Карл кричал... Алекс, мне все хуже и хуже живется дома...

В полутьме волосы Берты казались черными. Лишь край ее головы, на которую свет падал из-за дверей, мягко горел бледно-золотой полоской.

— «Всех твоих большевиков поймаю!» — кричал сегодня Карл...— шепотом продолжала Берта.— Алекс, ты большевик, да?.. Но ты не бойся!..

— Чего ж бояться?..

Алексей смотрел, как золотые полосы волос сползают к ее вискам. Вечернее солнце ложилось и на косяк дверей. Сквозь медный луч пролетел снегирь.

— Ты большевик, Алекс? Да?..

Снегирь взлетел на полку, раскрыл клюв, потом, весело помахивая крыльями, заплясал на крайней кастрюле. Вот, радостно свистнув, он приготовился лететь.

— Улетит!

Волосы Берты вспыхнули: она обернулась к дверям.

— Алекс, снегирь улетит!.. П-шш, п-шш, противный!.. Да закрой дверь!.. Идем! Идем, Алекс!..

...Старая женщина в деревянных сандалиях на босу ногу мыла на лестнице ступеньки. Юбка ее была высоко подвязана; по голым лиловым икрам стекала грязная вода.

Когда Алексей и Берта спустились на вторую площадку, женщина обернулась, не разгибая спины, посмотрела им вслед и, ворча, стала затирать следы.

— Мы пойдем к фрау Шмидке, — говорила Алексею Берта.— До тебя далеко, да и Эрих, может быть, дома, а у ней — кухня и две комнаты... Одна — маленькая-маленькая... Ста-

руха сегодня, должно быть, опять одна... Я все расскажу тебе, милый... Ничего не случилось!.. Ничего особенного!.. Милый, я так люблю тебя!.. Алекс!.. А-лекс!..

Берта улыбнулась и, наклонив голову, заглянула ему под кожаный козырек.

Но вдова Шмидке была дома не одна.

— Что у вас там,— ночь? — удивленно спросила Берта Гертруду: в комнате за кухней окна были завешены.

На мгновенье Берта даже подумала,— вероятно, старая фрау Шмидке скоропостижно скончалась: при покойниках всегда завешивают окна. Но за дверью слышался чей-то голос, спокойный и уверенный, и Берта успокоилась: так при покойниках не разговаривают!

— Кто? — спросил из-за дверей этот голос.

Потом на кухню выглянула седая голова вдовы Шмидке.

— Кто? Товарищ Демме? — повторил тот же голос, и на кухню вышел низкорослый человек с желтыми, как солома, волосами, тот самый,— узнал Алексей,— который вскочил сегодня утром за руль нагруженного продуктами грузовика.

— Берточка пришла...— сказала ему вдова Шмидке.

— Это Ульрих...— шепнула Алексею Берта.

— Ульрих,— продолжала вдова Шмидке,— это тот молодой человек, который сегодня спас тебя от ареста.

Лицо Ульриха было очень некрасиво, сплошь покрыто мелкими веснушками, и Алексей подумал, что не таким, пожалуй, представлял он себе это лицо, всматриваясь сегодня в покойников.

— Войди, товарищ. Ты с какого завода?

«Почему непременно с завода?..» — думал Алексей, не зная, идти ли ему в комнату вслед за Ульрихом. Берта держала его за руку и тянула обратно на лестницу.

— Пойдем к тебе!.. Здесь люди!.. Пойдем лучше к тебе...— повторяла она.— Слушай, не будь жестоким!.. Я хочу быть с тобой...

«Я в другой раз зайду к вам, товарищ Шмидке»,— хотел сказать Алексей, и вдруг удивленно уставился на вышедшего из комнаты Эриха.

...Уже темнело. Сквозь завешенные окна пробивался темно-лиловый свет. В верхнем углу крайнего окна расплзлся бледный, колкий от острых лучиков круг: это на улице зажгли фонарь.

Алексей сидел в углу комнаты, на табурете, принесенном из кухни. На столе горела свеча. Вокруг подсвечника торчали короткие окурки. Один — самый короткий — еще дымил.

Здесь в комнате не происходило никакого собрания, как показалось сначала Алексею. Собираясь в революционный комитет фабзавкомов, Ульрих Шмидке поджидал товарищей. По улицам ходили усиленные патрули, на всех мостах через Шпрее и каналы стояли отряды «Имперского флага», «Консула» и «Стального шлема», и идти в одиночку на край города было опасно.

— Сколько уже нас? Четверо? — спросил Ульрих. — Подождем товарища Демме. Еще рано.

Стены комнаты были голые. Между двумя окнами висел портрет Либкнехта, загаженный на углах мухами. Ульрих стоял возле подоконника. Одно плечо его было поднято выше другого; желтые волосы, подстриженные возле висков, на макушке торчали. Он докурил сигаретку и ткнул окурком в горшок с полузасохшей примулой, стоявшей тут же на подоконнике. Берта за прикрытой дверью развешивала с фрау Шмидке белье.

Быть может, она не уступила бы Эриху и увела бы Алексея с собой, если б фрау Шмидке не попросила ее помочь.

— Веревку натяните! Над плитой — два ряда!.. Сюда — еще одну!

Голос Берты звонко кувырчался и даже здесь, в комнате, слышен был гораздо яснее, чем голос Ульриха, который говорил почти шепотом.

— Вот, товарищи, как ловят рыбешку! — говорил Ульрих. — Что же, сидеть, сложа руки, или на всех перекрестках без толку размахивать руками, чтоб в конечном итоге их в два счета скрутили бы другие руки — полицейские?

— Есть еще выход! — сказал Эрих глухо.

— Знаю! — ответил Ульрих. — О нем и будет сегодня речь.

Эрих сидел спиной к Алексею, и Алексей видел, как упрямо и зло дергались его круглые скулы. Иногда он вынимал носовой платок и откашливался, но платка после этого он не разворачивал и не смотрел на красные пятна крови.

— Что?

— Ничего! — ответил соседу Эрих. — Не нас, а мы их скрутим!

Сосед Алексея — еще совсем молодой рабочий — сидеть спокойно не мог. Он то подымал, то опускал широкие ладони, растопыривал узловатые, какую-то желтой краской залитые

пальцы и тер ими о колени, точно желая эту краску стереть. Наконец, он вскочил и стал быстро ходить по комнате.

— Сунься-ка, сунься голыми руками,— повторил он.— Кюстрин кувырнулся, за ним — Берлину конец!..

У противоположной стены, опустив коротко стриженную голову, стоял человек в синей рабочей блузе, руки которого, густо покрытые курчавыми волосами, были скрещены на груди. Алексей видел, как, не отрывая от груди подбородка, он исподлобья оглядывал всех в комнате.

— Паника? — продолжал между тем Ульрих.— Кюстрин?.. Кюстрин будет вновь взят войсками республики. В ближайшие же дни.

Дверь на кухню в это время открылась настежь. На пороге остановилась маленькая Гертруда. В руках она держала деревянную ложку, с которой капала вода. Склоненное над ложкой лицо Гертруды было не по-детски напряженно и серьезно.

— Две детские рубашки, фрау Шмидке? — смеялась за дверью Берта.— Но я не вижу ни одной! Я вижу одни дырки.

Вода из ложки в руках у Гертруды расплескалась. Гертруда вновь отошла от дверей, и Алексей увидел Берту. Она стояла возле плиты и, подняв к лицу короткую детскую рубашонку, смотрела сквозь дырки на фрау Шмидке.

— Но взят Кюстрин войсками республики будет только для того, чтобы показать массам, что республика борется, мол, не только с нами, коммунистами, а не потому, что она действительно хочет бороться с фашизмом, товарищи! С этим мы должны считаться.

Алексей слушал одновременно и глухой голос Ульриха, и смех Берты.

— А это что? Кальсоны? — смеялась она за дверью.

— Это и надо будет разъяснить завтра на заводах и безработным!

— Заводы и опять заводы! — залезая на плиту, смеялась Берта.— Скажите, фрау Шмидке, неужели ваш сын только и интересуется заводами?..

Взобравшись на плиту, Берта выпрямилась, потом, пытаясь перебросить кальсоны Ульриха через веревку, вдруг разжала руки и схватилась за плечо. Мокрые кальсоны тяжело упали на пол, как раз под ноги Гертруде, которая отскочила в сторону и, испугавшись, выронила ложку из рук.

— Берточка, слезайте! — испуганно сказала вдова Шмидке.— Вам ведь больно?.. А я не подумала!.. Глупая я!..

Алексей встал и пошел на кухню. Он хотел узнать,— отчего Берте должно быть больно?

— Берта, что с тобой?

Берта уже слезла с плиты.

— Ничего, Алекс,— не страшно! Отчего мне больно?..

Она улыбнулась. А возле плиты плакала Гертруда: она никак не могла донести воду в комнату, где хотела полить полузасохший цветок примулы.

Алексей сидел, опустив глаза; Берта смотрела на Алексея, а потому на кулек, который лежал на столе, смотрели со стены только три гвардейца-барабанщика. Кулек давно уже был пуст. Алексей сразу съел весь картофель, еще до того, как Берта рассказала о том, что так мучило сейчас Алексея.

Вот уже около часа Алексей был с Бертой наедине. Час тому назад, выйдя из квартиры Ульриха Шмидке, Берта забежала к себе в четвертый этаж: «Ты обедал, Алекс?» Алексей остался ждать ее под темными воротами.

— Приду ночью! — крикнул ему из темноты Эрих, вышедший из квартиры Шмидке с другими рабочими.

Рядом с Эрихом шел Ульрих. Он ударился утром о гвоздь ящика, порвал штаны и поранил колено. Сейчас он шел, чуть прихрамывая.

Волосатые руки угрюмого рабочего в синей блузе были опущены в карманы. Широко сшитые штаны билась под ветром. Товарищ Демме и молодой рабочий с красочного завода шли поодаль. Они то нагоняли Ульриха и Эриха, то вновь от них отставали. Вдоль улицы, скользя лучами по мокрым стенам, мигали круглые фонари.

Так — черной, сходящейся и вновь рассыпающейся группой — Ульрих Шмидке и окружающие его товарищи скрылись, наконец, в конце притаившейся под вечерними огнями улицы.

— Зачем ты воруешь у матери? — спросил Алексей, когда Берта вновь выбежала под ворота.

— Потому что я люблю тебя!.. Алекс, возьми картофель!.. Возьми!.. Он еще горячий...

...И вот кулек давно уже пуст. На нем лежала черная картофельная шелуха, витая как стружки.

— Да...— говорила Берта, перегнувшись через стол к Алексею.— Да... но я не думала о боли... Я думала о тебе...

— Зачем ты не сказала мне об этом раньше?

— А ты мог бы помочь?.. И где я могла сказать об этом?.. У Ульриха?.. Хвастать?..

За диваном — над плечом Алексея — висел синий барельеф Гельгоlanda. Берта смотрела на маленькие парусные

лодки, бегущие к крутым берегам, и думала о том, как хорошо было бы поехать на этот голубой, окруженный волнами остров и жить там вместе с Алексеем. На гвардейцев-барабанщиков она не смотрела. Барабанщики в черной траурной рамке смеялись и пили черное пиво. Алексею казалось, — один из них, тот, который стоит посредине, очень похож на зеленого вахмистра, избившего Берту резиновой дубинкой.

— Он ударил меня два раза — за разом раз! — рассказывала Берта. — Но я думала о тебе... Он мог бы избить тебя...

Глаза Берты улыбнулись. Желтый свет задрожал на ресницах, и легкая тень ресниц потянулась к Алексею.

— Милый!..

Но Алексей сжал виски.

— Милый!.. — повторила Берта. Ресницы поднялись, и глаза ее вдруг перестали улыбаться.

— Милый, ты молчишь, и теперь мне больно!..

Где-то за окном ветер гнул жезь крыши. Жезь тяжело и гулко ухала. Густая и грузная темнота качалась над улицей, и только синие вспышки трамвайных искр летели вдоль окна, рассыпаясь.

«Тогда падали синие звезды... — думала Берта, вспоминая уже последнюю главу из романа в приложении газеты «Моргенпост». — Море гудело, как гудят сейчас крыши... „Без боли, — сказала она, — нет счастья!..“»

— Ты... то есть я, конечно... Я не хотел бежать...

— Глупый!.. — ласково перебила Алексея Берта. — Эта боль... Это не боль... Без боли нет счастья!

Она встала из-за стола и, опустив лицо, вдруг тронула пуговку кофты. Но пальцы ее дрогнули. Она вновь опустила руку и нерешительно и смущенно пошла к стене.

— Что ты делаешь, Берта?

Опустившись на диван коленями, Берта поворачивала к стене трех гвардейцев-барабанщиков.

— Что ты делаешь?.. Зачем это?..

Повернутый портрет в последний раз качнулся и повис неподвижно.

— Мне стыдно, Алекс...

— Стыдно?.. Чего?.. «Мне стыдно...»

Брызги трамвайных искр вновь рассыпались за окном. Трамвай загудел. Очень далеко цокнул ружейный выстрел.

— Я хочу показать тебе, Алекс... — шепотом сказала Берта, тихо спуская с дивана ногу, — но я... я стыдилась барабанщиков... Они смотрели на меня и смеялись... Но теперь...

— Берта, не надо...

— Но теперь они не смеются...

— Берта, не надо...

Но Берта уже спустила с плеча кофточку. Круглая пуговка, оторвавшись, звонко упала на пол.

— Алекс, ты ведь не пройдешь мимо?.. Алекс!..

Голубая линиялая ленточка рубашки поползла вдоль темно-бурого, длинного и как ремень ровного синяка, который — наискось через все плечо Берты — бежал к ее маленькой, насторожившейся груди.

— За эту вот боль... Это — не боль... Алекс!..

И вдруг, обхватив за шею растерявшегося Алексея, Берта притянула его к себе...

С собрания революционного комитета фабзавкомов, куда привел Эриха Ульрих, Эрих шел, держась рукой за горло. Был уже поздний вечер, и сквозняк вдоль каменных стен резал дыханье холодом.

— Кто он? Ты не знаешь?

— Партиец,— ответил Ульрих.— Новый член партии. А что?

Эрих обернулся и еще раз посмотрел вслед рабочему в синей блузе, который, только что простившись, переходил на другую сторону улицы. Вот его широкая, квадратная спина, уже ставшая в темноте черной, остановилась под незажженным фонарем на тупом углу двух скрещивающихся улиц.

— А что? — повторил Ульрих.— Ты тоже что-либо заметил?

Человек в рабочей блузе на другой стороне узкой улицы тоже обернулся. В это время из-за угла вынырнул косо скользящий по асфальту полицейский мотоциклет, зоркий свет фонаря прыгнул на мгновение на лицо рабочего. Рабочий быстро повернулся спиной к Ульриху и пошел за угол, до самых ушей подняв тяжелые плечи.

— Действительно,— сказал Эриху Ульрих.— Надо проследить. Но пойдем. Не надо стоять.

Драгонер-штрассе, улица мелких торгашей, на которую вышли, наконец, Ульрих и Эрих, была тоже плохо освещена. Узкие окна третьеразрядных пивных смотрели в полутьму запотелыми стеклами.

— Сутенеры, воры и люмпен-пролетариат...

— Идем. Здесь бывают облавы... Итак, значит, опять вместе, Эрих?

И Ульрих дружески хлопнул Эриха по плечу, высоко подняв для этого руку; он был много ниже ростом.

...Окна пивных вдоль стен улицы тянулись друг за дружкой так часто, что, казалось, все нижние этажи были здесь отведены под пивные. Люди в клетчатых кепках за окнами пивных курили, лихо размахивая в дыму сигаретками. Иногда, перегнувшись через стол, они смеялись в лицо друг другу и хлопали по боковым карманам своих в талию сшитых пиджаков.

В дверях одной из пивных стоял рослый румын в коротком и рваном пальто нараспашку. Губа его была рассечена, и черные жесткие усы над ней торчали, как поднятые крылья. Румын был пьян.

— Билльон! — вдруг хрипло крикнул он над самым ухом Эриха. — Два билльона! Три!..

Он качнулся.

— Пять! — кричал он, уже идя по улице. — Шесть! Есть ведь нужно!.. Нужно есть и пить?..

— Нужно! — крикнул на углу бледноглазый юноша с золотыми зубами. — Эй, сюда плыви! Дионеско!

За углом, дергая плечами, гудела толпа. В толпе тоже ныряли клетчатые кепки. Редкие шляпы и картузы рабочих торчали над толпой неподвижно.

— Правильно!

— Правильно!.. Бить!..

— Пить!.. — крикнул румын, подходя к толпе, и вдруг, подбоченившись, стал приплясывать, гулко рассыпая по панели быструю дробь.

— Товарищи рабочие! Товарищи, товарищи!..

Обогнув румына, Ульрих и Эрих увидели в толпе Инге. Она стояла под фонарем, держась за столб рукою. Другая рука была брошена вперед.

— Нашла место!.. — глухо сказал Ульрих.

— Ты ее знаешь?

— Ну а как же!

— Рабочие!.. Товарищи рабочие!.. — все громче кричала Инге. Голос ее надрывался и был плохо слышен. — Богачи — вот кто! Буржуа из Westen'a!..

— Евреи! — перебил из толпы кто-то.

— Евреи! — подхватил бледноглазый юноша. — Грабят евреи!..

— Товарищи, это ложь фашистов!..

Но бледноглазый юноша уже овладел толпою.

— Бить! — кричал он.

— Бить!..

— Пить! — кричал румын.

— Спекулянты!

- В Галицию!
- Торгуют!..
- Жулики!
- Валютчики!
- То-ва-ри-и-щи!..

Но толпа не слушала Инге. Вдруг, качнувшись к углу соседней улицы, она побежала за бледноглазым юношей, клетчатая кепка которого прыгала под ветром.

— Товарищи, назад!..

— Назад! — вслед за Инге крикнул Ульрих, но черное окно еврейской мясной, к которой подбежал бледноглазый юноша, уже зазвенело. Три белые буквы «**של**» испуганно разбежались по черному стеклу и, задрожав, рассыпались.

— Бей! — кричала толпа, подбегая к окнам соседних лавок.

— Бей! — крикнул румын, выбежавший на угол улицы и вдруг схвативший Ульриха за глотку.

Он не был так пьян, как казалось. Испуганный, что толпа примет и его за еврея, он не отпуская Ульриха.

— Еврей!.. — кричал он. — Рыжий!.. Еще один!.. Валютчик!..

Кто-то за ним бежал с доской в руках. Доска кружилась. Синий гвоздь, попавший под луч фонаря, блеснув, рванулся к Ульриху.

— Стой! — крикнул Эрих, но вдруг, оглушенный выстрелом, увидел, как локти румына круто дернулись в сторону, а сам румын, огромный и черный, косо отбежав от Ульриха, грохнулся на мостовую. Доска за спиной Ульриха на мгновение остановилась в воздухе, потом тоже ударила о мостовую, гулко, точно второй выстрел.

— Бей! — сквозь звон стекол кричала толпа, зигзагами бегущая от лавки к лавчонке.

— Валютчики!..

— Бей!..

— Доллары!..

Вдоль улицы, вырвавшись из толпы, бежал старик. Ладони его были подняты над головой. Он споткнулся о труп румына и стал кричать визгливо и пронзительно. Локти старика, под острым углом брошенные вверх, бились точно в борьбе с ветром, взлетевшим к окнам пивных.

— Бежим! — крикнул Эриху Ульрих, зажав в руке тупоносый браунинг: в другом конце улицы, еще очень далеко, быстро росли черные силуэты полицейских.

— Бежим!

Пригнувшись, Эрих бросился за Ульрихом.

А на другой стороне улицы, испуганная и растерявшаяся, бежала Инге...

...«Гильдебранд, Гильдебранд, Гильдебранд!» — скользили над крышами огненные буквы реклам.

«Шоколад и какао Гильдебранд — наилучшие!..»

«Маноли!..»

«Курите Маноли!..»

«Маноли!..»

«Маноли!..»

Даже окна улицы, на которой остановилась наконец Инге, были ярки, как огненные буквы реклам над крышами.

За окнами, тихо качаясь,плыли зазывные звуки скрипок.

Еще пытаясь отдышаться, Инге смотрела на окна кафе, не в силах понять, отчего возбужденная толпа, которую она хотела бросить сюда, в квартал пирующей буржуазии, побежала по этим узким улицам, где черные окна еврейских лавчонок испуганно прятались в темноте.

«Гильдебранд!.. Гильдебранд!..» — скользили на мокром асфальте под окном одного из кафе отраженные буквы огневой рекламы.

Возле окна стоял мальчик-газетчик.

Газетчик кричал:

— Кюстрин!.. Взятие Кюстрина рейхсвером!

— Кюстрин вновь взят войсками республики!

— Поражение фашистов!

— Кюстрин!..

— Кюстрин!..

Бронзовая люстра в квартире Рудольфа фон Лессау в этот вечер не горела. В зале горела одна только стенная лампочка, как раз над портретом генерала Макензена.

Мягко шурша кожаными туфлями, в зал вошел бритый старик. Он только что прочел все вышедшие за этот вечер газеты и хотел пройти к сыну, но возле прикрытых дверей в его кабинет остановился, потом так же мягко и бесшумно повернулся и вновь пошел через зал, — вероятно, к себе в спальню. Бритый старик числился генералом в отставке, но в новых методах борьбы понимал мало, а потому никогда не мешал сыну, который, к слову, не стал в двадцатом году офицером лишь потому, что не хотел служить в республиканских войсках.

— Да, фон Лессау у аппарата. Слушаю! — повторял между тем в кабинете его сын.

В одной руке он держал телефонную трубку, другой чиркал карандашом по фотографии Берты, которую случайно нашел среди бумаг и донесений.

— Прекрасно. Сообщу лично. Нет, не поступало!

Наконец, спокойно перебросив телефонный шнур через локоть, Рудольф фон Лессау положил трубку на аппарат и, смахнув фотографию Берты на пол, взглянул на лейтенанта Кноринга.

Берта с пола посмотрела на него, прижав к груди пучок ландышей. Она была в конфирмационном платье, и глаза ее светились восторженно.

— Только что сообщено, лейтенант,— сказал Рудольф фон Лессау,— что на Драгонер-штрассе удалось вырвать толпу из лап некой коммунистки, после чего возбужденная этой коммунисткой толпа была брошена на галичан-спекулянтов. Прекрасно!.. Но вы отметили сводку генерального штаба?

Лейтенант Кноринг сидел за другим концом стола и дымил над картой тонкой и длинной сигарой. Он только что поднял над картой булавку с черной стеклянной головкой, всего один день торчавшую над Кюстрином.

— Сдали рейхсверу, значит? — улыбнувшись сказал он и воткнул в Кюстрин зеленую головку.

— Здесь — политика, там — боевая тактика,— продолжал он.— Я положительно в восторге! Смотрите, фон Лессау, как мы продвигаемся.

Рудольф фон Лессау встал из-за стола и склонился над плечом лейтенанта.

— Великолепно! — сказал он, смерив глазами, насколько фронт булавок с красными головками, еще недавно тянувшийся вдоль границы Саксонии и Тюрингии, отступил перед смешанным черно-зеленым фронтом.

— Где самые жаркие бои, Кноринг?

— Гота, Эрфурт и Эйзенах уже наши; то есть рейхсвер их, конечно, взял... Повсюду одинаково жарко! Но вы бы отдохнули, фон Лессау.

— Отдых для меня будет на лаврах!

Рудольф фон Лессау гордо выпрямился, взял сигаретку, щелкнул крышкой серебряного портсигара и стал ходить по кабинету. Каждый раз, доходя до низкого столика возле двери, ведущей в зал, он на мгновение останавливался и, легонько ударяя о сигаретку согнутым пальцем, сбрасывал пепел в маленькую, вверх дном стоящую гвардейскую каску.

— Интересная пепельница!..— зевнув, сказал лейтенант Кноринг.

Он не спал уже две ночи, и от постоянных докладов о боях и разговоров о политике у него болела голова.

— Времена интересные!

— Н-да!..— промычал лейтенант и, вынув изо рта сигару, стал смотреть на ее потухший кончик.— Никогда, фон Лессау, политика, тактика и военная доктрина не были так неразрывно связаны!.. Н-да!..

А Рудольф фон Лессау уже переменял направление и стал ходить не вдоль, а поперек кабинета. Шагов его слышно не было,— на полу лежал густой, мягкий ковер. Ножки кожаного дивана, выточенные под львиные лапы, тянулись к коврику выгнутыми когтями. На диване лежали развернутые карты. Со стены — прямо на карты — хмуро смотрел портрет седого Гинденбурга.

— Германия не пропадет! — взглянув на Гинденбурга, сказал Рудольф фон Лессау.— Мы умеем подчиняться!

— И работать!..— добавил лейтенант Кноринг, вновь припомнив, что он не спал две ночи.

— Школа, Кноринг. Подготовка государственных мужей!..

— Н-да!..

Опять зевнув, лейтенант отдернул манжету.

— Но сейчас уже десять!..

Он взглянул на часы, блеснувшие под манжетой.

— Нет, уже половина одиннадцатого!.. А революционный комитет фабзавкомов!..

— Подождите, лейтенант!.. Идет, кажется!..

Электрический звонок, проведенный в людскую, был слышен и в кабинете. Рудольф фон Лессау выждал, пока звонок наконец не перестал трещать, потом подошел к письменному столу и остановился, прислонясь к спинке кожаного кресла. Ковер под его ногами пополз было по полу, но Рудольф фон Лессау расправил его складку сапогом и положил ногу на ногу. Брюки его отдернулись; под ними, поймав падающий со стола косою луч, блеснул шелковый носок, на этот раз черный с зеленой острой стрелкой.

— Мурмель?.. Войдите! — сказал наконец Рудольф фон Лессау, медленно поворачивая к дверям голову.

Человек в синей рабочей блузе — Фридрих Мурмель — вошел в кабинет и остановился, опустив волосатые, тяжелые руки и неловко подняв сутулые плечи, к сожалению Рудольфа фон Лессау никогда не носившие погон.

— Ну как, Мурмель?

Лейтенант Кноринг чиркнул спичкой, ткнул в огонек кончиком сигары и, почему-то вновь придвинув к себе карту, тоже поднял на Мурмеля глаза.

— Что, Мурмель, надеюсь, католиков среди коммунистов вы не встретили? — спросил он, пытаясь скрыть едва уловимую усмешку.

«Черт, дьявол и все покойники, чтоб католики... да с коммунистами?» — хотел было ответить Мурмель, но Рудольф фон Лессау не дал ему говорить.

— Итак, Мурмель, — перебил он. — Исполнено?

— Исполнено согласно приказанию, — глухо ответил Мурмель: на вопрос лейтенанта он ответил бы более горячо и охотнее.

— Попали на собрание революционного комитета фабзавкомов?

Мурмель убрал за спину волосатые руки. Потом, растопырив пальцы, вновь опустил их по швам.

— Был, герр фон Лессау. Все исполнено.

— Так!.. И?

— Завтра в Сименсштадт на заводы Сименс — Шуккерта и Гальске, в Норден на заводы «АЕГ»¹, в Моабит на пивоваренный и на конференцию безработных компартия отправляет агитаторов, которым вменяется в обязанность разъяснить тактику республиканского правительства и... так сказать... вашу, то есть нашу, как понимает ее...

— Компартия?..

— Да, компартия.

Рудольф фон Лессау стукнул в досаде сигареткой о портсигар. Потом он обернулся к лейтенанту.

— Мы знаем, как они ее понимают!.. Кюстрин, Мурмель?..

— Да, Кюстрин...

— Имеют они сведения, что в вопросе о сдаче Кюстрина штабы наших организаций и союзы республики действовали согласованно?

— Имеют.

— Кто командировается в Сименсштадт?

— Ульрих Шмидке, рабочий мастерских динамо-машин Сименс—Шуккерта.

— В АЕГ?

— Конрад Демме.

— Тоже не знаю... На конференцию безработных?

¹ Всеобщая компания электричества.

— Эрих Унгар. Безработный.

Но лейтенант Кноринг, вновь отодвинувший от себя истыканную булавками карту, вдруг весело взглянул на Рудольфа фон Лессау.

— Фон Лессау!.. — засмеялся он. — Даже Зигфрид бил своих врагов по очереди!.. Нельзя же всех сразу, фон Лессау!.. Общественность, газеты и возможная огласка!.. Республика все же!

— Знаю! — сухо перебил его Рудольф фон Лессау.

В руках его вновь шелкнул портсигар.

— Кноринг, я считаю, безработные сейчас как сила самые опасные... Согласны?

Сигара лейтенанта догорела. Лейтенанту опять очень хотелось спать, и он кивал, почти не слушая Рудольфа фон Лессау.

— Унгар?.. Эрих Унгар, Кноринг?.. Это тот, о котором говорил мне фельдфебель Глейзе?..

Лейтенант Кноринг опять кивнул.

Тогда Рудольф фон Лессау поднялся со спинки кресла и стал вновь ходить по кабинету.

— Идите! — сказал он наконец Мурмелю и опять повернулся к лейтенанту.

— Я иду к майору, Кноринг. Да, необходимы инструкции штаба... Можете спать, но телефон поставьте возле дивана. До свиданья.

— В сторону фашистов Эберт и Штреземан только звенят оружием, пленяя этой музыкой легковых, — говорил Эрих, расшнуровывая ботинок. — Влево — по нас — они приказывают без промаха бить из пулемета. Но эта хитрая механика будет завтра же открыта массам!

— Ложитесь, Эрих! — перебила его Берта, подбирая ноги на диван. — Вам завтра рано вставать... Хотите, я потушу свет?.. Я сегодня останусь здесь...

— Вы могли бы и не говорить мне этого, Берта! Что ж, сидите здесь в вашем голубом гроте!.. — улыбнулся Эрих, и глаза его, на которые упала узкая щель света, прорвавшаяся из-под копировальной бумаги, мягко улыбнулись.

Копировальной бумагой лампу прикрыла Берта. Положив голову на плечо Алексея, она смотрела, как синий матовый свет тянулся в углы комнаты. Полутемные углы дремали; барельеф Гельгоlanda висел над диваном плоский и почти черный; лишь паруса лодок, весело бегущих по волнам, казались голубыми, и голубой была пена над кружками трех

гвардейцев-барабанщиков, вновь уже повернутых стеклом к лампе.

— Да и куда вам идти сейчас на улицу!.. Опасно...— хотел было продолжать Эрих, но вдруг, повернув голову, опустил на пол уже снятый с ноги ботинок.

В коридоре стучал протез. Потом кто-то, кажется — Артур Глейзе, зачиркал спичкой, а в коридоре зашаркали чужие, торопливые шаги.

— Не полиция ли?.. — сказал Эрих и вновь поднял ботинок с пола. Но дверь открылась, и в комнату вошел Саховский. За плечом Саховского мелькнула освещенная спичкой голова Артура Глейзе; спичка потухла, и дверь за Саховским прикрылась.

— Это я! — сказал Саховский, дергая усиками.

— Вижу!

— Надеюсь, — продолжал Саховский, расправив усы, — твой товарищ и эта прелестная юная немочка не будут в обиде, если я буду говорить с тобой по-русски?

— Ты иногда бываешь слишком любезен...

— Всегда был таким и останусь!

— Не замечаю. Вежливые не входят без стука... Но, Саховский, в чем дело?.. Сейчас уже ночь...

Саховский вынул часы.

— О, еще очень рано!.. Впрочем, прости, если поздно... А у вас уютно! Ей-богу!.. Ну-с, Алешка, закурим, чтоб дома не журились...

— Кто это? Кто? — шепотом спрашивала на ухо Алексея Берта. Она никогда еще не видела таких острых, черных усиков, которые зло подергивались даже тогда, когда лицо этого странного человека улыбалось.

— Но я не намерен вести с тобою долгих полуночных бесед... — опять сказал Алексей.

Саховский откинулся на спинку стула и, забрав в рот полmundштука папиросы, пустил дым из ноздрей. Потом он рассеял дым ладонью.

— Дела, брат, на часы не смотрят!.. А в чем дело?.. Дело, брат, в том, что Дулевич никуда не уехал и не уезжает. Я пришел за его кольцом. Мне тоже спешно.

— Опять этот Дулевич! — сказал Алексей, подымаясь с дивана. — Кольцо?.. Получай и убирайся. Расписка при тебе?

И, подойдя к комоду, он опустил на колени.

...Сперва белье ложилось на пол ровными колонками, потом Алексей перестал его складывать, и белье в беспорядке

посыпалось из ящика. Вот, кружась как мячи, по полу покатались две пары свернутых носков. На них, растерянно взмахнув в воздухе пустыми рукавами, упала рубашка.

— Кольца нет! — обернулся, наконец, Алексей, но, подняв с пола рубашку, стал ее все же вытряхивать. — Нет. И здесь нет!

— То есть?

— Кольца нет! — повторил Алексей, уже опуская рубашку. — Я не знаю...

— То есть, что ты не знаешь?

Саховский встал, подошел к Алексею и, наступив на рукава брошенной рубашки, посмотрел на него возмущенно:

— На нет и суда нет, думаешь?

— Я ничего не думаю. Но кольца нет!

— Нет?.. Но это же... — Саховский дернул усиками. — Это же черт знает какое безобразие!..

— Не кричи! Поздно!..

— То есть?.. — закричал Саховский. — Поздно?.. Но я буду кричать!.. Где твой хозяин?.. Позови полицию... Его надо обыскать!.. Твоего немчика тоже надо обыскать!.. Я... я...

Эрих, который, вероятно, из всех слов понял только одно — «полиция», — вновь уже зашнуровывал ботинок. Вот, узлом завязав шнурки, он встал с кровати и — за спиной Алексея — быстро пошел к вешалке. Возле вешалки он коротко и отрывисто закашлял. Алексей знал: еще одна передышка, и Эриху не сдержать долгого, мучительного кашля. А за темным окном, точно сорвавшись откуда-то, глухим стоном вздувшихся вывесок вновь ударил по тишине ветер. «Нет, Эриху нельзя на улицу!» — подумал Алексей.

— Подожди! — сказал он Эриху и, растерянно взмахнув руками, вновь обернулся в глубь комнаты: — Подожди, Саховский!.. Хочешь мирным путем?.. Потолкуем?..

Саховский даже поднял к усикам руку.

— Потолкуем, — ответил он и прошелся по комнате.

Дойдя до окна, он увидел в нем свое улыбающееся лицо и, быстро поборов улыбку, повернулся на каблуках, как в военном училище.

— Пойми, я за кольцо отвечаю перед Дулевичем!.. Я не могу...

Он сделал еще два шага и положил руку на грудь.

— Я не хочу, чтоб меня считали вором!

— Но ты, вероятно, считаешь вором меня?..

— Я не хочу считать тебя вором, — вновь сказал Саховский, — а потому я прошу тебя немедленно же пойти вместе со мной к Дулевичу и с ним объясниться, не то...

С лампы в это время упала копировальная бумага, и острые усики Саховского, ставшие под светом еще острее, с угрозой поднялись кверху.

— Не то я буду считать тебя вором и немедленно же позову полицию!

— Хорошо!.. Я иду!..

И, подойдя к вешалке, Алексей взял пальто и кепку.

...Когда они вышли на улицу, фонари были уже потушены.

Дул ветер. К подъезду, держа рукой широкие поля шляпы, бежала Инге.

Но ни Алексей, ни Инге в темноте друг друга не узнали.

«С-с-с-сволочь!..» — обернувшись к Саховскому, шепотом повторял Алексей.

Саховский улыбался. Сейчас — в темноте — он мог улыбаться сколько угодно.

Дым короткой и тупой сигары майора фон Ремер-Реймера ложился в кабинете слой на слой — в три или четыре ряда. Бледно-голубой, он висел под лепным потолком неподвижно; нижний же его слой, еще не успевший подняться, тихо колыбался над диваном и был густого серого цвета.

Майор фон Ремер-Реймер пил исключительно мюнхенское пиво «Пшор», а потому, когда в кабинет вошел Рудольф фон Лессау, майор позвонил и заказал мозельвейн рейнских погребов.

За стеной отдельного кабинета еще гремела музыка. В этом огромном кафе, тридцать пять окон которого были всегда завешаны, не держали струнного оркестра. Посетители — отставные офицеры генерального штаба, акционеры земельного банка и крупных торгово-промышленных предприятий, рантье, государственные пенсионеры двух первых разрядов и студенты высших аристократических корпораций, как «Саксо-Боруссия», — любили оркестр военно-духовой.

С трудом проникая в кабинет, глухие трубные звуки еще более глушились в красных портьерах, которыми была задрапирована дверь, ведущая в главный зал кафе. Широкие кисти портьеры свисали до пола. Гладко натертый паркет отражал их тяжелое золото.

— Я тоже нахожу это безусловно необходимым! — ответил Рудольфу фон Лессау майор фон Ремер-Реймер, когда высокий, никогда не сгибающийся кельнер вновь бесшумно скрылся за портьерой.

— Действуйте. Я даю свою подпись. Я же сказал...

У майора было бритое, очень нервное, белое лицо и длинное туловище, такое прямое, точно оно было посажено на кол.

гда он сидел, он казался высоким и грозным, как и подобает быть бравому майору, если он и не носит даже мундира. Но ноги майора были столь коротки, что могли даже показаться около голени ампутированными; они очень портили его офицерскую фигуру, а потому майор фон Ремер-Реймер все ловые разговоры вел сидя,— на диване или в кресле. Он вставал только в моменты крайнего напряжения мысли.

— Собственно говоря, не наша тактика... «Имперский флаг» — да, другое дело... Ну, хорошо...— сказал он, поднявшись с дивана.— Но без применения огнестрельного оружия... Поняли?..

— Так точно,— ответил Рудольф фон Лессау.— Разрешите, не теряя времени, здесь, в вашем кабинете, написать распоряжение?

— Я ведь сказал,— действуйте.

Майор прошелся по кабинету, отчего все три слоя густого табачного дыма закачались над его плечами. Четвертый слой — нижний — поплыл по обе стороны его живота.

Рудольф фон Лессау подошел к столу и открыл чернильницу, а майор вновь опустился на диван и, придвинув к себе маленький столик, глотнул пиво «Пшор».

Минуты две он молчал, наблюдая, как колышется о стенке бокала черное пиво.

— Подготовка? — спросил он наконец, медленно поворачивая голову.

Он любил, чтоб подчиненные с полуслова понимали начальника, а потому никогда не доводил вопроса до конца.

— В течение ночи все будет сделано,— ответил Рудольф фон Лессау, понимавший майора не только с полуслова, но даже и тогда, когда, ничего не говоря, майор подымал на него серые, всегда прищуренные под дымом глаза.

— Обстановка весьма благоприятна, господин майор. Он живет в квартире бывшего фельдфебеля...

— Фельдфебеля?.. Это прекрасно!

— Да, фельдфебеля девяностого стрелкового Мекленбургского полка Артура Глейзе,— продолжал Рудольф фон Лессау, тайным шифром подписывая на мелко исписанном листе блокнота свою фамилию,— у человека, господин майор, вполне надежного. Я вызову его сюда. Но для войны нужны деньги...

Он привстал и подвинул блокнот подошедшему к столу майору.

— Я понимаю... Будут,— ответил тот, тоже чиркнув что-то на блокноте.

ком случае я вызову его сюда. Повторяю: фельд-

фебель, человек вполне надежный... Я переговорю, господин майор... Разрешите воспользоваться вашим дежурным?

— Я ведь сказал... Действуйте...

И, отойдя от стола, майор вновь опустился на диван; откинувшись на спинку, он прикрыл усталые от дыма глаза и стал слушать звуки военного оркестра, которые вдруг почему-то стали слышны гораздо отчетливее и громче. Они густо валили из-за закрытых дверей, росли, ширились, и вот, забывшись, майор фон Ремер-Реймер уже не думал ни о пиве «Пшор», которое осталось недопитым, ни о коротких ногах — своем вечном несчастье по службе, — ни о стойком и верном патриоте Рудольфе фон Лессау, ни о фельдфебеле 90-го стрелкового Мекленбургского полка Глейзе или Рейзе, с которым должен будет беседовать фон Лессау. Майор фон Ремер-Реймер даже не замечал своего кабинета, со всех сторон защищенного залами, где в эти ответственные ночи, командированный штабом «Стального шлема», принимал он руководителей районных прусских организаций. Ему казалось, — он слушает родные марши стойких баварских егерей, железны шагом идущих шоссейной дорогой туда, на линию Реймс — Верден, на которую генерал Жоффри 17 декабря 1914 года повел свое второе наступление.

Нет, он никогда не забудет эти великие дни! — думал майор фон Ремер-Реймер. В те времена, еще ротмистр, он стоял возле штаба дивизии. Квадратное окошко аббатского домика, в котором разместился штаб, зорко смотрело в темноту. Там, за окном, склонившись над картой, стоял посещивший дивизию эрцгерцог Иосиф.

Bayrische Jäger, frisch und frohgemut! —

пел рядом с ротмистром фон Ремер-Реймером молодой лейтенант службы связи фон Саксенгаузен, —

Wehe, o wehe dir, Franzosenblut!..¹

Падал колкий снег, такой непривычный для Франции. Ротмистр фон Ремер-Реймер смотрел на лейтенанта, на беззубых губах которого таяли снежинки, и думал о глубоком снеге, сплошь завалившем русский фронт.

На русский фронт шли все новые и новые подкреплен

«Из всех сибирских берлог повылезали! — думал ротмистр фон Ремер-Реймер, утопая в снегах русского фронта, где, до отправки на Реймс, пробыл он два месяца. — Не разорваться же нам, Donnerwetter!..»

¹ Баварские егеря, всегда бодрые духом! Горе вам, француз отродь! (*Походная песня баварских егерей*).

«Не разорваться же нам, Donnerwetter!..» — вспомнив о русском фронте, сказал под окном аббатского домика лейтенанту фон Саксенгаузену ротмистр фон Ремер-Реймер.

«Лейтенант, мне досадно, что русские воюют не с нами, а против нас... Эти резервы!.. Если б мы воевали в союзе с русскими, мы к двадцать пятому декабря взяли бы не только Реймс и Верден, но и Париж!.. И эрцгерцог того же мнения. Мы беседовали...»

Звуки военного марша за стеной кабинета все нарастали.

«Если б русские воевали в союзе с нами,— думал, откинувшись на диван, майор фон Ремер-Реймер,— мы бы не допустили Россию до большевизма!.. Мы бы... И у нас бы... У нас бы тогда тоже...»

Марш в зале оборвался, звуки рухнули вниз гулко, как эхо в тишину ночи, когда падали своды Реймского собора, и майор фон Ремер-Реймер услышал, как в зале за портьерой рванулись вверх аплодисменты.

«Надо держать связь с русскими... с будущим русским правительством,— решил майор.— Резервы при реванше с Францией. Это — раз... Два: их опыт на внутреннем фронте...»

«Hoch! — гудели голоса за дверью.— Hoch!..»

Майор фон Ремер-Реймер поднялся.

— Фон Лессау!..— сказал он, опять вспомнив о боях с коммунистами в Гамбурге, где опыт русских мог бы сейчас пригодиться.

За стеной не смолкали восторженные крики, все громче стучали стулья, и майору пришлось повысить голос.

— Фон Лессау, надо послать лейтенанта Кнюринга,— уже кричал он,— послать по адресу, который будет вам сейчас указан... Впрочем, соедините меня с ним... с лейтенантом, я говорю... Он знает телефонный номер этого... как его?.. Я сам позвоню... этому... как его?.. господину... Дулевичу...

Рудольф фон Лессау коротко кивнул, вырвал из блокнота исписанный листок, на котором только что проставил номер, и, звякнув манжетами о стол, потянулся к трубке телефона. Одновременно — другой рукой — он нажал кнопку электрического звонка.

На походной койке в одной из маленьких клетушек возле главной кухни того же кафе дремал дежурный. Ноги его были широко разбросаны. Рот открыт. Надо ртом летали две мухи.

Дежурный уже начал похрапывать, но вдруг, услышав над собой настойчивый электрический звонок, вскочил с койки и,

оправив на груди значок «Стального шлема», побежал в кабинет майора фон Ремер-Реймера.

А уже через четверть часа он бежал под яркими огнями Таунциенштрассе, торопясь в полутемный Süd-Westen, где жил бывший фельдфебель 90-го стрелкового Мекленбургского полка Артур Глейзе.

По паркету шаркали шаги.

— Приехали?..

— Вы с ним говорили?..

— Нет... Но буду... Он уезжает завтра...

— Да, потому совещание и назначено на ночь...

— Завтра?.. Почему на ночь?..

— Капитан!..

— Капитан, вы сидите здесь дольше всех... Видели?.. Он очень страшный?..

Капитан с обрубленным пальцем бывал везде, где можно было поесть и выпить.

Сегодня на столиках всех шести комнат Дулевича стояли бутылки, а потому капитан решил остаться у Дулевича до тех пор, пока Дулевич, наконец, не скажет: «Господа, прошу всех не членов сегодняшнего совещания удалиться!..»

Шаги шуршали по паркету уже в соседних комнатах.

— Приехал?..

— Дулевичу не завидую!.. Но ведь он работал!..

— Бедняга!.. Но что это? Ревизия?..

— «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие...» — помните, у Гоголя?..

В соседней комнате запрыгали смешки.

— Тише, идет!..

И вдруг смешки сразу же оборвались.

Капитан с обрубленным пальцем поднял голову, посмотрел на дверь в соседнюю комнату и, увидя крахмальные рубашки и черные отвороты выутюженных смокингов, отвернулся.

— Пижоны!..— сказал он.— Прыщи подпудренные!..—

Он вновь опустил глаза и, не найдя на столе стакана, тяжело ткнул в скатерть коротким и тупым обрубком пальца.

— Вы хотели сказать?..— спросил Дулевич.

Но капитан с обрубленным пальцем сказать ничего не хотел.

— И кроме того — кто?.. Ну кто?..— не дождавшись ответа, растерянно повторил Дулевич.— Ну кто иной, как не

Зуев, когда все вы, простите, пьяницы!.. Единственный, кто не заслужит аванс и с ним не скроется, это Зуев!.. Хотел бы я знать, что делал бы другой на моем месте?.. А вы с критикой!.. Туда же!..

— Какая там к черту критика!..— пьяно сказал капитан с обрубленным пальцем.— Бывало...

— Замолчите!..

— ...Бывало, подойду, да как крикну: «Встать, и ник-к-какой к-р-р-ритики!..»

— Да замолчите!..— вновь прервал его Дулевич и в досаде растопырил над столом пальцы.

Весь день, вечер и вот уже полночи Дулевич заметно нервничал.

— Ну-с? — спросил его сегодня утром приехавший из Парижа журналист Придорожный.— Достижения?..

Он поднял на Дулевича удивленные глаза.

— И это все?..— сказал он и покачал головой, отчего пенсне на его носу завияло.

— Не много, скажу я вам, Леонтий Петрович!

«Хорошо ему возмущаться! — весь день, вечер и полночи думал Дулевич, следуя за журналистом, как адъютант за командиром полка.— В Париже у них цвет и сила эмиграции, а у нас — отбросы!.. Толкни-ка их на серьезное дело!.. И кроме того, разве знает он, как возмься мы с Саховским хотя бы над одним этим Зуевым?.. Пьяницы!.. Господи!.. Окружение-то какое!..»

Сейчас была уже глубокая полночь. Журналист стоял в соседней комнате и, собрав вокруг себя членов еще не откывшегося совещания, говорил громко и с пафосом. Пенсне на носу у него все так же взволнованно прыгало.

— Белье они в Париже меняют, а не тактику! — мотнув головой в сторону журналиста, сказал Дулевичу капитан с обрубленным пальцем.— Белье,— этому я поверю, стер-р-рвы!.. А у меня, Леонтий Петрович, белье... Белье у меня, я говорю, вши поели!.. Леонтий Петрович, вы бы поддержали чем-либо!.. А?.. Общее ведь дело!.. Бывало...

— Нет, вы подумайте только!..— продолжал между тем журналист, крахмальная рубаша которого сверкала от белизны.— Здесь — по лбам, там у нас — под ребрышко!..

— Леонтий Петрович, что ж это?.. А?..— не унимался капитан с обрубленным пальцем.— Опять по-старому?.. Фронтвики — в чем мать родила, шелкоперы и сволочь всякая — в крахмалах?.. Поддержите, Леонтий Петрович!.. Ведь общее дело!.. А?..

— Здесь — свинцом, у нас — словом!.. — увлекался журналист в соседней комнате. — Химическим способом!.. Бациллами!.. Москва, Петербург...

Журналист выгнулся, вытянул шею и вдруг перешел на шепот:

— Петербург, Москва, Кинешма... Ки-не-шму, господа, не забудем!.. Даже Кинешму, Моршанск, Конотоп, Изюм и самую последнюю деревушку!..

Его пенсне на носу застыло. Нижняя губа вытянулась и вздрагивала.

— Сетью... сетью!.. — уже шипел он. — Сетью по всей необъятной стране!.. Новая тактика... Вот в этом... Поняли, господа, новую тактику?..

— Отстаньте, ради всего святого, капитан! — не выдержал наконец Дулевич и возмущенно обернулся к капитану с обрубленным пальцем. — Ну за что, за здорово живешь, буду я вам платить деньги?.. Вот Саховский, который по крайней мере старается...

— Сетью... сетью... — продолжал журналист, выбрасывая перед собой руку, пальцы которой были сложены, точно он собирался креститься.

Сюда, в это общество, и привел Алексея Саховский. Многие лица показались Алексею знакомыми.

Эта вот удочка в пенсне, которая изгибалась сейчас в соседней комнате, бегала, спотыкаясь, за Врангелем, когда в девятьсот двадцатом году Врангель объезжал Перекоп и Юшуньские позиции. Тот, поменьше, но вдвое толще, что стоял возле стены и, смеясь, тер ладонями по полосатым брюкам, сидел в комендатуре города Ялты. Рядом с ним — главный скупщик орденов и колец в Константинополе. Месяцем позже, уже в Чатаалдже, он вербовал в Иностраннный легион русских беженцев.

«Ничего себе, подобралась компания!» — подумал Алексей и вновь повернулся к Дулевичу:

— Да. Я вас слушаю...

— Конечно, это большая неприятность!.. — очень мягко и ласково продолжал Дулевич. — Ведь, главное, кольцо вовсе не мое, как сказал вам поручик Саховский. Поручик Саховский, вероятно, ошибся. Но вы не волнуйтесь, — нет положения, из которого нельзя было бы с честью выйти!.. Вам коньяк, мадеру, портвейн?.. Быть может, пивца?..

— Он не пьет! — усмехнулся в другом конце стола Саховский.

— Не пьете? Это отлично, что вы не пьете! Я не придерживаюсь глупейшего мнения, что хороший офицер должен обязательно пить как лошадь. Хороший офицер, слуга своей родины, особенно сейчас, так сказать, многострадальной...

Алексей узнал и Дулевича. Еще в Константинополе он часто встречал его в приемной голландского посольства, которое в те дни взяло на себя выдачу паспортов русским беженцам. В те дни говорили, что Дулевич якобы хотел устроиться в посольстве консьержем...

— Идея нового военного похода потерпела неудачу,— продолжал между тем Дулевич, не спуская с Алексея глаз.— Интервенции, поручик, не предвидится, и вот потому в нашем главном центре, в Париже...

— Позвольте! — перебил его Алексей.— Я пришел к вам объяснить насчет кольца, а вы...

— Одно к одному, поручик. Вы сейчас поймете...

И Дулевич замолчал.

Алексей поднял глаза, но Дулевич все еще продолжал молчать. Над плечом Саховского склонился капитан с обрубленным пальцем.

— Сколько получишь?

— Смойся!..— тоже шепотом ответил капитану Саховский.

— Уже получил?.. Сколько?..

— Смойся!..

— Химическим способом, господа!.. Бациллами!..— повторял в соседней комнате кто-то.— Бациллами!..

— Бациллами разложения мы хотим победить большевиков! — сказал наконец Дулевич и перегнулся через стол.— Хотите в Россию?.. Работать?.. Разлагать советский строй?.. Советскую систему?..

Облокотясь о стол ладонями, он все ближе тянулся к Алексею. Бутылка на столе, о которую коснулся его подбородок, закачалась.

— Хотите?..

Саховский тоже тянулся к Алексею. Его усики перестали двигаться. За Саховским стоял капитан с обрубленным пальцем. Голова его была запрокинута. Он держал в руках бутылку и пил прямо из горлышка.

— Хотите?..— шепотом повторял Дулевич.— Ведь кольцо не мое... Кольцо, которое вы потеряли... оно из фонда великого князя...

Усики Саховского дотянулись до Алексея. Капитан с обрубленным пальцем отступил в глубь комнаты. Он уже выпил

весь коньяк и смотрел в горлышко бутылки, как смотрит моряк в подозрную трубу.

— ...великого князя Николая Николаевича...— продолжал Дулевич.— Таким образом... вы должны не мне, а фонду великого князя... России...

Капитан в глубине комнаты качнулся, но тотчас же вновь нашел равновесие.

— Хотите честно вернуть ваш долг?.. Вашей работой в России вы вернете долг родине...— дышал в лицо Алексею Дулевич.

— Дурак!.. Не будь дураком!.. Деньги!..— над самым ухом дергал усами Саховский.— Ну?.. Говори... Ну?.. Соглашайся...

Усики прыгали, кололи и, виляя, издевались над растерянным Алексеем.

— Вы!..— крикнул наконец Алексей и, вскочив, вдруг схватил со стола бутылку и ударил ею по острым усам Саховского.

Саховский вскочил. Но острые усы Саховского не разбились. Разбилась бутылка.

— Прочь!..

— Р-р-раз!..— крикнул капитан с обрубленным пальцем, качнулся, дико закружил над головой пустой бутылкой и тоже швырнул ее на пол.

— Держи!.. Вор!..— кричали Саховский и Дулевич, уже отскочившие за стол.— Полицию!..

— С-с-стер-р-рвы!..— кричал, упав на стол, капитан с обрубленным пальцем.— Раскрахмалить...

— Держи!..

— Раскрахмалить бы физию ваши, стер-р-р-в-вы!..

— Лови!.. Держи!..

Блеснуло пенсне. Оно несло на свет, как яркая бабочка.

— Лови!..

Но Алексей был уже на лестнице: выбежавшие на крик журналист и члены совещания бросились на капитана.

Звенел телефон. Телефон звенел очень настойчиво: майор фон Ремер-Реймер не любил ждать.

Алексей не пошел домой. Он даже обошел свою улицу, предрассветные серые тени на которой уже поползли по асфальту.

Вот тени поднялись на черный песок бульвара, коснулись стволов деревьев и, цепляясь за кору, потянулись к бурой, поредевшей листве. Окно пивной покрылось голубыми, холодными полосками. Вдоль домов шла одинокая проститут-

ка. Рядом с ней, скользя от окна к окну, так же одиноко шла ее тень.

Дожидааясь возвращения Алексея, Берта смотрела на улицу. Эрих в течение этой ночи тоже не ложился.

— Вы бы легли, Эрих! Вам идти скоро...— несколько раз подходила к нему Берта, но Эрих лечь не хотел.

— Ну? — повторял он и, сдвинув тугие брови, вновь смотрел на Инге, которая давно уже неподвижно сидела на диване под портретом трех гвардейцев-барабанщиков.— Ну, что же?.. Ну, хорошо, быть может, даже забудете сегодняшней вечер... А потом?.. Вновь сначала?..

Стриженные волосы Инге были растрепаны. Жирные и потные, они падали ей на глаза. Казалось, глаза не двигались. Иногда, вытянув руки, Инге обхватывала колени и опускала голову. Тогда волосы падали еще ниже и совершенно закрывали глаза.

— Инге, нельзя так!.. Солдат, отколовшийся от роты, сеет панику. Вы будете сеять панику. Встаньте в строй!.. Довольно, Инге! Не мне бы учить вас, кажется!..

Слушая Эриха, Берта поняла, что Инге не могла попасть домой. Окраины города были оцеплены полицией. Дома у Инге остался мальчик,— это тоже поняла Берта. Но она не понимала, отчего Эрих не успокаивает Инге, а наоборот, говорит ей эти жестокие, малопонятные слова, от которых Инге все ниже опускает голову.

— Поймите,— говорил Эрих.— Гореть — не значит еще уметь зажигать! Ну перед кем вы выступали сегодня? За чем?..

Инге не отвечала.

— Ну, хорошо... Не буду... Ну, ошибка... Не мне бы учить вас, Инге. Да подымите же голову, да что это вы!..

— Ваш мальчик один? Совсем один? — отойдя от окна, склонилась над Инге Берта, не понимая, отчего Эрих опять говорит не о том, о чем, вероятно, думает Инге.— Хотите, я пойду сейчас к вашему мальчику?.. Меня, может быть, пропустят...

Инге подняла голову, взглянула на Берту, но сразу же вновь повернулась к Эриху.

— Здесь... вот здесь!..— шепотом сказала она, подняв руку к горлу.— Здесь, Эрих, у меня порвется!.. Здесь вот...

Она смотрела на Эриха и все туже сжимала пальцы. Мизинец ее лег на ключицу, и кожа над ключицей побелела.

— Инге! — вскрикнула Берта, испугавшись, что пальцы Инге никогда не разожмутся и что ей нечем станет дышать.

Но пальцы уже разжались, и рука Инге упала на колени.

— Я не знаю, что делать с Вернером... Я не знаю, что делать с собой... Сегодня... когда прорвалось мое бессилие...

— Довольно, Инге!..

— Куда идти?.. Сегодня, даже вас... я... я спрашиваю... куда?..

— Инге, да вы что, плакать еще вздумали?

Лампа над столом еще горела, но давно не светила. На стене, как раз над плечами Инге, боролись два света — желтый и голубой. Местами они сливались и текли по стене зелеными полосками.

— Нет, вы не дождетесь, чтоб я заплакала!..— сказала вдруг Инге и, вновь откинув назад волосы, встала с дивана.— Вы не дождетесь, чтоб я била отбой!

Зеленые полосы запрыгали на ее лице.

— Я уеду, слышите, Эрих?

Полосы сползли с лица, и мутный желтый свет вновь запутался в волосах Инге: она отступила в глубь комнаты. Еще минуту назад растерянная и подавленная, она вновь уже прямо смотрела перед собой.

— Я уеду в Альтону, в Аренсбург или в Гамбург,— туда, где фашисты высунули не только руки, но и головы, и где можно открыто бороться!.. Я не умею лавировать!.. Прощайте!..

В коридоре лязгал протез. Артур Глейзе, вызванный к майору фон Ремер-Реймеру, уже возвращался домой.

...Верхушки деревьев старого бульвара торчали, уже залитые солнцем. На ветках, прячась в редкую золотую листву, сидели веселые воробьи. Их было очень много, и когда, испуганные чем-то, они вдруг взлетели над бульваром, Эрих услышал, как захлопали их крылья.

«Пусть едет. Бороться она умеет...— думал у окна Эрих, провожая Инге глазами.— Ну, а я?..»

И, сдерживая приступ кашля, Эрих стал думать о том, хватит ли у него сил говорить сегодня на конференции безработных.

А Инге, перейдя через бульвар, уже шла к Ландверканалу. На широких рыжих полях ее мужской шляпы играло солнце.

— Пусть едет!..— уже вслух повторил Эрих, решив о себе не думать.

— А ее мальчик?..— спросила Берта.

Она как раз выключала в комнате свет, стояла спиной

к Эриху и не видела, как красные пятна крови сползали на его носовой платок.

— Куда она денет своего мальчика?.. Нам, может быть, с Алексом взять его, Эрих?.. А Алекса нет и нет!.. Эрих, что могло случиться с Алексом?.. Мне страшно...

...Синий утренний свет уже захлестнул все углы комнаты. В окно скользнул первый луч солнца.

«Прогнать ее или сама уйдет?..» — думал за дверью Артур Глейзе, глядя на БERTУ и Эриха сквозь замочную скважину.

Сквозь щель под дверью солнце из комнаты просачивалось и в коридор. Оно тянулось на пол и лизало тупой сапог протеза Артура Глейзе.

Как крут берег!

Алексей зашел в занесенный снегом камыш, раздвинул его и стал смотреть вдаль. Над Доном, глухо скованным льдом, стелилась туманная полночь.

Алексей обошел высокий и промерзший камыш и, утопая в сугробах, пошел вдоль берега.

В покосившейся хате на далеком низком полуострове еще горел свет. Снег перед хатой был сметен ветром, и красная дорожка света бежала по льду зигзагами. Здесь, в этой хате, ютились рыбаки.

Ветер обогнал Алексея. Потом ветер на мигновение стих, и Алексею показалось, что он обогнал ветер...

На вздыбленном льду перед рыбацкой хатой лежали тяжелые баркасы. Над крайним — сплошь засыпанным снегом — подымался багор, торчком вросший в лед. Но вот о багор вновь хлестнул ветер, и, раскачиваясь, багор тяжело и протяжно заскрипел.

Из-за угла хаты, прямо навстречу Алексею, медленно вышел огромный лохматый пес. Тишина испуганно ломалась под ветром. Алексей остановился и, сняв с ремня винтовку, приготовился к обороне. Но черный лохматый пес на Алексея не бросился. Он только поднял голову, точно собираясь протяжно и жалобно завывать, и, подойдя к Алексею, ткнул о его колени мягкой и теплой мордой. Круглые глаза, взглянувшие на Алексея, были молочно-белые, и зубов в полуоткрытой пасти не было. Пес был стар и слеп.

— Кольни его! Пришей к снегу!.. — засмеялся за Алексеем поручик Саховский. — Ну-ка!.. Ну...

Но Алексей опустил винтовку, штык которой звякнул о лед жалобно, как протез Артура Глейзе.

«Отчего у Саховского нет черных острых усиков?..» — подумал Алексей, обернувшись.

И вдруг пальцы Алексея ослабли, винтовка из рук выпала, а руки опустились на мокрую скамейку. Каблуки скользнули не по льду. Под каблуками мягко поползла брошенная на асфальт кожа банана.

«Утро...» — подумал Алексей, встал со скамейки и, опустив в карманы застывшие руки, пошел вдоль, набережной Шпрее.

Алексей всю ночь просидел на этой скамейке. Здесь было темно, и полицейские сюда не заглядывали. Они стояли на углах улиц и цепью охраняли мосты. Как и Инге, Алексей в эту ночь домой попасть не мог.

«Ну, ничего, поволнуется и успокоится!..» — улыбаясь, подумал Алексей, вспомнив о Берте, и тронул холодный чугунок ограды вдоль Шпрее.

«А Эрих?.. Ушел Эрих или еще нет?..»

Посреди Шпрее, бестолково кружась, плавали три дикие утки, вероятно отставшие от партии перелетных, вчера в полдень пролетевших над Берлином. Вода под пестрыми грудками уток рябила красным и синим; большое кирпичное здание на другом берегу Шпрее было залито солнцем; над крышей плыло глубокое синее небо.

«Ну, теперь можно идти!..» — решил Алексей и загнул направо.

Улицы пробуждались. Посты полиции с углов и мостов были сняты. По два и по три, полицейские становились возле еще закрытых дверей булочных и продовольственных лавок. Возле ворот в гараж грузовых автомобилей стоял пулемет.

— Проходи! Эй, насадка деревенская! — крикнул кому-то полицейский.

Мимо него, скосив на пулемет испуганные глаза, пробежала женщина в деревенской широкой юбке.

...До моста через Ландвер-канал было уже недалеко. Алексей нагнал каких-то двух мастеровых и пошел за ними. Мастеровые громко разговаривали, размахивали руками и то и дело плевали на асфальт мостовой. По мостовой, гремя расхлябанными колесами, катилась низкая маленькая тележка. Тощая собака, запряженная в нее, везла кувшины с молоком.

— Молоком, черт, торгуешь! — сказал мастеровой пониже. — Кому везешь?.. Ты!.. Спекулянт деревенский!..

Промелькнул автомобиль. Мастеровой опять сплюнул. Автомобиль уже давно скрылся за горбом высокого моста, но гудок его все еще тревожно прыгал над улицей. Тощая собака, виляя потертыми под упряжью боками, тяжело и хрипло дышала.

— Плевать всякий умеет! — ворчал идущий за тележкой крестьянин, пряча в усах короткую трубку. — А заработать — так это не всякий, пожалуй... Вот и поговори!

— И поговорю!

Но, дойдя до моста, мастеровые, усатый крестьянин с трубкой в зубах, его собака и Алексей остановились. К мосту подбежал бледный чиновник с гнойным ячменем над глазом. Он вытянул шею из «вечного» резинового воротничка и тоже остановился.

— Идут и идут!.. А куда идут, спрашиваю? — ворчливо сказал крестьянин. В сердцах он дохнул носом, пепел над его трубкой взлетел и рассыпался. — Конца нет, и со счета со-бьешься!..

Спускаясь с моста через Ландвер-канал, по улице шел полк рейхсвера. Алексей видел спины солдат, залитые желтым косым солнцем, широкие пояса под ними, чуть опустившиеся на правый бок под тяжестью тесаков, и стальные серые шлемы, круглые края которых круто тянулись к погонам.

— Известно куда идут! — сказал чиновник. — В Баварию они идут — против фашистов!

— В Саксонию они идут — коммунистов лупить! — обернулся к чиновнику мастеровой повыше.

— Ну, ну-ну, времечко!

Он сплюнул.

— Р-р-рес-пуб-ли-ка!..

Рядом с ним в другую сторону сплюнул и второй мастеровой.

— Р-р-рес-пуб-ли-ка!..

А тяжелый, никем не подсчитываемый шаг рейхсвера все так же гулко и мерно стучал по асфальту. Два солдата за каждой ротой тянули завернутый в тряпки пулемет «Шварц-Лозе». Вот, переваливаясь, прогремел, наконец, и последний пулемет. За ним — уже не в ногу с ротой — шел толстый нестроевой солдат, вероятно каптенармус.

— Идут, а куда идут, — спрашиваю!.. — опять повторил крестьянин, глубже под усы ткнул короткую трубку и шелкнул кнутом об асфальт.

— Трога-ай!..

Собака напрягла мускулы задних ног, далеко вперед вытянула шею и вновь потащила тележку.

— Алекс!.. Алекс!..— услышал Алексей.

Перед ним, нагоняя полк, рысью проехал офицер.

— Алекс!..— опять крикнула Берта и побежала через улицу.

— ...Я тебя давно заметила,— говорила Алексею Берта, все глубже проталкивая ладонь под его руку,— но эти солдаты!.. Они шли, шли и шли, и я никак не могла к тебе перебежать!.. Алекс, когда же наконец я смогу любить тебя, не боясь за тебя и не тревожась!.. Алекс, ты жив?..

— Умирают не так быстро, Берта!..

— А я уже взяла у Эриха адрес и бежала к этому... к этому, с черными булавками вместо усов... Я так боялась за тебя, Алекс, особенно утром, когда все встали... Все встали... солнце... а тебя нет!.. Алекс, но расскажи, что с тобой было?.. Куда водил тебя этот гадкий человек?.. Ты боялся?.. Нет?.. Ты обо мне думал?.. Думал?.. Полицией стращали?.. Тебя?..

Но Алексей, рассказывая Берте о Дулевиче и Саховском, был уже твердо уверен, что ни Дулевич, ни Саховский к полиции не обратятся.

— Они побоятся суда, понимаешь? — говорил он.— Может быть, это кольцо украл у меня даже сам Саховский... Вот подожди, спрошу у Артура Глейзе... Они монархисты, Берта, и побоятся суда, где могут всплыть их темные делишки... Им это не выгодно...

Конечно, Алексей никогда и ничего не слышал о майоре фон Ремер-Реймере. Успокаивая Берту, он не знал, что этот самый майор, решивший «во что бы то ни стало связаться с будущим русским правительством», еще этой ночью звонил Дулевичу, и что у Дулевича уже не было причин бояться германского суда и огласки. Ведь майор фон Ремер-Реймер даже в министерство юстиции заходил так же легко и свободно, как, например, в клуб премированных стрелков бывших баварских егерей королевской службы.

После того как Берта наконец вышла на улицу, Артур Глейзе уже несколько раз подходил к двери на лестницу.

Эрих в своей комнате лег на диван и, думая о чем-то, смотрел на стенные часы. В восемь ему нужно было уйти, но восьми еще не было. Потом он встал и стал разбираться в каких-то записках. Артур Глейзе видел это сквозь замочную скважину.

Не зная, что делать и как унять свое беспокойство, Артур Глейзе зажег на кухне круглую газовую плитку и поставил на огонь воду. Так, как в этот день, Артур Глейзе еще не успокоился никогда. Он не заметил даже, что налил воду в самый большой чайник, в медный, в тот, который вот уже со смерти жены стоял на полке без употребления.

Кипяток давно вскипел, но Артур Глейзе не подходил к плитке, и белый пар из кухни густо валил в коридор. Вдоль стен коридора он полз нехотя и медленно, но, дотянувшись до полуоткрытых дверей в конце коридора, быстро сползал вниз и, кружась, вылетал на лестницу.

Туда — на лестницу — и смотрел сквозь приоткрытую дверь Артур Глейзе.

Но вот белый пар ринулся вдруг к дверям бурно, как водопад.

— Мы...— сказал в дверях кто-то.

— Черт, дьявол и все покойники!.. Он один? — спросил за спиной Карла Фибера второй голос.

Только после этого второй голос сказал:

— Grüss Gott!..

Дверь открылась еще шире. Потом, оттолкнув пар обратно в коридор, она затворилась, и пар в сразу же потемневшем коридоре перестал казаться белым. Густо-серый, он грузно закачался под потолком.

— За дело!.. Ну? Быстро! — приказал шепотом Фридрих Мурмель, человек в синей рабочей блузе, вошедший в коридор вслед за Карлом Фибером.

— Давайте руки!.. Фибер, у тебя веревка?.. Ну?..

Острое, прыщавое лицо Карла Фибера то и дело поворачивалось в профиль. Казалось, Карл Фибер поминутно прислушивается.

— Один?.. И никого?.. Правда?..— едва слышно повторял он, вытаскивая из кармана веревку.

Веревка разматывалась, и он тянул ее бесконечно долго.

— Один, но следует торопиться! — ответил Артур Глейзе и протянул ему ладони. Но руки Карла Фибера дрожали.

— Уж лучше вы, Мурмель! — сказал он, оборачиваясь к рабочему в синей блузе.

— Старый солдат!..— усмехнулся тот и ловко подхватил концы веревки.

— Ну?..

— Марка падает...— сказал вдруг Артур Глейзе, поворачивая к Мурмелю шею.

— Получишь в долларах! Поворачивайся!.. Ну?

Волосатые руки Фридриха Мурмеля уже затащили последний узел.

— Ложись!..

И, не поворачивая головы, Фридрих Мурмель вновь взглянул на Карла Фибера:

— Держи конец! Ну?..

Карл Фибер поборол дрожь, но лицом он овладеть не мог. Опуская и вновь подымая маленький острый подбородок, он испуганно смотрел, как Артур Глейзе расправлял уже связанные за спиной руки. Когда же Артур Глейзе неловко опустился на пол, а протез его отрывисто и зло лягнул, Карл Фибер даже выронил веревку.

— Старый солдат!..— вновь усмехнулся Фридрих Мурмель и склонился над Артуром Глейзе.

— Ну?.. На бок!..

Пар, которому некуда было деваться, все ниже опускался по стене коридора. Карлу Фиберу стало трудно дышать. Он хотел крикнуть и выбежать на лестницу, но ему казалось, что веревка, конец которой ему вновь подал Фридрих Мурмель, держит его и не отпускает.

— Отстегни!..— услышал он с пола шепот Артура Глейзе. — Погнешь... Отстегни лучше, слышишь?

— Ремни?..

— Два ремешка: выше...

И вдруг Карл Фибер увидел, как черная нога Артура Глейзе отделилась от его туловища и, дважды повернувшись в волосатых руках Фридриха Мурмеля, легла возле дверей на кухню. Из кухни, кружась вместе с паром, падает свет. Он падал и в лицо Фридриха Мурмеля. Губы Мурмеля были сжаты. Подбородок туп.

— Лежи! — дернув подбородком, сказал, наконец, Фридрих Мурмель и опустил за пазуху волосатую руку.

— Фибер, идем!..

Широкий германский тесак блеснул отточенными краями. От рукоятки — вниз — бежала бурая полоса ржавчины.

— Идем! Ну?..

Карл Фибер дернул плечами, разжал пальцы, думая, вероятно, бросить конец веревки, которую уже давно не держал, и пошел вслед за Мурмелем.

— ...сразу закроешь дверь. Понял? Ну?..

Артуру Глейзе, ухо которого лежало на полу, казалось, что Фридрих Мурмель и даже Карл Фибер идут по коридору, громко топая всей подошвой.

«Смелые!..» — подумал он и, скосив глаза наконец увидел, как дверь в комнату Эриха быстро распахнулась и вновь захлопнулась. Артур Глейзе рванулся вперед, пытаясь поднять голову, но голова его вновь упала на пол. В отчаянье, что он ничего не услышит, Артур Глейзе барахтался и, действительно, не слышал, что творилось в первую минуту...

Но вот за дверью упал стул — это Артур Глейзе услышал. Он поднял ногу, туго привязанную веревкой к обручку другой ноги, взмахнул ногой и обручком в воздухе, вновь бросил их на пол и, наконец, присел, найдя упор скрученным за спиной ладоням.

Усы его оттопырились. Подбородок поднялся. Кадык под подбородком быстро дергался вверх и вниз.

— В горло! По горлу! — услышал он. — Еще раз! Ну?..

Опять повалился стул. Кадык Артура Глейзе опять задергался.

— Поворачивай! — быстро и уже во весь голос говорил за дверью Фридрих Мурмель. — Ну?..

Потом что-то зазвенело, — вероятно, тесак упал на пол.

— Подыми!..

Били часы.

— Ну?..

Часы за дверью бить перестали. Дверь открылась. Из комнаты, резнув полутьму коридора, упал луч солнца. Белый пар, став золотым, полоснул лицо Фридриха Мурмеля и радостно хлынул в комнату.

— Ну, как?.. — спросил Артур Глейзе, еще более вытягивая шею.

— Готово... Лежи! — бросил ему Фридрих Мурмель и быстро пошел на кухню, чтобы вымыть окровавленный тесак.

— Старый солдат!.. Эй, где ты?.. — крикнул он уже из кухни.

Но Карл Фибер, со спины залитый солнцем, все еще стоял на пороге комнаты Эриха.

— Ну?..

На кухне били другие часы — будильник.

Качнувшись, Карл Фибер пошел наконец по коридору, растопырив руки, как человек, только что поднявшийся из лужи.

— Да не сюда, не сюда! — засмеялся на полу Артур Глейзе. — Куда вы?

Карл Фибер не мог найти кухню. Он стоял возле уборной и толкал дверь. Но дверь не поддавалась, — она открывалась наружу.

На бульвар вышла женщина с двумя ребятишками. Она держала их за руки и смотрела по сторонам, еще не зная, спокойно ли сегодня на улице и можно ли гулять с детьми.

Старик угольщик с плоским открытым ящиком на спине шел покачиваясь. Широкие ремни ящика, в ровных перегородках которого сложенные как кирпичи лежали брикеты, глубокими канавами врезались в его плечи.

Старик остановился, косо подогнул дрожащие колени и стал дышать, как старая лошадь, дергая тяжелой, мокрой губой.

Как раз в это время из подъезда дома, возле которого старик остановился, вышли Мурмель и Фибер.

— Подожди-ка, старичина! — сказал Фридрих Мурмель и волосатой уверенной ладонью поправил ремни на плечах угольщика.

— Пересохло!.. Пива... — шепотом повторял Карл Фибер.

— Не здесь! Пойдем за угол... — ответил ему Мурмель и легонько толкнул угольщика в спину.

Встряхнув на спине ношу, старик угольщик пошел дальше, а Фридрих Мурмель опять обернулся к Фиберу.

— Ты закрыл дверь? Нет?.. Старый солдат!.. — сердито сказал он и, перейдя через бульвар, прошел мимо окна пивной, залитого грязью и солнцем.

Карл Фибер покорно шел за ним. Веки его были красны. Они прыгали и поминутно опускались, точно он кивал кому-то или боролся с навязчивым сном.

Ни Берта, ни Алексей Мурмеля и Фибера не заметили.

Они вышли из-за угла соседней улицы и, поднявшись на бульвар, ускорили шаг.

— Очевидно, Эрих еще не ушел, — сказал Алексей и посмотрел на подъезд своего дома. — Пойдем. Еще застанем...

Бежали школьники. В ранцах весело брнчали карандаши и перья. Под ранцами болтались маленькие пакеты в белой пергаментной бумаге.

Вот к подъезду, с которым уже поравнялись на бульваре Алексей и Берта, подошел почтальон в синей суконной фуражке. Красный околыш вокруг фуражки горел под солнцем. Почтальон остановился и, опустив лицо, стал рыться в огромной кожаной сумке, которая висела у него на животе. Сумка на этот раз была почти пуста, она не оттопыривалась во все стороны, как привык ее видеть Алексей: в этот день типография всех газет, кроме «Дер Дейтше», «Ди Дейтше Цейтунг» и социал-демократической «Форвертс», бастовали. Вытянув наконец один экземпляр газеты «Форвертс», почтальон вошел в подъезд. Алексей знал: он пошел к Артуру Глейзе.

— Смотри, Алекс! — испуганно сказала Берта, и Алексей увидел, как сбежавшие с бульвара школьники вдруг хлынули от них во все стороны.

— Алекс, беги!

Но бежать было поздно. Шесть зеленых велосипедов, вынырнувших из-за угла, уже рассыпались цепью. Вот они дали тормоз, и пять полицейских, ведя велосипеды за руль, пошли к Алексею навстречу.

— Алекс!.. Алекс!..

На фланге цепи, полукругом смыкающейся перед Алексеем и Бертой, шел Саховский. Он тоже вел зеленый полицейский велосипед. Подбородок его был подвязан. Белый бинт закрывал рот, но черные усики из-под бинта торчали так же остро.

— Он! Вот этот,— сказал из-под бинта Саховский и указал на Алексея пальцами.

Сбегался народ.

— Вор? — спрашивал кто-то.

— Убийца?

— Поймали?

— Вор?

— Вора поймали! — кричали мальчишки, шныряя возле полицейских велосипедов.

Алексей растерялся.

С бульвара — прямо к его кепке — тянулась голая черная ветка. Золотой широкий лист на конце ветки бился под ветром, хлопая о козырек. Алексей видел, как на листе бьется солнце.

«Сволочь!.. — думал он.— Но подожди, стерва!..»

Золотой лист сорвался.

— Вор?

— Вора поймали?..

Лист скользнул над толпой и улетел за угол. Из-за угла бежали все новые люди. Толпа росла. Женщина, вышедшая с детишками погулять, вновь крепко держала их за руки. Спотыкаясь, ковыляла старушка.

— Молодой какой, а ворует!

Опять полетели листья.

Старушка качала головой. Вероятно, она шла с базара,—из ее кошелки торчала кривая волосатая морковь.

— Нужда, бабушка, нужда!..

— Вор?..

— Вора поймали!

— Да ведите же! Он!.. Ведите!..— волновался Саховский.

Переднее колесо его велосипеда виляло.

— Она?..

Тень усов дергалась над бинтом все быстрее.

— Она?.. Она — любовница!

— Любовница!.. Да, любовница! — гордо крикнула Берта.— Ведите вместе! Вместе!

— Молоденькая, господи...

— А уж испорчена как!.. Господи!

— Да, любовница! Да, вместе! — кричала Берта.

Толпа хохотала. Черные усики Саховского и пушистые белые усы вахмистра дергались наперегонки.

— Не надо, Берта... Кричать не надо!..— услышав смех, повернулся Алексей к Берте. Потом он шагнул к вахмистру.

— Ведите! Я не артист, чтобы давать на улице даровые представления!..

И, сказав это, Алексей вновь растерялся и замолчал.

...Гремела музыка. С моста через Ландвер-канал уже спускался второй полк рейхсвера.

«Хорошо, что здесь арестовали, а не дома!..» — думал Алексей, шагая рядом с Бертой, голова которой была все так же гордо поднята. Полицейские, ведя велосипеды, шли вокруг них кольцом.

«С обыском не пошли, и Эрих спокойно уйдет на конференцию...»

— Алекс, милый!..

— Берта, молчи. Не надо здесь ласкаться!..

А первая рота рейхсвера уже спустилась с моста. Два офицера на рыжих кобылах ехали перед полком.

— Живо! — крикнул полицейским один из них и махнул в воздухе белой перчаткой.

Рыжие кобылы храпели. Копыта их отплясывали на асфальте. Колеса велосипедов вокруг Алексея и Берты тикали, как часы.

— Живо!..

— Марш!..— подхватил вслед за офицером вахмистр-полицейский, и колеса зеленых велосипедов завертелись быстрее.

Полицейские еще успели провести Алексея и Берту, но почтальон в синей суконной фуражке, который вновь выбежал в это время на улицу, уже наткнулся на грузную колонну полка.

— Сюда!.. Убийство!..— крикнул почтальон и, желая нагнать полицейских, бросился в интервал между второй и третьей ротой.

— Куда?..— крикнул ему ротный в крутом стальном шлеме.

— Убили!.. Сюда!.. Полицию!..

Но унтер-офицер на фланге ударил почтальона в грудь.

— Назад!..— крикнул унтер-офицер.— Не видишь!..

И почтальон упал на скользкий, еще сырой от утренней росы асфальт и рассыпал на нем газеты «Дер Дейтше», «Ди Дейтше Цейтунг» и «Форвертс».

...Светило солнце. Стальные шлемы блестели. Где-то, уже очень далеко, в голове походной колонны, ухала музыка. Об асфальт гулко стучал тяжелый шаг рейхсвера.

НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ СПУСТЯ

Генерал фон Сект, разбив Красную Саксонию и Тюрингию, произвел массовые аресты коммунистов и объявил компартию запрещенной. Рудольф фон Лессау был прав: Бавария действительно успокоилась. «Не все ли равно,— решили, вероятно, члены клуба премированных стрелков бывших баварских егерей королевской службы,— почитать ли генерала фон Людендорфа или фон Секта!..».

Так, вероятно, решили и члены всех других клубов.

Голодный Берлин продолжал воровать картофель, а богатый — уже вставлял стекла в окна разбитых магазинов. В газетах писали: «Берлин лечит раны». Рудольф фон Лессау под бронзовой люстрой говорил на каждом собрании: «Берлин не только лечит раны!.. Мы — хирурги. Не бойтесь, господа, крови! Коммунизм будет изъят из живого, здорового тела нашей родины!..»

Но коммунисту Ульриху Шмидке — и не только ему одному — удалось от полиции скрыться.

Ульрих Шмидке отпустил бороду, подумал, как бы расчесать ее полаяльнее, наконец расчесал по обе стороны и переехал в подвальный этаж огромного дома, где жильцы друг о друге ничего не знали и на двадцати трех лестницах которого терялась даже полиция.

...Вечерело. Под потолком кухни горела газовая лампа. Черный круг копоти качался на потолке, как старая запыленная паутина.

Ульрих Шмидке сидел на кухне. В маленькой каморке за кухней лежала его больная мать.

— Что ж, будем работать в подполье!..— говорил Ульрих Шмидке, веснушчатое лицо которого можно было видеть теперь на всех ночных подпольных собраниях.

Вот и сегодня он собирался в Сименсштадт. Когда идет последний пригородный поезд?..

В углу кухни Берта купала маленькую Гертруду. С тех пор, как арестовали Алексея, она приходила к Ульриху почти каждый день. Теперь уже не она, а брат ее Карл утешал мать рассказами о пасторе Зоненвинкеле. Берте казалось: Карл утешает самого себя...

Кто-то на лестнице хлопнул дверью. Черная копоть с потолка упала на картонный абажур лампы и соскользнула с него на пол.

— Ульрих,— спросила Берта, выжав из резиновой губки белую мыльную пену,— у тебя много товарищей, которые сидят в тюрьме? Скажи, Ульрих, очень тяжело сидеть в тюрьме? Очень скучно? Ты ведь тоже когда-то сидел?

Ульрих Шмидке посмотрел на нее и спрятал улыбку в рыжую, такую непривычную для него бороду.

— Будь рада, Берта,— вместо ответа сказал Берте Ульрих,— что Алекс не политический. Как уголовный он отсидит свои три года и пойдет на все четыре стороны.

— Я буду ждать моего Алекса хоть десять лет! — ответила Берта и, вновь намылив губку, стала тереть спину Гертруде, подняв над затылком девочки тонкую, еще не расплетенную косичку.

А в другом конце Берлина, в комнате, со стены которой глядели глаза умирающего под проволокой солдата, Инге в это время писала письмо.

«Не возмущайся, получив это письмо, товарищ Ульрих,— писала она.— Но что мне еще делать?.. В Гамбурге, на баррикадах которого я пережила лучшие дни моей жизни, приговорены сейчас четыреста рабочих. Четыреста революционеров, Ульрих!..

Саксония разбита. Тюрингия разбита тоже. Берлин подал руку черному Мюнхену, а наш Берлин, пролетарский,— это кладбище.

Мне кажется, генерал фон Сект прикрыл всю Германию стальным тяжелым шлемом. Нам нечем дышать. Я не знаю, чем дышишь ты, но мне дышать нечем!..

Может быть, Эрих, о смерти которого я узнала только вчера, был прав, говоря, что я не умею работать. Ты сказал,

что я играю с огнем. Но я не могу сейчас ни в чем разобраться. Мне очень тяжело!

Товарищ Ульрих, вот о чем я хочу тебя просить: я боюсь встретиться с Вернером, которого перед отъездом в Гамбург я отдала в детский очаг Межрабпома. Сейчас он в Готлаубе. Я боюсь, что, увидя его вновь, я не смогу сделать того, что я должна сделать...

Я не знаю, может быть, мы подошли к полустанку, может быть, ты и прав, но на полустанке скучно и душно, а когда вновь пойдет поезд, я не знаю...»

Газовая лампа в кухне Ульриха гудела все так же глухо и сердито: Ульрих все еще сидел под лампой и тоже думал о поезде, но о другом — о том, что отходит в Сименсштадт.

— Берта! — сказал он вдруг и встал с табурета: последний поезд должен был идти через три четверти часа.— Если ты в конце концов поедешь с Алексом в Россию, расскажи там, как трудно нам здесь бороться... Всего ты рассказать не сумеешь, но это расскажи... Скажешь?..

Гертруда в детской ванне смеялась. Берта расплела наконец ее косичку. Мокрые волосы падали на плечи и, падая, шекотали.

«Я думала об этом много и мучительно,— кончала письмо Инге.— Я знаю, что не могу даже быть сейчас Вернеру матерью,— такой, как хотела бы я себя видеть. В этом, Ульрих, моя вторая большая боль. Я не знаю, поймешь ли ты это, или, сдвинув рыжую бровь, улыбнешься насмешливо.

Но вот что ты поймешь и сделаешь, Ульрих: возьми к себе Вернера и воспитай в нем революционера. Стоять — даже с ним — на перроне полустанка и, ожидая, когда наконец пойдет поезд, курить со скучающими солдатами папиросы,— я не хочу. Быть может, к тому времени, когда подрастет мой мальчик, уже вновь будут нужны солдаты революции. Сейчас они не нужны, а потому я ухожу...

Прощай, Ульрих! Вернер, прощай!..»

Упавший под проволоку солдат смотрел со стены на Инге.

Инге положила перо, подняла глаза и посмотрела на солдата. Потом она встала, положила на ладонь пустые гильзы патронов, расстрелянных ею в Гамбурге, и заплакала.

За окном качалась ночь. Черные вывески мясных и булочных глухо вздувались под ветром.

А утром, когда вывески за окном вновь заблестели под солнцем, Инге сняли с веревки.

«РОДОМ ИЗ НЕМЕЦ» (О прозе Георгия Венуса)

«...Мир не может быть лучше, чем он есть на самом деле», — размышляет герой повести Георгия Венуса «Солнце этого лета». Жизнь самого писателя показала, что зато мир этот может быть хуже, чем на самом деле. И что слишком часто в XX веке человеку приходится выбирать не между добром и злом, а из двух зол — меньшее. Вместо того чтобы выявить и ощутить красоту нашего «лучшего из миров», ему приходится ломать свою судьбу ради не им самим выкованных теорий и слишком отдаленных целей.

Читая последние, написанные уже в куйбышевской ссылке, вещи Георгия Венуса, трудно отделаться от ощущения, что потому именно они так красочны, так мажорны, потому столько в них солнца, зелени, речных волжских просторов, что всю эту прелесть и трепет естественной жизни писатель видит как бы в последний раз, предчувствуя скорую тьму и небытие. «Кукушка в лесу считала дни — сколько осталось ему до конца работы», — говорится в «Солнце этого лета» о композиторе, сочиняющем музыку в счастливом уединении. На самом деле кукушка считала дни до близкого уже «конца работы» — ареста — самого писателя. «Смотрите, — говорит композитор, — как тянутся к окнам зеленые ветки. Смотрите, как первое золото осени блестит на густом изумруде. Смотрите, как солнце, проплыв сквозь листву, струится в окно, в мою комнату, в душу... Я никогда еще не жил такой полной жизнью...» Радостная полнота жизни владеет героями повести настолько, что ее героиня даже клопов называет «голубчиками»...

В поздних вещах Венуса явно господствует привлекательное ощущение первичности материи, перед лицом которой сознание демонстрирует свою раздражающую и досадную вторичность. Оно служит преимущественно идее самоограничения и самовнушения, отрицая ценность единственного, из чего исходит и на чем зиждется, — ценность человеческой жизни, ее уникальный, а не тиражированный, опыт. «Не то, не то, — думает у Венуса композитор. — Я опять не смог разомкнуть печальной мелодии прошлого».

Идея покорения природы и перековки человека в ней вложена в души героев Венуса наперекор его собственной интуиции о том, что «мир не может быть лучше, чем есть он на самом деле». Пафос искупительной жертвы *сегодня* ради неосязаемого *завтра* владел не одним Венусом. Большинство художников той поры соглашались с формулировкой пастернаковского лирического героя, принявшего как должное:

Мы в будущем, твержу я им, как все, кто
Жил в эти дни. А если из калек,
То все равно: телегою проекта
Нас переехал новый человек.

Герои Венуса последних лет в этой надежде идут до самого края: они верят даже в «садоводов» из НКВД. «Дичок перестал быть дичком, садоводы исполнили свое дело», — говорится в рассказе «Возвращение» о вернувшемся с принудительных работ молодом герое. Да и сам этот перековавшийся персонаж в высшей степени характерен для литературы 1930-х годов: «А знаешь, отец, — улынулся Гриша, — мы горю сейчас войну объявили». Вот уж, действительно, «бла-

женны нищие духом!» Особенно в России. Не на них ли и атеистами ставка была сделана? На их негордыню и небрежение разумом.

Между тем чаемого «нового человека» не появилось даже на горизонте. И война была объявлена не горю, а счастью отдельной личности ради счастья тех бюджетян, которых никто и никак увидеть не сможет. Жестоким парадоксом литературы тех лет как раз и является то обстоятельство, что, чем большим интеллектом наделялась изображенная в ней личность, тем неизбежнее она склонялась к самобичеванию и изгойству: «И я — урод, и счастье сотен тысяч не ближе мне пустого счастья ста», — исповедовался Борис Пастернак Борису Пильняку. Так даже у поэта с выраженным христианским мироощущением в 1930-е годы «любовь к ближнему» вытесняется вполне нищенской этикой «любви к дальнему».

«Новый человек» мыслился существом, произошедшим от предков, разумом одаренных далеко не в высшей степени. «Духовная нищета» для него — соблазнительный проект жизнеустройства.

Характерно, что уже нарисованный на плакате «новый человек» в литературе преимущественно олицетворялся в образе крепкой жизнерадостной девушки, комсомолки-физкультурницы, чуждой прежде всего рефлексии. Исключений из правила практически нет. И у Платонова, и у Олеси, и у Эренбурга, и у Ильфа и Петрова картина рисуется схожая. Та же лирическая фабула и у Венера — и в поздних рассказах, и в «Солнце этого лета». Это и понятно: безотчетное желание найти смысл жизни в самой жизни, а не в утопии, невольно вызывает в воображении образы молодости и женственности. Но принятая и признанная идеология диктует иные мотивировки: симпатичная чистая девушка — это не перл творения, а символ обновляющейся жизни, правой уже потому, что за ней мерцает, если не мерещится, лучезарное будущее.

Самая серьезная ситуация в литературе тех лет возникала тогда, когда, как это было и в случае с Георгием Венусом, герои произведений отказывались от прошлого — и от прошлого в себе — искренне, навсегда и бесповоротно. Композитор из «Солнца этого лета», размышляя об отце, приводит его немудреный житейский девиз: «Слава господу богу, сегодня опять показалось солнышко!» И тут же комментирует: «...и шел работать в контору, куда никогда не заглядывал солнечный луч». В этом вся разница между отцом и сыном — одному достаточно «солнышка», другой сетует, что его несправедливо мало. Трудно не соблазниться максималистскими требованиями детей. Но всегда при этом неясно, сколько «контор» нужно разрушить, чтобы солнце сияло всем — с утра до вечера. Есть опасность при такой программе и вовсе остаться под открытым небом. Да вдобавок воевать с тучами, «покорять природу», вредя ей из новых контор.

Герой Венера хочет быть с природой, а следовательно, и со своим прошлым, со своими корнями и истоками, в дружбе и согласии. Но это лишь по неизъяснимому чувству. По мысли и вере в идеалы он должен преодолевать и природу, и себя.

Подобных персонажей принято уличать в раздвоенности сознания и бранить за рефлексию. Но что, если только они и напоминали людям: будущее — это не потеря прошлого, а его переосмысление и развитие? И если о композиторе из повести Венера хозяйка дома, где он живет, размышляет: «Отчего Владимир Антонович, такой живой и веселый, играет только грустные пьески?» — то это размышление помогает ей почувствовать глубину и содержательность человеческой жизни, а не ее разлад. И пускай самого Владимира Антоновича одолевают традиционные сомнения: «Разве такое искусство нужно

современности?» именно благодаря художественной рефлексии он создает в финале значительное произведение.

Какие бы беззакония ни творились вокруг, человеку всегда дико предположить, что и его — не знаящего за собой никакой вины — могут безжалостно преследовать наравне с другим. Так что трудно сейчас утверждать однозначно, чего больше было в литературной позиции Георгия Венуса в годы куйбышевской ссылки — мужества или святой простоты? Во всяком случае, нужно было иметь исключительное самообладание и незаурядную волю к творчеству, чтобы писать в 1936—1937 годах о современной жизни в тональности более мажорной, чем о жизни прошедшей.

Прошедшее для Венуса — об этом и весь настоящий сборник — это война, революция, изгнание, кроваво-грязный прах канувшей жизни. Серый дождик да желтая пыль — вот основной пейзаж этих вещей, их фон. Таким рисовалось прошлое до конца дней — судя по сохранившимся отрывкам из второй части «Молочных вод», рассказывающих об эвакуации белых частей в Константинополь, об их страданиях на Галлиполийском полуострове.

Видимо, все-таки желание «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком» было обосновано у писателя всем опытом его жизни, а не конъюнктурными соображениями. «Шесть с лишним лет, — писал он в книге «Притоки с Запада», — ненужный людям и улицам, приниженный блеском богатых огней в окнах кабаре, театров и ресторанов, я, не зная, кому отдать свои силы, смотрел с надеждой на Советский Союз, где каждый, кто хочет работать, найдет свое место, будь он рабочий, инженер или писатель». Можно ли было представить, что еще легче оказалось у нас «найти свое место» в следственном изоляторе? О том, что Георгий Венус обладал чистейшей душой и до последней минуты на свободе полагал такую возможность несовместимой с общим ходом жизни, говорит его сверхнаивный звонок следователю 9 апреля 1938 года, о котором рассказал в предисловии к этой книге его сын Борис Венус.

В произведениях Георгия Венуса, какие бы различные фамилии не носили их главные герои, выявляется и центральный персонаж, судьба которого на разных этапах повторяет судьбу автора и душа которого близка авторской душе. Писатель вообще не стремится к беллетристической выдумке, не плетет паутину от начала до конца продуманной интриги. Время в его повествованиях соответствует реальному историческому времени, и внимание он обращает лишь на композицию составляющих общий сюжет вещи эпизодов. В целом эта композиция проста и сводится к параллелизму сцен, происходящих в одно и то же время в различных местах. Этот прием характерен и для «Зябликов в латах», и для «Стального шлема». Еще проще — почти как дневник — построен роман «Война и люди», первое крупное произведение Венуса.

Два достоинства как главные можно выделить в художественном почерке прозаика: его интимную хроникально-дневниковую достоверность и тонкую наблюдательность, схожую с наблюдательностью живописца-психолога, мастера портретного жанра. Здесь автор способен видеть вещи, которых не заметит за собой и сама модель. Как например, в эпизоде из «Зябликов в латах», в котором изображен прапорщик Рябой перед первой атакой. Внешне спокойный, он «обемни руками сдвинул на лоб палаху и не торопясь взялся за винтовку. Но пальцы его торопились. Они быстро обхватили ствол». То же самое и в других вещах. Вот «пленных подвели к тачанке генерала Туркула. Наклонив головы и опустив руки, они стояли неподвижно

и казались низко-низко подвешенными над землей» («Война и люди»). Да, автор этой прозы видит все — и «толстую круглую спину и обручем выгнутые плечи вице-директора, который мыл возле уборной руки» («Стальной шлем»), и товарища Ульриха с «плоскими желтыми веками» (там же)... Не только видит, но и слышит — безымянный русский голос в бараке на окраине Берлина: «Нет исхода из вьюг...» Слышит и понимает — вот лейтмотив к судьбе его собственной и к судьбе скольких еще тысяч русских людей в годы революции.

В произведениях Венуса «годы идут, не путаясь, не сбиваясь», и вся эта книга читается как единое повествование об одной судьбе на самых крутых поворотах отечественной истории. И прапорщик Константинов из «Зябликов в латах», и Алексей Зуев из «Стального шлема» — это все, конечно, ипостаси авторского «я». Тем более — герой «Войны и людей», где повествование ведется от первого лица. Достаточно самых общих биографических сведений об авторе, чтобы понять: случившееся с рассказчиком произошло и в жизни писателя. Да ясно это и без всякой биографии: никакое воображение не угонит-ся за тем, что пришлось увидеть и пережить поднявшимся друг на друга гражданам Российской империи.

Хронологическая последовательность событий, изображенных в предложенных романах, не совпадает с порядком их написания не случайно. Автора интересовали в первую очередь суть и смысл русской усобицы, а потом уже ее предыстория и ее последствия. Поэтому сначала он написал «Войну и людей» (гражданская война), а затем «Зябликов в латах» (первая мировая война) и «Стальной шлем» (эмиграция). И я не уверен, что читать их нужно в хронологической последовательности: «Зяблики в латах» — «Война и люди» — «Стальной шлем». Основной импульс, смысловой толчок для понимания остальных вещей дает все-таки роман «Война и люди».

В этом романе вопрос о том, чему служить русскому человеку, каким долгом ему руководствоваться, из традиционной области умозрений опрокидывается в кровавую явь исторического катаклизма. Вряд ли Россия получила достойную награду и весомую компенсацию за столь катастрофический урок.

В книге Венуса речь идет о побежденных, о тех, кто проиграл, так и не осознав до конца причин своего поражения. Во всяком случае — его закономерности. В самой «белой идее», в романтической идее исполнения национального долга, в отстаивании постулата единой и неделимой России никаких существенных изъянов не обнаруживалось. Казалось, достаточно было хорошо повоевать, а уж за идеи беспокоиться нечего — русскому народу они близки как никакому другому. Идея, однако, оказались чересчур бесплотными, неосязаемыми, да и неоригинальными. В белом воинстве не поняли даже, что не генералы были в первую очередь нужны для победы, а политики. Что им и доказали большевики.

Первая же страница «Войны и людей» нелицеприятно говорит о том, что «белая идея» имела в гораздо большей степени общеевропейское дворянско-сословное обличье, чем собственно национальный русский характер. Так что не только коммунизм нужно выводить из денационализированной философии, но и русскую мессианскую и имперскую амбицию тоже.

В разгар борьбы на Украине лучший из полков Деникина так, например, встречает добровольно прибывших на службу молодых офицеров: «Мы еще не имели права носить форму Дроздовского полка — малиновые бархатные погоны и фуражку с малиновой же

тулей и белым околышем: старые офицеры, особенно «Румынского похода», нас как-то не замечали, и мы чувствовали себя не совсем на месте». Все это очень напоминает начало рассказа Ричарда Олдингтона «Прощайте, воспоминания»: «Воплощением красивой лжи войны стали для меня кадеты Сен-Сира, которые поклялись носить в бою свои парадные ярко-малиновые плюмажи, — все до единого человека были они перебиты снайперами в серо-зеленой форме». Ту же фанатерию мы видели и в знаменитом фильме «Чапаев» — психическую атаку каппелевцев, марширующих во весь рост, стройными рядами, с развернутыми знаменами, барабанным боем и трубками в зубах на позиции неприятеля. Оказывается, достаточно двух хорошо налаженных пулеметов, чтобы уничтожить эту музыку и эстетику былых войн. Можно сколько угодно восторгаться всеми этими затеями, можно преклоняться, скажем, перед польскими уланами, летящими с пиками наперевес на немецкие танки, но ни большого смысла, ни чего-то специфически национального в подобных безумствах нет.

Венус превосходно показал эту дегенерирующую романтику и безнадёжный апломб российского белого офицерского корпуса: бок о бок с обладателями малиновых бархатных знаков отличия идет в атаку в одних носках — сапоги украли свои же! — герой романа, прапорщик-дроздовец. И никто его драных носков не замечает. Да что не замечает — не видит! Плевать они все хотели на грубую существенность жизни! Они сохраняют к ней «поэтическое отношение»! Пишут что-то вроде: «Вы с крестом, а я с мечом разящим...» XX век уже разошелся вовсю со своими пулеметами, бронепоездами и танками, а у них все еще «разящие мечи». Для них «Деникин и Фенимор Купер — одно и то же».

Но что особенно верно подмечает Венус, так это то, что от подобного ослепляющего душу романтизма один шаг до самой варварской жестокости: «...после боя с конницей Жлобы вспомнил я еще раз стихи юнкера. Было это в середине июня. Степь дымила желтой пылью. Молодой хорунжий с шашкою в руке расправлялся с кучкою пленных. Когда наша подвода подъехала ближе, я узнал в нем бывшего юнкера Рынова» (того самого сочинителя стихов)...

Впрочем, жестокостей хватало с обеих сторон. Есть несомненная правда и в словах подпоручика Морозова о красных: «...и когда те, что теперь за фронтом, стали дешево расценивать и жизнь, и человека, я назвал их врагами». Это почти то же самое, что запишет вскоре в дневник Александр Блок: «Чего нельзя отнять у большевиков — это их исключительной способности вытравливать быт и уничтожать отдельных людей. Не знаю, плохо это или не особенно. Это — факт».

И все же какая-то надежда, свидетельствует Венус, сохранялась и в белом стане. «...И пусть белый не станет красным, а красный белым, — записывает в дневник подпоручик Морозов. — Но годы гражданской войны откроют наконец наши глаза и белый увидит в красном Ивана, а красный в белом — Петра».

Надежда эта оказалась тщетной: в годы гражданской войны глаза противников не раскрылись, и по «Войне и людям» возникает ощущение, что расстрелянных и повешенных в это время (взятых в плен, заложников и просто людей, не желавших участвовать в войне) было больше, чем убитых в боях. Достаточно в «Войне и людях» обратить внимание на поручика Горбика, на число его личных жертв.

Но, может быть, самое страшное впечатление от гражданской войны в прозе Венуса производит даже не количество уничтоженных Горбиком людей, а один образ — погибшего среди русских просторов красноармейца из рассказа «В зимнюю ночь»: «Папаха, залитая

кровью, примерзла к его волосам. Кровь стекла и в глазные глубокие впадины, — она замерзла в них черными круглыми плашками».

Можно понять, что о примирении людей, видевших такие сцены, трудно было и думать.

Тяжкий путь в эмиграцию через Константинополь был описан Венусом во второй части романа «Молочные воды», к несчастью канувшего в недрах Куйбышевского НКВД. В «Стальном шлеме» темой становится уже одиночество, пустота, бессельность эмигрантской жизни в Берлине. Точно по слову Георгия Иванова:

Невероятно до смешного:
Был целый мир — и нет его...
Вдруг — ни похода ледяного,
Ни капитана Иванова,
Ну абсолютно ничего!

Этот обобщенно-поэтический «капитан Иванов» для Венуса — вполне реальное лицо, он числится командиром 4-го взвода 4-й роты Дроздовского полка. И убило его еще до начала эвакуации, «где-то под Тростенцом».

Читая Венуса, понимаешь, что большинство сражавшихся в гражданскую войну — в том числе и капитан Иванов — могло оказаться по воле случая на любой из сторон, и вся наша грандиозная усобица, весь этот кошмар братоубийства странно и страшно далек от любых идеалов — как победителей, так и побежденных.

Но побежденным выпало еще и дополнительное испытание — диаспора, рассеяние по всему свету.

Георгий Венус, немец по происхождению, хоть и давно обрусевший, имея состоятельных родственников в Берлине, мог, казалось бы, перенести изгнание лучше других. И что за чудо! Именно он, участник белого движения, офицер одного из самых жестоких полков белой гвардии, возвращается на родину из страны своих единокровных компатриотов, возвращается в государство, против утверждающегося строя которого только что воевал.

Не есть ли это тот самый патриотизм, о котором сейчас так много спорят? Не зов и состав крови в нем важен, а Пушкиным обозначенная «любовь к родному пепелищу, любовь к отеческим гробам». Важна любовь к тому, что человек с юных лет, просыпаясь, видит за окном, любовь к тому месту, где он впервые услышал звуки ставшей ему родной речи, его речи... Я уже не говорю о культуре в целом, воплощенной в обычаях, искусстве и верованиях... Подозреваю даже, что состав крови и патриотизм — вещи вообще разного порядка и разных уровней. Ведь и у Пушкина, государственника и патриота, был прадедом — эфиоп, а прабабушкой — шведка. Да и сам легендарный его пращур, от которого пошла русская фамилия Пушкиных, сподвижник Александра Невского Рача был «родом из немец». Догадали же черт Александра Сергеевича с его патриотическими чувствами родиться в Немецкой слободе! А Георгия Венуса — среди василеостровских немцев!

Андерй Аръев

СПИСОК КНИГ ГЕОРГИЯ ВЕНУСА

1. Полустанок: Стихи.— Берлин, 1925
2. Война и люди. Семнадцать месяцев с дроздовцами. М.— Л., 1926
и др. изд.
3. Самоубийство попугая: Рассказы.— М.— Л., 1927
4. Стальной шлем: Роман.— М.— Л., 1927
5. Папа Пуффель: Рассказы.— М.— Л., 1927
6. Зяблики в латах: Роман.— М.— Л., 1928
7. Последняя ночь Петра Герике: Рассказы.— Л., 1929
8. В пути.— Л., 1930
9. Огни Беркширии: Рассказы.— М., 1930
10. Хмельной верблюд: Роман.— Л., 1930
11. Притоки с Запада: Очерки.— Л., 1932
12. Молочные воды: 1-я кн.— Л., 1933
13. Дело к весне: Рассказы.— Куйбышев, 1937
14. Солнце этого лета и другие рассказы.— Л., 1957

СОДЕРЖАНИЕ

Мой отец Георгий Венус. <i>Б. Г. Венус</i>	3
Война и люди	15
Зяблики в латах	225
Стальной шлем	389
«Родом из немец» (О прозе Георгия Венуса). <i>Андрей Арьев</i>	505
Список книг Георгия Венуса	511

Георгий Давыдович Венус

ЗЯБЛИКИ В ЛАТАХ

Худож. редактор *М. Е. Новиков*

Техн. редактор *Е. Ф. Шареева*

Корректор *Ф. Н. Аврунина*

ИБ № 7399. Сдано в набор 22.03.90. Подписано к печати 08.02.91. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 26,88. Уч.-изд. л. 29,85. Тираж 100 000 экз. Заказ № 582. Цена 5 р. 50 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15.